

Макиавелли Никколо Сочинения

Когда Луций Фурий Камилл вернулся в Рим после победы над жителями Лациума, много раз восстававшими против римлян, он пришел в Сенат и сказал речь, в которой рассуждал, как поступить с землями и городами латинян. Вот как передает Ливий его слова и решение Сената:

«Отцы сенаторы, то, что должно было свершить в Лациуме войной и мечом, милостью богов и доблестью воинов наших ныне окончено. Воинство врагов полегло у Педа и Астуры, земли и города латинян и Анциум, город вольсков, взяты силой или сдались вам на известных условиях. Мы знаем, однако, что племена эти часто восстают, подвергая отечество опасности, и теперь нам остается подумать, как обеспечить себя на будущее время: воздать ли им жестокостью или великодушно их простить. Боги дали вам полную власть решить, должен ли Лациум остаться независимым или вы подчините его на вечные времена. Итак, подумайте, хотите ли вы сурово проучить тех, кто вам покорился, хотите ли вы разорить дотла весь Лациум и превратить в пустыню край, откуда не раз приводили вы в опасное время на помощь себе войска, или вы хотите, по примеру предков ваших, расширить республику Римскую, переселив в Рим тех, кого еще они победили, и этим дается вам случай со славой расширить пределы города. Я же хочу сказать лишь следующее: то государство стоит несокрушимо, которое обладает подданными верными и привязанными к своему властителю; однако дело, которое надо решить, должно быть решено быстро, ибо перед вами множество людей, трепещущих между надеждой и страхом, которых надо вывести из этой неизвестности и обратить их умы к мыслям о каре или о награждении. Долгом моим было действовать так, чтобы и то и другое было в вашей власти; это исполнено. Вам же теперь предстоит принять решение на благо и пользу республики».

Сенаторы хвалили речь консула, но сказали, что дела в восставших городах и землях обстоят различно, так что они не могут говорить обо всех, а лишь о каждом отдельно, и, когда консул доложил о делах каждой земли, сенаторы решили, что ланувийцы должны быть гражданами римскими и получить обратно священные предметы, отнятые у них во время войны; точно так же дали они гражданство римское арицинам, номентанам и педанам, сохранили преимущества тускуланцев, а вину за их восстание возложили на немногих, наиболее подозрительных. Зато велитерны были наказаны жестоко, потому что, будучи уже давно римскими гражданами, они много раз восставали; город их был разрушен, и всех его граждан переселили в Рим. В Анциум, дабы прочно укрепить его за собой, поселили новых жителей, отняли все корабли и запретили строить новые. Можно видеть по этому приговору, как решили римляне судьбу восставших земель; они думали, что надо или приобрести их верность благодеяниями, или поступить с ними так, чтобы впредь никогда не приходилось их бояться; всякий средний путь казался им вредным. Когда надо было решать, римляне прибегали то к одному, то к другому средству, милуя тех, с кем можно было надеяться на мир; с другими же, на кого надеяться не приходилось, они поступали так, что те уже никак и никогда не могли им навредить. Чтобы достигнуть этой последней цели, у римлян было два средства: одно – это разрушить город и переселить жителей в Рим, другое – изгнать из города его старых жителей и прислать сюда новых или, оставив в городе старых жителей, поселить туда так много новых, чтобы старые уже никогда не могли злоумышлять и затевать что-либо против Сената. К этим двум средствам и прибегли римляне, когда разрушили Велитернум и заселили новыми жителями Анциум. Говорят, что история – наставница наших поступков, а более всего поступков князей, что мир всегда населен был людьми, подвластными одним и тем же страстям, что всегда были слуги и повелители, а среди слуг такие, кто служит поневоле и кто служит охотно, кто восстает на господина и терпит за это кару. Кто этому не верит, пусть посмотрит на Ареццо и на всю Вальдикьяну, где в прошлом году творились дела, очень схожие с историей латинских племен. Как там, так и здесь было восстание, впоследствии подавленное, и хотя в средствах восстания и подавления есть довольно заметная разница, но самое восстание и подавление его схожи. Поэтому, если верно, что история – наставница наших поступков, не мешает тем, кто будет карать и судить Вальдикьяну, брать пример и подражать народу, который стал владыкой мира, особенно в деле, где вам точно показано, как надо управлять, ибо как римляне осудили различно, смотря по разности вины, так должны поступить и вы, усмотрев различие вины и среди ваших мятежников. Если вы скажете: мы это сделаем, я отвечу, что не сделано главное и лучшее. Я считаю хорошим решение, что вы оставили правящие органы в Кортоне, Кастильоне, Борго, Фойано, обошлись с ними ласково и сумели благодеяниями вернуть их приязнь, ибо нахожу в них сходство с ланувийцами, арицинами, номентанами и тускуланцами, насчет которых римляне

решили почти так же. Но я не одобряю, что аретинцы, похожие на велитернов и анциан, не подверглись такой же участи, как и те. И если решение римлян заслуживает хвалы, то ваше в той же мере заслуживает осуждения. Римляне находили, что надо либо облагодетельствовать восставшие народы, либо вовсе их истребить, и что всякий иной путь грозит величайшими опасностями. Как мне кажется, вы не сделали с аретинцами ни того, ни другого: вы переселили их во Флоренцию, лишили их почестей, продали их имения, открыто их срамили, держали их солдат в плену – все это нельзя назвать благодеянием. Точно так же нельзя сказать, что вы себя обезопасили, ибо оставили в целости городские стены, позволили пяти шестым жителей остаться по-прежнему в городе, не смешали их с новыми жителями, которые держали бы их в узде, и вообще не сумели так поставить дело, чтобы при новых затруднениях и войнах нам не пришлось тратить больше сил на Ареццо, чем на врага, который вздумает на нас напасть. Вспомните опыт 1498 года, когда еще не было ни восстания, ни жестокого усмирения этого города; все же, когда венецианцы подошли к Библиене, вам пришлось, чтобы отстоять Ареццо, отдать его войскам герцога Миланского, и если бы не ваши колебания, то граф Рануччо со своим отрядом мог бы воевать против врагов в Казентино и не понадобилось бы отзывать из-под Пизы Паоло Вителли, чтобы послать его в Казентино. Однако ненадежность аретинцев заставила вас на это решиться, и вам пришлось встретиться с очень большими опасностями, помимо огромных расходов, которых вы бы избежали, если бы аретинцы остались верными. Сближая, таким образом, то, что было тогда, с тем, что мы видели позже, и с условиями, в которых вы находитесь, можно заключить наверняка, что если на вас, упаси Боже, кто-нибудь нападет, то Ареццо восстанет или вам будет так трудно удержать его в повиновении, что расходы окажутся для города непосильными. Не хочу обойти молчанием и вопрос, можете ли вы подвергнуться нападению или нет и есть ли человек, который рассчитывает на аретинцев.

Не будем говорить о том, насколько вам могут быть страшны иноземные государи, а побеседуем об опасности гораздо более близкой. Кто наблюдал Чезаре Борджа, которого называют герцогом Валентино, тот знает, что, оберегая свои владения, он никогда не думал опираться на своих итальянских друзей, так как венецианцев он ценил низко, а вас еще ниже. Поэтому он, конечно, должен думать о том, чтобы создать себе в Италии такую власть, которая дала бы ему безопасность и заставила бы всякого другого правителя желать его дружбы. Что таково его намерение, что он стремится захватить Тоскану, страну, близко лежащую и пригодную, чтобы образовать вместе с другими его владениями единое королевство, – это вытекает необходимо из причин, о которых сказано выше, из властолюбия герцога и даже из того, что он заставлял вас терять время на переговоры и никогда не хотел заключить с вами договор. Дело теперь только в том, удобное ли сейчас время для его замыслов. Я вспоминаю, как кардинал Содерини говорил, что у папы и у герцога, помимо других качеств, за которые можно было назвать их великими людьми, было еще следующее: оба они большие мастера выбирать удобный случай и, как никто, умеют им пользоваться. Мнение это подтверждено опытом дел, проведенных ими с успехом. Если бы спор шел о том, настала ли сейчас удобная минута, чтобы вас прижать, я бы ответил, что нет, но знайте, что герцог не может выжидать, кто победит, ибо, при краткости жизни папы, времени у него останется мало; ему необходимо воспользоваться первым представившимся случаем и положиться во многом на счастье.

Герцог Валентино только что вернулся из Ломбардии, куда он ездил, чтобы оправдаться перед Людовиком, королем Франции, от клевет, взведенных на него флорентийцами из-за мятежа в Ареццо и в других местностях Вальдикьяны; он находился в Имоле, оттуда намеревался выступить со своими отрядами против Джованни Бентивольо, тирана Болоньи, так как хотел подчинить себе этот город и сделать его столицей своего герцогства Романьи. Когда весть об этом дошла до Вителли, Орсини и других их сторонников, они решили, что герцог становится слишком могуч и теперь надо бояться за себя, ибо, завладев Болоньей, он, конечно, постарается их истребить, дабы вооруженным в Италии остался один только он. Они собрались в Маджоне около Перуджии и пригласили туда кардинала, Паоло и герцога Гравина Орсини, Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, Джанпаоло Бальони, тирана Перуджии, и мессера Антонио да Венаффо, посланного Пандольфо Петруччи, властителем Сиены; на собрании речь шла о мощи герцога, о его замыслах, о том, что его необходимо обуздать, иначе всем им грозит гибель. Кроме того, решили не покидать Бентивольо, постараться привлечь на свою сторону флорентийцев и в оба города послать своих людей, обещая помощь первому и убеждая второй объединиться против общего врага. Об этом съезде стало тотчас же известно во всей Италии, и у всех недовольных властью герцога, между прочим, у жителей Урбино, появилась надежда на перемены. Умы волновались, и несколько жителей Урбино решили захватить дружественный герцогу замок Сан-Лео. Владелец замка в

это время его укреплял, и туда свозили лес для построек; заговорщики дождались, пока бревна, доставлявшиеся в замок, были уже на мосту и загромоздили его настолько, что защитники замка не могли на него взойти, вскочили на мост и оттуда ворвались в замок. Как только об этом захвате стало известно, взбунтовалось все государство и потребовало обратно своего старого герцога, понадеявшись не столько даже на захват крепости, сколько на съезд в Маджоне и на его поддержку. Участники съезда, узнав о бунте в Урбино, решили, что упускать этот случай нельзя, собрали своих людей и двинулись на завоевание всех земель, которые в этом государстве оставались еще в руках герцога, причем снова отправили во Флоренцию послов, поручив им убедить республику соединиться с ними, чтобы потушить страшный для всех пожар, указывая, что враг разбит и другого такого случая уже не дожидаться. Однако флорентийцы, ненавидевшие по разным причинам Вителли и Орсини, не только к ним не присоединились, но послали к герцогу своего секретаря, Никколо Макиавелли, предлагая ему убежище и помощь против его новых врагов; герцог же находился в Имоле в великом страхе, потому что солдаты его совсем для него неожиданно стали его врагами, война была близка, а он оказывался безоружным. Однако, получив предложения флорентийцев, он воспрянул духом и решил тянуть войну с небольшими отрядами, какие у него оставались, заключать с кем можно соглашения и искать помощи, которую готовил дворян: он просил помощи у короля Франции, а со своей стороны нанимал где мог солдат и всяких конных людей, всем раздавая деньги. Враги его все же, продвигаясь вперед, подошли к Фоссомброне, где стояли некоторые отряды герцога, которые и были разбиты Вителли и Орсини. После этого герцог все свои помыслы сосредоточил на одном: попробовать, нельзя ли остановить беду, заключив с врагами сделку; будучи величайшим мастером в притворстве, он не упустил ничего, чтобы втолковать им, что они подняли оружие против человека, который хотел все свои приобретения отдать им, что с него довольно одного титула князя, а самое княжество он хотел им уступить. Герцог так их в этом убедил, что они отправили к нему синьора Паоло для переговоров и прекратили войну. Герцог же своих приготовлений не прекратил и всячески старался набрать как можно больше всадников и пехотинцев; а чтобы приготовления его не обнаружили, он рассылал своих людей отдельными отрядами по всей Романье. Тем временем к нему прибыли пятьсот французских копейщиков, и хотя он был уже настолько силен, что мог отмстить врагам оружием, он все же решил, что вернее и полезнее их обмануть и не прекращать переговоров. Он так усердно вел дело, что заключил с ними мир, которым подтвердил свои прежние договоры с ними о командовании, подарил им четыре тысячи дукатов, обещал не притеснять Бентивольо, даже породнился с Джованни; все это было тем труднее, что он не мог заставить врагов лично к себе явиться. С другой стороны, Орсини и Вителли обязались вернуть ему герцогство Урбино и другие занятые владения, служить ему во всех его походах, без разрешения его ни с кем не вести войны и не заключать союза. После этой сделки Гвидо Убальдо, герцог Урбино, снова бежал в Венецию, разрушив сперва все крепости государства, ибо, доверяя народу и не веря, что он сможет эти крепости защитить, он не хотел отдать их врагу, который, владея замками, держал бы в руках его друзей. Сам герцог Валентино, заключив этот мир и разослав своих людей по всей Романье вместе с французскими солдатами, уехал в конце ноября из Имолы и направился в Чезену, где провел немало времени в переговорах с Вителли и Орсини, находившимися со своими людьми в герцогстве Урбино, завоевание которого приходилось вести с начала; так как дело не двигалось, они послали к герцогу Оливеротто да Фермо, чтобы предложить ему свои услуги, если герцог захочет идти на Тоскану. В противном случае они двинутся на Синигалию. Герцог ответил, что не желает поднимать войну в Тоскане, так как флорентийцы – его друзья, но будет очень рад, если Орсини и Вителли отправятся в Синигалию. Вскоре пришло известие, что город им покорился, но замок сдать не хочет, так как владелец хотел передать его только самому герцогу и никому иному, а потому герцога просят прибыть скорее. Случай показался герцогу удобным и не возбуждающим подозрения, так как не он собирался ехать в Синигалию, а сами Орсини его туда вызвали. Чтобы вернее усыпить противников, герцог отпустил всех французских солдат, которые вернулись в Ломбардию, и оставил при себе только сто копейщиков под командой своего родственника монсе-ньора ди Кандалес; в середине декабря он выехал из Чезены и отправился в фано; там он со всем коварством и ловкостью, на какую только был способен, убедил Вителли и Орсини подождать его в Синигалии, доказав им, что при такой грубости владельца замка мир их не может быть ни прочным, ни продолжительным, а он такой человек, который хочет опереться на оружие и совет своих друзей. Правда, Вителлоццо держался очень осторожно, так как смерть брата научила его, что нельзя сперва оскорбить князя, а потом ему доверяться, но, поддавшись убеждениям Паоло Орсини, соблазненного подарками и обещаниями герцога, он согласился его подождать. Перед отъездом из фано (это было 30

декабря 1502 года) герцог сообщил свои замыслы восьми самым верным своим приближенным, между прочими дону Микеле и монсеньору д'Эуна, который впоследствии был кардиналом, и приказал им, как только они встретят Вителлоццо, Паоло Орсини, герцога Гравина и Оливеротто, сейчас же поставить около каждого из них двух своих, поручить каждого точно известным людям и двигаться в таком порядке до Синигалии, никого не отпуская, пока не доведут их до дома герцога и не схватят. Затем герцог распорядился, чтобы все его воины, конные и пешие (а их было больше двух тысяч всадников и десять тысяч пехотинцев), находились с раннего утра на берегу реки Метавра, в пяти милях от Фано, и там его дожидались. Когда все это войско в последний день декабря собралось на берегу Метавра, он выслал вперед около двухсот всадников, затем послал пехоту и, наконец, выступил сам с остальными солдатами. Фано и Синигалия – это два города в Анконской Марке, лежащие на берегу Адриатического моря и в пятнадцати милях друг от друга; если идти по направлению к Синигалии, то с правой стороны будут горы, подножие которых иногда так приближается к морю, что между горами и водой остается только очень узкое пространство, и даже там, где горы расступаются, оно не достигает двух миль. Расстояние от подножия этих гор до Синигалии немного больше выстрела из лука, а от Синигалии до моря оно меньше мили. Недалеко протекает небольшая речка, омывающая часть стен, которые выходят на дорогу и обращены к городу Фано. Таким образом, если направляться в Синигалию из окрестностей, то большую часть пути надо идти вдоль гор, у самой реки, пересекающей Синигалию, дорога отклоняется влево и, на расстоянии выстрела из лука, идет берегом, а затем поворачивает на мост, перекинутый через реку, и почти подходит к воротам Синигалии, но не прямо, а сбоку. Перед воротами лежит предместье из нескольких домов и площади, которая одной стороной выходит на речную плотину. Вителли и Орсини, приказав дожидаться герцога и желая сами торжественно его встретить, разместили своих людей в замке в шести милях от Синигалии и оставили в Синигалии только Оливеротто с его отрядом в тысячу пехотинцев и сто пятьдесят всадников, расположившихся в предместье, о котором сказано выше.

Отдав, таким образом, необходимые распоряжения, герцог Валентино направился к Синигалии, и, когда головной отряд всадников подъехал к мосту, он не перешел его, а остановился и затем повернул частью к реке, частью в поле, оставив в середине проход, через который, не останавливаясь, прошли пехотинцы. Навстречу герцогу выехали на мулах Вителлоццо, Паоло Орсини и герцог Гравина, сопровождаемые всего несколькими всадниками. Вителлоццо, безоружный, в зеленой шапочке, был в глубокой печали, точно сознавая свою близкую смерть (храбрость этого человека и его прошлое были хорошо известны), и на него смотрели с любопытством. Говорили, что, уезжая от своих солдат, чтобы отправиться навстречу герцогу в Синигалию, он прощался с ними как бы в последний раз. Дом и имущество он поручил начальникам отряда, а племянников своих увещевал помнить не о богатстве их дома, а о доблести отцов. Когда все трое подъехали к герцогу и сердечно его приветствовали, он их принял любезно, и они тотчас же были окружены людьми герцога, которым приказано было за ними следить. Увидав, что не хватает Оливеротто, который остался со своим отрядом в Синигалии и, дожидаясь у места своей стоянки, выше реки, держал своих людей в строю и обучал их, герцог показал глазами дону Микеле, которому поручен был Оливеротто, чтобы тот не допустил Оливеротто ускользнуть. Тогда дон Микеле поскакал вперед и, подъехав к Оливеротто, сказал ему, что нельзя уводить солдат из помещений, так как люди герцога их отнимут; поэтому он предложил ему их разместить и вместе ехать навстречу герцогу. Оливеротто исполнил это распоряжение, и в это время неожиданно подъехал герцог, который, увидев Оливеротто, позвал его, а Оливеротто, поклонившись, присоединился к остальным. Они въехали в Синигалию, спешили у дома герцога и, как только вошли с ним в потайную комнату, были схвачены людьми герцога который сейчас же вскочил на коня и велел окружить солдат Оливеротто и Орсини. Люди Оливеротто были истреблены, так как были ближе, но отряды Орсини и Вителли которые стояли дальше и почуяли гибель своих господ, успели соединиться и, вспомнив доблесть и дисциплину Орсини и Вителли, пробились вместе и спаслись, несмотря на усилия местных жителей и врагов. Однако солдаты герцога, не довольствуясь тем, что ограбили людей Оливеротто, начали грабить Синигалию, и если бы герцог не обуздал их, приказав перебить многих, они разграбили бы весь город. Когда подошла ночь и кончилось волнение герцог решил, что настало удобное время убить Вителлоццо и Оливеротто, приказав отвести их обоих в указанное место и велел их удавить. При этом не обратили никакого внимания на их слова, достойные их прежней жизни: Вителлоццо просил позволить ему вымолить у папы полное отпущение грехов, а Оливеротто, с плачем, сваливал на Вителлоццо вину за все козни против герцога. Паоло и герцог Гравина Орсини были оставлены в живых пока герцог не узнал, что папа в Риме захватил кардинала Орсини, архиепископа Флорентийского, и мессера Джакомо ди Санта Кроче. Когда

известие об этом пришло они были таким же образом удушены в Кагель дель Пизве восемнадцатого января 1502 года.

Покажется, дорогие Дзаноби и Луиджи, удивительным для всякого, кто над этим задумается, что все или большая часть тех, кто свершил в этом мире деяния величайшие и между всеми своими современниками достиг положения высокого, имели происхождение и рождение низкое и темное или же терпели от судьбы всевозможные удары. Ибо все они либо были подкинута зверям, либо имели отцом столь ничтожного человека, что, стыдясь его, объявляли себя детьми Юпитера или иного бога. Кто были такие люди, всякому в достаточной мере известно; повторять это было бы скучно и мало приятно для читателя; опустим это как совершенно лишнее. Думаю, что указанное происходит от того, что природа, желая доказать, что великими делает людей она, а не благоразумие, начинает показывать свои силы в такой момент, когда благоразумие не может играть никакой роли, и становится ясно, что люди всем обязаны именно ей.

Одним из таких людей был Каструччо Кастракани из Лукки. Принимая во внимание время, когда он жил, и город, где он родился, свершил он дела величайшие. И происхождение его не было ни более счастливым, ни более славным, чем у других знаменитых людей, как выяснится из описания его жизни. Мне казалось полезным восстановить ее в памяти людей, так как в ней, думается мне, я нашел много такого, что может послужить замечательнейшим примером способностей и счастья. И решил я посвятить это описание вам, так как из всех людей, кого я знаю, вам больше всего доставляют удовольствие славные деяния.

Итак, скажу, что семья Кастракани принадлежит к знатным семьям города Лукки, хотя судьбе было угодно устроить так, что в наше время она уже не существует. К ней принадлежал некий Антонио, который вступил в духовное звание, сделался каноником церкви Сан-Микеле в Лукке и в знак почта звался мессер Антонио. Близких у него не было никого, кроме одной сестры, которую он выдал замуж за Буонаккорсо Ченнами. Когда Буонаккорсо умер и жена его осталась вдовой, она решила поселиться у брата и не вступать больше в брак.

У мессера Антонио за домом, где он жил, был виноградник, в который было очень нетрудно проникнуть с разных сторон, так как он соприкасался со многими садами.

Случилось однажды, что мадонна Дианора (так звали сестру мессера Антонио) рано утром, вскоре после восхода солнца, пошла в виноградник погулять и собрать, как это делают женщины, кое-каких трав для приправы к кушаньям. И показалось ей, что под одной лозой между листьями что-то шевелится, а когда она присмотрелась, ей послышался плач. Она пошла по направлению этих звуков и увидела ручки и лицо ребенка, который, запутавшись в листьях, казался, просил помощи. Удивленная и вместе с тем испуганная, охваченная состраданьем и ошеломленная, она подняла ребенка, понесла его в дом, выкупала, завернула, как полагается, в белые ткани и, когда пришел мессер Антонио, показала ему. Он, выслушав ее рассказ и увидев младенца, был удивлен и разжалоблен не меньше, чем сестра. Посоветовавшись между собой о том, что делать с младенцем, они решили, так как он был священником, воспитать его. Они взяли в дом кормилицу и стали растить ребенка с такой любовью, как если бы он был их собственным сыном.

Они его окрестили и назвали именем своего отца – Каструччо.

С годами Каструччо становился все более и более привлекательным и обнаруживал во всем ум и благоразумие. Вскоре он стал учиться тому, что мессер Антонио, принимая во внимание его возраст, ему преподавал. Ибо он решил, что сделает его священником и со временем откажется в его пользу от канониката и от других своих бенефиций. И учил его, имея в виду эту цель. Но он нашел в своем ученике такие наклонности, которые совершенно не подходили к священническому званию. Ибо, не достигши еще и четырнадцатилетнего возраста, он начал проявлять дух самостоятельности перед мессером Антонио, а мадонны Дианоры совсем перестал бояться и, оставив церковные книги, начал учиться владеть оружием. Теперь только и доставляло ему удовольствие, что фехтованье, бег взапуски с товарищами, прыганье, борьба и другие подобные упражнения. В них он обнаружил замечательные способности, как душевные, так и телесные, и далеко превзошел всех своих сверстников. А если он и читал иногда что-нибудь, то увлекали его лишь такие книги, в которых говорилось о войнах и о подвигах великих людей. Все это причиняло мессеру Антонио несказанное огорчение и очень его печалило.

Был в городе Лукке дворянин из рода Гуиниджи, по имени мессер Франческо, который богатством, любезностью и доблестью далеко оставлял за собою всех других жителей Лукки. Его промыслом была война, и он долго воевал под начальством Висконти Миланского. Он был гибеллином и из всех других сторонников этой партии пользовался наибольшим уважением в Лукке. Проживая в Лукке и сходясь с другими гражданами вечером и утром в лоджию подесты, которая находится в начале площади Сан-Микеле, первой из городских площадей, он много раз видел, как Каструччо с другими мальчиками с ближайших улиц занимались упражнениями, о которых я говорил

выше. И так как мессеру Франческо показалось, что Каструччо не только превосходит всех других, а еще пользуется над ними царственным влиянием и что они любят и почитают его в высокой степени, – ему очень захотелось узнать, кто этот мальчик. Окружающие рассказали ему все, и он загорелся еще более сильным желанием взять его к себе. И однажды, подозвав его, он спросил, где бы он стал жить более охотно: в доме дворянина, который бы его учил ездить верхом и обращаться с оружием, или в доме священника, где он только и слышит, что службы и обедни. Мессер Франческо увидел, как обрадовался Каструччо, услышав о лошадях и об оружии. Но он немного стеснялся, и мессеру Франческо пришлось подбодрить его, чтобы он заговорил. Тогда он сказал, что если позволит его учитель, то для него не будет большей радости, как оставить духовное ученье и приступить к воинским занятиям. Мессеру Франческо очень понравился ответ Каструччо, и через несколько дней он добился того, что мессер Антонио уступил ему мальчика. Побудило каноника к этому больше всего то, что, зная натуру своего питомца, он понимал, что не сможет долго вести его в том направлении, в каком вел.

Таким образом, Каструччо перешел из дома каноника мессера Антонио Кастракани в дом кондотьера мессера Франческо Гуиниджи. И нужно удивляться, в какое необыкновенно короткое время он преисполнился всех достоинств и усвоил все манеры, какие требуются от настоящего дворянина. Прежде всего он сделался великолепным наездником. С величайшей ловкостью управлял он любой самой горячей лошастью, а в воинских играх и турнирах, хотя был молод, отличался больше всех и не встречал себе в состязаниях соперника ни по силе, ни по ловкости. И был он к тому же замечательного нрава, отличался несказанной скромностью, так что никто не знал за ним поступка и не слышал от него слова, которые могли бы вызвать осуждение. Он был почителен со старшими, скромн с равными, любезен с низшими. Все это заставляло любить его не только всю семью Гуиниджи, но и весь город Лукку.

Случилось в это время – Каструччо уже минуло восемнадцать лет, – что в Павии гибеллины были изгнаны гвельфами. На помощь им Висконти Миланским был послан Франческо Гуиниджи. С ним вместе отправился и Каструччо, которому был вверен отряд на полную его ответственность. В этом походе Каструччо дал такие доказательства благоразумия и мужества, что никто из участников кампании не приобрел большего расположения у кого бы то ни было, чем он. И не только в Павии, но во всей Ломбардии он заслужил большое и почетное имя.

Вернулся в Лукку Каструччо окруженный гораздо большим уважением, чем до отъезда, и делал все, что было возможно, чтобы приобрести себе друзей, не упуская ни одного способа, какие необходимы для привлечения людей. Мессер Франческо тем временем умер, и так как у него был тринадцатилетний сын по имени Паголо, то попечителем его и управляющим своими имениями он назначил Каструччо. Перед смертью он призвал его к себе и просил, чтобы он постарался воспитать его сына с такими же добрыми чувствами, с какими был им воспитан он сам, и чтобы ту признательность, которую он не успел воздать отцу, он воздал сыну. Когда мессер Франческо умер, Каструччо остался воспитателем и попечителем Паголо. Его слава и его могущество выросли настолько, что расположение, которым он пользовался в Лукке, частью перешло в зависть и многие осыпали его клеветами, как человека подозрительного и скрывающего тиранические планы. Первым между его недругов был мессер Джорджо дельи Опици, глава гвельфской партии. Он надеялся после смерти мессера Франческо сделаться синьором Лукки, и ему казалось, что Каструччо, оставшийся в правящих кругах благодаря расположению, завоеванному его достоинствами, отнял у него всякую к этому возможность, поэтому распускал о нем всякие слухи, чтобы лишить его популярности. Сначала Каструччо относился к этому с пренебрежением. Но потом стал беспокоиться, как бы происки Джорджо не вызвали к нему немилости у викария короля Роберта Неаполитанского и не побудили его изгнать его из Лукки.

В это время синьором Пизы был Угуччоне делла Фаджоло из Ареццо, который сначала был выбран пизанцами капитаном, потом захватил власть над городом. У Угуччоне нашли приют некоторые гибеллины, изгнанные из Лукки. Каструччо поддерживал с ними сношения, желая с помощью Угуччоне дать им возможность вернуться. Эти свои планы он сообщил в Лукке нескольким друзьям, которые не хотели больше терпеть власть семьи Опици. Дав им указания, как действовать, он тайно укрепил башню Онести, снабдил ее военными припасами и продовольствием так, что в случае необходимости в ней можно было продержаться в течение нескольких дней. И, сговорившись с Угуччоне, когда настала ночь, дал ему сигналы. Угуччоне с многочисленным войском спустился в равнину между горами и Луккой и, увидев сигнал, подступил к воротам Сан-Пьеро и поджег передовые укрепления. Каструччо с другой стороны поднял тревогу, призывая народ к оружию, и овладел воротами изнутри. Угуччоне и его люди ворвались в город, рассыпались по всем улицам и убили мессера Джорджо вместе со всей семьей, многих его друзей и

сторонников. Губернатор был изгнан. Конституция Лукки была изменена так, как это было угодно Угуччоне, к великому ущербу города, ибо более ста семейств были из него изгнаны. Бежавшие отправились частью во Флоренцию, частью в Пистойю, где власть принадлежала гвельфам. Следствием этого было то, что оба города сделались враждебны Угуччоне и лукканцам.

Так как флорентийцам и другим гвельфам стало казаться, что гибеллинская партия приобрела чересчур большую силу в Тоскане, они сговорились между собою вернуть на родину изгнанников. И, собрав большое войско, пришли в Вальдиньевале и заняли Монтекатини, а оттуда двинулись в Монте-Карло и обложили его, чтобы иметь свободный путь к Лукке. Но Угуччоне, сосредоточив крупные силы, пизанские и лукканские, а также значительный конный отряд из немцев, который был ему прислан из Ломбардии, пошел навстречу флорентийцам. Они же, как только узнали о его приближении, сняли осаду Монте-Карло и расположились между Монтекатини и Пешией. Угуччоне занял позицию в двух милях от них, под Монте-Карло. В течение нескольких дней между враждебными войсками происходили лишь кавалерийские стычки, ибо вследствие болезни Угуччоне пизанцы и лукканцы избегали решительного сражения.

Но так как Угуччоне становилось все хуже, он отправился для лечения в Монте-Карло, вверив команду Каструччо, что сделалось причиной поражения гвельфов. Решив, что неприятельское войско останется без вождя, они воспрянули духом, а Каструччо, узнавши об этом, чтобы укрепить их в этом убеждении, прождал еще несколько дней, делая вид, что боится, и не позволял никаким вооруженным силам выходить из лагеря. Гвельфы же, видя, как трусит противник, становились все более дерзкими и каждый день, построившись для битвы, выходили навстречу Каструччо. Когда последний познакомился с их боевым порядком и ему стало казаться, что гвельфы осмелели достаточно, он решил принять сражение. Прежде всего он обратился к своим солдатам со словами ободрения, доказывая им, что победа будет обеспечена, если они будут исполнять его приказание.

Каструччо видел, что неприятель поставил лучшие свои силы в центре, а более слабые – на флангах. Сам он поступил наоборот: сильнейшие свои части расположил на обоих крыльях, а те, на которые рассчитывал меньше, – в центре. В таком построении он выступил из лагеря, как только увидел появление противника, который, согласно своему обыкновению, вышел к нему навстречу. Центру своему он приказал двигаться медленно, а флангам скомандовал наступать со всей стремительностью. Поэтому, когда войска сошлись, на обоих флангах сейчас же завязался бой, а центры бездействовали, ибо центр Каструччо отстал настолько, что гвельфы не могли прийти с ним в соприкосновение. Таким образом, лучшие части Каструччо бились со слабейшими силами неприятеля, а лучшие силы неприятеля стояли без пользы, не будучи в состоянии ни ударить на тех, кто был перед ними, ни оказать помощь своим. Оба крыла гвельфов вследствие этого сопротивлялись недолго и повернули в тыл, а центр, видя, что фланги его обнажены, лишенный возможности показать свою доблесть, тоже обратился в бегство. Поражение было полное и потери гвельфов огромны. Убитых насчитывалось больше 10 000 человек, в числе которых было много вождей и именитых рыцарей гвельфской партии со всей Тосканы, а кроме того, несколько влиятельных особ, пришедших к гвельфам на помощь; среди них – Пьеро, брат короля Роберта, Карло, его племянник, и Филиппо, синьор города Тарента. Каструччо потерял не больше 300 человек, в их числе был франческо, сын Угуччоне, безрассудно смелый юноша, павший при первом столкновении.

Поражение гвельфов создало великую славу имени Каструччо настолько, что Угуччоне проникся такой завистью к нему и стал так опасаться за свою власть, что только и думал о том, как его погубить: ему казалось, что эта победа отняла у него синьорию, а не укрепила ее. Обдумывая положение, он ожидал подходящего случая для выполнения своих планов. В это время случилось, что был убит Пьер Аньоло Микели из Лукки, человек почтенный и очень уважаемый; убийца его нашел приют в доме Каструччо, который прогнал стражу, явившуюся арестовать его, и вдобавок помог ему бежать. Когда Угуччоне, находившийся в это время в Пизе, узнал об этом, он решил, что у него справедливый повод для наказания Каструччо. Он призвал сына своего Нери, которого он назначил перед тем синьором Лукки, и поручил ему, пригласив под каким-нибудь предлогом Каструччо, схватить его и предать смерти. И когда Каструччо отправился однажды запросто во дворец, не подозревая о готовящейся ловушке, Нери сначала удержал его у себя к обеду, а потом арестовал. Но он не решился умертвить Каструччо без всякой судебной процедуры, боясь народного волнения, и потому держал его в заключении, ожидая от отца подробных распоряжений, как ему поступить. Угуччоне выразил сыну свое недовольство его медлительностью и нерешительностью и, чтобы кончить с этим делом, сам отправился из Пизы в Лукку во главе четырехсотенного конного отряда. Но еще прежде, чем он доехал до Баньи, пизанцы восстали с оружием в руках, убили

его заместителя и членов его семьи, оставшихся в Пизе, и провозгласили синьором графа Гаддо делла Герардеска. Угуччоне узнал о происшествиях в Пизе еще до прибытия в Лукку и решил не возвращаться обратно, чтобы и лукканцы, по примеру Пизы, не закрыли перед ним ворот. Но несмотря на то, что он вступил в Лукку, жители города, как бы желая добиться освобождения Каструччо, начали прежде всего собираться на площадях и высказывать свои мнения, не считаясь ни с чем, потом стали волноваться и, наконец, взялись за оружие, требуя Каструччо. Дело приняло такой оборот, что Угуччоне, опасаясь худшего, выпустил его из заключения. А он, едва получив свободу, собрав друзей и поддерживаемый народом, выступил против Угуччоне. Тому не оставалось ничего другого – ибо помощи ему ждать было неоткуда, – как вместе со своими сторонниками бежать из города. Он отправился в Ломбардию к синьорам делла Скала. Там он и умер в бедности.

Каструччо, став из пленника как бы синьором Лукки, стал действовать с помощью друзей и использовал внезапно вспыхнувшие симпатии народа так искусно, что был избран начальником вооруженных сил города сроком на один год. Добившись этого, он решил, чтобы создать себе боевую славу, вернуть Лукке многие города, взбунтовавшиеся после бегства Угуччоне. Сговорившись с пизанцами, которые прислали ему подмогу, он двинулся к Сарцане, которую обложил. Чтобы взять ее, он построил на господствующей высоте бастион – флорентийцы потом обвели его стеною и назвали Сарцаннелло – и через два месяца вынудил ее к сдаче. Непрерывно увеличивая свою славу, он взял вслед за тем Массу, Каррару и Лавенцу и в короткое время завладел всей Луниджаной, а чтобы закрыть проход, который вел в Луниджану из Ломбардии, захватил Понтремоло, изгнав оттуда мессера Анастаджо Паллавизини, который был синьором города. Вернувшись в Лукку после этого победоносного похода, он был встречен всем народом. Решив после этого не медлить с подчинением себе города, он подкупил Паццино дель Поджо, Пуччинелло дель Портико, франческо Боккансакки и Чекко Гуиниджи, пользовавшихся большим влиянием, и с их помощью захватил власть. Народ в торжественном собрании провозгласил его государем.

В это время в Италию прибыл король римский Фридрих Баварский, чтобы быть увенчанным императорской короною. Каструччо добился его дружбы и отправился навстречу к нему во главе пятисот конных воинов, оставив своим заместителем в Лукке Паголо Гуиниджи, которого в память об его отце он любил так, как если бы он был его собственным сыном. Фридрих встретил Каструччо с почетом, осыпал его милостями и сделал своим викарием в Тоскане. А так как пизанцы изгнали Гаддо делла Герардеска и из страха перед ним обратились к Фридриху за помощью, король сделал Каструччо синьором Пизы, а пизанцы, боясь гвельфов, особенно флорентийцев, приняли его.

После отбытия в Германию Фридриха, оставившего в Риме своего губернатора, все тосканские и ломбардские гибеллины, бывшие сторонниками императора, стали обращаться к Каструччо, предлагая ему каждый синьорию над своим городом, если он поможет им вернуться. Среди них были Маттео Гвиди, Нардо Сколари, Лапо Уберти, Джероццо Нарди и Пьеро Бонаккорси – все гибеллины и флорентийские изгнанники. Рассчитывая при их помощи и с силами, которыми он располагал, сделатья синьором всей Тосканы, Каструччо, чтобы нагнать на противников еще больше страха, заключил соглашение с Маттео Висконти, государем миланским, и начал вооружать весь город и всю свою территорию. Так как в Лукке было пять ворот, он разделил территорию на пять частей, каждую вооружил и каждой дал начальников и знамена. Таким образом, он сразу сосредоточил в своих руках двадцатипятитысячную армию, не считая той помощи, которую могла послать ему Пиза. В то время как он был окружен своими войсками и своими друзьями, Маттео Висконти подвергся нападению пьячентинских гвельфов, которые только что изгнали своих гибеллинов и получили помощь людьми от флорентийцев и короля Роберта. И мессер

Маттео просил Каструччо, чтобы он атаковал флорентийцев и вынудил их отозвать свои войска из Ломбардии для защиты собственных очагов. Поэтому Каструччо с большими силами вступил в Вальдарно, занял Фучеккио и Сан-Миниато и причинил большое разорение стране. Флорентийцы действительно вынуждены были, подчиняясь необходимости, отозвать свои войска. Едва они добрались до Тосканы, как другая необходимость заставила Каструччо вернуться в Лукку.

Была в этом городе семья Поджо, пользовавшаяся большим влиянием по той причине, что члены ее содействовали не только возвышению Каструччо, но и провозглашению его государем Лукки. Так как им казалось, что они не получили за свои заслуги достаточного воздаяния, то они сговорились с другими семьями в Лукке взбунтовать город и изгнать Каструччо. И, воспользовавшись однажды утром каким-то случаем, они с оружием в руках напали на заместителя Каструччо, которому он поручил ведение судебных дел, и убили его. Они собирались продолжать свое дело и призвать народ к восстанию, когда навстречу им вышел Стефано ди Поджо, старый и миролюбивый человек, не участвовавший в заговоре, и благодаря своему авторитету

заставил своих родичей положить оружие, предлагая им стать посредником между ними и Каструччо и получить от него все, чего они желают. Слага оружие, они проявили не больше благоразумия, чем поднимая его. Ибо Каструччо, едва узнав о волнениях в Лукке, не теряя времени, с частью своих сил поспешил в город, оставив командование армией Паголо Гуиниджи. И, найдя, вопреки своему ожиданию, волнения прекратившимися и усмотрев новую возможность укрепить свое положение, он занял наиболее важные пункты в городе своими вооруженными сторонниками. Стефано ди Поджо, уверенный, что Каструччо должен быть ему признателен, отправился к нему. Он просил не за себя, ибо не думал, что он в этом нуждается, а за своих родичей. Он умолял Каструччо принять во внимание их молодость, старую дружбу его со своей семьей и то, чем он был ей обязан. Каструччо отвечал благосклонно, убеждал его не опасаться ничего, говоря, что ему более приятно видеть, что волнения улеглись, чем было неприятно узнать, что они вспыхнули. И просил Стефано привести всех к себе, говоря, что благодарит Бога за то, что он дает ему возможность доказать свое милосердие и великодушие. Поверив Стефано и Каструччо, все пришли и были все вместе – Стефано в том числе – заключены в тюрьму и преданы смерти.

За это время флорентийцы взяли обратно Сан-Миниато, и Каструччо решил прекратить эту войну, ибо боялся удалиться из Лукки, пока его положение там не упрочится. Когда он предложил флорентийцам мир, они сейчас же согласились, так как и они были утомлены и хотели положить конец расходам. Мир был заключен на два года, и стороны остались при тех владениях, которые были у каждой из них.

Разделавшись с войною, Каструччо, чтобы не подвергаться больше такой опасности, какой подвергался только что, под разными предложениями и разными способами истребил в Лукке всех, кто мог из честолюбия стремиться к власти. Он не щадил никого, подвергал изгнанию, отнимал имущество, а кого мог захватить – лишал жизни, говоря, что узнал на опыте, что никто из них не может быть ему верен. И для большей своей безопасности он воздвиг в Лукке крепость, на постройку которой пошли камни от башен, принадлежавших изгнанным и казненным.

Пока продолжался мир с флорентийцами и Каструччо укреплял свое положение в Лукке, он не упускал случая увеличить свои владения, не прибегая к открытой войне. У него было большое желание завладеть Пистойей, так как он был уверен, что если она будет принадлежать ему, то он одной ногою уже будет стоять во Флоренции. И всеми способами он старался создать себе друзей повсюду в горах. А с партиями в самой Пистойе он вел себя так ловко, что каждая ему доверяла. В это время, как, впрочем, и всегда, этот город был разделен на две партии: Белых и Черных. Вождем Белых был Бастиано ди Поссенте, Черных – Якопо да Джа. Оба они находились в теснейших сношениях с Каструччо, и каждый желал изгнать из города другого. Взаимные подозрения между ними все увеличивались, и наконец дело дошло до оружия. Якопо укрепился у флорентийских ворот, Бастиано – у лукканских. И так как каждый больше возлагал надежд на Каструччо, чем на флорентийцев, и считал его более подвижным и скорым на военные действия, то оба тайно просили его о помощи, и он обещал ее обоим. Якопо он велел передать, что придет сам, а Бастиано – что пришлет Паголо Гуиниджи, своего воспитанника. И, назначив точное время, он послал Паголо к Пистойе через Пешию, а сам двинулся прямо. Ровно в полночь, как было уговорено, Каструччо и Паголо подошли к Пистойе и оба были приняты как друзья. Когда они вошли в город и Каструччо решил, что можно действовать, он дал знак Паголо, и немедленно один заколол Якопо да Джа, другой – Бастиано ди Поссенте. Все их сторонники частью были захвачены, частью перебиты. Вслед за тем город был занят без дальнейшего сопротивления. Синьория была выгнана из дворца, и Каструччо принудил народ подчиниться ему, объявив о сложении старых долгов и пообещав много другого. Так же действовал он и по отношению к области, жители которой сошлись в большом количестве посмотреть нового государя. И все успокоились, полные надежд и больше всего уповая на его доблести.

В это время случилось, что народ римский начал волноваться вследствие дороговизны, причиною которой считал отсутствие папы, находившегося в Авиньоне. Против немецкого губернатора поднимался ропот. Ежедневно происходили убийства и другие беспорядки, а Генрих, губернатор, ничем этому не мог помочь. И начал он бояться, как бы римляне не призвали короля Роберта Неаполитанского, не прогнали его и не вернулись под власть папы. Не имея друга, к которому он мог прибегнуть, более близкого, чем Каструччо, он отправил ему просьбу не просто прислать ему подмогу, а прибыть в Рим самому. Каструччо решил, что откладывать не приходится, как ради того, чтобы оказать услугу императору, так и из того соображения, что пока в Риме не будет императора, дела там не поправятся, если не прибудет туда он. Поэтому, оставив в Лукке Паголо Гуиниджи, он выступил в Рим во главе шестисот конников и был принят Генрихом с величайшим почетом. И в самое короткое время его присутствие так укрепило положение императорской партии, что без

насилий и кровопролития улеглись все волнения. Ибо Каструччо приказал доставить морем из Пизы большое количество хлеба, чем была устранена главная причина ропота, а вожаков города, частью уговорами, частью наказаниями, заставил вновь признать власть Генриха. За это римский народ провозгласил Каструччо сенатором Рима и оказал ему многие другие почести. Новую свою должность Каструччо принял в очень торжественной обстановке. Он был облачен в бархатную тогу с надписями – спереди: «Он стал тем, что хотел Бог», а сзади: «Он будет тем, чем захочет Бог».

Между тем флорентийцы, негодовавшие на Каструччо за то, что он завладел Пистойей, нарушив мир, думали о том, каким образом можно взбунтовать город против него. Им казалось, что в его отсутствие сделать это будет нетрудно. Среди пистолезских изгнанников во флоренции находились Бальдо Чекки и Якопо Бальдини, оба с большим влиянием и готовые на всякое рискованное предприятие. Они сговорились с друзьями, находившимися в городе, и с помощью флорентийцев однажды ночью ворвались в Пистойю, выгнали оттуда сторонников Каструччо и поставленные им власти, часть которых была перебита, и вернули городу свободу. Известие об этом очень огорчило и разгневало Каструччо. Расставшись с Генрихом, он усиленными маршами прибыл в Лукку. Флорентийцы же, узнав о его возвращении и думая, что он не будет медлить, решили опередить его и занять своими войсками Вальдиньеволе раньше него. Они были уверены, что если они овладеют этой долиной, они отрежут ему путь к Пистойе. Поэтому, собрав большие силы из всех сторонников гвельфской партии, они двинулись в область Пистойи. Каструччо же со своими людьми подошел к Монте-Карло и, узнав, где находятся флорентийцы, решил не идти навстречу к ним в равнину Пистойи и не ждать их в равнине Пешии, а постараться загородить им дорогу в ущелье Серравалле. Он рассчитывал, в случае удачи этого плана, одержать победу наверняка. У флорентийцев было в общей сложности 30 000 человек, а у него только 12 000, но отборных. И хотя он был уверен в своих способностях и в их доблести, он все-таки боялся, что в открытом поле будет окружен превосходящими силами неприятеля.

Серравалле – замок между Пешией и Пистойей. Он стоит на возвышенности, замыкающей Вальдиньеволе, не на самом перевале, а над ним в двух полетах стрелы. Проход очень узкий, но не крутой: с обеих сторон подъем отлогий, но настолько тесный, особенно на седле, где водораздел, что его могут занять двадцать человек, поставленные в ряд. Каструччо решил встретить неприятеля как раз в этом месте: во-первых, чтобы его малые силы оказались в наиболее благоприятных условиях, а во-вторых, чтобы они обнаружили противника не раньше, чем завяжется бой, ибо боялся, чтоб его войско, увидя огромную их массу, не заколебалось. Серравалле находился во власти немецкого рыцаря Манфреда, которому был поручен еще до того, как Каструччо сделался синьором Пистойи, лукканцами и пистолезцами, ибо замок принадлежал им совместно. С тех пор он владел замком, не обеспокоенный никем, ибо он всем обещал быть нейтральным и не поддерживать преимущественно ни одну, ни другую сторону. По этой причине, а также потому, что замок был крепкий, Манфред продолжал в нем держаться. Но когда обстоятельства сложились так, как описано, Каструччо решил занять это укрепление. И так как в замке находился один из его близких друзей, он сговорился с ним, что накануне сражения тот впустит в Серравалле четыреста человек его солдат и умертвит его синьора.

Подготовив таким образом все, он продолжал стоять с войском у Монте-Карло, чтобы поощрить флорентийцев двигаться вперед смелее. А они, желая перевести военные действия подальше от Пистойи и сосредоточить их в Вальдиньеволе, разбили лагерь ниже Серравалле, с тем чтобы на другой день переправиться через перевал. Но Каструччо ночью без шума овладел замком и, покинув в полночь Монте-Карло, в полной тишине подошел к подножию Серравалле. Поутру он и флорентийцы, каждый со своей стороны, одновременно начали подниматься к седловине перевала. Пехоту свою Каструччо повел обычным путем, а конный отряд в 400 человек послал в обход замка слева. У флорентийцев впереди двигались 400 человек легкой кавалерии, следом за ними шла их пехота, а замыкала строй тяжелая конница. Они не ожидали встретить Каструччо на перевале и не подозревали, что он успел овладеть замком. Поэтому флорентийские всадники, поднявшись к седловине, неожиданно увидели пехоту Каструччо, которая оказалась так близко от них, что они едва успели надеть шлемы. И, не ожидая нападения, они были атакованы противником, готовым к их встрече и построенным именно для такого боя; поэтому атака велась с величайшей настойчивостью, а сопротивление было вялое. Некоторая часть все-таки билась хорошо, но когда шум сражения стал доноситься до остальной флорентийской армии, в ней началось смятение. Конницу теснила пехота, пехоту – конница и телеги; вожди вследствие узости прохода не могли пройти ни вперед, ни назад, и никто не знал в суматохе, что нужно делать и что можно. Конница, которая билась с пехотой Каструччо, была разбита и уничтожена, не будучи в состоянии защищаться, скорее из-за неудобства местности, чем из доблести, ибо, имея с боков горы, сзади – своих, а впереди – неприятеля, они были лишены возможности бежать.

Каструччо, видя, что его сил не хватает для того, чтобы обратить в бегство флорентийцев, послал пехотинцев в обход через замок. Они спустились вниз вместе с 400 кавалеристов, которые проникли туда раньше, и с такой яростью ударили во фланг неприятелю, что флорентийцы, не будучи в состоянии выдержать их натиск, побежденные больше местностью, чем противником, начали отступать. Первыми обратились в бегство те, которые были в задних рядах, ближе к Пистойе. Они рассыпались по равнине, и каждый старался спастись как только мог лучше. Поражение было великое и кровопролитное. В плен попали многие из вождей, в том числе Бандино деи Росси, Франческо Брунеллеско и Джованни делла Тоза – все флорентийские дворяне, а с ними и другие, тосканцы и неаполитанцы: последние были посланы королем Робертом в помощь гвельфам и сражались вместе с флорентийцами.

Пистолезцы, узнав о поражении, немедленно выгнали партию, дружественную гвельфам, и сдались Каструччо. Он, не удовлетворившись этим, занял Прато и все укрепленные замки на равнине, как по ту, так и по эту сторону Арно, и расположился с войском у Перетолы, в двух милях от Флоренции. Там он простоял много дней, деля добычу и празднуя победу, чеканя монету, чтобы показать пренебрежение к флорентийцам, и устраивая бега лошадей, женщин легкого поведения и мужчин. Пытался он также подкупить кое-кого из флорентийских дворян, чтобы ему ночью были открыты городские ворота. Но заговор был обнаружен, схвачены и обезглавлены Томмазо Лупаччи и Ламбертуччо Фрескобальди.

В отчаянии от поражения, флорентийцы не находили способа спасти свою свободу. Чтобы обеспечить себе помощь, они отправили послов к Роберту, королю неаполитанскому, с предложением отдать ему город и власть над ним. Предложение королем было принято не потому, что он ценил честь, оказанную ему флорентийцами, а потому, что знал, насколько важно для него самого, чтобы гвельфская партия удержала власть в Тоскане. Он сговорился с флорентийцами, что они будут платить ему ежегодно 200 000 флоринов, и отправил во Флоренцию сына своего Карла с 4000 всадников.

Между тем флорентийцы несколько освободились от людей Каструччо, так как ему пришлось покинуть их территорию и спешить в Пизу, чтобы справиться с заговором против него, устроенным Бенедетто Ланфранки, одним из первых граждан города. Последний, не будучи в состоянии снести, что его родина подпала под иго лукканца, сговорился с другими занять городскую цитадель, прогнать ее охрану и перебить сторонников Каструччо. Но так как в этих делах малое число способствует сохранению тайны, но недостаточно для действия, он стал набирать побольше людей в помощь себе, и нашел такого, который раскрыл все Каструччо. Не обходясь без предательства со стороны Бонифаччо Черки и Джованни Гвиди, флорентийских изгнанников, находившихся в Пизе. Каструччо, захватив Ланфранки, умертвил его, остальных членов семьи отправил в ссылку и многим знатым гражданам приказал отрубить головы. А так как ему казалось, что Пистойя и Прато не очень ему верны, он старался ловкостью и силой укрепить в обоих городах свою власть. Все это дало возможность флорентийцам собраться с силами и спокойно ожидать прихода Карла. Когда же он явился, было решено не терять времени. Собрано было много людей, ибо на помощь Флоренции пришли почти все гвельфы Италии. Составилось огромное войско, больше чем в 30 000 пехоты и 10 000 конницы. Посоветовавшись, куда прежде всего направить удар – на Пистойю или на Пизу, решили, что лучше атаковать Пизу, ибо это было легче осуществить вследствие недавнего заговора в городе и потому еще, что в случае захвата Пизы Пистойя не могла не сдать сама.

Выступив с этим войском в начале мая 1328 года, флорентийцы сразу заняли Ластру, Синью, Монтелупо и Эм-поли и подошли со всеми силами к Сан-Миниато. Со своей стороны, Каструччо, узнав, какую огромную армию выставили против него флорентийцы, несколько не испугался, а, наоборот, решил, что настал момент, когда фортуна должна отдать во власть его всю Тоскану. Ибо он был убежден, что неприятель обнаружит не больше доблести, чем при Серравалле, а собраться с силами, как тогда, после нового поражения он не сможет, и, сосредоточив 20 000 пехоты и 4000 конницы, занял позицию у Фучеккио, а Паголо Гуиниджи отправил с 5000 пехоты в Пизу.

Фучеккио занимает самую крепкую позицию из всех замков Пизанской области. Он стоит на небольшом возвышении в равнине между Гушианой и Арно. Находясь там, можно было беспрепятственно получать провиант из Лукки или из Пизы, ибо, чтобы этому помешать, неприятелю пришлось бы разделить свои силы. И лишь с великой невыгодой он мог атаковать эту позицию или двигаться на Пизу, так как в первом случае он должен был оказаться в клещах между Каструччо и пизанским отрядом, а во втором, вынужденный переправляться через Арно, он должен был оставить противника в тылу и, следовательно, подвергнуться большой опасности. Каструччо хотелось, чтобы флорентийцы решились переправиться через реку, поэтому он не занял берега Арно своими людьми, а стал под самыми стенами Фучеккио, оставив

большое пространство между собою и рекой.

Флорентийцы, овладев Сан-Миниато, стали совещаться, что им делать: двигаться на Пизу или атаковать Каструччо, и, взвесив трудности того и другого, решили в конце концов повести наступление на него. Вода в Арно стояла так низко, что можно было перейти реку вброд, хотя все-таки приходилось окунаться пехотинцам по плечи, а лошадям – до седла. Утром 10 июня флорентийцы в боевом порядке начали переправлять часть своей кавалерии и пехотный отряд в 10 000 человек. Каструччо, который стоял готовый к бою и имея четкий план в голове, ударил на них с 5000 пехоты и 3000 конницы. Он завязал бой, не дав всем им выбраться из воды, а одновременно послал по тысячному отряду легкой пехоты вверх и вниз по берегу. Пехота флорентийская была отягчена водою и вооружением и не вся выкарабкалась на берег. Первые лошади, которые прошли по броду, истоптали дно Арно и сделали переправу для других более тяжелой. Лошади теряли дно, и одни поднимались на дыбы, другие увязали в грязи настолько, что не могли вытянуть из нее ноги. Вожди флорентийские, видя, что переправа в этом месте трудная, попробовали передвинуть ее выше по реке, чтобы найти грунт неиспорченный, а противоположный берег более легкий. Но здесь их встретил тот пехотный отряд, который был послан Каструччо вверх по реке. Он был вооружен очень легко – круглыми щитами и длинными галерными копьями. Бойцы с громкими криками кололи лошадей в голову и в грудь, так что те, испуганные и криком, и ранами, не хотели идти вперед и опрокидывались одна на другую. Бой между людьми Каструччо и теми, которые успели переправиться, был упорный и страшный. Потери с обеих сторон были огромные: каждый пытался изо всех сил одолеть другого. Воины Каструччо стремились столкнуть флорентийцев в реку, а те – оттеснить противника, чтобы освободить место и дать возможность товарищам, выходящим из воды, принять участие в сражении. Упорство бойцов еще увеличивалось вследствие увещаний вождей. Каструччо говорил своим, что перед ними те самые противники, которых они не так давно разбили под Серравалле; флорентийцы стыдили солдат тем, что они дают одолеть себя столь малочисленному неприятелю. Однако Каструччо, видя, что сражение затягивается, что и его, и флорентийские воины уже устали, что с обеих сторон много убитых и раненых, двинул вперед другой пехотный отряд, в 5000 человек. Когда те подошли вплотную к линии боя, он приказал своим раздаться в обе стороны, как если бы они собирались обратиться в бегство, и выйти из сражения, рассыпавшись частью вправо, частью влево. Этот маневр дал возможность флорентийцам несколько подвинуться вперед. Но когда они, утомленные, сошлись со свежими силами Каструччо, то не выдержали натиска и были сброшены в реку.

Кавалерия билась без какого-либо перевеса на той или на другой стороне, ибо Каструччо, зная, что противник сильнее, приказал своим кондотьерам лишь сдерживать натиск флорентийцев; он надеялся разбить их пехоту и после ее разгрома без большого труда победить конницу. Случилось так, как он рассчитывал. Увидев, что пехота неприятельская оттеснена в реку, он двинул всю пехоту, какая у него оставалась, в тыл флорентийской коннице, и она стала поражать ее копьями и дротиками. Одновременно кавалерия Каструччо с удвоенной яростью напала на конницу спереди, пока не обратила ее в бегство. Вожди флорентийцев, видя, как трудно их коннице перейти через реку, пытались переправить пехоту ниже по течению, чтобы ударить во фланг людям Каструччо. Но так как берег был высокий и, кроме того, занят его воинами, попытка не удалась и здесь. Таким образом, обратилась в бегство вся гвельфская армия, к великой славе и чести Каструччо, и из такого огромного войска спаслась едва треть. Многие из вождей попали в плен. Карл, сын короля Роберта, вместе с Микеланджело Фалькони и Таддео дельи Альбицци, комиссарами флорентийскими, бежал в Эмполи. Добыча была большая и потери людьми огромнейшие, как и можно было ожидать при таком ожесточенном сражении. У флорентийцев было убито 20 231 человек, у Каструччо – 1570.

Но фортуна, противница его славы, отняла у него жизнь тогда, когда как раз нужно было даровать ее ему, и прервала выполнение тех планов, которые за много времени до того он решил осуществить. Только одна смерть и могла помешать ему в этом. Каструччо нес боевые труды в течение целого дня, и когда сражение кончилось, он, утомленный и потный, стал у ворот Фучеккио, чтобы ожидать свои войска, возвращавшиеся после победы, лично их встречать и благодарить и быть к тому же готовым принять меры, если бы неприятель, сопротивляясь еще кое-где, дал повод для тревоги. Он держался того мнения, что долг хорошего полководца – первым садиться на коня и последним с него сходить.

Так стоял он на ветру, который очень часто среди дня подымается с Арно и почти всегда несет с собою заразу. Он весь продрог, но не обратил на это никакого внимания, потому что был привычен к неприятностям такого рода, а между тем эта простуда стала причиной его смерти. В следующую ночь он стал жертвой жесточайшей лихорадки, которая непрерывно усиливалась. Врачи единогласно признали болезнь смертельной. Когда сам он в этом убедился, он призвал к себе Паголо Гуиниджи и

сказал ему следующее:

«Если бы я думал, сын мой, что фортуна хотела оборвать посередине мой путь к той славе, которую я обещал себе при столь счастливых моих успехах, я бы трудился меньше, а тебе оставил бы менее обширное государство, но зато и меньше врагов и завистников. Я довольствовался бы властью над Пизой и Луккой, не подчинил бы себе пистолезцев и не раздражал бы флорентийцев бесконечными оскорблениями. Наоборот, тех и других я бы сделал своими друзьями и прожил бы жизнь если и не более долгую, то во всяком случае более спокойную, а тебе оставил бы государство, меньшее размерами, но несомненно более надежное и более крепкое. Но фортуна, которая хочет быть вершительницей всего людского, не дала мне ни настолько ясного суждения, чтобы я мог ее разгадать, ни достаточного времени, чтобы я мог ее одолеть. Ты знаешь – об этом многие тебе говорили, и я никогда не отрицал, – как я попал в дом твоего отца совсем юным и чуждым еще тех надежд, которые должны одушевлять всякую благородную натуру; как он воспитал меня и как полюбил больше, чем если бы я был кровным его детищем. Благодаря ему, им руководимый, стал я доблестным и достойным того удела, который ты видел и продолжаешь видеть. И так как перед смертью он вверил мне тебя и все свое имущество, я воспитал тебя с такой любовью, а достояние его умножил с такой добросовестностью, с какой был обязан и обязан еще и сейчас. А для того, чтобы тебе досталось не только то, что оставил тебе отец, а еще и то, что было приобретено моим счастьем и моей доблестью, я не хотел жениться, так как любовь к детям могла в какой-то мере помешать мне выявить к крови твоего отца ту признательность, какую я считал должной. Итак, я оставляю тебе большое государство, и этим я очень доволен. Но я оставляю его тебе слабым и шатким, что повергает меня в великое горе. Тебе достается город Лукка, который никогда не будет очень доволен, что ты им владеешь. Достается тебе Пиза, где имеются люди по природе своей изменчивые и полные вероломства; она, хотя и привыкла в разное время находиться в порабощении, всегда будет переносить с негодованием господство лукканского синьора. И еще достается тебе Пистойя, недостаточно верная, ибо в ней идет борьба партий и она раздражена против нашей породы из-за недавних обид. Соседями у тебя – флорентийцы, оскорбленные, претерпевшие от нас тысячи поношений и не истребленные; им известие о моей смерти доставит такую радость, какой не доставило бы завоевание всей Тосканы. На государей миланских и на императора полагаться тебе нельзя: те нерешительны, этот далек, и помощь их никогда не поспеет к тебе вовремя. Вот почему тебе нельзя надеяться ни на что, кроме как на собственное искусство, на память о моей доблести и на славу, которую снискала тебе последняя победа; она, если ты сумеешь умно ее использовать, поможет заключить соглашение с флорентийцами: они пали духом вследствие своего поражения и охотно пойдут на мир. Их я хотел иметь врагами и думал, что их вражда доставит мне могущество и славу. Ты же всеми силами должен стараться, чтобы они стали тебе друзьями, ибо их дружба принесет тебе безопасность и выгоду. Самое важное в этом мире – познать самого себя и уметь взвешивать силы своего духа и своего государства. Кто сознает, что он не создан для войны, должен стараться править мирными средствами. Именно к этому, думается мне, должны быть направлены твои усилия, только этим способом пойдут тебе на пользу мои усилия и опасности, которым я подвергался. Этого ты добьешься легко, если признаешь верными мои заветы. И будешь обязан мне вдвойне: во-первых, тем, что я оставил тебе это государство, а во-вторых, тем, что научил тебя, как его удерживать».

После этого Каструччо приказал ввести граждан из Лукки, Пизы и Пистойи, которые сражались вместе с ним; он рекомендовал им Паголо Гуиниджи и заставил их поклясться в покорности ему. И умер, оставив всем, кто слышал о нем, счастливую память о себе, а друзьям своим – такое огорчение, какое никогда не вызывал государь, когда-либо умиравший. Погребение его было совершено с величайшим торжеством, и был он похоронен в церкви Сан-Франческо в Лукке.

Но доблесть и фортуна не были так благосклонны к Паголо Гуиниджи, как к Каструччо. Ибо в непродолжительном времени он потерял Пистойю, а потом Пизу и с трудом удержал господство над Луккою, которое сохранилось в его роду вплоть до Паголо, его правнука.

Таким образом, из того, что изложено, видно, что Каструччо был не только человеком выдающимся в свое время, но и в прежние времена такие, как он, появлялись не часто. Ростом он был выше среднего и сложен чрезвычайно соразмерно. И столько было изящества в его осанке, и так ласково принимал он людей, что никто, поговорив с ним, не уходил недовольным. Волосы его были с рыжеватым оттенком, и носил он их обстриженными выше ушей. И всегда, во всякую погоду, в дождь и снег, ходил с непокрытой головой.

С друзьями он был ласков, с врагами – беспощаден, с подданными – справедлив, с чужими – вероломен. И если мог одержать победу хитростью, никогда не старался

одержать ее силою, говоря, что славу дает победа, а не способ, каким она далась. Никто не бросался в опасность с большей смелостью, чем он, и никто не выходил из опасности с большей осмотрительностью. Он часто говорил, что люди должны отваживаться на все и ни перед чем не падать духом, что бог любит храбрых, ибо нетрудно видеть, что он слабых наказывает руками сильных.

Его замечания и остроты бывали и язвительны и любезны. И так как он сам не спускал никому, то не обижался, когда и ему доставалось от других. Сохранилось много острот, которые были им сказаны или терпеливо выслушаны.

Однажды он велел купить куропатку за дукат, и один из друзей стал его за это упрекать. Каструччо спросил: «Ты бы не дал за нее больше сольдо?» Тот отвечал, что он не ошибается. «Так для меня дукат – гораздо меньше сольдо», – сказал Каструччо.

Около него вертелся один льстец, и он, чтобы показать ему свое презрение, плюнул на него. Льстец сказал: «Рыбаки, чтобы поймать маленькую рыбку, дают морю омыть себя с ног до головы. Я охотно позволю омыть себя плевком, чтобы поймать кита». Каструччо не только выслушал эти слова без раздражения, но еще и наградил говорившего.

Кто-то упрекал его за то, что он живет слишком роскошно. Каструччо сказал: «Если бы в этом было что-нибудь дурное, не устраивались бы такие роскошные пиры в праздники наших святых».

Проходя по улице, он увидел некоего юношу, выходящего из дома куртизанки. Заметив, что Каструччо его узнал, юноша густо покраснел. «Стыдись не когда выходишь, а когда входишь», – сказал ему Каструччо.

Один из друзей предложил ему развязать узел, хитро запутанный. «Глупый, – сказал Каструччо, – неужели ты думаешь, что я стану распутывать вещь, которая и в запутанном виде так выводит меня из себя».

Говорил Каструччо некоему гражданину, который занимался философией: «Вы – как собаки: бежите за тем, кто вас лучше кормит». Тот ответил: «Скорее мы – как врачи: ходим к тем, кто в нас больше нуждается».

Как-то, когда он ехал морем из Пизы в Ливорно и поднялась свирепая буря, Каструччо сильно смутился. Один из сопровождавших упрекнул его в малодушии и прибавил, что сам он ничего не боится. Каструччо ответил, что его это не удивляет, ибо каждый ценит душу свою, как она того стоит.

У него спросили однажды, как он добился такого уважения к себе. Он ответил: «Когда ты идешь на пир, сделай так, чтобы на дереве не сидело другое дерево».

Кто-то хвалился, что много читал. Каструччо сказал: «Лучше бы ты хвалился, что много запомнил».

Другой хвастал, что он может пить сколько угодно, не пьянея. Каструччо заметил: «И бык способен на это».

Каструччо был близок с одной девушкой. Один из друзей упрекал его за то, что он позволил женщине овладеть собою. «Не она мною овладела, а я ею», – сказал Каструччо.

Другому не нравилось, что ему подают чересчур изысканные кушанья. Каструччо спросил его: «Так ты не стал бы тратить на еду столько, сколько я?» Тот ответил, что, конечно, нет. «Значит, – сказал Каструччо, – ты более скуп, чем я обжорлив».

Пригласил его однажды к ужину Таддео Бернарди, лукканец, очень богатый и живший роскошно. Когда Каструччо пришел, хозяин показал ему комнату, которая вся была убрана тканями, а пол был выложен разноцветными дорогими камнями, изображавшими цветы, листья и другие орнаменты. Каструччо набрал побольше слюны и плюнул прямо в лицо Таддео, а когда тот стал возмущаться, сказал: «Я не знал, куда мне плюнуть, чтобы ты обиделся меньше».

У него спросили, как умер Цезарь. «Дай Бог, чтобы и я умер так же», – сказал он.

Однажды ночью, когда он, будучи у одного из своих дворян на пирушке, где присутствовало много женщин, танцевал и дурачился больше, чем подобало его положению, кто-то из друзей стал его упрекать за это. «Кого днем считают мудрым, не будут считать глупым ночью», – сказал Каструччо.

Кто-то пришел просить его о милости, и так как Каструччо сделал вид, что не слышит его, тот опустился на колени. Каструччо начал выговаривать ему за это. «Твоя вина, – ответил тот, – у тебя уши на ногах». За это Каструччо сделал ему вдвое против того, что он просил.

Он часто говорил, что путь в ад легкий, так как нужно идти вниз и с закрытыми глазами.

Кто-то, обращаясь к нему с просьбой, говорил очень много слов, совсем ненужных. «Когда тебе понадобится от меня еще что-нибудь, – сказал ему Каструччо, – приходи другого».

Другой такой же надоел ему длинной речью и под конец спросил: «Может быть, я

утомил вас, проговорил слишком долго?» – «Нет, – отвечал Каструччо, – потому что я не слышал ничего из сказанного тобою».

Про кого-то, кто был красивым мальчиком, а потом стал красивым мужчиной, он говорил, что это очень вредный человек, ибо сначала отнимал мужей у жен, а потом стал отнимать жен у мужей.

Одного завистника, который смеялся, Каструччо спросил: «Почему ты смеешься: потому ли, что тебе хорошо, или потому, что другому плохо?»

Когда он был еще на попечении у франческо Гуиниджи, один из его сверстников сказал ему: «Что ты хочешь, чтобы я тебе подарил за то, чтобы дать тебе пощечину?»

– «Шлем», – сказал Каструччо.

Он послал однажды на смерть некоего лукканского гражданина, который когда-то помог ему возвыситься. Ему стали говорить, что он поступает дурно, убивая одного из старых друзей. Он ответил, что они ошибаются и что убит не старый друг, а новый враг.

Он очень хвалил людей, которые собираются жениться и не женятся, а также тех, которые собираются пуститься в море и никогда не садятся на корабль.

Он говорил, что дивится людям, которые, покупая сосуд, глиняный или стеклянный, пробуют его на звук, чтобы узнать, хорош ли он, а выбирая жену, довольствуются тем, что только смотрят на нее.

Когда он был близок к смерти, кто-то спросил, как он хочет быть погребенным. «Лицом вниз, – сказал Каструччо, – ибо я знаю, что, когда я умру, все в этом государстве пойдет вверх дном».

Его спросили, не было ли у него когда-либо мысли сделаться для спасения души монахом. Он ответил, что нет, ибо ему казалось странным, что фра Ладзаро пойдет в рай, а Угуччоне делла Фаджола – в ад.

Его спросили, когда лучше всего есть, чтобы быть здоровым. Он ответил: «Богатому – когда хочет, бедному – когда может».

Он увидел однажды, что кто-то из его дворян заставил своего слугу зашнуровывать себя. «Дай Бог, – сказал Каструччо, – чтобы тебе пришлось заставить кого-нибудь класть себе куски в рот».

Ему как-то бросилась в глаза латинская надпись на доме некоего гражданина: «Да избавит бог этот дом от дурных людей». Каструччо сказал: «В таком случае он не должен ходить туда сам».

Проходя по улице, он увидел маленький дом с огромной дверью. «Дом убежит через эту дверь», – сказал он.

Ему сказали, что один чужестранец соблазнил мальчика. «Должно быть, это перуджинец», – сказал Каструччо.

Он спросил, какой город славится больше всего обманщиками и мошенниками. Ему ответили: «Лукка». Ибо по природе своей все ее жители были таковы, за исключением Буонтуро.

Каструччо спорил однажды с посланцем неаполитанского короля по вопросам, касавшимся имущества изгнанных, и стал говорить очень возбужденно. Тогда посланец спросил, неужели он не боится короля. «А ваш король хороший или дурной?» – спросил Каструччо. Когда тот ответил, что хороший, Каструччо спросил снова: «Почему же ты хочешь, чтобы я боялся хороших людей?»

Можно было бы рассказать многое другое о его изречениях, и во всех них можно было бы видеть ум и серьезность. Но мне кажется, что и эти достаточно свидетельствуют о его великих достоинствах.

Он жил 44 года и был велик в счастье и несчастье. И так как о счастье его существует достаточно памятников, то он хотел, чтобы сохранились также памятники его несчастья. Поэтому кандалы, которыми он был скован в темнице, можно видеть до сих пор в башне его дворца где они повешены по его приказанию, как свидетели его бедствий. И так как при жизни он не был ниже ни Филиппа Македонского, отца Александра, ни Сципиона Римского то он умер в том же возрасте, что и они. И несомненно он превзошел бы и того и другого, если бы родиной его была не Лукка, а Македония или Рим.

Книга первая Вступление

Хотя по причине завистливой природы человеческой открытие новых политических обычаев и порядков всегда было не менее опасно, чем поиски неведомых земель и морей, ибо люди склонны скорее хулить, нежели хвалить поступки других, я, тем не менее, побуждаемый естественным и всегда мне присущим стремлением делать, невзирая на последствия, то, что, по моему убеждению, способствует общему благу, твердо решил идти непроторенной дорогой, каковая, доставя мне доуки и трудности, принесет мне также и награду от тех, кто благосклонно следил за этими

моими трудами. И если из-за скудости ума, недостаточной искушенности в событиях нынешних и слабого знания событий древних попытка моя окажется безуспешной и не слишком полезной, она все-таки откроет путь кому-нибудь другому, кто, обладая большею силою духа, большим разумом и рассудком, доведет до конца этот мой замысел; поэтому если я и не удостоюсь за труд мой похвал, то и подвергнуться за него порицанию не должен.

Когда я вспоминаю о том, какие почести воздаются древности и сколь часто, – оставляя сейчас в стороне многие другие примеры, – обломок какой-нибудь античной статуи покупается за огромные деньги, чтобы держать его подле себя, украшать им свой дом и выставлять его в качестве образца для подражания всем тем, кто занимается таким же искусством, и как эти последние затем изо всех сил стараются воспроизвести его во всех своих произведениях; и когда я, с другой стороны, вижу, что доблестнейшие деяния, о которых нам повествует история, совершенные в древних царствах и республиках царями, полководцами, гражданами, законодателями и другими людьми, трудившимися на благо отчизны, в наши дни вызывают скорее восхищение, чем подражание, более того, что всякий их до того сторонится, что от прославленной древней доблести не осталось у нас и следа, – я не могу всему этому не изумляться и вместе с тем не печалиться. Мое изумление и печаль только еще больше возрастают оттого, что я вижу, как при несогласиях, возникающих у людей в гражданской жизни, или при постигающих их болезнях они постоянно обращаются к тем самым решениям и средствам, которые выносились и предписывались древними. Ведь наши гражданские законы являются не чем иным, как судебными решениями, вынесенными древними юристами. Будучи упорядоченными, решения эти служат теперь руководством для наших юристов в их судебной практике. Точно так же и медицина является не чем иным, как опытом древних врачей, на котором основываются нынешние врачи, прописывая свои лекарства. Однако, как только дело доходит до учреждения республик, сохранения государств, управления королевствами, создания армии, ведения войны, осуществления правосудия по отношению к подданным, укрепления власти, то никогда не находится ни государя, ни республики, которые обратились бы к примеру древних. Я убежден, что приистекает это не столько от слабости, до которой довела мир нынешняя религия, или же от того зла, которое причинила многим христианским городам и странам тщеславная праздность, сколько от недостатка подлинного понимания истории, помогающего при чтении сочинений историков получать удовольствие и вместе с тем извлекать из них тот смысл, который они в себе содержат. Именно от этого приистекает то, что весьма многие читающие исторические сочинения с интересом воспринимают разнообразие описываемых в них происшествий, но нимало не помышляют о подражании им, полагая таковое подражание делом не только трудным, но вовсе невозможным, словно бы небо, солнце, стихии, люди изменили со времен античности свое движение, порядок и силу. Поэтому, желая избавить людей от подобного заблуждения, я счел необходимым написать о всех тех книгах Тита Ливия, которые не разорвала злокозненность времени, все то, что покажется мне необходимым для наилучшего понимания древних и современных событий, дабы те, кто прочтут сии мои разъяснения, смогли бы извлечь из них ту самую пользу, ради которой должно стремиться к познанию истории. Дело это, конечно, не легкое; тем не менее с помощью тех, кто побудил меня взять его на себя, я надеюсь продвинуться в нем так далеко, что преемнику моему останется уже немного дойти до положенной цели.

Глава II

Сколько родов бывают республики и какова была республика римская

Я хочу не касаться в своих рассуждениях тех городов, которые с самого начала не были независимыми, и стану говорить лишь о таких, которые у истоков своих были далеки от рабского подчинения иноземцам и которые сразу же управлялись своей волей либо как республики, либо как самодержавные княжества. Такого рода города имели различные основы, разные законы и строй. Некоторые из них еще при своем основании или же вскоре после него получали законы от одного человека, и притом сразу. Так, от Ликурга получили законы спартанцы. Другие, как Рим, получали их от случая к случаю, постепенно, в зависимости от обстоятельств. Подлинно счастливой можно назвать ту республику, где появляется человек столь мудрый, что даваемые им законы обладают такой упорядоченностью, что, подчиняясь им, республика может, не испытывая необходимости в их изменении, жить спокойно и безопасно. Известно, что Спарта свыше восьмисот лет соблюдала свои законы, не извращая их и не переживая гибельных смут. Несколько менее счастлив город, который, не обретя умного и проницательного устроителя, вынужден устраиваться сам собой. И уже совсем несчастен город, который еще дальше ушел от прочного строя, а дальше всего отстоит от него тот город, который во всех своих порядках совершенно сбился с правильного пути, способного привести его к истинной цели и

совершенству. Почти невероятно, чтобы подобный город могли бы выправить какие-нибудь обстоятельства. Те же города, которые – пусть даже они и не обладают совершенным политическим строем – имеют добрую основу, способную к улучшениям, могут при благоприятном стечении обстоятельств достичь совершенства. Правда, однако, переустройства всегда связаны с опасностью, ибо значительная часть людей никогда не соглашается на новый закон, устанавливающий в городе новый порядок, если только необходимость не докажет им, что без этого не обойтись. А так как такая необходимость никогда не возникает без опасности, то может легко случиться, что республика падет еще до того, как будет приведена к совершенному строю. Это превосходно доказывает пример республики во Флоренции, которую во втором году события под Арrezzo вновь восстановили, а в двенадцатом события в Прато вынудили опять распаться.

Итак, желая рассмотреть, каков был политический строй города Рима и какие события привели его к совершенству, я отмечу, что некоторые авторы, писавшие о республиках, утверждали, будто существует три вида государственного устройства, именуемые ими: Самодержавие, Аристократия и Народное правление, и что устанавливающие новый строй в городе должны обращаться к тому из этих трех видов, который покажется им более подходящим. Другие же авторы, и, по мнению многих, более мудрые, считают, что имеется шесть форм правления – три очень серьезных и три сами по себе хороших, но легко искажаемых и становящихся вследствие этого пагубными. Хорошие формы правления – суть три вышеназванных; дурные же – три остальных, от трех первых зависящие и настолько с ними родственные, что они легко переходят друг в друга: Самодержавие легко становится тираническим, Аристократии с легкостью делаются олигархиями, Народное правление без труда обращается в разнузданность. Таким образом, если учредитель республики учреждает в городе одну из трех перечисленных форм правления, он учреждает ее ненадолго, ибо нет средства помешать ей скатиться в собственную противоположность, поскольку схожесть между пороком и добродетелью в данном случае слишком невелика.

Эти различные виды правления возникли у людей случайно. Вначале, когда обитателей на земле было немного, люди какое-то время жили разобщенно, наподобие диких зверей. Затем, когда род человеческий размножился, люди начали объединяться и, чтобы лучше оберечь себя, стали выбирать из своей среды самых сильных и храбрых, делать их своими вожаками и подчиняться им. Из этого родилось понимание хорошего и доброго в отличие от дурного и злого. Вид человека, вредящего своему благодетелю, вызывал у людей гнев и сострадание. Они ругали неблагодарных и хвалили тех, кто оказывался благодарным. Потом, сообразив, что сами могут подвергнуться таким же обидам, и дабы избежать подобного зла, они пришли к созданию законов и установлению наказаний для их нарушителей. Так возникло понимание справедливости. Вследствие этого, выбирая теперь государя, люди отдавали предпочтение уже не самому отважному, а наиболее рассудительному и справедливому. Но так как со временем государственная власть из выборной превратилась в наследственную, то новые, наследственные государи изрядно выродились по сравнению с прежними. Не помышляя о доблестных деяниях, они заботились только о том, как бы им превзойти всех остальных в роскоши, сладострастии и всякого рода разврате. Поэтому государь становился ненавистным; всеобщая ненависть вызывала в нем страх; страх же толкал его на насилия, и все это вскоре порождало тиранию. Этим клалось начало крушению единовластия: возникали тайные общества и заговоры против государей. Устраивали их люди не робкие и слабые, но те, кто возвышались над прочими своим благородством, великодушием, богатством и знатностью и не могли сносить гнусной жизни государя. Массы, повинувшись авторитету сих могущественных граждан, ополчались на государя и, уничтожив его, подчинялись им, как своим освободителям. Последние, ненавидя имя самодержца, создавали из самих себя правительство. Поначалу, памятуя о прошлой тирании, они правили в соответствии с установленными ими законами, жертвуя личными интересами ради общего блага и со вниманием относясь как к частным, так и к общественным делам. Однако через некоторое время управление переходило к их сыновьям, которые, не познав превратностей судьбы, не испытав зла и не желая довольствоваться гражданским равенством, становились алчными, честолюбивыми, охотниками до чужих жен, превращая таким образом правление Оптиматов в правление немногих, совершенно не считающееся с нормами общественной жизни. Поэтому сыновей Оптиматов вскоре постигла судьба тирана. Раздраженные их правлением, народные массы с готовностью шли за всяким, кто только не пожелал бы выступить против подобных правителей; такой человек немедленно находился и уничтожал их с помощью масс. Однако память о государе и творимых им бесчинствах была еще слишком свежа; поэтому, уничтожив власть немногих и не желая восстанавливать единовластие государя, люди обращались к народному правлению и устраивали его так, чтобы ни отдельные могущественные граждане, ни государи не

могли бы иметь в нем никакого влияния. Так как любой государственный строй на первых порах внушает к себе некоторое почтение, то народное правление какое-то время сохранялось, правда, недолго – пока не умирало создавшее его поколение, ибо сразу же вслед за этим в городе воцарялась разнузданность, при которой никто уже не боялся ни частных лиц, ни общественных; всякий жил как хотел, и каждодневно учинялось множество всяких несправедливостей. Тогда, вынуждаемые к тому необходимостью, или по наущению какого-нибудь доброго человека, или же из желания покончить с разнузданностью, люди опять возвращались к самодержавию, а затем мало-помалу снова доходили до разнузданности – тем же путем и по тем же причинам.

Таков круг, вращаясь в котором, республики управлялись и управляются. И если они редко возвращаются к исходным формам правления, то единственно потому, что почти ни у одной республики не хватает сил пройти через все вышесказанные изменения и устоять. Чаще всего случается, что в пору мучительных перемен, когда республика всегда бывает ослаблена и лишена мудрого совета, она становится добычей какого-нибудь соседнего государства, обладающего лучшим политическим строем. Но если бы этого не происходило, республика могла бы бесконечно вращаться в смене одних и тех же форм правления.

Итак, я утверждаю, что все названные формы губительны: три хороших по причине их кратковременности, а три дурных – из-за их злокачественности. Поэтому, зная об этом их недостатке, мудрые законодатели избегали каждой из них в отдельности и избирали такую, в которой они оказывались бы перемешанными, считая подобную форму правления более прочной и устойчивой, ибо, сосуществуя одновременно в одном и том же городе, Самодержавие, Оптиматы и Народное правление оглядываются друг на друга.

Из создателей такого рода конституций более всех достоин славы Ликург. Давая Спарте законы, он отвел соответствующую роль Царям, Аристократам и Народу и создал государственный строй, просуществовавший свыше восьмисот лет и принесший этому городу великую славу и благоденствие. Совсем иное случилось с Солоном, давшим законы Афинам. Установив там одно лишь Народное правление, он дал ему столь краткую жизнь, что еще до своей смерти успел увидеть в Афинах тиранию Пи-систрата. И хотя через сорок лет наследники Писистрата были изгнаны и в Афинах возродилась свобода, ибо там было восстановлено Народное правление в соответствии с законами Солона, правление это просуществовало не дольше ста лет, несмотря на то что для поддержания его принимались различные, не предусмотренные самим Солоном постановления, направленные на обуздание наглости дворян и всеобщей разнузданности. Как бы то ни было, так как Солон не соединил Народное правление с сильными сторонами Самодержавия и Аристократии, Афины, по сравнению со Спартой, прожили очень недолгую жизнь.

Обратимся, однако, к Риму. Несмотря на то что в Риме не было своего Ликурга, который бы с самого начала устроил его так, чтобы он мог долгое время жить свободным, в нем создалось множество благоприятных обстоятельств, возникших благодаря разногласиям между Плебсом и Сенатом, и то, чего не совершил законодатель, сделал случай. Поэтому если Риму не повезло вначале, то ему повезло потом. Первые учреждения его были плохи, но не настолько, чтобы свернуть его с правильного пути, могущего привести к совершенству. Ромул и другие цари создали много хороших законов, отвечающих, между прочим, и требованиям свободы, но так как целью их было основание царства, а не республики, то, когда Рим стал свободным, оказалось, что в нем недостает многого, что надо было бы учредить ради свободы и о чем цари не позаботились.

После того как римские цари лишились власти вследствие обсуждавшихся нами причин и рассмотренным выше образом, изгнавшие их сразу же учредили должность двух Консулов, занявших место Царя, так что из Рима была изгнана не сама царская власть, а лишь ее имя. Таким образом, поскольку в римской республике имелись Консулы и Сенат, она представляла собой соединение двух из трех вышеописанных начал, а именно Самодержавия и Аристократии. Оставалось только дать место Народному правлению. Поэтому, когда римская знать по причинам, о которых будет говорено дальше, совсем обнаглела, против нее восстал Народ, и, чтобы не потерять всего, ей пришлось поступиться и предоставить Народу его долю в управлении государством. С другой стороны, у Консулов и Сената сохранилось достаточно власти, чтобы они могли удерживать в республике свое прежнее положение. Так возник институт плебейских Трибунов. После его возникновения состояние римской республики упрочилось, ибо в ней получили место все три правительственных начала. Судьба была столь благосклонна к Риму, что, хотя он переходил от правления Царей и Оптиматов к правлению Народу, проходя через вышеописанные ступени и повинуюсь аналогичным причинам, тем не менее царская власть в нем никогда не была полностью уничтожена для передачи ее Оптиматам, а власть Оптиматов не была уменьшена для передачи ее Народу. Смешавшись друг с

другом, они сделали республику совершенной. К такому совершенству Рим пришел благодаря раздорам между Плебсом и Сенатом, как это будет подробно показано в двух следующих главах.

Глава III

Какие обстоятельства привели к созданию в Риме плебейских трибунов, каковое сделало республику более совершенной

Как доказывают все, рассуждающие об общественной жизни, и как то подтверждается множеством примеров из истории, учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо считать всех людей злыми и предполагать, что они всегда проявят злобность своей души, едва лишь им представится к тому удобный случай. Если же чья-нибудь злобность некоторое время не обнаруживается, то происходит это вследствие каких-то неясных причин, пониманию которых мешает отсутствие опыта; однако ее все равно обнаружит время, называемое отцом всякой истины.

Казалось, что после изгнания Тарквиниев в Риме установилось величайшее согласие между Плебсом и Сенатом; что Знать отказалась от своего высокомерия и настолько прониклась народным духом, что стала выносимой даже для человека из самых низов. Это ее лицемерие не было обнаружено и причины его не были ясны, пока были живы Тарквинии. Боясь их и опасаясь, как бы притесняемый Плебс не примкнул к ним, Знать обращалась с плебеями по-человечески; но едва лишь Тарквинии умерли и у Знати исчез страх перед ними, как она стала извергать на Плебс яд, скопившийся у нее в груди, и угнетать его всеми возможными способами. Это подтверждает сказанное мной выше: люди поступают хорошо лишь по необходимости; когда же у них имеется большая свобода выбора и появляется возможность вести себя как им заблагорассудится, то сразу же возникают величайшие смуты и беспорядки. Вот почему говорят, что голод и нужда делают людей изобретательными, а законы – добрыми. Там, где что-либо совершается хорошо само собой, без закона, в законе нет надобности; но когда добрый обычай исчезает, закон сразу же делается необходимым. Поэтому, когда умерли Тарквинии, страх перед которыми обуздывал Знать, пришлось подумать о каком-нибудь новом порядке, который оказывал бы такое же действие, что и Тарквинии, пока они были живы. Поэтому после многих смут, волнений и рискованных столкновений между Плебсом и Знатью для безопасности Плебса были учреждены Трибуны. Им были предоставлены большие полномочия, и они пользовались таким уважением, что могли всегда играть роль посредников между Плебсом и Сенатом и противостоять наглости Знати.

Глава IV

О том, что раздоры между плебсом и сенатом сделали Римскую республику свободной и могущественной

Я не хочу оставить без рассмотрения смуты, происходившие в Риме после смерти Тарквиниев и до учреждения Трибунов, и намерен кое-что возразить тем, кто утверждает, будто Рим был республикой настолько подверженной смутам и до того беспорядочной, что, не исправь судьба и военная доблесть его недостатков, он оказался бы ничтожнее всякого другого государства. Я не могу отрицать того, что счастливая судьба и армия были причинами римского владычества; но в данном случае мне представляется неизбежным само возникновение названных причин, ибо хорошая армия имеется там, где существует хороший политический строй, и хорошей армии редко не сопутствует счастье.

Но перейдем к другим примечательным особенностям этого города. Я утверждаю, что осуждающие столкновения между Знатью и Плебсом порицают, по-моему, то самое, что было главной причиной сохранения в Риме свободы; что они обращают больше внимания на ропот и крики, порождавшиеся такими столкновениями, чем на вытекавшие из них благие последствия; и что, наконец, они не учитывают того, что в каждой республике имеются два различных устроения – народное и дворянское, и что все законы, принимавшиеся во имя свободы, порождались разногласиями между народом и грандами. В этом легко убедиться на примере истории Рима. От Тарквиниев до Гракхов – а их разделяет более трехсот лет – смуты в Риме очень редко приводили к изгнаниям и еще реже – к кровопролитию. Никак нельзя называть подобные смуты губительными. Никак нельзя утверждать, что в республике, которая при всех возникавших в ней раздорах за такой долгий срок отправила в изгнание не более восьми – десяти граждан, почти никого не казнила и очень немногих приговорила к денежному штрафу, отсутствовало внутреннее единство. И уж вовсе безосновательно объявлять неупорядоченной республику, давшую столько примеров доблести, ибо добрые примеры порождаются хорошим воспитанием, хорошее воспитание – хорошими законами, а хорошие законы – теми самыми смутами, которые многими недобродушными осуждаются. В самом деле, всякий, кто тщательно исследует исход римских смут, обнаружит, что из них проистекали не изгнания или насилия,

наносящие урон общему благу, а законы и постановления, укрепляющие общественную свободу.

Возможно, кто-нибудь мне возразит: «Что за странные, чуть ли не зверские нравы: народ скопом орет на Сенат, Сенат – на народ, граждане суматошно бегают по улицам, запирают лавки, все плебеи разом покидают Рим – обо всем этом страшно даже читать». На это я отвечу: всякий город должен обладать обычаями, предоставляющими народу возможность давать выход его честолюбивым стремлениям, а особенно такой город, где во всех важных делах приходится считаться с народом. Для Рима было обычным, что когда народ хотел добиться нужного ему закона, он либо прибегал к какому-нибудь из вышеназванных действий, либо отказывался идти на войну, и тогда, чтобы успокоить его, приходилось в какой-то мере удовлетворять его желание. Но стремления свободного народа редко бывают губительными для свободы, ибо они порождаются либо притеснениями, либо опасениями народа, что его хотят притеснить. Если опасения эти необоснованны, надежным средством против них является сходка, на которой какой-нибудь уважаемый человек произносит речь и доказывает в ней народу, что тот заблуждается. Несмотря на то, что народ, по словам Туллия, невежествен, он способен воспринять истину и легко уступает, когда человек, заслуживающий доверия, говорит ему правду.

Итак, следует более осмотрительно порицать римскую форму правления и помнить о том, что многие хорошие следствия, имевшие место в римской республике, должны были быть обусловлены превосходными причинами. И раз смуты были причиной учреждения Трибунов, они заслуживают высшей похвалы. Учреждение Трибунов не только предоставило народу его долю в управлении государством, но и имело своей целью защиту свободы, как то будет показано в следующей главе.

Глава V

Кто лучше охраняет свободы – народ или дворяне, и у кого больше причин для возбуждения смут – у тех, кто хочет приобрести, или же у тех, кто хочет сохранить приобретенное

Те, кто мудро создавали республику, одним из самых необходимых дел почитали организацию охраны свободы. В зависимости от того, кому она вверялась, дольше или меньше сохранялась свободная жизнь. А так как в каждой республике имеются люди знатные и народ, то возникает вопрос, кому лучше поручить названную охрану. У лакедемонян, а во времена более к нам близкие – у венецианцев, охрана свободы была отдана в руки Нобилей; но у римлян она была поручена Плебсу.

Необходимо поэтому рассмотреть, какая из этих республик сделала лучший выбор. Если вникать в причины, то можно будет много сказать в пользу каждой из них. Если же взглянуть на результаты, то придется, наверное, отдать предпочтение Нобилем, ибо свобода в Спарте и Венеции просуществовала дольше, чем в Риме.

Обращаясь к рассмотрению причин, я скажу, имея в виду сперва римлян, что охрану какой-нибудь вещи надлежит поручать тому, кто бы менее жаждал завладеть ей. А если мы посмотрим на цели людей благородных и людей худородных, то, несомненно, обнаружим, что благородные из всех сил стремятся к господству, а худородные желают лишь не быть поработенными и, следовательно, гораздо больше, чем гранды, любят свободную жизнь, имея меньше надежд, чем они, узурпировать общественную свободу. Поэтому естественно, что когда охрана свободы вверена народу, он печется о ней больше и, не имея возможности сам узурпировать свободу, не позволяет этого и другим.

Но с другой стороны, защитники спартанского и венецианского строя говорят, что при вручении охраны свободы людям могущественным и знатным сразу достигаются две важные цели: во-первых, благодаря этому знать удовлетворяет свое честолюбие и, занимая господствующее положение в республике, держа в своих руках дубину власти, имеет все основания чувствовать себя вполне довольной; а во-вторых, этим сильно ослабляется мятежный дух черни, являющийся причиной бесконечных раздоров и беспорядков в республике и способный довести знать до такого отчаяния, которое со временем принесет дурные плоды. В качестве примера они ссылаются на тот же Рим, где после установления должности плебейских Трибунов чернь, получив в свои руки власть, не довольствовалась одним плебейским Консулом, но пожелала, чтобы оба Консула были плебейскими. Потом она потребовала себе Цензуру, Претуру и все другие высшие правительственные должности в государстве. Но и это ее не удовлетворило; поэтому, увлекаемая все тем же неистовством, она начала обожать людей, которых считала способными сокрушить знать. Это породило могущество Мария и погубило Рим.

Поистине, тому, кто должным образом взвесит одну и другую возможность, не легко будет решить, кому следует поручить охрану свободы, не уяснив предварительно, какая из человеческих склонностей пагубнее для республики – та ли, что побуждает

сохранять приобретенные почести, или же та, что толкает на их приобретение.

Всякий, кто тщательно исследует этот вопрос со всех сторон, придет в конце концов к следующему выводу: ты рассуждаешь либо о республике, желающей создать империю, подобную Риму, либо о той, которой достаточно просто уцелеть. В первом случае надо делать все, как делалось в Риме; во втором – можно подражать Венеции и Спарте по причинам, о которых будет сказано в следующей главе.

Но, возвращаясь к рассмотрению того, какие люди опаснее для республики – те ли, что жаждут приобретать, или же те, кто боится утратить приобретенное, – укажу, что когда для раскрытия заговора, возникшего в Капуе против Рима, Марк Менений был сделан диктатором, а Марк Фульвий – начальником конницы (оба были плебеями), они получили от народа также и полномочия установить, кто в самом Риме с помощью подкупа и вообще незаконными путями затевает получить консульство и другие должности. Знать сочла, что таковые полномочия, данные диктатору, были направлены против нее, и распустила по Риму слухи, будто почетных должностей подкупом и незаконным способом ищут не знатные люди, а худородные, которые, не имея возможности полагаться на происхождение и собственные доблести, пытаются достичь высокого положения незаконным путем. Особенно в этом обвиняли самого диктатора. Обвинения эти были настолько серьезны, что Менений, созвав сходку и жалуясь на клевету, возведенную на него знатью, сложил с себя диктатуру и отдался на суд народа. Дело его разбиралось, и он был оправдан. На суде много спорили о том, кто честолюбивее – тот ли, кто хочет сохранить приобретенную власть, или же тот, кто стремится к ее приобретению, ибо и то и другое желание легко может стать причиной величайших смут. Чаще всего, однако, таковые смуты вызываются людьми имущими, потому страх потерять богатство порождает у них те же страсти, которые свойственны неимущим, ибо никто не считает, что он надежно владеет тем, что у него есть, не приобретая большего. Не говоря уж о том, что более богатые люди имеют большие возможности и средства для учинения пагубных перемен.

Кроме того, нередко случается, что их наглое и заносчивое поведение зажигает в сердцах людей неимущих желание обладать властью либо для того, чтобы отомстить обидчикам, разорив их, либо для того, чтобы самим получить богатство и почести, которыми те злоупотребляют.

Глава VI

Возможно ли было установить в Риме такой строй, который уничтожил бы вражду между народом и сенатом

Выше мы рассуждали о последствиях, которые имели раздоры между Народом и Сенатом. Однако, проследив их до времени Гракхов, когда они сделались причиной крушения свободной жизни, вероятно, найдется кто-нибудь, кто пожелает, чтобы Рим достиг великих результатов без того, чтобы в нем существовала вышеназванная вражда. Поэтому мне кажется делом, достойным внимания, посмотреть, можно ли было установить в Риме такой строй, который уничтожил бы упомянутые раздоры. А желая исследовать это, необходимо обратиться к тем республикам, которые долгое время просуществовали свободными без подобной вражды и смут, и посмотреть, каков был у них строй и можно ли было ввести его в Риме. В качестве примера у древних возьмем Спарту, а у наших современников Венецию – государства, о которых я уже говорил.

В Спарте был царь и небольшой Сенат, который ею управлял. Венеция же не имеет различных наименований для членов правительства; все, кто могут принимать участие в управлении, называются там одним общим именем – Дворяне. Такой обычай возник в Венеции больше благодаря случаю, нежели мудрости ее законодателей. Дело обстоит вот как: на небольших клочках суши, где расположен теперь город, в силу причин, о которых уже говорилось, скопилось много людей. Когда число их возросло настолько, что для продолжения совместной жизни им потребовались законы, они установили определенную форму правления; часто собираясь вместе на советы, на которых решались вопросы, касающиеся города, они в конце концов постановили, что их вполне достаточно для нормальной политической жизни, и закрыли возможность для участия в правлении всем тем, кто поселился бы там позднее. А так как со временем в Венеции оказалось довольно много жителей, не имеющих доступа к правлению, то, дабы почтить тех, кто правил, их стали именовать Дворянами, всех же прочих – Пополанами.

Подобный порядок смог возникнуть и сохраниться без смут, потому что, когда он родился, любой из тогдашних обитателей Венеции входил в правительство, так что жаловаться было некому; те же, кто поселился в ней позднее, найдя государство прочным и окончательно сложившись, не имели ни причин, ни возможностей для смут. Причин у них не было потому, что никто их ничего не лишил; возможностей же у них не было оттого, что правители держали их прочно в узде и не использовали

там, где они могли бы приобрести авторитет. Кроме того, тех, кто поселился в Венеции позднее, не было слишком много, так что не существовало диспропорции между теми, кто правил, и теми, кем управляли: число дворян либо равнялось числу Пополанов, либо превосходило его. Вот причины того, почему Венеция смогла учредить у себя такой строй и сохранить его в целостности.

Спарта, как я уже говорил, управлялась Царем и небольшим Сенатом. Она смогла просуществовать столь долгое время, потому что в Спарте было мало жителей и потому что в нее был закрыт доступ для чужестранцев, желавших там поселиться, а также потому, что, почитая законы Ликурга (их соблюдение уничтожало все причины для смут), спартанцы смогли долго сохранять внутреннее единство. Ликург своими законами установил в Спарте имущественное равенство и неравенство общественных положений; там все были равно бедны; плебеи не обладали там честолюбием, ибо высокие общественные должности в городе распространялись на немногих граждан и Плебс не подпускался к ним даже близко; аристократы же своим дурным обращением никогда не вызывали у плебеев желания завладеть этими должностями. Такое положение было создано спартанскими Царями, которые, обладая самодержавной властью и будучи окруженными со всех сторон Знатью, не имели более верного средства для поддержания своего достоинства, нежели предоставление Плебсу защиты от всякого рода обид. Благодаря этому Плебс не испытывал страха и не стремился к государственной власти; а так как у него не было государственной власти и он не испытывал страха, то тем самым не возникло соперничества между ним и Знатью, отпала причина для смут, и Плебс и Знать могли долгое время сохранять единство. Два важных обстоятельства обуславливали это единство: во-первых, в Спарте было мало жителей, и поэтому они могли управляться немногими; во-вторых, не допуская в свою республику иноземцев, спартанцы не имели случая ни развратиться, ни до такой степени увеличиться численно, чтобы для них стало невыносимым управляющее ими меньшинство.

Таким образом, приняв все это во внимание, ясно, что законодателям Рима, дабы в Риме установилось такое же спокойствие, как в вышеназванных республиках, необходимо было сделать одно из двух: либо, подобно венецианцам, не использовать плебеев на войне, либо, подобно спартанцам, не допускать к себе чужеземцев. Вместо этого они делали и то и другое, что придало Плебсу силу, увеличило его численно и предоставило ему множество поводов для учинения смут. Однако если бы римское государство было более спокойным, это повлекло бы за собой следующее неудобство: оно оказалось бы также более слабым, ибо отрезало бы себе путь к тому величию, которого оно достигло. Таким образом, пожелай Рим уничтожить причины смут, он уничтожил бы и причины, расширившие его границы.

Если взглядеться получше, то увидишь, что так бывает во всех делах человеческих: никогда невозможно избавиться от одного неудобства, чтобы вместо него не возникло другое. Поэтому, если ты хочешь сделать народ настолько многочисленным и хорошо вооруженным, чтобы создать великую державу, тебе придется наделить его такими качествами, что ты потом уже не сможешь управлять им по своему усмотрению. Если же ты сохранишь народ малочисленным или безоружным, дабы иметь возможность делать с ним все, что угодно, то когда ты придешь к власти, ты либо не сможешь удержать ее, либо народ твой станет настолько труслив, что ты сделаешься жертвой первого же, кто на тебя нападет. При каждом решении надо смотреть, какой выбор представляет меньше неудобств, и именно его считать наилучшим, ибо никогда не бывает так, чтобы все шло без сучка без задоринки.

Рим, таким образом, мог по образу Спарты установить у себя пожизненную власть государя и учредить небольшой Сенат, но, желая создать великую державу, он не мог, подобно Спарте, не увеличивать число своих граждан; по этой причине пожизненный Царь и малочисленный Сенат мало способствовали бы его единству.

Вот почему, если кто пожелает заново учредить республику, ему надо будет прежде всего поразмыслить над тем, желает ли он, чтобы она расширила, подобно Риму, свои границы и могущество или же чтобы она осталась в узких пределах. В первом случае необходимо устроить ее, как Рим, и дать самый широкий простор для смут и общественных несогласий, ибо без большого числа и притом хорошо вооруженных граждан республика никогда не сможет вырасти или, если она вырастет, сохраниться. Во втором случае ее можно устроить наподобие Спарты и Венеции; но так как территориальное расширение – яд для подобных республик, надо, чтобы ее учредитель всеми возможными средствами запретил ей завоевания, ибо завоевания, опирающиеся на слабую республику, приводят к ее крушению. Так было со Спартой и с Венецией. Первая из них, подчинив себе почти всю Грецию, обнаружила при ничтожной неудаче непрочность своих основ: восстания в греческих городах, последовавшие за восстанием в Фивах, поднятым Пелонидом, полностью сокрушили эту республику. То же самое случилось и с Венецией: захватив значительную часть Италии – в большинстве случаев не посредством войн, а благодаря деньгам и хитрости, – она, как только ей пришлось доказать свою силу, в один день утратила

все.

Я готов поверить, что можно создать долговечную республику, придав ей такой же внутренний строй, какой был в Спарте или в Венеции; чтобы помещалась она в укрепленном месте и обладала такой силой, что никто не считал бы возможным тут же ее уничтожить; а с другой стороны, чтобы она не была настолько могущественна, дабы внушать страх своим соседям. В этом случае она могла бы долго наслаждаться своим строем. Ведь война против того или иного государства ведется по двум причинам: во-первых, для того чтобы стать его господином, во-вторых, из боязни, как бы оно на тебя не напало. Обе эти причины почти полностью устраняются вышесказанным способом. Если республику, хорошо подготовленную к обороне, трудно будет одолеть, то, как я полагаю, вряд ли случится, чтобы кто-нибудь задумал ее завоевывать. В то же время, если она не будет выходить из своих пределов и опыт докажет, что она лишена честолюбия, никто из страха за себя не начнет против нее войну, особенно если конституция или специальный закон будут запрещать ей захват чужих территорий.

Я твердо верю, что, имея возможность сохранить состояние подобного равновесия, в городе установилась бы истинная политическая жизнь и полное спокойствие. Однако поскольку все дела человеческие находятся в движении, то, не будучи в состоянии оставаться на месте, они идут либо вверх, либо вниз, и необходимость вынуждает тебя к тому, что отвергает твой разум. Так что, когда республику, не приспособленную к территориальным расширениям, необходимость заставляет расширяться, она теряет свои основы и гибнет еще быстрее. Но, с другой стороны, если бы Небо оказалось к ней столь благосклонным, что ей не пришлось бы вести войну, праздность сделала бы ее либо изнеженной, либо раздробленной. То и другое вместе или порознь стало бы причиной ее падения. Потому, так как невозможно, по-моему, ни добиться названного равновесия, ни избрать средний путь, надо при учреждении республики думать о более почетной для нее роли и устраивать республику так, чтобы, когда необходимость вынудит ее к территориальным расширениям, она сумела бы сохранить свои завоевания. Возвращаясь к началу своих рассуждений, скажу, что считаю нужным следовать римскому строю, а не строю всех прочих республик, ибо не думаю, что можно отыскать промежуточную форму правления, и полагаю, что следует примириться с враждой, возникающей между Народом и Сенатом, приняв ее как неизбежное неудобство для достижения римского величия. Помимо всех прочих доводов, которыми доказывается необходимость трибунской власти для охраны свободы, нетрудно заметить благотворность для республики правомочия обвинять, которым, наряду с другими правами, были наделены Трибуны.

Глава IX

О том, что необходимо быть одному, если желаешь заново основать республику или же преобразовать ее, полностью искоренив в ней старые порядки

Возможно, кому-нибудь покажется, что я слишком углубился в римскую историю, не сказав, однако, ничего ни об основателях римской республики, ни об ее учреждениях, имеющих касательство к религии и армии. Потому, не желая испытывать дольше терпение тех, кто хотел бы узнать кое-что об этом предмете, скажу: многие почтут, пожалуй, дурным примером тот факт, что основатель гражданского образа жизни, каковым был Ромул, сперва убил своего брата, а затем дал согласие на убийство Тита Тация Сабина, избранного ему в со товарищи по царству. Полагающие так считают, что подданные подобного государя смогут, опираясь на его авторитет, из честолюбия или жажды власти притеснять тех, кто стал бы восставать против их собственного авторитета. Такое мнение было бы справедливым, если бы не учитывалась цель, подвигнувшая Ромула на убийство.

Следует принять за общее правило следующее: никогда или почти никогда не случалось, чтобы республика или царство с самого начала получали хороший строй или же преобразовывались бы заново, отбрасывая старые порядки, если они не учреждались одним человеком. Напротив, совершенно необходимо, чтобы один-единственный человек создавал облик нового строя и чтобы его разумом порождались все новые учреждения. Вот почему мудрый учредитель республики, всей душой стремящийся не к собственному, но к общему благу, заботящийся не о своих наследниках, но об общей родине, должен всячески стараться завладеть единовластием. И никогда ни один благоразумный человек не упрекнет его, если ради упорядочения царства или создания республики он прибегнет к каким-нибудь чрезвычайным мерам. Ничего не поделаешь: обвинять его будет содеянное – оправдывать результат; и когда результат, как у Ромула, окажется добрым, он будет всегда оправдан. Ибо порицать надо того, кто жесток для того, чтобы портить, а не того, кто бывает таковым, желая исправлять. Ему надлежит быть очень рассудительным и весьма доблестным, дабы захваченная им власть не была

унаследована другим, ибо, поскольку люди склонны скорее ко злу, нежели к добру, легко может случиться, что его наследник станет тщеславно пользоваться тем, чем сам он пользовался доблестно. Кроме того, хотя один человек способен создать определенный порядок, порядок этот окажется недолговечным, если будет опираться на плечи одного-единственного человека. Гораздо лучше, если он будет опираться на заботу многих граждан и если многим гражданам будет вверено его поддержание. Ибо народ не способен создать определенный порядок, не имея возможности познать его благо по причине царящих в народе разногласий, но когда благо сего порядка народом познано, он не согласится с ним расстаться. А что Ромул заслуживает извинения за убийство брата и товарища и что содеянное им было совершено во имя общего блага, а не ради удовлетворения личного тщеславия, доказывает, что сразу же вслед за этим он учредил Сенат, с которым советовался и в зависимости от мнения которого принимал свои решения. Всякий, кто посмотрит как следует, какую власть сохранил за собой Ромул, увидит, что она ограничивалась правом командовать войском, когда объявлялась война, и собирать Сенат. Это выявилось позднее, когда в результате изгнания Тарквиниев Рим стал свободным. Тогда римлянами не было обновлено ни одно из древних учреждений, только вместо одного несменяемого Царя появилось два избираемых ежегодно консула; это доказывает, что все порядки, существовавшие в Риме прежде, более соответствовали гражданскому и свободному строю, нежели строю абсолютистскому и тираническому.

В подтверждение вышесказанного можно было бы привести множество примеров – Моисея, Ликурга, Солона и других основателей царств и республик, которые, благодаря тому что они присвоили себе власть, смогли издать законы, направленные на общее благо, – но я не стану касаться всех этих примеров, считая их широко известными. Укажу лишь на один из них, не очень знаменитый, но достойный внимания тех, кому хотелось бы стать хорошим законодателем.

Агид, царь Спарты, хотел снова ввести спартанцев в те пределы, которые установили для них законы Ликурга, ибо полагал, что, выйдя из них, его город в значительной мере утратил свою древнюю доблесть, а вместе с ней также и свою силу и военное могущество; он был сразу же убит спартанскими Эфорами, как человек, якобы стремящийся к установлению тирании. После него царствовал Клеомен; у него возникло то же самое желание под влиянием найденных им сочинений и воспоминаний об Агиде, из которых он узнал, каковы были у того намерения и помыслы. Но Клеомен понял, что не сможет добиться блага родины, не став единовластным правителем. Он считал, что людское честолюбие помешает ему принести пользу многим вопреки желанию немногих, и приказал убить всех Эфоров, а также некоторых других граждан, могущих оказать ему сопротивление, после чего полностью восстановил законы Ликурга. Такое решение могло возродить Спарту и принести Клеомену не меньшую славу, чем та, какой пользовался Ликург, не будь тогда могучей Македония, а остальные греческие государства – слишком слабыми. Ибо после установления в Спарте новых порядков Клеомен подвергся нападению македонян; оказавшись слабее них и не имея к кому обратиться за помощью, он был побежден, а его замысел, справедливый и достойный всяческих похвал, так и остался незавершенным.

Приняв все это во внимание, я прихожу к заключению, что для основания республики надо быть одному. Ромул же за убийство Рема и Тита Тация заслуживает извинения, а не порицания.

Глава X

Сколько достойны всяческих похвал основатели республики или царства, столь же учредители тирании гнусны и презренны

Из всех прославляемых людей более всего прославляемы главы и учредители религий. Почти сразу же за ними следуют основатели республик или царств. Несколько ниже на лестнице славы стоят те, кто, возглавляя войска, раздвинули пределы собственного царства или же своей родины. Потом идут писатели. А так как пишут они о разных вещах, то каждый из писателей бывает знаменит в соответствии с важностью своего предмета. Всем прочим людям, число которых безмерно, воздается та доля похвал, которую приносит им их искусство и сноровка. Наоборот, гнусны и омерзительны искоренители религий, разрушители республик и царств, враги доблести, литературы и всех прочих искусств, приносящих пользу и честь роду человеческому, иными словами – люди нечестивые, насильники, невежды, недотепы, лентяи и трусы.

Нет никого, кто окажется так глуп или же так мудр, так подл или так добродетелен, что, представься ему выбор, он не станет хвалить людей, достойных похвал, и порицать достойных порицания. Тем не менее почти все, обманутые видимостью мнимого блага и ложной славы, вольно или невольно скатываются в число именно тех людей, которые заслуживают скорее порицаний, нежели похвал. Имея

возможность заслужить огромный почет созданием республики или царства, они обращаются к тирании и не замечают, какой доброй репутации, какой славы, какой чести, какой безопасности и какого душевного спокойствия, вместе с внутренним удовлетворением, они при этом лишаются, на какое бесславие, позор, опасность, тревоги они себя обрекают.

Невозможно, чтобы люди, как живущие частной жизнью в какой-либо республике, так и те, кто благодаря судьбе и собственной доблести сделались в ней государями, если бы только они читали сочинения историков и извлекали драгоценные уроки из воспоминаний о событиях древности, не пожелали – те, что живут частной жизнью у себя на родине, быть скорее Сципионами, чем Цезарями, те же, кто стал там государями, оказаться скорее Агесилаями, Тимолеонтами, Дионами, нежели Набидами, Фаларисами, Дионисиями, ибо они увидели бы, что последние страшным образом поносятся, а первые превозносятся до небес. Кроме того, они узнали бы, что Ти-молеонт и другие пользовались у себя на родине ничуть не меньшим авторитетом, чем Дионисий и Фаларис, но жили в несравненно большей безопасности.

И пусть никого не обманывает слава Цезаря, как бы сильно ни прославляли его писатели, ибо хваливших Цезаря либо соблазнила его счастливая судьба, либо устрасила продолжительность существования императорской власти, которая, сохраняя его имя, не допускала, чтобы писатели свободно о нем говорили. Однако если кому-нибудь захочется представить, что сказали бы о Цезаре неутраченные писатели, пусть почитает он, что пишут они о Катилине. Цезарь заслужил даже большего порицания; ведь больше надобно порицать того, кто причинил, а не того, кто хотел причинить зло. Пусть почитает он также, какие хвалы воздаются историками Бруту; поскольку могущество Цезаря не позволило им ругать его открыто, они прославляли его врага.

Пусть тот, кто сделался государем в республике, посмотрит, насколько больше похвал воздавалось в Риме, после того как Рим стал Империей, императорам, жившим согласно законам и как добрые государи, по сравнению с теми из них, которые вели прямо противоположный образ жизни. Он увидит, что Тит, Нерва, Траян, Антонин и Марк не нуждались для своей защиты ни в преторианской гвардии, ни во множестве легионов, ибо защитой им служили их собственные нравы, расположение народа и любовь Сената. Он увидит также, что всех западных и восточных армий не хватило для того, чтобы уберечь Калигулу, Нерона, Вителлин и многих других преступных императоров от врагов, которых порождали их пороки и злодейская жизнь. Если бы история римских императоров была как следует рассмотрена, она могла бы послужить хорошим руководством для какого-нибудь государя и показать ему пути славы и позора, безопасности и вечных опасений за собственную жизнь. Ведь из двадцати шести императоров от Цезаря до Максимилиана шестнадцать были убиты и лишь десять умерли своей смертью. Если в числе убитых оказалось несколько хороших императоров, вроде Гальбы и Пертинакса, то причиной тому было разложение, до которого довели солдат их предшественники. А если среди императоров, умерших естественной смертью, оказался злодей вроде Севера, то объясняется это единственно его величайшим счастьем и доблестью, двумя обстоятельством, сопутствующими жизни очень немногих людей. Кроме того, прочтя историю римских императоров, государь увидит, как можно образовать хорошую монархию, ибо все императоры, получившие власть по наследству, за исключением Тита, были плохими; те же из них, кто получил власть в силу усыновления, оказались хорошими; пример тому – пять императоров от Нервы до Марка; когда императорская власть стала наследственной, она пришла в упадок.

Так вот, пусть государь взглянет на время от Нервы до Марка и сопоставит его с временем, бывшим до них и после них; а затем пусть выбирает, в какое время он хотел бы родиться и какому времени – положить начало. Во времена, когда у власти стояли добрые мужи, он увидит ничего не страшящегося государя, окруженного ничего не опасавшимися гражданами, жизнь, преисполненную мира и справедливости; он увидит Сенат со всеми его правомочиями, магистратов во всей их славе, богатых граждан, радующихся своему богатству, благородство и доблесть, повсеместно почитаемые; он увидит, что повсюду воцарилось спокойствие и благо; и вместе с тем – что всюду исчезли обиды, разнузданность, разврат и тщеславие; он увидит золотой век, когда всякому человеку предоставлена возможность отстаивать и защищать любое мнение. И, наконец, он увидит торжество мира: государя, почитаемого и прославляемого, народ, преисполненный любви и верности. Если же затем он лучше всмотрится во времена иных императоров, то увидит времена те ужасными из-за войн, мятежными из-за пороков, жестокими и в дни войны, и в дни мира; он увидит множество государей, гибнущих от меча, неисчислимые гражданские и внешние войны, Италию, удрученную неслыханными несчастьями, города, разрушенные и разграбленные. Он увидит пылающий Рим, Капитолий, разрушенный соборными гражданами, древние храмы оскверненные, поруганные обряды, города, наполненные прелюбодеяниями; он увидит море, покрытое ссыльными, скалы, залитые

кровью. Он увидит, как в Риме совершаются бесчисленные жестокости, как благородство, богатство, прошлые заслуги, а больше всего доблесть вменяются в тягчайшие преступления, караемые смертью. Он увидит, как награждают клеветников, как слуг подкупают доносить на господ, вольноотпущенников – на их хозяев и как те, у кого не нашлось врагов, угнетаются своими друзьями. Вот тогда-то он очень хорошо поймет, чем обязаны Цезарю – Рим, Италия, весь мир.

Нет сомнения в том, что если только государь этот рожден человеком, он с ужасом отвратится от подражания дурным временам и воспылает страстным желанием следовать примеру времен добрых. Поистине государь, ищущий мирской славы, должен желать завладеть городом развращенным – не для того, чтобы его окончательно испортить, как это сделал Цезарь, но дабы, подобно Ромулу, полностью преобразовать его. И воистину, ни небеса не способны дать людям большей возможности для славы, ни люди не могут жаждать большего. И если государь, желавший дать городу хорошей строй, но не давший его из боязни потерять самодержавную власть, заслуживает некоторого извинения, то нет никакого оправдания тому государю, который не преобразовал город, имея возможность сохранить единое государство. Вообще пусть помнят те, кому небеса предоставляют такую возможность, что перед ними открываются две дороги: одна приведет их к жизни в безопасности и прославит их после смерти, другая – обречет их на непрестанные тревоги и после смерти покроет их вечным позором.

Глава XI

О религии римлян

Случилось так, что первым своим устройтелем Рим имел Ромула и от него, как если бы он был ему сыном, получил жизнь и воспитание. Однако, решив, что порядки, учрежденные Ромулом, не достаточны для столь великой державы, небеса внушили римскому Сенату решение избрать преемником Ромула Нуму Помпилия, дабы он упорядочил все то, что Ромул оставил после себя недоделанным.

Найдя римский народ до крайности диким и желая заставить его подчиняться нормам общественной жизни посредством мирных средств, Нума обратился к религии как к вещи совершенно необходимой для поддержания цивилизованности и так укоренил ее в народе, что потом в течение многих веков не было республики, в которой наблюдалось бы большее благочестие; оно-то и облегчило как римскому Сенату, так и отдельным великим римлянам осуществление всех задумываемых ими предприятий. Всякий, кто рассмотрит бесчисленные действия всего народа Рима в целом, а также отдельных римлян, увидит, что римские граждане гораздо больше страшались нарушить клятву, нежели закон, как те, кто почитают могущество бога превыше могущества людей. Это ясно видно на примере Сципиона и Манлия Торквата.

После разгрома, учиненного римлянам при Каннах Ганнибалом, многие римские граждане собрались вместе и, отчаявшись в спасении родины, решили покинуть Италию и уехать в Сицилию. Прослышав про то, Сципион разыскал их и, обнажив меч, заставил их поклясться не покидать родину.

Луций Манлий, отец Тита Манлия, прозванного впоследствии Торкватом, был как-то обвинен плебейским Трибуном Марком Помпонием; однако, прежде чем настал день суда, Тит явился к Марку и, грозя убить его, если только он не поклянется снять с отца обвинение, заставил его дать в том клятву, и тот, поклявшись из страха, отказался потом от обвинения.

Так вот, те самые граждане, которых не могли удержать в Италии ни любовь к родине, ни отеческие законы, были удержаны насильно данною клятвой. А упомянутый Трибун пренебрег ненавистью, обидой, нанесенной ему сыном Луция Манлия, собственной честью, чтобы только никак не нарушить данной им клятвы. Порождалось же это не чем иным, как тою религией, которую Нума насадил в Риме.

Кто хорошо изучит римскую историю, увидит, насколько религия помогала командовать войсками, воодушевлять Плебс, сдерживать людей добродетельных и посрамлять порочных. Так что, если бы зашел спор о том, какому государю Рим обязан больше – Ромулу или же Нуме, то, как мне кажется, предпочтение следовало бы отдать Нуме, ибо там, где существует религия, легко создать армию, там же, где имеется армия, но нет религии, насадить последнюю чрезвычайно сложно. Известно, что для основания Сената и для установления других гражданских и военных учреждений Ромулу не понадобилось авторитета бога. Однако авторитет сей весьма пригодился Нуме; он делал вид, будто завел дружбу с Нимфой и что именно она советовала ему все то, что он потом рекомендовал народу. Проистекало это из того, что Нума хотел ввести новые, невиданные дотоле порядки и не был уверен, хватит ли для этого его собственного авторитета.

В самом деле, ни у одного народа не было никогда учредителя чрезвычайных законов, который не прибегал бы к Богу, ибо в противном случае законы их не были бы приняты; ибо много есть благ, познанных человеком рассудительным, которые

сами по себе не столь очевидны, чтобы и все прочие люди могли сразу же оценить их достоинства. Вот почему мудрецы, желая устранить подобную трудность, прибегают к богам. Так поступал Солон, и так же поступали многие другие законодатели, преследовавшие те же самые цели, что были у Ликурга и у Солона.

Так вот, восхищаясь добротой и мудростью Нумы, римский Народ подчинялся всем его решениям. Правда, времена тогда были весьма религиозные, а люди, над которыми ему приходилось трудиться, были совсем неотесанные. Это сильно облегчало Нуме исполнение его замыслов, ибо он мог лепить из таких людей все, что хотел. Кто захотел бы в наши дни создать республику, нашел бы для нее более подходящий материал среди горцев, которых еще не коснулась культура, а не среди людей, привыкших жить в городах, где культура пришла в упадок. Так скульптору легче извлечь прекрасную статую из неотесанного куска мрамора, нежели из плохо обработанного кем-нибудь другим.

Итак, рассмотрев все сказанное, я прихожу к выводу, что введенная Нумой религия была одной из первейших причин счастья Рима, ибо религия эта обусловила добрые порядки, добрые же порядки породили удачу, а удача приводила к счастливому завершению всякое предприятие. Подобно тому как соблюдение культа божества является причиной величия государств, точно так же пренебрежение этим культом является причиной их гибели. Ибо там, где отсутствует страх перед Богом, неизбежно случается, что царство либо погибает, либо страх перед государем не исполняет в нем недостаток религии. Но поскольку жизнь государей коротка, то и случается, что такое царство существует лишь до тех пор, пока существует доблесть его царя. Вот почему царства, зависящие только от доблести одного человека, недолговечны, ибо доблесть эта исчезает с его смертью и весьма не часто воскресает в его наследниках, как о том мудро говорит Данте:

Не часто доблесть, данная владыкам,
Нисходит в ветви; тот ее дарит,
Кто может все в могуществе великом.

Поэтому благо республики или царства состоит вовсе не в том, чтобы обладать государем, который бы мудро правил ими в течение всей жизни, а в том, чтобы иметь такого государя, который установил бы в них такие порядки, чтобы названное благо не исчезло с его смертью. И хотя грубых людей легче убедить принять какой-либо новый порядок или согласиться с каким-нибудь новым мнением, из этого никак не следует, будто вовсе невозможно убедить в том же самом граждан цивилизованных и почитающих себя людьми отнюдь не неотесанными. Народ Флоренции не кажется ведь ни невежественным, ни грубым; тем не менее брат Джироламо Савонарола убедил его в том, что он беседовал с Богом. Я не хочу разбирать, правда ли то или нет, ибо о такого рода людях надлежит говорить с почтением. Я говорю лишь, что весьма многие ему верили, без того чтобы какое-либо из ряда вон выходящее знамение вынудило их к этому; для того, чтобы вызвать к его словам доверие, достаточно было его образа жизни, его учения, предмета, о котором он толковал. Поэтому пусть никто не опасается, что ему не удастся достичь того же, что прежде удавалось достигнуть другим; ведь люди, как было говорено в нашем предисловии, рождаются, живут и умирают, всегда следуя одному и тому же порядку вещей.

Глава XII

О том, сколь важно считаться с религией и как, пренебрегая этим, по вине римской церкви Италия пришла в полный упадок

Государи или республики, желающие остаться неразвращенными, должны прежде всего уберечь от порчи обряды своей религии и непрестанно поддерживать к ним благоговение, ибо не может быть более очевидного признака гибели страны, нежели явное пренебрежение божественным культом. Это легко уразуметь, зная, на чем основана религия, рождающаяся вместе с людьми; ведь жизнь всякой религии поддерживается каким-нибудь ее главным принципом. Жизнь языческой религии держалась на ответах оракулов и на секте прорицателей и гаруспиков: из этого проистекали все прочие церемонии язычников, их жертвоприношения и их обряды. Ведь нетрудно поверить тому, что бог, который способен предсказать тебе твое грядущее благо или же твое грядущее зло, может также и даровать тебе оные. Отсюда рождались храмы, отсюда – жертвоприношения, отсюда – молитвы и весь прочий ритуал богочитания. Вот почему оракул Делоса, храм Юпитера Амона и

другие прославленные оракулы преисполняли мир восхищением и благоговением. Когда же впоследствии они начали вещать угодное власть имущим и весь этот обман стал явен народу, люди сделались неверующими и готовыми нарушить любой добрый порядок. Поэтому главам республики или царства надобно сохранять основы поддерживающей их религии. Поступая так, им будет легко сохранить государство свое религиозным, а следовательно, добрым и единым. Им надлежит поощрять и умножать все, что возникает на благо религии, даже если сами они считают явления эти обманом и ложью. И им следует поступать так тем ревностнее, чем более рассудительными людьми они являются и чем более они сильны в познании природы. Именно поэтому, что подобного образа действий придерживались мудрецы, возникла вера в чудеса, которые почитаются всеми религиями, даже ложными. Ведь люди знающие раздувают их, какими бы причинами чудеса сии ни порождались. В Древнем Риме такого рода чудес было предостаточно. Вот одно из них. В то время, как римские солдаты предавали разграблению город вейентов, некоторые из них вошли в храм Юноны и, приблизившись к статуе богини, спросили у нее: «*Vis venire Romam?*» После этого какому-то из солдат показалось, будто статуя кивнула, другому же, – что она ответила: «Да». Ведь будучи людьми глубоко религиозными (согласно Титу Ливию, они вступили в храм чинно, преисполненные почтения и благочестия), солдаты сочли, будто услышали тот самый ответ, каковой, как им представлялось, предполагал их вопрос. Мнение это и суеверие солдат было полностью одобрено и поддержано Камиллом и прочими начальниками города.

Если бы князья христианской республики сохраняли религию в соответствии с предписаниями, установленными ее основателем, то христианские государства и республики были бы гораздо целостнее и намного счастливее, чем они оказались в наше время. Невозможно представить большего свидетельства упадка религии, нежели указание на то, что народ, находящийся ближе всех к римской Церкви, являющейся главой нашей религии, наименее религиозен. Тот, кто рассмотрит основы нашей религии и посмотрит, насколько отличны ее нынешние обычаи от стародавних, первоначальных, придет к выводу, что она, несомненно, близка либо к своей гибели, либо к мучительным испытаниям.

Так как многие придерживаются мнения, будто благо городов Италии проистекает от римской Церкви, я хочу выдвинуть против этого мнения ряд необходимых для меня доводов. Приведу два из них, чрезвычайно сильных и, как мне представляется, неотразимых. Первый: дурные примеры папской курии лишили нашу страну всякого благочестия и всякой религии, что повлекло за собой бесчисленные неудобства и бесконечные беспорядки, ибо там, где существует религия, предполагается всякое благо, там же, где ее нет, надо ждать обратного. Так вот, мы, итальянцы, обязаны Церкви и священникам прежде всего тем, что остались без религии и погрязли во зле.

Но мы обязаны им еще и гораздо большим, и сие – вторая причина нашей гибели. Церковь держала и держит нашу страну раздробленной. В самом деле, ни одна страна никогда не бывала единой и счастливой, если она не подчинялась какой-нибудь одной республике или же какому-нибудь одному государю, как то случилось во Франции и в Испании. Причина, почему Италия не достигла того же самого, почему в ней нет ни республики, ни государя, которые бы ею управляли, – одна лишь Церковь. Укоренившись в Италии и присвоив себе светскую власть, римская Церковь не оказалась ни столь сильной, ни столь доблестной, чтобы суметь установить собственную тиранию надо всей Италией и сделаться ее государем; с другой стороны, она не была настолько слаба, чтобы, боясь утратить светскую власть над своими владениями, не быть в состоянии призывать себе на подмогу могущественных союзников, которые защищали бы ее против всякого народа и государства, становящегося в Италии чрезмерно сильным. В давние времена тому бывало немало примеров. Так, при помощи Карла Великого Церковь прогнала лангобардов, бывших чуть ли не королями всей Италии. В наше время она подорвала мощь венецианцев с помощью французов, а потом прогнала французов с помощью швейцарцев. Таким образом, не будучи в силах овладеть всей Италией и не позволяя, чтобы ею овладел кто-нибудь другой, Церковь была виновницей того, что Италия не смогла оказаться под властью одного владыки, но находилась под игом множества господ и государей. Это породило столь великую ее раздробленность и такую ее слабость, что она делалась добычей не только могущественных варваров, но всякого, кто только ни желал на нее напасть. Всем этим мы, итальянцы, обязаны Церкви, и никому иному. А если кто пожелал бы на опыте проверить истинность вышесказанного, ему следовало бы обладать такой силой, чтобы иметь возможность переселить папскую курию, со всей той властью, какой она располагает в Италии, на земли швейцарцев, каковые ныне являются единственным народом, живущим на манер древних, касается ли это их религии или же порядков в их армии; он увидел бы, что порочные нравы означенной курии за короткое время внесли бы большой разлад в эту страну, нежели любое другое несчастье, которое могло бы когда-либо выпасть на ее долю.

Глава XVI

Народ, привыкший жить под властью государя и благодаря случаю ставший свободным, с трудом сохраняет свободу

Насколько трудно народу, привыкшему жить под властью государя, сохранить затем свободу, если он благодаря какому-нибудь случаю ее обретет, как обрел ее Рим после изгнания Тарквиниев, показывают многочисленные примеры, содержащиеся в сочинениях древних историков. Трудности эти понятны, ибо подобный народ является не чем иным, как грубым животным, которое мало того что по природе своей свирепо и дико, но вдобавок вскармливалося всегда в загоне и в неволе; будучи случайно выпущенным на вольный луг и не научившись еще ни питаться, ни находить места для укрытия, оно делается добычей первого встречного, который пожелает снова надеть на него ярмо.

То же самое происходит с народом, который, привыкнув жить под властью других, не умея взвешивать ни того, что полезно обществу, ни того, что идет ему во вред, не понимая государей и не будучи понятным ими, вскоре снова склоняет выю под иго, зачастую оказывающееся еще более тяжким, нежели то, которое он только что сбросил. С подобного рода трудностями сталкивается народ, не подвергшийся нравственной порче. Ибо народ, полностью развращенный, не то что малое время, но вообще ни минуты не может жить свободным, как об этом и будет сказано несколько дальше. Теперь мы станем рассуждать о народе, в который развращенность не проникла еще достаточно глубоко и который более добр, чем испорчен.

К вышеназванным трудностям следует добавить еще одну. Она заключается вот в чем: государство, ставшее свободным, создает партию своих врагов, а не партию друзей. Партию его врагов образуют все те, кто извлекал для себя выгоду из тиранического строя, кормясь от щедрот государя. Когда у них отнимается возможность для злоупотреблений, они теряют покой и оказываются вынужденными пытаться восстановить тиранию, дабы вернуть себе власть и влияние. Освободившееся государство не приобретает, как я уже говорил, партии друзей, ибо свободная жизнь предполагает, что почести и награды воздаются за определенные и честные поступки, а просто так никто не получает ни почестей, ни наград; когда же кто-нибудь обладает теми почестями и привилегиями, которые, как ему представляется, он заслужил, он никогда не считает, что чем-то обязан людям, которые его вознаградили.

Кроме того, те общие выгоды, которые проистекают из свободной жизни, никем не признаются, пока они не отняты; заключаются же они в возможности свободно пользоваться собственным добром, не опасаться за честь жены и детей, не страшиться за свою судьбу; но ведь никто никогда не сочтет себя обязанным тому, кто его не обижает.

Итак, как было выше сказано, свободное, заново созданное государство приобретает партию врагов и не приобретает партии друзей. И если кто пожелает избавиться от такого рода неудобства и устранить неурядицы, которые несут с собой вышеозначенные трудности, то для него нет более действенного, более надежного, более верного, более необходимого средства, нежели убить сыновей Брута. Они, как свидетельствует история, были вместе с другими римскими юношами подвигнуты на заговор против родины только тем, что не могли пользоваться при консульской власти исключительными привилегиями, доступными им при власти царей. Таким образом, свобода всего римского народа обернулась для них, как им казалось, рабством. Кто берется направлять народные массы по пути свободы или по пути единодержавия и вместе с тем не предпринимает всего необходимого, чтобы обезопасить себя от врагов нового строя, создает недолговечное государство. Вот почему я почитаю несчастными тех государей, которые, дабы обезопасить свой строй, прибегают к крайним мерам, имея врагом своим народные массы; ибо имеющий своими врагами немногих может обезопасить себя легко и без большого скандала, имеющий же врагом весь народ не обезопасит себя никогда; чем к большим жестокостям будет он прибегать, тем слабее станет его самодержавный строй. Таким образом, лучшее средство для него – попытаться сделать народ своим другом.

И хотя рассуждение это отступает от темы нашего рассуждения, ибо в нем я говорил о республике, теперь же говорю о государе, тем не менее, дабы не возвращаться больше к этому вопросу, я хочу сказать о нем несколько слов. Так вот, желая приобрести расположение народа, государь – я имею в виду государей, сделавшихся тиранами своей родины, – должен прежде всего выяснить, к чему больше всего стремится народ. Он обнаружит, что народ всегда стремится к двум вещам: во-первых, отомстить тем, кто оказался причиной его рабства, во-вторых, вновь обрести утраченную свободу. Первое из этих стремлений государь может удовлетворить полностью, второе – отчасти.

Относительно первого имеется хороший пример. Клеарх, тиран Гераклеи, находился

в изгнании. Случилось, что в ходе распрей, возникших между народом и Оптиматами Гераклеи, Оптиматы, чувствуя себя слабее, склонились на сторону Клеарха, составили заговор и послали за ним против воли народа Гераклеи, а затем отняли у народа свободу. Клеарх, очутившись между наглостью Оптиматов, коих он никаким образом не мог ни удовлетворить, ни обуздать, и яростью Пополанов, не способных снести потери свободы, решил одним махом избавиться от бремени грандов и приобрести расположение народа. Воспользовавшись представившимся ему удобным случаем, Клеарх полностью истребил всех Оптиматов к великому удовольствию Пополанов. Таким образом он удовлетворил одно из народных чаяний – желание отомстить.

Что же касается другого стремления народа – вновь обрести утраченную свободу, то, не имея возможности его удовлетворить, государь должен выяснить, какие причины побуждают народ стремиться к свободе. Он обнаружит, что небольшая часть народа желает быть свободной, дабы властвовать; все же остальные, а их подавляющее большинство, стремятся к свободе ради своей безопасности. Так как во всех республиках, как бы они ни были организованы, командных постов достигает не больше сорока-пятидесяти граждан и так как число это не столь уж велико, то дело вовсе не сложное обезопасить себя от этих людей, либо устранив их, либо воздав им такие почести, какие, сообразно занимаемому ими положению, могли бы их в значительной мере удовлетворить. Что же касается всех прочих, которым достаточно жить в безопасности, то удовлетворить их легко, создав порядки и законы, при которых власть государя предполагает общественную безопасность. Когда государь сделает это и когда народ увидит, что никто ни при каких обстоятельствах не нарушает данных ему законов, он очень скоро начнет жить жизнью спокойной и довольной. Пример тому – королевство Франции. Оно живет спокойно прежде всего потому, что его короли связаны бесчисленными законами, в которых заключено спокойствие и безопасность всего народа. Учредитель его строя пожелал, чтобы французские короли войском и казной распоряжались по своему усмотрению, а всем остальным распоряжались бы лишь в той мере, в какой это допускают законы.

Итак, государю или республике, не обеспечившим собственной безопасности при возникновении своего строя, надлежит обезопасить себя при первом же удобном случае, как то сделали древние римляне. Упустивший подобный случай впоследствии пожалеет о том, что не сделал того, что ему следовало бы сделать.

Поскольку римский народ не был еще испорчен, когда он приобрел свободу, то он сумел сохранить ее после казни сыновей Брута и смерти Тарквиниев с помощью тех действий и порядков, о коих мы рассуждали в другом месте. Однако если бы народ этот был развращен, то ни в Риме, ни в какой другой стране не нашлось бы надежных средств для сохранения свободы. Это мы и покажем в следующей главе.

Глава XVII

Развращенному народу, обретшему свободу, крайне трудно остаться свободным

Я вижу необходимость того, что власти царей в Риме пришел конец: в противном случае Рим очень скоро сделался бы слабым и ничтожным. Ибо римские цари дошли до такой развращенности, что если бы царям этим наследовало еще два-три подобных им преемника и заложенная в них порча начала распространяться по всем членам, вследствие чего члены эти оказались бы прогнившими, то восстановить Рим стало бы уже окончательно невозможно. Но, потеряв главу, когда тело было еще неповрежденным, римляне смогли легко обратиться к жизни свободной и упорядоченной. Следует принять за непреложную истину, что развращенный город, живущий под властью государя, даже если государь его гибнет вместе со всем своим родом, никогда не может обратиться к свободе. Наоборот, надобно, чтобы одного государя губил в нем другой государь. Без появления какого-нибудь нового правителя город этот никогда не выстоит, если только добродетель и доблесть названного правителя не поддержат в нем свободы. Однако свобода города просуществует лишь столько, сколько продлится жизнь нового государя. Так было в Сиракузах при Дионе и Тимолеонте: их доблесть, пока они были живы, сохраняла этот город свободным, когда же они умерли, город вернулся к давней тирании.

Однако нет более убедительного примера этому, чем тот, что дает Рим: после изгнания Тарквиниев он сумел сразу же обрести и удержать свободу, но после смерти Цезаря, после смерти Гая Калигулы, после смерти Нерона и гибели всего Цезарева рода Рим никогда не мог не только сохранить свободу, но даже хотя бы попытаться положить ей начало. Такое различие в ходе событий, имевших место в одном и том же городе, порождено не чем иным, как тем обстоятельством, что во времена Тарквиниев римский народ не был еще развращенным, а в более поздние времена он был развращен до крайности. Ведь тогда, для того чтобы поддержать в народе твердость и решимость прогнать царей, достаточно было заставить его поклясться, что он никогда не допустит, чтобы кто-нибудь царствовал в Риме;

впоследствии же ни авторитета, ни суровости Брута со всеми его восточными легионами не оказалось достаточным для того, чтобы побудить римский народ пожелать сохранить ту самую свободу, которую он вернул ему, наподобие Брута первого. Произошло это от развращенности, которую внесла в народ партия марианцев. Сделавшись ее главой, Цезарь сумел настолько ослепить народные массы, что они не признали ярма, которое сами себе надели на шею.

И хотя этот пример из истории Рима можно было бы предпочесть всякому другому примеру, я все-таки хочу по данному поводу сослаться также на опыт современных нам народов. Я утверждаю, что никакие события, сколь бы решительны и насильственны они ни были, не смогли бы сделать Милан или Неаполь свободными, ибо все члены их прогнали. Это обнаружилось после смерти Филиппо Висконти: те, кто тогда пожелали вернуть Милану свободу, не смогли и не сумели ее сохранить. Поэтому для Рима было великим счастьем то, что его цари быстро развратились; вследствие этого они были изгнаны еще до того, как их растленность перекинулась на чрево города. Неразвращенность Рима была причиной тому, что бесчисленные смуты не только не вредили, а, наоборот, шли на пользу Республике, ибо граждане ее преследовали благие цели.

Итак, можно сделать следующий вывод: там, где материал не испорчен, смуты и другие раздоры не приносят никакого вреда, там же, где он испорчен, не помогут даже хорошо упорядоченные законы, если только они не предписываются человеком, который с такой огромной энергией заставляет их соблюдать, что испорченный материал становится хорошим. Однако я не знаю, случалось ли это когда-либо и вообще возможно ли, чтобы это случилось. Ибо очевидно, как я уже говорил несколько выше, что город, пришедший в упадок из-за испорченности материала, если когда и поднимается, то только благодаря доблести одного человека, в то время живущего, а не благодаря доблести всего общества, поддерживающего в народе добрые порядки. Едва лишь человек этот умирает, как город тут же возвращается к своему извечному состоянию. Так было с Фивами, которые благодаря доблести Эпаминонда, пока он был жив, могли сохранять форму республики и обладать империей; однако как только он умер, Фивы вернулись к своим прежним неурядицам.

Причина этому та, что не существует столь долговечного человека, чтобы ему хватило времени хорошо образовать город, бывший долгое время плохо образованным, и если чрезвычайно долголетний правитель или же два поколения доблестных его наследников не подготовят город к свободной жизни, то, как уже было сказано выше, он неминуемо погибнет, если только его не заставят возродиться великие опасности и великая кровь. Ибо указанная развращенность и малая привычка к свободной жизни порождают неравенством, царящим в этом городе, и желающий создать в нем равенство неизбежно должен был бы прибегнуть к самым крайним, чрезвычайным мерам, каковыми немногие сумеют или захотят воспользоваться. Подробно об этом будет сказано в другом месте.

Глава XVIII

Каким образом в развращенных городах можно сохранить свободный строй, если он в них существует, или создать его, если они им не обладают

Я полагаю, не будет ни неуместным, ни идущим вразрез с вышеприведенным рассуждением рассмотреть, возможно ли в развращенном городе сохранить свободный строй, буде он в нем существует, или же, когда его в нем не существует, можно ли его создать. Я утверждаю, что и то, и другое сделать крайне трудно. И хотя здесь здесь правило – вещь почти немислимая, ибо пришлось бы пройти по всем ступеням развращенности, я все-таки, поскольку обсудить надо все, не хочу обойти этот вопрос молчанием.

Возьмем город совершенно развращенный, дабы увидеть наибольшее нагромождение рассматриваемых трудностей: в нем не существует ни законов, ни порядков, способных обуздать всеобщую испорченность. Ибо как добрые нравы, для того чтобы сохраниться, нуждаются в законах, точно так же и законы, для того чтобы они соблюдались, нуждаются в добрых нравах. Кроме того, порядки и законы, установленные в республике в пору ее возникновения, когда люди были добрыми, оказываются неуместными впоследствии, когда люди делаются порочными. Но если законы в городе меняются в зависимости от обстоятельств, то порядки его не меняются никогда или меняются крайне редко. Вследствие сего одних новых законов еще недостаточно, ибо их ослабляют нерушимые порядки.

Дабы все это стало понятнее, скажу, что в Риме существовал порядок правления или, вернее, государственного строя, а кроме того – законы, которые при посредстве магистратов обуздывали граждан. Порядок государственного строя составляли: власть Народа, Сената, Трибунов, Консулов, способы выдвижения и выборов магистратов, форма принятия законов. Эти порядки мало или вовсе не менялись в зависимости от внешних обстоятельств. Менялись законы, обуздывающие

граждан, – закон о прелюбодеянии, закон против роскоши, закон против злоупотреблений и многие другие; они возникали постепенно, по мере того как граждане становились испорченными. Однако поскольку оставались нерушимыми порядки государственного строя, которые при общественной испорченности перестали быть добрыми, то одного изменения законов не оказалось достаточным для того, чтобы сохранить добрыми людей. Изменения эти сослужили бы хорошую службу, если бы вместе с введением новых законов менялись бы также и порядки.

Справедливость того, что названные порядки в развращенном городе переставали быть добрыми, обнаруживается на примере двух главных проявлений политической жизни – избрания магистратов и принятия законов. Римский народ предоставлял консулат и другие важные государственные должности только тем лицам, кто их домогался. Такой порядок был вначале хорош, ибо сих должностей домогались только такие граждане, которые почитали себя их достойными: получить отказ считалось в то время позором; так что для того, чтобы быть признанным достойным занять государственную должность, каждый старался вести себя хорошо. Потом же, в развращенном городе, этот обычай стал чрезвычайно вредным, ибо магистратур в нем домогались люди не самые добродетельные, а самые могущественные; не обладающие же силой граждане, даже если они бывали людьми доблестными, из страха воздерживались от того, чтобы требовать себе должностей. Зло это укоренилось не вдруг, а постепенно, как всегда укореняется зло.

Покорив Африку и Азию, подчинив себе почти всю Грецию, римляне почитали свободу свою обеспеченной и не думали, что у них есть враги, которых им следовало бы опасаться. Эта уверенность народа в обеспеченности своей свободы, а также слабость внешних врагов привели к тому, что, предоставляя консулат, римский народ обращал внимание уже не на доблесть, а на обходительность, и выбирал на эту должность тех, кто умел лучше умастить сограждан, а не тех, кто умел лучше побеждать врагов. Затем от людей наиболее обходительных римский народ опустился до людей наиболее могущественных и стал делать их консулами. Таким образом, из-за недостатка одного из порядков государственного строя добрые граждане оказались полностью отстраненными от государственных должностей.

Некогда Трибун, да и вообще любой гражданин мог предлагать Народу закон; за этот закон или против него мог высказываться всякий гражданин, пока относительно предложенного закона не принималось определенное решение. И такой порядок был добр, пока добрыми были граждане, ибо всегда хорошо, когда любой человек, имеющий в виду общественное благо, обладает возможностью выносить на обсуждение свои предложения; и хорошо, когда всякий может высказывать о них свое мнение, дабы народ, выслушав всех, мог остановиться на лучшем. Однако когда граждане сделались дурными, таковой порядок оказался чрезвычайно плох, ибо законы предлагали теперь только могущественные граждане, и не во имя общей свободы, а ради собственного могущества: из страха перед ними никто не мог возражать против предлагаемых ими законов. Таким образом, народу приходилось – либо потому, что он бывал обманут, либо же потому, что его вынуждали к этому, – выносить решения, ведущие к его гибели.

Следовательно, для того чтобы Рим и в развращенности сохранял свободу, необходимо было, чтобы, создавая в ходе своей жизни новые законы, он создавал бы вместе с ними и новые порядки; ибо надлежит учреждать различные порядки и образ жизни для существа дурного и доброго: не может быть сходной формы там, где материя во всем различна. Однако, поскольку таковые порядки надо обновлять либо все сразу, когда очевидно, что они перестали быть пригодными, либо мало-помалу, по мере того как познается непригодность каждого из них, то я скажу, что и то и другое – вещь почти невозможная. Ибо для постепенного обновления государственного строя необходимо, чтобы они осуществлялись проницательным человеком, который бы загодя видел недостаток той или иной из сторон государственного строя, когда недостаток этот только еще зародился. Весьма вероятно, что такого человека в городе никогда не найдется; а если он даже и найдется, ему все равно ни за что не удастся убедить других в том, что для него самого совершенно ясно, ибо люди, привыкнув к определенному укладу жизни, не любят его менять, особенно когда они не сталкиваются со злом лицом к лицу, и поэтому им приходится говорить о нем, основываясь на предположениях. Что же касается внезапного обновления названных порядков, когда уже всякому ясна их непригодность, то я скажу, что ту самую их порчу, которую нетрудно понять, трудно исправить; ибо для этого недостаточно использования обычных путей, так как обычные формы стали дурными – здесь необходимо будет обратиться к чрезвычайным мерам, к насилию и к оружию, и сделаться прежде всего государем этого города, чтобы иметь возможность распоряжаться в нем по своему усмотрению. Поскольку же восстановление в городе политической жизни предполагает доброго человека, а насильственный захват власти государя в республике предполагает человека дурного, то поэтому крайне редко бывает, чтобы добрый человек пожелал,

даже преследуя благие цели, встать на путь зла и сделаться государем. Столь же редко случается, чтобы злодей, став государем, пожелал творить добро и чтобы ему когда-либо пришло на ум использовать во благо ту самую власть, которую он приобрел дурными средствами.

Из всего вышесказанного следует, что в развращенных городах сохранить республику или же создать ее – дело трудное, а то и совсем невозможное. А ежели все-таки ее в них пришлось бы создавать или поддерживать, то тогда необходимо было бы ввести в ней режим скорее монархический, нежели демократический, с тем чтобы те самые люди, которые по причине их наглости не могут быть исправлены законами, в какой-то мере обуздывались властью как бы царской. Стремиться сделать их добрыми иными путями было бы делом крайне жестоким или же вовсе невозможным, как я уже говорил раньше, ссылаясь на опыт Клеомена. Он, дабы одному обладать властью, убил Эфоров. По той же причине Ромул убил брата и Тита Тация Сабина. И хотя и Ромул, и Клеомен впоследствии хорошо использовали свою власть, я тем не менее не могу не отметить, что оба они не имели дела с материалом, испорченным той развращенностью, о которой мы рассуждали в этой главе. Поэтому они смогли проявить волю и, пожелав, довести до конца свои замыслы.

Глава XXV

Кто хочет преобразовать старый строй в свободное государство, пусть сохранит в нем хотя бы тень давних обычаев

Тому, кто стремится или хочет преобразовать государственный строй какого-нибудь города и желает, чтобы этот строй был принят и поддерживался всеми с удовольствием, необходимо сохранить хотя бы тень давних обычаев, дабы народ не заметил перемены порядка, несмотря на то что в действительности новые порядки будут совершенно не похожи на прежние. Ибо люди вообще тешат себя видимым, а не тем, что существует на самом деле. Вот почему римляне, познав необходимость этого в самом начале своей свободной жизни, заменив одного царя двумя выборными консулами, не захотели, чтобы у консулов было более двенадцати ликторов, дабы число этих последних не превышало числа прислуживавших царям. Кроме того, так как в Риме совершалось ежегодное жертвоприношение, которое могло совершаться только лично самим царем, римляне, не желая, чтобы из-за отсутствия царя народ пожалел бы о старом времени, избрали главу указанного жертвоприношения, назвав его Царь-жертвоприношитель, и подчинили его верховному жрецу. Таким образом, народ получил для себя вышеупомянутое жертвоприношение и не имел никакой причины из-за отсутствия его желать возвращения царя. Этого должны придерживаться все те, кто хотят уничтожить в городе старый строй и установить в нем новую, свободную жизнь. Поэтому, хотя новые порядки и изменяют сознание людей, надлежит стараться, чтобы в своих изменениях порядки сохраняли как можно больше от старого. Если меняется число, полномочия и сроки магистратур, надо, чтобы у них сохранялось от старых их наименование. Всему этому, как я уже сказал, должен следовать тот, кто желает установить политическую жизнь посредством создания республики или монархии, но тому, кому угодно учредить абсолютную власть, именуемую писателями тиранией, надобно переделать все, как о том будет сказано в следующей главе.

Глава XXVI

Новый государь в захваченном им городе или стране должен все переделать по-новому

Когда кто-нибудь становится государем какой-нибудь страны или города, особенно не имея там прочной опоры, и не склоняется ни к монархическому, ни к республиканскому гражданскому строю, то для него самое надежное средство удержать власть – это, поскольку он является новым государем, переделать в этом государстве все по-новому: создать в городах новые правительства под новыми наименованиями, с новыми полномочиями и новыми людьми; сделать богатых бедными, а бедных – богатыми, как поступил Давид, став царем: алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, а кроме того – построить новые города и разрушить построенные, переселить жителей из одного места в другое, – словом, не оставить в этой стране ничего нетронутым. Так, чтобы в ней не осталось ни звания, ни учреждения, ни состояния, ни богатства, которое не было бы обязано ему своим существованием. Он должен взять себе за образец Филиппа Македонского, отца Александра, который именно таким образом из незначительного царя стал государем всей Греции. Писавший о нем автор говорит, что он перегонял жителей из страны в страну подобно тому, как пастухи перегоняют свои стада.

Меры эти до крайности жестоки и враждебны всякому образу жизни, не только что

христианскому, но и вообще человеческому. Их должно избегать всякому: лучше жить частной жизнью, нежели сделаться монархом ценой гибели множества людей. Тем не менее тому, кто не желает избрать вышеозначенный путь добра, надобно погрязнуть во зле.

Но люди избирают некие средние пути, являющиеся самыми губительными; ибо они не умеют быть ни совсем дурными, ни совсем хорошими, как то и будет показано на примере в следующей главе.

Глава XXVII

Люди лишь в редчайших случаях умеют быть совсем дурными или совсем хорошими

В 1505 году папа Юлий II пошел походом на Болонью, дабы выгнать оттуда род де Бентивольи, владевший этим городом около ста лет. Ополчившись против всех тиранов, занимавших церковные земли, он решил также выкинуть Джовампаоло Бальони из Перуджи, тираном которой тот был. Подойдя к Перудже, папа Юлий II с его хорошо всем известной смелостью и решительностью не стал дожидаться войска, которое должно было подоспеть ему на помощь, но вошел в город безоружным, несмотря на то что Джовампаоло собрал в нем довольно много людей для своей защиты. Увлекаемый тем яростным пылом, благодаря которому он подчинял себе все обстоятельства, Юлий II, сопровождаемый только свитой, отдался в руки своего врага, которого затем увел с собой, оставив в Перудже собственного губернатора, установившего в ней власть Церкви.

Людьми рассудительными, находившимися тогда подле папы, была отмечена дерзновенная отвага папы и жалкая трусость Джовампаоло; они не могли уразуметь, как получилось, что человек с репутацией Джовампаоло разом не подмял под себя врага и не завладел богатой добычей, видя, что папу сопровождают все его кардиналы со всеми их драгоценностями. Люди эти не могли поверить, что его остановила доброта или что в нем заговорила совесть; ведь в груди негодяя, который сожительствовал с сестрой и ради власти убил двоюродных братьев и племянников, не могло пробудиться какое-либо благочестивое чувство. Вот почему и приходится сделать вывод, что люди не умеют быть ни достойно преступными, ни совершенно хорошими: злодейство обладает известным величием или является в какой-то мере проявлением широты души, до которой они не в состоянии подняться.

Так вот, Джовампаоло, не ставивший ни во что ни кровосмешение, ни публичную резню родственников, не сумел, когда ему представился к тому удобный случай, или, лучше сказать, не осмелился совершить деяние, которое заставило бы всех дивиться его мужеству и оставило бы по себе вечную память, ибо он оказался бы первым, кто показал прелатам, сколь мало надо почитать всех тех, кто живет и правит подобно им, и тем самым совершил бы дело, величие которого намного превысило бы всякий позор и связанную с ним, возможно, опасность.

Глава XXXIV

Диктаторская власть причинила Римской республике благо, а не вред: губительной для гражданской жизни оказывается та власть, которую граждане присваивают, а не та, что предоставляется им на основе свободных выборов

Некоторые писатели осуждают Римлян за то, что те ввели в Риме обычай избрания Диктатора: обстоятельство это оказалось-де со временем причиной тирании в Риме. Названные писатели ссылаются на то, что первый тиран, бывший в сем городе, распорядился в нем, прикрываясь диктаторским званием. Они говорят, что, не будь его, Цезарь не смог бы приукрасить свою тиранию никаким общественным саном. Все это придерживающимися подобного мнения писателями не было должным образом рассмотрено и находится вне доводов разума. Ибо не сан и не звание Диктатора поработили Рим, а полномочия, присваивавшиеся гражданами вследствие длительности военной власти. И если бы в Риме отсутствовало звание Диктатора, граждане Рима воспользовались бы каким-нибудь другим. Ведь это сила легко получает наименования, а не наименования силу. Не трудно увидеть, что Диктатура, пока она давалась согласно установленным общественным порядкам, а не вследствие личного авторитета, всегда приносила пользу городу. Ибо губят республики те магистратуры и власть, которые создаются и даются незаконным, экстраординарным путем, а не те, что получаются путем обычным. Пример тому – Рим: за много времени ни один Диктатор не причинил Республике ничего, кроме блага.

Почему это так – совершенно ясно. Во-первых, для того, чтобы какой-либо гражданин мог угнетать других и захватить чрезвычайную власть, ему надобно обладать многими качествами, которыми в неразвращенной республике обладать он не в состоянии: ему надо быть очень богатым и иметь достаточное количество приспешников и сторонников, которых у него не может появиться там, где соблюдаются законы; когда же они у него появляются, люди эти наводят такой

страх, что оказывается невозможно провести свободные выборы. Кроме того, Диктатор назначался на определенный срок, а не навечно, и только для предупреждения той самой опасности, по причине которой он бывал избираем. Его полномочия давали ему право единолично принимать решения относительно средств, направленных на пресечение названной смертельной опасности, действовать во всем, не советуясь с Народом и другими магистратами, и наказывать любого гражданина без права последнего на апелляцию. Но он не мог сделать ничего в ущерб государственному строю: он не мог бы, например, лишить Сенат и Народ их полномочий, уничтожить в городе старые порядки и создать новые. Так что при кратковременности его диктатуры и ограниченности предоставленных ему полномочий, а также при тогдашней неразвращенности римского народа ему было бы невозможно преступить положенные для него пределы и повредить городу. Опыт показывает, что Диктатура всегда оказывалась полезна.

И действительно, среди прочих римских учреждений Диктатура заслуживает того, чтобы ее рассмотрели и причислили к тем из них, которые были причиной величия столь огромной державы. Ибо без подобного учреждения города с трудом справились бы с чрезвычайными обстоятельствами. Ведь обычные учреждения действуют в республиках медленно (так как и советы, и магистраты не имеют возможности во всем поступать самостоятельно, но нуждаясь друг в друге для решения многих вопросов, а также потому, что для вынесения совместных решений потребно время) и предлагаемые ими меры оказываются крайне опасными, когда им приходится лечить болезнь, требующую незамедлительного вмешательства. Вот почему республики должны иметь среди своих учреждений нечто подобное Диктатуре. Именно поэтому Венецианская республика, каковая среди нынешних республик является самой замечательной, предоставила полномочия нескольким немногим гражданам в случаях крайней необходимости принимать совместное решение помимо Большого совета. Ибо, когда в республике отсутствует такого рода институт, неизбежно приходится либо гибнуть, соблюдая установленные порядки, либо ломать их, дабы не погибнуть. Но в республике всегда нежелательно возникновение обстоятельств, для совладания с которыми приходится обращаться к чрезвычайным мерам. Ибо хотя чрезвычайные меры в определенный момент оказывались полезными, сам пример их бывал вреден. Ведь едва лишь устанавливается обычное поведение, установленные порядки во имя блага, как тут же, прикрываясь благими намерениями, их начинают ломать во имя зла. Так что республика никогда не будет совершенной, если ее законы не будут предусматривать всего и если против каждого неожиданного обстоятельства у нее не найдется средства и способа с этим обстоятельством совладать. Поэтому в заключение я скажу, что те республики, которые в минуту крайней опасности не прибегают к Диктатуре или к подобной ей власти, оказавшись в тяжелых обстоятельствах, неминуемо погибнут.

Следует также отметить в этом институте обычай его избрания, мудро предусмотренный Римлянами. Так как назначение Диктатора было сопряжено с некоторым позором для Консулов, которые из глав государства становились такими же подчиненными Диктатору гражданами, как и все остальные, и предполагая, что из-за этого может возникнуть у граждан возмущение, Римляне решили, что полномочия избирать Диктатора будут предоставляться Консулам. Римляне считали, что когда случится так, что Риму понадобится подобного рода царская власть, Консулы создадут ее таким способом охотнее, а создав ее сами, будут менее страдать от нее. Ибо человек от ран и прочих бед, которые он нанес себе сам, по собственной воле и выбору, страдает гораздо меньше, чем от тех, что ему наносят другие. Однако в дальнейшем, в последние годы Республики, у Римлян вошло в обычное поведение вместо Диктатора предоставлять подобного рода полномочия Консулу, пользуясь такими словами: «*Videat Consul, ne Respublica quid detrimenti capiat*» (Пусть позаботится консул, чтобы Республика не понесла какого-нибудь урона.)

Дабы вернуться к нашей теме, замечу, что соседи Рима, пытаясь раздавить его, заставили Рим создать порядки, не только способные защитить его от них, но и давшие ему возможность самому нападать на соседей с большею силой, с большею мудростью и с большим авторитетом.

Глава XXXVII

О том, какие раздоры породил в Риме аграрный закон, а также о том, что принимать в республике закон, имеющий большую обратную силу и противоречащий давним обычаям города, – дело, чреватое многими раздорами

Мнение древних писателей таково, что люди обычно печалются в беде и не радуются в счастье и что обе эти склонности порождают одни и те же последствия. Ибо едва лишь люди перестают бороться, вынуждаемые к борьбе необходимостью, как они тут же начинают бороться, побуждаемые к тому честолюбием. Последнее столь сильно укоренилось в человеческом сердце, что никогда не оставляет человека, как бы

высоко он ни поднялся. Причина этому та, что природа создала людей таким образом, что люди могут желать всего, но не могут всего достигнуть. А так как желание приобретать всегда больше соответственной возможности, то следствием сего оказывается их неудовлетворенность тем, чем они владеют, и недовольство собственным состоянием. Этим порождаются перемены в человеческих судьбах, ибо по причине того, что одна часть граждан жаждет иметь еще больше, а другая боится утратить приобретенное, люди доходят до вражды и войны, каковая одну страну губит, а другую возвеличивает.

Я привел это рассуждение потому, что римскому Плебсу мало было обезопасить себя от патрициев посредством выборов Трибунов, добиваться которых плебеи вынуждала необходимость: добившись этого, Плебс начал бороться из честолюбия и пожелал делить со Знатью почести и богатство, ибо то и другое почитается людьми превыше всего. Это породило беду хуже чумы, вызвавшую распри вокруг аграрного закона, которые стали в конце концов причиной крушения Республики.

В хорошо устроенных республиках все общество – богато, а отдельные граждане – бедны. В Риме случилось так, что названный закон не соблюдался. Он либо с самого начала был сформулирован таким образом, что его каждодневно приходилось перетолковывать, либо настолько изменился в процессе применения, что обращение к его первоначальной форме оказалось чреватым многими раздорами, либо же, будучи хорошо сформулированным вначале, искажился затем от употребления. Как бы то ни было, в Риме никогда не заговаривали об аграрном законе без того, чтобы город не переворачивался вверх дном.

Названный закон имел две главных статьи. Одна из них указывала, что никто из граждан не может владеть больше, чем определенным количеством югеров земли; другая предписывала, чтобы поля, отнятые у врагов, делились между всем римским народом. Отсюда проистекало для Знати двоякое утеснение: тем из нобилей, которые имели больше земель, чем допускал закон (а среди Знати таковых было большинство), приходилось их лишаться; распределение же среди плебеев отнятых у врагов благ закрывало нобилем путь к дальнейшему обогащению. Поэтому, так как утеснения эти были направлены против сильных мира сего и так как, сопротивляясь им, последние уверяли, будто они отстаивают общее благо, нередко случалось, что весь город, как уже говорилось, переворачивался вверх дном.

Знать терпеливо и хитро оттягивала применение аграрного закона, либо затеявая войну вне пределов Рима, либо противопоставляя Трибуну, предлагающему аграрный закон, другого Трибуна, либо, сделав частичные уступки, выводя колонию в то самое место, которое подлежало разделу. Так случилось с землями Антия. Когда в связи с ними возникла тяжба об аграрном законе, в Антий были посланы из Рима колонисты, которым предоставлялись названные земли. Говоря, что в Риме с трудом отыскивались люди, согласившиеся отправиться в упомянутую колонию, Тит Ливий употребляет примечательное выражение: оказалось, что имеется множество плебеев, которые предпочитают желать благ в Риме, нежели владеть ими в Антии.

Лихорадочная жажда аграрного закона некогда столь сильно мучила город, что Римляне стали вести войны на отдаленных землях Италии или же вообще за ее границами. После этого лихорадка сия на некоторое время, по видимости, прекратилась. Произошло это потому, что земли, которыми владели враги Рима, не находясь под носом у плебеев и располагаясь в местах, где их трудно было возделывать, оказались для плебеев менее желанными. Поэтому же и Римляне стали по отношению к своим врагам менее жестокими, и когда они все же отрезали земли от их владений, то отдавали эти земли под колонию. Так что, в силу названных причин, аграрный закон находился под спудом вплоть до времени Гракхов. Именно Гракхи снова извлекли его на свет и тем погубили римскую свободу. Ибо к тому времени сила противников аграрного закона удвоилась. Поэтому он разжег между Плебсом и Сенатом столь сильную ненависть, что она вылилась в потоки крови и вооруженные столкновения, вышедшие за рамки нравов и обычаев цивилизованного общества. Так как должностные лица не могли с ними справиться и так как на магистратов не надеялась больше ни одна из группировок, враждующие партии стали прибегать к собственным средствам и каждая из них обзавелась главарем, который бы ее защищал.

Зачинщиками этой смуты и беспорядков были плебеи. Они возвеличили Мария, притом настолько, что четырежды делали его консулом. Они возобновляли его консулат через столь малые промежутки времени, что затем он уже сам смог сделаться консулом еще три раза. Против подобной беды у Знати не было иного средства, как начать поддерживать Суллу. Сделав его главой своей партии, Знать развязала гражданскую войну и, пролив много крови, испытал различные превратности судьбы, одержала в ней верх.

Те же самые распри возникли во времена Цезаря и Помпея: Цезарь сделался главой партии Мария, а Помпей – Суллы. В схватке между ними верх одержал Цезарь. Он был первым тираном в Риме. После него город этот никогда уже не был свободным.

Вот какое начало и вот какой конец имел аграрный закон.

В другом месте мы доказывали, что вражда между Сенатом и Плебсом поддерживала в Риме свободу, ибо из вражды сей рождались законы, благоприятные свободе. И хотя, как кажется, результаты аграрного закона противоречат подобному выводу, я все-таки заявляю, что не намерен из-за этого отказываться от своего мнения. Ведь жадность и надменное честолюбие грандов столь велико, что, если город не обуздает их любыми путями и способами, они быстро доведут этот город до гибели. Распрям вокруг аграрного закона понадобилось триста лет для того, чтобы сделать Рим рабским, но Рим был бы поработен много скорее, если бы плебеи с помощью аграрного закона и других своих требований постоянно не сдерживали жадность и честолюбие нобилей. Ибо римская знать всегда без большого шума уступала плебеям почести, но как только дело дошло до имущества, она бросилась защищать его с таким упорством, что плебеям, дабы удовлетворить собственные аппетиты, пришлось прибегнуть к вышерассмотренным чрезвычайным мерам.

Зачинщиками этих беспорядков были Гракхи, каковых следует хвалить скорее за их намеренья, нежели за их рассудительность. Ведь желать уничтожить возникшие в городе неурядки и принимать ради этого закон, имеющий большую обратную силу, – дело весьма неблагоприятное. Поступить так – об этом много уже говорилось выше – значит только ускорить то самое зло, к которому ведут названные неурядки. Если же повременить и выждать, зло либо придет позднее, либо, со временем, исчезнет само собой.

Глава LV

О том, как легко ведутся дела в городе, где массы не развращены, а также о том, что там, где существует равенство, невозможно создать самодержавие, там же, где его нет, невозможно учредить республику

Несмотря на то что выше мы довольно подробно рассуждали о том, чего надобно опасаться городам развращенным и на что им можно надеяться, мне все же представляется нелишним рассмотреть решение Сената относительно обета Камилла отдать Аполлону десятую часть добычи, захваченной у вейентов. Добыча эта попала в руки римского Плебса и, так как не было никакой возможности ее сосчитать, Сенат издал постановление о том, чтобы каждый выложил в общий котел десятую часть того, что им было нагреблено. И хотя решение это не было проведено в жизнь, ибо Сенат впоследствии нашел средство по-другому ублажить Аполлона, не чиня обиды Плебсу, оно все-таки показывает, насколько Сенат верил в добродетель плебеев, полагая, что не найдется ни одного из них, кто не представил бы ровно столько добычи, сколько предписывалось названным сенатским решением. С другой стороны, Плебс не подумал как-либо обойти постановление Сената, отдав меньше, чем следовало, но решил освободиться от него, открыто обнаружив недовольство.

Пример этот, так же как и многие другие, о которых говорилось выше, показывает, сколь добродетелен и благочестив был римский народ и сколь много хорошего можно было от него ожидать. И действительно, где нет подобной добродетели, невозможно ожидать чего-либо хорошего, как нечего ждать от стран, которые в последнее время совершенно развратились, – прежде всего от Италии. Даже Франции и Испании коснулась та же самая развращенность. Если в них не видно таких же раздоров, каковые каждодневно возникают в Италии, то проистекает это не столько от добродетели их народов, каковая у названных народов по большей части отсутствует, сколько потому, что во Франции и Испании имеется король, поддерживающий их внутреннее единство не только благодаря собственной доблести, но главным образом благодаря политическому строю этих королевств, не подвергшемуся еще порче.

Добродетель и благочестие народа очень хорошо видны в Германии, где они все еще очень велики. Именно добродетель и благочестие народа делают возможным существование в Германии многих свободных республик, которые так строго соблюдают свои законы, что никто ни извне, ни изнутри не дерзает посягнуть на их независимость. В подтверждение истинности того, что в тех краях сохранилась добрая часть античной добродетели, я хочу привести пример, похожий на приведенный выше пример с римским Сенатом и Плебсом. В германских республиках существует обычай: когда надо получить и израсходовать из общественных средств определенное количество денег, магистраты и советы, обладающие в сказанных республиках полномочиями власти, облагают всех жителей города податью, равную одному-двум процентам от состояния каждого. И как только принимается подобное постановление, каждый, согласно порядкам своей земли, является к сборщикам подати; дав клятву уплатить должную сумму, он бросает в предназначенный для этого ящик столько денег, сколько велит ему совесть: свидетелем уплаты выступает только сам плательщик. Из этого можно заключить, как много добродетели и как много благочестия сохранилось еще у этих людей. Мы вынуждены предположить, что

каждый из них честно уплачивает подобающую ему сумму, ибо если бы он ее не уплачивал, подать не достигала бы тех размеров, которые устанавливались для нее давними обычаями налогообложения, а если бы она их не достигала, обман был бы обнаружен и, будучи обнаруженным, заставил бы изменить способ сбора податей.

Подобная добродетель в наши дни тем более удивительна, что встречается она до крайности редко: по-видимому, сохранилась она теперь только в Германии.

Порождается это двумя причинами. Во-первых, германцы не имеют широких сношений с соседними народами. Ни соседи не навещаются к ним в гости, ни они сами не навещаются к соседям, ибо довольствуются теми благами, теми продуктами питания и теми шерстяными одеждами, которые изготавливаются в их стране. Тем самым устраняется причина для внешних сношений и начало всяческой развращенности: германцы не усвоили нравов ни французов, ни испанцев, ни итальянцев, каковые нации вкуче являются развратителем мира. Во-вторых, германские республики, сохранившие у себя свободную и неиспорченную политическую жизнь, не допускают, чтобы кто-либо из их граждан был дворянином или же жил на дворянский лад. Больше того, они поддерживают у себя полнейшее равенство и являются злейшими врагами господ и дворян, живущих в тамошней стране; если те случайно попадают к ним в руки, то они уничтожают их как источник разложения и причину смут.

Дабы стало совершенно ясно, кого обозначает слово «дворянин», скажу, что дворянами именуются те, кто праздно живут на доходы со своих огромных поместий, нимало не заботясь ни об обработке земли, ни о том, чтобы необходимым трудом заработать себе на жизнь. Подобные люди вредны во всякой республике и в каждой стране. Однако самыми вредными из них являются те, которые помимо указанных поместий владеют замками и имеют повинующихся им подданных. И теми и другими переполнены Неаполитанское королевство, Римская область, Романья и Ломбардия. Именно из-за них в этих странах никогда не возникало республики и никогда не существовало какой-либо политической жизни: подобная порода людей – решительный враг всякой гражданственности. В устроенных наподобие им странах при всем желании невозможно учредить республику. Если же кому придет охота навести в них порядок, то единственным возможным для него путем окажется установление там монархического строя. Причина этому такова: там, где развращенность всех достигла такой степени, что ее не в состоянии обуздать одни лишь законы, необходимо установление вместе с законами превосходящей их силы; таковой силой является царская рука, абсолютная и чрезвычайная власть которой способна обуздывать чрезмерную жадность, честолюбие и развращенность сильных мира сего.

Правильность такого рода рассуждений подтверждает пример Тосканы: там на небольшом расстоянии друг от друга долгое время существовало три республики – Флоренция, Сиена и Лукка; остальные же города этой страны, хотя и были в какой-то мере поработаны, всем духом и строем своим обнаруживали, что они сохранили или хотели бы сохранить свою свободу. Произошло сие потому, что в Тоскане не было ни одного владельца замка и имелось очень мало дворян. Там существовало такое равенство, что мудрому человеку, знающему гражданские порядки древних, было бы очень просто устроить там свободную гражданскую жизнь. Однако несчастье Тосканы столь велико, что по сей день в ней не нашлось ни одного человека, который сумел бы или же знал бы, как это сделать.

Так вот, из всего вышеприведенного рассуждения вытекает следующий вывод: желающий создать республику там, где имеется большое количество дворян, не сумеет осуществить свой замысел, не уничтожив предварительно всех их до единого; желающий же создать монархию или самодержавное княжество там, где существует большое равенство, не сможет этого сделать, пока не выведет из сказанного равенства значительное количество людей честолюбивых и беспокойных и не сделает их дворянами по существу, то есть пока он не наделит их замками и имениями, не даст им много денег и крепостных, с тем чтобы, окружив себя дворянами, он мог бы, опираясь на них, сохранить свою власть, а они, с его помощью, могли бы удовлетворять свою жадность и свое честолюбие, в этом случае все прочие граждане оказались бы вынуждены безропотно нести то самое иго, заставить переносить которое способно одно лишь насилие. Именно таким образом устанавливается равновесие между обращающимися к насилию и теми, на кого насилие это направлено, и каждый человек прочно прикрепляется к своему сословию. Превращение страны, приносившей к монархическому строю, в республику и установление монархии в стране, приспособленной к республиканскому строю, – дело, требующее человека редкостного ума и воли. Поэтому, хотя брались за него весьма многие, лишь очень немногим удавалось довести его до конца. Огромность встающей перед ними задачи отчасти устрашает людей, отчасти сковывает их – в результате они на первых же шагах спотыкаются и терпят неудачу.

Возможно, высказанное мною мнение о том, что невозможно создать республику там, где имеются дворяне, покажется противоречащим опыту Венецианской республики, где одни лишь дворяне допускаются на общественные и государственные должности. Но на

это я возражу, что пример Венеции моему мнению отнюдь не противоречит, ибо в республике сей дворяне являются дворянами больше по имени, чем по существу: они не получают там больших доходов с поместий, так как источник их богатства – торговля и движимость; кроме того, никто из них не владеет замками и не обладает никакой вотчинной властью над крестьянами; слово «дворянин» является в Венеции почетным званием, никак не связанным с тем, что в других городах делает человека дворянином. Подобно тому как в других республиках жители делятся на различные группы, по-разному именуемые, жители Венеции делятся на дворян и на народ. Дворяне там обладают или могут обладать всеми почестями; народ же к ним совершенно не допускается. Благодаря этому, в силу причин, о которых уже говорилось, в Венеции не возникает смут.

Итак, пусть устанавливается республика там, где существует или создано полное равенство. И наоборот, пусть учреждается самодержавие там, где существует полнейшее неравенство. В противном случае будет создано нечто несоразмерное и недолговечное.

Глава LVII

Плебеи в массе своей крепки и сильны, а по отдельности слабы

Многие римляне, после того как нашествие французов опустошило их родину, переселились в Вейи, вопреки постановлению и предписанию Сената. Дабы исправить такой беспорядок, Сенат специальными общественными эдиктами повелел всем к известному сроку и под страхом определенного наказания вернуться в Рим. Те, против кого были направлены указанные эдикты, сперва потешались над ними, но потом, когда настал срок повиноваться, подчинились. Тит Ливий говорит по этому поводу: «Ex ferocibus universis singuli metu suo obidentes fuere» [1].

И действительно, нельзя лучше показать природу народных масс, чем показано в приведенном тексте. Массы дерзко и многократно оспаривают решения своего государя, но затем, оказавшись непосредственно перед угрозой наказания, не доверяют друг другу и покорно им повинуются. Таким образом, можно считать непреложным, что тому, что народ говорит о своих добрых или дурных настроениях, не стоит придавать слишком большого значения; ведь ты в состоянии поддержать его, если народ настроен хорошо; если же он настроен дурно, ты можешь заранее помешать ему причинить тебе вред.

Говоря здесь о дурных настроениях народа, я имею в виду все его недовольства, помимо тех, которые вызываются потерей свободы или утратой любимого государя, все еще находящегося в живых: недовольства, порожденные такого рода причинами – вещь очень страшная, и для обуздания их требуются крайние меры. Все же прочие народные недовольства легко устранимы – в тех случаях, когда у народа нет вождей. Ибо не существует ничего более ужасного, чем разнузданные, лишенные вождя массы, и вместе с тем – нет ничего более беспомощного: даже если народные массы вооружены, их несложно будет успокоить при условии, что тебе удастся уклониться от их первого натиска; ведь когда горячие головы малость поостынут и все разойдутся по домам, каждый начнет сомневаться в своих силах и позаботится о собственной безопасности, либо обратившись в бегство, либо пойдя на попятный.

Вот почему взбунтовавшимся массам, если они только желают избежать подобной опасности, надобно сразу же избрать из своей среды вождя, который бы направлял их, поддерживал их внутреннее единство и заботился об их защите. Именно так поступили римские плебеи, когда после смерти Виргинии они покинули Рим и ради своего спасения избрали из своей среды двадцать Трибунов. В тех же случаях, когда они этого не делали, с ними всегда случалось то, о чем говорит Тит Ливий в вышеприведенной фразе. Все вместе они бывают храбрыми, когда же каждый из них начинает думать о грозящей лично ему опасности, они становятся слабыми и трусливыми.

Глава LVIII

Народные массы мудрее и постояннее государя

Нет ничего суетнее и непостояннее народных масс – так утверждает наш Тит Ливий, подобно всем прочим историкам. В повествованиях их о людских деяниях часто приходится видеть, как народные массы сперва осуждают кого-нибудь на смерть, а затем его же оплакивают и весьма о нем сожалеют. Пример тому – отношение римского народа к Манлию Капитолийскому, коего он сперва приговорил к смерти, а потом горько о нем пожалел. Историк так говорит об этом: «Populum brevi, posteaquam ab eo periculum nullum erat, desiderium eius tenuit» [2]. В другом месте, показывая события, развернувшиеся в Сиракузах после смерти Гиеронима, внука Гиерона, он говорит: «Nase pa-tura multitudinis est: aut humiliter servit, aut superbe dominatur» [3].

Не знаю, может быть, я взваливаю на себя тяжелое и трудно исполнимое дело, от которого мне либо придется с позором отказаться, либо вести его под бременем порицаний, но я хочу защищать положение, отвергаемое, как мною только что говорилось, всеми историками. Впрочем, как бы там ни было, я никогда не считал и никогда не буду считать пороком готовность отстаивать любое мнение, опираясь на разум и не прибегая к помощи авторитета и силы.

Так вот, я утверждаю, что тем самым пороком, которым историки попрекают народные массы, можно попрекнуть всех людей вообще и больше всего государей. Всякий человек, не управляемый законами, совершил бы те же самые ошибки, которые допускают разнузданные массы. В этом легко убедиться: немало есть и было разных государей, но добрые и мудрые государи – наперечет. Я говорю о государях, сумевших разорвать сдерживающую их узду; в этот разряд не входят ни государи, существовавшие в Египте и в пору самой древней древности управлявшие этой страной с помощью законов, ни государи, существовавшие в Спарте, ни государи, ныне существующие во Франции. Монархическая власть сдерживается во Франции законами более, чем в каком-либо из известных нам нынешних царств. Цари эти, правившие согласно конституционным законам, не входят в названный разряд, поскольку нам хотелось бы рассмотреть природу всякого человека, взятого самого по себе, и посмотреть, сходна ли она с природой народных масс. В противовес же названным царям можно было бы поставить массы, так же как и цари, управляемые законами: в этом случае мы обнаружили бы у народных масс те же самые добродетели, что и у царей, и увидели бы, что массы и не властвуют надменно, и не прислуживают рабски.

Именно таким был римский народ, который, пока Республика сохранялась неразвращенной, никогда рабски не прислуживал и никогда надменно не властвовал, но с помощью своих учреждений и магистратов честно и с достоинством играл отведенную ему общественную роль. Когда необходимо было выступить против одного из сильных мира сего, он делал это – пример тому Манлий, Децимвиры и другие, пытавшиеся угнетать народ; когда же необходимо было во имя общественного блага повиноваться Диктаторам и Консулам, он повиновался. И если римский народ горько сожалел о смерти Манлия Капитолийского, то особенно удивляться тут нечему: он сожалел об его доблести, которая была столь велика, что воспоминания о ней вызывали у каждого слезы. Точно так же поступил бы любой государь, ведь все историки уверяют, что следует прославлять всякую доблесть и восхищаться ею даже у наших врагов. Тем не менее если бы среди проливаемых по нему слез Манлий вдруг воскрес, народ Рима вынес бы ему тот же самый приговор; он точно так же освободил бы его из тюрьмы, а некоторое время спустя осудил бы его на смерть. В противоположность этому можно видеть, как государи, почитаемые мудрыми, сперва убивали какого-нибудь человека, а потом крайне о том сожалели. Так поступил Александр с Клитом и другими своими друзьями, а Ирод – с Мариамной.

Но то, что говорит нам историк о природе народных масс, он говорит не о массах, упорядоченных законами, вроде римского народа, а о разнузданной толпе, каковой была сиракузская чернь. Эта последняя совершает ошибки, совершаемые людьми вспыльчивыми и необузданными, вроде Александра Великого и Ирода. Поэтому не следует порицать природу масс больше, нежели натуру государей, ибо и массы, и государи в равной степени заблуждаются, когда ничто не удерживает их от заблуждений. В подтверждение этого, помимо приведенных мною примеров, можно сослаться на пример римских императоров и на других тиранов и государей; у них мы видим такое непостоянство и такую переменчивость, каких не найти ни у одного народа.

Итак, я прихожу к выводу, противоречащему общему мнению, полагающему, будто народ, когда он находится у власти, непостоянен, переменчив и неблагодарен. Я утверждаю, что народ грешит названными пороками ничуть не больше, нежели любой государь. Тот, кто предъявит обвинение в указанных пороках в равной мере и народу, и государям, окажется прав; избавляющий же от них государей допустит ошибку. Ибо властвующий и благоустроенный народ будет столь же, а то и более постоянен, благоразумен и щедр, что и государь, притом государь, почитаемый мудрым. С другой стороны, государь, сбросивший узду закона, окажется неблагодарнее, переменчивее и безрассуднее всякого народа. Различие в их действиях порождается не различием их природы – ибо природа у всех одинакова, а если у кого здесь имеется преимущество, то как раз у народа, – но большим или меньшим уважением законов, в рамках которых они живут. Всякий, кто посмотрит на римский народ, увидит, что в продолжение четырехсот лет народ этот был врагом царского звания, страстным почитателем славы своей родины и поборником ее общественного блага, – он увидит множество примеров и тому, и другому. А если кто сошлется на неблагодарность, проявленную римским народом по отношению к Сципиону, то в ответ я приведу тот же самый довод, который подробно рассматривался мною прежде, когда показывалось, что народ менее неблагодарен,

нежели государь.

Что же до рассудительности и постоянства, то уверяю вас, что народ постояннее и много рассудительнее всякого государя. Не без причин голос народа сравнивается с гласом Божиим: в своих предсказаниях общественное мнение достигает таких поразительных результатов, что кажется, будто благодаря какой-то тайной способности народ ясно предвидит, что окажется для него добром, а что – злом. Лишь в самых редких случаях, выслушав речи двух ораторов, равно убедительные, но тянущие в разные стороны, народ не выносит наилучшего суждения и не способен понять того, о чем ему говорят. А если он, как отмечалось, допускает ошибки, принимая решения излишне смелые, хотя и кажущиеся ему самому полезными, то ведь еще большие ошибки допускает государь, движимый своими страстями, каковые по силе много превосходят страсти народа. При избрании магистратов, например, народ делает несравнимо лучший выбор, нежели государь; народ ни за что не уговорить, что было бы хорошо удостоить общественным почетом человека недостойного и распутного поведения, а государя уговорить в том можно без всякого труда.

Коли уж что-то внушило ужас народу, то мнение его по этому поводу не изменяется веками. Совсем не то мы видим у государей. Для подтверждения правильности обоих вышеизложенных положений мне было бы достаточно сослаться на римский народ. На протяжении сотен лет, много раз избирая Консулов и Трибунов, он и четырежды не раскаялся в своем выборе.

Народ Рима, как я уже говорил, настолько ненавидел титул царя, что никакие заслуги гражданина, домогавшегося этого титула, не могли спасти его от заслуженного наказания.

Помимо всего прочего, города, в которых у власти стоит народ, за короткое время сильно расширяют свою территорию, много больше, чем те, которые всегда находились под властью одного государя. Так было с Римом после изгнания из него царей; так было с Афинами после освобождения их от Писистрата. Причина тому может быть только одна: народное правление лучше правления самодержавного.

Я не хочу, чтобы этому моему мнению противопоставлялось все то, о чем говорит нам историк в вышеупомянутой фразе или в каком-нибудь другом месте, ибо если мы сопоставим все беспорядки, произведенные народом, со всеми беспорядками, учиненными государями, и все славные деяния народа со всеми славными деяниями государей, то мы увидим, что народ много превосходит государей и в добродетели, и в славе. А если государи превосходят народ в умении давать законы, образовывать гражданскую жизнь, устанавливать новый строй и новые учреждения, то народ столь же превосходит их в умении сохранять учрежденный строй. Тем самым он приближается к славе его учредителей.

Одним словом, дабы заключить мои рассуждения о сем предмете, скажу, что много было долговечных монархий и много было долговечных республик; тем и другим потребно было подчинение законам, ибо государь, который способен делать все, что ему заблагорассудится, – безумен, народ же, который способен делать все, что ему угодно, – не мудр. Однако если мы сопоставим государя, уважающего закон, с подчиняющимся законам народом, то убедимся, что у народа доблести больше, чем у государя. Если же мы сопоставим необузданного государя с тоже необузданным народом, то увидим, что и в этом случае народ допускает менее серьезные ошибки, для исправления которых необходимы более легкие средства. Ведь достаточно доброму человеку поговорить с разнузданным и мятежным народом, и тот тут же опять встанет на правый путь. А с дурным государем поговорить некому – для избавления от него потребно железо. По этому можно судить о степени серьезности заболевания. Раз для излечения болезни народа довольно слов, а для излечения болезни государя необходимо хирургическое вмешательство, то не найдется никого, кто не признал бы, что там, где лечение труднее, допущены и более серьезные ошибки.

Когда народ совершенно сбрасывает с себя всякую узду, опасаться надо не безумств, которые он творит, и не нынешнего зла страшиться, – бояться надо того, что из этого может произойти, ибо общественные беспорядки легко порождают тирана. С дурными государями происходит как раз обратное: тут страшатся теперешнего зла и все надежды возлагают на будущее; люди успокаивают себя тем, что сама дурная жизнь государя может возродить свободу. Итак, вот к чему сводится различие между народом и государем: это отличие существующего от того, что будет существовать.

Жестокость народных масс направлена против тех, кто, как опасается народ, может посягнуть на общее благо; жестокость государя направлена против тех, кто, как он опасается, может посягнуть на его собственное, личное благо.

Неблагоприятные народу мнения о нем порождены тем, что о народе всякий говорит плохое свободно и безбоязненно даже тогда, когда народ стоит у власти; о государях же всегда говорят с большим страхом и с тысячью предосторожностей [...]

Книга вторая

Вступление

Люди всегда хвалят – но не всегда с должными основаниями – старое время, а нынешнее порицают. При этом они до того привержены прошлому, что восхваляют не только те давние эпохи, которые известны им по свидетельствам, оставленным историками, но также и те времена, которые они сами видели в своей молодости и о которых вспоминают, будучи уже стариками. В большинстве случаев таковое их мнение оказывается ошибочным. Мне это ясно, потому что мне понятны причины, вызывающие у них подобного рода заблуждение.

Прежде всего, заблуждение это порождается, по-моему, тем, что о делах далекого прошлого мы не знаем всей правды: то, что могло бы очернить те времена, чаще всего скрывается, то же, что могло бы принести им добрую славу, возвеличивается и раздувается. Большинство историков до того ослеплено счастьем победителей, что, дабы прославить их победы, не только преувеличивает все то, что названными победителями было доблестно совершено, но также и действия их врагов разукрашивает таким образом, что всякий, кто потом родится в любой из двух стран, победившей или побежденной, будет иметь причины восхищаться тогдашними людьми и тогдашним временем и будет принужден в высшей степени прославлять их и почитать. Кроме того, поскольку люди ненавидят что-либо по причине либо страха, либо зависти, то, сталкиваясь с делами далекого прошлого, они теряют две важнейшие причины, из-за которых они могли бы их ненавидеть, ибо прошлое не может тебя обижать и у тебя нет причин ему завидовать. Иное дело события, в которых мы участвуем и которые находятся у нас перед глазами: познание открывает тебе их со всех сторон; и, познавая в них вместе с хорошим много такого, что тебе не по нутру, ты оказываешься вынужденным оценивать их много ниже событий древности даже тогда, когда, по справедливости, современность заслуживает гораздо больше славы и доброй репутации, нежели античность. Я говорю это не о произведениях искусства, которые столь ясно свидетельствуют сами за себя, что время мало может убавить или прибавить к той славе, коей они заслуживают, – я говорю это о том, что имеет касательство к жизни и нравам людей и чему нет столь же неоспоримых свидетелей.

Итак, повторяю: невозможно не признать, что у людей имеется обыкновение хвалить прошлое и порицать настоящее. Однако нельзя утверждать, что, поступая так, люди всегда заблуждаются. Сама необходимость требует, чтобы в каких-то случаях они судили верно. Ведь, находясь в вечном движении, дела человеческие идут либо вверх, либо вниз. Бывает, что город или страна упорядочивается для гражданской жизни каким-нибудь выдающимся человеком и в известное время, благодаря его личной доблести, дела в них развиваются к лучшему. Кто, родившись в ту пору, при тогдашнем строе станет хвалить древность больше, чем современность, допустит ошибку, и причиной его ошибки будут выше рассмотренные обстоятельства. Но родившиеся после него в том же городе или стране, когда этот город или страна вступят в полосу упадка, судя так же, как он, будут судить правильно.

Размышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир всегда остается одинаковым, что в мире этом столько же дурного, сколько и хорошего, но что зло и добро перекачываются из страны в страну. Это подтверждают имеющиеся у нас сведения о древних царствах, которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, а мир при этом оставался одним и тем же. Разница состояла лишь в том, что та самая доблесть, которая прежде помещалась в Ассирии, переместилась в Мидию, затем в Персию, а из нее перешла в Италию и Рим. И хотя за Римской Империей не последовало империи, которая просуществовала бы длительное время и в которой мир сохранил бы всю свою доблесть целостной, мы все-таки видим ее рассеянной среди многих наций, живущих доблестной жизнью. Пример тому дают королевство Франции, царство турок и царство султана, а ныне – народы Германии и прежде всего секта сарацинов, которая совершила многие великие подвиги и захватила значительную часть мира после того, как она сокрушила Восточную Римскую империю. Так вот, во всех этих странах, после падения римлян, и во всех этих сектах сохранялась названная доблесть, и в некоторых из них до сих пор имеется то, к чему надобно стремиться и что следует по-настоящему восхвалять. Всякий, кто, родившись в тех краях, примется хвалить прошлые времена больше, нежели нынешние, допустит ошибку. Но тот, кто родился в Италии и в Греции и не

стал в Италии французом или германцем, а в Греции – турком, имеет все основания хулить свое время и хвалить прошлое. Ибо некогда там было чем восхищаться; ныне же ничто не может искупить крайней нищеты, гнусности и позора: в странах сих не почитается религия, не соблюдаются законы и отсутствует армия; теперь они замараны всякого рода мерзостью. И пороки их тем более отвратительны, что больше всего они гнездятся в тех, кто восседает *pro tribunali*, кто командует другими и кто желает быть боготворимым.

Но вернемся к нашему рассуждению. Если, как утверждаю я, люди ошибаются, определяя, какой век лучше, нынешний или древний, ибо не знают древности столь же хорошо, как свое время, то, казалось бы, старикам не должно заблуждаться в оценках поры собственной юности и старости – ведь и то, и другое время известно им в равной мере хорошо, так как они видели его собственными глазами. Это было бы справедливо, если бы люди во все возрасты жизни имели одни и те же суждения и желания; но поскольку люди меняются скорее, чем времена, последние не могут казаться им одинаковыми, ибо в старости у людей совсем не такие желания, пристрастия и мысли, какие были у них в юности. Когда люди стареют, у них убывает сила и прибавляется ума и благоразумия. Поэтому неизбежно, что все то, что в юности казалось им сносным или даже хорошим, в старости кажется дурным и невыносимым. Однако вместо того, чтобы винить свой рассудок, они обвиняют время.

Кроме того, так как желания человеческие ненасытны и так как природа наделила человека способностью все мочь и ко всему стремиться, а фортуна позволяет ему достигать лишь немногого, то следствием сего оказывается постоянная духовная неудовлетворенность и пресыщенность людей тем, чем они владеют. Именно это заставляет их хулить современность, хвалить прошлое и жадно стремиться к будущему даже тогда, когда у них нет для этого сколько-нибудь разумного основания.

Не знаю, возможно, и я заслужил того, чтобы быть причисленным к заблуждающимся, ибо в этих моих рассуждениях я слишком хвалю времена древних римлян и ругаю наше время. Действительно, не будь царившая тогда доблесть и царствующий ныне порок яснее солнца, я вел бы себя более сдержанно, опасаясь впасть в ту самую ошибку, в которой я обвиняю других. Но так как все это очевидно для каждого, то я стану говорить смело и без обиняков все, что думаю о той и о нашей эпохе, дабы молодежь, которая прочтет сии мои писания, могла бежать от нашего времени и быть готовой подражать античности, как только фортуна предоставит ей такую возможность. Ведь обязанность порядочного человека – учить других, как сделать все то хорошее, чего сам он не сумел совершить из-за зловредности времени и фортуны. Когда окажется много людей, способных к добру, некоторые из них – те, что будут более всех любезны небу, – смогут претворить это добро в жизнь.

Поскольку в рассуждениях предыдущей книги говорилось о решениях, принимавшихся римлянами по вопросам, касавшимся внутренних дел города, то в этой книге мы поговорим уже о том, что предпринял римский народ для расширения своей державы.

Глава II

С какими народами римлянам приходилось вести войну и как названные народы отстаивали свою свободу

Ничто так не затрудняло римлянам покорение народов соседних стран, не говоря уж о далеких землях, как любовь, которую в те времена многие народы питали к своей свободе. Они защищали ее столь упорно, что никогда не были бы поработаны, если бы не исключительная доблесть их завоевателей. Многие примеры свидетельствуют о том, каким опасностям подвергали себя тогдашние народы, дабы сохранить или вернуть утраченную свободу, как мстили они тем, кто лишал их независимости.

Уроки истории учат также, какой вред наносит народам и городам рабство. Там, где теперь имеется всего лишь одна страна, о которой можно сказать, что она обладает свободными городами, в древности во всех странах жило множество совершенно свободных народов.

В те далекие времена, о которых мы сейчас говорим, в Италии, начиная от Альп, отделяющих ныне Тоскану от Ломбардии, и до ее оконечности на юге, жило много свободных народов. Это были тосканцы, римляне, самниты и многие другие народы, населявшие остальную Италию. Нет никаких указаний на то, что в Италии тогда имелись какие-либо цари за исключением тех, что правили в Риме, да еще Порсены, царя Тосканы, род которого угас, но как и когда – история о том умалчивает. Тем не менее совершенно очевидно, что в пору, когда римляне осаждали Вейи, Тоскана была уже свободной и так радовалась свободе, до такой степени ненавидела само имя государя, что когда вейенты для своей защиты избрали в Вейях царя, а затем обратились к тосканцам за помощью против римлян, тосканцы после долгих совещаний решили не помогать вейентам, пока те будут жить под властью царя, полагая, что нехорошо защищать родину тех, кто уже подчинил ее чужой воле.

Нетрудно понять, почему у народа возникает такая любовь к свободной жизни. Ведь опыт показывает, что города увеличивают свои владения и умножают богатства, только будучи свободными. В самом деле, диву даешься, когда подумаешь, какого величия достигли Афины в течение ста лет, после того как они освободились от тирании Писистрата. Еще больше поражает величие, достигнутое Римом, освободившимся от царей. Причину сего уразуметь несложно: великими города делает забота не о личном, а об общем благе. А общее благо принимается в расчет, бесспорно, только в республиках. Ибо все то, что имеет его своей целью, в республиках проводится в жизнь, даже если это наносит урон тому или иному частному лицу; граждане, ради которых делается сказанное благо, столь многочисленны, что общего блага можно достигнуть там вопреки немногим, интересы которых при этом ущемляются.

Обратное происходит в землях, где власть принадлежит государю. Там в большинстве случаев то, что делается для государя, наносит урон городу, а то, что делается для города, ущемляет государя. Так что когда свободную жизнь сменяет тирания, наименьшим злом, какое проистекает от этого для городов, оказывается то, что они не могут больше ни развиваться, ни умножать свою мощь и богатство. Чаше же всего и даже почти всегда они поворачивают вспять. Если по воле случая к власти и приходит доблестный тиран, который, обладая мужеством и располагая силой оружия, расширяет границы своей территории, то это идет на пользу не всей республике, а только ему одному. Тиран не может почтить ни одного из достойных и добрых граждан, над которыми он тиранствует, без того, чтобы тот тут же не попал у него под подозрение. Он не может также ни подчинять другие города тому городу, тираном которого он является, ни превращать их в его данников, ибо не в его интересах делать свой город сильным: ему выгодно держать государство раздробленным, так чтобы каждая земля и каждая область признавала лишь его своим господином. Вот почему из всех его завоеваний выгоду извлекает один только он, а никак не его родина. Кто пожелает подкрепить это мнение многими другими доводами, пусть прочтет, что пишет Ксенофонт в трактате «О тирании». Не удивительно поэтому, что древние народы с неумолимой ненавистью преследовали тиранов и так любили свободную жизнь, что само имя свободы пользовалось у них большим почетом. Вот пример того: когда в Сиракузах погиб Гиероним, внук Гиерона Сиракузского, и весть о его смерти дошла до его войска, стоявшего неподалеку от Сиракуз, войско поначалу принялось волноваться и ополчилось против убийц Гиерони-ма, но, услышав, что в Сиракузах провозглашена свобода, отложило гнев против тираноубийц и принялось думать, как бы в означенном городе устроить свободную жизнь.

Не удивительно также, что народ жестоко мстит тем, кто отнимает у него свободу. Примеров тому достаточно, я хочу указать лишь на события, имевшие место в Керкире, греческом городе, во время Пелопоннесской войны. Тогда вся Греция разделилась на две партии, одна из которых была на стороне афинян, другая – спартанцев; следствием сего было то, что из многих городов, разделенных на партии, одни стремились к дружбе со Спартой, а другие – с Афинами. Случилось так, что когда в упомянутом городе верх одержали нобили и отняли у народа свободу, народная партия с помощью афинян собралась с силами, захватила всю знать и заперла нобилей в тюрьму, способную вместить их всех. Затем их начали выводить оттуда по восемь-десять человек зараз под предлогом отправки в изгнание и убивать, проявляя при этом большую жестокость. Проведав про то, оставшиеся в тюрьме решили по возможности избежать столь позорной смерти и, вооружившись чем попало, принялись защищать дверь в тюрьму, отбиваясь от тех, кто хотел в нее ворваться. Сбежавшийся на шум народ сломал крышу тюрьмы и похоронил заключенных в ней нобилей под ее обломками.

Потом в Греции было много других не менее ужасных и примечательных событий. Из всего этого явствует, что за похищенную свободу люди мстят более энергично, чем за ту, которую у них еще только собираются отнять.

Размышляя над тем, почему могло получиться так, что в те стародавние времена народ больше любил свободу, чем теперь, я прихожу к выводу, что произошло это по той же самой причине, из-за которой люди сейчас менее сильны, а причина этого кроется, как мне кажется, в отличие нашего воспитания от воспитания древних, и в основе ее лежит отличие нашей религии от религии античной. Наша религия, открывая истину и указывая нам истинный путь, заставляет нас мало ценить мирскую славу. Язычники же ставили ее весьма высоко, видя именно в ней высшее благо. Поэтому в своих действиях они оказывались более жестокими. Об этом можно судить по многим установлениям и обычаям, начиная от великолепия языческих жертвоприношений и кончая скромностью наших религиозных обрядов, в которых имеется некоторая пышность, скорее излишняя, чем величавая, однако не содержит ничего жестокого или мужественного. В обрядах древних не было недостатка ни в пышности, ни в величавости, но они к тому же сопровождались кровавыми и

жестокими жертвоприношениями, при которых убивалось множество животных. Это были страшные зрелища, и они делали людей столь же страшными. Кроме того, античная религия причисляла к лику блаженных только людей, преисполненных мирской славы – полководцев и правителей республик. Наша же религия прославляет людей скорее смиренных и созерцательных, нежели деятельных. Она почитает высшее благо в смирении, в самоуничижении и в презрении к делам человеческим; тогда как религия античная почитала высшее благо в величии духа, в силе тела и во всем том, что делает людей чрезвычайно сильными. А если наша религия и требует от нас силы, то лишь для того, чтобы мы были в состоянии терпеть, а не для того, чтобы мы совершали мужественные деяния. Такой образ жизни сделал, по-моему, мир слабым и отдал его во власть негодяям: они могут безбоязненно распоряжаться в нем как угодно, видя, что все люди, желая попасть в рай, больше помышляют о том, как бы стерпеть побои, нежели о том, как бы за них расплатиться. И если теперь кажется, что весь мир обабился, а небо разоружилось, то причина этому, несомненно, подлая трусость тех, кто истолковывал нашу религию, имея в виду праздность, а не доблесть. Если бы они приняли во внимание то, что религия наша допускает прославление и защиту отечества, то увидели бы, что она требует от нас, чтобы мы любили и почитали родину и готовили себя к тому, чтобы быть способными встать на ее защиту. Именно из-за такого рода воспитания и столь ложного истолкования нашей религии на свете не осталось такого же количества республик, какое было в древности, и следствием сего является то, что в народе не заметно теперь такой же любви к свободе, какая была в то время. Я полагаю также, что в огромной мере причиной тому было также и то, что Римская Империя, опираясь на свои войска и могущество, задушила все республики и всякую свободную общественную жизнь. И хотя Империя эта распалась, города, находящиеся на ее территории, за очень редким исключением, так и не сумели ни вместе встать на ноги, ни опять наладить у себя гражданский общественный строй.

Как бы там ни было, римляне в каждой, даже самой отдаленной части света встречали вооруженное сопротивление со стороны отдельных республик, которые, объединившись вместе, яростно отстаивали свою свободу. Если бы римский народ не обладал редкой и исключительной доблестью, ему никогда не удалось бы их покорить. В качестве примера достаточно, по-моему, сослаться на самнитов. Они были поразительным народом, и Тит Ливий это признает. Они были столь могущественны и обладали такой хорошей армией, что могли оказывать сопротивление римлянам вплоть до консульства Папирия Курсора, сына первого Папирия (иными словами, на протяжении сорока шести лет), и это после многих поражений, после того, как их земли не раз опустошались, а страна отдавалась на поток и разграбление. Теперь эта страна, где некогда было множество городов и жило много народа, являет вид чуть ли не пустыни; тогда же она была столь благоустроена и столь сильна, что ее не одолел бы никто, если бы не обрушившаяся на нее римская доблесть. Нетрудно уразуметь, откуда происходила ее тогдашняя благоустроенность и что породило ее нынешнюю неблагоустроенность: тогда все в ней имело своим началом свободную жизнь, теперь же – жизнь рабскую. А все земли и страны, которые полностью свободны, как о том уже было говорено, весьма и весьма преуспевают. Население в них многочисленнее, ибо браки в них свободнее и поэтому заключаются более охотно; ведь всякий человек охотнее рождает детей, зная, что сумеет их прокормить, и не опасаясь того, что наследство у них будет отнято, а также если он уверен не только в том, что дети его вырастут свободными людьми, а не рабами, но и в том, что благодаря своей доблести они смогут сделаться когда-нибудь первыми людьми в государстве. В таких странах богатства все время увеличиваются – и те, источником которых является земледелие, и те, которые создаются ремеслами. Ибо каждый человек в этих странах не задумываясь приумножает и приобретает блага, которыми рассчитывает затем свободно пользоваться. Следствием этого оказывается то, что все граждане, соревнуясь друг с другом, заботятся как о частных, так и об общественных интересах и что общее их благосостояние на диво растет.

Прямо противоположное происходит в странах, живущих в рабстве. Там тем меньше самых скромных благ, чем больше и тягостнее рабство. Из всех же видов рабства самым тягостным является то, в которое тебя обращает республика. Во-первых, потому, что оно самое продолжительное и не дает тебе надежды на освобождение. Во-вторых, потому, что ради собственного усиления республика стремится всех других измотать и обессилить. Никакой государь не сможет подчинить тебя себе в такой же мере, если только он не является государем – варваром, разорителем стран и разрушителем человеческих цивилизаций, наподобие восточных деспотов. Однако если государь человек и не обладает противоестественными пороками, то в большинстве случаев он любит, как свои собственные, покорившиеся ему города и сохраняет в них все цехи и почти все старые порядки. Так что, если города эти и не могут расти и развиваться так же хорошо, как свободные, то по крайней мере

они не гибнут, подобно городам, обращенным в рабство. Говоря здесь о рабстве, я имею в виду города, поработанные чужеземцем, ибо о городах, поработанных своим собственным гражданином, мною было говорено выше.

Так вот, кто примет во внимание все вышесказанное, не станет удивляться тому могуществу, каким обладали самниты, будучи свободными, и их слабости в ту пору, когда они были уже поработаны. Тит Ливий свидетельствует об этом во многих местах, особенно повествуя о войне с Ганнибалом. Там он рассказывает, как притесняемые стоявшим в Ноле легионом самниты отправили к Ганнибалу послы просить его о помощи. В своей речи послы сказали, что самниты около ста лет сражались с римлянами силою собственных солдат и собственных полководцев, что некогда они не однажды давали отпор сразу двум консульским армиям и двум Консулам, но что теперь они впали в такое ничтожество, что лишь с огромным трудом могут защитить себя от маленького римского легиона, находящегося в Ноле.

Посвящение

Святейшему и блаженнейшему отцу, господину нашему Клименту VII

Покорнейший слуга Никколо Макьявелли

Поскольку, блаженнейший и святейший отец, еще до достижения нынешнего своего исключительного положения Ваше святейшество поручили мне изложить деяния флорентийского народа, я со всем прилежанием и умением, коими наделили меня природа и жизненный опыт, постарался удовлетворить Ваше желание. В писаниях своих дошел я до времени, когда со смертью Лоренцо Медичи Великолепного самый лик Италии изменился, и так как последовавшие затем события по величию своему и знаменательности требуют и изложения в духе возвышенном, рассудил, что правильно будет все мною до этого времени написанное объединить в одну книгу и поднести Вашему святейшему блаженству, дабы могли вы начать пользоваться плодами моего труда, плодами, полученными от вами посеянного зерна. Читая эту книгу, вы, Ваше святейшее блаженство, прежде всего увидите, сколь многими бедствиями и под властью сколь многих государей сопровождалась после упадка Римской империи на Западе изменения в судьбах итальянских государств; увидите, как римский первосвященник, венецианцы, королевство Неаполитанское и герцогство Миланское первыми достигли державности и могущества в нашей стране; увидите, как отечество ваше, именно благодаря разделению своему избавившись от императорской власти, оставалось разделенным до той поры, когда наконец обрело управление под сенью вашего дома.

Ваше святейшее блаженство особо повелели мне излагать великие деяния ваших предков таким образом, чтобы видно было, насколько я далек от какой бы то ни было лести. Ибо если вам любо слышать из уст людских искреннюю похвалу, то хваления лживые и искательные никогда не могут быть вам угодными. Но это-то и внушает мне опасение, как бы я, говоря о добросердечии Джованни, мудрости Козимо, гуманности Пьеро, великолепии и предусмотрительности Лоренцо, не заслужил от Вашего святейшества упрека в несоблюдении ваших указаний. Однако здесь я имею возможность оправдаться как перед вами, так и перед всеми, кому повествование мое не понравилось бы, как не соответствующее действительности. Ибо, обнаружив, что воспоминания тех, кто в разное время писал о ваших предках, полны всяческих похвал, я должен был либо показать их такими, какими увидел, либо замолчать их заслуги, как поступают завистники. Если же за их высокими делами скрывалось честолюбие, враждебное по мнению некоторых людей общему благу, то я, не усмотрев его, не обязан и упоминать о нем. Ибо на протяжении всего моего повествования никогда не было у меня стремления ни прикрыть бесчестное дело благовидной личиной, ни навести тень на похвальное деяние под тем предлогом, будто оно преследовало неблагоприятную цель. Насколько далек я от лести, свидетельствуют все разделы моего повествования, особенно же публичные речи или частные суждения как в прямой, так и в косвенной форме, где в выражениях и во всей повадке говорящего самым определенным образом проявляется его натура. Чего я избегаю – так это бранных слов, ибо достоинство и истинность рассказа от них ничего не выиграют. Всякий, кто без предубеждения отнесется к моим писаниям, может убедиться в моей нелицеприятности, прежде всего отметив, как немного говорю я об отце Вашего святейшества. Причина тому – краткость его жизни, из-за чего он не мог приобрести известности, а я лишен был возможности

прославить его. Однако пошли от него дела великие и славные, ибо он стал родителем Вашего святейшества. Заслуга эта перевешивает деяния его предков и принесет ему больше веков славы, чем злосчастная судьба отняла у него годов жизни.

Я во всяком случае, святейший и блаженнейший отец, старался в этом своем повествовании, не приукрашивая истины, угодить всем, но, может быть, не угодил никому. Если это так, то не удивляюсь, ибо думаю, что излагая события своего времени, невозможно не задеть весьма многих. Тем не менее я бодро выступаю в поход в надежде, что, неизменно поддерживаемый и обласканный благодеяниями Вашего блаженства, обрету также помощь и защиту в мощном воинстве вашего святейшего разумения. И потому, вооружившись мужеством и уверенностью, не изменявшими мне доселе в моих писаниях, буду я продолжать свое дело, если только не утрачу жизнь или покровительство Вашего святейшества.

Предисловие

Вознамерившись изложить деяния флорентийского народа, совершенные им в своих пределах и вне их, я спервоначалу хотел было начать повествование с 1434 года по христианскому летосчислению, – со времени, когда дом Медичи благодаря заслугам Козимо и его родителя Джованни достиг во флоренции большего влияния, чем какой-либо другой. Ибо я полагал тогда, что мессер Леонардо Аретино и мессер Поджо, два выдающихся историка, обстоятельно описали все, что произошло до этого времени. Но затем я внимательно вчитался в их произведения, желая изучить их способ и порядок изложения событий и последовать ему, чтобы заслужить одобрение читателей. И вот обнаружилось, что в изложении войн, которые вела флоренция с чужеземными государями и народами, они действительно проявили должную обстоятельность, но в отношении гражданских раздоров и внутренних несогласий и последствий того и другого они многое вовсе замолчали, а прочего лишь поверхностно коснулись, так что из этой части их произведений читатели не извлекут ни пользы, ни удовольствия. Думаю, что так они поступили либо потому, что события эти показались им маловажными и не заслуживающими сохранения в памяти поколений, либо потому, что опасались нанести обиду потомкам тех, кого по ходу повествования им пришлось бы осудить. Таковые причины, – да не прогневаются на меня эти историки, – представляются мне совершенно недостойными великих людей. Ибо если в истории что-либо может понравиться или оказаться поучительным, так это подробное изложение событий, а если какой-либо урок полезен гражданам, управляющим республикой, так это познание обстоятельств, порождающих внутренние раздоры и вражду, дабы граждане эти, умудренные пагубным опытом других, научились сохранять единство. И если примеры того, что происходит в любом государстве, могут нас волновать, то примеры нашей собственной республики задевают нас еще больше и являются еще более назидательными. И если в какой-либо республике имели место примечательные раздоры, то самыми примечательными были флорентийские. Ибо большая часть других государств довольствовалась обычно одним каким-либо несогласием, которое в зависимости от обстоятельств или содействовало его развитию, или приводило его к гибели; флоренция же, не довольствуясь одним, породила их множество. Общеизвестно, что в Риме после изгнания царей возникли раздоры между нобилем и плебсом, и не утихали они до самой гибели Римского государства. Так было и в Афинах, и во всех других процветавших в те времена государствах. Но во флоренции раздоры возникали сперва среди нобилей, затем между нобилем и пополанам и, наконец, между пополанам и плебсом. И вдобавок очень часто случалось, что даже среди победивших происходил раскол. Раздоры же эти приводили к таким убийствам, изгнаниям, гибели целых семейств, каких не знавал ни один известный в истории город. На мой взгляд, ничто не свидетельствует о величии нашего города так явно, как раздиравшие его распри, – ведь их было вполне достаточно, чтобы привести к гибели даже самое великое и могущественное государство. А между тем наша флоренция от них словно только росла и росла. Так велика была доблесть ее граждан, с такой силой духа старались они возвеличить себя и свое отечество, что даже те, кто выживал после всех бедствий, этой своей доблестью больше содействовали славе своей родины, чем сами распри и раздоры могли ей повредить. И нет сомнения, что если бы флоренции после освобождения от гнета императорской власти выпало счастье обрести такой образ правления, при котором она сохраняла бы единство, – я даже не знаю, какое государство, современное или древнее, могло бы считаться выше ее: столько бы достигла она в военном деле и в мирных трудах. Ведь известно, что не успела она

изгнать своих гибеллинов в таком количестве, что они заполнили всю Тоскану и Ломбардию, как во время войны с Ареццо и за год до Кампальдино гвельфы в полном согласии с неподвергшимся изгнанию могли набрать во Флоренции тысячу двести тяжеловооруженных воинов и двенадцать тысяч пехотинцев. А позже, в войне против Филиппо Висконти, герцога Миланского, когда флорентийцам в течение пяти лет пришлось действовать не оружием (которого у них тогда не было), а расходовать средства, они истратили три с половиной миллиона флоринов; по окончании же войны, недовольные условиями мира и желая показать мощь своего города, они еще принялись осаждать Лукку.

Вот поэтому я и не понимаю, почему эти внутренние раздоры не достойны быть изложенными подробно. Если же упоминавшихся славных писателей удерживало опасение нанести ущерб памяти тех, о ком им пришлось бы говорить, то они в этом ошибались и только показали, как мало знают они людское честолюбие, неизменное стремление людей к тому, чтобы имена их предков и их собственные не исчезали из памяти потомства. Не пожелали они и вспомнить, что многие, кому не довелось прославиться каким-либо достойным деянием, старались добиться известности делами бесчестными. Не рассудили они также, что деяния, сами по себе имеющие некое величие, – как, скажем, все дела государственные и политические, – как бы их ни вели, к какому бы исходу они ни приводили, всегда, по-видимому, приносят совершающим их больше чести, чем поношения.

Поразмыслив обо всем этом, я переменяю мнение и решил начать свою историю от начала нашего города. Но отнюдь не имея намерения вторгаться в чужую область, я буду обстоятельно описывать лишь внутренние дела нашего города вплоть до 1434 года, о внешних же событиях буду упоминать лишь постольку, поскольку это окажется необходимым для разумения внутренних. В описании же последующих после 1434 года лет начну подробно излагать и то, и другое. А для того чтобы в этой истории были понятнее все эпохи, которых она касается, я, прежде чем говорить о Флоренции, расскажу о том, каким образом Италия попала под власть тех, кто ею тогда правил.

Все эти первоначальные сведения как об Италии вообще, так и о Флоренции займут первые четыре книги. В первой будут кратко изложены все события, происходившие в Италии после падения Римской империи и до 1434 года. Вторая охватит время от начала Флоренции до войны с папой после изгнания герцога Афинского. Третья завершится 1414 годом – смертью короля Неаполитанского Владислава. В четвертой мы дойдем до 1434 года и начиная с этого времени будем подробно описывать все, что происходило во Флоренции и за ее пределами вплоть до наших дней.

Книга первая

I

Народы, живущие севернее Рейна и Дуная, в областях плодородных и со здоровым климатом, зачастую размножаются так быстро, что избыточному населению приходится покидать родные места и искать себе новые обиталища. Когда какая-нибудь такая область хочет избавиться от чрезмерного количества людей, все ее жители разделяются на три группы так, чтобы каждая состояла из равного числа знатных и незнатных, имущих и неимущих. Затем группа, на которую падет жребий, отправляется искать счастливой доли в иных местах, а две другие, избавившись от избыточного населения, продолжают пользоваться наследием своих предков. Именно эти племена и разрушили Римскую империю, что было облегчено им самими же императорами, которые покинули Рим, свою древнюю столицу, и переехали в Константинополь, тем самым ослабив западную часть империи: теперь они уделяли ей меньше внимания и тем самым предоставили ее на разграбление как своим подчиненным, так и своим врагам. И поистине, для того, чтобы разрушить такую великую империю, основанную на крови столь доблестных людей, потребна была немалая низость правителей, немалое вероломство подчиненных, немалые сила и упорство внешних захватчиков; таким образом, погубил ее не один какой-либо народ, но объединенные силы нескольких народов.

Первыми выступившими из этих северных стран против империи после кимвров, побежденных Марием, римским гражданином, были вестготы – имя это и на их языке, и на нашем означает «готы западные». После ряда стычек вдоль границ империи они с разрешения императоров на длительное время обосновались на Дунае и хотя по разным причинам и в разное время совершали набеги на римские провинции, их все

же постоянно сдерживала мощь императорской власти. Последним, одержавшим над ними славную победу, был Феодосий: он настолько подчинил их себе, что они не стали выбирать себе короля, но, вполне удовлетворенные сделанными им пожалованиями, жили под его властью и сражались под его знаменами. Со смертью же Феодосия его сыновья Аркадий и Гонорий унаследовали государство отца, не унаследовав, однако, его доблестей и счастливой судьбы, а с переменой государя переменилось и время. Феодосий поставил во главе каждой из трех частей империи трех управителей – на Востоке Руфина, на Западе Стилихона, а в Африке Гильдона. После кончины государя все трое задумали не просто управлять своими областями, а добиться в них полной самостоятельности. Гильдон и Руфин погибли, едва начав осуществлять свой замысел, а Стилихон сумел скрыть свои намерения: с одной стороны, он старался завоевать доверие новых императоров, а с другой – внести такую смуту в управление государством, чтобы ему затем стало легче завладеть им. Для того чтобы восстановить вестготов против императоров, он посоветовал прекратить выплату им условленного жалованья. А так как этих врагов ему показалось недостаточно для того, чтобы вызвать в империи смуту, он стал побуждать бургундов, франков, вандалов и аланов (также северные народы, двинувшиеся на завоевание новых земель) к нападению на римские провинции. Лишившись положенной дани и стремясь покрепче отомстить за обиду, вестготы избрали своим королем Алариха, напали на империю и после целого ряда событий вторглись в Италию, где захватили и разграбили Рим. Одержав эту победу, Аларих умер, а наследник его Атаульф взял себе в жены Платидию, сестру императоров, и, вступив с ними в родство, согласился прийти на помощь Галлии и Испании, которые по вышесказанной причине подверглись нападению со стороны вандалов, бургундов, аланов и франков.

В конце концов вандалы, занявшие ту часть Испании, что звалась Бетикой, будучи не в состоянии отразить удары вестготов, были призваны правителем Африки Бонифацем занять эту провинцию, охотно согласились на это, а Бонифаций был доволен этой поддержкой, ибо, восстав против императора, он опасался расплаты за свое преступление. Так под водительством своего короля Гензериха вандалы обосновались в Африке.

К тому времени императором стал сын Аркадия Феодосий. Он так мало заботился о делах Запада, что все эти зарейнские народы вознамерились прочно утвердиться на захваченных землях.

II

Таким образом, вандалы стали хозяйничать в Африке, аланы и вестготы в Испании, а франки и бургунды не только захватили Галлию, но дали и свое имя занятым ими областям, которые стали называться Францией и Бургундией. Все эти успехи побудили другие народы принять участие в разделе империи. Гунны, тоже кочевая народность, захватили Паннонию, провинцию по ту сторону Дуная, которая, приняв теперь имя этих гуннов, получила название Хунгарии. К бедам этим добавилась еще одна: император, теснимый с разных сторон, пытался уменьшить количество своих врагов и стал заключать соглашения то с франками, то с вандалами, а это лишь усиливало власть и влияние варваров и ослабляло империю.

Остров Британия, что ныне именуется Англией, тоже не избежал этих бедствий. Напуганные варварами, занявшими Францию, не видя никакой возможной защиты со стороны императора, бритты призвали на помощь англов, одно из германских племен. Англы, предводительствуемые своим королем Вортигерном, охотно откликнулись и сперва защищали бриттов, а потом изгнали их с острова, утвердились там, и стал он по имени их называться Англией. Но первоначальные жители этой страны, лишившись родины, сами вынуждены оказались разбойничать и хоть и не сумели защитить свою собственную страну, решили завладеть чужой. Со своими семьями переплыли они через море, заняли прилегавшие к нему земли и по своему имени назвали их Бретанью.

III

Гунны, захватившие, как мы уже говорили, Паннонию, соединились с другими народами – гепидами, герулами, турингами и остготами (так именуются на их языке готы восточные) и двинулись на поиски новых земель. Захватить Францию им не удалось, так как ее обороняли другие варвары, поэтому они вторглись в Италию под водительством своего короля Аттилы, который незадолго до того умертвил своего брата Бледу, чтобы не делить с ним власти. Это сделало его всемогущим, а Андарих, король гепидов, и Веламир, король остготов, превратились в его данников. Вторгшись в Италию, Аттила принялся осаждать Аквилею. Хотя ничто другое ему не препятствовало, осада заняла два года, и в течение этого времени

он опустошил всю прилегавшую местность и рассеял всех ее жителей. Отсюда, как мы еще будем говорить, пошло начало Венеции. После взятия и разрушения Аквилеи и многих других городов он устремился на Рим, но от разгрома его воздержался, вняв мольбам папы, к которому он возымел такое почтение, что даже ушел из Италии в Австрию, где и скончался. После его смерти Веламир, король остготов, и вожди прочих народов подняли восстание против его сыновей, Генриха и Уриха, и одного убили, а другого принудили убраться вместе с его гуннами за Дунай и возвратиться к себе на родину. Остготы и гепиды обосновались в Паннонии, а герулы и туринги – на противоположном берегу Дуная.

Когда Аттила удалился из Италии, западный император Валентиниан решил восстановить страну, а дабы легче ему было оборонять ее от варваров, он перенес столицу из Рима в Равенну.

Бедствия, обрушившиеся на Западную империю, явились причиной того, что император, пребывавший в Константинополе, часто передавал власть на Западе другим лицам, считая ее делом дорогостоящим и опасным. Часто также безо всякого его соизволения римляне, видя себя брошенными на произвол судьбы, сами выбирали себе императора, а то и какой-нибудь узурпатор захватывал власть в империи. Так, например, после смерти Валентиниана престол занимал некоторое время Максим, римлянин, заставивший Евдокию, супругу покойного императора, стать теперь его женой. Та происходила из императорского рода и брак с простым гражданином считала для себя позором. В жажде мести за поругание она тайно призвала в Италию Гензериха, короля вандалов и правителя Африки, расписав ему, как легко и как выгодно будет ему завладеть Римом. Вандал, соблазненный добычей, явился, нашел Рим оставленным на произвол судьбы, разграбил его и оставался там две недели. Затем он захватил и разграбил еще другие итальянские земли, после чего он и войско его, отягощенные огромной добычей, отправились обратно в Африку. Вследствие кончины Максима римляне, возвратившись в свой город, провозгласили императором римского гражданина Авита. Затем последовало еще очень много различных событий, сменилось много императоров и наконец константинопольский престол достался Зенону, а римский – Оресту и сыну его Августулу, захватившим власть благодаря хитрости. Пока они намеревались силой удерживать ее, герулы и туринги, обосновавшиеся, как я сказал, после смерти Аттилы на берегу Дуная, объединились под руководством своего полководца Одоакра и вторглись в Италию.

Покинутые ими места были тотчас же заняты лангобардами, тоже северным народом, под водительством их короля Кодога, каковые, о чем будет сказано в свое время, явились последним бичом Италии. Одоакр, вторгшись в Италию, победил и умертвил Ореста недалеко от Павии, а Августул бежал. После победы Одоакр принял титул не императора, а короля Римского, дабы в Риме переменялась не только власть, а и само название ее. Он был первым из вождей народов, кочевавших тогда по римскому миру, который решил прочно обосноваться в Италии. Ибо все другие, то ли из страха, что им не удержаться в Риме, так как восточный император легко мог оказать Одоакру помощь, то ли по какой другой тайной причине, всегда только предавали его разграблению, а селились в какой-нибудь иной стране.

IV

В то время прежняя Римская империя подчинялась следующим государям: Зенон, царствовавший в Константинополе, повелевал всей Восточной империей; остготы владели Мезией и Паннонией; вестготы, свевы и аланы – Гасконью и Испанией; вандалы – Африкой; франки и бургунды – Францией; герулы и туринги – Италией. Королем остготов стал к тому времени Теодорих, племянник Веламира. Будучи связан дружбой с Зеноном, императором Востока, он написал ему, что его остготы, превосходящие воинской доблестью все другие народы, владеют гораздо меньшим достоянием и считают это несправедливым; что ему уже невозможно удерживать их в пределах Паннонии, и, таким образом, видя, что придется разрешить им взяться за оружие и искать новых земель, он решил сообщить об этом императору, чтобы тот предупредил их намерения, уступив им какие-либо земли, где существование для них было бы и более почетным, и более легким.

И вот Зенон, отчасти из страха перед остготами, отчасти желая изгнать Одоакра из Италии, предоставил Теодориху право выступить против Одоакра и завладеть Италией. Тот немедленно выступил из Паннонии, оставив там дружественных ему гепидов, явился в Италию, умертвил Одоакра и его сына, принял по его примеру титул короля Италии и местопребыванием своим избрал Равенну, по причинам, которые побудили еще Валентиниана сделать то же самое.

И в военных и в мирных делах Теодорих показал себя человеком незауряднейшим: в боевых столкновениях он неизменно одерживал победу, в мирное время осыпал благодеяниями свои города и народы. Он расселил остготов на завоеванных землях, оставив им их вождей, чтобы те предводительствовали ими в походах и управляли в

мирной жизни. Он расширил пределы Равенны, восстановил разрушенное в Риме и вернул римлянам все их привилегии за исключением военных. Всех варварских королей, поделивших между собою владения Римской империи, он держал в их границах, – одной силой своего авторитета, не прибегая к оружию. Между северным берегом Адриатики и Альпами он настроил земляных укреплений и замков, дабы легче было препятствовать вторжениям в Италию новых варварских орд. И если бы столь многочисленные заслуги не были к концу его жизни омрачены проявлениями жестокости в отношении тех, кого он подозревал в заговорах против своей власти, как например умерщвлением Симмаха и Боэция, людей святой жизни, память его во всех отношениях достойна была бы величайшего почета. Ибо храбрость его и великодушие не только Рим и Италию, но и другие области Западной Римской империи избавили от непрерывных ударов, наносимых постоянными нашествиями, подняли их, вернули им достаточно сносное существование.

V

И действительно, если на Италию и другие провинции, ставшие жертвой разбушевавшихся варваров, обрушились жестокие беды, то произошло это преимущественно за время от Аркадия и Гонория до Теодориха. Если поразмыслить о том, сколько ущерба наносит любой республике или королевству перемена государя или основ управления, даже когда они вызваны не внешними потрясениями, а хотя бы только гражданскими раздорами, если иметь в виду, что такие пусть и незначительные перемены могут погубить даже самую могущественную республику или королевство, – легко можно представить себе, какие страдания выпали на долю Италии и других римских провинций, где менялись не только государи или правительства, но законы, обычаи, самый образ жизни, религия, язык, одежда, имена. Ведь даже не всех этих бедствий, а каждого в отдельности достаточно, чтобы ужаснуть воображение самого сильного духом человека. Что же происходит, когда приходится видеть их и переживать! Все это приводило и к разрушению, и к возникновению и росту многих городов. Разрушены были Аквилея, Луни, Кьюзи, Пополония, Фьезоле и многие другие. Заново возникли Венеция, Сиена, Феррара, Аквила и прочие поселения и замки, которые я ради краткости изложения перечислять не стану. Из небольших превратились в крупные Флоренция, Генуя, Пиза, Милан, Неаполь и Болонья. К этому надо добавить разрушение и восстановление Рима и других то разрушавшихся, то возрождавшихся городов.

Из всех этих разрушений, из пришествия новых народов возникают новые языки, как показывают те, на которых стали говорить во Франции, Испании, Италии: смешение родных языков варварских племен с языками Древнего Рима породило новые способы изъясняться. Кроме того, изменились наименования не только областей, но также озер, рек, морей и людей. Ибо Франция, Италия, Испания полны теперь новых имен, весьма отличающихся от прежних: так, например, По, Гарда, острова Архипелага, чтобы не упоминать многих других, носят теперь новые названия, представляющие собой сильнейшие искажения старых. Людей теперь именуют не Цезарь или Помпей, а Пьетро, Джованни и Маттео. Но из всех этих перемен самой важной была перемена религии, ибо чудесам новой веры противостояла привычка к старой и от их столкновения возникали среди людей смута и пагубный раздор. Если бы религия христианская являла собой единство, то и неурядица оказалась бы меньше; но вражда между церквами греческой, римской, равеннской, а также между еретическими сектами и католиками многообразным образом удручала мир. Свидетельство этому – Африка, пострадавшая гораздо больше от приверженности вандалов к арианской ереси, чем от их врожденной жадности и свирепости. Люди, живя среди стольких бедствий, во взоре своем отражали смертную тоску своих душ, ибо, помимо всех горестей, которые им приходилось переносить, очень и очень многие не имели возможности прибегнуть к помощи Божией, надеждой на которую живут все несчастные: ведь по большей части они не знали толком, к какому Богу обращаться, и потому безо всякой защиты и надежды жалостно погибали.

VI

Вот почему Теодорих справедливо заслуживает похвалы – ведь он первый положил предел столь многим несчастьям. За тридцать восемь лет своего царствования в Италии он так возвеличил ее, что исчезли даже следы войн и смут. Но по смерти Теодориха власть перешла к Аталариху, сыну его дочери Амаласунты, и в скором времени неутоленная еще злая судьба вновь погрузила страну в те же бедствия. Ибо Аталарих скончался вскоре после своего деда, престол перешел к его матери, а с ней изменнически поступил Теодат, которого она приблизила к себе, чтобы иметь в нем помощника по управлению государством. Он умертвил ее, завладел королевским тронem, но остготы возненавидели его за это преступление. Тогда император

Юстиниан возгорелся надеждой на изгнание их из Италии. Во главе этого предприятия поставил он Велизария, только что изгнавшего вандалов из Африки и вернувшего эту провинцию империи. Велизарий завладел Сицилией и, перебравшись оттуда в Италию, занял Неаполь и Рим. Тогда готы предали смерти своего короля Теодата, считая его ответственным за бедствие, и избрали на его место Витигеса, который после нескольких незначительных стычек был осажден Велизарием в Равенне и взят в плен. Но не успел Велизарий завершить победу, как Юстиниан отозвал его, а вместо него назначил Иоанна и Виталия, ни в малейшей мере не обладавших его доблестью и благородством. Готы ободрились и королем избрали Гильдобальда, правителя Вероны, однако тот был вскоре убит, и королевская власть досталась Тотиле, который разбил войска императора, занял Тоскану и Неаполь, так что за императорскими полководцами осталась лишь последняя из областей, отвоеванных Велизарием. Тогда император почел необходимым вернуть Велизария в Италию; однако, явившись туда с недостаточными вооруженными силами, этот полководец не только не достиг новой славы, но утратил и ту, что выпала ему за первоначальные его деяния.

Действительно, пока Велизарий со своим войском находился еще в Остии, Тотила на глазах у него захватил Рим и, видя, что ему не удастся ни удержать город, ни безопасно отступить, в значительной части разрушил его, изгнал всех жителей, забрал с собой сенаторов и, не раздумывая о противнике, повел свое войско в Калабрию, навстречу тем вооруженным силам, которые прибывали из Греции в помощь Велизария. Последний, видя Рим брошенным на произвол судьбы, задумал дело весьма достойное: он занял развалины Рима, восстановил со всей возможной поспешностью его стены и вновь созвал под их защиту прежних обитателей. Однако в благородном этом начинании ему не повезло. Юстиниана в то время теснили парфяне, он опять отозвал Велизария, который, повинувшись приказу своего повелителя, оставил Италию на милость Тотилы, вновь занявшего Рим. На этот раз Тотила, однако, не обошелся с ним так жестоко, как прежде: напротив, склоняясь на мольбы святого Бенедикта, весьма тогда почитавшегося всеми за свою святость, он даже решил восстановить вечный город.

Тем временем Юстиниан заключил с парфянами мир и уже задумал было послать новые войска на освобождение Италии, как ему воспрепятствовали в этом славяне, новые пришедшие с севера племена, которые переправились через Дунай и напали на Иллирию и Фракию, так что Тотиле удалось завладеть почти всей Италией. Под конец Юстиниан одолел славян и послал в Италию войско под командованием евнуха Нарсеса, полководца весьма одаренного, который, высадившись в Италии, разбил и умертвил Тотилу. Остатки готов, рассеявшись после этого разгрома, заперлись в Павии и провозгласили королем Тейю. Нарсес же, одержав победу, взял Рим и под конец, в битве при Ночере, разбил Тейю и умертвил его. После этой победы в Италии уже не слышали имени готов, господствовавших в ней семьдесят лет от Теодориха до Тейи.

VII

Но не успела Италия избавиться от власти готов, как Юстиниан скончался, а его сын и преемник Юстин по наущению супруги своей Софии отозвал Нарсеса и вместо него послал в Италию Лонгина. Тот последовал примеру своих предшественников и местопребыванием своим избрал Равенну, а кроме того, установил в Италии новый порядок управления: не назначая, как это делали готы, правителей целых областей, он каждому городу, каждой более или менее значительной местности дал отдельных начальников, названных герцогами. При этом порядке Рим не получил никакого преимущества. До этого времени оставались хотя бы названия консулов и сената, теперь они были упразднены, и Римом управлял герцог, ежегодно назначавшийся из Равенны, и Рим стал просто Римским герцогством. Равеннский же наместник императора, управлявший всей Италией, получил название экзарха. Такое разделение ускорило и окончательную гибель Италии, и ее захват лангобардами.

VIII

Нарсес был до крайности возмущен тем, что император отнял у него управление провинцией, освобожденной его доблестью и кровью. К тому же и София не удовольствовалась одним оскорблением – лишением власти, – а добавила к этому издевательские слова: она, мол, заставит его прясть, как других евнухов. И вот вконец разъяренный Нарсес подбил Альбоина, короля лангобардов, правившего тогда в Паннонии, на захват Италии.

Как было уже сказано, лангобарды заняли области вдоль Дуная, оставленные герулами и турингами, когда тех повел на Италию их король Одоакр. Там они и оставались, пока королем у них стал Альбоин, человек свирепый и дерзновенный.

Под его водительством они перешли Дунай, напали на Гунимунда, короля гепидов, владевшего Паннонией, и победили его. Среди захваченных ими пленных была дочь короля Розамунда. Альбоин взял ее в жены и стал владыкой Паннонии. И такова была присущая ему свирепость, что он велел сделать из черепа Гунимунда чашу, и пил из нее в память о своей победе.

Призванный в Италию Нарсесом, с которым у него завелась дружба со времен готской войны, он предоставил Паннонию гуннам, возвратившимся, как мы уже говорили, после смерти Аттилы к себе на родину. Затем он проник в Италию, убедился, что она раздроблена на мелкие части, и одним ударом завладел Павией, Миланом, Вероной, всей Тосканой, а также большей частью Фламинии, называемой ныне Романьей. Столь многочисленные и быстрые успехи, казалось, предвещали ему захват всей Италии. На радостях он устроил в Вероне пир и, не без воздействия винных паров, приказал наполнить вином череп Гунимунда и поднести его Розамунде, которая принимала участие в пиршестве, сидя напротив него. При этом он сказал нарочито громко, так, чтобы королева слышала, что пускай-де на радостях она выпьет вместе со своим отцом. Слова эти были ей как острый нож в сердце, и Розамунда вознамерилась отомстить. Она знала, что некий благородный лангобард по имени Алмахильд, юноша до ярости храбрый, влюблен в одну из ее женщин, и сговорилась с этой женщиной устроить так, чтобы он провел ночь с ней, королевой, вместо своей возлюбленной. Та указала ему, куда он должен прийти на свидание, и он улегся в темном покое с Розамундой, думая, что имеет дело с ее прислужницей. После того как все совершилось. Розамунда открылась ему и поставила его перед выбором: либо он умертвит Альбоина и завладеет навсегда и престолом, и ею, либо будет казнен Альбоином, как осквернитель королевского ложа. Алмахильд согласился убить Альбоина, но, содеяв это убийство, они увидели, что троним им не завладеть, и к тому же стали опасаться, как бы с ними не расправились лангобарды, которые Альбоина любили. Поэтому, захватив с собой все королевские сокровища, они бежали в Равенну к Лонгину, где и были с честью приняты им.

Пока происходили все эти события, император Юстин скончался, и преемником его стал Тиберий, который до того завяз в войне с парфянами, что не в состоянии был оказать какую-либо помощь Италии. Тут Лонгин решил, что наступило для него удобное время сделаться с помощью Розамунды и ее золота королем лангобардов и всей Италии. Он поделился этим замыслом с Розамундой и уговорил ее умертвить Алмахильда, а его, Лонгина, взять в мужья. Она согласилась, и вот, когда Алмахильд после бани захотел пить, она поднесла ему заранее приготовленный кубок с отравленным вином. Выпив едва половину кубка, он внезапно ощутил, что ему разрывает внутренности, понял, в чем дело, и принудил Розамунду проглотить остаток яда. Так, вскорости, оба они умерли, и Лонгин потерял надежду стать королем.

Между тем лангобарды собрались в Павии, которая стала столицей их королевства, и провозгласили королем Клефа. Он отстроил заново Имолу, разрушенную Нарсесом, захватил Римини и почти всю страну до самого Рима, но в разгар этих побед скончался. Этот Клеф проявлял не только к чужакам, но и к своим лангобардам такую жестокость, что они возымели отвращение к королевской власти и решили не ставить над собой королей, а избрать тридцать герцогов и вручить им управление страной. Такое решение явилось причиной того, что лангобарды так никогда и не заняли всей Италии: их владычество простиралось не далее Беневента, а Рим, Равенна, Кремона, Мантуя, Падуя, Монселиче, Парма, Болонья, Фаенца, Форли, Чезена частью смогли долгое время обороняться от них, частью же так никогда и не были ими заняты. Ибо отсутствие королевской власти ослабило готовность лангобардов к войне, когда же они опять стали выбирать королей, то, раз отведав свободы, стали уже не столь послушны и более склонны к внутренним раздорам. Из-за этого сперва замедлились их успехи, а затем они вообще потеряли Италию. Благодаря тому что лангобарды оказались в таком положении, римляне и Лонгин смогли прийти с ними к соглашению, по которому военные действия прекращались и за каждой из сторон сохранялось то, чем она владела.

IX

К тому времени политическая власть римских пап стала значительно сильнее, чем ранее. Первые преемники святого Петра за святость своей жизни и творимые ими чудеса были столь почитаемы людьми и так распространилось христианство благодаря их примеру, что и государи вынуждены были примыкать к нему, дабы прекратить смуту, царившую в мире. Вследствие того что император, приняв христианскую веру, перенес престол свой в Константинополь, империя римская гораздо скорее пришла в упадок, но зато римская церковь значительно усилилась. Однако же до вторжения лангобардов вся Италия находилась в подчинении императоров или королей и папы не обладали тогда иной властью, чем та, которую приносило им всеобщее уважение к их

жизни и учению. Во всем прочем они сами подчинялись императорам и королям, которые порой предавали их смерти, а порой поручали им управление государством. Но больше всего содействовал усилению их влияния на итальянские дела король готов Теодорих, когда он перенес свою столицу в Равенну. Рим остался без государя, а римляне ради безопасности своей вынуждены были все в большей степени идти под защиту папы. Все же власть эта тогда еще не слишком увеличилась: римская церковь добилась лишь одного – за ней, а не за равеннской осталось первое место. Но приход лангобардов и раздробление Италии сделали папу более смелым: он оказался как бы главой Рима, константинопольский император и лангобарды проявляли к нему уважение, и таким образом через его посредство римляне могли вступать в переговоры и с лангобардами и с Лонгином не как подданные, а как равные. Так папы оставались друзьями то византийцев, то лангобардов, и их значение от этого лишь увеличивалось.

Именно в это время, в правление императора Ираклия, начался упадок Восточной империи. Славянские племена, о которых мы уже упоминали, снова напали на Иллирию и, захватив ее, дали ей и свое имя – Словения. Другие же области этой империи подверглись нападению сперва персов, затем арабов, вышедших из пределов Аравии под водительством Мухаммеда, и, наконец, турок. Империя потеряла Сирию, Африку, Египет, и, видя ее бессилие, папа уже не мог обращаться к ней за помощью. С другой стороны, мощь лангобардов все нарастала, папе надо было искать новых союзников, и он прибег к помощи франков и их королей. Таким образом все войны, которые в то время варвары вели в Италии, были в значительной мере вызваны римскими первосвященниками, и все варвары, нашествия коих она подвергалась, бывали почти всегда ими же и призваны. Так же ведут себя они и поныне, и именно из-за этого Италия остается раздробленной и бессильной. Вот почему, повествуя о событиях, происходивших с того времени и до наших дней, мы уже станем говорить не об упадке империи, окончательно поверженной, а об усилении власти римских первосвященников и прочих государей, которые управляли Италией до вторжения Карла VIII. Мы увидим, как папы, сперва прибегая лишь к силе церковных отлучений, затем к отлучениям и оружию одновременно, в сочетании с индальгенциями, стали грозными и благоговейно чтимыми, а затем из-за дурного использования и того, и другого оружия первого свели на нет, а в отношении второго оказались на милости тех, к кому обращались за помощью.

Однако пора вернуться к нашему повествованию. Когда на папский престол вступил Григорий III, а лангобардский – король Айстульф, последний в нарушение заключенных договоров занял Равенну и повел войну против папы. По названному уже причинам Григорий, не полагаясь на константинопольского императора из-за его слабости и не доверяя слову лангобардов, столь часто ими нарушавшемуся, стал искать помощи во франкском королевстве у Пипина II, который из герцога Австразии и Брабанта превратился во франкского короля благодаря не столько своим достоинствам, сколько заслугам своего отца Карла Мартелла и своего деда Пипина. Это отец его Карл Мартелл, будучи правителем королевства, разгромил арабов в памятной битве при Туре на берегу реки Луары, уложив там не менее двухсот тысяч врагов. Так сын Мартелла Пипин и стал по заслугам отца правителем этого королевства. Папа Григорий, как мы уже сказали, послал к нему за помощью против лангобардов. Пипин обещал эту помощь, но сообщил папе, что сперва хотел бы лично свидеться с ним и оказать ему должные почести. Григорий отправился в королевство франков и проехал через владения своих врагов лангобардов, и при этом никто не чинил ему никаких препятствий из-за уважения к религии. В королевстве франков король осыпал Григория всевозможными почестями и направил в Италию свои войска, которые осадили лангобардов в Павии. Айстульф вынужден был просить мира, и франки пошли на переговоры с ним по просьбе папы, который не домогался смерти своего врага, – он хотел, чтобы тот жил, приняв, однако, крещение. По заключенному с франками договору Айстульф обязывался вернуть папе все захваченные у него земли, но как только франкские войска вернулись на родину, он нарушил договор. Папа вновь обратился за помощью к Пипину, который вторично послал в Италию войско, разбил лангобардов, взял Равенну и вопреки воле византийского императора отдал ее папе вместе со всеми владениями, подчиненными экзархату, добавив к этому еще Урбино и Марку.

Во время передачи этих земель Айстульф умер, и лангобард Дезидерий, который был правителем Тосканы, взялся за оружие с целью завладеть тронем и стал просить поддержки у папы, обещая ему свою дружбу. Папа внял его просьбе и тем самым вынудил других государей уступить. Поначалу Дезидерий оставался верен своему слову и продолжал передавать папе города, уступленные по договоренности с Пипином. В Равенну больше не являлись константинопольские экзархи, она управлялась по воле римского первосвященника.

Вскоре скончался Пипин, и королем стал сын его Карл, тот самый, который по величию деяний своих получил прозвание Великого. На папский же престол вступил Феодор I, который рассорился с Дезидерием, вследствие чего тот принялся осаждать Рим. Тогда папа обратился за помощью к Карлу, который перешел через Альпы, осадил в свою очередь Дезидерия в Павии, взял его с сыновьями в плен и отослал их во франкское королевство. Затем он отправился в Рим посетить папу и там объявил, что римский первосвященник, как наместник Божий на земле, не может быть судим судом человеческим; папа же и римский народ провозгласили Карла императором. Таким образом, Рим снова получил императора на Западе, но теперь уже не папа нуждался, как раньше, в помощи императоров, а императору требовалась поддержка папы в избрании. По мере того как императорская власть утрачивала свои прерогативы, они переходили к церкви, и благодаря этому с каждым днем усиливалась ее власть над светскими государями.

Лангобарды находились в Италии уже двести тридцать два года и от коренного населения отличались только именем. В понтификат Льва III Карл решил навести в Италии полный порядок и дал свое согласие на то, чтобы они поселились в области, где водворились с самого начала, и чтобы область эта по имени их называлась Ломбардией. Для того же, чтобы они чтили римское имя, он повелел, чтобы пограничная с ними часть равеннского экзархата стала называться Романьей. Кроме того, сына своего Пипина он провозгласил королем Италии, с тем чтобы подвластны ему были все области до Беневента; прочие же принадлежали византийскому императору, с которым Карл пришел к соглашению.

Между тем на папский престол вступил Пасхалий I, и вот приходские священники римских церквей, чтобы приблизиться к папе и принимать участие в избрании его, порешили украсить свою власть громким титулом и стали называться кардиналами. Они присвоили себе такие права, что теперь уже весьма редко первосвященник избирался не из их среды, в особенности с тех пор, как им удалось отстранить римский народ от выборов главы церкви. Так, после кончины Пасхалия они избрали папой Евгения II из прихода Санта Сабина.

В Италии, когда она перешла под власть франков, частично изменились форма и порядок управления, и потому что папская власть возобладала над светской, и вследствие того, что франки установили в ней звания графов и маркграфов, как до того равеннский экзарх Лонгин установил звание герцога. Когда затем папой стал римлянин Оспорко, он счел необходимым изменить столь неблагозвучное имя и переименовал его на Сергия; с той поры и пошел в ход обычай, по которому папы после избрания стали менять имя.

XII

Между тем император Карл скончался, оставив престол сыну своему Людовику. После же смерти последнего среди сыновей его возникли такие раздоры, что ко времени внуков франкский дом лишился империи, которая перешла к германским правителям: первым германским императором стал Арнольф.

Из-за раздоров своих Каролинги потеряли не только империю, но и Итальянское королевство; лангобарды вновь усилились и стали притеснять папу и римлян. Не зная уж, к какому государю обращаться за помощью, папа вынужден был провозгласить королем Италии Беренгария, герцога Фриульского.

События эти придали смелости гуннам, осевшим в Пан-нонии, нападая на Италию, но, разбитые Беренгарием, они возвратились в Паннонию, или, вернее, в Венгрию, как они теперь называли эту область. В Византии императором к тому времени стал Роман, отнявший власть у Константина, которому сперва служил как начальник его войска. Воспользовавшись сменой власти, Апулия и Калабрия, входившие, как мы упоминали, в состав Восточной империи, восстали против власти Романа, и, раздраженный этим, он разрешил сарацинам проникнуть в эти области, которые и были ими заняты, после чего сарацины попытались одним ударом захватить Рим. Однако римляне, видя, что Беренгарий занят обороной от гуннов, военачальником своим сделали Альбериха, герцога Тосканского, и благодаря доблести его спасли Рим от арабов, каковые, снявши осаду, поставили на горе Гаргано мощную крепость, откуда господствовали над Апулией и Калабрией и совершали набеги на прочие области Италии. Таким образом, Италия оказалась в плачевнейшем состоянии: со стороны Альп ей угрожали гунны, со стороны Неаполя – сарацины, и горестное это положение не улучшалось в течение царствования трех Беренгариев, наследовавших один другому. Папа же и вся церковь переживали всевозможные потрясения, не зная к кому обращаться за помощью, ибо государи западные враждовали между собою, а восточные были совершенно бессильны. Сарацины опустошили город Геную и все его побережье, но эти же бедствия возвысили Пизу, куда стекались люди, изгнанные из своих родных мест. События эти происходили около 931 года по христианскому

летосчислению. Но когда на императорский престол вступил герцог саксонский Отгон, сын Генриха и Матильды, государь, славившийся своим разумением, папа Агапий обратился к нему с призывом явиться в Италию и избавить ее от тирании Беренгариев.

XIII

В то время Италия разделена была следующим образом: Ломбардия повиновалась Беренгарию III и сыну его Альберту; Тосканой и Романьей управлял наместник западного императора; Апулия и Калабрия подчинялись частью византийскому императору, частью сарацинам; в Риме знать ежегодно выбирала двух консулов, которые и правили там по древнему обычаю, и при них состоял еще префект в качестве судьи народа и, кроме того, совет из двенадцати членов, которые ежегодно же назначали правителей в зависящие от Рима города. Папы и в Риме, и во всей Италии имели большее или меньшее влияние в зависимости от того, насколько сами пользовались благосклонностью императоров или тех, кто в данное время был в этой стране сильнее всего. Император Отгон явился в Италию, отнял королевство у Беренгариев, властвовавших пятьдесят пять лет, возвратил римскому первосвященнику его прежние полномочия. У государя этого были сын и внук, носившие, подобно ему, имя Отгон, каковые и царствовали после него один за другим. В царствование Отгона III римляне изгнали из города папу Григория V, император тотчас же оказал ему помощь и снова водворил в Рим; а папа, желая покарать римлян, отнял у них право участия в венчании императора и передал право выбора его шести германским властителям: трем духовным – епископам Майнцскому, Трирскому и Кельнскому – и трем светским – герцогам Бранденбургскому, Пфальцскому и Саксонскому. Все это произошло в 1002 году. После смерти Отгона III германские князья избрали императором Генриха II, герцога Баварского, который, процарствовав двенадцать лет, был в конце концов коронован папой Стефаном VIII. Генрих и супруга его Симеонда прославились святостью своей жизни, чему свидетельство – множество храмов Божиих, получивших от них богатые даяния или даже ими воздвигнутых, как, например, церковь Сан Миньято недалеко от Флоренции. Генрих II умер в 1024 году, ему наследовал Конрад Швабский, а тому – Генрих III. Последний явился в Рим, где в церковных делах царил смута, ибо избраны были сразу трое соперничавших между собой пап. Он низложил всех троих и поддержал избрание на их место Климента II, каковой и венчал его императорской короной.

XIV

Италией правили тогда частью сами магистраты, избранные населением городов, частью государи, частью уполномоченные императора, главный из коих, начальствовавший над всеми прочими, именовался канцлером. Из государей наиболее могущественным был Готфрид, женатый на графине Матильде, дочери Беатрисы, сестры Генриха II. Супруги эти владели Луккой, Пармой, Реджо, Мантуей и всем тем, что ныне зовется Патримонием святого Петра. Первосвященникам же римским приходилось вести непрерывную борьбу с честолюбивыми притязаниями римского народа, ибо народ, сперва использовав папскую власть для того, чтобы избавиться от господства императоров, установить свое господство в городе и распорядиться им согласно своей воле, затем стал самым ярким врагом первосвященника, который терпел от народа римского больше обид, чем от любого христианского государя. В то самое время, когда угроза папского отлучения от церкви держала в страхе весь христианский Запад, народ римский упорствовал в неподчинении папе, и оба эти соперника только и старались, чтобы урвать друг у друга власть и почет.

Тем временем на папском престоле оказался Николай II, и как Григорий V отнял у римлян право участвовать в венчании императора, так Николай II лишил их возможности участвовать в избрании папы, постановив, что отныне это будет делом кардиналов. Этим он не удовольствовался, но, сговорившись с государями, правившими теперь Калабрией и Апулией в силу обстоятельств, о которых речь впереди, принудил всех должностных лиц, посланных римлянами всюду, куда распространялась власть города Рима, присягнуть папскому престолу, а кое-кого из них даже отрешил от должности.

XV

После смерти Николая II в церкви произошел раскол, ибо ломбардское духовенство не желало подчиниться Александру II, избранному в Риме, и сделало Кадала Пармского антипапой. Генрих же IV, которому ненавистно было усиление папской власти, пытался убедить папу Александра отказаться от тиары, а кардиналов –

собраться в Германии для избрания нового первосвященника. Так этот государь и оказался первым, которому пришлось испытать на себе всю тяжесть духовной кары, ибо папа созвал в Риме собор и на нем лишил Генриха императорского и королевского достоинства. Некоторые народы Италии приняли сторону папы, другие сторону Генриха, – отсюда и пошло разделение на гвельфов и гибеллинов, словно Италии суждено было, избавившись от варварских вторжений, оставаться раздираемой внутренними смутами. Генрих, отлученный от церкви, вынужден был по требованию своих подданных явиться в Италию, чтобы разутым и коленопреклоненным молить папу о прощении, что и произошло в 1080 году. Однако вскоре после того между папой и Генрихом опять возникли раздоры. Генрих был снова отлучен от церкви и послал на Рим с войском своего сына, тоже Генриха, который с помощью римлян, ненавидевших папу, осадил его в римской цитадели. Однако Робер Гвискар двинулся из Апулии на помощь папе, и Генрих, не дожидаясь его, удалился в Германию. Одни лишь римляне упорствовали в сопротивлении, так что Робер разгромил город, снова превратив Рим в развалины, из коих его прежде подняли несколько пап. Поскольку от этого Робера пошло начало королевства Неаполитанского, мне представляется нелишним рассказать о его происхождении и деяниях.

XVI

Как уже было сказано выше, между наследниками Карла Великого возникли раздоры, каковые и дали возможность новым северным народам, именуемым норманнами, напасть на Францию и захватить в ней целую область, с тех пор и названную по их имени Нормандией. Часть норманнов явилась в Италию ко времени, когда в ней бесчинствовали Беренгари, сарацины и гунны, и заняла некоторые земли в Романье, доблестно выстояв среди всех этих войн. У одного из норманнских государей Танкреда родилось несколько сыновей, из коих особо выделялись Вильгельм по прозвищу Железная Рука и Робер, называемый Гвискаром. Когда власть перешла к Вильгельму, в Италии стало уже поспокойнее, однако же сарацины еще занимали Сицилию и каждодневно совершали набеги на итальянское побережье. Тогда Вильгельм сговорился с правителями Капуи и Салерно, а также с Мелорхом, наместником византийского императора в Апулии и Калабрии, напасть на Сицилию и по достижении победы разделить захваченную добычу и земли между собой на четыре равные части. Предприятие это увенчалось успехом, но Мелорх тайно вызвал из Византии войска и завладел всем островом от имени императора, разделив только добычу. Вильгельм этим был весьма недоволен, но, отложив мщение до более благоприятного времени, покинул Сицилию вместе с правителями Салерно и Капуи. Едва они отделились от него, возвратившись в свои владения, как он, вместо того чтобы вернуться в Романью, устремился со своим войском в Апулию, внезапно завладел Мельфи и, несмотря на противодействие императорских войск, вскоре подчинил себе почти всю Апулию и Калабрию, где ко времени папы Николая II правил брат его Робер Гвискар. Будучи не в состоянии договориться со своими племянниками о разделе наследства, Робер затем обратился к посредничеству папы, на какое папа с охотой согласился, ибо рассчитывал найти в Робере опору как против германских императоров, так и против дерзновенности римского народа. Расчеты эти, как мы уже видели, оправдались, когда по просьбе Григория VII Робер отогнал Генриха от Рима и усмирил римский народ. Роберу наследовали его сыновья, Рожер и Вильгельм, присоединившие к владениям своим еще Неаполь и все земли между Неаполем и Римом, а затем и Сицилию, властителем коей объявил себя Рожер. Когда Вильгельм отправился в Константинополь свататься к дочери императора, Рожер напал на брата и захватил все его владения. Возгордившись от всех этих захватов, он сперва объявил себя королем Италии, но затем, удовольствовавшись титулом короля Апулии и Сицилии, стал первым, давшим имя и порядок этому королевству, которое до наших дней существует в прежних своих границах, хотя род и племя властителей его менялись не однажды, ибо когда угасла норманнская династия, власть перешла к немецкой, затем к французской, после французской – к арагонской, а теперь Сицилией владеют фламандцы.

XVII

Урбан II, вступив на папский престол, навлек на себя ненависть римлян. Не считая себя в безопасности среди всех несогласий, раздиравших Италию, он задумал некое весьма смелое предприятие. Он отправился в сопровождении своего клира во Францию, собрал в Оверни массу народа и принялся проповедовать против неверных. Он так воодушевил всех собравшихся, что они постановили отправиться в Азию в поход на арабов, каковой вместе со всеми последующими такими же походами стал именоваться крестовым, ибо все, кто в него отправлялся, отмечались красным крестом на одежде своей и на оружии. Вождями этого предприятия были Готфрид,

Евстахий и Болдуин Бульонские, графы Булони, и некий Петр Пустынный, пользовавшийся за мудрость свою и святость великим уважением; многие народы и короли содействовали этому делу своей казной, а значительное количество частных лиц шли в поход за свой счет безо всякого вознаграждения. Такова была тогда сила религиозности в душах людей, движимых примером своих начальников. Сперва предприятие это увенчалось славным успехом: вся Азия, Сирия и часть Египта оказались во власти христиан. Тогда и возник орден иерусалимских рыцарей, существующий и поныне и владеющий островом Родосом, единственной твердыней против мусульман. Основался также орден храмовников, который через малое время весьма плохо кончил из-за развращенности своих членов. Так в разное время совершилось множество разных событий, прославивших и многие народы, и отдельных лиц. В крестовых походах участвовали короли Франции, Англии, а из народов венецианцы, пизанцы и генуэзцы заслужили в них немалую славу. Итак, эта борьба велась с переменным успехом до времен мусульманского правителя Саладина. Его доблесть, а также раздоры среди христиан лишили их в конце концов славы, приобретенной вначале, и через девяносто лет были они изгнаны из всех тех мест, которые так счастливо и с такой честью отвоевали.

XVIII

После смерти Урбана папой стал Пасхалий II, а императорский престол получил Генрих IV, каковой явился в Рим, притворяясь другом папы, но затем заключил папу со всем его клиром в темницу и согласился вернуть им свободу лишь при условии, что он будет распоряжаться германской церковью по своему усмотрению. В это время скончалась графиня Матильда, все свои владения оставившая в наследство церкви. После же смерти Пасхалия II и Генриха IV сменился ряд пап и императоров, пока папский престол не перешел к Александру III, а императорский к Фридриху Швабскому, прозванному Барбароссой. И до этого времени у пап были весьма трудные отношения и с римским народом, и с императором, – при Барбароссе трудности еще увеличились. Фридрих был весьма искусный полководец, но его преисполняла такая гордыня, что он даже думать не хотел о возможности уступить папе. Однако после избрания своего он прибыл в Рим для коронования, а затем мирно возвратился в Германию. Но недолго находился он в подобном расположении духа, ибо вскоре вернулся в Италию, чтобы подавить мятеж в некоторых областях Ломбардии. В это время случилось, что кардинал Сан Клементе, по происхождению римлянин, поссорился с Александром и был некоторыми из кардиналов избран папой. Александр пожаловался на антипапу императору Фридриху, стоявшему лагерем у Кремы, и император ответил: пускай и тот, и другой явятся к нему, а он уж рассудит – кому быть папой. Такой ответ Александру не понравился, он видел, что император склоняется на сторону антипапы, поэтому отлучил Барбароссу от церкви, а сам бежал к Филиппу, королю Франции. Между тем Фридрих, продолжая военные действия в Ломбардии, взял и разграбил Милан, вследствие чего Верона, Падуа и Виченца объединились против общего врага. В это время умер антипапа, и Фридрих поставил на его место Гвидо Кремонского. Римляне же, приободрившись от отсутствия папы и затруднений, которые Фридрих испытывал в Ломбардии, понемногу стали хозяйничать у себя в Риме и приводить к покорности те области, которые обычно от них зависели. Жители Тускула не пожелали подчиниться, и римский народ всем скопом двинулся на них. Однако им оказал помощь Фридрих и совместно с ним тускуланцы так основательно разгромили римское войско, что с тех пор Рим и перестал быть богатым многонаселенным городом. Между тем папа Александр возвратился в Рим, полагая, что может чувствовать себя в безопасности из-за ненависти римлян к Фридриху и множества врагов, которые у императора имелись в Ломбардии. Фридрих же, невзирая ни на что, начал осаду Рима, хотя Александр, не дожидаясь его, бежал к Вильгельму, королю Апулии, оставшемуся единственным наследником этого королевства после смерти Рожера. Фридриху пришлось из-за чумы снять осаду и возвратиться в Германию.

Тогда объединившиеся против него ломбардцы, дабы иметь возможность угрожать Павии и Тортоне, где находились императорские войска, построили крепость, которая могла стать главной позицией в этой войне, и назвали ее Алессандрией в честь папы и в поношение Фридриху. Умер также антипапа Гвидо, а на его место избрали Иоанна из фермо, который пребывал в Монтефьясконе под защитой императорских войск.

XIX

Пока совершались эти события, папа Александр отправился в Тускул, призванный населением этого города в надежде, что он защитит их от римлян. Туда к нему явились посланцы короля английского Генриха, которым поручено было заявить, что

король никак не повинен в убиении блаженного Фомы, епископа Кентерберийского (в чем его громко обвиняла молва), по каковой причине папа послал в Англию двух кардиналов разобраться в этом деле. Хотя они не смогли установить, что король был явно замешан в этом убийстве, возмущенные гнусностью этого преступления и тем, что король недостаточно почтил убитого, они наложили на него эпитимью: король должен был собрать всех баронов королевства и публично поклясться перед ними в своей непричастности; кроме того, послать незамедлительно двести вооруженных людей в Иерусалим и содержать их там в течение года, а также дать обет, что не позже как через три года он сам отправится туда во главе самого сильного войска, которое только сможет собрать: и, наконец, еще – отменить все то, что могло быть предпринято в его правление для ограничения вольностей духовенства, и позволить любому из своих подданных, кто бы он ни был, жаловаться на него в Рим. На все это Генрих согласился: так могущественнейший государь подчинился требованию, которое в наши дни сочло бы позорным признать любое частное лицо.

А между тем, хотя папе покорствовали, таким образом, государи самых отдаленных стран, он не мог заставить слушаться себя римлян настолько, что они не соглашались, чтобы он пребывал в Риме, хотя он и обещал не вмешиваться ни во что, кроме церковных дел. Так перед многими вещами трепещешь в отдалении гораздо больше, чем вблизи!

Тем временем Фридрих возвратился в Италию. Пока он готовился к новой войне с папой, все его прелаты и бароны заявили ему, что отрекутся от него, если он не примирится с церковью. Так что он вынужден был преклонить перед папой колени в Венеции, где между ними и был заключен мир. По договору папа лишил императора какой бы то ни было власти над Римом, а своим союзником объявил Вильгельма, короля Сицилии и Апулии. Фридрих же никак не мог обойтись без войны, и потому он устремился в Азию, чтобы в борьбе с Магометом насытить свое честолюбие, которое никак не могло найти удовлетворения в борьбе с наместником Христовым. Но очутившись на берегах реки, он так восхитился прозрачностью ее струй, что задумал в ней искупаться, каковое легкомыслие стоило ему жизни. Так речные воды принесли мусульманам больше пользы, чем папские отлучения христианам: те только разжигали неистовство Фридриха, эти же с ним покончили.

XX

Со смертью Фридриха папе оставалось только одолеть упорную несговорчивость римлян. После весьма длительных препирательств насчет избрания консулов стороны согласились на том, что избирать консулов будет по обычаю народ, но консулы смогут вступать в должность лишь после того, как дадут клятву послушания церкви. Этот договор принудил антипапу Иоанна бежать в Монте Альбано, где он вскоре и скончался.

К тому времени умер также Вильгельм, король Апулии, и папа вознамерился завладеть этим королевством, благо единственным наследником Вильгельма остался его побочный сын Танкред. Однако бароны не пожелали признать папу и потребовали, чтобы Танкред стал королем. Папский престол занимал тогда Целестин III. Желая вырвать королевство из рук Танкреда, он устроил так, что императором стал Генрих, сын Фридриха, и при этом обещал ему королевство Неаполитанское, с тем чтобы церкви были возвращены принадлежавшие ей владения. Дабы облегчить дело, он извлек из монастыря уже немолодую дочь Вильгельма Констанцию и выдал ее замуж за Генриха. Так основанное норманнами королевство Неаполитанское перешло от них к немцам. Император Генрих, приведя сперва в порядок дела в Германии, явился в Италию со своей супругой Констанцией и четырехлетним сыном Фридрихом и без особого труда завладел престолом, ибо Танкреда уже не было в живых, а после него оставался только грудной младенец по имени Рожер. Спустя некоторое время Генрих умер в Сицилии, и Неаполитанское королевство унаследовал Фридрих, а императором благодаря содействию папы Иннокентия III избран был Оттон, герцог Саксонский. Однако не успел Оттон венчаться императорской короной, как ко всеобщему удивлению он объявился врагом папы, занял своими войсками Романью и решил напасть на Неаполитанское королевство. За это папа отлучил его от церкви, так что все от него отшатнулись, и императором избрали Фридриха, короля Неаполитанского. Фридрих явился в Рим принять корону, однако папа отказался короновать его, опасаясь его могущества и надеясь изгнать его из Италии, как перед тем Оттона. Возмущенный Фридрих двинулся в Германию и, успешно воюя против Оттона, победил его. Пока все это совершалось, Иннокентий скончался. Он прославился многими блистательными делами и, кроме всего прочего, учредил в Риме госпиталь Святого духа.

Преемником его стал Гонорий III, при коем основан был орден святого Доминика, а также в 1218 году орден святого Франциска. Этот папа короновал Фридриха,

которому Иоанн, потомок Балдуина, короля Иерусалимского, еще пребывавший в Азии с остатками христиан, дал в жены одну из своих дочерей. В числе приданого оказался титул короля Иерусалимского. Вот почему все короли неаполитанские именуются с тех пор также иерусалимскими.

XXI

В Италии положение было такое: римляне перестали назначать консулов, а вместо них соответственные полномочия передавали то одному, то нескольким сенаторам; существовала по-прежнему Лига, которую составили против Фридриха Барбароссы ломбардские города – Милан, Бреша, Мантуя, Виченца, Падуя и Тревизо. За императора стояли Кремона, Бергамо, Парма, Реджо, Модена и Тренто. Прочие города и замки Ломбардии, Романьи и Тревизской марки склонялись то на одну, то на другую сторону в зависимости от обстоятельств. Во времена Оттона III явился в Италию некий Эццелино и здесь у него родился сын, от которого произошел другой Эццелино. Этот последний, будучи весьма богатым и могущественным, сблизился с Фридрихом II, который, как уже сказано было, стал врагом папы. С помощью и при содействии Эццелино Фридрих явился в Италию, взял Верону и Мантую, разгромил Виченцу, занял Падую и разбил войско союзных городов, а затем направился в Тоскану. Эццелино тем временем подчинил всю Тревизскую марку. Однако он не смог взять Феррары, которую обороняли Аццоне д'Эсте и папские войска в Ломбардии. Как только снята была осада с Феррары, папа объявил ее ленным владением и отдал Аццоне д'Эсте, от которого пошли государи, и поныне ею правящие.

Фридрих, стремясь поскорее завладеть Тосканой, остановился в Пизе и так старался выяснить, кто за него, кто против, что посеял величайшую смуту, которая оказалась гибельной для Италии, ибо повсюду стали распространяться гвельфы и гибеллины: гвельфами называли себя сторонники церкви, гибеллинами – сторонники императора. Названия эти впервые прозвучали в Пистойе. Оставив Пизу, Фридрих стал нападать со всех сторон на владения церкви и опустошать их. Папа, не видя иного выхода, объявил против него крестовый поход, как его предшественники объявляли против неверных. Фридрих, чтобы не оказаться оставленным сразу всеми своими сторонниками, как это произошло с Фридрихом Барбароссой и другими его предками, принял на службу немалое количество сарацин. Дабы покрепче привлечь их на свою сторону и вдобавок иметь в Италии поддержку, не страшущуюся папских отлучений, он отдал им город Ночеру, полагая, что они станут лучше и уверенней служить ему, имея здесь свое прибежище.

XXII

На папский престол вступил Иннокентий IV. Страх его перед Фридрихом был так велик, что он отправился в Геную, а затем во Францию, и в Лионе устроил собор, на котором решил присутствовать и Фридрих. Помешало ему в этом восстание в Парме. Пав духом от неуспешности своих действий, он отправился в Тоскану, а оттуда в Сицилию, где и скончался. В Швабии у него остался сын Конрад, а в Апулии незаконный отпрыск по имени Манфред, коего он сделал герцогом Беневентским. Конрад явился в Неаполь принять власть, но там скончался, а после него остался наследником малютка Конрадин, находившийся в Германии. Манфред завладел королевством сперва как опекун Конрадина, а затем, распусшив слухи о его смерти, объявил себя королем против воли папы и неаполитанцев, которых заставил признать себя силой.

Покуда в королевстве творились все эти дела, в Ломбардии происходили смуты между гвельфами и гибеллинами. За первыми стоял папский легат, за вторыми Эццелино, завладевший уже почти всей Ломбардией по ту сторону По. Пока шли военные действия, против него восстала Падуя, и он истребил двенадцать тысяч падуанцев, но и сам умер еще до окончания войны восьмидесяти лет от роду, а после его смерти все находившиеся в его владении города обрели свободу. Манфред, король Неаполитанский, питал по примеру своих предков великую вражду к церкви и постоянно держал тогдашнего папу, Урбана IV, в жесточайшем страхе. Дошло до того, что папа объявил против него крестовый поход и отправился в Перуджу дожидаться войск. Видя, что отрядов подходит мало, что они слабы и являются с большим запозданием, он решил, что для победы над Манфредом потребна более действенная помощь. Он обратил свои взоры к Франции, отдал королевство Сицилии и Неаполя Карлу Анжуйскому, брату короля Французского Людовика, и вызвал его в Италию принять власть в королевстве. Но еще до прибытия Карла в Рим папа умер, а место его занял Климент IV, при котором Карл и явился в Остию с флотом из тридцати галер, повелев прочим своим войскам двинуться в Италию пешим порядком. Пока он пребывал в Риме, римляне, дабы почтить его, дали ему звание сенатора, а папа предоставил ему инвеституру на королевский престол, взяв с него

обязательство ежегодно выплачивать церкви пятьдесят тысяч дукатов и, кроме того, издав указ, по которому ни Карл, ни любой другой король Неаполя не могут одновременно быть избранными императором. Карл выступил против Манфреда, разбил его и умертвил у Беневента, завладев Сицилией и королевским тронном. Но Конрадин, которому отец завещал это владение, собрав в Германии немалое войско, явился в Италию сразиться с Карлом, что и произошло при Тальякоццо. Однако он потерпел поражение, а затем, неопознанный, бежал, но был захвачен и убит.

XXIII

В Италии царил мир, покуда на папский престол не вступил Адриан V. Карл продолжал пребывать в Риме и управлял им в качестве сенатора. Не желая терпеть эту его власть, папа удалился на жительство в Витербо и стал призывать императора Рудольфа в Италию против Карла. Так папы то из ревности к религии, то из личного честолюбия беспрерывно призывали в Италию чужеземцев и затевали новые войны. Не успевали они возвысить какого-нибудь государя, как тотчас же раскаивались в этом и искали его гибели, так невыносимо было для них, чтобы в этой стране, для владычества над которой у них самих не хватало сил, властвовал кто-либо другой. Государей все это тоже порядком страшило, ибо уклонялись ли папы от военных действий или воевали, но всегда они выходили победителями, если не удавалось обойти их с помощью какой-нибудь хитрости, как было с Бонифацием VIII и некоторыми другими, которых императоры, прикинувшись добрыми друзьями, сумели заманить в плен. Рудольф в Италию, однако, не явился, ибо в этом ему помешала война, которую он вел против короля Чешского. Адриан скончался, а место его занял Николай III из дома Орсини, человек весьма смелый и честолюбивый, который сразу же решил во что бы то ни стало ослабить власть Карла. Он побудил императора Рудольфа жаловаться на то, что Карл держал в Тоскане своего наместника для содействия гвельфам, которых он после смерти Манфреда восстановил там в правах. Карл уступил императору, отозвал своих наместников, и папа послал в Тоскану одного из своих племянников, кардинала, чтобы тот управлял этой областью от имени императора. Император же в благодарность за этот знак уважения возвратил церкви Романью, отнятую у нее в свое время одним из его предшественников, и папа сделал Бертольдо Орсини герцогом Романьи. Сочтя себя достаточно сильным, чтобы потягаться с Карлом, Николай III лишил его сенаторского звания и издал указ, по которому ни один отпрыск какого-либо королевского дома не мог отныне быть римским сенатором. Был у него также замысел отобрать у Карла Сицилию, и с этой целью он вступил в тайный сговор с королем Педро Арагонским, но предприятие это увенчалось успехом лишь при его преемнике. Хотелось ему, кроме того, возвести на королевские престолы еще двух своих родичей, – одного на Ломбардский, другого на Тосканский, дабы они служили защитой церкви от немцев, которые пожелали бы проникнуть в Италию, и против французов, хозяйничавших в Неаполитанском королевстве. Однако он скончался, не осуществив этих помыслов. Это был первый папа, открыто проявлявший честолюбивые воцеления и старавшийся под предлогом величия церкви осыпать своих родичей богатствами и почестями. В течение всего времени, о котором мы вели повествование, не приходилось говорить о племянниках и вообще родичах пап, зато теперь история будет полна ими настолько, что нам придется даже говорить о папских сыновьях. И если до нашего времени папы старались делать их владетельными государями, то теперь им остается только еще передавать папский престол своим потомкам по наследству. Впрочем, по правде говоря, основанные ими государства до последнего времени имели весьма мимолетное существование. Папы по большей части жили недолго, и вследствие этого их насаждения не могли пустить корней; если это и удавалось, то ростки пускали слабые корни, и, лишившись поддержки, они при первом же сильном ветре погибали.

XXIV

Преемником Николая III стал Мартин IV. Француз по рождению, он держал сторону Карла, каковой в благодарность за это послал свои войска на усмирение Романьи, восставшей против папы. Когда они осаждали Форли, астролог Гвидо Бонатто посоветовал народу напасть на них в некоем указанном им месте, так что все французы были захвачены в плен или перебиты. В то же самое время осуществился заговор, устроенный Николаем III и королем Педро Арагонским, и сицилийцы умертвили всех французов, находившихся на острове; им тотчас же завладел Педро, заявивший, что Сицилия принадлежит ему через супругу его Констанцию, дочь Манфреда. Готовясь к войне за восстановление на острове своего владычества, Карл скончался, а наследник его Карл II находился в это время в плену в Сицилии. Свободу он получил, дав честное слово возвратиться в плен, если в течение трех

лет он не добьется от папы согласия на передачу королевства Сицилийского арагонскому дому.

XXV

Император Рудольф, вместо того чтобы явиться в Италию и поддержать в ней славу империи, отправил туда своего посла с поручением заключить соглашение с городами, которые пожелали бы выкупить у императора свободу. Многие итальянские города воспользовались этим и, получив свободу, существенно изменили свой образ жизни. На императорский престол вступил Адольф Нассауский, а на папский – Пьетро дель Мурроне под именем Целестина, который, будучи монахом-отшельником весьма святой жизни, через полгода отрекся от папской власти, и тогда папой был избран Бонифаций VIII. Небо, знавшее, что наступит день, когда Италия избавится от французов и немцев и будет достоянием одних итальянцев, не пожелало, однако, чтобы папы, даже когда им уже не будут препятствовать живущие за Альпами чужестранцы, укрепили свою власть и благополучно пользовались ею. Поэтому оно допустило, чтобы в Риме возвысились два могущественных дома – Колонна и Орсини, которые благодаря своему влиянию и семейным связям могли постоянно ослаблять папскую власть. Бонифаций, уразумевший все это, решил покончить с домом Колонна и для этого не только отлучил их от церкви, но объявил против них крестовый поход. Хотя это и нанесло им некоторый ущерб, но еще более пагубным оказалось для церкви, ибо оружие отлучения, столь действенное, когда оно применялось для защиты веры, притупилось, когда честолюбие обратило его против христиан. Так и вышло, что чрезмерное стремление пап насытить свою алчность постепенно выбивало оружие из их рук. Вдобавок папа лишил двух кардиналов из дома Колонна их кардинальского достоинства. Шьярра, глава дома Колонна, тайно бежал из Рима, был схвачен в море каталонскими пиратами и сослан на галеру. Но в Марселе его узнали и отправили к французскому королю Филиппу, которого Бонифаций отлучил от церкви и лишил королевского сана. Рассудив, что открытая война против наместника Христова приводит всегда либо к поражению, либо к великим опасностям, Филипп решил прибегнуть к хитрости. Сделав вид, что желает примириться с Бонифацием, он тайком послал Шьярру в Италию, а тот, прибыв в Ананьи, где находился папа, собрал ночью своих сторонников и захватил его в плен. И хотя жители Ананьи вскоре освободили папу, это оскорбление явилось для главы церкви столь тяжелым ударом, что он помешался и умер.

XXVI

В 1300 г. Бонифаций принял решение о праздновании юбилея, повелев, чтобы и впредь он отмечался каждые сто лет.

В то время раздоры между гвельфами и гибеллинами разгорелись с особенной силой. Так как императоры предоставили Италию ее участи, многие итальянские города обрели свободу, но многие же стали добычей тиранов. Папа Бенедикт вернул прелатам из дома Колонна кардинальскую шапку и вновь принял Филиппа, короля Франции, в лоно церкви. После его кончины папой стал Климент V, каковой, будучи французом, перенес папскую резиденцию во Францию, в год 1305.

Между тем скончался Карл II, король Неаполитанский, и престол унаследовал сын его Роберт, а императорскую корону получил Генрих Люксембургский, который явился в Рим короноваться, хотя папы там не было. Прибытие его вызвало в Ломбардии великое смятение, ибо он вернул в Италию всех изгнанников, гвельфы они были или гибеллины. Однако же обе партии продолжали так враждовать между собой, что область эта раздиралась непрерывной войной, которую император был бессилён прекратить, как ни старался. Он удалился из Ломбардии и направился по генуэзской дороге в Пизу, где пытался вырвать Тоскану из рук короля Роберта. Это ему не удалось, и он отправился в Рим, где оставался лишь несколько дней, ибо Орсини, которым покровительствовал Роберт, изгнали его оттуда, и он возвратился в Пизу. Дабы более успешно вести войну с Тосканой и отнять ее у Роберта, он побудил напасть на нее Федерико, короля Сицилийского, но в тот момент, когда уже рассчитывал занять Тоскану и отнять у Роберта власть, он скончался, а преемником его на императорском престоле стал Людовик Баварский. К тому времени папский престол перешел к Иоанну XXII, в его понтификат император не переставал преследовать гвельфов и церковь, защитниками которых выступали по преимуществу король Роберт и флорентийцы. Так начались те войны, которые Висконти вели в Ломбардии против гвельфов, а Каструччо из Лукки в Тоскане против флорентийцев. Но поскольку дом Висконти положил начало герцогству Миланскому, одному из пяти государств, на которые с тех пор разделилась Италия, мне представляется, что следует обстоятельно рассказать о его происхождении.

Когда в Ломбардии образовался уже упоминавшийся нами союз городов для защиты от Фридриха Барбароссы, Милан, возродившийся из своих развалин и решивший мстить за учиненные ему обиды, примкнул к этому союзу, который дал отпор Барбароссе и на некоторое время оживил в Ломбардии деятельность церковной партии. Пока велись эти войны, в Милане особенно возвысилось семейство Делла Торре, и слава его все возрастала, в то время как императоры в этой области пользовались совсем незначительной властью. Но когда Фридрих II явился в Италию, а гибеллинская партия благодаря стараниям Эццелино усилилась, во всех городах начали проявлять себя сторонники гибеллинов. В Милане на их стороне оказались Висконти, каковым и удалось изгнать из города Делла Торре. Впрочем, в изгнании те находились недолго: между императором и папой заключено было соглашение, и благодаря этому они вернулись на родину. Когда же папа со всем своим двором удалился во Францию, а Генрих Люксембургский явился в Италию, чтобы короноваться в Риме, в Милане его приняли Маттео Висконти и Гвидо Делла Торре, бывшие тогда главами этих домов. Тут Маттео и задумал использовать присутствие в Милане императора, чтобы изгнать Гвидо. Он полагал, что добьется своего без труда, ведь Гвидо принадлежал к враждебной императору партии. Подходящим поводом ему показались враждебные чувства народа к немцам из-за творившихся ими насилий: он потихоньку принялся укреплять мужество сограждан и подговаривал их взяться за оружие и сбросить с себя наконец иго этих варваров. Когда по его мнению все было уже достаточно хорошо подготовлено, он поручил одному из верных людей вызвать бунт, и вот внезапно миланский народ поднял оружие против всего, что носило немецкое имя. Едва началась свара, как Маттео со своими сыновьями и вооруженными сторонниками поспешил к Генриху и заявил ему, что мятеж подняли Делла Торре, которые, не довольствуясь жизнью в Милане в качестве частных граждан, решили воспользоваться случаем нанести ему ущерб, чтобы выслужиться перед итальянскими гвельфами и захватить власть в городе, но что он может не тревожиться: зайди только речь о его защите, – их, Висконти, и их сторонников будет вполне достаточно для обеспечения его безопасности. Генрих легко поверил всему, что говорил Маттео, соединил свои силы с силами Висконти, и вместе они напали на сторонников Делла Торре, старавшихся в разных концах города справиться с мятежом, умертвили из них всех, кого могли, а других изгнали из города, конфисковав их имущество. Так Маттео оказался властителем Милана. Ему наследовали Галеаццо и Аццо, а им Лукино и Джованни. Последний стал в Милане архиепископом, Лукино же умер раньше его, и наследниками были Бернабо и Галеаццо. Вскоре после этого скончался и Галеаццо, оставив единственного сына Джан Галеаццо, прозванного графом Вирту, каковой после кончины архиепископа предательски умертвил своего дядю Бернабо и остался в Милане единственным владыкой. Он первый и принял титул герцога. Сыновья его были Филиппо и Джованни Мариа Анджело, вскоре убитый миланским народом. Он оставил государство Филиппо, который не имел, однако, мужского потомства, вследствие чего управление государством от дома Висконти перешло к дому Сфорца, а каким образом и почему это случилось, мы скажем в своем месте.

Вернемся, однако же, к тому, от чего я отклонился. Император Людовик, чтобы поднять значение своей партии да заодно и короноваться, явился в Италию. Находясь в Милане, он под предлогом стремления вернуть миланцам свободу, но на самом деле желая выжать из них деньги, посадил всех Висконти в темницу, но, впрочем, вскоре освободил их по настояниям Каструччо Луккского. Затем он прибыл в Рим и, дабы усилить в Италии смуту, поставил антипапой Пьетро делла Корбара, рассчитывая с помощью его влияния и вооруженных сил Висконти существенно ослабить враждебную ему партию в Тоскане и в Ломбардии. Однако Каструччо умер, и для императора это было началом поражения, ибо Пиза и Лукка восстали и пизанцы отправили антипапу во Францию к папе в качестве пленника, так что император, отчаявшись добиться чего-нибудь в Италии, возвратился в Германию.

Не успел он отправиться восвояси, как Иоанн, король Чехии, явился в Италию по зову гибеллинов Бреши и захватил этот город, а также Бергамо. Поскольку нашествие это произошло с согласия папы, хоть он и делал вид, что негодует, легат Болоньи поддерживал его, полагая, что это хорошее средство помешать возвращению императора в Италию. Из-за этого положение дел в Италии совершенно изменилось. Флорентийцы и король Роберт, видя, что легат поддерживает действия гибеллинов, стали врагами всех, кого считали друзьями легата и чешский король. Теперь, уже не обращая внимания на гвельфские или ги-беллинские симпатии, многие государи, среди которых были Висконти, делла Скала, мантуанский Филиппо Гонзага, властители Каррары и Эсте, заключили между собой союз. Папа их всех отлучил от

церкви. Король Иоанн в страхе перед этим союзом вернулся к себе домой собрать войско посильнее, и хотя он снова явился в Италию с более многочисленной армией, ему пришлось столкнуться с весьма значительными трудностями. Смущенный столь сильным сопротивлением, он возвратился домой к величайшему неудовольствию легата, оставив свои гарнизоны лишь в Реджо и в Модене и препоручив Парму Мар-силио и Пьеро деи Росси, которые были тогда здесь весьма могущественны. После его отбытия Болонья вступила в этот союз, и все его члены разделили между собой четыре города, еще державших сторону церкви: Парма досталась делла Скала, Реджо – Гонзага, Модена – дому д'Эсте, Лукка – флорентийцам. Но захват этих городов вызвал немалые военные столкновения, которые прекратились большей частью благодаря посредничеству Венеции.

Может показаться странным, что, повествуя о столь многих событиях, совершавшихся в Италии, мы до сих пор не упоминали о венецианцах – ведь их республика по значению своему и могуществу заслуживает быть прославленной больше всех прочих итальянских государств. Дабы покончить с этой странностью, объяснив ее причины, придется мне вернуться далеко назад с тем, чтобы каждому стали известны и начало Венеции и обстоятельства, препятствовавшие ей в течение долгого времени вмешиваться в дела Италии.

XXIX

Когда Аттила, король гуннов, осаждал Аквилею, жители ее долгое время оказывали ему сопротивление, но под конец, отчаявшись, оставили город и, кто как мог, со всем скарбом, который сумели унести, обосновались на скалистых пустынных островах северного побережья Адриатики. Падуанцы, со своей стороны, видя, что к ним приближается пожар войны, убоялись, что Аттила, захватив Аквилею, нападет и на них. Поэтому они собрали все свое самое ценное имущество и отослали его в одно место у того же побережья, называемое Риво-Альто, куда отправили также женщин, детей и стариков, оставив в Падуе только молодежь для обороны города. В тех же самых местах обосновались жители Монселиче и других прилегающих холмов, также охваченные страхом перед полчищем гуннов. Когда же Аквилея была взята и Аттила опустошил Падую, Монселиче, Виченцу и Верону, падуанцы и наиболее состоятельные переселенцы из других городов остались жить в лагунах у Риво-Альто, где к ним присоединилось гонимое теми же бедствиями население прилегающей области, называвшейся в старину Венецией. Так, вынужденные обстоятельствами, покинули они места счастливые и плодоносные и стали жить в местности бесплодной, дикой и лишенной каких бы то ни было жизненных удобств. Все же соединение в одном месте такого количества людей сделало его в самом скором времени не только вполне пригодным, но и приятным для обитания. Они установили у себя законность, порядок и оказались в безопасности среди бедствий и разрушений, обрушившихся на Италию, благодаря чему могущество их вскоре увеличилось и стало широко известным. К этим первым переселенцам присоединились и многие жители городов Ломбардии, бежавшие большей частью от жестокости Клефа, короля лангобардов, что еще более способствовало росту нового города. Так что во времена Пипина, короля франков, когда он по просьбе папы явился изгнать из Италии лангобардов, при заключении договора между ним и византийским императором установлено было, что герцоги Беневентские и венецианцы не будут в подданстве ни у того, ни у другого, а смогут пользоваться полной независимостью.

Нужда, заставившая всех этих людей жить среди вод, принудила их подумать и о том, как, не имея плодородной земли, создать себе благосостояние на море. Их корабли стали плавать по всему свету, а город наполнялся самыми разнообразными товарами, в которых нуждались жители других стран, каковые и начали посещать и обогащать Венецию. Долгие годы венецианцы не помышляли об иных завоеваниях, кроме тех, которые могли бы облегчить их торговую деятельность: с этой целью приобрели они несколько гаваней в Греции и в Сирии, а за услуги, оказанные французам по перевозке их войск в Азию, получили во владение остров Кандию. Пока они вели такое существование, имя их было грозным на морях и чтимым по всей Италии, так что их часто избирали третейскими судьями в различных спорах. Вот почему и случилось, что когда между союзниками возникли разногласия по вопросу о разделе завоеванных областей, они обратились к Венеции, и она присудила Бергамо и Брешу дому Висконти. Однако с течением времени сами венецианцы захватили Падую, Виченцу и Тревизо, а затем Верону, Бергамо и Брешу, а также многие города в королевстве и в Романье и, движимые жадой все большего могущества, стали внушать страх не только итальянским государям, но и чужеземным. Под конец все объединились против них, и в один день потеряли они владения, которые приобрели в течение стольких лет с затратою огромных средств. И хотя за последнее время они вернули себе кое-что из утраченного, однако былого могущества и славы им завоевать не удалось, и существуют они, как и прочие итальянские государства,

лишь по милости других.

XXX

Когда папой стал Бенедикт XII, он увидел, что потерял почти все свои земли в Италии. Опасаясь, как бы их не захватил император Людовик, он решил приобрести дружбу всех, кто захватил владения, ранее принадлежавшие империи, дабы они помогли ему в защите Италии от посягательств императора. Вот он и издал указ, по которому все тираны, захватившие в Ломбардии города, объявлялись законными государями, но очень скоро после того умер, и папский престол перешел к Клименту VI. Император, видя, с какой щедростью папа распоряжается имуществом империи, не пожелал уступить ему в тароватости и тотчас же объявил всех узурпаторов церковных земель их законными владельцами, властвующими в своих городах с согласия и разрешения императора. По этой-то причине Галеотто Малатеста с братьями стали государями Римини, Пезаро и Фано, Антонио да Монтефельтро – Марки и Урбино, Джентиле да Варано – Камерино, Гвидо да Полента – Равенны, Синибальдо Орделаффи – Форли и Чезены, Джованни Манфредо – Фаенцы, Лодовико Алидози – Имолы, и еще многие другие – множества прочих городов, так что во владениях Папского государства почти не осталось земли без государя. Вследствие этого Папское государство оказалось ослабленным вплоть до понтификата Александра VI, который уже в наши дни, после разгрома потомков узурпаторов, восстановил его власть.

Когда император издавал свой дарственный указ, он находился в Тренто, и похоже было, что он намеревается вступить в Италию. Это вызвало в Ломбардии ряд военных столкновений, во время которых Висконти захватили Парму. Тогда же скончался Роберт, король Неаполитанский, оставив в качестве наследниц только двух внучек, дочерей своего сына Карла, умершего уже задолго до того. Перед смертью он распорядился, что престол унаследует старшая внучка, Джованна, с тем чтобы она вышла замуж за его племянника, венгерского короля Андрея. С этим своим супругом Джованна прожила недолго, ибо вскоре умертвила его и вышла за другого своего родича, князя Тарантского Людовика. Однако король Венгрии Людовик, брат Андрея, стремясь отомстить за смерть Андрея, поспешил с войском в Италию и изгнал из королевства Джованну и ее мужа.

XXXI

В то же самое время в Риме произошло событие крайне знаменательное. Некий Никколо, сын Лоренцо, канцлер Капитолия, изгнал из Рима сенаторов и, приняв звание трибуна, стал главой Римской республики. Он, используя древние обычаи, установил такое уважение к законам и гражданской доблести, что послы к нему слали не только соседние города, – вся Италия, и древние римские области, видя, что Рим встает из праха, подняли голову и, движимые одни страхом, а другие упованиями, воздали ему почести. Однако Никколо, несмотря на свою добрую славу, сам отказался от этих начинаний; изнемогая под свалившимся на него бременем, он, никем не изгнанный, тайно бежал из Рима к королю чешскому Карлу, который указом папы, в обход Людовика Баварского, объявлен был императором. Карл, дабы засвидетельствовать свою благодарность папе, отправил к нему Никколо в качестве пленника. Вскоре после того некий Франческо Барончелли, последовав примеру Никколо, захватил пост трибуна и изгнал из Рима сенаторов. Стремясь как можно скорее покончить с этим мятежником и не видя иного способа, папа извлек Никколо из заключения, вернул его в Рим и облек званием трибуна. Никколо снова принял бразды правления и предал Франческо смерти. Но, возбудив против себя враждебность дома Колонна, он сам был в скором времени умерщвлен, и у власти снова стали сенаторы.

XXXII

Между тем король Венгерский, согнав с неаполитанского престола Джованну, двинулся обратно в свои земли. Но папа, который предпочитал соседству этого короля Джованну, предпринял ряд шагов, и в конце концов ей вернули неаполитанский престол с тем, чтобы супруг ее Людовик не принимал титула короля, а довольствовался своим положением князя Тарантского.

Наступил год 1350, и у папы появилась мысль, что юбилей, который по решению Бонифация VIII должен был праздноваться каждые сто лет, можно было бы справлять каждое пятидесятилетие, и он издал соответственный указ. Благодарные за такое благодеяние, римляне согласились с тем, чтобы он прислал в Рим четырех кардиналов с целью упорядочить в городе управление и назначить угодных папе сенаторов. Кроме того, папа даровал Людовику, князю Тарантскому, титул короля

Неаполитанского, а в благодарность за это королева Джованна подарила церкви принадлежавший ей по праву наследования город Авиньон.

К тому времени скончался Лукино Висконти, и единодержавным властителем Милана оказался архиепископ Джованни, который многократно воевал с Тосканой и своими соседями и весьма увеличил свою мощь. Наследниками после его смерти остались два племянника Бернабо и Галеаццо, но Галеаццо вскоре умер, оставив после себя сына Джан Галеаццо, который и разделил власть в государстве со своим дядей Бернабо.

Императором в то время был король Чешский Карл, а папой Иннокентий VI, каковой послал в Италию кардинала Эгидия, родом испанца, действовавшего так умело, что ему удалось вернуть папству уважение к его власти не только в Романье и в городе Риме, но и во всей Италии. Он вновь овладел Болоньей, занятой было архиепископом Миланским, заставил римлян принять в число сенаторов одного иностранца, которого папа должен был ежегодно назначать в Рим, заключил почетное соглашение с домом Висконти, разбил и захватил в плен англичанина Джона Хоквуда, который во главе четырехтысячного английского отряда воевал в Тоскане на стороне гибеллинов. Святой престол перешел к Урбану V, и он в связи с такими успехами решил посетить Италию и Рим, куда явился также император Карл. Папа пробыл в Италии несколько месяцев, затем вернулся в Авиньон, а Карл вернулся в свое королевство. После кончины Урбана папой стал Григорий XI, но так как умер также и кардинал Эгидий, в Италии возобновились прежние раздоры, без конца возбуждаемые городами, объединяющимися против дома Висконти. Папа прислал в Италию нового легата во главе шести тысяч бретонцев, затем и сам он явился в Италию уже со своим двором и окончательно остался в Риме. Это произошло в 1376 году. Папский престол находился во Франции семьдесят один год. Вскоре после того Григорий XI умер, и на его место избран был Урбан VI. Однако десять кардиналов сочли это избрание совершенным незаконно, собрались в фонди и поставили папой Климента VII. В это же время генуэзцы, в течение ряда лет подчинявшиеся дому Висконти, восстали; и между ними и венецианцами из-за острова Тенедоса завязались кровопролитные войны, в которых на той или другой стороне приняла участие вся Италия. Тогда же была впервые применена артиллерия – новое, изобретенное немцами оружие. Хотя поначалу успех был на стороне генуэзцев, которые несколько месяцев держали Венецию в осаде, в конце войны верх одержали венецианцы, и при посредничестве папы в 1381 году был заключен мир.

XXXIII

В церкви, как мы уже сказали, произошел раскол. Королева Джованна склонялась на сторону папы-раскольника, вследствие чего Урбан призвал Карла, герцога Дураццо, потомка неаполитанских королей, заявить свои права на Неаполь; Карл и захватил там власть, а королева принуждена была спасаться бегством во Францию. Возмущенный этим, французский король послал в Италию Людовика Анжуйского, чтобы тот возвратил королеве власть в Неаполе, изгнал Урбана из Рима и водворил там антипапу. Однако еще в начале этого предприятия Людовик умер, войско его распалось и возвратилось во Францию. Папа тогда явился в Неаполь и заключил там в тюрьму девять кардиналов, державших сторону Франции и антипапы. Затем он озлобился на короля, отказавшегося назначить одного из его племянников правителем Капуи, но сделал вид, что не придает этому отказу большого значения, и попросил короля отдать ему для жительства город Ночеру. Там он возвел укрепления и начал готовиться к военным действиям с целью отнять у короля его королевство, но король осадил его в Ночере, и папе пришлось бежать в Геную, где он и предал смерти заключенных им кардиналов. Оттуда он возвратился в Рим, где назначил двадцать новых кардиналов, дабы увеличить блеск своего двора. В то же самое время король Неаполитанский Карл отправился в Венгрию, где его избрали королем; немного времени спустя он там скончался, оставив в Неаполе свою супругу с двумя детьми Владиславом и Джованной.

Тогда же Джан Галеаццо Висконти, умертвив дядю своего Бернабо, стал в Милане единодержавным правителем, и мало ему было всей Ломбардии – он хотел присоединить к ней Тоскану, однако же умер как раз тогда, когда уже готов был завладеть ею и короноваться итальянским королем.

Урбана VI сменил Бонифаций IX. Антипапа Климент тоже умер в Авиньоне, и папой избрали Бенедикта XIII.

XXXIV

В то время в Италии было полно воинских наемных отрядов – английских, немецких, бретонских, из коих некоторые приводили туда чужеземные государи, являвшиеся в Италию, некоторые посылали папы, когда они пребывали в Авиньоне. Этими воинскими отрядами пользовались затем все итальянские владетели, воевавшие между собой,

пока не объявился Лодовико да Кунео, житель Романьи, который набрал сильный отряд итальянских наемников, принявший имя святого Георгия. Мужество и дисциплина этого отряда затмили славу чужеземных войск и вернули ее итальянским воинам. С тех пор итальянские государи, ведя между собой войны, стали пользоваться только итальянскими наемниками. Так как между папой и римлянами возникли раздоры, папа удалился в Ассизи и оставался там до юбилея 1400 года. Римлянам же было выгодно, чтобы в юбилейный год папа находился в Риме, поэтому они снова согласились принять назначаемого папой сенатора-иностранца и допустили, чтобы папа укрепил замок Святого Ангела. Возвратившись на этих условиях в Рим, он, дабы увеличить церковные доходы, повелел, чтобы годовой доход с каждого вакантного бенефиция поступал в папскую казну.

Хотя после смерти Джан Галеаццо, герцога Миланского, осталось два сына – Джованни Мариа Анджело и Филиппо, государство это распалось. В начавшихся смутах Джованни Мариа Анджело погиб, а Филиппо на некоторое время был заключен в Павийскую крепость, где ему удалось сохранить жизнь благодаря верности и ловкости коменданта. Среди тех, кто завладел городами, принадлежавшими их отцу, был Гульельмо делла Скала. Он вынужден был бежать под защиту Франческо да Каррара, владельца Падуи, помогшего ему снова водвориться в Вероне, однако не надолго, ибо по приказу означенного Франческо его отравили, и тот сам завладел городом. Но тогда жители Винченцы, мирно существовавшие до того времени под властью дома Висконти, стали опасаться усиления Падуи и передались венецианцам, которые объявили Франческо войну и сперва отобрали у него Верону, а затем и Падую.

XXXV

К этому времени скончался папа Бонифаций и избран был Иннокентий VII. Народ обратился к нему с просьбой вернуть крепости, а также восстановить народные вольности, на что папа ответил отказом, народ же призвал на помощь короля Неаполитанского Владислава. Впрочем, вскоре они замирились, и папа, бежавший из страха перед народом в Витербо, вернулся в Рим, где сделал своего племянника Лодовико графом Марки. Затем он скончался, и папой избрали Григория XII, с условием, что он откажется от папского престола, если и антипапа откажется от своих притязаний. Дабы удовлетворить желание кардиналов и попытаться прекратить раскол в церкви, антипапа Бенедикт прибыл в Портовенере, а Григорий в Лукку, где начались переговоры. Они, однако, ни к чему не привели, так что кардиналы и того и другого претендента от них отвернулись, и Бенедикт отправился в Испанию, а Григорий в Римини.

Что же до кардиналов, то они при поддержке Балтасара Коссы, кардинала и легата Болоньи, собрали в Пизе церковный собор, на котором избрали папой Александра V. Новый папа тотчас же отлучил от церкви короля Владислава, а его королевство передал Людовику Анжуйскому, после чего они оба в союзе с флорентийцами, генуэзцами и венецианцами и болонским легатом Валтасаром Коссой напали на Владислава и отняли у него Рим. Но в самом разгаре этой войны Александр скончался, а на его место избрали Валтасара Коссу, принявшего имя Иоанна XXIII. Тот немедленно покинул Болонью, где совершилось его избрание, и отправился в Рим, соединившись там с Людовиком Анжуйским, явившимся с войском из Прованса. Они вступили в сражение с Владиславом и разбили его, однако по вине кондотьеров не смогли завершить победу, так что король в скором времени вновь собрался с силами и опять занял Рим, принудив папу бежать в Болонью, а Людовика в Прованс. Папа принялся обдумывать, как ему ослабить Владислава, и с этой целью постарался устроить так, чтобы императором избрали Си-гизмунда, короля Венгерского. Он убедил его явиться в Италию, встретиться с ним в Мантуе, и там они решили созвать вселенский собор для прекращения раскола в церкви, каковая, объединившись, успешно могла бы противостоять своим врагам.

XXXVI

Было тогда трое пап – Григорий, Бенедикт и Иоанн; соперничество их ослабляло церковь и лишало ее уважения. Против желания папы Иоанна местом собора избрана была Констанца в Германии. Хотя со смертью короля Владислава устранилась причина, по которой папе пришлось в голову собрать этот собор, он уже не мог отказаться от своего обещания явиться на него. Его привезли в Констанцу, там он через несколько месяцев с запозданием осознал свою ошибку и попытался бежать, но был заключен в темницу и вынужден отречься от власти. Один из антипап, Григорий, прислал известие о своем отказе от папства, а другой, Бенедикт, не пожелавший отречься, был осужден как еретик, но, оставленный своими кардиналами, в конце концов тоже принужден был отказаться. Собор избрал папой Оддоне из дома Колонна,

принявшего имя Мартина V, и таким образом церковь объединилась, после того как в течение сорока лет ею управляли сразу несколько пап.

XXXVII

Как мы уже говорили, Филиппо Висконти содержался тогда в заключении в павийской крепости. Но к тому времени умер Фачино Кане, который, воспользовавшись ломбардскими смутами, захватил Верчелли, Алессанрию, Новару и Тортону и набрал немалое богатство. Не имея потомства, он оставил свои владения в наследство жене своей Беатриче и завещал друзьям добиться, чтобы она вышла замуж за Филиппо. Став весьма могущественным благодаря этому браку, Филиппо снова овладел Миланом и всем ломбардским герцогством, а затем, дабы выказать благодарность за столь великие благодеяния так, как это делают почти все государи, он обвинил супругу свою Беатриче в прелюбодеянии и умертвил ее. Когда же могущество его окончательно окрепло, он, во исполнение замыслов отца своего Джан Галеаццо, стал подумывать о нападении на Тоскану.

XXXVIII

Король Владислав, умирая, оставил сестре своей Джованне, кроме государства, еще и большое войско, над коим начальствовали искуснейшие в Италии кондотьеры, а первым среди них был Сфорца да Котиньола, особо отличившийся своей доблестью. Королева, желая снять с себя постыдное обвинение в том, что при ней вечно находится некий Пандольфелло, которого она воспитала, взяла себе в супруги Якопо делла Марка, француза королевской крови, с условием, что он удовольствуется титулом князя Тарантского, а королевский титул и монаршую власть предоставит ей. Но едва он появился в Неаполе, как солдаты провозгласили его королем, вследствие чего между супругами возник великий раздор, в коем одерживали верх то одна сторона, то другая. Однако под конец власть в государстве осталась за королевой, которая вскоре стала враждовать с папой. Тогда Сфорца решил довести ее до того, чтобы она оказалась в полной его власти, и с этой целью совершенно неожиданно заявил о своем отказе оставаться у нее на службе. Так она внезапно оказалась без войска – и ей не оставалось ничего иного, как только обратиться за помощью к Альфонсу, королю Арагона и Сицилии, которого она усыновила, да принять на службу Браччо да Монтоне, полководца, прославленного не менее, чем Сфорца, и к тому же врага папы, у которого он отнял Перуджу и некоторые другие земли, принадлежавшие Папскому государству. Вскоре затем она замирилась с папой, но Альфонс Арагонский, опасаясь, как бы она не обошлась с ним, как в свое время с супругом, стал пытаться потихоньку прибирать к рукам укрепленные замки. Взаимные подозрения у них все усиливались, и дело дошло до военных столкновений. С помощью Сфорца, вернувшегося к ней на службу, королева одолела Альфонса, изгнала его из Неаполя, аннулировала усыновление и вместо него усыновила Людовика Анжуйского. А от этого последовали новые войны между Браччо, ставшим на сторону Альфонса, и Сфорца, выступавшим за королеву. Во время этой войны Сфорца при переходе через реку Пескару утонул, так что королева вновь оказалась без войска и была бы свергнута с престола, если бы не помог ей Филиппо Висконти, герцог Миланский, вынудивший Альфонса вернуться к себе в Арагон. Однако Браччо, не смущенный тем, что Альфонс оставил его, продолжал воевать с королевой. Он осадил Аквилу; но тут папа, не считавший возвышение Браччо выгодным для церкви, принял к себе на службу франческо, сына Сфорца, тот внезапно напал на Браччо у Аквилы, нанес ему поражение и убил его. Со стороны Браччо остался только сын его Оддоне; папа отнял у него Перуджу, но оставил его владетелем Монтоне. Спустя некоторое время он был убит в Романье, где воевал на службе у флорентийцев, так что из всех сотоварищей Браччо остался лишь один, пользовавшийся значительной воинской славой, Никколо Пиччинино.

XXXIX

Поскольку я уже довел свое повествование до времени, которое указал с самого начала, и поскольку наиболее существенное из того, о чем мне осталось рассказать, относится к войнам флорентийцев и венецианцев с Филиппо, герцогом Миланским, каковые будут изложены, когда мы заведем речь именно о Флоренции, я свое повествование прерываю и только напому о положении в Италии, ее государях и о войнах, которые в ней велись к тому времени, до которого мы дошли.

Если говорить о наиболее значительных государствах, то королеве Джованне II принадлежали королевство Неаполитанское, Марка, часть папских земель и Романья. Но часть городов в этих землях подчинялась церкви, часть управлялась законными правителями или же была подвластна тиранам, захватившим там власть: так, в

Ферраре, Модене и Реджо правили д'Эсте, в Фаенце – дом Манфреды, в Имоле – Алидози, в Форли – Орделаффи, в Римини и Пезаро – Малатеста, а в Камерино – семейство Варано. Часть Ломбардии признавала власть герцога Филиппо, часть подчинялась венецианцам, ибо все более мелкие владения в этой области были уничтожены, за исключением герцогства Мантуанского, где правил дом Гонзага. Большая часть Тосканы принадлежала флорентийцам, независимыми оставались лишь Лукка и Сиена, причем Луккой владели Гвиниджи, а Сиена была свободной. Генуэзцы то пользовались свободой, то попадали под власть либо французских королей, либо дома Висконти, вели существование бесславное и считались в числе самых ничтожных государств. Ни один из этих главных государей не имел собственного войска. Герцог Филиппо заперся в своем дворце и не показывался никому на глаза, все его войны вели доверенные полководцы. Венецианцы, едва лишь честолюбивые взоры их обратились к суше, сами отказались от оружия, снискавшего им такую славу на морях, и по примеру прочих итальянцев доверили руководство своими войсками чужеземцам. Папа, коему по духовному сану воевать самому не подобало, и королева Джованна Неаполитанская, как особа женского пола, по необходимости прибегали к тому, что прочие государи делали по недомыслию. Той же необходимости подчинялись флорентийцы: дворянство их в непрерывных гражданских раздорах было перебито, государство находилось в руках людей, привыкших торговать, которые военное дело и удачу в нем передоверяли другим. Таким образом, итальянские вооруженные силы находились в руках либо мелких владетелей, либо воинов, не управлявших государствами: первые набирали войско не для увеличения своей славы, а лишь для того, чтобы стать побогаче или пользоваться большей безопасностью; вторые, с малолетства воспитанные для военного дела и ничего другого не умевшие, только на него и могли рассчитывать, желая добиться богатства и могущества. Среди них в то время наибольшей славой пользовались Карманьола, Франческо Сфорца, Никколо Пиччинино – ученик Браччо, Аньоло делла Пергола, Лоренцо и Микелетто Аттендоли, Тарталья, Якопаччо, Чекколино из Перуджи, Никколо да Толентино, Гвидо Торелло, Антонио дель Понте ад Эра и еще много им подобных. К ним надо добавить уже упоминавшихся мелких владетелей и еще римских баронов Орсини и Колонна, а также сеньоров и дворян королевства Неаполитанского в Ломбардии, – все они сделали из военного дела ремесло и словно договорились между собой вести себя таким образом, чтобы, стоя во главе войск враждующих сторон, по возможности обе эти стороны приводить к гибели. В конце концов они до того унизили воинское дело, что даже посредственнейший военачальник, в котором проявилась бы хоть тень древней доблести, сумел бы покрыть их позором к великому изумлению всей столь безрассудно почитавшей их Италии. В дальнейшем повествовании моем полно будет этих ничемных правителей и их постыднейших войн, но прежде чем пуститься в эти подробности, надо мне, как я обещал, вернуться вспять и поведать о начале Флоренции, дабы каждый уразумел, каково было положение этого государства в те времена и каким образом среди бедствий, совершавшихся в Италии тысячу лет, достигло, оно нынешнего своего состояния.

Книга вторая

I

Среди великих и удивительных начинаний, свойственных республикам и монархиям древности и ныне позабытых, заслуживает быть отмеченным обычаем основывать повсюду новые государства и города. Ибо ничто не может быть более достойным мудрого государя или благоустроенной республики, а также более полезного для любой области, чем основание новых городов, дающих людям возможность с успехом защищаться и безопасно возделывать свои поля. Древним делать это было нетрудно, ибо они имели обыкновение посылать в земли завоеванные или пустующие новых жителей в поселения, именовавшиеся колониями. Благодаря этому не только возникали новые города, но победителю было легче владеть завоеванной страной, места пустынные заселялись, и население государства гораздо правильнее распределялось по его землям. Приводило это также к тому, что, вкушая с большей легкостью блага жизни, люди скорее размножались, оказывались гораздо более энергичными в нападении на врага и гораздо более стойкими в обороне. Так как порядок этот ныне из-за плохого управления монархиями и республиками перестал существовать, многие государства пришли в упадок: ведь только он обеспечивал прочность государств и рост их населения. Прочность достигается благодаря тому,

что, основанная государем во вновь завоеванных землях, колония является своего рода крепостью, бдительным стражем, держащим покоренный люд в повиновении. Без такого порядка ни одна страна не может быть заселенной целиком, с правильным распределением жителей. Ибо не все области в ней одинаково плодородны и одинаково благоприятны для обитания, что и приводит в одном месте к излишнему скоплению людей, в другом – к их недостатку, и если нет возможности переселять часть населения оттуда, где оно в чрезмерном изобилии, туда, где его не хватает, вся страна приходит в упадок: места, где слишком мало народу, превращаются в пустыню, места, где слишком много, нищают. Поскольку сама природа не может устранить этих неблагоприятных обстоятельств, тут необходима человеческая деятельность: нездоровые области становятся более благоприятными для обитания, когда в них сразу поселяется большое количество людей, которые, возделывая землю, делают ее более плодородной, а разводя огонь, очищают воздух. Доказательством может служить Венеция, расположенная в местности болотистой и нездоровой: переселение туда сразу значительного количества людей оздоровило ее. В Пизе из-за вредных испарений в воздухе не было достаточного количества жителей, пока Генуя и ее побережье не стали подвергаться набегам сарацин. И вот из-за этих набегов в Пизу переселилось такое количество изгнанных со своей родины людей, что она стала многолюдной и могущественной.

С тех пор как исчез обычай основывать колонии, труднее стало удерживать завоеванные земли, малолюдные местности не заселяются, а перенаселенные не могут избавиться от излишка жителей. Так и случилось, что во всем мире, а особенно в Италии, многие местности оказались по сравнению с древними временами обезлюдившимися. И все это являлось и поныне является следствием того, что у государей нет стремления к подлинной славе, а в республиках – порядку, заслуживающих одобрения. В древности же основание колоний часто приводило к появлению новых городов и постоянному росту ранее возникших. К их числу относится Флоренция, начало которой положено Фьезоле, а рост обеспечен был притоком колонистов.

II

Очевидно, как это и доказали Данте и Джованни Виллани, что горожане Фьезоле, расположенного на вершине горы, пожелали, чтобы рынки его были более многолюдны и более доступны всем, кто хотел бы доставить на них свои товары, и для этого постановили, что они будут располагаться не на горе, а на равнине, между подножием горы и рекой Арно. Я полагаю, что рынки эти оказались причиной возведения подле них первых строений: купцам необходимы были помещения для товаров, и со временем эти помещения стали постоянными зданиями. Позже, когда римляне, победив карфагенян, оградили Италию от чужеземных нашествий, количество этих строений существенно увеличилось. Ведь люди живут в трудных условиях лишь тогда, когда принуждены к этому, и если страх перед войной заставляет их предпочитать обитание в местах, укрепленных самой природой и трудно доступных, то с избавлением от опасности они, привлеченные удобствами, еще охотнее селятся в местах, куда менее суровых и легче доступных. Безопасность, которую завоевала для Италии слава Римской республики, содействовала такому увеличению уже начавшегося, как мы говорили, строительства жилых зданий, что они образовали городок, вначале именованный Вилла-Арнина. Затем в Риме начались гражданские войны, сперва между Марием и Суллой, затем между Цезарем и Помпеем, а затем между убийцами Цезаря и теми, кто хотел отомстить за его смерть.

Сначала Суллой, а после него теми тремя римскими гражданами, которые, отомстив за убийство Цезаря, разделили между собой власть, во Фьезоле были направлены колонисты, каковые почти все поселились на равнине, поблизости от начавшего уже строиться города. Рост населения настолько умножил количество строений и жителей местечка и такой гражданский порядок установился в нем, что он уже по праву мог считаться одним из городов Италии.

Что же до происхождения имени Флоренция, то на этот счет мнения расходятся. Одни производят его от флорина, одного из предводителей колонистов, другие утверждают, что первоначально говорилось не Флоренция, а Флуенция, поскольку городок располагался у самого русла Арно, и приводят свидетельство Плиния, который пишет: «флуентийцы живут у русла Арно». Утверждение это, однако, может и не быть правильным, ибо в тексте Плиния говорится о том, где жили флорентийцы, а не как они назывались. Весьма вероятно, что само слово флуентийцы – ошибка, ибо Фрондин и Корнелий Тацит, писавшие почти тогда же, когда и Плиний, называют город и его жителей Флоренцией и флорентийцами, ибо уже во времена Тиберия они управлялись тем же обычаем, что и прочие города Италии. Сам Тацит передает, что к императору от флорентийцев посланы были ходатаи просить о том, чтобы воды Кьяны не спускались в их область. Нелепым кажется, чтобы один и тот же город

имел в одно и то же время два названия. Поэтому я полагаю, что он всегда назывался Флоренцией, откуда бы ни происходило это наименование, а также, что он, каковы бы ни были причины его основания, возник во времена Римской империи и уже при первых императорах упоминался в сочинениях историков.

Когда варвары опустошали империю, Флоренция была разрушена остготским королем Тотилой и через двести пятьдесят лет вновь отстроена Карлом Великим. С того времени до 1215 года она жила, разделяя во всем участь тех, кто правил тогда Италией. Ею сперва владели потомки Карла, затем Беренгарий, и под конец германские императоры, как мы это показали в нашем общем очерке. В то время флорентийцы не имели возможности ни возвыситься, ни содейть что-либо достойное памяти потомства из-за могущества тех, кому повиновались.

Тем не менее в 1010 году, в день святого Ромула, особо чтимый фьезоланцами, флорентийцы захватили Фьезоле и разрушили этот город, сделав это либо с согласия императора, либо в такое время, когда между кончиной одного императора и воцарением другого народы чувствуют себя несколько более свободными. Но вообще по мере того, как в Италии укреплялось могущество пап и слабела власть германских императоров, все города этой страны весьма легко выходили из повиновения государю. В 1080 году, во времена Генриха III, когда вся Италия была разделена, – одни держали сторону папы, а другие императора, – флорентийцы сохранили единство до 1215 года и подчинялись победителю, не ища ничего, кроме безопасности. Но как в теле человеческого, – чем в более пожилom возрасте завладевает им болезнь, тем она опаснее и смертельнее, – так и во Флоренции жители ее позже других разделились на враждующие партии, но зато и больше пострадали от этого разделения. Причина первых раздоров весьма широко известна, ибо о ней много рассказывали Данте и другие писатели. Однако и мне следует кратко поведать о ней.

III

Среди влиятельных семей Флоренции самыми могущественными были две – Буондельмонти и Уберти, а непосредственно вслед за ними шли Амидеи и Донати. Некая дама из рода Донати, богатая вдова, имела дочь необыкновенной красоты. Задумала она выдать ее за мессера Буондельмонти, юного кавалера и главу этого дома. То ли по небрежению, то ли в убежденности, что это всегда успеется, она никому своего намерения не открыла, а между тем стало известно, что за мессера Буондельмонти выходит одна девица из рода Амидеи. Дама была крайне раздосадована, однако она все же надеялась, что красота ее дочери может расстроить предполагаемый брак, пока он еще не заключен. Как-то она увидела, что мессер Буондельмонте один, без сопровождающих идет по направлению к ее дому, и тотчас же спустилась на улицу, ведя за собой дочь. Когда юноша проходил мимо них, она двинулась к нему навстречу со словами: «Я весьма рада, что вы женитесь, хотя предназначала вам в жены мою дочь». И тут она, открыв дверь, показала ему девушку. Кавалер, увидев, как прекрасна эта молодая особа, и сообразив, что знатностью рода и богатством приданого она ничуть не уступает той, на которой он собирался жениться, загорелся таким желанием обладать ею, что, не думая уже о данном им слове, о тяжком оскорблении, каким явилось бы его нарушение, и о бедствиях, которые затем воспоследовали бы, ответил: «Раз вы предназначали мне свою дочь, я проявил бы неблагодарность, отказавшись от нее, пока я еще свободен». И, не теряя ни минуты, он справил свадьбу.

Дело это, едва оно стало известно, привело в полное негодование семейство Амидеи, а также и Уберти, которые состояли с ними в родстве. Они собрались вместе с другими своими родичами и решили, что позорным было бы стерпеть такую обиду и что единственным достойным отмщением за нее может быть только смерть мессера Буондельмонте. Кое-кто, правда, обращал внимание собравшихся на бедствия, к которым должно было бы привести подобное возмездие, но тут Моска Ламберти заявил, что кто слишком обстоятельно обдумывает дело, никогда ничего не совершит, а закончил свою речь известным изречением: «Что сделано, то сделано». Совершить это убийство они поручили Моска, Стьятта Уберти, Ламбертуччо Амидеи и Одериго Фифанти. Утром в пасхальный день эти четверо спрятались в доме Амидеи между Старым мостом и Сан Стефано. Когда мессер Буондельмонте переезжал через реку на своем белом коне, воображая, что забыть обиду так же легко, как нарушить данное слово, они напали на него у спуска с моста под статуей Марса и умертвили. Из-за этого убийства произошел разлад во всем городе, одни приняли сторону Буондельмонти, другие – Уберти. И так как оба эти рода обладали дворцами, укрепленными башнями и вооруженными людьми, они воевали друг с другом в течение многих лет, но ни одна сторона не могла добиться изгнания другой. Миром их вражда тоже не завершилась, разве что затихала порою в перемириях. Так они в зависимости от обстоятельств то несколько успокаивались, то вновь начинали

пылать яростью.

IV

В раздорах этих Флоренция пребывала вплоть до времени Фридриха II, который, будучи королем Неаполитанским, решил увеличить силы свои для борьбы с Папским государством и, чтобы укрепить свою власть в Тоскане, поддержал Уберти с их сторонниками, которые с его помощью изгнали Буондельмонти из Флоренции. И вот наш город разделился на гвельфов и гибеллинов, как это уже давно произошло со всей остальной Италией. Не кажется мне излишним указать, какие роды оказались в одной партии, а какие в другой. Итак, сторону гвельфов держали Буондельмонти, Нерли, Росси, Фрескобальди, Моцци, Барди, Пульчи, Герардини, Форабоски, Баньези, Гвидалотти, Саккетти, Маньери, Лукардези, Кьерамонтези, Компьоббези, Кавальканти, Джандонати, Джанфильяцци, Скали, Гвальтеротти, Импортунни, Бостики, Торнаквинчи, Веккьетти, Тозинги, Арригуччи, Альи, Сици, Адимари, Висдомини, Донати, Пацци, Делла Белла, Ардинги, Тедадьди, Черки. На стороне гибеллинов были Уберти, Маннелли, Убриаки, Фифанти, Амидеи, Инфага-ти, Малеспини, Сколари, Гвиди, Галли, Каппьярди, Ламберти, Сольданыери, Тоски, Амьери, Брунеллески, Капонсакки, Элизеи, Абати, Тедадьдини, Джьоки, Галигаи. Кроме того, к той и к другой стороне этих семейств нобилей присоединились семьи пополагов, так что почти весь город заражен был их раздорами. Изгнанные из Флоренции, гвельфы укрылись в землях Верхнего Валь д'Арно, где находилась большая часть их укрепленных замков, и там они оборонялись от своих врагов как только могли. Но с кончиной Фридриха те из флорентийских горожан, которые обладали хорошим достатком и пользовались наибольшим доверием народа решили, что лучше прекратить вражду среди граждан, чем губить отечество, продолжая раздор. Действовали они настолько успешно, что гвельфы, позабыв свои обиды, возвратились, а гибеллины приняли их без всяких подозрений. Когда это примирение совершилось, они решили, что наступило подходящее время для того, чтобы учредить такой образ правления, который позволил бы им жить свободно и подготовиться к самозащите, пока новый император не собрался с силами.

V

Они разделили город на шесть частей и избрали двенадцать граждан – по два от каждой сестьеры, – которые должны были управлять городом: назывались они старейшинами и должны были ежегодно сменяться. Дабы уничтожить всякий повод для вражды, возникающей по поводу судебных решений, назначались, не из числа граждан города, двое судей, из которых один назывался капитан, а другой подеста; им были подсудны все гражданские и уголовные дела, возникавшие между гражданами. А так как ни один порядок не может существовать без его охраны, учреждено было двадцать вооруженных отрядов в городе и семьдесят шесть в сельских округах. К этим отрядам была приписана вся молодежь, и каждому молодому флорентийцу было велено являться при оружии в свой отряд, когда граждане будут призываться к оружию приказом капитана или старейшин. Знамена в каждом отряде были не одинаковые, а соответствовали вооружению: так, у арбалетчиков были свои значки, у щитоносцев – свои. Каждый год на Троицу новым воинам с большой торжественностью выдавались знамена и назначались новые командиры отрядов. Дабы с большей пышностью оснастить свое войско и в то же время дать возможность всем, кого в сражении потеснит враг, быстро найти место сбора и с новыми силами обратиться против неприятеля, флорентийцы постановили, что войско всегда должна сопровождать колесница, запряженная быками в красных пополах, а на ней должно быть водружено красно-белое знамя. При выступлении войска в поход колесницу эту доставляли на Новый рынок и в торжественной обстановке вручали главам народа. А чтобы все начинания флорентийцев выглядели еще блистательнее, у них имелся колокол, названный Мартинелла, в который били в течение месяца перед началом военных действий с нарочитой целью дать неприятелю возможность подготовиться к защите. Столько доблести было в сердцах этих людей и столько великодушия, что внезапное нападение на врага, ныне почитаемое деянием благородным и мудрым, тогда рассматривалось как недостойное и коварное. Колокол этот тоже неизменно находился при войске, служа средством для подачи сигналов караульным и при всякой прочей воинской службе.

VI

На этом-то гражданском и военном распорядке основывали флорентийцы свою свободу. Нельзя и представить себе, какой силы и мощи достигла Флоренция в самое короткое время. Она не только стала во главе всей Тосканы, но считалась одним из

первых городов-государств Италии, и кто знает, какого еще величия она могла достичь, если бы не возникали в ней так часто новые и новые раздоры. В течение десяти лет существовала Флоренция при таком порядке, и за это время принудила вступить с ней в союз Пистойю, Ареццо и Пизу. Возвращаясь из-под Сиены, флорентийцы взяли Вольтерру и разрушили, кроме того, несколько укрепленных городков, переселив их жителей во Флоренцию. Все эти дела совершены были по совету гвельфов, более могущественных, чем гибеллины, которых народ ненавидел за их заносчивое поведение в то время, когда они правили во Флоренции под эгидой Фридриха II: партию церкви флорентийцы вообще больше любили, чем партию императора, ибо с помощью папства надеялись сохранить свободу, под властью же императора опасались ее утратить.

Однако гибеллины не могли спокойно смириться с тем, что область ускользнула из их рук, и ждали только подходящего случая вновь захватить бразды правления. Им показалось, что этот случай представился, когда Манфред, сын Фридриха, захватил неаполитанский престол и нанес тем чувствительный удар могуществу папства. Они вступили с ним в тайный сговор с целью вновь овладеть властью, однако им не удалось действовать настолько секретно, чтобы все их происки не стали известны старейшинам. Совет призвал к ответу семейство Уберти, но те вместо того, чтобы повиноваться, взялись за оружие и заперлись в своих домах, словно в крепостях. Возмущенный народ вооружился и с помощью гвельфов заставил гибеллинов всем скопом покинуть Флоренцию и искать убежища в Сиене. Оттуда они стали умолять о помощи Манфреда, короля Неаполитанского, и благодаря ловкости мессера Фаринаты дельи Уберти войска этого короля нанесли флорентийцам такое жестокое поражение на берегах реки Арбии, что оставшиеся в живых после побоища искали убежища не во Флоренции, которую считали для себя потерянной, а в Лукке.

VII

Манфред послал на помощь гибеллинам во главе своих войск графа Джордано, довольно известного в те времена военачальника. После победы граф с гибеллинами занял Флоренцию, подчинил ее власти императора, снял всех должностных лиц с их постов и уничтожил все установления, в которых хоть как-то проявлялась ее свобода. Совершенно все это было очень грубо и вызвало всеобщую ненависть горожан, враждебность которых к гибеллинам столь усилилась, что это привело позже к полной их гибели. Дела королевства вынудили графа Джордано возвратиться в Неаполь, и королевским наместником во Флоренции он оставил графа Гвидо Новелло, владетеля Казентино. Тот созвал в Эмполи совет гибеллинов, на котором все высказали мнение, что для сохранения в Тоскане власти гибеллинской партии необходимо разрушить Флоренцию, ибо весь народ ее держится гвельфов и одной Флоренции достаточно будет, чтобы партия церкви вновь собралась с силами. Против такого жестокого приговора, вынесенного столь благородному городу, не восстал ни один гражданин, ни один друг его, кроме мессера Фаринаты дельи Уберти, который, ни перед чем не останавливаясь, стал открыто защищать Флоренцию, говоря, что приложил много труда и подвергался многим опасностям только для того, чтобы жить на родине, что теперь отнюдь не склонен отвергнуть то, к чему так стремился и что даровано было ему судьбой, а, напротив, скорее станет для тех, у кого иные намерения, таким же врагом, каким он был для гвельфов; если же кто-либо из присутствующих страшится своей родины, пусть попробует сгубить ее, – он со своей стороны выступит на ее защиту со всем мужеством, которое воодушевляло его, когда он изгонял гвельфов. Мессер Фарината был человек великой души, отличный воин, вождь гибеллинов, и пользовался большим уважением Манфреда. Речь его положила конец этим попыткам, и гибеллины стали обдумывать другие способы удержания власти.

VIII

Гвельфы же, укрывшиеся сперва в Лукке и изгнанные затем ее жителями, устранившимися угроз графа, ушли в Болонью. Оттуда их призвали жители Пармы на помощь против своих гибеллинов, которых гвельфы одолели своей доблестью, за что им были переданы все владения побежденных. Вернув себе таким образом богатство и почести и узнав, что папа Климент призвал Карла Анжуйского отнять у Манфреда корону, они послали к главе церкви послов с предложением своей помощи. Папа не только принял их как друзей, но и даровал им свое знамя, под которым с той поры гвельфы всегда сражались и которым поныне пользуется Флоренция. Карл отнял затем у Манфреда королевскую власть, Манфред умер. Флорентийские гвельфы укрепили свои силы, а гибеллины ослабели. Так что те гибеллины, которые вместе с Гвидо Новелло правили во Флоренции, решили, что им полезно было бы хоть каким-нибудь благодеянием завоевать сочувствие народа, который они до того всячески

притесняли. Однако средство это, которое принесло бы им пользу, если бы они прибегли к нему до того, как вынуждены были это сделать, скрепя сердце, теперь не только не улучшило их положения, но ускорило гибель. Все же они решили привлечь народ на свою сторону, вернув ему часть тех прав и той власти, которые были у него отняты. Из народа избрали они тридцать шесть граждан, поручив им и двум призванным из Болоньи дворянам учредить новый образ правления. Этот совет на первом же своем заседании постановил разделить весь город на цехи и во главе каждого цеха поставить должностное лицо, которое и разбиралось бы во всех делах своих подначальных. Кроме того, каждый цех получал знамя, под которое должны были являться с оружием в руках члены цеха, как только это понадобится городу. Поначалу означенных цехов было двенадцать: семь старших и пять младших. Но затем количество младших увеличилось до четырнадцати, так что всего их стало, как и сейчас, двадцать один. Тридцать шесть реформаторов выработали еще и ряд других установлений ко всеобщему благу.

IX

Для содержания своего войска граф Гвидо обложил граждан налогом, но это натолкнулось на такое противодействие, что он не решился прибегнуть к силе. Полагая, что власть от него ускользает, он вызвал к себе главарей гибеллинов, и они порешили силою отнять у народа то, что так неосмотрительно сами ему даровали. Они вооружились, и когда им показалось, что наступил подходящий момент, и совет Тридцати Шести был в сборе, они сами вызвали беспорядки, так что тридцать шесть делегатов испугались и укрылись в своих домах. Но тотчас же появились отряды цехов, притом большей частью вооруженные. Узнав, что граф Гвидо со своими сторонниками находится в Сан Джованни, они укрепились у Санта Тринита и вручили командование мессеру Джованни Сольданыери. Граф, в свою очередь, разведав, куда кинулся вооруженный народ, выступил ему навстречу. Народ же не только не уклонился от боя, но пошел на врага. Там, где теперь находится лоджия Торнаквинчи, произошла встреча; силы графа потерпели поражение, и многие из его сторонников лишились жизни; он же сам стал опасаться, как бы ночью неприятель, воспользовавшись тем, что его люди обескуражены неудачей, не напал на них и не умертвил его. И мысль эта так сильно завладела им, что, не пытаясь обдумать никакого иного средства спасения, он решил прибегнуть не к дальнейшей борьбе, а к бегству и вопреки совету главарей гибеллинской партии отступил со всем своим войском к Прато. Не успел он оказаться в безопасности, как страх его рассеялся, он понял свою ошибку и, решив ее исправить с раннего утра, уже на рассвете двинулся снова на флоренцию, чтобы с боем вступить в город, который он оставил по малодушию. Однако это ему не удалось: народу было бы нелегко изгнать его из города силой, но не составило особого труда не пустить его обратно. В горести и смущении удалился он в Казентино, а гибеллины укрылись в своих замках. Народ оказался победителем, и к радости всех, кто дорожил благом государства, решено было объединить город и призвать обратно всех граждан, оставшихся за его пределами, — как гвельфов, так и гибеллинов. Так возвратились во флоренцию гвельфы после шестилетнего изгнания, а гибеллинам еще раз простили их вину перед отечеством и разрешили им вернуться туда. Тем не менее и гвельфы, и народ ненавидели их по-прежнему: гвельфы не могли им простить свое изгнание, а народ хорошо помнил их тиранию, когда гибеллины управляли флоренцией. Так что и та сторона, и другая продолжали питать взаимную вражду. Пока во флоренции таким образом текла жизнь, распространился слух, что Конрадин, племянник Манфреда, движется с войском в Италию, чтобы отвоевать Неаполитанское королевство. Гибеллины вновь преисполнились надежды вернуться к власти, а гвельфы, поразмыслив о том, как им обезопасить себя от врагов, обратились к Карлу с просьбой оказать им помощь при проходе Конрадина через Тоскану. Когда появились войска Карла, гвельфы настолько подняли голову, что гибеллины пришли в ужас и еще за два дня до вступления анжуйцев в город бежали из него, не будучи даже изгнанными.

X

После бегства гибеллинов флорентийцы установили новый порядок управления. Избраны были двенадцать начальников, власть им давалась на два месяца и назывались они уже не анцианами, а добрыми мужами, затем совет доверенных из восьмидесяти граждан под названием Креденца и, наконец, сто восемьдесят пополанов, по тридцати человек от сестьеры, которые вместе с Креденцой и Двенадцатью добрыми мужами составляли Общий совет. Учрежден был также еще один совет в составе ста двадцати горожан, пополанов и нобилей, который принимал окончательные решения по всем делам, рассматриваемым другими советами, и ведал

назначением всех должностных лиц в республике. После того как был установлен этот порядок управления, партию гвельфов еще усилили, что дало бы им возможность лучше защищаться от гибеллинов. Имущество последних разделили на три части: первую взяли в казну коммуны, вторую отдали магистратуре гвельфской партии, членов которой именовали капитанами, третью роздали всем прочим гвельфам в вознаграждение за понесенный ими ущерб. Папа со своей стороны, дабы Тоскана оставалась гвельфской, назначил короля Карла имперским викарием Тосканы. Благодаря своему новому образу правления флоренция блистательно поддерживала свою славу, ибо во внутренних делах государства царила законность, а вовне успешно действовали ее вооруженные силы. Вскоре, однако, папа скончался, и после споров, длившихся в течение двух лет, избран был Григорий X, который долгое время прожил в Сирии и находился там, даже когда его избрали на папский престол. Вследствие этого он плохо разбирался в борьбе итальянских партий и смотрел на них не так, как его предшественники. Остановившись во флоренции на пути во Францию, он счел, что доброму пастырю подобает добиться единства среди граждан города, и стал действовать в этом направлении, так что флорентийцы согласились принять синдигов гибеллинов и вступить с ними в переговоры об условиях возвращения гибеллинов. Однако, хотя стороны достигли соглашения, гибеллины испытывали теперь такой страх, что возвратиться не желали. Папа решил, что виноват в этом город, и в гневе наложил на флоренцию отлучение, каковое тяготело над нею, пока Григорий X был жив; после же его смерти новый папа Иннокентий V вновь дал городу пастырское благословение.

Затем начался понтификат Николая III, происходившего из дома Орсини. Так как папы не переставали опасаться всех, кто возвышался в Италии, даже если возвышением своим он обязан был той же церкви, и тотчас же старались его как-нибудь принизить, следствием такой политики были в Италии непрерывные смуты и перевороты: могущественного государя страшились и противопоставляли ему другого, пока еще слабого, но как только он набирался силы, его начинали бояться и пытались ослабить. Из-за этого королевская власть была отнята у Манфреда и передана Карлу, который тоже стал вызывать страх и стремление погубить его. Движимый этими побуждениями, Николай III успешно повел интригу и с помощью императора лишил Карла наместничества в Тоскане и под именем имперского викария послал туда мессера Латино в качестве своего легата.

XI

Флоренция в то время находилась в довольно печальном положении, ибо гвельфский нобилитет обнаглел и совершенно не боялся должностных лиц республики. Каждодневно совершались убийства или другие насилия, тех же, кто все это творил, невозможно было покарать, так как они являлись любимчиками того или иного нобилея. Вожаки пополанов рассудили, что для обуздания этой наглости неплохо будет вернуть изгнанных, легат этим воспользовался для того, чтобы умиротворить город, и гибеллины были возвращены. Число правителей, коих было сперва двенадцать, увеличили до четырнадцати – по семь человек от каждой партии: они должны были править в течение одного года и назначаться папой. Флоренция управлялась таким образом два года, затем на папский престол вступил Мартин IV, по национальности француз, каковой вернул королю Карлу всю власть, отнятую у него Николаем. В Тоскане тотчас же возобновилась борьба партий: флорентийцы взяли за оружие против имперского правителя, а для того чтобы не допустить к власти гибеллинов и обуздать знать, установили опять новые порядки. Шел 1282 год, когда цехи, имея своих глав и вооруженные отряды, приобрели немалое значение в городе. Значением этим они воспользовались для того, чтобы изменить образ правления. Вместо четырнадцати правителей должно было быть всего три: они назывались приорами и правили два месяца, избираясь – безразлично – из пополанов или из нобилей, только бы занимались торговлей или ремеслами. После первых двух месяцев число правителей увеличилось до шести, так чтобы от каждой сестеры их было по одному, и так продолжалось до 1342 года, когда город был разделен на кварталы, а число приоров увеличилось до восьми, хотя за этот период времени обстоятельства порой вынуждали увеличивать его до двенадцати. Эта магистратура, как показало время, привела к полному поражению нобилей, ибо сперва обстоятельства давали возможность народу исключать их из Совета, а затем и совсем устранить. Нобили с самого начала примирились с этим, ибо были разьединены; они так усердно старались вырвать друг у друга власть, что совсем утратили ее. Совету этих должностных лиц отвели особый дворец, где он постоянно собирался, между тем как раньше все заседания и совещания должностных лиц происходили в церквях. Кроме того, им установили почетную охрану и дали еще другой служащий персонал, дабы оказать должный почет. И хотя сначала они назывались только приорами, теперь для придания их должности нового блеска они

стали именоваться синьорами. На некоторое время Флоренция обрела внутреннее умиротворение и воспользовалась им для войны против изгнанного своих гвельфов Арещо, одержав победу при Кампальдино. Так как город становился многолюднее и богаче, пришлось расширить кольцо городских стен до нынешнего их предела. Первая городская стена замыкала лишь пространство от Старого моста до Сан Лоренцо.

XII

Внешние военные столкновения и внутренний мир, можно сказать, свели на нет во Флоренции обе партии – гибеллинов и гвельфов. Оставалась незамирной лишь одна вражда, естественным образом существующая в каждом государстве, – вражда между знатью и народом, ибо народ хочет жить по законам, а знать стремится им повелевать, и поэтому согласие между ними невозможно. Пока гибеллины всем внушали страх, эта враждебность не прорывалась наружу, но едва они были побеждены, как она сразу же себя показала. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь из пополанов не потерпел обиды, воздать же за нее законы и должностные лица были бессильны, ибо любой нобиль с помощью родичей и друзей имел возможность противостоять приорам и капитанам. Тогда наиболее сильные члены цехов, стремясь покончить с подобным злоупотреблением, постановили, что каждая вновь избранная Синьория должна назначать особого гонфалоньера правосудия человека из пополанов, которому была бы придана тысяча вооруженных людей из числа приписанных к двадцати отрядам цехов и который с их помощью и под своим знаменем вершил бы правосудие всякий раз, когда был бы призван к этому приорам или капитаном. Первым избран был в гонфалоньеры Убальдо Руффоли: он развернул свое знамя и разрушил дом Галлетти за то, что один из членов этого семейства убил во Франции флорентийского пополана. Цехам нетрудно было установить такой порядок ввиду того, что нобили постоянно находились в тяжелой вражде друг с другом и уразумели, какие меры приняты против них лишь тогда, когда увидели всю суровость их применения. Сперва они сильно испугались, но вскоре вернулись к прежней наглости, ибо среди членов Синьории всегда имели кого-либо из своих и без труда могли помешать гонфалоньеру выполнять его дело. К тому же обвинитель обязан был представить свидетелей нанесенной ему обиды, а никого, кто согласился бы свидетельствовать против нобилей, не находилось. Так что в весьма скором времени Флоренция вернулась к тем же самым безобразиям, и пополаны по-прежнему терпели обиды от грандов, ибо правосудие действовало медленно, а приговоры его не приводились в исполнение.

XIII

Пополаны не находили выхода из этого положения, пока Джано делла Белла, человек из знатнейшего рода, но воодушевленный любовью к свободе родного города, не внушил главам цехов мужественной решимости создать в городе новый порядок. По его совету они постановили, что гонфалоньер должен заседать вместе с приорам и иметь под своим началом четыре тысячи человек. Кроме того, нобилей лишили права быть членами Синьории, сделали родичей преступника его соответчиками и установили, что для приговора по делу достаточно общеизвестности совершенного преступления. Законы эти, именовавшиеся Установлениями справедливости, дали народу великое преимущество, но вызвали жестокую ненависть к Джано делла Белла: знатные не могли простить ему уничтожения их власти, а богатые пополаны были исполнены зависти, ибо им казалось, что влияние его чрезмерно. Все это проявилось, едва только к тому представился случай.

По воле судьбы пополан был убит в стычке, в которой принимало участие много нобилей и среди них мессер корсо Донати. Из них он был самый дерзновенный, и потому на него пало обвинение в убийстве. Он был задержан капитаном народа, но так повернулось дело – то ли мессер Корсо не оказался виновным, то ли капитан опасался вынести против него приговор, – что его оправдали. Такое решение народу до того не понравилось, что он вооружился и явился к дому Джано делла Белла просить его, чтобы он добился выполнения им же учрежденных законов. Джано желал, чтобы мессер Корсо понес должную кару, поэтому он отнюдь не призвал народ разоружиться, как должен был по мнению многих поступить, но посоветовал ему идти к Синьории, жаловаться на случившееся и умолять ее вынести справедливое решение. Однако народ пришел в еще большее раздражение и, полагая, что капитан нанес ему обиду, а Джано делла Белла умыл руки, направился не к Синьории, а ко дворцу капитана, захватил его и разгромил. Этот акт насилия привел в негодование всех граждан; те же, кто желал гибели Джано, всю вину возложили на него. Так как среди членов новой Синьории имелся один его недруг, он был обвинен перед лицом капитана в возбуждении народа к мятежу. Пока шло следствие по его делу, народ снова взялся за оружие и, подойдя к дому Джано, предложил ему свою защиту от

синьоров и от его врагов. Джано отнюдь не желал ни воспользоваться этим проявлением народной любви, ни отдавать свою жизнь в руки должностных лиц, ибо опасался как непостоянства первых, так и злонамеренности вторых. И вот, чтобы не дать врагам своим возможности повредить ему, а друзьям нанести ущерб отечеству, он решил удалиться в изгнание и тем самым уступить зависти недругов, избавить сограждан от страха, который они перед ним испытывали, и покинуть город, который, не щадя трудов и с опасностью для жизни, освободил от ига знати. Таким образом, изгнание его было добровольным.

XIV

После его ухода нобили вновь обрели надежду завоевать прежнее положение. Рассудив, что источник их бед в разъединении, они на этот раз сговорились и послали двух делегатов в Синьорию, каковую считали к ним благорасположенной, просить о хотя бы частичном смягчении направленных против них законов. Как только об этом стало известно, пополаны встревожились, как бы Синьория и впрямь не пошла навстречу пожеланиям нобилей: расхождения в пожеланиях нобилей с опасениями пополанов привели к вооруженным столкновениям. Нобили под началом трех главарей – мессера Фореце Адимари, мессера Ванни деи Моцци и мессера Джери Спино укрепилась в трех местах – в Сан Джованни, у Нового рынка и на площади деи Моцци. Пополаны, в значительно большем количестве, сошлись под своими знаменами у Дворца синьоров, который находился тогда неподалеку от Сан Проколо. Относясь с подозрением к синьорам, они послали к ним шестерых своих представителей, чтобы они с ними заседали. Пока та и другая сторона готовились к схватке, кое-кто и из пополанов и из нобилей совместно с некоторыми духовными лицами, пользовавшимися доброй славой, решили добиться примирения. Нобилиам они напомнили, что если их лишили прежних почестей и издали законы против них, то причиной этого были их высокомерие и никуда негодное управление; что братья теперь за оружие, чтобы силой возратить себе то, что было у них отнято из-за раздоров и недостойного поведения, означало бы для них погубить отечество и еще ухудшить свое собственное положение; что пополаны и численностью, и богатством, и даже силой своей ненависти превосходят их; и что, наконец, их пресловутое нобильское достоинство, якобы возвышающее их надо всеми прочими людьми, за них сражаться не будет, и когда дело дойдет до рукопашной, окажется пустым наименованием, совершенно недостаточным для того, чтобы их защитить. С другой стороны, народ они призывали понять, что в высшей степени неосторожно предъявлять крайние требования, а врагов доводить до отчаяния, ибо кто не надеется на благо, тот не устрашится никакого зла; что этот нобилитет – тот самый, который в войнах с врагами Флоренции покрыл свой город славой, и что поэтому нехорошо и несправедливо преследовать его столь ожесточенно; что нобили легко мирились с утратой в республике всех главных должностей, но, конечно, не могли стерпеть того, что по нынешним законам каждый может изгнать их из отечества. Гораздо лучше было бы умиротворить их и таким образом заставить сложить оружие, чем отдаться на волю случая и вступить в бой, полагаясь на численное превосходство, ибо не раз бывало, что большое войско терпело поражение от небольшого.

Мнения в народе разделились: очень многие считали, что надо сражаться, ибо рано или поздно придется это сделать, а уж лучше сейчас, чем тогда, когда враг станет сильнее. Если бы, смягчив законы, можно было умиротворить нобилей, имело бы смысл это сделать, но гордыня их такова, что они не успокоятся, пока не будут принуждены к этому силой. Но другие, более мудрые и хладнокровные, полагали, что если смягчить законы не так уж важно, то не доводить дело до вооруженного столкновения весьма существенно. Их мнение возобладало, и постановлено было, что отныне для обвинения нобили требуются свидетельские показания.

XV

Обе стороны замирились, однако остались при своих взаимных подозрениях и продолжали укреплять башни и собирать оружие. Пополанство ввело новые правила, уменьшив число членов Синьории, откуда были убраны сторонники нобилей. Во главе пополанов стояли члены семей Манчини, Магалотти, Альтовити, Перуцци и Черретани. Укрепив государство, подумали о том, чтобы окружить синьоров большей пышностью и обеспечить им большую безопасность: с этой целью заложен был в 1298 году фундамент нынешнего Дворца Синьории, а перед ним разбили площадь, снеся дома, принадлежавшие семейству Уберти. В это же время начали постройку новых тюрем. Здания эти закончены были всего через несколько лет. Никогда город наш не был в лучшем и более счастливом состоянии, чем в те времена, ибо никогда не достигал он такой многолюдности, богатства и славы. Гражданин, способных носить оружие, в городе было не менее тридцати тысяч человек, а в подвластных ему областях – не

менее семидесяти тысяч. Вся Тоскана подчинилась Флоренции – все там были ее подданными или ее союзниками. Хотя между нобиллями и пополанами неизменно существовали подозрительность и враждебность, они не приводили к дурным последствиям, и все жили в мире и согласии. И если бы мир этот не был нарушен новыми внутренними смутами, то его не поколебали бы нападения извне, ибо Флоренция достигла того, что ей уже не приходилось опасаться ни императора, ни изгнанных из города граждан, и у нее хватало сил противостоять всем другим итальянским государствам. Но удар, которого она могла не бояться от внешних врагов, нанесли ей враги внутренние.

XVI

Во Флоренции было два могущественнейших семейства – Черки и Донати, отличавшихся благородством происхождения, богатством и многочисленностью зависящего от них люда. Во Флоренции и в контадо они соседствовали, что приводило к некоторым столкновениям между ними, однако не настолько существенным, чтобы дело дошло до применения оружия; и, может быть, взаимная враждебность эта и не возымела бы никаких печальных последствий, если бы ее не усилили новые обстоятельства. Среди наиболее видных семейств Пистойи выделялись Канчельери. Случилось, что Лоре, сын мессера Гульельмо, и Джери, сын мессера Бертакки, оба члены этого семейства, повздорили за игрой, и Лоре нанес Джери легкую рану. Это происшествие огорчило мессера Гульельмо, который, надеясь дружелюбием поправить дело, лишь ухудшил его, когда велел сыну пойти к отцу раненого и просить у него прощения. Лоре повиновался отцу, однако этот гуманный поступок несколько не смягчил жестокого сердца мессера Бертакки, который велел своим слугам схватить Лоре и для еще большего поношения на кормушке для скота отрубить ему руку. При этом он сказал: «Возвращайся к своему отцу и скажи ему, что раны лечатся железом, а не словами!». Эта жестокость так возмутила мессера Гульельмо, что он велел всем своим взяться за оружие для отомщения за нее, а мессер Бертакки, в свою очередь, вооружился для самозащиты. Вот и начался раздор не только в этом семействе, но и во всей Пистойе. Так как предком всех Канчельери был мессер Канчельери, имевший двух жен, одна из коих звалась Бьянка, та из партий, на которые разделился этот род, что происходила от Бьянки, стала называться «белой», а другая, уже просто в противоположность ей, приняла прозвание «черных». Между обеими сторонами стали происходить вооруженные схватки, было немало побитых насмерть людей и разрушенных домов. Замириться они никак не могли, хотя и изнемогали в этой борьбе, и, наконец, захотелось им либо прекратить раздор, либо усилить его, втянув в это дело и других. Поэтому они явились во Флоренцию, где черным, связанным с домом Донати, оказал поддержку мессер Корсо, глава этого рода. Тогда белые, дабы иметь сильного союзника против Донати, обратились к мессеру Вери деи Черки, ни в чем не уступавшему мессеру Корсо.

XVII

Новый, возникший в Пистойе повод для смуты разжег старую вражду между семействами Черки и Донати, и она так ясно давала о себе знать, что приоры и другие благонамеренные граждане стали опасаться, как бы дело не дошло в любой момент до вооруженного столкновения и от этого не возник раздор во всем городе. Они обратились к верховному главе церкви, умоляя его применить властью своей для прекращения этой вражды средство, которого они найти не могли. Папа велел мессеру Вери явиться пред его очи и предписал ему примириться с семейством Донати. Тут мессер Вери изобразил удивление, заявив, что никаких враждебных отношений с ними у него не существует и что замирение ведь предполагает войну, а войны никакой нет, и он поэтому недоумевает, почему надо мириться. Так мессер Вери и вернулся из Рима безо всяких обязательств, а враждебные чувства продолжали набухать до того, что теперь достаточно было ничтожной капли, чтобы переполнить чашу. Стоял май месяц, а в это время все праздники во Флоренции сопровождаются общественными увеселениями. Несколько молодых людей из семейства Донати, со своими друзьями проезжая верхом поблизости от Санта Тринита, остановились поглядеть на пляшущих женщин. Тут подъехали несколько человек из семейства Черки, тоже в сопровождении немалого числа нобилей. Не зная, что впереди молодежь Донати и тоже пожелав посмотреть на танцы, они на своих конях стали прорываться в первые ряды и при этом бесцеремонно потеснили всадников из семейства Донати. Те, сочтя себя оскорбленными, обнажили мечи. Молодежь Черки не осталась в долгу, и противники разъехались лишь после того, как было нанесено и получено много ран. Это столкновение оказалось причиной немалых бед, ибо весь город, как гранды, так и попопаны разделились на две партии, каковые приняли

название белых и черных. Во главе партии белых были Черки, и сторону их приняли семейства Адимари, Абаты, часть семейств Тозинги, Барди, Росси, Фрескобальди, Нерли и Маннелли, все целиком Моцци, Скали, Герардини, Кавальканти, Малеспини, Бостики, Джандонати, Веккьетти и Арригуччи. К ним же примкнули и многие пополанские роды вместе со всеми находившимися во Флоренции гибеллинами. Так что из-за большого количества своих сторонников белые, можно сказать, верховодили в государстве. С другой стороны во главе черных оказались Донати и с ними все те из поименованных выше семейств, кто не стал поддерживать белых, а также все из родов Пацци, Висдомини, Маньери, Баньези, Торнаквинчи, Спино, Буондельмонти, Джанфи-льяцци, Брунеллески. Притом зараза эта распространилась не только в городе, но внесла раздор и в контадо. Вследствие этого капитаны гвельфской партии и все сторонники гвельфов и приверженцы республики стали весьма сильно опасаться, как бы этот новый разлад не погубил бы все государство и не восстановил партию гибеллинов, и снова отправили к папе Бонифацию послов, прося его принять какие-нибудь меры, если он не хочет, чтобы город, всегда бывший крепким щитом церкви, погиб или же оказался во власти гибеллинов. Тогда папа послал во Флоренцию легатом кардинала – португальца Маттео д'Акваспарта. С самого начала ему стала чинить всякие препоны партия белых которая, рассчитывая на свою многочисленность, не слишком страшилась его. Возмущенный, он удалился из Флоренции, наложив на нее интердикт, так что оставил он город в еще большей смуте, чем до своего приезда.

XVIII

Таким образом страсти все разгорались, и вот случилось, что значительное количество членов рода Черки и рода Донати встретилось на одних похоронах. Между ними началась перебранка, вскоре перешедшая в схватку, однако пока все ограничилось беспорядком. Когда все разошлись по домам, Черки решили напасть на Донати и двинулись на них большой толпой, но благодаря доблести мессера Корсо были отброшены и почти все получили ранения. Весь город взялся за оружие, Синьория и законы оказались бессильными перед неистовством знати, а наиболее благоразумные и благонамеренные граждане жили в постоянном страхе. У Донати и их сторонников было больше причин для всяческих опасений, ибо они были слабее, и вот, чтобы поправить их дело, мессер Корсо посоветовался с другими главарями черных и с капитанами гвельфской партии, и они решили, полагая, что это обуздает белых, просить папу прислать во Флоренцию какого-нибудь принца королевской крови, дабы он навел порядок в государстве. Противная партия донесла приора об этой сходке и принятом на нем решении, изобразив его как заговор против народной свободы. Так как обе враждующие партии были вооружены, Синьория, осмелевшая благодаря мудрым советам Данте, одного из тогдашних ее членов, постановила вооружить народ Флоренции, к которому присоединились в большом количестве жители контадо. Таким образом, главари враждующих партий вынуждены были сложить оружие, после чего мессер Корсо Донати и многие из черных подвергнуты были изгнанию. Чтобы засвидетельствовать свою беспристрастность, Синьория изгнала также кое-кого из белых, которые, впрочем, вскоре возвратились в город под тем или иным уважительным предлогом.

XIX

Мессер Корсо и его сторонники, уверенные в том, что папа на их стороне, отправились в Рим и убедили его в том, о чем ему уже писали. При папском дворе находился тогда Карл Валуа, брат короля Франции, проездом в Сицилию, куда он призван был королем Неаполитанским. И папа, уступая просьбам флорентийских изгнанников, счел вполне уместным послать Карла во Флоренцию в ожидании, пока не наступит время года, благоприятное для морского путешествия. Карл прибыл туда, и хотя правившие городом белые относились к нему с подозрением, как к вождю гвельфов и посланнику папы, они все же не только не осмелились воспрепятствовать его приезду, но даже, стремясь заручиться его расположением, дали ему право распоряжаться в городе, как ему будет угодно. Облеченный такой властью, Карл тотчас же вооружил всех своих друзей и сторонников, а это вызвало в народе подозрение – не покушается ли он на свободу Флоренции, – и вот все укрылись в своих домах, готовые выйти оттуда с оружием, едва только Карл что-либо предпримет.

Черки и главари партии белых, стоявшие некоторое время во главе республики, надменностью своей вызвали к себе всеобщую враждебность. По этой причине мессер Корсо и другие изгнанники из партии черных возымели смелое намерение возвратиться во Флоренцию, будучи к тому же уверены, что Карл и капитаны гвельфской партии на их стороне. Несмотря на то что все население города,

опасаясь Карла, было вооружено, мессер Корсо и другие изгнанники в сопровождении значительного числа своих друзей беспрепятственно вошли в город. И хотя многие побуждали мессера Вери Черки выйти с оружием им навстречу, он отказался, заявив, что вызов брошен флорентийскому народу, который и должен обуздать дерзновенных. Однако получилось совсем обратное: вместо того чтобы покарать черных, народ охотно принял их, и самому мессеру Вери пришлось ради спасения своего бежать. Ибо мессер Корсо, ворвавшись в город через ворота Пинти, закрепился у Сан Пьетро Маджоре неподалеку от своего дома, а затем, когда к нему стали стекаться его друзья и многие из пополанов, желавших перемен, первым долгом освободил из заключения всех, кто находился в тюрьме за государственные и уголовные преступления. Он принудил синьоров вернуться в свои дома уже в качестве частных граждан, устроил выборы новой Синьории, только из пополанов и сторонников черных, которые в течение пяти дней громили дома наиболее видных членов партии белых. Черки и другие главы этой партии, видя, что принц Карл и большая часть народа против них, бежали из города и укрепились в своих замках. Не желавшие сначала следовать советам папы, они теперь вынуждены были обратиться к нему за помощью, доказывая, что Карл вместо того, чтобы замирить флорентийцев между собой, внес в город лишь новые раздоры. Тогда папа вновь послал во Флоренцию легатом своим мессера Мат-тео д'Акваспарта, который добился примирения между домами Черки и Донати, закрепив его новыми брачными союзами. Но так как легат вдобавок пожелал, чтобы белые допущены были к власти, а черные на это не согласились, он удалился из Флоренции в великом неудовольствии и гневе, наложив на город за неповиновение интердикт.

XX

Итак, во Флоренции находились теперь обе партии, и обе были недовольны: черные – тем, что враги их возвратились и могли снова погубить их и отнять у них власть, белые – тем, что все же так и не имеют ни власти, ни почестей. К этим неизбежным поводам для раздражения и подозрений добавились еще новые обиды. Мессер Никколо Черки отправился с толпой друзей в свои загородные имения, и у Понте ад Аффрико на него напал Симоне, сын мессера Корсо Донати. Схватка произошла жесточайшая и кончилась она для обеих сторон плачевно, ибо мессер Никколо был в ней убит, а Симоне в ту же ночь скончался от ран. Это происшествие снова возбудило смятение во всем городе, но, хотя черные были в нем более виновны, правящие взяли их под защиту. Не успели еще вынести решения по этому делу, как вскрылся заговор, устроенный белыми и мессером Пьеро ферранте, одним из баронов принца Карла, с целью снова захватить власть. Раскрыт он был благодаря обнаружению писем от Черки к барону, хотя, правда, многие полагали, что письма-то подложные и исходят от Донати, которые рассчитывали с их помощью смыть пятно, легшее на них со смертью мессера Никколо. Тем не менее все Черки и их сторонники из партии белых, а среди них и поэт Данте, приговорены были к изгнанию, имущество их было конфисковано, а дома разрушены. Они рассеялись в разные стороны вместе со многими примкнувшими к ним гибеллинами, ища себе новых занятий и новой доли. Что касается Карла, то, выполнив то, для чего послан был во Флоренцию, он возвратился к папе, дабы затем приступить к осуществлению своих планов в Сицилии. Но там он оказался не мудрее и не лучше, чем во Флоренции, так что, потеряв большую часть своих людей, с позором вернулся во Францию.

XXI

После того как Карл отбыл из Флоренции, жизнь в ней текла мирно. Не находил себе покоя только мессер Корсо, ибо казалось ему, что он не занимает в городе подобающего ему положения: у власти были пополаны, и, по его мнению, республикой управляли лица гораздо менее значительные, чем он. Движимый подобными чувствами, он решил прикрыть благовидными побуждениями неблаговидность своих душевных устремлений. Он клеветал на граждан, распорядившихся государственной казной, обвиняя их в растратах общественных средств на личные нужды и требуя их разоблачения и наказания. Эти обвинения поддерживались теми, кто разделял его вождедения, а также значительным числом других, неосведомленных, но веривших, что мессер Корсо одушевлен исключительно любовью к отечеству. Однако оклеветанные мессером Корсо граждане, опираясь на доверие и любовь к ним народа, всячески защищались. Раздор этот углубился настолько, что, когда законные средства нападения и защиты оказались недостаточными, дело дошло до вооруженных столкновений. На одной стороне были мессер Корсо с епископом флорентийским мессером Лоттьери, многими градами и некоторыми пополанами, на другой – члены Синьории и большая часть народа, так что почти во всем городе происходили беспрестанные схватки. Видя размеры угрожающей опасности, синьоры послали за

помощью в Лукку, и вот все жители Лукки поспешили во Флоренцию. Благодаря их вмешательству наступило успокоение, беспорядки прекратились, народ сохранил свои законы и свободу, но не стал преследовать виновников смуты.

До папы дошли сведения о раздорах во Флоренции, и, чтобы покончить с ними, он послал туда своим легатом мессера Никколоа да Прато. Человек, широко известный благодаря своему положению, учености и добропорядочности, он сразу же вызвал к себе такое доверие, что легко добился во Флоренции права установить по своей воле образ правления. Происходя из гибеллинского рода, он стремился к тому, чтобы возвратить в город изгнанников. Однако прежде всего он постарался завоевать симпатии народа, а для этого восстановил прежнее, разделенное по отрядам народное ополчение, что значительно усилило пополанов и ослабило грандов. Когда легату показалось, что народ уже улагодворен, он решил принять меры для возвращения изгнанников. Брался он за это дело и так, и этак, но ничего не выходило, и под конец люди, стоявшие у власти, стали относиться к нему с таким подозрением что он, разгневанный, вынужден был покинуть Флоренцию и возвратиться к папскому двору. Флоренция же осталась по-прежнему во власти смуты, да еще к тому же и под интердиктом. Раздирали город не только эти несогласия, но, кроме того, вражда между пополанами и грандами, гибеллинами и гвельфами, белыми и черными. Весь город находился при оружии, и повсюду возникали стычки, ибо отъезд легата пришелся не по вкусу всем, кто желал возвращения изгнанников. Первыми затеяли смуту Медичи и Джуньи, которые были заодно с легатом и требовали возвращения мятежников. Так что столкновения происходили почти во всех кварталах города.

К этим бедствиям прибавился еще и пожар. Сперва загорелось у Орто Сан Микеле, в доме Абати, затем огонь перекинулся в дома Капонсакки, каковые сгорели дотла вместе с домами Маччи, Амьери, Тоски, Чиприани, Ламберти, Кавальканти и всем Новым рынком. Затем огонь распространился до ворот Санта Мария, которые тоже тогда начисто сгорели, и, повернув к Старому мосту, пожрал дома Герардини, Пульчи, Амидеи и Лукардези и еще столько других, что сгоревших зданий насчитывалось более тысячи семисот. Самым распространенным мнением насчет этих пожаров было то, что они возникли случайно во время одной из стычек. Но кое-кто утверждал, что поджог совершил Нери Абати, приор Сан Пьетро Скераджо, человек развращенный и охочий до злодеяний: видя, что народ только и занят, что потасовками, он, мол, решил учинить такую гнусность, с какой люди, поглощенные совсем другим, никак не могут справиться. А чтоб это ему легче удалось, он совершил поджог в доме своих родичей, где его преступлению никто не подумал бы помешать. Так в июле 1304 года Флоренция и оказалась жертвой пламени. Среди всего этого беспорядка один лишь мессер Корсо Донати не брался за оружие, считая, что так ему гораздо легче будет стать посредником между обеими сторонами, когда утомившись, наконец, от своих боев, они пожелают замирились. Они действительно прекратили вооруженные схватки, но больше от пресыщенности содеянным злом, чем от стремления к миру и согласию. Кончилось все тем, что мятежников возвращать не стали, и поддерживающая их партия вышла из борьбы ослабевшей.

XXII

Папский легат, возвратившись в Рим и узнав о новых столкновениях во Флоренции, принялся убеждать папу, что, если он хочет объединить Флоренцию, ему необходимо вызвать к себе двенадцать наиболее видных граждан ее, ибо как только не станет пищи для всего этого зла, его нетрудно будет и совершенно изжить. Папа внял этому совету, и вызванные им граждане, в числе которых был и мессер Корсо Донати, повиновались его приказу. Едва они выехали из Флоренции, как легат сообщил изгнанникам, что главных вожаков в городе нет и настало как раз время возвращаться. Тогда изгнанники, объединившись, двинулись во Флоренцию, прорвались через еще недостроенные стены в город и достигли площади Сан Джованни. Достоинно быть отмеченным, что те, кто только что боролся за возвращение изгнанников, когда они, безоружные, умоляли пустить их на родину, теперь обратили свое оружие против них, увидев, что изгнанники вооружились и силой хотят проникнуть в город. Ибо этим гражданам общее дело оказалось дороже их личных склонностей, и они, объединившись со всем народом, принудили мятежников вернуться откуда пришли. Мятежникам же не удалось достичь своей цели, потому что часть своих людей они оставили в Ластре и не стали дожидаться мессера Толозетто Уберти, который должен был подойти к ним из Пистойи с тремястами всадниками. Ибо они полагали, что победу им обеспечит не столько сила, сколько стремительность напора. В подобных предприятиях вообще нередко случается, что от проредления теряешь благоприятный момент, а от чрезмерной быстроты не успеваешь собраться с силами. После бегства мятежников Флоренция снова вернулась к прежним

распрял. Дабы отнять власть у семейства Кавальканти, народ силой отобрал у них старинное владение их рода замок Стинке, стоявший в Валь-ди-Греве. Так как все захваченные в этом замке защитники его стали первыми узниками построенной недавно тюрьмы, этому новому зданию дали название замка, откуда их доставили, и это название – Стинке – сохранилось до наших дней. Затем люди, стоявшие у власти в республике, восстановили народные отряды и выдали этим отрядам, ранее собиравшимся под знаменами цехов, новые знамена. Начальники этих отрядов стали называться гонфалоньерами компаний и коллегами синьоров: им надлежало оказывать Синьории помощь в случае какой-либо смуты оружием, а в мирное время – советом. Двум прежним правителям придали еще экзекутора, каковой вместе с гонфалоньерами должен был сдерживать наглость грандов.

Тем временем скончался папа, и мессер Корсо вместе с другими гражданами вернулись в Рим, но жизнь продолжала бы течь мирно, если бы неугомонный дух мессера Корсо не вверг город в новые смуты. Стремясь к популярности, он всегда высказывал мнения, противоположные тем, которых держались стоящие у кормила правления, и дабы пользоваться все большим и большим доверием народа, неизменно бывал на той стороне, куда тянуло народ. Поэтому он оказывался главным лицом, когда возникали разногласия или затевались какие-либо выступления, и к нему обращались все, кто хотел добиться чего-либо необычного. Вследствие этого он был ненавистен многим из наиболее уважаемых граждан, и ненависть эта усилилась до того, что в партии черных начался раскол, ибо мессера Корсо поддерживали сила и влияние частных лиц, а противники его опирались на государство. Но сама личность его была окружена таким ореолом могущества, что все его боялись. И вот, чтобы лишить его симпатий народа, было применено наиболее подходящее для этого средство: распространили слух, что он замышляет установить тиранию, а убедить в этом кого угодно было нетрудно, настолько его образ жизни отличался от того, какой свойствен частному гражданину. Мнение это еще подкрепились, когда он взял в жены одну из дочерей Угуччоне делла Фаджола, вождя гибеллинов и белых, человека весьма могущественного в Тоскане.

XXIII

Этот брачный союз, едва о нем стало известно, придал мужества противникам мессера Корсо, каковые и подняли против него оружие. По той же причине народ не только не встал на его защиту, но в большей части своей примкнул к его врагам. Противников его возглавляли мессер Россо делла Тоза, мессер Паццино деи Пацци, мессер Джери Спино и мессер Берто Брунеллески. Они со своими сторонниками и большей частью народа собрались, вооруженные, у Дворца синьории, по постановлению коей мессеру Пьеро Бранка, капитану народа, вручен был документ, обвинявший мессера Корсо в том, что он с помощью Угуччоне намеревается установить тиранию. Затем он был призван предстать перед судом и заочно осужден как мятежник. Между обвинением и приговором прошло не более двух часов. После того как приговор был вынесен, члены Синьории в сопровождении народных отрядов, выступавших под своими знаменами, отправились арестовать мессера Корсо. Тот, со своей стороны, отнюдь не испугавшись ни того, что брошен друзьями на произвол судьбы, ни вынесенного ему приговора, ни власти синьоров, ни многочисленности врагов, укрепил свой дом, надеясь продержаться в нем до тех пор, пока на помощь ему не явится Угуччоне, за которым он послал. Вокруг его дома и на прилегающих улицах возведены были баррикады, которые защищались его вооруженными сторонниками так яростно, что народ, несмотря на свое огромное численное превосходство, не в состоянии был ими завладеть. Схватка все же произошла весьма кровопролитная, с обеих сторон было много убитых и раненых. Тогда народ, видя, что на открытом месте ему ничего не достичь, занял соседние с домом Корсо здания, пробил стены и вторгся к мессеру Корсо таким путем, о каком он и не подумал. Мессер Корсо, видя, что он со всех сторон окружен, и не рассчитывая уже на помощь Угуччоне, решил, раз победа невозможна, сделать хотя бы попытку спастись. Став вместе с Герардо Бордони во главе отряда наиболее храбрых и преданных своих друзей, он внезапно напал на осаждающих, с боем прорвался сквозь их ряды и выбрался из города через ворота Кроче. Их, однако, стали энергично преследовать, и на берегу Аффрико Герардо пал под ударами Боккаччо Кавиччули. Мессера же Корсо догнали и захватили всадники-каталонцы, состоявшие на службе у Синьории. Но когда его везли обратно во Флоренцию, он, не желая видеть своих победоносных врагов и подвергнуться их оскорблениям, соскочил с коня, упал на землю и был заколот одним из тех, кто его вез; тело его подняли монахи Сан Сальви и погребли безо всяких почестей. Так окончил дни свои мессер Корсо, которому родина его и партия черных обязаны и многим хорошим, и многим дурным, и если бы душу его меньше тревожили страсти, то и память о нем была бы более славной. Тем не менее он заслуживает того, чтобы числиться среди самых

выдающихся граждан нашего города. Правда, беспокойный нрав его заставил и родину, и партию, к которой он принадлежал, позабыть о его заслугах, и этот беспокойный нрав принес ему смерть, а родине и партии доставил немало бед. Угуччоне, спешивший на помощь зятю, узнал в Ремоли о том, что на мессера Корсо ополчился весь народ. Поняв, что никакой помощи он ему теперь оказать не сможет и только повредит себе самому, не принеся пользы зятю, он вернулся обратно.

XXIV

Смерть мессера Корсо, последовавшая в 1309 году, положила конец смуте, и во Флоренции царил мир до того дня, когда стало известно, что император Генрих вступил в Италию со всеми флорентийскими мятежниками, которым он обещал вернуть их на родину. Тут стоявшие у власти рассудили, что лучше было бы иметь меньше врагов, а для этого надо бы сократить их число. Поэтому решено было возвратить всех мятежников, за исключением тех, кому по закону персонально запрещалось возвращение. Так что в изгнании остались большая часть гибеллинов и некоторые из партии белых, а среди них Данте Алигьери, сыновья мессера Вери Черки и Джано делла Белла. Кроме того, Синьория отправила к королю Роберту Неаполитанскому послов с просьбой о помощи. Сделать его своим союзником им не удалось, тогда они вручили ему на пять лет власть над городом с тем, чтобы он защитил их как своих подданных.

Вступив в Италию, император избрал путь на Пизу и через Маремму дошел до Рима, где он в 1312 году и короновался. Решив затем подчинить себе флорентийцев, он двинулся на Флоренцию через Перуджу и Ареццо и расположился со своим войском у монастыря Сан Сальви, в одной миле от города. Там он безуспешно простоял пятьдесят дней, отчаялся наконец в возможности свергнуть существующее в городе правление и направился в Пизу, где договорился с Фридрихом, королем Сицилии, о совместном завоевании королевства Неаполитанского.

Он двинулся со своим войском в поход, но, когда уже предвкушал победу (а король Роберт страшился разгрома), в Буонконvento его настигла смерть.

XXV

Немного времени спустя Угуччоне делла Фаджола сперва завладел Пизой, а затем Луккой, куда его впустила гибеллинская партия, и с помощью этих городов наносил соседям превеликий ущерб. Желая обезопасить себя, флорентийцы попросили короля Роберта прислать к ним его брата Пьеро возглавлять их войска. Угуччоне между тем беспрестанно наращивал свою мощь и, действуя то силой, то обманом, захватил много укрепленных замков в Валь-д'Арно и Валь-ди-Ньеволе. Когда же он осадил Монтекатини, флорентийцы рассудили, что следует помочь этому городу, дабы огонь не пожрал всю их страну. Собрав весьма значительные силы, они проникли в Валь-ди-Ньеволе, где и завязалось у них дело с Угуччоне. После весьма кровопролитной битвы они потерпели поражение, Пьеро, брат короля Роберта, погиб, и даже тела его разыскать не смогли, а с ним пало более двух тысяч человек. Но и Угуччоне победа далась очень и очень нелегко: он потерял одного из своих сыновей и многих военачальников.

После этого поражения флорентийцы укрепили вокруг города все населенные места, а король Роберт послал им в качестве капитана их войск графа д'Андриа, прозванного графом Новелло. Но из-за его поведения, а может быть, просто потому, что в самой природе флорентийцев быть недовольными любым положением и иметь разногласия по любому поводу, весь город, несмотря на войну с Угуччоне, разделился на друзей и врагов короля. Главариями враждебных группировок были мессер Симоне делла Тоза, семейство Магалотти и еще некоторые пополаны – в правительстве они имели большинство. Они всячески старались добиться, чтобы за военачальниками и солдатами послали сперва во Францию, потом в Германию, чтобы затем получить возможность изгнать из Флоренции графа, который управлял городом от имени короля. Однако им в этом не повезло, и они ничего не добились. Тем не менее своих замыслов они не оставили и, не имея возможности найти нужного человека во Франции и Германии, обнаружили его в Губбио. Изгнав из Флоренции графа, они вызвали Ландо да Губбио на должность экзекутора, или барджелло, и вручили ему неограниченную власть над всеми гражданами. Человек он был жадный и свирепый. С многочисленным отрядом вооруженных людей обходил он всю округу, предавая смерти всех, на кого указывали ему те, кто его избрал. Наглость его дошла до того, что он стал чеканить фальшивую монету от имени флорентийской республики, и никто не осмелился воспротивиться этому – такой властью оказался он облеченным из-за раздоров во Флоренции. Поистине великий и злосчастный город: ни память о былых расправах, ни страх перед Угуччоне, ни могущество короля не могли укрепить его единства, и пребывал он теперь в самом горестном положении,

извне разоряемый Угуччоне, а внутри терзаемый Ландо да Губбио.

Друзьями короля и врагами Ландо и его сторонников являлись семейства нобилей и богатых пополанов, все гвельфы. Однако государство было в руках их противников, и им было бы крайне опасно открыто заявлять о своих чувствах. Решив, однако, свергнуть столь гнусную тиранию, они тайно написали королю Роберту с просьбой назначить своим наместником во Флоренции графа Гвидо да Баттифолле. Король сразу же дал ему это назначение, и хотя Синьория была против короля, враждебная партия не осмелилась воспротивиться этому, ибо граф славился своими благородными качествами. Власть его, однако же, оставалась весьма ограниченной, ибо Синьория и гонфалоньеры компаний были на стороне Ландо и его партии. Пока Флоренция раздиралась всеми этими тревожностями, в ней остановилась проездом дочь короля Германского Альберта, направлявшаяся к своему супругу, сыну короля Роберта Карлу. Друзья короля оказали ей великие почести и горько жаловались на положение, в котором оказался город, и на самовластье Ландо и его сторонников. Действовали они так искусно, что до отъезда принцессы благодаря ее личному посредничеству и посланиям короля враждующие стороны во Флоренции замирились, а Ландо был лишен власти и отослан обратно в Губбио, сытый награбленной добычей и кровью флорентийцев. При установлении нового правления Синьория еще на три года продлила верховные полномочия короля, а так как в составе Синьории имелось уже семь сторонников Ландо, его пополнили шестью новыми членами из числа друзей короля. Так в течение некоторого времени Синьория состояла из тринадцати членов, но впоследствии число синьоров было снова сведено до семи, как в старину.

XXVI

В то же самое время Угуччоне потерял власть над Лук-кой и Пизой, и Каструччо Кастракани, бывший до того обычным гражданином Лукки, стал ее синьором. Этот молодой человек, полный неукротимой энергии и яростной храбрости, в самый короткий срок сделался главой всех тосканских гибеллинов.

По этой причине флорентийцы, прекратив на несколько лет свои гражданские распри, принялись раздумывать сперва о том, как бы воспрепятствовать усилению Каструччо, а когда против их желания силы Каструччо все же возросли, — как им от него защититься. Для того чтобы Синьория могла принимать более мудрые решения и действовать более авторитетно, стали избирать двенадцать граждан, прозванных Добрыми мужами, без совета и согласия которых синьоры не могли принять никакого важного постановления. За это время кончился срок синьории короля Роберта, и город, ставший сам себе государем, вернулся к обычным своим порядкам с привычными правителями и магистратами, а внутреннему его согласию содействовал великий страх перед Каструччо. Последний же после многочисленных военных действий против владетелей Луниджаны принялся осаждать Прато.

Флорентийцы решили встать на защиту этого города, закрыли свои лавки и двинулись к нему всенародным ополчением в количестве двадцати четырех тысяч пехотинцев и тысячи пятисот всадников. Чтобы ослабить Каструччо и усилить свое войско, синьоры постановили, что каждый мятежный гвельф, который встанет на защиту Прато, получит по окончании военных действий право вернуться в отечество. На призыв этот откликнулись четыре тысячи мятежников. Многочисленность этого войска и быстрота, с которой оно было двинуто в дело, так изумили Каструччо, что, не желая испытывать судьбу, он отступил к Лукке. И тут во флорентийском лагере между нобилями и пополанами опять возникли разногласия. Пополаны хотели преследовать Каструччо и, продолжая войну, покончить с ним. Нобили же считали, что следует возвращаться, ибо достаточно уже того, что Флоренция подверглась опасности ради защиты Прато.

Конечно, говорили они, сделать это было необходимо, но теперь, когда цель достигнута, незачем искушать судьбу и рисковать многим ради не столь уж большого выигрыша. Так как договориться оказалось невозможно, решение вопроса передали в Синьорию, но там возникли совершенно такие же противоречия.

Когда об этом стало известно в городе, площади наполнились народом, который стал открыто грозить грандам, вследствие чего испуганные нобили уступили. Однако решение продолжать войну оказалось запоздалым и неединодушным, неприятель же успел беспрепятственно отойти к Лукке.

XXVII

Возмущение пополанов грандами достигло такой степени, что Синьория решила ради сохранения порядка и ради собственной своей безопасности не сдерживать слова, данного изгнанникам. Те, предвидя отказ, решили предупредить его и еще до возвращения всего войска появились у ворот города, чтобы войти в него первыми. Однако во Флоренции были начеку, их замысел не удался, и они были отброшены

теми, кто оставался в городе. Тогда они решили все же попытаться получить добром то, что не удалось им силой, и послали в Синьорию восемь избранных ими человек, чтобы те напомнили синьорам о данном слове, об опасности, которой они только что подвергались, надеясь на обещанную награду. Нобили считали себя особо связанными обещанием Синьории, ибо со своей стороны подтвердили его изгнанникам, поэтому они изо всех сил добивались выполнения обещанного, однако их поведение, из-за которого война с Каструччо не была доведена до победного конца, так возмутило всю Флоренцию, что их защита изгнанников не имела успеха к великому ущербу и бесчестию для города. Многие из нобилей, негодуя на отказ Синьории, решили применить силу для достижения того, чего не могли добиться просьбами и уговорами: они сговорились с изгнанниками, что те, вооруженные, подойдут к городу, а они со своей стороны в помощь им возьмутся за оружие в городе. Но этот замысел был раскрыт еще до наступления условленного дня, так что изгнанники нашли весь город вооруженным и готовым дать отпор нападающим извне и нагнать такого страху на внутренних заговорщиков, чтобы те не решились взяться за оружие. Пришлось и тем, и другим отказаться от своего намерения, ничего не добившись. Когда изгнанники удалились, во Флоренции подняли вопрос о наказании тех, кто сговаривался с изгнанниками, но, хотя всем было хорошо известно, кто виновные, ни один человек не осмелился не то что обвинить их, но даже просто назвать. Поэтому решено было добиться правды безо всяких опасений, а для этого постановили, что на заседании Совета каждый напишет имена виновных и тайно передаст свою записку капитану. Таким образом, обвинение пало на мессера Америкго Донати, мессера Тегиаю Фрескобальди и мессера Лотеринго Герардини, но судья у них нашелся более милостивый, чем, может быть, заслуживало их преступление, и они были присуждены лишь к уплате штрафа.

XXVIII

Сумятица, возникшая во Флоренции, когда мятежники подошли к воротам, показала, что народным вооруженным отрядам мало было одного начальника. Вследствие этого постановили, что на будущее время в каждом отряде будет три-четыре командира, что у каждого гонфалоньера будут по два-три помощника, коим присваивается наименование пенноньеров, и все это для того, чтобы в тех случаях, когда достаточно будет не целого отряда, а какой-либо части его, эта часть могла выступать под началом своего командира. Далее произошло то, что обычно бывает во всех государствах, когда новые события отменяют старые установления и утверждают на месте их другие. Прежде состав Синьории обновлялся через определенные промежутки времени. Теперь синьоры и их коллеги, чувствуя себя достаточно сильными, изменили этот порядок, присвоив себе право заранее намечать новых членов на следующие сорок месяцев. Записки с именами заранее отобранных членов Синьории складывались в сумку и каждые два месяца извлекались оттуда. Но так как значительное количество граждан опасалось, что их имена в сумку не попали, пришлось еще до истечения сорока месяцев добавить новые имена. Так возник обычай заблаговременно отбирать новых кандидатов на магистратуры задолго до истечения полномочий старых магистратов, как в стенах города, так и вне их, и таким образом имена новых должностных лиц были известны уже тогда, когда старые находились еще у власти. Такой порядок избрания стал впоследствии называться выборами по жребию. Поскольку содержимое сумки обновлялось каждые три года, а то и раз в пять лет, казалось, что означенным способом город избавляется от лишних тревожений и устраняется всякий повод для смуты, возникавшей при смене каждой магистратуры из-за большого количества притязавших на нее лиц. К этому способу прибегли, не найдя никакого иного, но никто не заметил тех существенных недостатков, которые таились за этим не столь уж значительным преимуществом.

XXIX

Шел 1325 год, когда Каструччо, захватив Пистойю, стал настолько могущественным, что флорентийцы, опасаясь его возвеличения, задумали напасть на него и вырвать этот город из-под его власти, пока он там еще не укрепился. Набрав двадцать тысяч пехотинцев и три тысячи всадников как из числа жителей Флоренции, так и из числа союзников, они расположились лагерем у Альтопашо, дабы занять его и помешать неприятелю оказать помощь Пистойе. Флорентийцам удалось взять этот пункт, после чего они двинулись на Лукку, опустошая прилегающую местность. Но неспособность, а главное, двуличность капитана этих отрядов, не дали им развить успех. Их капитаном был мессер Раймондо ди Кардона. Он заметил, как беспечно относятся флорентийцы к своей свободе, как они вручают защиту ее то королю, то папским легатам, а то и гораздо менее значительным людям, и решил, что если доведется ему стать при случае их военным вождем, может легко случиться, что они

сделают его и своим государем. Он беспрестанно напоминал им об этом, утверждая, что если в самом городе он не будет пользоваться той властью, какую уже имеет над войском, то ему не добиться повиновения, необходимого капитану войск. А так как флорентийцы на это не шли, он со своей стороны бездействовал, теряя время, которое зато использовал Каструччо, ибо к нему подходили подкрепления, обещанные Висконти и другими ломбардскими тиранами. Когда же он набрался сил, мессер Раймондо, ранее из-за своего двуличия не пытавшийся его разгромить, теперь по неспособности своей не сумел даже спасти себя. Пока он медленно двигался вперед со своим войском, Каструччо напал на него неподалеку от Альтопашо и разбил после ожесточенного сражения, в котором пало или было захвачено в плен много флорентийских граждан и, между прочим, сам мессер Раймондо. Так судьба подвергла его каре, которой он за свою двуличность и неспособность заслуживал от флорентийцев. Не пересказать всех бедствий, какие Флоренция испытала от Каструччо после этой его победы: он только и делал, что грабил, громил, поджигал, захватывая людей, ибо в течение нескольких месяцев имел возможность, не встречая сопротивления, хозяйничать со своим войском во владениях флорентийцев, каковые рады были хотя бы тому, что уберegli город.

XXX

И все же не настолько они пали духом, чтобы не готовиться, идя на любые затраты, к обороне, не снаряжать новые войска, не посылать за помощью к союзникам. Однако всего этого было недостаточно для успешного противодействия такому врагу. В конце концов вынуждены были они избрать своим синьором Карла, герцога Калабрийского, сына короля Роберта, дабы он согласился встать на их защиту, ибо государи эти, привыкшие самовластно править во Флоренции, добивались не дружбы ее, а повиновения. Карл, однако, в то время занят был военными действиями в Сицилии и не мог лично явиться во Флоренцию и принять власть, а потому послал туда француза Готье, герцога Афинского, который в качестве наместника своего сеньора завладел городом и стал назначать там должностных лиц по своей прихоти. Все же поведение его было вполне достойное, что даже несколько противоречило его натуре, и он заслужил всеобщее расположение. Закончив свою сицилийскую войну, Карл во главе тысячи всадников явился во Флоренцию и вступил в нее в июле 1326 года, а это привело к тому, что Каструччо уже не мог беспрепятственно опустошать флорентийские земли. Тем не менее добрую славу, завоеванную своими действиями за стенами города, Карл вскоре потерял в самом городе, которому пришлось испытать от друзей тот ущерб, какого он не потерпел от врагов, ибо Синьория ничего не могла решать без согласия герцога, и он за один год выжал из города четыреста тысяч флоринов, хотя по заключенному соглашению имел право не более чем на двести тысяч: эти денежные поборы он или отец его проводили во Флоренции чуть не ежедневно.

К этой беде добавились еще новые тревоги и новые враги. Ломбардские гибеллины настолько обеспокоены были появлением Карла в Тоскане, что Галеаццо Висконти и другие ломбардские тираны деньгами и обещаниями привлекли в Италию Людовика Баварского, избранного вопреки папскому желанию императором. Он вступил в Ломбардию, затем двинулся в Тоскану, где с помощью Каструччо завладел Пизой и оттуда, разжившись награбленным добром, пошел в Рим. Вследствие этого Карл, опасаясь за Неаполитанское королевство, поспешно покинул Флоренцию и оставил там наместником мессера Филиппо да Саджинетто.

После ухода императора из Пизы Каструччо завладел ею, но потерял Пистойю, которую у него отняли флорентийцы, договорившись с ее жителями. Каструччо принялся осаждать этот город, притом с такой доблестью и упорством, что как ни старались флорентийцы помочь Пистойе, нападая то на войска Каструччо, то на его владения, не сумели они ни силой, ни хитростью принудить его отказаться от своих планов, так яростно стремился он покарать пистойцев и восторжествовать над Флоренцией. Пистойя вынуждена была принять его господство, но победа эта оказалась для него столь же славной, сколь и плачевной, ибо, возвратившись в Лукку, он вскоре скончался. А так как судьба редко дарит благо или поражает несчастьем, не добавив и нового блага и новой беды, то и случилось, что в Неаполе тогда же умер Карл, герцог Калабрии и владетель Флоренции. Таким образом, флорентийцы, сами того не ожидая, почти в одно время избавились и от власти одного и от страха перед другим. Освободившись, они занялись упорядочением правления: все прежние советы были упразднены, а вместо них учредили два новых: первый – в количестве трехсот членов, избираемых только из пополанов, и второй – в количестве двухсотпятидесяти и из грандов, и из пополанов. Первый получил название Совета народа, второй – Совета коммуны.

XXXI

Император, явившись в Рим, устроил там избрание антипапы и принял ряд мер, направленных против папства: многие из них он осуществил, но многие и не имели успеха. Кончилось тем, что из Рима он с позором удалился и вернулся в Пизу, где восемьсот немецких всадников, то ли чем-то недовольные, то ли из-за неуплаты жалованья, возмутились против него и укрепились на Монтекьяро над Черульо. Как только император выступил из Пизы в Ломбардию, они заняли Лукку, изгнав оттуда франческо Кастракани, оставленного там императором. Рассчитывая извлечь из этой добычи выгоду, они предложили Флоренции купить этот город за восемьдесят тысяч флоринов, но флорентийцы по совету мессера Симоне делла Тоза от этого предложения отказались. Такое решение было бы для нашего города весьма полезно, если бы флорентийцы его придерживались, но вскоре их умонастроение изменилось, что и привело к немалым бедствиям. Ибо когда можно было получить этот город мирным путем и за весьма сходную цену, они от него отказались, а когда им его захотелось и они готовы были заплатить гораздо больше, было уже поздно.

Эти же дела послужили причиной того, что Флоренция опять учинила перемены в своем управлении, оказавшиеся в высшей степени злосчастными. Когда флорентийцы отказались купить Лукку, ее приобрел за тридцать тысяч флоринов генуэзец мессер Герардино Спиноли. Люди обычно не так торопятся взять то, что им легко дается, как воспылат жадной того, чего им не получить. Едва только стало известно о сделке, заключенной мессером Герардино, и об уплаченной им низкой цене, как народ Флоренции возгорелся желанием заполучить Лукку, гневаясь и на себя самого и на тех, кто советовал отказаться от покупки. Решив во что бы то ни стало забрать силой то, что отказались купить, он послал свои войска тревожить и разорять луккские земли.

Тем временем император ушел из Италии, а антипапа был по решению пизанцев отправлен пленником во Францию. После смерти Каструччо в 1328 году и до 1340 года флорентийцы между собою жили мирно, занимаясь только внешними делами да ведя еще частные войны в Ломбардии из-за появления там Иоанна, короля Чешского, и в Тоскане за присоединение Лукки. Город украсился новыми зданиями и по совету Джотто, знаменитейшего тогда художника, воздвигнута была башня Сан Репарата. В 1333 году в некоторых кварталах Флоренции из-за того, что воды Арно поднялись на двенадцать локтей выше обычного, случилось наводнение. Много мостов и зданий было разрушено, однако же все восстановили, не жалея сил и затрат.

XXXII

Но в 1340 году возникли новые причины для смут. Могущественные граждане обладали двумя способами усиливать и сохранять свое влияние. Первый состоял в том, чтобы всячески уменьшать при жеребьевке число новых должностных лиц с тем, чтобы жребий выпадал всегда им или их друзьям. Второй заключался в том, чтобы руководить избранием правителей и таким образом всегда иметь в их лице благосклонных людей. Этим вторым способом они так дорожили, что им уже мало было двух ректоров, и они зачастую добавляли еще одного. И вот в 1340 году удалось им провести третьего человека – мессера Якопо Габриелли да Губбио со званием капитана стражи и облечь его всей полнотой власти над прочими гражданами, и он, желая угодить власти имущим, творил всевозможные несправедливости. Среди обиженных им граждан оказались мессер Пьетро Барди и мессер Бардо Фрескобальди, нобили, а потому, естественно, люди весьма надменные, и не пожелали они стерпеть, чтобы какой-то чужак ни за что ни про что, прислуживаясь к немногим членам правительства республики, мог нанести им обиду. Замыслив мщение, учинили они заговор против него и против правительства, и в заговоре этом приняли участие многие нобильские роды и кое-кто из пополанов, которым тирания правящих была не по нутру. Замысел, о котором они все сговорились, состоял в том, чтобы собрать у себя в домах достаточное количество вооруженных людей и ранним утром на следующий день, после торжественного поминовения Всех святых, когда граждане будут еще молиться в церквах за упокоевание душ своих близких, предать смерти капитана и главных членов правительства, а затем выбрать новую Синьорию и провести реформы в государстве.

Но когда речь идет о замыслах очень опасных, их обычно весьма обстоятельно обсуждают и с осуществлением не так уж торопятся, а поэтому заговоры, для осуществления которых требуется время, большей частью бывают раскрыты. Один из заговорщиков, мессер Андреа Барди, раздумывая об этом предприятии, склонен был больше поддаться страху перед карой за него, чем тешиться надеждой на мщение. Он поведал о нем своему зятю, Якопо Альберти, который выдал все приорам, а те предупредили других должностных лиц правительства. Опасность надвигалась, ибо день Всех святых был совсем близок, и вот многие граждане, собравшись во дворце и сочтя, что промедление может оказаться гибельным, стали требовать, чтобы

Синьория приказала бить в набат, призывая народ к оружию. Гонфалоньером был Тальдо Валони, а одним из членов Синьории франческо Сальвьяти. С Барди они состояли в родстве и бить в набат им совсем не хотелось, поэтому они высказали соображение, что вооружать народ по любому поводу – дело опасное, ибо когда в руках толпы власть – удержи ей нет, и никогда из этого ничего путного не выходило, что распалить страсти легко, а потушить их трудно, и что лучше будет, пожалуй, сперва проверить сведения о заговоре и покарать виновных, приняв против них обычные гражданские меры, чем поставить под угрозу благополучие флоренции, приняв по простому доносу меры чрезвычайные. Никто не пожелал внять этим речам, членов Синьории угрозами и оскорблениями заставили бить в набат, и, услышав его, все граждане, вооружившись, сбежались на площадь. Со своей стороны Барди и фрескобальди, видя, что замыслы их раскрыты, решили либо со славою победить, либо с честью погибнуть и тоже взялись за оружие, надеясь успешно защищаться в той части города за рекой, где находились их дома. Они укрепились на мостах, так как рассчитывали на помощь нобилей, проживающих в контадо, и прочих своих друзей. Однако в этом они просчитались, ибо пополаны, населявшие ту же часть города, что и они, поднялись на защиту Синьории. Окруженные со всех сторон заговорщики очистили мосты и отступили на улицу, где жили Барди, как наиболее удобную для защиты, и там доблестно оборонялись. Мессер Якопо да Губбио, зная, что заговор направлен главным образом против него, и страшась смерти, совершенно растерялся от ужаса и бездействовал, окруженный своей вооруженной охраной неподалеку от Дворца Синьории. Но другие правители, не столь виновные, проявляли вместе с тем больше мужества, в особенности подеста, каковой звался мессер Маффео деи Карради. Он отправился на место боя, перешел без малейшего страха мост Рубаконте прямо под мечи людей Барди и знаками показал, что хочет с ними говорить. Человек этот внушал всем такое уважение своими высокими нравственными качествами и другими достоинствами, что битва мгновенно прекратилась, и его стали внимательно слушать. В словах рассудительных, но полных озабоченности, осудил он их заговор, показал, какой опасности подвергнут они себя, если не уступят такому порыву народа, дал им надежду на то, что их внимательно выслушают и проявят к ним снисхождение, пообещал, что сам будет настаивать на том, чтобы ввиду справедливости их негодования к ним отнеслись с должным состраданием. Вернувшись затем к синьорам, он стал убеждать их, чтобы они не домогались победы ценой крови своих сограждан и никого не осуждали, не выслушав. И действовал он настолько успешно, что Барди и фрескобальди со своими вышли из города и беспрепятственно удалились в свои замки. После их ухода народ разоружился, и Синьория удовлетворилась тем, что привлекла к ответственности лишь тех членов семейств Барди и фрескобальди, которые подняли оружие. Чтобы ослабить их военную мощь, у Барди были выкуплены замки Мангона и Верниа; был издан особый закон, запрещавший гражданам иметь укрепленные замки ближе чем в двадцати милях от города. Через несколько месяцев был обезглавлен стьятта фрескобальди и еще многие члены этого семейства, объявленные мятежниками. Однако власть имущим оказалось недостаточно унижения и погрома семейств Барди и фрескобальди. Как часто бывает с людьми, тем сильнее злоупотребляющими своей властью и тем наглее становящимися, чем эта власть больше, они, уже не довольствуясь одним капитаном стражи, который донимал весь город, назначили еще другого для прочих земель флоренции и облекли его особенно широкой властью, так чтобы люди, вызывающие у них подозрение, не могли жить не только в городе, но и вообще на территории республики. Тем самым они так восстановили против себя всех нобилей, что те готовы были ради мщения и сами продаться, и город продать кому угодно. Они ожидали только благоприятного случая; он представиться не замедлил, а они воспользовались им еще быстрее.

XXXIII

Во время беспрестанных смут, раздиравших Тоскану и Ломбардию, город Лукка оказался под властью Мастино делла Скала, владетеля Вероны, который, хотя и обязан был согласно договорам передать Лукку флоренции, не сделал этого; он полагал, что, владея Пармой, может удержать также и Лукку, и потому пренебрег данными обязательствами. В отмщение за это флорентийцы в союзе с Венецией повели против него такую беспощадную войну, что он едва не потерял все свои владения. Однако единственной выгодой, которую они получили, было удовлетворение от того, что они победили Мастино, ибо венецианцы, как все, вступившие в союз с более слабым, чем они сами, завладев Тревизо и Виченцей, заключили с неприятелем сепаратный мир, а флоренция осталась ни при чем. Впрочем, некоторое время спустя Висконти, герцоги Миланские, отняли у Мастино Парму, и он, считая, что Лукку теперь ему не удержать, решил продать ее. Покупателями выступили флоренция и Пиза, и во время торга пизанцы поняли, что флорентийцы, как более богатые,

возьмут в этом деле верх. Тогда они решили захватить Лукку силой и с помощью Висконти осадили ее. Флорентийцы все же не отступились, заключили с Мастино сделку, выплатив часть денег наличными, а на остальные выдав обязательства, и послали трех комиссаров – Надо Ручеллаи, Джованни ди Бернардино Медичи и Россо ди Риччардо Риччи – получить во владение приобретенное. Им удалось пробиться силой в осажденный город, и находившиеся там войска Мастино передали им Лукку. Пизанцы тем не менее продолжали осаду и все делали, чтобы овладеть городом, флорентийцы же старались заставить их снять осаду. После весьма длительной войны, в которой флорентийцы потеряли свои деньги и приобрели позор, ибо оказались изгнанными, Лукка перешла под власть Пизы.

Потеря этого города, как всегда в таких случаях бывает, вызвала в флорентийском народе крайнее раздражение против правителей государства, и их поносили на всех площадях, обвиняя в скаредности и бездарности. В самом начале войны все ведение ее поручено было двадцати гражданам, которые назначили мессера Малатеста да Римини капитаном войск. Он же вел военные действия и нерешительно, и неискусно, а поэтому комиссия Двадцати послала королю Роберту Неаполитанскому просьбу о помощи. Король послал во Флоренцию Готье, герцога Афинского, который (по воле неба, уже подготовлявшего будущие бедствия) прибыл как раз тогда, когда Луккское предприятие окончательно провалилось. Комиссия Двадцати, видя народное возмущение, решила, что назначение нового военачальника возбудит в народе новые надежды и тем самым либо вовсе уничтожит, либо значительно притупит повод для нападения на нее. А дабы держать его в страхе и дать герцогу Афинскому такие полномочия, чтобы он мог успешнее защищать ее, она назначила его сперва хранителем, а затем капитаном войск. Гранды по сказанным выше причинам жили в великом недовольстве, а между тем многие из них были тесно связаны с Готье, когда он от имени Карла, герцога Калабрийского, управлял Флоренцией. Тут они и решили, что наступило время гибелью государства затушить пламя их ненависти и что единственный способ одолеть народ, нанесший им столько обид, – это отдать его под власть государя, который, хорошо зная достоинства одной из партий и разнузданность другой, первую вознаградит, а вторую станет держать в узде. К этому надо добавить и расчеты на те блага, которые несомненно должны были выпасть им на долю в награду за их содействие, когда герцог станет государем. Поэтому они неоднократно втайне сносились с ним и уговаривали его захватить всю полноту власти, обещая помогать ему всем, что только в их силах. В этом деле к ним присоединились некоторые пополанские семьи, как например Перуцци, Аччаюоли, Антеллези и Буонак-корси: эти, погрязши в долгах и не имея уже своего добра для расплаты, рассчитывали теперь на чужое добро и на то, что, отдав в неволю отечество, они избавятся от неволи, которой грозили им притязания заимодавцев. Все эти уговоры разожгли в честолюбивом сердце герцога жажду власти и могущества. Дабы прослыть человеком строгим, но справедливым и заслужить таким образом симпатии низов, он затеял судебное преследование тех, кто руководил Луккской войной, предал смерти мессера Джованни Медичи, Наддо Ручеллаи и Гульельмо Альтовити, а многих других приговорил к изгнанию или денежному штрафу.

XXXIV

Приговоры эти порядком напугали всех граждан среднего сословия и пришлось по душе только грандам и низам: первым – потому что в этом они увидели отмщение за все обиды, нанесенные им пополанами, вторым – потому что им от природы свойственно радоваться всякому злу. Когда герцог проходил по улицам города, его громко славил за душевное благородство, и каждый публично призывал его всегда таким же образом раскрывать преступления и карать за них. Комиссия Двадцати с каждым днем значила все меньше, а власть герцога и страх перед ним усиливались. Все граждане, стремясь засвидетельствовать свое расположение к нему, изображали на фасадах своих домов его герб, так что теперь ему только титула не доставало, чтобы считаться государем. Полагая, что он может уже без опасений добиваться чего угодно, герцог дал понять членам Синьории, что убежден в необходимости для блага государства получить всю полноту власти, и поскольку весь город с этим согласен, он надеется, что и Синьория возражать не станет. Хотя синьоры уже давно предвидели погибель государства, все они при этом требовании пришли в великое волнение и несмотря на то, что ясно сознавали грозящую им опасность, ответили единодушным решительным отказом, дабы не предать отечества. Герцог, желая предстать в глазах всех особо приверженным к вере и общему благу, избрал своим местопребыванием монастырь братьев-миноритов Санта Кроче. Решив, что пора уже осуществить коварный свой замысел, он велел прочитать повсюду указ о повелении народу собраться назавтра перед лицом его на площади Санта Кроче. Указ этот испугал Синьорию еще больше, чем предыдущие его речи, и она объединилась с теми гражданами, которых считала наиболее преданными родине и свободе. Хорошо

отдавая себе отчет в силах герцога, они решили только увещевать его и попытаться, раз уж сопротивление невозможно, убеждением отклонить его от замысла или же хотя бы сделать его самовластие не столь уж суровым. И вот часть членов Синьории отправилась к герцогу, и один из них обратился к нему с нижеследующей речью.

«Мы явились к вам, синьор, прежде всего по вашему вызову, а затем по указу вашему о всенародном сборе, ибо нам представляется несомненным, что вы стремитесь чрезвычайными мерами добиться того, что мы не хотели вам дать законным порядком. Мы отнюдь не намереваемся силою противиться вашим замыслам, мы только хотим, чтобы вы поняли, как тяжело будет для вас бремя, которое вы собираетесь на себя возложить, дабы вы всегда могли вспоминать о наших советах и о тех, совершенно противоположных, которые дают вам люди, озабоченные не вашей пользой, а стремлением насытить свою злобу. Вы хотите обратить в рабство город, который всегда жил свободно, ибо власть, которую мы в свое время вручали королям неаполитанским, означала содружество, а не порабощение. Подумали ли вы о том, что означает для такого города и как мощно звучит в нем только слово „свобода“? Слово, которого сила не одолеет, время не сотрет, никакой дар не уравновесит. Подумайте, синьор, какие силы потребуются, чтобы держать такой город в рабстве. Тех, что вы получите извне, будет недостаточно, а внутренним вы довериться не сможете, ибо нынешние ваши сторонники, толкающие вас на этот шаг, едва только расправятся при вашем содействии со своими недругами, тотчас же начнут искать способов сокрушить вас, дабы самим остаться господами положения. Низы, которым вы сейчас доверяете, меняются при малейшей перемене обстоятельств, так что в любой миг весь город может превратиться в вашего врага, погубив и себя самого, и вас. Никакого лекарства от этой беды нет, ибо обезопасить свое господство могут лишь властители, у которых немного врагов, коих легко обезвредить, послав на смерть или в изгнание. Но когда ненависть окружает тебя со всех сторон, не может быть никакой безопасности, ибо не знаешь, откуда грозит удар, а, опасаясь всех, нельзя доверять никому. Стараясь избавиться от угрозы, только усугубляешь опасность, ибо все обиженные разгораются еще большей враждой и еще яростней готовы мстить. Нет сомнения, что время не может заглушить жажду свободы, ибо сколь часто бывали охвачены ею во многих городах жители, никогда сами не вкушавшие ее сладости, но любящие ее по памяти, оставленной их отцами, и если им удавалось вновь обрести свободу, они защищали ее с великим упорством, презирая всякую опасность. А если бы даже этой памяти не завещали им отцы, она вечно живет в общественных зданиях, в местах, где вершили дела должностные лица, во всех внешних признаках свободных учреждений, во всем, что стремятся на деле познать все граждане. Какие же деяния рассчитываете вы совершить, способные уравновесить сладость свободной жизни или вытравить из сердца граждан стремление вернуть нынешние установления? Нет, ничего такого не удастся вам сделать, даже если бы вы присоединили к этому государству всю Тоскану и каждый день возвращались в этот город после победы над нашими врагами, ибо вся эта слава была бы вашей, а не их славой, и граждане Флоренции приобрели бы не подданных, а сотоварищей по рабству, что еще глубже погружало бы их в рабское состояние. И даже будь вы человек святой жизни, благожелательный в обращении, праведнейший судья – всего этого недостаточно было бы, чтобы вас полюбили. И если бы вы сочли, что этого довольно, то впали бы в заблуждение, ибо всякая цепь тягостна тому, кто жил свободно, и любые узы стесняют его. К тому же правление насильственное несовместимо с добрым государем, и неизбежно должно случиться, что они либо уподобятся друг другу, либо одно уничтожит другое. Поэтому у вас есть лишь один выбор: или управлять этим городом, применяя самые крайние средства насилия, для чего весьма часто недостаточно бывает крепостей, вооруженной стражи, внешних союзников, или довольствоваться той властью, какой мы вас облекли, к чему мы вас и призываем, напоминая вам, что единственная прочная власть та, которую люди признают по своей доброй воле. Не стремитесь же в ослеплении ничтожным честолюбием к положению, в котором не сможете прочно обосноваться и из которого вам нельзя будет подняться выше и где, следовательно, вы обречены на падение к величайшему вашему и нашему несчастью».

XXXV

Речь эта нисколько не тронула ожесточившуюся душу герцога. Он ответил, что отнюдь не намеревается лишать этого города свободы, а напротив – вернуть ему ее, ибо в рабстве живут лишь города, разделенные внутренними распрями, а где царит единение, там и свобода. И если Флоренция под его властью освободится от ига партий, игры личных честолюбий и частных раздоров, это не отнимет у нее свободу, а вернет ее. Не честолюбие заставляет его принять на себя это бремя, а молвы свободы весьма многих граждан, и поэтому им, синьорам, следовало бы принять то, что

устраивает других. Что опасностями, связанными с этим делом, он пренебрегает, ибо лишь недостойный человек отказывается от благих намерений из страха перед злом, и только трус уклоняется от славного предприятия, если исход его сомнителен. И что он надеется деяниями своими вскорости убедить всех, что ему слишком мало доверяли и слишком его опасались.

Синьоры, видя, что ничего они не добьются, условились назавтра утром созвать весь народ на площадь перед дворцом и с его согласия вручить герцогу верховную власть на один год на тех же условиях, на каких она уже вручалась Карлу, герцогу Калабрийскому. 8 сентября 1342 года герцог в сопровождении мессера Джованни делла Тоза, всех своих сторонников и многих других граждан явился на площадь и вместе с синьорами взшел на трибуну, как называют флорентийцы ступени, ведущие от площади ко Дворцу Синьории, откуда и были прочитаны народу условия, установленные между Синьорией и герцогом. Когда дошли до статьи, по которой верховная власть вручалась ему на один год, народ принялся кричать: «Пожизненно!». Когда мессер Франческо Рустикелли, один из членов Синьории, поднялся, чтобы речью своей успокоить возбужденную толпу, слова его прерваны были еще большим шумом; так что по желанию народа герцог избран был владетелем Флоренции не на год, а пожизненно. Тут толпа подхватила его, подняла и торжественно понесла по площади, выкрикивая его имя. По обычаю глава дворцовой охраны в отсутствие членов Синьории должен запереться во дворце: тогда в должности этой состоял Риньери ди Джотто. Подкупленный друзьями герцога, он впустил его во дворец без всякого сопротивления, а испуганные и опозоренные синьоры разошлись по своим домам. Дворец был разграблен герцогской челядью, знамя народа разорвано, а на фасаде дворца прикреплен герб герцога. Все эти события вызвали безграничную скорбь и уныние благонамеренных граждан и величайшую радость тех, кто участвовал в них по невежеству или злонамеренности.

XXXVI

Будучи облечен верховной властью, герцог, дабы лишить всякой власти людей, являвшихся всегда защитниками свободы, запретил членам Синьории собираться во дворце и предоставил им один частный дом; он отобрал знамена у гонфалоньеров компаний, возглавлявших народные вооруженные отряды, отменил Установления справедливости, направленные против грандов, освободил заключенных, вернул во Флоренцию семейства Барди и Фрескобальди и всем запретил ношение оружия. Дабы лучше защищаться от внутренних врагов, он замирился с внешними, причем весьма убоготворил жителей Ареццо и всех других противников; заключил мир с Пизой, хотя был призван в качестве синьора для ведения с нею войны; аннулировал обязательства, выданные купцам, одолжившим республике деньги для ведения Луккской войны; увеличил прежние налоги и установил новые; лишил Синьорию всякой власти. Управителями у него были мессер Бальоне из Перуджи и мессер Гульельмо из Ассизи, каковые вместе с мессером Череттьери Висдомини и являлись его советниками. Он донимал граждан тяжкими поборами, суд вершил несправедливо, а строгость нравов и человечность, которые он на себя напускал, обернулись гордыней и жестокостью. Таким образом многие граждане из грандов и из знатных пополанов находились под постоянной угрозой денежных штрафов, смерти и всевозможных иных способов угнетения. А чтобы вне города его правления было не лучше, чем внутри, он назначил для флорентийской территории за пределами столицы шесть управителей, которые угнетали и грабили сельских жителей. Гранды были у него на подозрении, несмотря на то что они же его поддерживали и он многих из них возвратил в отечество. Он не мог представить себе, чтобы благородные души, какие часто можно встретить среди нобилитета, чувствовали себя удовлетворенными под его владычеством. Поэтому он принялся заигрывать с низами в расчете на то, что с их помощью и при поддержке чужеземного оружия сможет сохранить тиранию. Когда наступил месяц май, который в народе обычно отмечают празднествами, он приказал образовать из низов и из тощего народа вооруженные отряды, которым дал громкие названия, роздал знамена и деньги. Из них одни торжественно ходили по городу, а другие принимали их с великой пышностью. Всюду распространилась молва о возвышении герцога, и к нему стали стекаться французы, а он раздавал им должности как людям, которым мог вполне довериться. Так что вскоре Флоренция не только подпала под власть французов, но стала даже перенимать их обычаи и наряды, ибо и мужчины и женщины подражали им без всякого стыда, позабыв об отечественных обычаях. Но больше всего возмущали в нем и его приспешниках насилия, которые они, не краснея, позволяли себе в отношении женщин.

Так и жили граждане Флоренции, с негодованием глядя на то, как сокрушается величие их государства, как извращаются все установления, как уничтожается законность, портятся нравы, попирается всякая пристойность. Те, кто никогда не наблюдал внешней пышности монархической власти, не могли без горести видеть, как

по городу торжественно разъезжает герцог, окруженный конной и пешей свитой. И для того, чтобы еще яснее сознавать свой позор, были они вынуждены выражать почтение тому, кого смертельно ненавидели. К этому еще добавлялся страх, вызываемый частыми казнями и непрерывными поборами, терзавшими и разорявшими город. Негодование и страх граждан были хорошо известны герцогу, и сам он тоже боялся, но тем не менее делал вид, будто считает, что всеми любим. И вот случилось, что Маттео Мороццо, то ли для того, чтобы заслужить его милость, то ли, чтобы отстранить от себя погибель, донес ему о заговоре, который учиняли против него семейство Медичи и еще кое-кто из граждан. Однако герцог не только не начал следствия по этому делу, но вместо этого предал постыдной смерти доносчика. Этот поступок отнял у всех, кто готов был осведомлять его об опасности, всякое желание делать это и предал его в руки тех, кто жаждал его гибели. За то, что Бертоне Чини открыто возмущался его поборами, он велел отрезать ему язык с таким мучительством, что Бертоне скончался. Гнев народа и ненависть к герцогу от этого еще усилились, ибо флорентийцы, привыкшие и делать, и говорить совершенно свободно все, что хотели, не могли перенести, чтобы им затыкали рот.

Возмущение и ненависть дошли до того, что не только флорентийцы, не умеющие ни сохранять свободу, ни переносить рабства, но даже самый приниженный народ загорелся бы стремлением вернуть свободную жизнь. И вот множество граждан всех сословий замыслили или отдать свою жизнь, или вновь стать свободными. С трех сторон, трех родов граждане – нобили, пополаны и ремесленники – учинили три заговора. Помимо общих оснований для ненависти к герцогу, у них всех были и свои особые причины: гранды возмущены были тем, что управление государством им так и не досталось, пополаны тем, что они его лишились, а ремесленники – потерей заработков. Архиепископом флоренции был мессер Аньоло Аччаюоли, который поначалу прославлял в проповедях своих деяния герцога и весьма помог ему завоевать любовь народа. Но когда он увидел герцога полновластным государем и познал все его тиранство, то счел, что тот обманул надежды родины, и, дабы искупить свою вину, решил, что рука, нанеся рана, должна и вылечить ее. Поэтому он стал главой первого и самого сильного заговора, в коем участвовали также Барди, Росси, фрескобальди, Скали, Альтовити, Магалотти, Строцци и Манчини. Главариями второго были мессеры Манно и Корсо Донати, а с ними заодно – Пацци, Кавиччули, Черки и Альбицци. Во главе третьего стоял Антонио Адимари, и в нем участвовали Медичи, Бордони, Ручеллаи и Альдобрандини. Эти думали сперва умертвить герцога в доме Альбицци, куда, как они полагали, он придет в день святого Иоанна смотреть на конские бега. Однако он туда не пришел, и замысел этот не удался. Явилась у них мысль напасть на него во время прогулки его по городу, но это было весьма затруднительно, ибо герцог выезжал всегда хорошо вооруженный и сопровождаемый сильным конвоем и к тому же всегда отправлялся в разные места, так что неизвестно было, где его подстергать. Обсуждали и вопрос об умерщвлении герцога в Совете, но там даже после его гибели они оказались бы в руках его охраны.

Пока заговорщики выработывали все эти планы, Антонио Адимари открыл их замыслы кое-кому из своих друзей в Сиене, чтобы получить от них помощь, назвав им некоторых заговорщиков и убеждая, что весь город готов к борьбе за свободу. Один из сиенцев в свою очередь сообщил об этом мессеру Франческо Брунеллески, не для того чтобы сделать донос, а потому, что он считал его участником заговора. Мессер же Франческо, то ли страшась за себя, то ли из ненависти к некоторым заговорщикам, открыл все герцогу, который велел схватить Пагола дель Мадзека и Симоне да Монтерапполи. Те поведали ему, кто заговорщики и сколько их, герцог пришел в ужас, и ему посоветовали не арестовывать их, а только вызвать на допрос, ибо, если они скроются, изгнание избавит его от них без лишнего шума. Герцог тогда вызвал Антонио Адимари, каковой, полагаясь на сообщников, явился к герцогу и был арестован. Мессер Франческо Брунеллески и мессер Угуччоне Буондельмонти посоветовали герцогу прочесать вооруженными отрядами всю страну и всех захваченных предавать смерти, но этот совет он отклонил, считая, что против такого количества врагов войска у него недостаточно, и принял другое решение, которое, если бы его удалось осуществить, избавляло его от врагов и укрепляло его власть. Герцог имел обыкновение вызывать к себе граждан по своему выбору, чтобы советоваться с ними по делам города, он составил список из трехсот граждан и послал к ним нарочных с вызовом якобы на совет: намерение его состояло в том, чтобы, собрав их у себя, умертвить или бросить в темницу и тем самым избавиться от них. Но арест Антонио Адимари и приказ о сборе войск, что невозможно было сохранить в тайне, насторожили граждан, особенно же заговорщиков, и наиболее смелые отказались повиноваться вызову. А так как все они ознакомились со списком, то и узнали своих единомышленников и поддержали друг в друге мужественную решимость лучше умереть с оружием в руках, чем позволить, чтобы их погнали на бойню, точно скотов. Так что весьма скоро все три группы заговорщиков

открылись друг другу, и решено было на следующий день, 26 июля 1343 года, учинить на Старом рынке беспорядки, а затем взяться за оружие и призвать народ к борьбе за свободу.

XXXVII

На следующий день при полуденном звоне колокола заговорщики, согласно отданному приказу, взяли за оружие, весь народ под возгласы «Свобода!» вооружился и каждый занял свое место у себя в квартале под знаменами народных отрядов, которые втайне приготовили заговорщики. Все главы семейств нобилей и пополанов собрались и дали клятву защищать друг друга, а герцога предать смерти. К ним не примкнули только Буондельмонти и Кавальканти да еще те четыре семейства пополанов, которые содействовали приходу герцога к власти: эти, объединившись с мясниками и другими из низов, сбежали с оружием на площадь и стали на его защиту. Как только начался мятеж, герцог укрепился во дворце, а его сторонники, размещенные в разных концах города, вскочили на своих коней и устремились на площадь, но по дороге их перехватывали и убивали. Однако около трехсот всадников сумели все же прорваться на площадь. Герцог колебался, сражаться ему с врагами на площади или же защищаться во дворце. Но Медичи, Кавиччули, Ручеллаи и другие семейства, больше всего пострадавшие от герцога, со своей стороны опасались, что если он покажется на площади, многие из тех, кто сейчас восстал, опять превратятся в его сторонников, и чтобы не дать ему возможности сделать вылазку и увеличить свои силы, они объединились и ворвались на площадь. При их появлении люди из пополанских семейств, принявших сторону герцога, видя, что на них безо всякого стеснения нападают, а судьба герцогу изменяет, тоже изменили свои чувства и присоединились к согражданам, кроме мессера Угуччоне Буондельмонти, который вошел во дворец, и мессера Джанноццо Кавальканти, который с частью своих сторонников отступил к Новому рынку. Там он взобрался на скамью и стал призывать народ, идущий с оружием на площадь, встать на защиту герцога, причем всячески запугивал людей, преувеличивая силы герцога и грозя им смертью, если они будут упорствовать в своем намерении восстать против государя. Видя, что никто за ним не идет, но и не пытается с ним расправиться за его дерзость, и что он только зря тратит силы, он решил не испытывать больше судьбу и заперся у себя в доме.

Между тем схватка на площади между народом и людьми герцога превратилась в настоящее сражение, и хотя последним за стенами дворца защищаться было легче, они были побеждены: одни из них сдались на милость противника, другие укрылись во дворце. Пока на площади сражались, Корсо и Америго Донати с частью вооруженного народа ворвались в тюрьму Стинке, сожгли документы подеста и государственного казначейства, разгромили дома управителей и перебили всех прислужников герцога, какие попадались им под руку. Герцог со своей стороны, видя, что площадь в руках его врагов, весь город на их стороне и ни на какую помощь надежды нет, попытался вернуть себе симпатии народа какими-либо великодушными деяниями. Он велел привести к себе заключенных, с ласковыми речами вернул им свободу и посвятил в рыцари Антонио Адимари, хотя тот совсем этого не желал. Он велел также снять свой герб, красовавшийся над дворцом, и заменить его гербом флорентийского народа. Но все эти уступки, запоздалые и неуместные, ибо они были вырваны силой и дарованы скрепя сердце, мало ему помогли. Полный досады, он оставался осажденным у себя во дворце и осознал, наконец, что, стремясь к слишком многому, потерял все и что через несколько дней придется ему принять смерть или от голода или от меча. Дабы восстановить порядок в государстве, граждане собрались в Сан Репарата и избрали четырнадцать человек из своего состава – половину из грандов, половину из пополанов, которых вместе с епископом они облекли всеми полномочиями для восстановления флорентийского государства. Выбрали также шесть человек для осуществления функций подеста, пока их не сможет сменить тот, кого вновь назначат.

Между тем во Флоренцию прибыло множество вооруженных людей на помощь народу, и среди них сиенцы во главе с шестью посланниками, людьми, весьма чтимыми у себя на родине. Они пытались выступить посредниками между народом и герцогом; однако народ не пожелал и слышать о каких-либо переговорах, пока ему не выдадут на суд и расправу мессера Гульельмо из Ассизи и его сына, а также мессера Черреттьери Висдомини. Герцог на это никак не соглашался, но тут ему стали угрожать другие осажденные вместе с ним во дворце, и он вынужден был уступить силе. Без сомнения ярость в сердцах людей гораздо острее и раны гораздо глубже, когда идет борьба за восстановление свободы, чем когда ее защищают. Мессер Гульельмо и сын его попали в руки бесчисленных врагов, а сын этот был почти мальчик, еще не достигший восемнадцати лет. И все же ни молодость его, ни невиновность, ни красота не могли спасти его от ярости толпы. Те, кому не удалось нанести удара отцу и сыну, пока они были еще живы, кромсали их трупы и, не довольствуясь

ударами мечей, рвали тела их пальцами. А чтобы насытить мщением все свои чувства, они, насладившись их криками, зрелищем их ран, впивавшиеся в их плоть, захотели и на вкус попробовать ее, так чтобы мщение утолило не только внешние чувства, но и нутро.

Бешенство это оказалось столь же губительным для Гульельмо из Ассизи с сыном, сколь и спасительным для мессера Черреттьери. Толпа, утолив свою жестокость этими двумя жертвами, о нем позабыла. Его никто не требовал, он и остался во дворце, а ночью некоторые из друзей и родственников незаметно вывели его оттуда. Когда толпа насытила ярость свою пролитой кровью, заключено было соглашение, по которому герцогу предоставлялось право удалиться из Флоренции со всем имуществом и своими людьми при условии отказа от власти над нею, каковое соглашение он ратифицирует уже вне ее пределов, в Казентино. Заключив это соглашение, он 6 августа выехал из Флоренции в сопровождении множества граждан и по прибытии в Казентино подтвердил свое отречение, хоть и скрепя сердце. Он бы не сдержал данного слова, если бы граф Симоне не пригрозил, что препроводит его обратно во Флоренцию. Был этот герцог, как видно по его правлению, жаден, жесток, труднодоступен и высокомерен в обращении. Стремился он не к расположению народа, а к порабощению его, и потому хотел вызывать страх, а не любовь. Внешность его была не менее отвратительна, чем повадки: был он мал ростом, чернявый, с длинной, но реденькой бородой, так что с какой стороны на него ни смотреть, он заслуживал только ненависть. Так вот через десять месяцев по злобности нрава своего лишился он верховной власти, которую захватил по зловерным советам своих сторонников.

XXXVIII

События эти, имевшие место во Флоренции, придали ее подданным мужество вернуть себе свободу. Так что против флорентийцев восстали Ареццо, Кастильоне, Пистойя, Вольтерра, Колле, Сан-Джиминьяно. Флоренция лишилась сразу и тирана своего, и владений; отвоевав свою свободу, она научила своих подданных, как это делается. После изгнания герцога и утраты владений совет Четырнадцати и епископ рассудили, что лучше миром убоготворить подданных, чем превратить их во врагов, начав с ними войну, и следует показать им, что флорентийцы так же довольны их свободой, как и своей собственной. Поэтому послали они в Ареццо своих послов, которые должны были официально отречься от власти над этим городом и договориться, что, не относясь теперь к аретинцам как к подданным, Флоренция все же может рассчитывать на их помощь уже на правах дружбы. И с другими городами флорентийцы договорились так благополучно, как только могли, обещая в случае сохранения между ними дружбы помогать им уже не как подданным, а как независимым людям, охранять их свободу. Это благоразумное решение привело к самым отрадным последствиям, ибо уже через несколько лет Ареццо вернулся под власть Флоренции, а прочие города принуждены были даже через несколько месяцев вернуться к прежнему повиновению. Так очень часто достигаешь и скорее и без особых опасностей и затрат того, чего якобы вовсе не домогаешься, чем если добиваешься этого упорно и напрягая все свои силы.

XXXIX

Успокоившись насчет внешних обстоятельств, флорентийцы обратились к внутренним. После некоторых разногласий между грандами и пополанами, решено было, что грандам предоставляется в Синьории третья часть всех мест, а в других учреждениях республики – половина. Как мы уже говорили, город разделен был на шесть частей и поэтому избирались всегда шесть членов Синьории, по одному от каждой сестьеры. Правда, иногда, в зависимости от обстоятельств, бывало двенадцать, а то и тринадцать синьоров, но затем всегда возвращались к шести. Теперь принято было решение видоизменить Синьорию, как потому, что деление города на шесть частей не было удовлетворительным, так и потому, что постановление о представительстве грандов требовало увеличения числа членов Синьории. Город разделили на картьеры с тем, чтобы от каждой картьеры было три члена Синьории. В отношении гонфалоньера правосудия и гонфалоньера вооруженных компаний народа все осталось без изменения, но вместо двенадцати добрых мужей постановили назначать восемь советников, по четыре от каждого из двух сословий. При установленном таким порядком правительстве город мог бы существовать вполне мирно, если бы гранды проявляли скромность, необходимую в общественной жизни, но они вели себя совершенно по-другому. В качестве частных граждан они не признавали никакого равенства, занимая должности, желали действовать самовластно, и каждый день так или иначе проявляли свою наглость и высокомерие. Такое их поведение возмущало народ, который жаловался, что, свергнув одного

тирана, породили целую тысячу. Высокомерие с одной стороны, возмущение с другой настолько увеличились, что вожаки пополанов решили пожаловаться епископу на неблагоприятное поведение грандов и на их нежелание ладить с народом. Они убедили епископа стать посредником и уговорить грандов, чтобы они удовольствовались частью мест во всех магистратурах, кроме членства в Синьории, каковая должна состоять из одних лишь пополанов. Епископ был от природы человек благонамеренный, но с легкостью переходил от одной стороны к другой: потому-то и вышло, что сперва по настоянию своих друзей он был на стороне герцога Афинского, а затем, вняв советам других граждан, вступил в заговор против него. При последнем переустройстве государственной власти он защищал интересы грандов, теперь же, поколебленный доводами представителей народа, подумал, что следует поддержать народные требования. Считая других такими же неустойчивыми, каким он сам был, епископ решил, что дело это уладить будет нетрудно. Он собрал совет четырнадцати, еще не утративший своих полномочий, и самыми убедительными словами, какие только мог найти, старался уговорить их уступить пополанству всю полноту власти в Синьории, обещая им, что в этом случае в городе воцарится мир, в противном же – все рухнет и им не сдобровать. Предложение это привело дворян в ярость, а мессер Ридольфо Барди в самых резких выражениях напал на епископа за двурушничество, упрекая его за легкомыслие, с которым он поддержал герцога, и называя предательством роль, сыгранную им при изгнании тирана. Речь же свою закончил заявлением, что право участия в высшей магистратуре, завоеванное нобильями с опасностью для жизни, они готовы защищать, также не щадя себя. От епископа он со своими друзьями ушел в великом гневе и тотчас же поспешил уведомить своих родичей и другие нобильские семьи о том, что против них замышляется. Тогда вожди народной партии открыто заявили о своих требованиях. В то время как гранды собирались на защиту своих представителей в Синьории, народ рассудил, что незачем ему дожидаться, пока они подготовятся, и, взявшись за оружие и громко провозглашая свое требование об отказе нобильям в праве участия в Синьории, устремился ко дворцу. Шума и смятения было весьма много. Члены Синьории убедились, что помощи им ждать неоткуда, ибо гранды, видя, что весь народ вооружен, не осмелились взяться за оружие и не стали выходить из своих домов. Пополанские члены Синьории пытались успокоить народ, заявляя, что их коллеги-гранды – люди скромные и благонамеренные, но это им не удалось, и они решили дать синьорам из грандов возможность хотя бы безопасно разойтись по домам, куда те и были доставлены живыми и здоровыми, хотя и не без труда. Когда гранды удалились из дворца, четырех советников из грандов тоже лишили полномочий и постановили увеличить число членов Синьории из пополанов до двенадцати. Затем оставшиеся во дворце восемь членов Синьории назначили гонфалоньера справедливости и шестнадцать гонфалоньеров вооруженных компаний народа, а Совет видоизменили таким образом, что теперь он всецело зависел от воли народа.

XL

Когда все это происходило, в городе наступила великая нехватка продовольственных припасов, так что недовольными были и гранды и мелкий люд: одни – потому что стали голодать, другие – потому что лишились власти и достоинства. Это положение вдохнуло в мессера Андреа Строцци мысль отнять у города его свободу. Он начал продавать свое зерно дешевле, чем другие, что привлекло к нему большое количество покупателей. И вот как-то утром он дерзнул выехать со своего двора верхом на коне в сопровождении кое-кого из тех, кто приходил к нему, и призывать народ к оружию. Через несколько часов у него собралось более четырех тысяч человек, с коими он двинулся ко Дворцу Синьории и потребовал, чтобы его впустили. Однако синьорам удалось угрозами и вооруженной силой очистить площадь от толпы, а затем настолько запугать ее своими грозными постановлениями, что мало-помалу все разошлось по домам, а мессер Андреа, оставшись в одиночестве, мог лишь не без труда избежать ареста, обратившись в бегство.

Хотя замысел этот при всей своей дерзновенности закончился так, как обычно кончаются подобные выступления, он породил в грандах надежду одолеть пополанов, поскольку оказалось, что неимущие низы с ними не в ладу. И чтобы не упустить благоприятного случая, порешили они вооружиться таким образом, чтобы силой, но законно вернуть себе то, что отнято было у них силой беззакония. И так была тверда у них уверенность в победе, что они почти открыто раздобывали себе оружие, укрепляли свои дома и даже в Ломбардию посылали просить своих друзей о помощи. Народ в свою очередь в согласии с Синьорией принимал меры предосторожности, вооружаясь и посылая за помощью в Перуджу и Сиену. Обе партии уже получили просимую помощь, весь город был вооружен. Гранды, обитавшие по эту сторону Арно, укрепились в трех местах: в домах Кавиччули близ Сан Джованни, в

домах Пацци и Донати у Сан Пьеро Маджоре и в домах Кавальканти у Нового рынка. Дворяне, жившие на том берегу, укрепились на мостах и на улицах, где находились их дома: Нерли защищали мост Каррайя, фрескобальди и Маннелли – Санта Тринита, Росси и Барди – Старый мост и Рубаконте. Со своей стороны пополаны собрались под знаменем гонфалоньера справедливости и под знаменами вооруженных отрядов народа.

XLI

При создавшемся положении народ решил, что нет смысла оттягивать столкновение. Первыми двинулись на противника Медичи и Рондинелли, напавшие на Кавиччули со стороны площади Сан Джованни, неподалеку от их домов. Там схватка оказалась весьма кровопролитной, ибо на нападающих с башен сбрасывали камни, а внизу их засыпали стрелами из арбалетов. Битва длилась уже три часа, но к народу все время подходили подкрепления, так что Кавиччули, видя, что им не устоять против численного превосходства и что помощи ждать неоткуда, сдались на милость народа, каковой не тронул их домов и имущества. У них только отобрали оружие и велели им разойтись по домам тех пополанов, где у них имелись родичи и друзья. После того как был одержан этот первый успех, нетрудно оказалось одолеть Донати и Пацци, которые были послабее. По ту сторону Арно оставались только Кавальканти, сильные и количественно и занимаемой ими позицией. Однако, видя, что против них действуют все вооруженные отряды народа под знаменами своих компаний (а для того, чтобы покончить с их союзниками, оказалось достаточно трех отрядов), они сдались после довольно вялой защиты. В руках народа были уже три из четырех частей города. Гранды занимали последнюю, но ее-то и было труднее всего захватить как из-за значительной силы защитников, так и из-за ее положения: нападавшим преграждала путь река. Первым подвергся нападению Старый мост, но его энергично обороняли, ибо на башнях было много вооруженных воинов, все выходы были забаррикадированы, а баррикады защищались отчаяннейшими людьми. Так что народные силы отступили с большими потерями. Видя, что здесь только зря тратятся силы, они попытались прорваться на мосту Рубаконте, но так как и там им встретились те же самые трудности, они оставили четыре отряда в качестве заслона у этих мостов, все же остальные устремились в прорыв у моста Каррайя. И хотя Нерли доблестно оборонялись, им не удалось противостоять яростному натиску народа, то ли потому, что мост этот, не имея башен, был хуже защищен, то ли потому, что обитавшие по соседству Каппони и другие семейства пополанов тоже напали на защитников. Под напором со всех сторон те оставили свои баррикады и открыли народу путь. Вскоре вслед за тем поражение потерпели Росси и фрескобальди, так как все простые граждане с того берега Арно присоединились к побеждающим. Спротивление оказывали теперь одни только Барди, которых не поколебали ни разгром их союзников, ни объединение против них всех народных сил, ни почти полное отсутствие надежд на какую бы то ни было помощь со стороны. Они предпочитали умереть, сражаясь, или видеть, как их дома жгут и громят, чем добровольно сдать на милость своих врагов. Потому и защищались они так, что народ, тщетно пытавшийся одолеть их то со стороны Старого моста, то со стороны моста Рубаконте, неизменно откатывался назад, неся большие потери убитыми и ранеными. В свое время проложена была улица, ведущая от римской дороги через дома Питти до стен, стоявших на холме Сан Джорджо. По этой улице народ послал шесть отрядов с приказом напасть с тыла на дома Барди. Это нападение сломило боевой дух Барди и обеспечило победу народа, ибо защитники уличных баррикад, видя, что дома их громят, бросили место боя и устремились на защиту своих домов. Вследствие этого пали заграждения на Старом мосту, а Барди, повсюду обращавшиеся в бегство, нашли приют в домах Кварати, Панцани и Моцци. Народ же и более всего самые низшие его слои, охваченные жадной добычи, принялись грабить и громить дома побежденных, разрушая и предавая огню их дворцы и башни с таким бешенством, которого постыдились бы даже самые заклятые враги Флоренции.

XLII

Одолев грандов, народ установил в государстве новый порядок. Так как он делился на три разряда – имущих людей, средних по достатку и малоимущих – решено было, что высший разряд будет иметь двух членов Синьории, средний – трех и столько же низший, гонфалоньер же будет назначаться из каждого из них поочередно. В добавление к этому восстановлены были все Установления справедливости, направленные против грандов, а чтобы их еще более ослабить, многие их семейства расселили среди пополанского мелкого люда. Нобили разгромлены были так основательно и партия их так пострадала, что они не только уже не осмеливались поднимать оружие против народа, но становились все более кроткими и униженными, а это привело к тому, что с той поры Флоренция утратила не только искусство

владеть оружием, но и какой бы то ни было воинский дух. После этих смут республика пребывала в мире до 1353 года, и в течение этого времени приключилось то памятное чумное поветрие, о котором столь красноречиво повествовал мессер Джованни Боккаччо и которое стоило Флоренции более девяноста шести тысяч человеческих жизней. В то же самое время произошла и первая война Флоренции с домом Висконти из-за честолюбивых замыслов архиепископа, бывшего тогда в Милане государем, и не успела эта война закончиться, как в городе снова начались несогласия. Так, несмотря на то, что нобили были разгромлены, у судьбы оказалось немало иных способов порождать через новые раздоры новые бедствия.

Книга третья

I

Глубокая и вполне естественная вражда, существующая между пополанами и нобилими и порожденная стремлением одних властвовать и нежеланием других подчиняться, есть основная причина всех неурядиц, происходящих в государстве. Ибо в этом различии умонастроений находят себе пищу все другие обстоятельства, вызывающие смуты в республиках. Именно оно поддерживало раздоры в Риме, и оно же, если позволено уподоблять малое великому, поддерживало их во Флоренции, порождая, однако, в обоих этих городах различные последствия. Противоречия, возникавшие с самого начала в Риме между народом и нобилими, приводили к спорам; во Флоренции они выливались в уличные схватки. В Риме им ставило пределы издание нового закона, во Флоренции они заканчивались лишь смертью или изгнанием многих граждан. В Риме они укрепляли военную доблесть, во Флоренции она из-за них бесповоротно угасла. В Риме от равенства граждан между собою они привели их к величайшему неравенству; во Флоренции от неравенства они низвели их к равенству, вызывающему лишь горькое изумление. Это различие в следствиях следует объяснять различием в целях, которые ставили себе оба народа. Ибо народ римский стремился пользоваться той же полнотой власти вместе с нобилитетом, флорентийский же народ хотел править государством один, без участия нобилей. И так как стремления римского народа были более разумны, нобили легче переносили чинимые им обиды и большей частью уступали, не прибегая к оружию, так что после некоторого спора издавался по общей договоренности закон, и удовлетворявший народ, и сохранявший за нобилими их прежнее положение в государстве. Напротив, устремления флорентийского народа были столь же оскорбительны, сколь и несправедливы, так что дворянство старалось защищать себя, увеличивая свои военные силы, а из-за этого гражданская распря кончалась кровопролитием и изгнанием побежденных. Законы же, издававшиеся после нее, имели целью отнюдь не общее благо, а только выгоду победителя. Такое положение вещей приводило еще и к тому, что победы римского народа укрепляли в нем гражданский дух, ибо, получая возможность занимать государственные должности, командовать войсками и управлять завоеванными землями наравне с аристократами, люди из народа преисполнялись теми же добродетелями, и государство в усилении гражданского духа черпало все новую и новую мощь. Но когда во Флоренции побеждали пополаны, нобили не допускались к должностям, и если они желали быть снова допущенными к ним, им приходилось не только уподобиться простому народу и в поведении своем, и в чувствах, и во внешнем обиходе, но и казаться всем такими. Отсюда – изменение фамильных гербов, отречение от титулов, к которым нобили прибегали для того, чтобы их можно было принять за людей простого звания. Так и получилось, что воинская доблесть и душевное величие, свойственные вообще нобильскому сословию, постепенно угасали. В народе же их никогда не было, и потому они не могли в нем возродиться, так что Флоренция становилась все слабее и униженнее. Однако добродетели римские с течением времени превратились в гордыню, и дошло до того, что Рим мог существовать лишь под властью самовластного государя. Флоренция же оказалась в таком положении, что мудрый законодатель мог бы установить в ней любой образ правления.

При чтении предыдущей части моего труда легко убедиться в правильности моих утверждений. После того как показано было, как возникла флорентийская республика, на чем основывалась ее гражданская свобода и что вызывало в ней раздоры, после того как мы рассказали, каким образом разделение флорентийского народа на партии привело к тирании герцога Афинского и крушению нобильского сословия, остается поведать о вражде между пополанами и низами и о различных

II

После того как нобили были принижены, а война с архиепископом Миланским закончена, казалось, что во Флоренции не осталось уже никаких причин для волнений. Но злая судьба нашего города и несовершенство его гражданских установлений породили вражду между семействами Альбицци и Риччи, каковая разделила Флоренцию так же, как ранее разделила ее борьба между Буондельмонти и Уберти, а затем между Донати и Черки. Папский престол, находившийся тогда во Франции, и императоры, пребывавшие в Германии, дабы сохранить свое влияние в Италии, в разное время послали туда немалое число солдат различных национальностей, так что в то время, о котором сейчас идет речь, там были англичане, немцы, бретонцы. Войны между тем закончились, и они оказались без заработка, а потому стали возникать отряды наемников, требовавших деньги то от одного государя, то от другого. В 1353 году один из таких отрядов под началом провансальского сеньора Монреалья появился в Тоскане, нагоняя ужас на все тамошние города, и Флоренция не только набрала войско за счет государства, но вооружилась также ради личной безопасности многие частные граждане, между прочими Альбицци и Риччи. Семейства эти пылали друг к другу враждой, и каждое только и помышляло о том, как бы сокрушить другое и захватить в республике верховную власть. Впрочем, до вооруженных столкновений между ними еще не доходило, они только оскорбляли друг друга во всех магистратурах и на советах. Когда все в городе оказались вооруженными, случайно возникла какая-то незначительная перепалка на Новом рынке, куда, как это всегда бывает в подобных случаях, сразу сбегался народ. Суматоха усилилась, и семейству Риччи кто-то сообщил, что на его людей нападают Альбицци, а семейство Альбицци получило сведения, что на него двинулись Риччи. Весь город поднялся на ноги, и магистратам с великим трудом удалось обуздать оба семейства, так что схватка, слух о которой распространился случайно и безо всякой их вины, не произошла. Но случай этот, сам по себе пустяковый, еще усилил их взаимное ожесточение, и они принялись, как только могли, набирать себе побольше сторонников. Поскольку с крушением грандов все граждане пребывали в таком равенстве, что чтили должностных лиц республики более, чем когда-либо до того, оба семейства решили попытаться достичь верховной власти в республике законным образом, не прибегая к схваткам между своими сторонниками.

III

Выше мы рассказывали о том, как во Флоренции после победы Карла I правление перешло к гвельфам, каковые получили немалую власть над гибеллинами. Однако с течением времени, после многих новых событий и новых раздоров, все это настолько позабылось, что теперь немало потомков прежних гибеллинов занимали самые высокие должности в государстве. И вот Угуччоне, глава семейства Риччи, поднял вопрос о восстановлении закона против гибеллинов, в числе которых по общему мнению были и Альбицци, которые, происходя из Ареццо, уже с давних времен переселились во Флоренцию. Угуччоне рассчитывал, что, восстановив этот закон, можно будет отстранить людей из дома Альбицци от всех должностей, ибо, согласно ему, каждый занимавший государственную должность гибеллин подвергался осуждению. Замысел Угуччоне был сообщен Пьеро, сыну Филиппо из рода Альбицци, который решил содействовать ему, опасаясь, что в случае сопротивления его обвинят в гибеллинстве. Таким образом, закон этот, восстановленный благодаря честолюбивым замыслам дома Риччи, не только ничего не отнял у Пьеро дельи Альбицци, но усилил уважение к нему, став, однако, источником величайших бедствий. Самый опасный закон для государства тот, который заглядывает слишком далеко в прошлое. Так как Пьеро поддерживал этот закон, та мера, которой его враги старались преградить ему путь к возвышению, только облегчила этот путь. Став руководителем этого нового порядка, он с каждым днем приобретал все больше власти, ибо новые гвельфы поддерживали его как никого другого.

Так как не существовало должностного лица, уполномоченного разыскивать гибеллинов, изданный против них закон не мог применяться. Пьеро позаботился о том, чтобы розыски гибеллинов поручены были капитанам гвельфской партии, которые, установив, какие граждане являются гибеллинами, должны были официально предупредить их, чтобы они не пытались занимать какие бы то ни было должности под страхом осуждения, если они не подчинятся этому предупреждению. Отсюда и пошло, что все те, кому во Флоренции запрещено занимать государственные должности, называются «предупрежденными». С течением времени своеволие капитанов в этом отношении настолько увеличилось, что они стали без зазрения совести

предупреждать не только тех, кто действительно подпадал под этот закон, но вообще любых граждан по прихоти своей, жадности или из честолюбия. С 1357 года, когда введен был этот порядок, к 1366 году предупрежденных насчитывалось уже более двухсот человек, а капитаны и партия гвельфов стали в городе всемогущими, ибо каждый, боясь попасть в число предупрежденных, старался всячески их улестить, особенно вождей, коими были Пьеро Альбицци, мессер Лапо да Кастильонкио и Карло Строцци. Их поведение возмущало весьма многих, а наглость семейства Риччи – более всех других, ибо их считали виновниками этого безобразия, которое, с одной стороны, было губительно для государства, а с другой, помимо их воли, содействовало все большему возвышению противников Альбицци.

IV

Вот почему Угуччоне Риччи, будучи членом Синьории, решил положить конец злу, вызванному им же и его сородичами, и по его предложению принят был новый закон, по которому к шести уже имеющимся капитанам добавлялось еще три, причем два из них назначались из младших цехов, и, кроме того, устанавливалось, что каждое обвинение какого-либо гражданина в гибеллинстве должно получить подтверждение специально для того назначенных двадцати четырех граждан-гвельфов. Предосторожность эта на некоторое время обуздала своеволие капитанов, предупреждения почти прекратились и предупрежденных стало теперь гораздо меньше. Тем не менее обе партии – Альбицци и Риччи – бдительно следили друг за другом и из взаимной ненависти чинили препятствия всем государственным начинаниям: невозможно было провести деловое обсуждение чего-либо, заключить союз, принять какие бы то ни было меры. В таком неурейдстве пребывала Флоренция с 1366 по 1371 год, когда партия гвельфов получила весьма ощутительное преобладание. Был в семействе Буондельмонти рыцарь по имени мессер Бенки, каковой за заслуги в войне с пизанцами был причислен к пополанам, благодаря чему мог быть избран в Синьорию. Но когда он как раз ожидал этого избрания, издан был закон, не допускавший к исполнению должности члена Синьории гранда, объявленного пополаном. Мессера Бенки это весьма оскорбило, он сблизился с Пьеро Альбицци, и они сговорились нанести, используя закон о предупреждениях, удар по мелким пополанам и вдвоем остаться во главе республики. Благодаря тому уважению, которым мессер Бенки продолжал пользоваться у древних нобилей и которое большая часть крупных пополанов питала к Пьеро, партия гвельфов вновь приобрела всю полноту влияния на дела государства, а Бенки и Пьеро, используя новую реформу, получили возможность располагать по своему усмотрению и капитанами, и комиссией Двадцати Четырех. Тут опять принялись за предупреждения еще более дерзновенно, чем когда-либо, и власть дома Альбицци, главарей этой партии, все время усиливалась. Со своей стороны Риччи со своими сторонниками изо всех сил старались, как только могли, помешать осуществлению этих планов. Так что во Флоренции все жили среди взаимных подозрений и каждый опасался гибели.

V

И вот несколько граждан, воодушевленных любовью к отечеству, сошлись в Сан Пьеро Скераджо и после длительного обсуждения всех этих неурядиц направились в Синьорию, где один из них, наиболее уважаемый, обратился к синьорам со следующей речью.

«Многие из нас опасались, великолепные синьоры, собраться вместе частным образом для обсуждения дела государственного, ибо могли мы быть сочтены обуянными гордыней или же осуждены за честолюбие. Но, приняв во внимание, что весьма многие граждане ежедневно и без малейшей помехи собираются в лоджиях или в своих домах, притом не ради общего блага, но ради своего личного честолюбия, мы порешили, что если люди, собирающиеся для нанесения удара республике, ничего не боятся, то и нам, объединяющимся ради общего блага, опасаться нечего. Впрочем, мы мало тревожимся о том, что про нас думают другие, ибо они тоже не беспокоятся о том, как о них судим мы. Великолепные синьоры, любовь наша к отечеству сперва объединила нас друг с другом, а теперь привела нас к вам, дабы могли мы побеседовать с вами о великой беде, непрерывно растущей в нашем государстве, и заявить вам, что мы готовы всячески помочь вам ее изничтожить. Хотя предприятие это и кажется весьма трудным, вы преуспеете в нем, если, отбросив все личные соображения, власть свою поддержите всей мощью государства. Порча общественных нравов, разъедающая все города Италии, заразила и все более и более заражает также и вверенный вашему управлению город. Ибо с тех пор, как земля эта освободилась от ига императоров, города ее, лишившись узды, сдерживающей страсти, установили у себя правление, способствующее не процветанию свободы, а разделению на враждующие между собой партии. А это породило все

прочие бедствия, все другие терзающие их смуты. Во-первых, среди их граждан нет ни единения, ни дружбы, разве только среди тех, которые являются сообщниками в гнусных преступлениях против родины или же против частных лиц. А поскольку вера и страх Божий угасли в сердцах у всех, клятва и данное слово имеют значение лишь в том случае, если они выгодны, и люди прибегают к ним не для того, чтобы держаться их, а для того, чтобы легче обманывать. И чем обман оказался успешнее и ловче, тем больше славы и похвал приносит он обманщику. Вот и получается, что зловреднейшие люди восхваляются как умники, а людей порядочных осуждают за глупость. Поистине в городах Италии объединяется все то, что может быть испорчено и что может заразить порчей других. Молодежь бездельничает, старики развратничают, мужчины и женщины в любом возрасте предаются дурным привычкам. И законы, даже самые лучшие, бессильны воспрепятствовать этому, ибо их губит дурное применение. Отсюда – жадность, наблюдающаяся во всех гражданах, и стремление не к подлинной славе, а к недостойным почестям – источнику всяческой ненависти, вражды, раздоров и разделения на партии, которые в свою очередь порождают казни, изгнание, унижение добрых граждан и превознесение злонамеренных. Добрые в сознании невинности своей не ищут, подобно злонамеренным, незаконной поддержки и незаконных почестей, вследствие чего без поддержки и без положенной чести гибнут. Безнаказанность зла порождает во всех стремление разделяться на партии, а также и могущество партий. Злонамеренные объединяются в них из жадности и честолюбия, а достойные уже по необходимости. Самое же зловредное, что во всем этом наблюдается, – то искусство, с которым деятели и главы партий прикрывают самыми благородными словами свои замыслы и цели: неизменно являясь врагами свободы, они попирают ее под предлогом защиты то государства оптиматов, то пополоанов. Ибо победа нужна им не для славы освободителей родины, а для удовлетворения тем, что они одолели своих противников и захватили власть. Когда же власть этанаконец в их руках, – нет такой несправедливости, такой жестокости, такого хищения, каких они не осмелились бы совершить. С той поры правила и законы издаются не для общего блага, а ради выгоды отдельных лиц, с той поры решения о войне, мире, заключении союзов выносятся не во славу всех, а в интересах немногих. И если другие города Италии полны этих гнусностей, то наш запятнан ими более всех других, ибо у нас законы, установления, весь гражданский распорядок выработаны и вырабатываются не исходя из начал, на которых зиждется свободное государство, а всегда и исключительно ради выгоды победившей партии. Вот почему, когда одна партия изгнана из города и одна распря затухает, тотчас же на ее месте возникает другая. Ведь если государство держится не общими для всех законами, а соперничеством клик, то едва только одна клика остается без соперника, как в ней тотчас же зарождается борьба, ибо она сама уже не может защищать себя теми особыми средствами, которые сначала изобрела для своего благополучия. Все былые и недавние раздоры нашего государства подтверждают, что это именно так. Когда гибеллины были сокрушены, все думали, что теперь – то гвельфы и будут долгое время существовать во благоденствии и чести, а между тем весьма скоро они разделились на белых и черных. После поражения белых город ни единого дня не оставался без разделения на партии: мы не переставали воевать друг с другом – то из-за вопроса о возвращении изгнанных, то из-за вражды между народом и нобилями. И ради того, чтобы одарить других тем, чем мы сами не могли или не желали владеть в добром согласии, мы предавали свою свободу то королю Роберту, то его брату, то его сыну и под конец герцогу Афинскому. И все же мы никогда не могли обрести подходящего для нас порядка и оказывались неспособными ни договориться друг с другом об основах свободной жизни, ни примириться с рабской долей. До того склонны мы ко всяким раздорам, что, даже живя еще под властью короля, предпочли его величю власть гнуснейшего человека, простого смертного родом из Губбио. Ради чести нашего города не следовало бы и вспоминать о герцоге Афинском, чья жестокость и тиранство могли бы нас образумить и научить жить как должно. Однако не успели мы избавиться от герцога, как, все еще держа в руках оружие, обратили его друг против друга, притом с такой злобой и ожесточением, как никогда ранее, и дрались до тех пор, пока наши древние нобили не были разгромлены и не отдались на милость народа. Многие полагали, что теперь во Флоренции уже исчезли всякие поводы для взаимных раздоров и ожесточения, раз уж обузданы гордыня и наглое властолюбие тех, кого считали виновниками наших распрей. Но на горьком опыте убедились мы, сколь мнения людей обманчивы, а суждения ложны, ибо гордыня и властолюбие грандов были не уничтожены, а усвоены нашими пополоанами, и теперь уже они по обычаю всех честолюбцев наперерыв стараются добиться высшей власти в республике. Не видя для этого никаких способов, кроме распрей, они снова привели город к раздору и воскресили забытые имена гвельфов и гибеллинов, которые наша республика лучше и вовсе бы не знала. Так уже положено свыше, чтобы не было на земле устойчивости и мира; в каждом государстве имеются злосчастные семейства,

словно и порожденные только для того, чтобы навлекать на него бедствия. Флоренция наша ими особенно избобилует, ибо в ней затевали смуты и раздоры не одна, а многие семьи: сперва Буондельмонти и Уберти, затем Донати и Черки, а ныне – о постыдное и смехотворное дело! – смуту и распри сеют в ней Риччи и Альбицци. Мы напомнили вам о наших растленных нравах и о наших старинных непрекращающихся раздорах не для того, чтобы запугать вас, но чтобы вы вспомнили и о причинах всего этого и осознали, что если мы о них вспомнили, то и вы тоже можете это сделать, и что пример былых бедствий не должен вызвать у вас сомнений в том, что вы способны покончить с нынешними. Тогда мощь древних родов была так велика и милости, которыми их осыпали монархи, так щедры, что для обуздания их недостаточно было обычных гражданских установлений. Но теперь, когда императоры утратили свое влияние, папы не вызывают страха, а вся Италия, в частности же наш город, достигла такой степени равенства, что способна сама собой управлять, – это не так уж трудно. Республика же наша, несмотря на бывшие примеры противного, более других может не только сохранить свое единство, но видоизменить к лучшему нравы свои и установления, только бы вы, милостивые синьоры, соблаговолили этого пожелать. Вот к чему мы вас и призываем, одушевленные единственно любовью к отечеству, а не соображениями своего личного благополучия. И хотя порча зашла далеко, исцелите немедля ослабляющий нас недуг, обуздайте пожирающую нас ярость, обезвредьте убивающий нас яд, а прежние наши раздоры приписывайте не человеческой природе, а условиям тех времен. Ныне же, когда времена переменялись, вы можете установить лучшее правление и надеяться на лучшую судьбу для отечества. Рассудительность может совладать со злой волей рока, обуздав честолюбцев, отменив установления, питающие враждебность клик, и приняв другие, способствующие свободной и достойной гражданской жизни. Сумейте сделать это теперь, когда успеха можно достичь благодетельными мерами законодательства, и не дожидаетесь времени, когда вы будете вынуждены прибегнуть к силе оружия».

VI

Под влиянием этих доводов, которые они и сами хорошо осознавали, а также опираясь на серьезность и поддержку тех, кто к ним явился, синьоры назначили комиссию из пятидесяти шести граждан, которая должна была обсудить меры для укрепления государства. Совершенно верно, что сообщество большого числа людей гораздо более способно сохранить добрый порядок управления, чем уметь найти новый. Означенная комиссия заботилась скорее об уничтожении существующих партий, чем поводов для возникновения их в будущем, но не преуспела ни в том, ни в другом. С причинами, вызывающими разделение на партии, она не покончила, а из существующих партий одну чрезмерно усилила, что влекло за собой великую опасность для республики. Она отстранила на три года от всех общественных должностей, за исключением тех, что ведали внутренними делами гвельфской партии, трех членов семейства Альбицци и трех Риччи, в том числе Пьеро Альбицци и Угуччоне Риччи; запретила всем гражданам входить во Дворец Синьории, разрешив свободный доступ туда лишь в присутственное время; постановила, что всякое лицо, каковому нанесли обиду или покусились на его имущество, может подать в Совет жалобу на виновника, которого объявят грандом и который должен будет отвечать согласно изданным против нобилей законам. Эти мероприятия нанесли удар клике Риччи, но усилили дерзновенность Альбицци, ибо хотя Пьеро уже не допускался во Дворец Синьории, дворец партии гвельфов, где он по-прежнему пользовался большим влиянием, был ему открыт. И если прежде он и его сторонники усердствовали в предупреждениях, то теперь, после нанесенного им удара, они стали действовать еще более дерзко, и к этой злонамеренности их вскоре побудили еще новые причины.

VII

Святой престол занимал тогда папа Григорий XI, который пребывая в Авиньоне, управлял итальянскими землями церкви, подобно своим предшественникам, через легатов, чья жадность и гордыня угнетали многие города. Один из них, находившийся в то время в Болонье, решил, воспользовавшись поразившим Флоренцию в этом году недородом, завладеть Тосканой. Он не только отказал Флоренции в помощи съестными припасами, но, чтобы она не могла надеяться на будущий урожай, с наступлением весны двинул на нее большое войско, рассчитывая быстро сломить сопротивление безоружного и изголодавшегося города. Может быть, это ему и удалось бы, не окажись его войско неверным и продажным, ибо флорентийцы, которым ничего другого делать не оставалось, уплатили его солдатам сто тридцать тысяч флоринов за то, чтобы они отказались от похода против Флоренции. Войну начинаешь часто по своей воле, но когда и чем она кончится, зависит уже не от тебя. Эта война, затеянная из-за жадности легата, продолжалась из-за великого гнева

флорентийцев, которые, заключив союз с мессером Бернабо и всеми враждебными церквями городами, поручили ведение военных действий комиссии из восьми граждан с правом действовать бесконтрольно и тратить деньги безотчетно. Хотя Угуччоне уже не было в живых, эта война против папы подняла дух всех сторонников партии Риччи, которые всегда в пику дому Альбицци стояли за Бернабо и были против церкви. Сейчас они тем более воспряли духом, что члены комиссии Восьми являлись противниками гвельфов. Вот потому-то Пьеро Альбицци, мессер Лапо да Кастильонкио, Карло Строцци и другие еще теснее объединились против своих недругов. Комиссия Восьми не только вела войну, но и занималась предупреждениями в городе. И длилась война три года, закончившись только со смертью папы. Но руководили ею так мужественно и так искусно, и флорентийцы были так довольны деятельностью Восьми, что их магистратура возобновлялась каждый год и их даже прозвали «святыми», хотя они ни во что не ставили отлучения, отбирали у церкви ее имущество и принуждали духовенство совершать службы и требы. Ибо граждане в то время более заботились о спасении отечества, чем своей души, и показали папству, что если прежде они защищали его как друзья, то могли и наносить ему удары как враги. И действительно, они подняли против него Романью, Марку и Перуджу.

VIII

Однако, несмотря на энергичное ведение войны против папы, с капитанами гвельфской партии и всей их партией никакого сладу не было, ибо зависть гвельфов к комиссии Восьми подхлестывала их дерзновенность, и они оскорбляли не только многих уважаемых граждан, но нападали и на некоторых из Восьми. Наглость этих капитанов дошла до того, что их стали бояться больше, чем самой Синьории, и относиться к ним с большим почтением. Их дворец уважали больше, чем Дворец Синьории, и каждый посол, прибывавший во Флоренцию, обязательно являлся к капитанам. С кончиной папы Григория и завершением внешней войны город оказался в величайшей смуте, ибо с одной стороны дерзновенность гвельфов была невыносимой, а с другой – не виделось никакой возможности ее обуздать. Всем становилось ясно, что придется прибегнуть к оружию, которое решит, какая из партий одолеет. За гвельфов стоял весь старый нобилитет и самые крупные из пополанов, а среди них самое видное положение занимали, как уже было сказано, мессер Лапо, Пьеро и Карло. Против них были все мелкие пополаны, и вождями своими они считали членов военной комиссии Восьми, мессера Джорджо Скали, Томмазо Строцци, к ним присоединились Риччи, Альберти и Медичи. Вся остальная масса городских низов, как это всегда бывает, сочувствовала партии недовольных.

Вожди гвельфской клики сознавали, насколько грозны силы их противников и как велика опасность для них самих, если в Синьории большинство получат их враги и она пожелает принизить гвельфов. Они решили, что разумно будет заранее принять меры. Собрались и обсудили положение государства и свое собственное. При этом стало очевидно, что количество предупрежденных настолько возросло и ненависть к гвельфам настолько усилилась, что весь город превратился в их врагов. И тут они пришли к общему мнению, что единственное, что им осталось, – это лишить родины всех, кого они уже лишили гражданских прав, силою занять Дворец Синьории и все государство подчинить своей партии, следуя примеру древних гвельфов, которые могли мирно существовать в государстве, лишь изгнав из него всех своих противников. В этом все собравшиеся были согласны, различны были только мнения насчет времени, подходящего для переворота.

IX

Дело было в апреле 1378 года. Мессер Лапо считал, что медлить нельзя, что подходящему времени ничто так не вредит, как само течение времени, особенно при том положении, в котором они сейчас находятся, что при следующем составе Синьории гонфалоньером, весьма вероятно, назначен будет Сальвестро Медичи, а ведь он враг гвельфов. С другой стороны, Пьеро Альбицци полагал, что следует обождать, ибо нужны достаточные силы, а их собрать невозможно, не раскрыв своих замыслов, если же эти замыслы обнаружатся, им всем гибель. Он поэтому считал, что надо ждать дня Сан Джованни: это во Флоренции самый большой праздник, в город стечется такое количество народа, что легко будет спрятать кого угодно. Что же касается опасений насчет Сальвестро, то его следует объявить предупрежденным, а если это решение не пройдет, объявить таковым кого-либо из Коллегии от его картьеры, так как сумки сейчас пустые, могут устроить жеребьевку и жребий может пасть на него или на одного из его родичей, что лишит его возможности стать гонфалоньером. На этом и решили остановиться, хотя мессер Лапо весьма неохотно дал свое согласие, считая проволочку крайне вредной, ибо никогда

не бывает так, чтобы все решительно способствовало задуманному делу, и кто дожидается полного удобства, тот либо совсем не действует, либо действует большей частью неудачно. Они поэтому объявили предупрежденным одного из коллегии, но назначению Сальвестро помешать не смогли, ибо комиссия Восьми разобралась, в чем тут дело, и воспрепятствовала устройству жеребьевки.

Итак, гонфалоньером назначен был Сальвестро, сын мессера Аламанно Медичи. Происходя из пополанского семейства, но одного из самых влиятельных, он не мог выносить, чтобы народ угнетали несколько знатных нобилей, и решил положить их засилью конец. Видя, что народ его любит, а многие могущественнейшие пополанские семьи поддерживают, он сообщил о намерениях своих Бенедетто Альберти, Томмазо Строщи и мессеру Джорджо Скали, которые обещали ему полную поддержку. Втайне они выработали проект закона, по которому снова входили в силу Установления справедливости, направленные против нобилей, власть капитанов гвельфской партии уменьшалась, а предупрежденные получали возможность добиваться восстановления в правах на должности. Необходимо было, чтобы закон этот обсудили и приняли почти одновременно, а обсуждать его должны были сперва в Коллегии, а потом в советах. Сальвестро же являлся в то время пропосто, а эта должность делает состоящего в ней человека почти государем в городе, и он собрал в одно утро и Коллегию, и советы. Сначала он предложил новый закон одной лишь Коллегии, но, как всякое новшество, он кое-кому не понравился и был отвергнут. Видя, что этот путь ему закрыт, Сальвестро сделал вид, что уходит по каким-то своим надобностям, и незаметно для всех членов Коллегии отправился в Совет, стал на возвышение, так чтобы все его видели и слышали, и сказал, что он считал себя назначенным в гонфалоньеры не для того, чтобы судить дела частных лиц – на это имеются обычные суды, – но чтобы блюсти безопасность государства, подавлять наглость знати и умерять строгость законов, слишком жесткое применение которых может погубить республику; что он и то, и другое весьма тщательно обдумывал и, насколько это было в его силах, старался осуществить, но злонамеренные люди так яростно препятствовали его справедливым планам, что у него теперь отнята всякая возможность сотворить благое дело, а у них, членов Совета, не только возможность обсуждать эти планы, но даже возможность выслушать его доклад. И вот теперь, видя, что никакой пользы государству он принести не может, он не знает, зачем ему сохранять должность, коей он либо вообще не заслуживает, либо признан недостойным, и потому надо ему уйти в частную жизнь, дабы народ мог избрать на его место человека более достойного или более удачливого, чем он. Сказав все это, он вышел из зала Совета и направился в свой дом.

Х

Члены Совета, бывшие с ним в сговоре, а также и другие, стремившиеся к перевороту, подняли волнение и шум, на который сбежались члены Синьории и Коллегии. Видя, что их гонфалоньер уходит, они, чтобы задержать его, пустили в ход и уговоры и силу своей власти и заставили его вернуться в Совет, где все было в полнейшем смятении. На многих весьма достойных граждан обрушились оскорбления и угрозы. Между прочим, какой-то ремесленник обхватил обеими руками Карло Строщи, собираясь его умертвить, и присутствующие не без труда освободили его. Но самый большой переполох вызвал Бенедетто Альберти, который из окна дворца громогласно призывал народ к оружию, так что площадь в один миг наполнилась вооруженными людьми, и под конец от членов Коллегии угрозами и страхом добились того, на что они не соглашались, пока действовали уговорами. Капитаны гвельфской партии между тем собрали в своем дворце значительное количество граждан, чтобы обсудить, как им сорвать решение Синьории. Но, когда они услышали, что поднялось народное волнение, и узнали о постановлении советов, все разошлись по домам.

Когда затеваешь в городе смуту, нельзя рассчитывать на то, что ее сразу утихомиришь или легко направишь в нужное тебе русло. Сальвестро намеревался изданием своего закона установить в государстве мир, но произошло совсем другое. Ибо распаленные страсти так перебудоражили всех, что лавки оставались закрытыми, граждане запирали и укрепляли двери своих домов, многие прятали лучшее из своего движимого имущества в монастырях и церквях, и, казалось, все ожидали какой-то неминуемой беды. Состоялись собрания цехов, и каждый избрал своего синдика. Затем приоры собрали коллег вместе с этими синдиками и целый день обсуждали, как успокоить город, чтобы при этом все были удовлетворены, но из-за различия во мнениях договориться так и не смогли. На следующий день цеховые отряды развернули свои знамена, и Синьория, опасаясь, как бы из этого не вышло беды, собралась, чтобы принять свои меры. Не успела она начать заседания, как снова поднялось народное волнение и внезапно большое количество народа под знаменами цехов заполнило площадь. Тогда, чтобы успокоить цехи и народ надеждой на

удовлетворение их требований, Совет постановил вручить всю полноту верховной власти комиссии, которая во Флоренции именовалась балия, состоявшая из Синьории, Коллегии, комиссии Восьми, капитанов гвельфской партии и синдиков цехов, чтобы они совместно установили правление, способное уболаготворить весь город. Пока выносили это решение, некоторые отряды младших цехов под влиянием тех, кто хотел отомстить гвельфам за недавние обиды, отделились от прочих отрядов и пошли к дому мессера Лапо да Кастильонкио, разгромили его и подожгли. Он же сам, узнав, что Синьория обрушилась на привилегии гвельфов, и увидев, что весь народ вооружился, понял, что ему остается только спрятаться или бежать. Он сперва укрылся в церкви Санта Кроче, а затем, переодевшись монахом, бежал в Казентино, где, как многие слышали, немало упрекал себя за то, что согласился с Пьеро Альбицци, а Пьеро – за его совет дожидаться для захвата власти дня Сан Джованни. Как только началась смута, Пьеро и Карло Строцци спрятались, полагая, что когда все успокоится, они смогут остаться во Флоренции, где у них вполне достаточно родичей и друзей. Если начать беспорядки в городе не так-то легко, то усиливаются они очень быстро. Едва только подожжен был дом мессера Лапо, как принялись громить и жечь многие другие либо из общей ненависти к их владельцам, либо для сведения личных счетов. Желая подобрать себе подходящую компанию, чернь ворвалась в тюрьмы и выпустила из них всех, кто еще больше своих освободителей охоч был до чужого добра, и тогда предали разграблению монастырь дельи Аньоли и монастырь Санта Спирито, где многие граждане спрятали свое имущество. Разбойники эти добрались бы и до государственного казначейства, если бы тому не воспрепятствовал один из членов Синьории, пользовавшийся особым уважением, который верхом на коне и во главе сильного вооруженного отряда сдерживал, как мог, неистовство толпы.

Народная ярость все же под конец затихла, чему способствовало и использование своей власти Синьорией и наступление ночи. На следующий день балия объявила прощение всем объявленным предупрежденными с тем, однако, что еще три года они не смогут занимать никаких должностей. Она также отменила все законы, изданные гвельфами к ущемлению прав граждан, и объявила мессера Лапо да Кастильонкио и его сторонников мятежниками, а с ними вместе и многих других, кои отмечены были всеобщей ненавистью. После принятия этих решений объявили имена новых членов Синьории и их гонфалоньера Луиджи Гвиччардини, и так как они все, по общему мнению, были люди весьма мирного нрава и сторонники мира в республике, можно было надеяться, что беспорядки вскоре совсем прекратятся.

XI

Лавки, однако же, не открывались, граждане не разоружались, и по всему городу расхаживали сильные патрули. По этой причине новые синьоры решили вступить в должность не на площади перед дворцом, с обычной в таком случае пышностью, но в самом дворце и безо всякого церемониала. Данная Синьория считала самым первым и неотложным делом своего правления умиротворить город и потому постановила провести полное разоружение народа, открыть лавки и выдворить из Флоренции множество жителей контадо, призванных горожанами себе на подмогу. Во многих местах города установили посты вооруженной охраны порядка, так что в городе воцарилось бы спокойствие, если бы смогли успокоиться объявленные предупрежденными. Но они отнюдь не намеревались еще три года ждать полного восстановления в правах, так что цехи собрались заново и обратились к Синьории с просьбой постановить ради блага и мира в государстве, что ни один гражданин, когда-либо бывший членом Синьории и Коллегии, капитаном гвельфской партии или консулом цеха, не может быть предупрежден как гибеллин, а также, чтобы из сумок были изъяты и сожжены все старые списки гвельфской партии и заменены новыми. Просьбы эти были тотчас же приняты не только Синьорией, но и всеми другими советами, и, казалось, что теперь все новые смуты прекратятся.

Но так как людям недостаточно бывает возвращения того, что было у них отнято, а нужно забрать себе чужое и отомстить, все, кто делал ставку на беспорядки, принялись убеждать ремесленников, что им никогда не ведать безопасности, если многие из их врагов не будут изгнаны и уничтожены. Предвидя все это, Синьория вызвала к себе из цехов должностных лиц и синдиков, а гонфалоньер Луиджи Гвиччардини обратился к ним с нижеследующей речью.

«Если бы присутствующие здесь синьоры и я вместе с ними не знали уже давно, что городу нашему предначертано судьбою каждый раз по окончании внешней войны быть ввергнутым во внутреннюю, мы были бы гораздо больше удивлены и гораздо сильнее огорчены недавними беспорядками. Но поскольку беды привычные нас значительно меньше огорчают, мы эти последние смуты перенесли терпеливо, тем более что возникли они не по нашей вине, и мы питаем надежду, что им, как это бывало и ранее, придет конец, ради коего мы удовлетворили столько немаловажных пожеланий.

Однако нам хорошо известно, что вы не находите себе успокоения и даже хотели бы, чтобы согражданам вашим наносились новые обиды и чтобы они подвергались новым изгнаниям. Чем у вас больше неблагоприятных требований, тем сильнее наше неодобрение. И поистине, если мы думали, что за время нашей магистратуры благодаря ли несогласию нашему с вашими намерениями, или благодаря попустительству вам город наш может прийти к гибели, мы постарались бы избавиться от оказанной нам чести, либо обратившись в бегство, либо добровольно уйдя в изгнание. Но, поддавшись надежде на то, что мы имеем дело с людьми, которым не чужда человечность и хоть какая-то любовь к отечеству, и веря, что наши человеческие стремления переселят во всяком случае ваше неистовство, мы согласились принять магистратуру.

Однако теперь мы на опыте убеждаемся, что чем больше в нас доброжелательства и уступчивости, тем вы становитесь требовательнее, а требования ваши – несправедливее. И если сейчас мы так с вами говорим, то не для того, чтобы нанести вам оскорбление, а чтобы вы опомнились: пусть другие улещивают вас приятными речами, мы будем говорить нужное и полезное. Ответьте же теперь по чести: чего еще можете вы с достойным основанием требовать? Вы пожелали лишиться власти капитанов гвельфской партии – они ее лишены; вы пожелали, чтобы сожжено было содержимое их сумок и проведены новые реформы, – мы на это согласились; вы пожелали, чтобы предупрежденные были восстановлены в правах, – мы на это пошли. По вашей просьбе прощены были поджигатели домов и расхитители церквей, и ради вашего удовлетворения столько заслуженных и могущественных граждан удалились в изгнание. Ради вас гранды обузданы новыми законами. Когда же прекратятся ваши требования или вернее, когда перестанете вы злоупотреблять нашей уступчивостью? Разве не видите вы, что мы терпеливее переносим наше поражение, чем вы свою победу? Куда приведут эти непрестанные раздоры наш город? Или вы не помните, как из-за его внутренних распрей он был побежден каким-то Каструччо, ничтожным жителем Лукки, и как наложил на него ярмо наемный кондотьер герцог Афинский? Когда же в нем воцарилось единение, ни архиепископ Миланский, ни сам папа не могли его одолеть и после целого ряда лет войны не добились ничего, кроме позора. Зачем же вам нужно, чтобы в мирное время раздоры ваши лишили его свободы, которой могущественные враги не могли у него отнять в годы войны? Чего можете вы ожидать от своих распрей, кроме порабощения, а от загубленного добра, которое вы у нас отняли и продолжаете отнимать, – кроме нищеты? Ибо добро это, благодаря нашей деятельности, кормит весь город. А как мы его прокормим, если имущество будет у нас отнято? Ведь те, кто им завладел, не сумеют сохранить нечестно приобретенных богатств, а из этого впоследствии обнищание и голод для всего города. Я и присутствующие здесь синьоры повелеваем вам и, насколько позволяет достоинство, просим вас покончить со своими домогательствами и со спокойствием придерживаться выработанных только что установлений. Если же вы хотите еще каких-либо новых законов, то поднимайте вопрос о них должным образом, мирно, а не в смуте и с оружием в руках. Ибо законные ваши пожелания всегда будут удовлетворены, и вы не дадите к стыду своему и горю возможности злонамеренным людям за спиной вашей нанести удар отечеству».

Справедливые эти слова глубоко затронули сердца граждан. Они единодушно благодарили гонфальоньера за то, что в отношении их он повел себя как достойный магистрат, а в отношении всего города как достойный гражданин, и выразили готовность повиноваться каждому его приказу. Чтобы дать им возможность немедля проявить эту готовность, Синьория назначила по два члена каждой важной магистратуры, чтобы они обсудили совместно с синдиками цехов, не нужны ли какие-нибудь добавочные реформы ко всеобщему умиротворению, и доложили об этом Синьории.

XII

Пока все это совершалось, возникла новая смута, оказавшаяся для республики еще более пагубной. Пожары и грабежи последних дней производились большей частью людьми из самых низов города. Те из них, что проявляли особое неистовство, боялись теперь, когда главные беспорядки закончились, что их покарают за преступления и что, как это всегда бывает, их бросят на произвол судьбы сами же подстрекатели. К этому надо добавить еще и ненависть к богатым горожанам и главарям цехов всего мелкого люда, считавшего, что труд его оплачивается недостаточно, не по справедливости. Когда во времена Карла I город разделили на цехи, каждый цех получил свой порядок управления и своего главу, и установлено было, что всех членов каждого цеха в гражданских делах должны судить их главы. Как мы уже говорили, цехов было сначала двенадцать, но с течением времени число их увеличилось и достигло двадцати одного и стали они так могущественны, что через несколько лет все управление республикой оказалось в их руках. А так как

среди цехов были и более, и менее важные, они разделились на старшие и младшие, причем семь цехов считались старшими, а четырнадцать – младшими. Вследствие такого разделения, а также других упоминавшихся выше причин усилилось самовластие капитанов гвельфской партии. Магистратура эта всегда находилась в руках старых гвельфских фамилий, и капитаны из этих фамилий покровительствовали гражданам, состоящим в старших цехах, и угнетали членов младших цехов и их защитников: отсюда и проистекали все беспорядки, о которых мы повествовали. Когда установилось разделение на цехи, оказалось, что многие ремесла, которыми занимается мелкий люд и низы, не получили своего цеха: их подчинили тем цехам, к которым они были ближе по своим занятиям. И когда они были недовольны своим непосильным трудом или считали себя обиженными хозяевами, жаловаться им приходилось главе того цеха, которому они были подчинены, а он, как они считали, никогда не выносил правильного решения. Среди цехов больше всего подчиненных людей включал и включает в себя цех шерстяников. Он же и является самым могущественным, занимает среди цехов первое место, кормил и доньше кормит своим ремеслом большую часть мелкого люда и черни.

XIII

И вот эти люди из низов как из подчиненных цеху шерстяников, так и из подсобников других цехов, и ранее полные недовольства по уже сказанным причинам, теперь испытывали к тому же страх перед последствиями, которые могли для них иметь учиненные ими поджоги и грабежи. Несколько раз в ночь собирались они для обсуждения происшедших событий и все время толковали друг другу о грозящей им всем опасности. Наконец, один из тех, кто был посмелее и поопытнее других, решил вдохнуть в них мужество и заговорил так:

«Если бы нам надо было решать вопрос, следует ли братья за оружие, чтобы жечь и громить дома граждан и расхищать церковное имущество, я был бы первым из тех, кто полагал бы, что вопрос этот нельзя решать необдуманно и что, пожалуй, бедность в мире и покое лучше, чем связанное с такими опасностями обогащение. Но раз оружие все равно уже у нас в руках и бед уже наделано немало, надо нам думать о том, как это оружие сохранить и как избежать ответственности за содеянное. Я думаю, что если никто нас научить не может, то научит сама нужда. Как видите, весь город пылает к нам гневом и злобой, граждане объединяются, а Синьория всегда на стороне магистратов. Будьте уверены в том, что нам готовят какую-то западню и над головой нашей собираются грозные тучи. Следовательно, надо нам добиваться двух вещей и совещания наши должны ставить себе две цели. Во-первых – избежать кары за все, что мы натворили в течение последних дней, во-вторых – зажить более свободно и счастливо, чем мы жили раньше. И вот я считаю, что для того чтобы добиться прощения за прежние наши вины, нам надо натворить еще худших дел, умножить их, повсюду устраивать поджоги и погромы и постараться вовлечь во все это как можно больше народу. Ибо когда виновных слишком много, они остаются безнаказанными: мелкие преступления караются, крупные и важные вознаграждаются. Когда все страдают, мало кто стремится к отмщению, ибо общая всем беда переносится легче, чем частная обида. Так что именно в усилении бедствий и смуты должны мы обрести прощение, именно они откроют нам путь к достижению того, что нужно нам для свободной жизни. И я думаю, что ожидает нас верная победа, ибо те, кто могли бы воспрепятствовать нам, богаты и разъединены. Их разъединение обеспечит нам победу, а их богатства, когда они станут нашими, помогут нам эту победу упрочить. Не допускайте, чтобы вас смущали древностью их родов, каковой они станут кичиться. Все люди имеют одинаковое происхождение, и все роды одинаково старинны, и природа всех создала равными. Если и мы, и они разденемся догола, то ничем не будем отличаться друг от друга, если вы оденетесь в их одежды, а они в ваши, то мы будем казаться благородными, а они простолюдинами, ибо вся разница – в богатстве и бедности. Я весьма скорблю, когда вижу, что многие из нас испытывают угрызения совести от содеянного и хотят воздержаться от дальнейших действий. И если это действительно так, то вы не те, за кого я вас принимал. Не следует пугаться ни раскаяния, ни стыда, ибо победителей, какими бы способами они не победили, никогда не судят. А о совести нам тоже нечего беспокоиться: там, где, как у нас, существует страх голода и тюрьмы, нет и не должно быть места страху перед адскими муками. Если вы поразмыслите над поведением людей, то убедитесь, что все, обладающие большими богатствами или большой властью, достигают этого лишь силой или хитростью, но затем все захваченное обманом или насилием начинают благородно именовать даром судьбы, дабы скрыть его гнусное происхождение. Те же, кто от избытка благоразумия или глупости не решаются прибегнуть к таким способам, с каждым днем все глубже и глубже увязают в рабстве и нищете. Ибо верные рабы так навсегда рабами и остаются, а добросердечные непременно бедны. От рабства освобождаются

лишь неверные и дерзновенные, а от нищеты только воры и обманщики. Бог и природа дали всем людям возможность достигать счастья, но оно чаще выпадает на долю грабителя, чем на долю умелого труженика, и его чаще добиваются бесчестным, чем честным ремеслом. Потому-то люди и пожирают друг друга, а участь слабого с каждым днем ухудшается. Применим же силу, пока представляется благоприятный случай, ибо более выгодным для нас образом обстоятельства не сложатся: имущие граждане не объединены, Синьория колеблется, магистраты растеряны, и сейчас, пока они не сговорились, их легко раздавить. Таким образом, мы или станем полными господами в городе, или добьемся столь существенного участия в управлении, что не только все наши прежние грехи забудутся, но мы сможем угрожать нашим врагам еще худшими бедами. Конечно, замысел этот дерзкий и опасный, но когда к действию понуждает необходимость, дерзость оборачивается благоразумием, а смелые души, предпринимая нечто великое, никогда не считаются с опасностью. Ибо все дела, поначалу связанные с опасностью, вознаграждаются, и невозможно добиться безопасного существования, не подвергая себя при этом опасности. Кроме того, с уверенностью могу сказать, что когда тебе готовят тюрьму, пытки и казни, гораздо пагубнее дожидаться их, чем попытаться избежать: в первом случае эти три бедствия тебя наверняка настигнут, во втором исход может быть разным. Как часто слышал я ваши жалобы на жадность хозяев и несправедливость магистратов! Вот и настало нам время избавиться от них и так вознестись над ними, чтобы они жаловались на нас и боялись нас еще больше, чем мы их. Случай, который сейчас предоставляется нам судьбою, улетучивается, и тщетно будем мы хвататься за него, когда он исчезнет. Вы видите, как готовятся ваши противники, – предупредим же их замыслы. Кто из нас первый – мы или они – возьмется за оружие, тот и восторжествует, погубив врагов своих и достигнув величия. Многим из нас победа даст славные почести, а всем – безопасность».

XIV

Речь эта еще больше разожгла сердца, уже пылавшие жаждой злодеяния, и все собравшиеся постановили взяться за оружие, едва только вовлекут в заговор свой как можно больше сообщников, а также дали друг другу клятву взаимной поддержки в случае преследования кого-либо из них магистратами.

В то время как они намеревались захватить власть в республике, этот их замысел стал известен Синьории, которая велела схватить некоего Симоне делла Пьяцца, и от него узнали и о заговоре вообще, и о том, что мятеж должен был разразиться на следующий день. Ввиду этой опасности собрались коллегии и все те граждане, которые совместно с синдиками цехов старались объединить город. Когда все собрались, было уже совсем темно, и собравшиеся посоветовали Синьории вызвать также консулов цехов, и уже все вместе пришли к единодушному мнению, что все войска надо сосредоточить во Флоренции и что с утра гонфалоньеры вооруженных компаний народа должны быть на площади во главе своих вооруженных отрядов. Пока Симоне подвергали пытке и граждане собирались в Синьории, некий Никколо из Сан Фриано, починявший во дворце часы, заметил все происходящее. Он тотчас же вернулся к себе домой и поднял во всей своей округе тревогу, так что незамедлительно около тысячи вооруженных человек сбежали на площадь Сан Спирито. Шум этот дошел и до других заговорщиков: Сан Пьеро Маджоре и Сан Лоренцо, где они сговорились собраться, быстро наполнились вооруженными людьми.

Когда наступило утро 21 июля, оказалось, что на площадь защищать Синьорию вышло менее восьмидесяти человек. Из гонфалоньеров компаний не явился никто; узнав, что весь город охвачен вооруженным восстанием, они побоялись оставить свои дома. Из народных низов первыми показались на площади те, что собирались в Сан Пьеро Маджоре, и при их появлении вооруженная охрана даже с места не двинулась. За ними вскоре последовала вся прочая вооруженная толпа, которая, видя, что никто ей препятствовать не собирается, принялась яростными криками требовать освобождения заключенных. Когда угрозы не подействовали, они стали применять силу и подожгли дом Луиджи Гвиччардини; и тут Синьория, чтобы не было хуже, выдала им заключенных. Добившись этого, они отобрали у экзекутора знамя справедливости и под этим знаменем стали поджигать дома многих граждан, но преимущественно обрушиваясь на тех, кто был ненавистен за свою служебную деятельность или просто кому-либо по личным причинам. Ибо многие граждане, усмотрев тут возможность свести личные счеты, направляли толпу к домам своих недругов. Ведь достаточно было, чтобы один голос в толпе крикнул: «К дому такого-то!» – и тотчас же знаменосец туда и поворачивал. Сожгли также все документы цеха шерстяников. Натворив немало злодеяний, они решили сделать также что-либо похвальное и произвели в рыцари Сальвестро Медичи и еще многих других в количестве шестидесяти четырех человек, среди которых оказались, между прочим, Бенедетто и Антонио Альберти, Томмазо Строцци и другие их сторонники, несмотря

на то что многие новые рыцари принимали это звание по принуждению. Самое удивительное во всех этих делах было то, что в один и тот же день и почти одновременно толпа провозглашала рыцарями тех, чьи дома только что предала огню (так близко соседствуют удача и беда): случилось это, кстати, и с Луиджи Гвиччардини, гонфалоньером справедливости.

Среди всей этой сумятицы члены Синьории, оставленные и своей вооруженной охраной, и главами цехов, и гонфалоньерами вооруженных компаний, не знали уже, что им предпринять, ибо никто, несмотря на приказы, не явился им на помощь. Из шестнадцати компаний на площадь вышли только две – под знаменем Золотого льва и Белки под водительством Джовенко делла Стуфа и Джованни Камби. Но они, постояв немного на площади и видя, что никто к ним не присоединяется, удалились. Что же касается граждан, то некоторые, видя неистовство разъяренной толпы и брошенный на произвол судьбы Дворец Синьории, оставались у себя дома, а другие пошли даже за вооруженной массой людей, чтобы, находясь в ней, иметь возможность защитить и свои дома, и дома своих друзей. Так могущество низов все усиливалось, а Синьории – все слабело. Это восстание продолжалось весь день. С наступлением вечера восставшие остановились у дворца мессера Стефано за церковью Сан Барнабо. Их было уже более шести тысяч, и еще до рассвета они угрозами принудили цехи прислать им цеховые знамена. Утром же они под знаменем справедливости и знаменами цехов подошли ко дворцу подеста. Последний отказался впустить их во дворец, оказал им сопротивление, но был побежден.

XV

Убедившись, что силой тут ничего не поделаешь, члены Синьории решили вступить с ними в переговоры. Они вызвали четырех своих коллег и послали их во дворец подеста узнать, чего они требуют. Там их посланцы узнали, что главари народных низов, синдики цехов и несколько граждан уже решили, чего они хотят требовать от Синьории. Вместе с четырьмя представителями низов делегаты Синьории вернулись к тем, кто их послал, со следующими требованиями. У цеха шерстяников не должно быть больше чужеземного чиновника; надо учредить три новых цеха: один – для кардовщиков и красильщиков, второй – для цирюльников, пошивщиков стеганых курток и прочих портных и им подобных ремесленников; третий – для тощего народа. Два представителя этих новых цехов и три представителя четырнадцати младших цехов должны быть членами Синьории, которая выделит дома, где члены новых цехов смогут собираться; никто из них не может быть принужден ранее чем через два года к уплате долгов на сумму, не превышающую пятьдесят дукатов; Монте прекращает взимание процентов по государственному долгу, возвращению подлежит только полученная сумма; осужденные и изгнанные получают прощение, а предупрежденные восстанавливаются во всех правах. Кроме этих требований, выставлялись еще и другие насчет особых преимуществ для главных, особо выдающихся участников событий и, наоборот, требование об изгнании и предупреждении многих граждан из числа их врагов.

Хотя требования эти были жестокие и позорные для республики, Синьория, Коллегия и Народный совет, опасаясь худшего, тотчас же приняли их. Но для того чтобы все эти предложения получили силу закона, они должны были быть одобрены Советом коммуны, а так как два Совета в один день собрать было невозможно, надо было ждать до следующего дня. Однако в данный момент цехи и народные низы были, как будто, вполне удовлетворены и обещали, что после утверждения закона волнения прекратятся.

Но на следующее утро, когда уже шло обсуждение в Совете города, нетерпеливая и переменчивая толпа под теми же знаменами опять заполнила всю площадь и подняла такой яростный крик, что и Совет, и Синьория пришли в ужас. Один из членов Синьории Гверрианте Мариньоли, движимый более страхом, чем какими-либо чувствами, сошел вниз под тем предлогом, что, мол, надо охранять нижнюю дверь, и побежал к себе домой. Но когда он уходил, ему не удалось сделать это незаметно, и толпа его узнала. Никакого вреда ему, правда, не причинили, а только принялись кричать, чтобы все члены Синьории убралась из Дворца, не то всех их детей перебьют, а дома подожгут. Тем временем обсуждение закона кончилось, и члены Синьории разошлись по своим помещениям. Члены же Совета, сойдя вниз, не стали выходить на площадь, а оставались во дворе и в лоджиях, отчаявшись уже в возможности спасти государство, ибо они презирали толпу, а тех, кто мог бы обуздать или даже сокрушить ее, они считали либо слишком злонамеренными, либо слишком трусливыми. Сами члены Синьории были в полной растерянности, они тоже разуверились в спасении отечества, один из их товарищей уже скрылся, и ни от единого гражданина не получали они не то что поддержки, а хотя бы совета – как поступить. Пока они колебались, какое принять решение, мессер Томмазо Строцци и мессер Бенедетто Альберти, движимые или своим личным честолюбием и стремлением

остаться во дворце единственными хозяевами, или, может быть, думая, что поступают ко всеобщему благу, посоветовали им уступить перед лицом народной ярости и разойтись по домам в качестве уже частных граждан. Этот совет, данный людьми, которые являлись виновниками смуты, хотя он и был принят Синьорией, глубоко возмутил двух ее членов – Аламанно Аччаюоли и Никколо дель Бене. Собравшись с мужеством, они воскликнули, что если их сотоварищи хотят удалиться, тут ничего не поделаешь, но что они лично не считают возможным оставить свой пост до истечения установленного законом срока и готовы за это поплатиться жизнью. Этот протест еще больше напугал Синьорию и еще сильнее разъярил народ. Тогда гонфалоньер, предпочитая расстаться со своей должностью с позором, чем подвергать опасности свою жизнь, согласился принять покровительство мессера Томмазо Строцци, который вывел его из дворца и проводил до дому. Прочие члены Синьории таким же образом разошлись один за другим. Аламанно и Никколо, оставшись в одиночестве, решили не пытаться уже прослыть более мужественными, чем благоразумными, и тоже удалились. Так что дворец остался в руках народных низов и военной комиссии Восьми, которая еще не сложила с себя полномочий.

XVI

Когда толпа устремилась во дворец, знамя гонфалоньера справедливости находилось у некоего Микеле ди Ландо, чесальщика шерсти. Этот человек, босой и в самой жалкой одежде, взбежал по лестнице во главе всей толпы и, очутившись в зале заседаний Синьории, обернулся к теснившимся за ним людям и произнес: «Ну вот, теперь этот дворец – ваш, и город тоже в ваших руках. Что же по-вашему теперь делать?». На это все единодушно закричали, что они хотят, чтобы он стал членом Синьории и гонфалоньером и управлял ими и всем городом, как он будет считать нужным.

Микеле согласился. Это был человек рассудительный и осторожный, более одаренный природой, чем фортуной. Он решил умиротворить город, прекратить беспорядки и для того, чтобы занять народ, а самому иметь время на принятие неотложных мер, велел разыскать некоего сера Нуто, который был назначен на должность барджелло мессером Лапо ди Кастильонкио. Большая часть людей, сопровождавших Ландо, бросилась выполнять этот приказ. Желая, чтобы власть, полученная им милостью народа, с самого начала проявила себя как правосудная, он велел громогласно объявить всем и каждому, что поджоги и кража чего бы то ни было отныне запрещаются, а для всеобщего устрашения установил на площади виселицу.

Перемены в управлении он начал с того, что снял с должности всех синдиков цехов и назначил на их место новых, отстранил от власти членов Синьории и Коллегии и сжег сумки с именами будущих кандидатов на должности. Между тем толпа приволокла сера Нуто на площадь, привязала за ноги к виселице, и все окружающие стали заживо рвать его на части, так что под конец осталась от него лишь эта привязанная нога.

Военная комиссия Восьми, со своей стороны считая, что с разгоном Синьории она является верховной властью в республике, уже назначила членов новой Синьории. Понимая, чего хотят Восемь, Микеле послал им повеление немедленно покинуть дворец, ибо хотел показать всем, что сможет управлять Флоренцией и без их советов. Затем он велел синдикам цехов собраться и установил порядок избрания Синьории – четыре члена от низов, два от старших цехов и два от младших, – а также новый порядок жеребьевки. Кроме того, все управление государством он разделил на три части, поручив первую новым цехам, вторую – младшим, а третью – старшим. Мессеру Сальвестро Медичи он выделил доход с лавок на Старом мосту, себе взял подестерию Эмполи и осыпал благодеяниями многих других граждан, сочувствовавших неимущему люду, не столько для того, чтобы вознаградить их за понесенный ущерб, сколько для того, чтобы иметь в них защиту от завистников.

XVII

Народные низы, однако же, сочли, что в своем упорядочении государственного устройства Микеле ди Ландо оказался слишком предупредителен к имущему слою граждан, им же не предоставил в управлении государством доли, достаточной для того, чтобы удержаться у власти и защищаться от враждебных посягательств. Побуждаемые обычной своей дерзновенностью, они снова взяли за оружие, с шумом заполнили под своими знаменами площадь и потребовали, чтобы члены Синьории спустились вниз на площадку перед лестницей и там вместе с ними обсуждали те новые меры, которые они считали необходимыми для их выгоды и безопасности. При виде этой обнаглевшей толпы Микеле решил не раздражать ее, а потому, не выслушавшая самих требований, осудил способ, которым они хотели заставить себя выслушать, и призвал их сложить оружие, добавив, что тогда им даровано будет все

то, на что достоинство Синьории не позволяет согласиться, уступая грубой силе. Толпа, раздраженная этим отказом, отхлынула к Санта Мария Новелла, где избрала себе восемь главарей с помощниками, установив порядки, при которых они пользовались бы надлежащим уважением и почетом. Вот и получилось, что Флоренция имела теперь два правительства, находившихся в двух различных местах. Эти главари порешили между собой, что впредь восемь представителей новых цехов должны постоянно пребывать во Дворце Синьории вместе с ее членами и все решения Синьории должны ими утверждаться. У Сальвестро Медичи и Микеле ди Ландо они отняли все, чем те были облечены их прежними решениями, а многим из своей среды раздали должности, а также содержание, достаточное для того, чтобы они могли с должным достоинством эти должности отправлять. Дабы эти принятые ими решения стали законом, они послали двух своих делегатов к Синьории с требованием утвердить их и с угрозой применить силу, если Синьория откажет им. Эти посланцы изложили Синьории, что им поручили сказать, весьма высокомерно и еще более самонадеянно, упрекая к тому же гонфалоньера в неблагодарности, которой он отплатил народу за звание, коим был облечен, и за оказанную ему честь, а также в неуважении и пренебрежении к народу. Когда речь свою они закончили угрозами, Микеле не мог стерпеть их наглости и, помышляя более о теперешней своей высокой должности, чем о низком происхождении, решил, что исключительная их дерзость заслуживает и кары исключительной, а потому, схватившись за свое оружие, сперва нанес им тяжелые ранения, а затем велел связать их и бросить в темницу. Едва это стало известно народным низам, как они разгорелись сильнейшим гневом и, рассчитывая с оружием в руках добиться того, чего не получили безоружные, шумно и яростно потрясая оружием, двинулись ко Дворцу Синьории. Микеле со своей стороны, опасаясь последствий нового выступления, решил предупредить его, ибо считал, что напасть первому на врага – дело более славное, чем дожидаться его в стенах дворца, и подобно своим предшественникам, опозорить себя постыдным бегством. Поэтому он собрал значительное число граждан, уже начавших сознавать свою ошибку, и верхом на коне во главе сильного вооруженного отряда двинулся на Санта Мария Новелла атаковать тех, которые, как уже было сказано, приняли такое решение и выступили на площадь Синьории почти в одно время с Микеле. Случайно вышло так, что оба противника пошли по разным дорогам, так что встречи между ними не произошло. Вернувшись назад, Микеле увидел, что площадь занята народом и дворец осажден. Завязалась схватка, в которой он победил и рассеял их: одних выгнал из города, а других принудил бросить оружие и разбежаться. Победа была одержана, восставшие разбиты исключительно благодаря доблести гонфалоньера, который мужеством, благоразумием и честностью превосходил тогда всех граждан и заслуживает числиться среди немногих благодетельствовавших родину. Ибо если бы в сердце его жили коварство и честолюбие, республика утратила бы свободу и попала под власть тирании, худшей, чем самовластие герцога Афинского. Но по великой честности своей не имел он в душе ни единого помысла, противного общему благу. Дела он повел столь благоразумно, что завоевал доверие большей части того люда, из которого выдвинулся, тех же, кто пытался сопротивляться, сумел подавить силой оружия. Такое поведение смирило чернь; лучшие из ремесленников опомнились и осознали, какой позор навлекают на себя те, кто, подавив гордыню грандов, подчиняется затем низкому народу.

XVIII

Когда Микеле одержал эту победу над народными низами, избрана была уже новая Синьория, но между ее членами было два столь низких и позорных по своему положению, что у всех возникло желание освободиться от такого бесчестия. В день 1 сентября, когда новая Синьория вступает в свои права, на площади перед дворцом полно было вооруженных граждан. Когда члены прежней Синьории стали выходить из дворца, вооруженные подняли шум и в один голос закричали, что они не желают, чтобы хоть один из тощего народа стал членом Синьории. Новая Синьория, прислушавшись к этим крикам, постановила исключить из числа своих членов этих двух представителей черни, одного из коих звали Триа, а другого Бароччо, а вместо них назначила Джорджо Скали и Франческо ди Микеле. Тогда же упразднены были цехи тощего народа и лишены полномочий их представители, за исключением Микеле ди Ландо, Лоренцо ди Пуччо и еще нескольких вполне достойных людей. Все почетные должности поделены были между старшими и младшими цехами, но при этом решили, что пять членов Синьории будут всегда из младших цехов, а четыре из старших, а гонфалоньер – по очереди – то от одних, то от других.

Установленный таким образом порядок управления временно успокоил город. Все же, хотя власть в республике была отнята у народных низов, члены младших цехов оказались сильнее благородных пополанов, которые вынуждены были уступить, чтобы удовлетворить средний слой и отобрать у тощего народа цеховые преимущества. Все

это получило также одобрение всех, кто желал, чтобы не подняли головы те, кто от имени партии гвельфов множеству граждан столько насилий и обид. А так как к сторонникам установленного порядка принадлежали мессер Джорджо Скали, мессер Бенедетто Альберти, мессер Сальвестро Медичи и мессер Томмазо Строцци, то они и оказались первыми лицами в государстве. Создавшееся, таким образом, положение лишь углубило раздор между благородными пополами и мелкими ремесленниками, начавшийся из-за честолюбивых устремлений семейств Риччи и Альбицци. Так как раздор этот приводил в дальнейшем к весьма важным последствиям и нам придется о нем часто упоминать, назовем одну из этих двух партий пополанской, а другую плебейской. Такое положение продолжалось три года, и за это время много было изгнаний и казней, ибо люди, стоявшие у власти, окружены были недовольными в городе и за его пределами и жили в постоянном страхе. Недовольные горожане либо постоянно пытались изменить порядки, либо подозревались в таких попытках, а недовольные изгнанники, которых ничто не сдерживало, повсюду сеяли смуту при поддержке то какого-нибудь государя, то какой-нибудь республики.

XIX

В то время в Болонье находился Джаноццо да Салерно, военачальник Карла Дураццо, потомка королей неаполитанских, который, задумав отнять корону у королевы Джованны, держал этого своего капитана в Болонье, чтобы использовать там поддержку, которую оказывал ему враждовавший с королевой папа Урбан. В Болонье находилось также значительное число флорентийских изгнанников, поддерживавших тесную связь друг с другом и с Карлом, вследствие чего флорентийские правители жили в постоянной тревоге и охотно прислушивались к наветам на всех подозреваемых. Пребывая в таком беспокойстве, они вдруг узнали, что Джаноццо да Салерно с большим количеством изгнанников задумал подойти к стенам Флоренции и что многие горожане, находящиеся с ним в сговоре, возьмутся тогда за оружие и откроют ему ворота. По этому доносу оказались обвиненными многие граждане, и прежде всего были названы имена Пьеро Альбицци и Карло Строцци, а затем Чиприано Манджони, мессера Якопо Саккетти, мессера Донато Барбадоро, Филиппо Строцци и Джованни Ансельми; все они и были задержаны, за исключением Карло Строцци, которому удалось бежать. Для того чтобы никто не решился выступить в их поддержку, мессеру Томмазо Строцци и мессеру Бенедетто Альберти поручили с большим количеством вооруженных людей охранять город. По делу арестованных граждан учинили следствие, но ни в обвинительном акте, ни в показаниях свидетелей не оказалось достаточно материала для осуждения, и капитан не счел возможным объявить их виновными. Тогда враги арестованных подняли против них народ и возбудили в нем такую ярость, что пришлось приговорить их к смерти. И Пьеро Альбицци не помогли ни знатность его рода, ни бывшее уважение, которым он был окружен, когда в течение долгого времени пользовался большим почетом и вызывал больше страха, чем какой-либо другой гражданин. Дошло до того, что однажды, когда он пировал со множеством гостей, кто-то – друг ли, желавший призвать его к умеренности и осторожности в достигнутом величии, или враг, задумавший угрозу, – прислал ему серебряное блюдо со сладостями, среди которых спрятан был гвоздь. Когда его обнаружили, все участники пиршества поняли, что их хозяину советуют закрепить колесо его фортуны, ибо, достигнув предельной высоты и все еще продолжая крутиться, оно неизбежно устремится вместе с ним в бездну. Это предсказание осуществилось: сперва произошло его падение, а затем и смерть. Но его казнь лишь увеличила во Флоренции общее смятение, ибо все боялись за себя – и победители, и побежденные. Однако страх, овладевший правящими, был наиболее зловреден, ибо какой бы пустяк ни случился, он тотчас же давал повод для новых преследований партии гвельфов, для приговоров, предупреждений и изгнаний из города. А к этому добавлялись все новые и новые законы и постановления, каждодневно издававшиеся для укрепления власти правительства. Все эти меры приводили к еще большему озлоблению людей, подозрительных для правящей клики, и поэтому с согласия Синьории назначена была комиссия из сорока семи граждан, которой поручалось очистить государство от всех подозрительных лиц. Эта комиссия объявила предупреждение тридцати девяти гражданам, многих пополанов объявила грандами, а многих грандов – пополами. Для внешней же защиты государства она наняла мессера Джона Хоквуда, по национальности англичанина, прославленного военачальника, который долгое время воевал в Италии в качестве наемника папы и других государей. За внешнюю безопасность заставляли тревожиться слухи о том, что Карл, герцог Дураццо, набирает для похода на Неаполь многочисленные военные отряды, среди которых было немало флорентийских изгнанников. Кроме обычных средств для предотвращения этой внешней опасности, пустили в ход и деньги, ибо, когда Карл появился в Ареццо, флорентийцы выплатили ему сорок тысяч дукатов за

обещание их не беспокоить. Он принялся осуществлять свой замысел, успешно завладел королевством Неаполитанским, а королеву Джованну пленницей отправил в Венгрию. Но победа его только усилила страх флорентийских правителей: они не могли поверить, что их деньги окажутся сильнее старинной дружбы, которую король всегда сохранял в своем сердце к гвельфам, ныне подвергающимся во Флоренции такому угнетению.

XX

Этот страх, усиливаясь, порождал новые обиды, каковые его не только не рассеивали, но еще усугубляли, так что большая часть граждан жила в непрерывном недовольстве. Ко всему этому надо добавить еще дерзкое поведение мессера Джорджо Скали и мессера Томмазо Строцци: они пользовались большей властью, чем магистраты республики, и каждый гражданин мог опасаться, что они, опираясь на поддержку народных низов, станут чинить ему обиды. Так что тогдашнее флорентийское правительство казалось несправедливым и тираническим не только честным гражданам, но и смутьянам. Однако самоуправству мессера Джорджо Скали все же должен был наступить конец. Случилось, что один из его сторонников обвинил в заговоре против государства некоего Джованни ди Камбио, но капитан признал его невиновным. Тогда судья решил, что обвинитель-клевветник должен понести кару, угрожавшую обвиняемому, если бы тот оказался осужденным. Видя, что ни просьбы его, ни влияние не могут спасти этого человека, мессер Джорджо вместе с мессером Томмазо Строцци и большим количеством вооруженных людей силой освободили его, разгромили дворец капитана, которому ради спасения пришлось от них спрятаться. Поступок мессера Джорджо преисполнил весь город таким возмущением, что враги его решили воспользоваться этим и нанести ему сокрушительный удар и вырвать город не только из его рук, но и из-под власти черни, которая целых три года дерзновенно держала его под своим игом. Способствовал этому также и капитан, который, едва беспорядки прекратились, явился в Синьорию и сказал, что он охотно принял пост, до которого возвысило его доверие синьоров, ибо надеялся послужить людям благонамеренным и готовым взяться за оружие для защиты правосудия, а не для того, чтобы чинить ему препятствия; но что, убедившись на собственном опыте, как этот город управляется и как живет, он свою должность, добровольно им принятую в надежде обрести в ней честь и выгоду, добровольно же и возвращает Синьории, дабы избежать ущерба и гибели.

Синьория, однако, подняла дух капитана, пообещав ему вознаграждение за понесенные ущерб и обиду и безопасность на будущее время. Некоторые из членов Синьории устроили совещание с участием ряда граждан, считавшихся искренними сторонниками общего блага и вызывавшими у правительства меньше всего подозрений, и на совещании этом решено было, что сейчас представляется исключительно благоприятный случай для того, чтобы избавить город от самоуправления черни и мессера Джорджо, который своими последними наглыми выступлениями заслужил почти всеобщую ненависть. Исползовать же эту возможность следовало еще до того, как возмущение уляжется, ибо совещавшиеся хорошо понимали, что народное сочувствие можно и обрести и утратить вследствие любой пустячной случайности. Сочли они также, что для успешного проведения в жизнь их замысла необходимо заручиться поддержкой мессера Бенедетто Альберти, без согласия которого замысел этот представлялся им крайне опасным.

Мессер Бенедетто был человек очень богатый, благожелательный, непоколебимо преданный свободе отечества и глубоко враждебный всяческой тирании, почему и нетрудно было успокоить его совесть, склонив его к согласию на действия против мессера Джорджо. Сторонником народных низов и врагом благородных пополанов и гвельфов стал он именно из-за их дерзости и самоуправления. Но увидев, что вожаки народных низов уподобились своим противникам, он отошел от них и не имел никакого отношения к тем преследованиям, которым они подвергали своих сограждан. Таким образом, он порвал с плебейской партией черни из-за тех же причин, по которым примкнул к ней. Склонив мессера Бенедетто и глав цехов в этом деле на свою сторону и позаботившись о вооружении, Синьория арестовала мессера Джорджо, а мессеру Томмазо удалось скрыться. На следующий же день мессер Джорджо был обезглавлен, и на людей из его партии это нагнало такого страха, что никто в его защиту и пальцем не шевельнул – наоборот, все, спасая свою шкуру, старались поспособствовать его гибели. Когда его вели на казнь и он увидел, что глазеть на нее собрался тот самый народ, который только вчера боготворил его, он стал сетовать на горькую свою участь и на озлобление против него сограждан, вынудившее его заискивать перед чернью, чуждой какой бы то ни было верности и благодарности. Заметив среди вооруженных граждан мессера Бенедетто Альберти, он сказал ему: «Как, Бенедетто, ты допускаешь, чтобы надо мной чинили расправу, которой я никогда бы не допустил в отношении тебя? Но вот я предвещаю тебе, что

день этот будет концом моих бедствий и началом твоих». Затем он стал упрекать самого себя за то, что слишком доверял народу, который можно поднять и вести куда угодно одним словом, одним жестом, одним бездоказательным обвинением. И с этими жалобами на устах принял он смерть, окруженный вооруженными и радующимися его гибели врагами. Затем преданы были смерти некоторые из ближайших его друзей, а народ завладел их трупами и поволок их по улицам.

XXI

Смерть этого гражданина взбудоражила весь город и в день казни мессера Джорджо многие граждане взяли за оружие – одни, чтобы поддержать Синьорию и народного капитана, другие в целях личного честолюбия или личной безопасности. Город раздирался противоречивыми страстями, у каждого были свои цели и никто не хотел складывать оружия, не достигнув их. Древние нобили, называвшиеся грандами, не могли примириться с тем, что их лишили права занимать государственные должности, и стремились добиться восстановления этого права любыми средствами, а потому хотели, чтобы капитанам гвельфской партии были возвращены их прежние функции. Благородным пополам и членам старших цехов не нравилось, что им приходится делить управление государством с младшими цехами и тощим народом. Со своей стороны младшие цехи склонялись гораздо больше к расширению своих прав, чем к их ограничению, а тощий народ боялся лишиться управления новыми цехами. Все эти разногласия среди флорентийцев приводили в течение одного года к частым столкновениям и смутам: то гранды брались за оружие, то члены старших цехов, то младшие цехи в союзе с тощим народом, и не раз случалось, что в одно и то же время в разных частях государства все партии брались за оружие. Вследствие этого постоянно завязывались стычки между ними или между ними и охраной дворца, ибо Синьория старалась прекращать эти беспорядки как могла – то силой оружия, то уступками. Наконец, после того как дважды собирались всенародные собрания и несколько раз учреждалась балия для переустройства республики, после всевозможных бедствий, великих усилий и опасностей образовалось правительство, которое прежде всего поспешило возвратиться во Флоренцию всех изгнанных из нее со времени, когда мессер Сальвестро Медичи назначен был гонфалоньером. Все, кому балия 1378 года дала всевозможные преимущества и доходы, были их теперь лишены; партии гвельфов возвратили прежние привилегии; оба новых цеха были распущены и у них отобрали их магистратуры, а членов этих новых цехов распределили по тем цехам, к которым они раньше принадлежали; представителей младших цехов лишили права занимать должность гонфалоньера справедливости, и теперь они владели только третью правительственных должностей, в то время как до того им принадлежала половина таковых, причем отобрали у них наиболее важные должности. Таким образом, партия благородных пополам и партия гвельфов вновь стали у кормила правления, от которого полностью отстранили партию низов народа, стоявшую у него с 1387 года по 1381, когда произошли все означенные перемены.

XXII

Однако это новое правительство стало с первых же дней своих угнетать флорентийских граждан ничуть не меньше, чем это делало бы правительство народных низов. Ибо многие благородные пополамы были обвинены как сторонники низов народа и изгнаны вместе с его вожаками, среди которых оказался Микеле ди Ландо; не спасли его от ярости враждебной партии даже все его заслуги перед отечеством в то время, когда оно находилось во власти неистовствующей толпы: родина не проявила к нему никакой благодарности. Многие государи и республики слишком часто совершают ту же самую ошибку, приводящую к тому, что народ, опасаясь подобных примеров, старается сбросить с себя власть еще до того, как испытает их неблагодарность. Изгнания и казни эти крайне не одобрялись мессером Бенедетто Альберти, который таких мер вообще никогда не одобрял и поэтому он осуждал их и публично, и в частных беседах. Власть имущие побаивались его, ибо считали, что он один из первых друзей низов народа и что на казнь Джорджо Скали он согласился не из-за его беззаконий, а для того, чтобы не иметь соперников. Его речи и действия еще усиливали подозрения правящих, так что вся партия, стоявшая у власти, не спускала с него глаз, только и ожидая благоприятного случая с ним разделаться.

Пока Флоренция находилась в таком состоянии, события внешние не имели большого значения, поэтому все происходившее вовне хотя и внушало много опасений, но не приносило вреда. Как раз в это время Людовик Анжуйский прибыл в Италию, чтобы вернуть неаполитанский престол королеве Джованне, согнав с него Карла, герцога Дураццо. Его появление в Тоскане напугало флорентийцев, ибо Карл, по обычаю старых друзей, просил их помощи, а Людовик, подобно всем, кто ищет новых друзей,

добивался только их нейтралитета. Поэтому флорентийцы, желая сделать вид, что они соглашаются на просьбы Людовика, а на самом деле помочь Карлу, отказались от услуг своего военачальника Джона Хоквуда, но убедили папу Урбана, дружественного к Карлу, принять его к себе на службу. Хитрость эта была сразу разгадана Людовиком, и он почел себя весьма обиженным флорентийцами. Пока в Апулии между Карлом и Людовиком велись военные действия, из Франции на помощь Людовику прибыли новые силы. Едва появившись в Тоскане, они были приведены в Ареццо тамошними изгнанниками и свергли власть партии, правившей там от имени Карла. Но когда они намеревались сделать во Флоренции то же, что сделали в Ареццо, Людовик умер, и дела в Апулии и в Тоскане приняли по воле судьбы иной оборот, ибо Карл укрепился на троне, который почти что потерял, а флорентийцы, весьма сомневавшиеся в том, что им удастся отстоять свой город, приобрели теперь Ареццо, купив этот город у войск, занявших его от имени Людовика. Карл, не беспокоясь больше об Апулии и оставив в Италии жену с двумя малолетними детьми, Владиславом и Джованной, как мы об этом уже говорили, отправился принимать венгерскую корону, переходившую к нему по наследству. Он завладел Венгрией, но вскоре затем его постигла там смерть.

XXIII

Приобретение Ареццо ознаменовалось во Флоренции торжественными празднествами, подобными тем, какими повсюду отмечаются военные победы. Роскошествовало не только государство, но и частные лица, ибо последние, соревнуясь с государством, устраивали свои празднества. Однако роскошью и великолепием затмили всех Альберти – пышность устроенных ими увеселений и турниров достойна была скорее каких-нибудь государей, чем частных лиц. Все это усилило зависть, вызывавшуюся этим семейством, и она в сочетании с подозрениями правительства насчет мессера Бенедетто, стала причиной гибели последнего. Те, кто управлял государством, не могли взирать на него спокойно: они все время боялись, что он с помощью своих сторонников восстановит все свое влияние на народ и изгонит их из города. Они не знали, что следует предпринять, а в это время мессер Бенедетто был гонфалоньером народных отрядов, и вот по жребию гонфалоньером справедливости стал его зять мессер Филиппо Магалотти. Это обстоятельство еще усугубило опасения грандов, которые стали бояться, как бы такое усиление мессера Бенедетто не оказалось опасным для государства. Желая без особого шума принять нужные меры, они подговорили Безе Магалотти, родича и врага Филиппо, донести Синьории, что Филиппо не достиг еще возраста, требуемого для того, чтобы занимать этот пост, и потому не может и не должен его получить.

Дело это обсудили в Синьории, и некоторые ее члены из личной вражды, а другие для того, чтобы не поднимать новой смуты, постановили, что мессер Филиппо данной должности не соответствует, и вместо него назначили Бардо Манчини, человека резко враждебного плебейской партии и непримиримого врага мессера Бенедетто. Едва вступив в должность, новый гонфалоньер созвал балию, каковая, занимаясь упорядочением государственных дел, приговорила к изгнанию мессера Бенедетто Альберти, а остальных членов его семейства, за исключением мессера Антонио, объявила предупрежденными. Перед отъездом из Флоренции мессер Бенедетто собрал всех своих старших родичей, и, видя, что они огорчены и глаза их полны слез, сказал:

«Вы видите, отцы мои и близкие, как судьба нанесла мне жестокий удар и нависла угрозой над вашими головами. Меня это не удивляет, да и вам удивляться не следует. Так всегда бывает с теми, кто среди злонамеренных людей старается совершить благое дело и поддержать то, что большинство стремится низвергнуть. Любовь к отечеству сблизила меня с мессером Сальвестро Медичи и заставила отойти от мессера Джорджо Скали. Она же вызвала у меня ненависть к поведению нынешних наших правителей. И хотя нет сейчас никого, кто мог бы покарать их, они не желают слышать от кого-либо даже упреков. Я рад, что изгнание мое избавляет их от страха не только передо мной, но и перед всеми, кто, как им это хорошо известно, понял, какие они тираны и преступники. Вот почему нанесенный мне удар есть только угроза всем другим. Я лично не жалею, ибо почет, которым окружала меня свободная родина, не может отнять у меня отечество, погрязшее в рабстве, и я всегда буду находить больше радости в воспоминании о прошлой моей жизни, чем огорчения от несчастий, связанных с изгнанием. Горько мне, конечно, оттого что отечество мое во власти кучки людей, преисполненных гордыни и жадности. Горько мне за вас, так как боюсь я, что беды, ныне закончившиеся для меня и только начинающиеся для вас, обрушатся на головы ваши еще более жестоко, чем на мою. Поэтому я призываю вас укрепить души ваши перед лицом беды и вести себя так, что если поразит вас какое злосчастье, а грозит вам весьма многое, каждый в нашем городе знал бы, что вы ни в чем неповинны и за случившееся с вами никак не

ответственны».

Затем, чтобы за пределами отечества о чистоте души его составилось мнение столь же высокое, как и во Флоренции, он отправился в паломничество ко Гробу Господнему. Возвращаясь же оттуда, он скончался на острове Родос. Останки его доставлены были во Флоренцию и с величайшим почетом погребены теми же самыми людьми, которые при жизни донимали его оскорблениями и клеветой.

XXIV

Среди смут и тревог, царивших в городе, пострадало не только семейство Альберти. Приговоры к изгнанию и предупреждения объявлены были также многим другим гражданам, между прочим, Пьетро Бенини, Маттео Альдеротти, Джованни и Франческо дель Бене, Джованни Бенчи, Андреа Адимари и еще множеству лиц из числа мелких ремесленников. Предупреждения получили, в частности, Ковони, Бенини, Ринуччи, формикони, корбицци, Манельи, Альдеротти. Согласно обычаю, балия созывалась на определенный срок, но составлявшие ее граждане, после выполнения возложенной на них миссии, из скромности слагали с себя полномочия еще до истечения этого срока. И в данном случае члены балии, считая, что они сделали для государства все, что от них требовалось, хотели, как обычно, сложить свои полномочия. Узнав об этом, ко дворцу сбежалась вооруженная толпа с требованием, чтобы до своего роспуска балия изгнала и вынесла предупреждения еще многим гражданам. Синьории это было весьма не по нутру, и она, выигрывая время, расточала толпе всевозможные обещания, пока не подошли вызванные ею вооруженные силы, так что страх заставил толпу сложить оружие, которое подняла ее ярость. Однако, чтобы хоть частично смягчить эту ярость и еще ослабить младшие цехи, было постановлено, что им разрешается занимать не треть всех государственных должностей, а лишь четверть. А для того чтобы в Синьории всегда имелось два члена, наиболее верных правительству республики, было дано право гонфалоньеру справедливости и еще четверем гражданам пополнять сумку для жеребьевки, из которой в каждую вновь избираемую Синьорию извлекались бы два очередных имени.

XXV

Вот к чему пришел государственный порядок, установленный на этих началах в 1381 году, после чего вплоть до 1393 года в республике нерушимо царил внутренний мир. В течение этого времени Джан Галеаццо Висконти, именуемый графом Вирту, взял под стражу дядю своего мессера Бернабо, став таким образом повелителем всей Ломбардии, и рассчитывал с помощью силы сделаться королем всей Италии, как с помощью обмана сделался герцогом Миланским. В 1391 году он начал яростную войну против Флоренции, и хотя она велась с переменным успехом и герцог чаще оказывался на грани поражения, флорентийцы все же были бы в конце концов побеждены, если бы он не умер. Защищались они с упорством и искусством, поистине удивительными для республики, и исход столь тяжелой войны оказался гораздо менее плачевным, чем можно было ожидать. Ибо после взятия Болоньи, Пизы, Перуджи и Сиены и уже готовясь короноваться во Флоренции королем всей Италии, герцог скончался. Смерть не дала ему воспользоваться плодами его побед, а для флорентийцев значительно смягчила горечь понесенных ими потерь.

В то время как развивались ожесточенные военные действия против герцога, гонфалоньером справедливости избран был мессер Мазо Альбицци, питавший после смерти Пьеро глубочайшую вражду против дома Альберти. И так как партийные страсти во Флоренции далеко не угасли, мессер Мазо решил не довольствоваться тем, что мессер Бенедетто умер в изгнании, а отомстить и всем другим членам этого семейства, до того как ему придет время расстаться с должностью гонфалоньера. Удобный случай представился ему благодаря одному человеку, которого допрашивали по поводу связей с мятежниками и который назвал Альберто и Андреа Альберти. Они были тотчас же арестованы, а это вызвало в городе такое волнение, что Синьория, обеспечив себя вооруженной силой, созвала народное собрание, образовавшее балию, которая многих граждан отправила в изгнание и переменяла списки в жеребьевочных сумках.

В числе изгнанных оказались почти все Альберти; кроме того, много ремесленников было приговорено к смертной казни или получило предупреждения, вследствие чего ремесленники и чернь, считая, что их лишают чести и жизни, подняли вооруженный мятеж. Часть восставших вышла на площадь, а другие бросились к дому мессера Вери Медичи, оставшегося после смерти мессера Сальвестро главой этой семьи. Для того чтобы обезвредить тех, кто собрался на площади, Синьория послала к ним людей с знаменами гвельфской партии и народа во главе с мессером Ринальдо Джанфильяцци и мессером Донато Аччаюоли, так как они сами были из пополанов и могли быть встречены народными низами лучше других. Те же, что пошли к мессеру Вери,

заклинали его взять бразды правления в свои руки и избавить народ от тирании граждан, которые преследовали честных людей и были врагами общего блага.

Все, оставившие воспоминания об этом времени, единодушно утверждают, что если бы мессер Вери был более честолюбив, чем добродетелен, он мог бы беспрепятственно захватить всю полноту власти в государстве. Ибо жестокие обиды, которым справедливо или несправедливо подвергались ремесленники и их друзья, возбудили в сердцах их такую жажду мщения, что им не доставало только подходящего человека, который стал бы их вожаком. Немало оказалось у мессера Вери советчиков, внушавших ему, что именно он должен делать, и даже Антонио Медичи, долгое время открыто объявлявший себя его врагом, стал теперь убеждать Вери взять власть. На это мессер Вери, однако, сказал: «Когда ты был моим врагом, твои угрозы меня не пугали, также и теперь, когда ты мой друг, не погубят меня и твои советы». Затем, повернувшись к толпе, он призвал ее не терять мужества и обещал выступить на ее защиту в случае, если она согласится руководствоваться его советами. Окруженный всеми этими людьми, он отправился на площадь, вошел во дворец и, оказавшись перед лицом Синьории, сказал, что отнюдь не раскаивается в том, что своим образом жизни заслужил любовь флорентийцев, но весьма огорчен, что о нем высказали суждение, коего он никак не заслуживал, ибо никогда не проявлял склонности к смуте и честолюбию и понять не может, как позволено было считать его подстрекателем к раздорам, мятежником или узурпатором государственной власти, или честолюбцем. Поэтому он и умоляет милостивых синьоров не вменять ему в вину невежественность толпы, ведь он сразу же, как только смог, отдал себя в руки Синьории. Но при этом советует ей проявить в данных счастливых для нее обстоятельствах умеренность, ибо – добавил он – лучше неполная победа и благополучие отечества, чем стремление к полной победе, ставящее под угрозу само его существование.

Члены Синьории всячески восхваляли его и призывали уговорить народ сложить оружие, обязуясь со своей стороны внять советам, которые пожелает дать им он и другие честные граждане. После этих переговоров мессер Вери вернулся на площадь и присоединил своих вооруженных людей к тем, которых возглавляли мессер Ринальдо и мессер Донато. Затем мессер Вери сказал всем собравшимся, что Синьория расположена к ним весьма благожелательно, речь шла о многих вещах, но за недостатком времени и отсутствием магистратов невозможно было довести дело до конца. Тем не менее он просит их сложить оружие и повиноваться Синьории, ибо их доверие и просьбы расположат к ним синьоров больше, чем гордыня и угрозы, и никто не покусится на их права и на их безопасность, если они поступят, как он им советует. Поверив его слову, все разошлись по домам.

XXVI

Когда порядок восстановился, Синьория прежде всего позаботилась об укреплении подступов к площади, а затем призвала к оружию граждан из числа тех, кому она могла больше всего доверять, разделила их на отряды и повелела им являться для поддержки Синьории каждый раз, как они будут призваны. Всем же прочим гражданам ношение оружия было запрещено. После принятия этих мер были изгнаны и казнены многие из тех ремесленников, которые в последнем мятеже показали себя особенно яркими. Чтобы придать должности гонфалоньера справедливости больше величия и окружить его большим уважением, постановили, что занимать ее можно только по достижении сорока пяти лет. Для укрепления государственной власти приняли также много других мер, не только не переносимых для тех, против кого они были направлены, но возмущивших даже честных граждан из партии, поддерживавших Синьорию, ибо они отказывались считать прочным и уверенно стоящим на ногах государство, которое приходилось защищать с помощью таких насилий. Чрезмерное это угнетение раздражало не только тех членов дома Альберти, которые оставались в городе, и семейство Медичи, считавшее, что народ обманули, но и весьма многих других граждан.

Первым, попытавшимся сопротивляться всему этому, был мессер Донато, сын Якопо Аччаюоли. Хотя в городе он был одним из самых видных лиц и стоял даже скорее выше их, чем был равен мессеру Мазо Альбицци, который по делам, совершенным во время его гонфалоньерства, считался как бы главой республики, он не мог благоденствовать среди стольких недовольных или же, подобно многим, искать своей личной выгоды среди общих бедствий. Вот он и решил попытаться вернуть родину изгнанникам или хотя бы должности предупрежденным. Он поверял эти свои взгляды то одному, то другому гражданину, утверждая, что нет иного способа умиротворить народ и затушить партийные страсти и что как только он станет членом Синьории, так и приступит к осуществлению своего замысла. А так как во всем, что мы предпринимаем, задержка вызывает уныние, а поспешность порождает опасность, он решил лучше подвергнуться опасности, чем впасть в уныние. В то время Микеле

Аччаюоли, его родич, и Никколо Риковери, его друг, были членами Синьории. Мессер Донато рассудил, что момент подходящий и упустить его нельзя, и потому стал убеждать их предложить в советах закон о восстановлении в правах граждан, лишенных их. Они с ним согласились и подняли этот вопрос перед своими коллегами, которые, однако же, заявили, что не пойдут на новшества, где выигрыш сомнителен, а опасность несомненна. Мессер Донато, тщетно испробовав все законные пути, дал гневу увлечь себя и велел передать членам Синьории, что раз они не хотят навести в государстве порядок мерами, которые вполне в их власти, придется прибегнуть к оружию. Эти разговоры вызвали такое негодование, что после того, как о них довели до сведения правительства, мессера Донато вызвали в суд. Он явился и, обвиненный тем, кому он поручил передать его угрозу Синьории, был изгнан в Барлетту. Изгнанию подвергли также Аламанно и Антонио Медичи и всех потомков семьи мессера Аламанно, присоединив к ним также много простых ремесленников, пользовавшихся популярностью среди низов народа. Все это произошло через два года после того, как мессер Мазо провел реформу государственного управления.

XXVII

Итак, в городе было множество недовольных, а за пределами его множество изгнанных граждан. Среди изгнанников, обосновавшихся в Болонье, находились Пиккьо Кавиччули, Томмазо Риччи, Антонио Медичи, Бенедетто Спино, Антонио Джиролами, Кристофано ди Карлоне и еще два человека из низов. Все они были молоды, храбры и на все готовы пойти, чтобы вернуться в отечество. Пиджьелло и Бароччо Кавиччули, получившие предупреждение, но оставшиеся во Флоренции, тайно сообщили им, что если бы им удалось проникнуть в город, они нашли бы уют в доме Кавиччули, откуда потом вышли бы в благоприятный момент, умертвили мессера Мазо дельи Альбицци и подняли народ, что сделать нетрудно, так как народ недоволен и легко пойдет на мятеж, увидев, что вернувшихся изгнанников поддерживают все Риччи, Адимари, Медичи, Манельи и еще многие другие семейства. В надежде на успех изгнанники проникли во Флоренцию 4 августа 1397 года в месте, заранее им указанном. Желая, чтобы смерть мессера Мазо послужила сигналом к мятежу, они установили за ним слежку. Мазо, выйдя из своего дома, зашел к одному аптекарю у Сан Пьеро Маджоре. Человек, следивший за ним, побежал сообщить об этом заговорщикам, которые тотчас же вооружились и бросились в указанное место, но мессер Мазо оттуда уже ушел. Не смущаясь первой неудачей, они направились к Старому рынку, где умертвили одного человека из числа своих врагов. Тогда уже поднялся шум. С криками «Народ, оружие, свобода!», «Да умрут тираны!» они повернули к Новому рынку и в самом конце Калималы убили еще одного, затем они продолжали свой путь все с теми же криками, но так как никто за оружие не брался, сошлись в лоджии Нигиттоза. Там они взошли на высокое место и, окруженные громадной толпой, сбегавшейся больше поглазеть на них, чем оказать им поддержку, стали громко призывать народ взяться за оружие и сбросить с себя ярмо опостылевшего рабства. При этом они утверждали, что к открытому мятежу побудили их не столько личные обиды, сколько жалобы недовольных в стенах Флоренции; они знали, что многие в городе молили Бога предоставить им благоприятный случай для мщения и готовы были ухватиться за него, как только нашлись бы вожаки, способные ими руководить. «Почему же теперь, – взывали они к собравшимся, – когда случай представился, когда вожаки нашлись, вы переглядываетесь, как ошеломленные? Или вы дожидаетесь, чтобы призывающих вас к свободе умертвили и ярмо придавило вас еще тяжелее? Не странно ли, что люди, которые из-за пустяковой обиды хватались за оружие, не двигаются с места, когда обидам и поношениям нет конца? И можете ли вы терпеть, что столько сограждан ваших изгнано или ограничено в правах, когда только от вас зависит вернуть изгнанным родину, а предупрежденным их права?». Речи эти, при всей их справедливости, не вызвали в толпе ни малейшего движения – то ли потому что люди боялись, то ли потому что содеянные мятежниками убийства вызвали к ним отвращение. Тогда подстрекатели, видя, что ни речи их, ни действия никого не заставляют сдвинуться с места, осознали, хотя и слишком поздно, как опасно пытаться вернуть свободу тем, кто упорно не желает сбрасывать с себя иго рабства. Отчаявшись в успехе своего замысла, они укрылись в храме Сан Репарата и заперлись там не столько для того, чтобы спасти свою жизнь, сколько для того, чтобы отсрочить гибель.

При первых же слухах о мятеже встревоженная Синьория поспешила привести дворец в состояние готовности к обороне и забаррикадировалась в нем, но затем, выяснив, в чем дело, кто начал смуту и где укрылись подстрекатели, успокоилась и повелела капитану во главе сильного вооруженного отряда захватить их. Дверь храма взломали без особого труда, часть изгнанников погибла при самозащите, остальные были взяты. Во время следствия по этому делу выяснилось, что никаких иных

сообщников, кроме Бароччо и Пиджьелло Кавиччули, у них не было; эти и были преданы казни вместе с изгнанниками.

XXVIII

После этого события произошло еще одно, гораздо более важное. Как мы уже говорили, Флоренция в то время находилась в состоянии войны с герцогом Миланским, который, видя, что в открытом поле ему победы не достичь, решил прибегнуть к тайным интригам. Через посредство флорентийских изгнанников, которыми Ломбардия была полна, он устроил заговор с участием многих граждан, проживающих в стенах Флоренции. Условлено было, что в назначенный день все изгнанники, способные носить оружие и находящиеся неподалеку от Флоренции, одновременно выступят и проникнут в город по Арно, что там они при поддержке своих сообщников прежде всего поспешат в дома власть имущих, умертвят их и затем установят в республике новый угодный им государственный порядок. Среди заговорщиков внутри города был один человек из рода Риччи по имени Саминиато. И так как при заговорах часто случается, что недостаток участников препятствует успеху, а излишне большое число приводит к раскрытию замысла, стремление Саминиато завербовать новых членов привело к тому, что вместо пособника он нашел себе обвинителя. Он сообщил о заговоре Сальвестро Кавиччули, считая, что может рассчитывать на него, как на человека, подвергшегося вместе с другими членами своего семейства всевозможным тяжким обидам и поношениям. Однако страх перед тем, что могло его ожидать сейчас, оказался для Сальвестро сильнее более отдаленной надежды на отмщение, и он сразу же раскрыл все Синьории. Саминиато был задержан, и его принудили раскрыть весь замысел заговорщиков, но схватить смогли только одного из участников – Томмазо Давици, который направлялся из Болоньи во Флоренцию, не зная, что там произошло, и был взят еще по дороге. Другие участники заговора, напуганные арестом Саминиато, бежали. После того как Саминиато и Томмазо Давици постигло возмездие по делам их, была созвана балия из граждан, коим дана была власть разыскивать виновных и укреплять государство. Эти граждане объявили виновными шесть человек из дома Риччи, шесть из дома Альберти, двух из дома Медичи, трех из дома Скали, двух из дома Строцци, затем Биндо Альтовити, Бернардо Адима-ри, а также множество простых людей. Были предупреждены сроком на десять лет все члены семейства Альберти, Риччи и Медичи, за исключением немногих, среди коих оказался мессер Антонио, считавшийся человеком мирно настроенным и лишенным честолюбия. Подозрения, вызванные этим заговором, еще не окончательно рассеялись, когда задержан был некий монах, замеченный в том, что он часто появлялся на дороге из Болоньи во Флоренцию как раз в то время, когда заговор только зарождался. Он признался, что неоднократно доставлял письма мессеру Антонио, которого тотчас же арестовали. Сперва он всячески отпирался, но уличенный монахом, приговорен был к уплате штрафа и изгнанию из города на расстояние не менее трехсот миль. Наконец, для того чтобы избавить Флоренцию от опасности, ежедневно грозившей ей от семейства Альберти, постановили изгонять из города любого его члена по достижении им пятнадцати лет.

XXIX

Произошло это в 1400 году, а через два года умер Джан Галеаццо, герцог Миланский, и смерть его положила конец, как мы уже говорили, этой войне, продолжавшейся двенадцать лет. В это время государство окрепло, не имея ни внутренних, ни внешних врагов, и предприняло завоевание Пизы, столь славно завершленное. В городе спокойствие царило с 1400 по 1433 год, лишь в 1412 году, когда Альберти нарушили запрет появляться в пределах республики, против них была созвана новая балия, которая назначила награду за их головы и установила новые меры по охране государства.

В это же время флорентийцы вели войну против Владислава, короля Неаполитанского, каковая прекратилась в 1414 году со смертью этого государя. В войне этой был момент, когда король оказался слабее Флоренции и ему пришлось уступить ей город Кортону, владельцем которой он был. Однако вскоре после того он вновь собрался с силами и возобновил войну, на этот раз оказавшуюся для Флоренции гораздо более тяжелой, так что не окончись она, как и предыдущая с герцогом Миланским, смертью врага республики, Флоренции грозила опасность утратить свою свободу. Но завершилась она для флорентийцев не менее счастливо, чем та, так как король захватил уже Рим, Сиену, Марку и всю Романью, и ему оставалось только взять Флоренцию, чтобы затем со всеми силами своими устремиться в Ломбардию, когда пришла к нему кончина. Таким образом, самым верным из союзников Флоренции была смерть короля, и она была для флорентийцев спасительной любой их доблести. После смерти этого короля вне и внутри Флоренции

еще восемь лет царил мир, после чего с началом войны против Филиппо, герцога Миланского, опять пробудились партийные раздоры, которые затихли только после крушения государства, существовавшего с 1381 по 1434 год, счастливо ведшего столько войн и присоединившего Ареццо, Пизу, Кортону, Ливорно и Монтепульчано. Оно совершило бы еще более великие дела, если бы в городе всегда царило согласие и в нем не вспыхнули заново прежние раздоры, как будет особо показано в следующей книге.

Книга четвертая

I

Государства, особенно плохо устроенные, управляющиеся как республики, часто меняют правительства и порядок правления, что ввергает их не в рабское состояние из свободного, как это обычно полагают, а из рабского в беспорядочное своеволие. Ибо пополаны, которые стремятся к своеволию, и нобили, жаждущие порабощения других, прославляют лишь имя свободы: и те, и другие не хотят повиноваться ни другим людям, ни законам. Если случается, – а случается это очень редко, – что по воле фортуны в каком-нибудь государстве появляется гражданин, достаточно мудрый, добродетельный и могущественный, чтобы наделить его законами, способными либо удовлетворить эти стремления нобилей и пополанов, либо подавить их, лишив возможности творить зло, – вот тогда государство имеет право назвать себя свободным, а правительство его считается прочным и сильным. Основанное на справедливых законах и на хороших установлениях, оно затем не нуждается, как другие, в добродетели какого-либо одного человека для того, чтобы безопасно существовать.

Многие государства древности, где форма правления долгое время оставалась неизменной, обязаны этим подобному законодательству, которого не доставало и не хватает всем государствам, где правление переходило и переходит от тирании к своеволию и от своеволия к тирании. И действительно, у подобных правительств нет и не может быть никакой прочности из-за всегда противостоящего им значительного количества могущественных врагов. Одно не нравится людям благонамеренным, другое не угодно людям просвещенным; одному слишком легко творить зло, другому весьма затруднительно совершать что-либо хорошее: в первом слишком много власти дается гордыне, во втором – неспособности.

Так что и то, и другое могут упрочиться лишь благодаря мудрости или удачливости какого-либо одного человека, которому всегда грозит опасность быть унесенным смертью или же оказаться обессиленным из-за волнений и усталости.

II

Вот я и утверждаю, что правительство, установленное во Флоренции в 1381 году, после смерти мессера Джорджо Скали, поддерживалось ловкостью сперва мессера Мазо дельи Альбицци, а затем Никколо да Уццано. Город пребывал в мире с 1414 по 1422 год, поскольку король Владислав умер, а Ломбардия была разделена на несколько государств, так что ни в самой Флоренции, ни вонне республике ничего не угрожало. Наиболее могущественными после Николло да Уццано были Бартоломео Валори, Нероне ди Ниджи, мессер Ринальдо Альбицци, Нери ди Джино и Лапо Никколини. Различные соперничающие клики, порожденные враждой между домами Альбицци и Риччи и столь неосмотрительно воскрешенные впоследствии мессером Сальвестро Медичи, никогда по-настоящему не умирали. Хотя та из них, что имела больше всего сторонников, властвовала не более трех лет и в 1381 году оказалась побежденной, с ней никогда не удавалось покончить вследствие того, что ее взгляды разделялись почти всеми гражданами. Правда, частые народные собрания и постоянно возобновлявшиеся преследования вождей этой партии, с 1381 по 1400 год, ее почти уничтожили. Больше всего преследований обрушивалось на семейства Альберти, Риччи и Медичи, так как они стояли во главе этой партии: и члены их, и имущество неоднократно оказывались под ударом, и те из них, которые не покинули город, лишались права занимать государственные должности. Постоянные потери крайне ослабили эту партию, можно сказать – уничтожили ее. Однако весьма значительное число граждан сохраняли память о перенесенных обидах и желание отомстить за них, но, не имея никакой опоры, вынуждены были жить с озлоблением, затаенным в самой глубине сердца. Люди из благородных пополанов, которым

предоставляли спокойно управлять государством, совершили две ошибки, которые и оказались губительными для их власти. Во-первых, то обстоятельство, что они долго и без перерыва пользовались этой властью, сделало их беззастенчивыми. Во-вторых, их взаимная ненависть и длительная привычка повелевать усыпили в них должную бдительность в отношении тех, кто мог им вредить.

III

Таким образом, каждодневно возбуждая всеобщую ненависть своим оскорбительным поведением и презрительно пренебрегая всем, что могло быть опасным, или даже порождая опасность своей взаимной завистью, они сами были виноваты в том, что семья Медичи снова обрела прежнее влияние. Первым из них начал подниматься Джованни, сын Биччи. Он собрал огромное богатство, а так как всегда отличался кротостью и мягкостью, люди, стоявшие у власти, допустили его до самой высшей магистратуры. Это назначение вызвало в городе живейшую радость, ибо народные низы решили, что теперь у них будет защитник, но их радость пробудила вполне основательные опасения просвещенных людей: они поняли, что все прежние раздоры вспыхнут заново. Никколо да Уццано не преминул обратить на это внимание других граждан, убеждая их, что опасно возвышать человека, пользующегося столь широким влиянием, что нетрудно пресечь возможность беспорядка в самом начале, но крайне трудно чинить ему препятствия, когда он уже возник и начал усиливаться, и что ему слишком хорошо известно, как много у Джованни качеств, делающих его человеком более значительным, чем даже мессер Сальвестро. Однако коллеги Никколо не вняли его речам, так как завидовали его влиянию и не прочь были найти новых союзников против него.

В то время как флоренцию волновали все эти еще пока подспудные движения, Филиппо Висконти, второй сын Джованни Галеаццо, ставший со смертью своего брата государем всей Ломбардии и считавший, что теперь он имеет возможность предпринять все, что ему будет угодно, страстно желал восстановить свое господство в Генуе, которая свободно и благополучно жила под управлением дожа мессера Томмазо да Кампофрегозо.

Однако он опасался, что ни это предприятие, ни любое другое не будут иметь успеха, если он не заключит открыто нового договора с Флоренцией, убежденный, что один лишь слух о таком договоре будет вполне достаточным для успешного осуществления его планов. Поэтому он направил во флоренцию послов с соответственным предложением. Значительное число граждан полагали, что никакого нового договора заключать не следует и достаточно сохранять мир, уже давно существовавший между обоими государствами, ибо они хорошо понимали, что герцог ожидает от этого договора весьма определенных выгод, в то время как республике никакой пользы от него не будет. Многие другие, наоборот, считали, что переговоры вести надо, при этом ставить такие условия, нарушить которые герцог не сможет, не раскрыв всем и каждому своих коварных замыслов, и которые в случае такого нарушения вполне оправдают военные действия против него. После довольно длительного обсуждения условий мир был подписан на новых основаниях, и Филиппо обещал никоим образом не вмешиваться в дела, касающиеся земель, расположенных по эту сторону Магры и Панаро.

IV

После заключения этого договора Филиппо захватил сперва Брешу, а вскоре затем и Геную, вопреки представлениям тех, кто советовал заключить с ним мир в убеждении, что Бреше поможет Венеция, а Геную сможет защищать сама. Поскольку в договоре, который Филиппо только что заключил с генуэзским дожем, ему уступалась Сарцана и другие владения по ту сторону Магры с условием, что проданы или уступлены они могут быть только Генуе, он тем самым нарушал мирный договор с флоренцией. Вдобавок он вел переговоры с легатом Болоньи. Это двойное нарушение раздражало флорентийцев, которые, опасаясь новых бедствий, стали подумывать о новых способах помочь делу. Узнав об этом недовольстве, Филиппо отправил во флоренцию послов, чтобы оправдаться или улестить флорентийцев или чтобы ослабить их бдительность, и при этом изображал крайнее удивление тем, что его действия вызвали какие-то опасения, и предлагал, что откажется от всего предпринятого в той части, которая может вызвать какие-либо подозрения.

Единственным следствием этого посольства было то, что в город оказались брошены семена новых разногласий. Часть граждан вместе с наиболее уважаемыми лицами из правительства полагали, что следует вооружиться и быть готовыми в любой час расстроить замыслы неприятеля: если же Филиппо поведет себя мирно, то ведь военные приготовления не означают войны, а только лучше обеспечивают мир. Многие же другие, завидуя правящим или боясь военных действий, говорили, что незачем

без достаточных оснований подозревать в чем-то друга, что его дела вовсе не заслуживают столь поспешного недоверия, что все хорошо понимают: создание совета Десяти, затраты на войско означают подготовку к войне, а начать враждебные действия против столь могущественного государя значит стремиться к гибели республики без всякой надежды на какой бы то ни было выигрыш, ибо все равно невозможно будет удержать то, что может быть завоевано. Ведь между Тосканой и Ломбардией находится Романья, а о Романье нечего и думать из-за соседства с церковной областью.

Однако сторонники подготовки к войне возобладали над теми, кто никак не хотел нарушать мира. Назначили совет Десяти, началась вербовка наемных войск, установили новые налоги, которые наибольшей тяжестью своей пали не на богатых граждан, а на неимущих, и вследствие этого в городе раздавались непрерывные жалобы. Все проклинали честолюбие и стяжательство знати; их обвиняли в возбуждении ненужной войны только ради удовлетворения своей алчности и стремления властвовать над простым народом, угнетая его.

V

До открытого разрыва с герцогом еще не дошло, но все его действия внушали подозрение, тем более, что легат Болоньи, побаиваясь Антонио Бентивольо, проживавшего изгнанником в Кастельболоньезе, попросил у Филиппо вооруженной поддержки, и герцог послал в этот город войска, которые, находясь поблизости от флорентийских владений, вызвали страх у правительства республики. Но окончательно напугал всех, давая полное основание для подготовки к войне, захват герцогом Форли. Владелец этого города Джорджо Орделаффи, умирая, назначил герцога Филиппо опекуном своего сына Тебальдо. Хотя вдове его такой опекун показался весьма подозрительным и она отправила сына к своему отцу Лодовико Алидози, владельцу Имолы, народ Форли принудил ее выполнить завещание мужа и передать сына на попечение герцога. Дабы отвлечь от себя подозрения и получше скрыть свои истинные замыслы, Филиппо убедил маркиза феррарского послать Гвидо Торелло в качестве своего представителя с войсками захватить бразды правления в Форли. Так город этот и попал под власть герцога. Когда об этом, а также о присутствии войск герцога в Болонье стало известно во Флоренции, гораздо легче оказалось принять решение о войне, хотя против него были еще очень многие, а Джованни Медичи открыто осуждал его. Он говорил, что даже с полной уверенностью во враждебных намерениях герцога лучше дожидаться его нападения, чем выступать первым, ибо в таком случае военные действия флорентийцев будут вполне оправданы в глазах других итальянских правительств, как сторонников герцога, так и наших; что помощи против герцога на стороне просить будет гораздо легче, если его захватнические замыслы станут для всех очевидны; и, наконец, что свои собственные интересы защищаешь всегда гораздо мужественнее и упорнее, чем чужие. Ему отвечали, что гораздо лучше идти на врага, чем ждать его у себя, что военное счастье чаще улыбается нападающим, чем обороняющимся, и что если затраты на наступательную войну во вражеских пределах значительнее, то потери и ущерб гораздо меньше, чем если война ведется на своей территории. Последняя точка зрения возобладала, и постановлено было, что совет Десяти должен принять все меры для того, чтобы вырвать Форли из рук герцога.

VI

Видя, что флорентийцы намерены завладеть тем, что он решил защищать, Филиппо отбросил всякую щепетильность и послал Аньоло делла Пергола с сильным отрядом против Имолы, чтобы владелец ее вынужден был заботиться о самозащите и не думать о делах опекуна над внуком. Когда Аньоло подошел к Имоле, флорентийские войска были еще в Модильяне. Стояли большие холода, вода в городском рву замерзла. Враг, воспользовавшись этим, ухитрился ночью ворваться в город, Лодовико был взят в плен и отправлен в Милан. Флорентийцы, видя, что Имола захвачена и вообще война началась, двинулись на Форли и осадили город, взяв его со всех сторон в кольцо. Чтобы воспрепятствовать войскам герцога соединиться и оказать помощь гарнизону Форли, флорентийцы подкупили графа Альбериго, который из владения своего, Дзагонары, ежедневно совершал набеги на занятую неприятелем местность до самых ворот Имолы. Видя, что наши войска, осаждающие Форли, занимают весьма прочные позиции, и ему не так-то легко будет оказать помощь этому городу, Аньоло делла Пергола решил совершить нападение на Дзагонару, рассудив, что флорентийцы не захотят потерять это место и двинуться на помощь Дзагонаре, что заставит их снять осаду с Форли и принять бой в невыгодных для себя условиях. Войска герцога принудили Альбериго пойти на переговоры, приведшие к соглашению, по которому Альбериго обязывался сдать

Дзагонару, если в течение двух недель флорентийцы не окажут ему помощи. Когда об этой неприятности узнали во флорентийском лагере и в городе, решено было не допустить, чтобы врагу далась такая победа, но в результате он одержал еще большую. Войска, осаждавшие Форли, сняли осаду и направились на помощь Дзагонаре, но, войдя в соприкосновение с неприятелем, потерпели поражение не столько благодаря доблести своих противников, сколько из-за непогоды. Ибо наши люди, после тяжелого перехода под дождем и по вязкой грязи, встретились со свежими неприятельскими войсками и, конечно, были разбиты. Однако же в этом разгроме, весть о котором распространилась по всей Италии, погибли только Лодовико Обицци с двумя сородичами, каковые упали со своих коней и захлебнулись грязью.

VII

Известие о таком поражении повергло в скорбь всю Флоренцию, особенно же грандов, настаивавших на войне: они оказались обезоруженными, без союзников, и с одной стороны им грозил победоносный враг, а с другой негодующий народ, который поносил их на площадях, жалуясь на тяготы, от которых он страдал ради бессмысленно начатой войны. «Ну что, – говорили все, – нагнали они на врага страх своим советом Десяти? Помогли они Форли, вырвали его из лап герцога? Теперь-то и вскрылось, чего они хотели и куда гнули: не защищать свободу – она им враг, – а увеличить свое собственное могущество, которое Господь Бог ныне справедливо принизил. И разве они ввергли наш город только в эту беду? Затевались и другие подобные войны, например с королем Владиславом. У кого они станут теперь просить помощи? У папы Мартина, которого они оскорбили, чтобы подольститься к Браччо? У королевы Джованны, которой пришлось искать защиты у короля Арагонского, потому что они бросили ее?». К этому добавлялось еще и все то, что обычно говорит разгневанный народ. Тогда Синьория рассудила, что надо ей собрать уважаемых граждан, которые успокоили бы народ разумными речами. Старший сын мессера Мазо Альбицци, мессер Ринальдо, который и по своим личным заслугам, и по памяти своего отца мог притязать на самые высшие должности в государстве, обратился к народу с длинной речью, доказывая, что отнюдь не так уж разумно судить о причинах по их следствию – зачастую благие намерения не приводят к хорошему концу и, наоборот, дурные могут иметь отличный исход; что прославлять дурные намерения из-за их благоприятного конца – значит поощрять людей к заблуждениям, а это весьма пагубно для государства, ибо дурные замыслы далеко не всегда увенчиваются успехом, и что по этой же причине порицать мудрые решения, приведшие к неудаче, означает лишать граждан мужества помогать государству открытым выражением своих взглядов. Затем он стал убеждать собравшихся в необходимости вести эту войну и в том, что если бы она не была бы начата в Романье, военные действия развивались бы в Тоскане. «Раз уж Господу Богу угодно было, чтобы войска наши потерпели поражение, – говорил он, – то, совершенно теряя мужество, мы только ухудшим дело. Бросив же вызов судьбе и постаравшись улучшить наше положение всеми имеющимися средствами, мы очень мало потеряем, а герцог ничего не приобретет от своей победы. Нечего нам страшиться новых налогов и затрат в будущем: налоги можно и должно перераспределять, а что до затрат, то они будут наверняка меньше, ибо расходы на оборону всегда не так значительны, как те, что связаны с нападением». Наконец, он призвал всех, кто слушал его, следовать примеру предков, кои никогда не теряли мужества в доле и неизменно умели защитить себя от посягательств любых государей.

VIII

Граждане, приободренные этой речью, наняли для ведения военных действий графа Оддо, сына Браччо, и дали ему в помощники ученика Браччо Никколо Пиччинино, самого прославленного воина из тех, что сражались под его знаменем, и еще многих других кондотьеров, а также снабдили заново лошадьми часть тех всадников, которые потеряли коней в последней злосчастной битве. Кроме того, назначена была комиссия из двенадцати граждан для установления новых налогов. Члены этой комиссии, ободренные упадком духа знатных вследствие их поражения, обложили их особенно тяжело и безо всякого стеснения.

Чрезмерные эти тяготы крайне оскорбили имущих граждан. Поначалу, однако, они, не желая прослыть себялюбцами, не жаловались на личную свою обиду, а осуждали этот дополнительный налог как вообще несправедливый и советовали его значительно снизить. Но замыслы их многим были ясны, и при обсуждении этого предложения в советах оно было отвергнуто. Тогда, чтобы каждый на деле ощутил тяжесть этого обложения и чтобы оно многим стало ненавистно, они стали устраивать так, что сборщики налога при его взыскании вели себя крайне жестоко, и им дано было даже

право расправляться со всеми, кто будет оказывать сопротивление их вооруженной охране. Из этого последовало немало печальных происшествий, в которых ряд граждан был убит или ранен. Легко было предвидеть, что партийные разногласия приведут к кровопролитию, и все благомыслящие люди стали опасаться новой гибели, ибо знатные, привыкшие к всеобщей почтительности, не желали терпеть дурного обращения, а прочие требовали, чтобы всех облагали поровну. В обстоятельствах этих многие из наиболее видных граждан стали собираться вместе и рассуждать, что необходимо им как можно скорее вновь взять в свои руки бразды правления, ибо лишь из-за их попустительства до руководства добрались простые люди и преисполнились дерзновения те, кто считался главарями толпы. После многократного обсуждения всех этих дел отдельными группами решено было собраться всем вместе, и с разрешения мессера Лоренцо Ридольфи и Франческо Джанфильяцци – оба они были членами Синьории – это общее собрание более чем семидесяти граждан произошло в церкви Сан Стефано. На нем не присутствовал Джованни Медичи – либо его не пригласили, как человека подозрительного, либо сам он не пожелал прийти, не разделяя их воззрений.

IX

Слово взял мессер Ринальдо Альбицци. Он обрисовал положение государства, где по попустительству добрых граждан к власти снова вернулись народные низы, у которых власть эта была в 1381 году отнята отцами этих граждан. Напомнил о бесчинствах правительства, господствовавшего с 1378 по 1381 год, по вине которого каждый из здесь присутствующих потерял отца или деда, и добавил, что теперь Флоренция грозит та же опасность, ибо начинаются те же самые безобразия. Уже сейчас народные низы решают вопрос о налогах, как им вздумается, вскоре же, если их не обуздать силой или не удержать новыми разумными законами, они начнут и магистратов назначать по своей прихоти. Если же это случится, то они займут все магистратуры, извратят тот порядок, которым в течение сорока двух лет Флоренция управлялась с великой для нее славой, и наступит владычество толпы, при котором либо одна часть граждан будет делать все что ей угодно, а другая – находить все время в опасности, либо установится власть какого-либо одного человека, который сумеет захватить бразды правления и стать государем. Поэтому все, кому дороги их честь и отечество, должны собраться с мужеством и вспомнить о доблестных деяниях Бардо Манчини, который, сокрушив могущество дома Альберти, спас государство от грозившей ему тогда гибели. Между тем дерзость народных низов происходит от того, что благодаря попустительству власти имущих чрезмерно разрослись списки лиц, подлежащих избранию по жеребьевке, и вследствие этого во дворце теперь полно никому неведомых низких людей. Закончил он свою речь, решительно заявив, что есть лишь один способ помочь делу: всю власть в правительстве республики надо вернуть знати и отобрать власть у младших цехов, уменьшив их число с четырнадцати до семи. Таким образом, народные низы утратят свою власть в советах республики, во-первых, из-за того, что у них уже не будет большинства, а во-вторых, из-за усиления власти знати, которая по неизменной своей враждебности к низам хода им не даст. Здравый смысл требует умения управлять людьми в зависимости от обстоятельств данного времени: если отцы использовали низы в борьбе со своеволием грандов, то ныне, когда гранды принижены, а мелкий люд обнаглел, вполне справедливо будет обуздать его дерзость, опираясь на грандов. Для того же, чтобы все это осуществить, нужны хитрость и сила, каковые применить будет не так уж трудно, ибо среди собравшихся есть члены совета Десяти, и они без труда смогут ввести в город войска.

Все приветствовали речь мессера Ринальдо, и совет его получил всеобщую поддержку, а Никколо да Уццано, между прочим, сказал: «Все высказанное мессером Ринальдо верно, и средства, предложенные им, разумны и безошибочны, но применить их необходимо так, чтобы в государстве не вышло открытого раскола, что неизбежно произойдет, если с нами не согласится Джованни Медичи, ибо если он к нам примкнет, толпа без главы и без поддержки не сможет защититься, но в случае его отказа ничего сделать не удастся, не прибегнув к оружию. Последнее же чревато опасностью либо не достигнуть успеха, либо не иметь возможности воспользоваться плодами победы». Затем он скромно напомнил собравшимся о прежних своих советах и о том, что они сами не пожелали принять решительные меры тогда, когда это нетрудно было сделать, а сейчас время прошло и к ним не прибегнешь без опасения ввергнуть государство в еще худшие беды, так что остается лишь одно: перетянуть на свою сторону Джованни Медичи. После этого было поручено мессеру Ринальдо отправиться к Джованни и попытаться склонить его к одобрению их замысла.

X

Рыцарь Ринальдо, выполняя данное ему поручение, всячески уговаривал Джованни присоединиться к ним в осуществлении этого дела и не стать, потакая толпе, виновником того, что она свергнет правительство и погубит республику. Джованни ответил, что, по его мнению, долг разумного и честного гражданина состоит в том, чтобы не нарушать установленного в государстве порядка, ибо ничто так не вредит людям, как подобные перемены, наносящие ущерб очень многим гражданам, а там, где много недовольных, всегда можно ожидать какого-нибудь пагубного происшествия. Осуществление их планов приведет к двум зловреднейшим последствиям: с одной стороны, честь и власть получили бы люди, которые ранее ими не обладали и потому не так уж их ценят и не имеют особых оснований жаловаться на то, что их у них нет, с другой, они были бы отобраны у тех, кто, привыкнув ими обладать, не успокоились бы, пока не получили бы их обратно. Таким образом, обида, нанесенная одной партии, окажется гораздо более значительной, чем преимущество, дарованное другой. Так что виновник этой перемены наживет себе куда больше врагов, чем друзей, и враги станут нападать на него гораздо решительнее, чем друзья защищать его, ибо люди вообще гораздо более склонны к мщению за обиду, чем к благодарности за благодеяние: благодарность как-то ущемляет их, а мщение и выгодно, и приятно. Затем он обратился непосредственно к мессеру Ринальдо: «Что же касается лично вас, то если вы вспомните все, что происходило в нашем городе и какие препятствия вырастают в нем на каждом шагу, вы станете придерживаться своего решения куда менее горячо, ибо кто его вдохновляет, тот, вырвав с помощью войска власть у народа, затем отнимет ее у вас при поддержке того же народа, ставшего теперь вашим врагом. И будет с вами, как с мессером Бенедетто Альберти, который, поддавшись на уговоры людей, не любивших его, согласился на осуждение мессера Джорджо Скали и мессера Томмазо Строцци, но вскоре затем отправлен был в изгнание этими же самыми людьми». Призвал он также мессера Ринальдо судить о вещах более обдуманно и взять в пример своего отца, каковой, дабы заслужить всеобщее расположение, снизил цену на соль, добился, чтобы каждый гражданин, обязанный уплачивать меньше полфлорина налога, мог бы не уплачивать его совсем, если бы не пожелал, и, наконец, потребовал, чтобы в день, когда собираются советы республики, ни один кредитор не мог бы преследовать должника. Речь же свою мессер Джованни закончил заявлением, что он лично полагает, что государство должно оставаться при существующем порядке.

XI

Тайные эти замыслы стали, однако, известны, что увеличило уважение к Джованни и усилило ненависть к его противникам. Он же избегал популярности, чтобы не поощрять тех, кто пожелал бы использовать эту популярность, чтобы заводить какие-либо новшества. Всем и каждому он говорил, что его желание – не вызывать к жизни всевозможные партии, а, напротив, ослабить партийную рознь, и что ему всего милее единство граждан. Такое поведение вызвало недовольство многих его сторонников, которые хотели бы видеть в нем больше боевого пыла. Среди них был, между прочим, Аламанно Медичи. Будучи от природы человеком неумным, он без устали побуждал Джованни к преследованию врагов и к поддержке друзей, укоряя его за холодность и медлительность, из-за чего, уверял Аламанно, враги не унимаются, их происки в конце концов увенчаются успехом и приведут к гибели дом Джованни и всех его друзей. Возбуждал он против Джованни даже его сына Козимо, но, что бы ни говорили и ни предвещали Джованни, тот твердо стоял на своем. При всем том, однако же, вокруг дома Медичи образовалась целая партия, и в городе утрачено было всякое единство. Во Дворце Синьории служили тогда два канцлера – сер Мартино и сер Паголо. Первый был сторонником Медичи, второй – Уццано. После того как Джованни отказался присоединиться к замыслу врагов правительства, мессер Ринальдо решил, что хорошо было бы лишить Мартино его должности, чтобы во дворце стало больше сторонников Уццано. Однако противники предугадали этот ход и не только защитили сера Мартино, но и добились увольнения сера Паголо к величайшему неудовольствию и поношению враждебной партии. Этот случай мог бы иметь печальные последствия, если бы Флоренция не испытывала тягот войны и не была бы порядком напугана поражением при Дзагонаре. Ибо пока в городе кипели эти страсти, Аньоло делла Пергола во главе войск герцога захватил в Романье земли, принадлежавшие Флоренции, за исключением Кастокаро и Модильяны, отчасти потому, что все эти местечки были плохо укреплены, отчасти по вине их защитников. Во время захвата герцогом этих земель случилось два происшествия, по которым можно судить, как доблесть человеческая может тронуть даже врага и как омерзительны подлость и трусость.

XII

Комендантом крепости Монтепетрозо был Бьяджо дель Мелано. Враги подожгли замок, и Бьяджо, окруженный почти со всех сторон пламенем, убедившись, что спасения для крепости нет, накидал всякой одежды и соломы в угол, куда еще не достигал огонь, и на все это бросил двух своих малышек, а врагам закричал: «Заберите себе то добро, которым наделила меня судьба и которое вы можете у меня отнять. Но того, что у меня есть – моего мужества, в чем моя честь и слава, я вам не отдам и его вы у меня не возьмете». Враги бросились спасать детей, а ему протянули веревку и лестницу, чтобы и сам он мог спастись. Но он отверг все это и предпочел погибнуть в пламени, чем сохранить жизнь по милости врагов отечества. Вот пример, достойный столь прославленной у нас древности и тем более удивительный, что в наше время такое встречается куда реже. Сами враги возвратили детям его все то имущество, какое еще можно было спасти, и отослали их со всяческой заботой к родственникам. Республика проявила к ним не меньшую благожелательность: в течение всей своей жизни содержались они на государственный счет.

Совершенно противоположное произошло в Галеате, где должность подеста занимал Дзаноби дель Пино. Этот сдал неприятелю крепость, не оказав ни малейшего сопротивления, и к тому же еще подсказал Аньоло, что ему имеет смысл спуститься с возвышенностей Романьи в долины Тосканы, где он сможет вести военные действия в условиях менее опасных и более выгодных. Такая подлость и коварство вызвали отвращение у Аньоло, и он отдал Дзаноби своим слугам, которые, вдоволь наизмыкавшись над ним, вместо пищи стали давать ему только бумагу с нарисованными на ней змеями, приговаривая, что таким способом они из гвельфа превратят его в гибеллина. Вскороности он и умер с голоду.

XIII

Между тем граф Оддо вместе с Никколо Пиччинино вторгся в Валь-ди-Ламона, чтобы склонить владетеля фаенцы к союзу с Флоренцией или хотя бы воспрепятствовать свободному передвижению Аньоло делла Пергола по территории Романьи. Но долина эта являет собой такое превосходное естественное укрепление, а жители ее столь воинственны, что графа Оддо постигла там смерть, а Никколо Пиччинино был взят в плен и отвезен в фаенцу. Однако по воле фортуны, именно благодаря поражению своему, флорентийцы добились того, чего, может быть, не дала бы им и победа. Ибо Никколо сумел так подойти к владетелю фаенцы и его матери, что убедил их заключить дружеский договор с Флоренцией. По договору этому Никколо получил свободу, однако сам он не последовал совету, который давал другим. Договариваясь с республикой об условиях своего поступления к ней на службу, он либо нашел условия недостаточно для себя подходящими, либо ему предложили со стороны другие, более выгодные, – во всяком случае он внезапно покинул Ареццо, где находилась его ставка, и отправился в Ломбардию, где и поступил на службу к герцогу.

Измена эта испугала флорентийцев, и без того обескураженных всеми постигшими их неудачами. Решив, что им одним тягот такой войны не вынести, они отправили послов в Венецию, чтобы настоятельным образом уговорить венецианцев воспрепятствовать, пока это еще возможно, усилению врага, который, если дать ему время, окажется для них таким же губительным, как и для флорентийцев. В этом же самом убеждал венецианцев Франческо Карманьола, человек, в то время почитавшийся одним из выдающихся полководцев, каковой ранее состоял на службе у герцога, но затем с ним рассорился. Венецианцы же колебались, не зная, насколько можно доверять Карманьоле, и не притворны ли его враждебные чувства к герцогу. Покуда они пребывали в этих сомнениях, герцог с помощью одного из слуг Карманьолы подсыпал ему отравы. Яд оказался недостаточно сильным, чтобы умертвить его, однако же пришлось ему до крайности худо. Когда обнаружилась причина его заболевания, венецианцы позабыли о всех своих опасениях, а так как флорентийцы продолжали на них нажимать, они заключили с ними союз, по которому обе договаривающиеся стороны обязались вести войну общими средствами, причем земли, завоеванные в Ломбардии, должны были отойти к Венеции, а все занятое в Тоскане и Романье – к Флоренции. Карманьола же назначался главнокомандующим союзными войсками. Благодаря этому договору военные действия перенесены были в Ломбардию, и Карманьола руководил ими так искусно и доблестно, что за несколько месяцев он захватил немало принадлежавших герцогу городов, между прочим Брешу. Взятие этой крепости считалось в то время и по тому, как тогда велись войны, деянием весьма удивительным.

XIV

Война продолжалась с 1422 по 1427 год. Граждане Флоренции, изнемогшие под

тяжестью установленных ранее налогов, решили заменить их другими. Для того чтобы новые налоги распределялись справедливо, в зависимости от достатка каждого гражданина, постановили, что взиматься они будут со всего имущества в целом, так что обладатель капитала в сотню флоринов должен был вносить полфлорина. Так как при таком положении налог с каждого гражданина рассчитывался не людьми, а диктовался законом, богатые слои населения оказались в великой невыгоде. Поэтому они возражали против этого закона еще до обсуждения, и лишь Джованни Медичи открыто выступил за него, и его мнение одержало верх. Для начисления налога пришлось учесть имущество всех вообще граждан или, как говорится во Флоренции, закадастрировать его, почему налог и стал называться кадастром. Мера эта наложила известную узду на тиранию знати: теперь она уже не могла угнетать мелкий люд и угрозами заставлять его молчать в правительственных советах, как прежде. Поэтому закон о новом налоге был встречен всеобщим одобрением, и только имущие приняли его с величайшим неудовольствием. Но люди всегда бывают недовольны достигнутым и, едва заполучив одно, требуют другого. Так и теперь народ, не удовлетворившись равным распределением налога по новому закону, пожелал, чтобы закон получил обратную силу и чтобы по выяснении того, сколько богатые не доплатили в прошлом согласно кадастру, их принудили бы раскошелиться наравне с теми, кто вынужден был, внося налог не по средствам, распродавать свое имущество. Это требование напугало знать гораздо больше, чем сам кадастр, и, желая отвести от себя удар, они все время нападали на него, утверждая, что он в высшей степени несправедлив, ибо учитывает движимое имущество, которым сегодня владеешь, а завтра его уже нет; что, кроме того, есть очень много людей, хранящих свои деньги втайне, так что они не могут быть учтены кадастром. К этому они добавляли, что люди, которые, посвятив себя управлению государством, перестают заниматься своими собственными делами, должны облагаться меньше, чем другие: они трудятся для общего блага, и несправедливо, чтобы государство пользовалось и их личным трудом, и их имуществом, в то время как оно довольствуется обложением одного лишь имущества прочих граждан. Сторонники закона о кадастровом обложении отвечали на это, что если движимое имущество – величина неустойчивая, то ведь и налог можно и увеличивать и уменьшать, а для этого нужно только почаще производить кадастровый учет; что спрятанные деньги вполне можно не учитывать, поскольку они никакого дохода не приносят, а для того чтобы они стали приносить доход, их волей-неволей придется из тайного имущества превратить в явное; что тем государственным деятелям, которых тяготят дела республики, надо просто отказаться от участия в них и уйти в частную жизнь, – найдется немало граждан, которых заботит общее дело и которые не пожалуют ради него ни личного своего труда, ни своих денег, тем более что наградой им будут почести и преимущества, связанные с участием в управлении государством, и им вовсе не понадобится притязать еще и на уменьшение налога. Ведь по сути дела речь идет здесь о нежелании признаться в истинной причине жалоб: если придется платить наравне с другими, нельзя уже будет вести войну за чужой счет, и если бы новая система обложения была установлена раньше, не было бы ни войны с королем Владиславом, ни теперешней с герцогом Филиппо, – ведь обе эти войны нужны только немногим, которые могут набить себе шишу. Джованни Медичи старался примирить спорящих, доказывая им, что незачем теперь возвращаться к прошлому, надо думать только о будущем; что если налоги ранее были несправедливы, надо благодарить Бога, что найден способ более справедливого обложения, а способ этот нужен прежде всего для того, чтобы способствовать единству граждан, а не раздорам между ними, которые неизбежно последуют, если заниматься уравниванием прежних налогов с нынешними; что следует довольствоваться неполной победой, ибо тот, кто хочет всего, часто все и теряет. Речь его умиротворила страсти, и вопрос о пересмотре прежнего обложения больше не поднимался.

XV

Между тем война с герцогом продолжалась, пока, наконец, при посредничестве папского легата в Ферраре не был заключен мир. Но так как Филиппо с самого начала не выполнял его условий, союзники снова взяли за оружие, вступили с войсками герцога в битву и разгромили их при Маклодио. После этого поражения герцог предложил новые условия, на которые флорентийцы с венецианцами согласились: первые потому, что перестали доверять Венеции и не хотели приносить свои интересы в жертву чужим, вторые потому, что после победы над герцогом Карманьола стал действовать так медленно, что на него уже нельзя было положиться. Таким образом, в 1428 году был заключен мир, по которому Флоренция получила обратно все утраченное ею в Романье, а к венецианцам отошла Бреша и, кроме того, герцог уступил им Бергамо с прилегающими к нему землями. Война эта стоила флорентийцам три с половиной миллиона дукатов и, обогатив и усилив

Венецию, обеднила флорентийцев и породила среди них новые раздоры.

С замирением внешним возобновились распри внутренние. Городская знать не желала больше терпеть кадастровое обложение, но, не имея возможности добиться его отмены, задумала восстановить против него как можно больше народу, чтобы затем покончить с ним было легче. Должностным лицам, занимающимся учетом доходов, посоветовали, чтобы они согласно закону учли имущество живущих в дистретто, дабы выяснить, нет ли там имущества флорентийских граждан. Соответственно с этим все подданные республики получили распоряжение в течение определенного срока представить списки своего имущества. Жители Вольтерры послали в Синьорию восемнадцать делегатов с жалобой по этому поводу, а раздраженные представители власти посадили их в тюрьму. Вольтеррцев это крайне возмутило, но они не стали действовать, чтобы их заключенным землякам не стало хуже.

XVI

В то время Джованни Медичи заболел и, чувствуя, что болезнь его смертельна, призвал к себе своих сыновей – Козимо и Лоренцо – и сказал им: «Похоже, что срок жизни, назначенный мне Богом и природой при рождении моем, приходит к концу. Умираю я вполне удовлетворенным, ибо оставляю вас богатыми, здоровыми и занимающими такое положение, что если вы будете идти по моим стопам, то сможете жить во Флоренции в чести и окруженные всеобщей любовью. Ничто в этот час не утешает меня так, как сознание, что я не только не нанес кому-либо обиды, но по мере сил своих старался делать добро. Призываю вас поступать точно таким же образом. Если вы хотите жить спокойно, то в делах государственных принимайте лишь то участие, на какое дает вам право закон и согласие сограждан: тогда вам не будет грозить ни зависть, ни опасность, ибо ненависть в людях возбуждает не то, что человеку дается, а то, что он присваивает. И в управлении республикой вы всегда будете иметь большую долю, чем те, кто, стремясь завладеть чужим, теряет и свое, да к тому же еще, прежде чем потерять все, живет в беспрестанных треволнениях. Придерживаясь такого поведения, удалось мне среди стольких врагов и в стольких раздорах не только сохранить, но и увеличить мое влияние в нашем городе. И если вы последуете моему примеру, то так же, как и я, сможете и сохранить, и увеличить свое. Но если вы станете поступать иначе, то подумайте о том, что конец ваш будет не счастливее, чем у тех, кто в истории нашей известен как люди, погубившие себя и свой дом». Вскоре после того он скончался, оплакиваемый согражданами, что являлось заслуженным воздаянием за его добродетели и заслуги. Джованни отличался величайшим добросердечием и не только раздавал милостыню всем, кто о ней просил, но сам шел навстречу неимущему без всякой его просьбы. Не знал он ненависти, и добрых хвалил, а о злых сокрушался. Не домогаясь никаких почестей, все их получал, и не являлся во Дворец Синьории, пока его не приглашали. Он любил мир и избегал войны. Он помогал нуждающимся и поддерживал благоденствующих. Неповинный в расхищении общественных средств, он, напротив, содействовал увеличению государственной казны. Занимая какие-либо должности, он ко всем проявлял доброжелательность и, не отличаясь особым красноречием, выказывал зато исключительное благоразумие. На первый взгляд он казался задумчивым, но беседа его бывала всегда приятной и остроумной. Скончался он богатый мирскими благами, но еще более – всеобщим уважением и доброй славой, а наследие это, как вещественное, так и нравственное, было не только сохранено, но и увеличено сыном его Козимо.

XVII

Вольтеррцы, содержащиеся в заключении и жаждавшие выйти на волю, обещали согласиться на все, что от них требовали. Когда они были освобождены и возвратились в Вольтерру, наступило время вступления в должность их новых приоров, и среди них по жребию оказался некий Джуство, человек из низов, но пользовавшийся среди них большим доверием и бывший одним из тех, кто во Флоренции попал в тюрьму. И без того пылая ненавистью к флорентийцам как из-за обиды, нанесенной Вольтерре, так и из-за своей личной, он к тому же еще побуждался Джованни ди Контуджи, также приором, но из нобилей, подбить народ от имени приоров и своего собственного к восстанию, вырвать город из рук Флоренции и объявить себя его верховным главой. Следуя этому совету, Джуство взялся за оружие, занял всю округу, захватил в плен капитана, распорядившегося в Вольтерре от имени Флоренции, и с согласия народа провозгласил себя государем. Переворот в Вольтерре пришелся флорентийцам весьма не по вкусу. Однако мир с герцогом был только что заключен, и они полагали, что у них хватит времени вновь завладеть Вольтеррой. Впрочем, терять ее они тоже не хотели и потому тотчас же поручили это дело мессеру Ринальдо Альбицци и мессеру Палла Строцци. Джуство тоже

сообразил, что флорентийцы не замедлят на него напасть, и обратился за помощью к Сиене и Лукке. Сиенцы в помощи ему отказали, заявив, что они в союзе с Флоренцией. А Паоло Гвиниджи, владетель Лукки, дабы вновь завоевать расположение народа флорентийского, каковое, видимо, было им утрачено из-за поддержки им герцога Миланского, не только не оказал помощи Джусто, но задержал его послов и выдал их Флоренции. Между тем назначенные флорентийцами комиссары решили захватить вольтеррцев врасплох и с этой целью собрали всех находившихся в их распоряжении солдат, произвели в Нижнем Валь д'Арно и пизанском контадо набор многочисленного пешего ополчения и двинулись на Вольтерру. Но хотя Джусто был оставлен соседями на произвол судьбы и ему угрожало нападение флорентийцев, он не пал духом, а, напротив, полагаясь на свои сильные позиции и на обилие жизненных припасов, приготовился к обороне. Был в Вольтерре некий мессер Арколано, брат того Джованни, что убедил Джусто захватить власть, человек весьма уважаемый. Он собрал кое-кого из своих друзей и стал внушать им, что в происшедших событиях проявилась воля Божия ко спасению их города, ибо если они возьмутся теперь за оружие, отнимут у Джусто власть и передадут город Флоренции, то останутся в нем полными хозяевами, а Вольтерра сохранит свои старинные привилегии. Без труда сговорившись, они отправились во дворец, где находился сам глава города. Часть из них осталась внизу, а мессер Арколано с тремя приспешниками поднялся наверх и, обнаружив там Джусто с несколькими гражданами, отзвал его в сторону, словно желая сообщить ему что-то весьма важное. Беседуя, он привел его в соседнюю комнату, где вместе со своими приспешниками набросился на Джусто с обнаженным мечом. Однако им не удалось помешать ему тоже схватить оружие и тяжело ранить двоих из них, но все же их оказалось слишком много для одного. Джусто был убит и выброшен из окна. Все сторонники мессера Арколано тотчас же взялись за оружие и передали Вольтерру флорентийским комиссарам, которые со своим войском находились уже неподалеку и, не заключая никакого соглашения, мгновенно вошли в город. В результате положение Вольтерры ухудшилось, ибо ко всему прочему у нее отрезали значительную часть прилегающей округи и, лишив самоуправления, превратили ее в простое наместничество.

XVIII

После того как Вольтерра была потеряна, а затем почти тотчас же возвращена, исчезли, казалось, какие бы то ни было причины для войны. Однако честолюбие людское снова ее разожгло. В войне против герцога на стороне Флоренции сражался Никколо Фортебраччо, сын одной из сестер Браччо из Перуджи. После заключения мира флорентийцы отказались от его услуг, но когда произошло отпадение Вольтерры, он еще держал свою военную ставку в Фучеккьо, почему комиссары в действиях против Вольтерры и воспользовались услугами его и его солдат. В свое время считалось, что мессер Ринальдо задумал вместе с ним новую войну и сам побудил его напасть на Лукку под каким-нибудь фальшивым предлогом, дав Никколо понять, что если он это сделает, то он, Ринальдо, со своей стороны добьется от флорентийского правительства объявления войны Лукке и назначения его главой войска. После усмирения Вольтерры Никколо возвратился на свои квартиры в Фучеккьо и то ли под влиянием мессера Ринальдо, то ли по личному побуждению, в ноябре 1429 года занял с тремястами всадниками и тремястами пехотинцами Русты и Компито принадлежавшие Лукке замки и, спустившись затем на равнину, завладел там огромной военной добычей. Едва лишь известие об этом нападении распространилось во Флоренции, как во всем городе стали собираться кучками самые различные люди, причем большей частью все они требовали захвата Лукки. В числе знатных граждан, придерживавшихся такого мнения, были сторонники Медичи и на их стороне оказался также мессер Ринальдо, либо считавший, что это будет выгодно для республики, либо движимый личным честолюбием – надеждой на то, что всю честь победы припишут ему. Против войны был Никколо да Уццано и его партия. Не верится даже, что в одном и том же городе могут быть столь различные мнения насчет того – воевать или нет. Ибо те же самые граждане и тот же самый народ, которые после десятилетнего мира осуждали войну против герцога Филиппо за свою свободу, теперь, когда они столько потеряли и государство едва не погибло, требовали войны против Лукки с целью лишить этот город его свободы. А с другой стороны, желавшие предыдущую войну отвергали ту, которую Флоренция собиралась начать сейчас. Так меняются с течением времени взгляды, до такой степени толпа всегда более склонна хватать чужое добро, чем защищать свое, и легче возбуждается расчетом на выигрыш, чем страхом потери. В утраты мы верим лишь тогда, когда они нас настигают, а к добыче рвемся и тогда, когда она только маячит издалека.

Флорентийский народ так и загорелся надеждами от успехов, которые одержал и одерживал Никколо Фортебраччо, а также от посланий правителей, находившихся неподалеку от Лукки, ибо наместники Вико и Пешьи письменно испрашивали у них

разрешения принять сдавшиеся им крепости – ведь вскорости Флоренция завладеет всеми землями Лукки. Вдобавок ко всему этому от владетеля Лукки к флорентийцам прибыл посол с жалобами на действия Никколо и с просьбой к Синьории не объявлять войны соседу, городу, никогда не нарушавшему дружеских отношений с Флоренцией. Посол этот звался мессер Якопо Вивиани. Незадолго до этих событий он был заключен владетелем Лукки Паоло Гвиниджи в тюрьму за участие в заговоре против него. И хотя вина его была доказана, Паоло простил мессера Якопо и в полном убеждении, что и тот забыл обиду, доверился ему. Однако мессер Якопо помнил о грозившей ему тогда опасности больше, чем об оказанной ему милости, и, прибыв во Флоренцию, втайне поддерживал замыслы флорентийцев. Эта поддержка в сочетании с уже возникшими надеждами на завоевание Лукки побудила Синьорию созвать совет из четырехсот девяноста восьми граждан, перед лицом которого виднейшие деятели республики стали обсуждать этот вопрос.

XIX

Как уже говорилось выше, одним из самых ярых сторонников захвата Лукки являлся мессер Ринальдо. Он отметил в своей речи выгоду, какую можно было извлечь из этого завоевания: благоприятность данного момента, поскольку Лукка была как бы предоставлена Флоренции в качестве военной добычи Венецией и герцогом, а папа, целиком занятый делами Неаполитанского королевства, воспрепятствовать ничему не может. Приобрести Лукку, добавил он, сейчас тем легче, что власть над ней захватил один из ее же граждан и она утратила свою природную силу и былой пыл в защите своей свободы, так что будет отдана в руки Флоренции либо народом, чтобы прогнать тирана, либо тираном из страха перед народом. Напомнил он о том, как досаждал нашей республике этот владетель, какую ненависть к ней питает и какую опасность он будет для нас представлять, если герцоги или папа снова начнут воевать с Флоренцией. И закончил он свою речь заявлением, что ни одно предприятие, начатое когда-либо флорентийским народом, не было легче осуществимо, нужнее и справедливее.

В противоположность этому мнению Никколо да Уццано сказал, что никогда Флоренция не предпринимала дела столь несправедливого, пагубного и чреватого величайшими бедами. Прежде всего намереваются нанести удар гвельфскому городу, неизменному другу Флоренции, всегда дававшему с опасностью для себя приют флорентийским гвельфам, изгнанным из своего отечества. Никогда за всю историю нашу не было примера, чтобы Лукка, когда она пользовалась свободой, выступала против Флоренции: если кого-нибудь обвинять в этом, то лишь угнетавших ее тиранов, таких, как Каструччо или теперь этот Паоло. Если бы можно было воевать против тирана, не ведя военных действий против народа, – это бы еще куда ни шло, но так как это невозможно, нельзя соглашаться на то, чтобы отнимать у города, ранее бывшего нашим сторонником, его добро. Однако живем мы в такое время, когда не очень-то обращают внимание на справедливость и несправедливость, поэтому, оставив это в стороне, надо рассуждать только с точки зрения интересов нашего государства. Впрочем, полезным для отечества можно считать лишь то, что не порождает почти немедленно какого-либо вреда. Так вот, нельзя понять, каким образом решаются считать полезным предприятие, вредоносность которого очевидна, а польза весьма сомнительна. Очевидный вред в данном случае – затраты на войну, настолько существенные, что они могли бы отпугнуть даже государство, долгое время жившее в мире, не говоря уже о Флоренции, только что пережившей долгую и весьма дорогостоящую войну. Выгода, которую можно было извлечь из подобного предприятия, это присоединение Лукки, – выгода, конечно, очень большая, но связанная с такими трудностями, которые он лично считает почти непреодолимыми. Нечего рассчитывать на то, что венецианцы и герцог Филиппо отнесутся к этому делу безразлично. Первые сделают вид, что это их не трогает, чтобы не проявить неблагодарности после того, как они только что с помощью флорентийских денег так расширили свои пределы. Второго вполне устроит, если флорентийцы завязнут в новой войне и новых расходах, что даст ему возможность снова напасть на них, когда они окажутся истощены и ослаблены: уж он-то не преминет в самый разгар дела, когда победа Флоренции будет казаться уже обеспеченной, оказать помощь Лукке, либо тайно послать ей денег, либо распустив часть своего войска, чтобы эти солдаты под видом свободных наемников воевали на ее стороне. Наконец Никколо прямо призвал флорентийцев отказаться от этого предприятия, а с тираном установить такие отношения, чтобы в Лукке увеличивалось число его врагов, ибо самый верный способ покорить этот город – предоставить его власти угнетающего и ослабляющего народ тирана. Если разумно действовать таким именно образом, наступит момент, когда тиран не сможет удерживать власти, а граждане окажутся неспособными к самоуправлению, и Лукка сама бросится в объятия Флоренции. «Впрочем, – закончил свою речь Никколо, – я вижу, что страсти слишком распалены,

чтобы голосу моему вняли, однако хочу предсказать согражданам, что затевают они войну, в которой понесут величайшие затраты и подвергнутся величайшей опасности; вместо того чтобы занять Лукку, они избавят ее от тирана и из города дружественного, но угнетенного и слабого, превратят в город свободный, но враждебный им, который со временем станет препятствием к возвеличиванию их собственного государства».

XX

После того как еще другие выступили за войну с Луккой и против нее, проведено было тайное голосование и оказалось, что лишь девяносто восемь голосов подано было против войны. Итак, приняли решение воевать, назначили военный совет Десяти и вооружили кавалерию и пехоту. Комиссарами назначили Асторре Джанни и мессера Ринальдо Альбицци, а с Никколо Фортеллаччо договорились, что он передает захваченные им земли Флоренции и продолжает войну уже в качестве нашего наемника. Комиссары, прибыв с войском в прилегающую к Лукке местность, разделили его на две половины, из которых одна под водительством Асторре двинулась по равнине к Камайоре и Пьетрасанте, а другая, с мессером Ринальдо во главе, – к горам, ибо мессер Ринальдо счел, что городом, лишенным помощи от своей округи, легче будет овладеть. Действия их обернулись плачевно не потому, что они завоевали недостаточно большую территорию, но из-за укоров, которые и тот, и другой навлекли на себя своим способом ведения войны, и надо сказать, что Асторре поступками своими эти укоры вполне заслужил. Поблизости от Пьетрасанты есть долина, называемая Серавецца, густо населенная и богатая. Жители ее при появлении комиссара вышли к нему навстречу, прося его отнестись к ним как к верным слугам народа Флоренции. Асторре сделал вид, что принимает изъявление их покорности, затем занял своими войсками все проходы и укрепления долины, велел созвать всех мужчин в их самую большую церковь и объявил их пленниками, а людям своим предоставил всю местность на поток и разграбление, поощряя их к беспримерной жестокости и алчности, так что они не щадили ни святых мест, ни женщин, – как девиц, так и замужних. Когда об этом стало известно во Флоренции, негодование охватило не только должностных лиц, но и весь город.

XXI

Кое-кто из жителей Серавеццы, ускользнувших из лап комиссара, бежали во Флоренцию и каждому прохожему на улицах рассказывали о своей беде. При содействии тех, кто хотел, чтобы комиссара постигла кара либо просто как злодея, либо как человека враждебной партии, они явились в совет Десяти и попросили, чтобы их приняли. Когда они предстали перед Советом, один из них взял слово и сказал:

«Мы убеждены, великолепные синьоры, что к речам нашим милость ваша отнесется с доверием и сочувствием, когда вы узнаете, каким образом занял нашу местность посланный вами комиссар и как он затем обошелся с нами. Наша долина, как об этом хорошо помнят старинные семейства, всегда была гвельфской и неизменно служила верным убежищем вашим гражданам, укрывавшимся в ней от гибеллинских преследований. Мы и предки наши чтим само имя славной республики, стоявшей во главе партии гвельфов. Пока Лукка была гвельфской, мы охотно жили под ее властью, с тех пор как этот ее тиран оставил своих прежних друзей и стакнулся с гибеллинами, мы подчинились ему лишь по принуждению; и Господь Бог знает, сколько раз мы молили его даровать нам возможность показать нашу верность партии, к которой мы издавна принадлежали. Но как слепы люди в своих устремлениях! То, чего жаждали мы, как спасения, стало нашей погибелью. Ибо, едва узнав, что знамена ваши приближаются к нам, поспешили мы выйти навстречу вашему комиссару не как к посланцу врагов, а как к представителю наших давних синьоров, и в руки его передали нашу долину, наше имущество и самих себя, полностью доверившись ему и полагая, что сердце у него если и не истинного флорентийца, то во всяком случае – человека. Да простятся нам эти слова, милостивые синьоры, не мужество говорить придает нам уверенность, что хуже, чем сейчас, нам уже не будет. Комиссар ваш – человек лишь по облику, а флорентиец лишь по имени. Он чума смертная, зверь рыкающий, чудовище, хуже всех, о коих когда-либо писалось. Ибо, собрав нас всех в церковь под предлогом, что намеревается обратиться к нам с речью, он заковал нас в цепи, предал огню и мечу всю нашу долину, разграбил имущество жителей, все расхитил, разгромил, изрубил, уничтожил, учинил насилие женщинам и бесечеству – девицам, вырывая их из объятий матерей и отдавая на потеху своим солдатам. Если бы сопротивлением народу Флоренции или ему лично заслужили мы подобной доли, если бы он захватил нас, когда с оружием в руках мы оборонялись от него, мы жаловались бы не столь

горько, или даже сами обвиняли бы себя в том, что заслужили постигшие нас беды своими мятежными действиями и гордыней. Но жаловаться заставляет нас то, что он разгромил и обобрал нас так гнусно и бесчеловечно после того, как мы вышли к нему безоружные и добровольно предались в его руки. Мы, конечно, могли бы всю Ломбардию наполнить своими жалобами и, ко стыду вашего города, по всей Италии разнести весть о причиненных нам обидах, но мы не стали этого делать, чтобы столь благородную и великодушную республику не замарать гнусностью и жестокостью одного из ее граждан. Знай мы раньше о его алчности, так уж постарались бы насытить ее, хоть она бездонна и беспредельна, и, может быть, отдав одну половину своего добра, сохранили бы другую. Но так как время уже потеряно, мы решили обратиться к вам с мольбою сжалиться над бедственным положением подданных ваших, дабы в будущем пример наш не отвратил других от стремления покориться вам. Если же зрелища бедствий наших недостаточно, чтобы тронуть вас, пусть устрашит вас гнев Божий, ибо, Господь видел храмы свои, отданные грабежу и пламени, а нас самих предательски захваченных в плен в лоне своей родины». С этими словами бросились они наземь, крича и умоляя вернуть им их добро и их родные места и, раз уж чести поруганной не вернешь, то хотя бы жен вернули мужьям и детей родителям. Слух об этих злодеяниях и ранее распространился во Флоренции, теперь же, услышав о них из уст потерпевших, члены Синьории были глубоко взволнованы и возмущены. Асторре немедленно отозвали, он был признан виновным и объявлен предупрежденным. Произведены были розыски имущества, похищенного у жителей Серавеццы: все, что удалось найти, возвратили владельцам, остальное республика с течением времени возместила им различными способами.

XXII

Что касается мессера Ринальдо Альбицци, то его упрекали в том, что он ведет войну не в интересах флорентийского народа, а в своих личных, что с тех пор как он стал комиссаром, из сердца его улетучилось желание взять Лукку, ибо ему вполне достаточно было грабить занятую местность, перегонять в свои имения захваченный скот и наполнять дома свои добычей; что, не довольствуясь добром, которое слуги его забирали для него, он еще перекупал захваченное солдатами и из комиссара превратился в купца. Клеветнические эти наветы, дойдя до его слуха, потрясли это благородное и неподкупное сердце более, чем подобало бы столь уважаемому человеку. Смятение, овладевшее им, было так велико, что негодую на магистратов и простых граждан, он поспешил во Флоренцию, не ожидая и не прося оттуда разрешения. Явившись в совет Десяти, он обратился к нему с такими словами. Ему хорошо известно, как трудно и опасно служить народу, не знающему узды, и государству, в котором нет согласия, ибо народ жадно ловит любые слухи, а государство, карая за дурные деяния, не награждает за хорошие, а в сомнительных случаях спешит обвинять. Одерживаешь ты победу – никто тебя не хвалит, совершаешь ошибку – все тебя обвиняют, проигрываешь – все на тебя клеветует. Твоя партия донимает тебя завистью, противная – ненавистью. И тем не менее боязнь несправедливого обвинения никогда не отвращала его от действий, которые он считал несомненно полезными отечеству. Но теперь гнусность этих последних наветов истощила его терпение и изменила умонастроенность. Поэтому он просит правительство в дальнейшем защищать граждан, чтобы те в свою очередь усерднее служили государству, и раз уж во Флоренции нет обычая удостоивать их триумфом, пусть хотя бы установится обычай оберегать их от ложных обвинений. Пусть нынешние магистраты не забывают, что они ведь тоже граждане нашего города и тоже могут в любой день подвергнуться обвинению, – тогда им придется испытать, как оскорбительна для честного человека клевета. Совет Десяти в данном случае постарался умиротворить его, а действия непосредственно против Лукки поручили Нери ди Джино и Аламанно Сальвьяти, которые отказались от плана опустошать прилегающую к Лукке местность, считая, что надо двинуться прямо на город. Но так как стояла еще зимняя погода, они разбили лагерь в Капанноле, где, по мнению комиссаров, только попусту теряли время. Однако, когда отдан был приказ теснее обложить город, солдаты из-за непогоды отказались повиноваться, хотя совет Десяти требовал усиленной осады и не желал считаться ни с какими доводами.

XXIII

Был в то время во Флоренции прославленный архитектор по имени Филиппо ди сер Брунеллески. Город наш полон его произведений, и потому вполне заслужил он, что после его смерти в самом большом из наших храмов поставлено было его мраморное изображение с надписью, свидетельствующей каждому, кто прочтет ее, о замечательном его даровании. Он утверждал, исходя из местоположения Лукки и особенностей реки Серкьо, что город этот легко было бы затопить, и с такой

уверенностью всех в этом убеждал, что совет Десяти постановил проделать такой опыт. Однако из этого не вышло ничего, кроме смятения в нашем лагере и успеха для осажденных. Ибо жители Лукки повысили с помощью плотины уровень того места, куда отводили воды Серкьо, а затем однажды ночью открыли канал, по которому поступала вода, вследствие чего вода эта, встретив на пути своем препятствие – воздвигнутую луккцами плотину – устремилась в отверстие канала и разлилась по равнине, так что наше войско не только не смогло приблизиться к городу, а вынуждено было даже отойти.

XXIV

Неудача этого предприятия побудила вновь назначенный совет Десяти послать к войску в качестве комиссара мессера Джованни Гвиччардини, который постарался приблизиться к городу насколько мог. Владетель Лукки, видя, что скоро его возьмут в кольцо, по совету некоего мессера Антонио Россо, сиенца, находившегося при нем в качестве представителя Сиены, послал к герцогу Миланскому Сальвестро Трента и Леонардо Буонвизи. От имени своего синьора они попросили у герцога помощи, но, видя, что к их просьбе он относится прохладно, тайно предложили ему, уже от имени народа, в случае если он согласится предоставить им солдат, выдать ему сперва луккского тирана, а затем отдать в его власть весь город.

При этом они предупредили его, что если он не поторопится принять такое решение, Гвиниджи передаст Лукку в руки флорентийцев, которые все время домогаются этого, суля ему за то всякие блага. Герцога эта угроза настолько испугала, что он перестал колебаться и велел передать графу Франческо Сфорца, своему наемному кондотьеру, чтобы тот публично испросил у него разрешения отправиться с войсками в Неаполитанское королевство. Получив просимое разрешение, граф со своими солдатами двинулся на Лукку, хотя флорентийцы, разузнавшие обо всех этих кознях и опасавшиеся их последствий, подослали к нему его друга Боккаччино Аламанни, чтобы тот отговорил его от этого дела.

Когда граф Сфорца появился в Лукке, флорентийцы отошли к Рипафратте, граф же внезапно двинулся к Пешье, где наместником был Паоло да Дьяччето, который, повинувшись больше страху, чем какому-либо более благородному побуждению, бежал в Пистойю, и если бы Пешью не оборонял Джованни Малавольти, которому это было поручено, она неминуемо пала бы. Граф, оказавшись не в состоянии взять ее одним ударом, направился в Борго-а-Буджано и захватил его, а находящийся неподалеку замок Стильяно сжег. Флорентийцы, видя это бедственное положение, прибегли к средству, не раз уже их спасавшему. Зная, что когда с наемниками силой ничего не сделаешь, их можно на что угодно склонить деньгами, они предложили графу весьма значительную сумму, если он не только удалится, но и сдаст им город. Граф, не надеясь больше выжать денег из Лукки, с легкостью решил извлечь их оттуда, где они имеются.

Он договорился с флорентийцами не передавать им Лукку, чего не позволяла ему честь, а просто оставить ее на произвол судьбы, если ему выплатят пятьдесят тысяч дукатов.

Заклучив такое соглашение, но желая, чтобы жители Лукки сами, так сказать, оправдали его в глазах герцога, он оказал им содействие в свержении тирана.

XXV

Как было уже сказано, в Лукке находился сиенский посол мессер Антонио дель Россо. При содействии графа он, сговорившись с гражданами Лукки, осуществил свержение Паоло; во главе же заговора стояли Пьеро Ченнами и Джованни да Кивиццано. Граф обосновался за чертой города на берегу Серкьо, и при нем находился сын тирана Ланцилао. Ночью хорошо вооруженные заговорщики в количестве сорока человек явились к Паоло, который, услышав шум, с удивлением вышел к ним и спросил, что им надобно. На это Пьеро Ченнами ответил, что слишком уже затянулось правление человека, который навлек на них войну, окружение неприятельскими войсками и угрозу гибели не от меча, так от голода. Поэтому они решили сами собой управлять и пришли потребовать у него городские ключи и казну. Паоло ответил, что казна иссякла, ключи же и он сам в их власти, он только просит их, чтобы его правление, и начавшееся, и продолжавшееся без кровопролития, без него же и закончилось. Граф Сфорца привез Паоло с сыном к герцогу, а тот заключил их в темницу, где они и умерли.

Уход графа избавил Лукку от ее тирана, а Флоренцию от страха перед графским войском. Тотчас же одни стали подготавливаться к защите, а другие возобновили атаки. Флорентийцы избрали военачальником графа Урбино, который своими энергичными действиями вынудил Лукку снова обратиться за помощью к герцогу, и тот, воспользовавшись тем же приемом, что с графом Сфорца, послал к ним Никколо

Пиччинино. Когда он подходил к Лукке, наши двинулись навстречу ему вдоль берега Серкьо, и при переходе через реку произошла битва, в которой мы были разбиты, и комиссар с немногими уцелевшими бежал в Пизу. Это поражение повергло всю Флоренцию в уныние. Война, однако же, начата была по общему согласию, поэтому гражданам некого было упрекать, и так как они не могли наброситься на принявших решение о ней, то обрушились на руководивших ею и снова извлекли на свет Божий все прежние обвинения против мессера Ринальдо. Но хуже всего досталось мессеру Джованни Гвиччардини: его обвиняли в том, что после ухода графа Сфорца он не поторопился закончить войну и что не сделал он этого, так как его подкупили. Утверждалось, что он отправил к себе домой значительную сумму денег, причем называли и тех, кто ее доставил, и тех, кто принял. Вокруг этого дела поднялся такой шум, что обвинения получили самую широкую огласку, и побуждаемый общественным мнением, а также давлением со стороны враждебной партии, капитан народа вызвал обвиняемого в суд. Мессер Джованни явился, хотя и крайне возмущенный, но родичи его, блюдя свою честь, так энергично хлопотали, что капитан прекратил дело.

После одержанной победы Лукка не только вернула себе все свои владения, но захватила и пизанские земли, за исключением Бьентины, Кальчинайи, Ливорно и Рипафратты, да и Пиза была захвачена, если бы вовремя не раскрыли устроенный там заговор. Флорентийцы произвели некоторые изменения в своих войсках и во главе их поставили Микелетто, ученика Сфорца. Герцог со своей стороны не намеревался довольствоваться достигнутым и, чтобы всемерно ухудшить положение Флоренции, убедил Геную, Сиену и владетеля Пьомбино заключить между собою союз для защиты Лукки, а в качестве капитана принять на жалованье Никколо Пиччинино. Последнее обстоятельство, однако же, выдало все его замыслы. Тогда Венеция и Флоренция восстановили свой военный союз: война снова открыто началась в Ломбардии и Тоскане, так что и там, и тут произошли сражения с переменным для обеих сторон успехом. В конце концов все настолько устали, что в мае 1433 года поневоле пришли к соглашению. По заключенному тогда договору флорентийцы, луккцы и сиенцы, захватившие во время военных действий друг у друга немало укрепленных замков, все их оставили и каждый получил свои владения обратно.

XXVI

Пока шла война, в стенах города вновь закипели партийные страсти. После кончины Джованни Медичи сын его Козимо стал проявлять к делам государственным еще больший пыл, а к друзьям своим еще больше внимания и щедрости, чем даже его отец. Так что те, кто радовался смерти Джованни, приуныли, видя, что представляет собою его сын. Человек, полный исключительной рассудительности, по внешности своей и приятный, и в то же время весьма представительный, беспредельно щедрый, исключительно благожелательный к людям, Козимо никогда не предпринимал ничего ни против гвельфской партии, ни против государства, а стремился только всех убогатворить и лишь щедростью своей приобретает сторонников. Пример его был живым укором власти имущим, он же сам считал, что, ведя себя таким образом, сможет жить как человек не менее могущественный и уверенный, чем любой другой, а если бы честолюбие его противников привело к какому-нибудь взрыву, он оказался бы сильнее их и числом вооруженных сторонников, и народной любовью. Возвышению его особенно деятельно помогли Аверардо Медичи и Пуччо Пуччи. Аверардо смелостью, а Пуччо рассудительностью и осторожностью своей весьма способствовали тому, что его окружало всеобщее расположение и ему выпадали почетнейшие должности. Мудрость и осмотрительность Пуччо были так широко известны, что даже их партия называлась не по имени Козимо, а по имени Пуччо.

И вот город, в котором царили такие разногласия, предпринял эту Луккскую войну, которая, вместо того чтобы заглушить партийные страсти, только их разожгла. И хотя именно партия Козимо была ярой сторонницей войны, для ведения ее назначалось много людей из противной партии, считавшихся в правительстве особенно умелыми и способными. Аверардо Медичи и еще другие поделаться тут ничего не могли, но они весьма искусно и ловко пользовались любой возможностью обвинить своих противников, и если случалось поражение, — а их было немало, — то виновниками его объявлялось не военное счастье или сила неприятеля, а неспособность комиссаров. Отсюда и преувеличение грехов Асторре Джанни, отсюда и возмущение мессера Ринальдо Альбицци и оставление им командования без разрешения властей, отсюда и вызов в суд мессера Гвиччардини. Отсюда и все обвинения должностных лиц и комиссаров: если они были обоснованы, их всячески раздували; если их не было, их выдумывали; но и справедливые и несправедливые, они охотно принимались на веру народом, ибо он большей частью ненавидел тех лиц, которые подвергались упрекам.

Все эти неблагоприятные дела и поступки прекрасно учитывались и Никколо да Уццано и другими вождями его партии. Многократно обсуждали они, какими средствами справиться с этой бедой, но ничего придумать не могли: с одной стороны, представлялось им весьма опасным допустить дальнейшие ухудшения, но, с другой стороны, и открытая борьба казалась крайне трудной. Против насильственных действий был особенно настроен Никколо да Уццано. Пока за стенами города велась война, а в самом городе царили распри, Никколо Барбадоро явился как-то к нему, желая склонить его к согласию на выступление против Козимо. Никколо да Уццано в глубокой задумчивости сидел в своей рабочей комнате, и Барбадоро тотчас же стал убеждать его всевозможными доводами, которые считал весьма убедительными, сговориться с мессером Ринальдо насчет изгнания Козимо. На уговоры его Никколо да Уццано ответил так: «И тебе, и твоему дому, и государству нашему лучше было бы, если бы ты и все, разделяющие твое мнение на этот счет, имели серебряную бороду, а не золотую, как это следует из твоего прозвания, ибо тогда их советы, идущие от головы поседевшей и полной жизненного опыта, были мудрее и для всех куда спасительнее. Я полагаю, что тем, кто хотел бы изгнать Козимо из Флоренции, следовало бы прежде сравнить свои силы с его силами. Нашу партию вы сами называете партией нобилей, его партию – партией народных низов. Даже если бы существо соответствовало названию, и то победа представлялась бы сомнительной, и уж во всяком случае у нас больше оснований для опасений, чем для надежды, ибо перед глазами у нас пример древнего нобилитета нашего города, который не раз терпел жестокие поражения от народных низов. И мы должны тем более опасаться, что ряды нашей партии ослаблены, а враждебной нам – многолюдны и сплочены. Во-первых, Нери ди Джино и Нероне ди Ниджи, двое из наших виднейших граждан, никогда не заявляли о своих взглядах настолько определенно, чтобы можно было с уверенностью сказать, на чьей они стороне – нашей или его. Во-вторых, во многих родах и даже во многих семьях существуют разногласия, ибо многие из зависти к своим братьям или другим родичам действуют во вред нам и на пользу нашим недругам. Я напомним тебе только самые главные из таких примеров – о других ты сам вспомнишь. Из сыновей мессера Мазо Альбицци – Лука, завидуя мессеру Ринальдо, примкнул к враждебной партии. В семействе Гвиччардини из сыновей мессера Луиджи Пьеро – враг мессера Джованни и помогает нашим противникам. Томмазо и Никколо Содерини открыто выступают против нас из ненависти к своему дяде Франчес-ко. Так что если хорошо вдуматься в то, что представляем собою мы, а что они, я просто не знаю, почему наша партия имеет больше оснований называться партией нобилей, чем их партия. Если потому, что за ними идет весь простой народ, то от этого их положение только крепче, чем наше, и дойди дело до вооруженного столкновения или подачи голосов, мы перед ними устоять не сможем. Если мы еще находимся в почете, то лишь благодаря старинному уважению к нашему высокому положению, которое мы занимаем вот уже полвека. Но если бы наступил момент испытания и обнаружилась бы наша слабость, от этого уважения и следа не осталось бы. А если ты станешь говорить, что правота нашего дела нас во мнении граждан возвеличит и их унизит, то я тебе отвечу, что правоте этой необходимо быть понятой и признанной другими так же, как ее понимаем и признаем мы. Но ведь положение – то как раз обратное, ибо нами движет только опасение, как бы Козимо не завладел в нашем государстве всей полнотой власти. Но этих наших подозрений другие отнюдь не разделяют, более того, – они именно нас – то и обвиняют в том, что мы подозреваем его. Что с нашей точки зрения подозрительно в поведении Козимо? Он помогает своими деньгами всем решительно: и частным лицам, и государству, и флорентийцам, и кондотьерам. Он хлопочет перед магистратами за любого гражданина и благодаря всеобщему расположению к себе может продвигать то того, то другого из своих сторонников на самые почетные должности. Выходит, что присудить его к изгнанию надо за то, что он сострадательен, услужлив, щедр и всеми любим. Ну скажи-ка мне, по какому такому закону запрещается, осуждается, порицается сострадательность, великодушие и любовь к ближнему? Конечно, к таким способам прибегают обычно те, кто домогается верховной власти, однако не все с нами в этом согласны, а мы не очень-то способны кого-нибудь убедить, ибо наше же поведение лишило нас всякого доверия. Город же наш, естественно, обуян партийными страстями и, живя в непрестанных раздорах, совершенно развращен, а потому и не подумает прислушиваться к подобным обвинениям. Но допустим даже, что удалось бы добиться изгнания Козимо, что было бы не так уж трудно при наличии сочувствующей нам Синьории; как вы рассчитываете при таком количестве его сторонников, которые останутся в городе и будут, разумеется, пламенно желать его возвращения, воспрепятствовать тому, чтобы он в конце концов вернулся? Это окажется невозможным, ибо друзей у него так много и они настолько пользуются

всеобщей поддержкой, что вам никогда с ними не справиться. И чем больше его друзей вы обнаружите и подвергнете изгнанию, тем больше у вас окажется врагов. Так что в самом непродолжительном времени он все равно возвратится, вы же добьетесь только одного – что изгнали вы человека доброжелательного, а вернется озлобленный, ибо саму натуру его изменят к худшему те, благодаря кому он вернется и кому не станет препятствовать хотя бы из чувства благодарности. Если же вы замыслите предать его смерти, то законным путем, через должностных лиц это вам никогда не удастся, ибо спасением для него окажутся как деньги его, так и ваши же продажные души. Но допустим даже, что он погибнет или, будучи изгнанным, не сможет вернуться, – я не вижу, что от этого выиграет наша республика, ибо, если освободить ее от Козимо, она тотчас же попадет в лапы мессера Ринальдо, а что до меня лично, то я принадлежу к тем, кто не желает, чтобы один какой-нибудь гражданин могуществом и властью в государстве превосходил всех других. А уж если обязательно один из этих двух должен возвыситься, я не вижу причины, по которой можно было бы выбрать Ринальдо, а не Козимо. Больше я тебе ничего не скажу, кроме разве одного: да спасет Бог наш город от участи иметь владыкой кого-либо из своих граждан, но если по грехам нашим беда эта нас не минует, да избавит нас Господь хотя бы от владычества Ринальдо. Не призывай же никого принять решение, с любой точки зрения пагубное, и не рассчитывай с горсточкой своих сторонников противиться воле большинства. Ибо все наши сограждане, одни по невежеству, другие по злонамеренности, готовы продать республику; фортуна же им удружила, подыскав покупателя. Последуй моему совету – постарайся жить тихо, а что касается свободы, то в покушении на нее наших сотоварищей по партии подозревай ничуть не меньше, чем противников. Если же снова начнется смута, не становись ни на чью сторону, – так ты всем удружишь и сможешь соблюсти свою выгоду, не повредив отечеству».

XXVIII

Речь эта на некоторое время утихомирила Барбадоро, и во Флоренции все было спокойно, пока шла война с Луккой. Но затем заключен был мир и скончался Никколо да Уццано, город же оказался на мирном положении и страстей его уже ничто не обуздывало. Снова началось их губительное кипение, мессер же Ринальдо, считая теперь себя главой своей партии, не переставал докучать своими просьбами всем гражданам, которые, по его мнению, могли стать гонфалоньерами, уговаривая их вооруженной рукой освободить отечество от человека, который по злонамеренности некоторых и по невежеству весьма многих неизбежно вел его к рабству. Такое поведение и мессера Ринальдо, и тех, кто стоял за противную партию, повергло весь город в тревожное состояние: каждый раз, когда люди назначались на должности, громко подсчитывали, сколько в данной магистратуре лиц одной и лиц другой партии, а когда шли выборы в члены Синьории, весь город будоражило. Любое дело, даже самое пустяковое, которое выносилось на суд магистратов, служило поводом для раздоров, разбалтывались важные тайны, и добро и зло в равной мере то превозносилось, то осуждалось, одинаково страдали и благонамеренные и злонамеренные граждане, и ни одно должностное лицо не выполняло своих обязанностей.

Итак, во Флоренции царили раздоры, и мессер Ринальдо, не переставая стремиться к умалению могущества Козимо и зная, что Бернардо Гваданьи может стать гонфалоньером, уплатил долги Бернардо, чтобы задолженность государства не помешала получению им этой должности. Когда подошло время выборов в Синьорию, судьба, неизменная сообщница наших внутренних распрей, пожелала, чтобы Бернардо оказался гонфалоньером на сентябрь и октябрь. Мессер Ринальдо тотчас же явился к нему и сказал, что партия нобилей и всех тех, кто хочет спокойного существования, чрезвычайно рада тому, что он достиг столь высокого поста и что теперь лишь от него зависит, чтобы радость эта не оказалась напрасной. Затем он указал ему на опасность, которой чреваты наши раздоры, и на то, что единственный способ восстановить согласие – это сокрушить Козимо, ибо только он из-за влияния, которое обеспечили ему чрезмерные его богатства, повинен в бессилии нобилей. Козимо настолько уже возвысился, что если не принять немедленных мер, он неизбежно станет во Флоренции единоличным государем. Поэтому долг доброго гражданина состоит в том, чтобы предотвратить это, собрав народ на площади, восстановив авторитет государства и возвратив родине свободу. Он напомнил Бернардо, что Сальвестро Медичи сумел в свое время, хоть это и было делом несправедливым, принизить гвельфов, которые кровью предков своих купили право главенствовать в государстве, и если ему удалось нанести многим столь несправедливую обиду, то неужели им, нобилем, не удастся сейчас, когда правда на их стороне, успешно справиться с одним человеком? Он призывал Бернардо отбросить всякий страх, ибо друзья готовы поддержать его с оружием в руках, а на народные

низы, обожающие Козимо, нечего обращать внимания: из этого обожания Козимо извлечет не более того, что в свое время извлечет мессер Скали. Богатства Козимо тоже не препятствие: едва лишь Козимо окажется в руках Синьории, как она и ими сможет располагать по своему усмотрению. В заключение он добавил, что, совершив это, Бернардо обеспечит государству безопасность и единение, а себе добрую славу. На эту речь Бернардо кратко ответил, что он и сам считает необходимым сделать все, о чем говорил мессер Ринальдо, что наступило время действовать: пусть же мессер Ринальдо собирает вооруженную силу, ибо он, Бернардо, считает, что на членов Синьории можно вполне рассчитывать.

Как только Бернардо вступил в должность, сговорился со своими коллегами и условился о дальнейшем с мессером Ринальдо, он вызвал Козимо, который, хотя многие друзья отговаривали его, явился по вызову, ибо более полагался на свою невиновность, чем на милосердие Синьории. Во дворце Козимо тотчас же был арестован. Мессер Ринальдо со множеством вооруженных людей вышел из своего дома и в сопровождении почти всех своих сторонников явился на площадь, куда Синьория призвала весь народ. Тотчас же для некоторых изменений в структуре государственных учреждений была образована балия в составе двухсот человек, которая, как только это стало возможным, и занялась вопросом о реформе, а также о судьбе Козимо. Многие требовали его изгнания, многие – его смерти, остальные же молчали – либо из сострадания к нему, либо из страха перед другими, так что из-за этих разногласий было принято никакого решения.

XXIX

В башне дворца есть помещение размером во всю ее ширину, называемое «гостиничка». Там и содержался Козимо, стеречь же его поручили Федерико Малавольти. Оттуда Козимо мог слышать и все, что говорилось в собрании, и бряцанье оружия на площади, и звон колокола, по которому собиралась на заседание балия. Он стал уже опасаться за свою жизнь, но более всего боялся он, как бы личные враги не умертвили его незаконным образом. Поэтому он все время воздерживался от пищи и за четыре дня съел только немного хлеба. Заметив это, Федерико сказал ему: «Козимо, ты боишься отравления и из-за этого моришь себя голодом, мне же оказываешь весьма мало чести, если полагаешь, что я способен приложить руку к такому гнусному делу. Не думаю, чтобы тебе надо было опасаться за свою жизнь, имея столько друзей и во дворце, и за его стенами. Но даже если бы тебе и грозила смерть, можешь быть уверен, что не моими услугами, а каким-либо иным способом воспользуются, чтобы отнять у тебя жизнь. Никогда я не замараю рук своих чьей-либо кровью, особенно твоей, ибо от тебя никогда я не видел ничего худого. Успокойся же, принимай обычную пищу и живи для друзей своих и для отечества. А чтобы у тебя не оставалось никаких сомнений, я буду разделять вместе с тобой всю еду, которую тебе будут приносить». Слова эти вернули Козимо мужество, со слезами на глазах он обнял и поцеловал Федерико, горячо благодаря его за сострадание и доброту и обещая воздать ему за них, если судьба когда-нибудь предоставит такую возможность.

Итак, Козимо несколько успокоился, и пока граждане продолжали обсуждать его дальнейшую судьбу, Федерико, чтобы развлечь его, привел разделить с ним ужин некоего фарганаччо, приятеля гонфалоньера, человека веселого и забавного. Козимо, отлично знавший его, решил использовать в своих целях этого человека, и когда ужин подходил к концу, сделал Федерико знак удалиться. Тот прекрасно понял, в чем дело, и под предлогом, что намеревается принести еще какое-то угощение, оставил их вдвоем. Козимо, дружественно поговорив некоторое время по своему обыкновению с фарганаччо, дал ему письменную доверенность на получение у казначея Санта Мариа Нуова тысячи ста дукатов: из них сто фарганаччо должен был взять себе, а тысячу передать гонфалоньеру с просьбой от Козимо прийти к нему под каким-нибудь благовидным предлогом. Фарганаччо взялся за это поручение, деньги были переданы Бернардо, который смягчился, и Козимо, вопреки мессеру Ринальдо, требовавшему его смерти, был только изгнан в Падую. То же самое выпало на долю Аверардо и многих других из дома Медичи, а также Пуччо и Джованни Пуччи. А чтобы держать в страхе всех недовольных изгнанием Козимо, правами балии наделены были комиссия восьми по охране государства и капитан народа.

После того как принято было это решение, 3 октября 1433 года Козимо предстал перед членами Синьории, которые сообщили ему приговор об изгнании и предложили добровольно подчиниться этому постановлению, если он не хочет, чтобы в отношении его лично и его имущества приняли более жесткие меры. Козимо выслушал приговор с безмятежным видом и только заявил, что охотно отправится в любое место, какое назначит Синьория, но, поскольку ему дарована жизнь, он просит, чтобы ее также и защитили, ибо ему хорошо известно, что на площади собралось немало людей, желающих его смерти. В заключение он добавил, что где бы ему ни пришлось

находиться, он сам и все его имущество находятся в полном распоряжении государства, народа флорентийского и Синьории. Гонфалоньер успокоил его на этот счет и задержал во дворце до наступления ночи, после чего привел его к себе в дом, угостил ужином, а затем под сильной вооруженной охраной отправил к границе республики. Всюду по пути Козимо встречали с великим почетом, а венецианцы открыто посетили его, притом не как изгнанника, а как важного государственного деятеля.

XXX

Когда Флоренция лишилась такого великого гражданина, так пламенно всеми любимого, все оказались в растерянности, причем страхом охвачены были в равной мере и победители, и побежденные. Мессер Ринальдо, предвидя уже свое печальное будущее и решив до конца выполнить свой долг и перед самим собою, и перед своей партией, собрал у себя многих дружественных ему граждан и сказал им следующее: он ясно видит, что они сами навлекли на себя грядущую гибель, поддавшись на мольбы, слезы и деньги своих врагов и, не уразумев, что им самим вскоре придется умолять и плакать, но тщетно – их слушать не станут, слезы их не вызовут жалости, деньги же, ими полученные, им придется вернуть полностью, да еще заплатить ростовщические проценты пытками, казнями и ссылками. Лучше им всем было терпеть и молчать, чем оставить Козимо в живых, а его сторонников в стенах Флоренции, ибо больших людей либо совсем не надо трогать, либо уж по-настоящему кончать с ними. В настоящий момент единственное, что, по его мнению, можно сделать, это вооружиться и быть начеку в городе, чтобы, когда враги опомнятся – а это произойдет весьма скоро – их можно было изгнать силой оружия, раз уж не оказалось возможности сделать это силою закона. Но единственное спасительное средство – то, о котором он уже неоднократно говорил: перетянуть на свою сторону грандов, вернув им все права на занятие любых почетнейших должностей, и усилиться благодаря союзу с ними, как враги усилились, опираясь на народные низы. Таким образом их партия станет куда энергичнее – в нее вольется новая жизнь, новая доблесть, новое мужество, и она обретет новых многочисленных сторонников. Если же не прибегнуть к этому последнему и по-настоящему действенному средству, он лично просто не видит, как можно будет спасти государство среди стольких врагов, и уже предчувствует и их личную гибель и крушение республики. На эту речь Марьотто Бандовинетти, один из присутствующих, решительно возразил, указав на высокомерие грандов и вообще невыносимый их характер и добавив, что нет нужды наверняка идти к ним в рабство, чтобы избежать сомнительной опасности со стороны народных низов.

Тогда мессер Ринальдо, видя, что советы его отвергнуты, принялся горько жаловаться на судьбу свою и своей партии, но при том все происходящее приписывал скорее Воле Божьей, чем невежеству и слепоте человеческой. Между тем, пока длилось это состояние нерешительности и бездействия, перехвачено было письмо мессера Аньоло Аччаюли к Козимо, в котором Аньоло сообщил Козимо о том, как к нему относятся в городе, и побуждал его вызвать интригами какую-нибудь войну против Флоренции и вступить в дружеские отношения с Нери ди Джино, уверяя, что город, нуждаясь в средствах, не найдет никого, кто бы мог снабдить его деньгами, и сограждане неминуемо вспомнят о щедрости Козимо и пожелают вернуть его из изгнания. Если же Нери отойдет от мессера Ринальдо, его партия настолько ослабеет, что не в состоянии будет защищаться. Перехват этого письма должностными лицами привел к тому, что мессера Аньоло задержали, допросили под пыткой и отправили в изгнание. Однако пример этот не поколебал всеобщего умонастроения в пользу Козимо.

Изгнание Козимо продолжалось уже почти целый год, и вот в конце августа 1434 года избран был гонфалоньером на ближайшие два месяца и вступил в должность Никколо ди Кокко, и вместе с ним в Синьорию попали еще восемь членов – все это были сторонники Козимо, что весьма напугало мессера Ринальдо и всю его партию. Поскольку до вступления в должность члены новой Синьории еще в течение трех дней остаются на положении простых граждан, мессер Ринальдо снова собрал главарей своей партии, указав им на весьма близкую и неминуемую гибель и на единственное средство спасения – взяться за оружие и добиться, чтобы тогдашний гонфалоньер Донато Веллутти созвал народное собрание, образовал балию, отстранил избранную только что Синьорию и назначил новую, подходящую для государства, чтобы прежние списки кандидатов были изъяты из сумки и сожжены и составлены новые, на людей верных. Одни из собравшихся нашли это предложение правильным и единственно возможным, другие считали выход, предложенный мессером Ринальдо, слишком насильственным и могущим навлечь на них всеобщее осуждение. Особенно возражал против него мессер Палла Строцци, человек мирный, полный кротости и доброжелательства, более способный к занятиям словесностью, чем к руководству

партией или сопротивлению в общественных распрях. Он сказал, что хотя меры дерзновенные и хитро задуманные поначалу представляются весьма действенными, осуществление их оказывается не столь легким, а исход зачастую пагубным, что, по его мнению, опасность новых внешних столкновений, связанная с наличием на наших границах с Романьей вооруженных сил герцога, заставит Синьорию уделять ей больше внимания, чем внутренним раздорам, что если заметно будет намерение изменить политику, а это всегда видно заранее, то еще хватит времени взяться за оружие и осуществить все необходимое для общественного спасения. Кроме того, тогда это будет сделано по острой необходимости и потому вызовет меньше потрясения в народе и навлечет на них не столь сильные упреки. Под конец решено было допустить новых членов Синьории вступить в должность, но бдительно следить за ними, и если обнаружатся попытки содействовать что-либо направленное против их партии, все тотчас же соберутся с оружием в руках на площади Сант Апполинаре, недалеко от Дворца Синьории, откуда уже легко будет двинуться туда, куда потребуется.

XXXI

Приняв это решение, они разошлись, и новая Синьория мирно пришла к власти. Новый гонфалоньер то ли для того, чтобы заставить себя уважать, то ли чтобы нагнать страху на тех, кто попытался бы оказать ему сопротивление, приговорил к тюремному заключению своего предшественника Донато Веллуги, обвинив его в растрате общественных средств. Затем он осторожно затронул со своими коллегами вопрос о возвращении Козимо и, найдя их вполне к этому склонными, заговорил и с теми, кого считал главарями партии Медичи. Ободренный их советами, он вызвал для допроса, как подозрительных, вождей противной партии – мессера Ринальдо, Ридольфо Перуцци и Никколо Барбадоро. Получив вызов в суд, мессер Ринальдо рассудил, что медлить больше нельзя: он вышел из своего дома с целой толпой вооруженных сторонников и вскоре к нему присоединились Ридольфо Перуцци и Никколо Барбадоро. В этой вооруженной толпе было немало других граждан, а также множество наемных солдат, которые находились во Флоренции, но уже не получали жалованья, и все они, как было условлено, собрались на площади Сант Апполинаре. Мессер Палла Строцци не вышел из своего дома, хотя и собрал у себя тоже немало людей, так же поступил и мессер Джованни Гвиччардини. Мессер Ринальдо послал тогда поторопить их с упреками по поводу их медлительности. Мессер Джованни ответил, что он и без того достаточно решительно действует против враждебной партии, оставаясь дома и препятствуя своему брату Пьеро выступить на помощь правительству. К мессеру Палла посылали столько раз, что он явился на площадь Сант Апполинаре верхом, но в сопровождении всего двух пеших и невооруженных спутников. Мессер Ринальдо поспешил ему навстречу и принялся резко укорять его за отсутствие рвения, заявляя, что такое нежелание присоединиться к сотоварищам происходит либо от отсутствия доверия к ним, либо от недостатка мужества. Он сказал также, что заслужить упрек в том или в другом равно не подобает человеку, желающему сохранить ту добрую славу, которой вообще пользовался мессер Палла, и что он напрасно воображает, будто враги, одержав победу, пощадят его жизнь или не отправят в изгнание за то, что он не помог своей партии. Что же касается лично его, Ринальдо, то в случае даже рокового исхода он будет счастлив, что в предвидении опасности давал правильный совет, а когда она пришла, решился прибегнуть к силе. Он же, Строцци, и все, последовавшие его примеру, вдвойне раскаются при мысли о том, что они трижды предали отечество: первый раз, когда спасли жизнь Козимо, второй, когда отвергли советы его, Ринальдо, и в третий, когда не выступили с оружием. На слова эти мессер Палла не ответил ничего, что было бы слышано присутствующими: он только пробормотал что-то, повернул коня и возвратился домой.

Узнав, что мессер Ринальдо и его партия взяли за оружие, Синьория увидела, что на защиту ее никто не выступает, и велела запереть дворец, где, не слыша ни от кого доброго совета, пребывала в полной нерешительности.

Однако то обстоятельство, что мессер Ринальдо задержался на площади, ожидая подмоги, которая так и не подошла, отняло у него победу и дало Синьории возможность укрепиться, а множеству граждан прийти ей на помощь, и, кроме того, члены Синьории имели теперь время подумать о мерах, которые заставили бы выступивших сложить оружие. И вот кое-кто из них, наименее подозрительные для мессера Ринальдо, отправились к нему и заявили, что Синьория понятия не имела о причинах этого выступления, что у нее и в мыслях не было покушаться на него лично и что если речь о Козимо вообще заходила, то вопрос о его возвращении даже не поднимался. Если же их опасения связаны с этим, то пусть они явятся во дворец – их хорошо примут, и все их пожелания будут благожелательно рассмотрены. Речи эти не поколебали мессера Ринальдо, он ответил, что безопасность его и других будет обеспечена лишь в том случае, если члены данной Синьории вернутся к

частной жизни, а в управлении государством произойдет переустройство для общего блага.

Однако, когда нет единого руководства, а мнения руководящих расходятся, редко бывает возможным полезное решение. Ридольфо Перуцци поколебали речи посланцев Синьории, и он ответил, что добивался лишь одного – чтобы не возвращали Козимо – и если Синьория с этим согласна, ему такой победы достаточно и он не желает кровопролития ради победы более полной, а потому готов повиноваться Синьории. Вместе со своими людьми он вошел во дворец, где их встретили с большой радостью. Проволочка мессера Ринальдо на Сант Апполинаре, недостаток мужества у мессера Паллы и уход Ридольфо вырвали из рук мессера Ринальдо успех, граждане, следовавшие за ним, утрачивали пыл, и к этому добавилось еще вмешательство папы.

XXXII

Папа Евгений, изгнанный из Рима народом, находился тогда во Флоренции. Услышав о возникших беспорядках и считая своим долгом содействовать умиротворению, он поручил патриарху, мессеру Джованни Вителлески, закадычному другу мессера Ринальдо, отправиться к нему и пригласить его к папе, ибо папа уверен, что Синьория к нему прислушается и он сможет силой своей власти и доверия, которым он пользуется, добиться для мессера Ринальдо и его партии полной безопасности и удовлетворения без кровопролития и ущерба для граждан. Уступив настояниям друга, Ринальдо со всеми своими вооруженными сторонниками отправился в Санта Мария Новелла, где проживал папа. Евгений заявил ему, что Синьория в знак полного своего доверия к папе поручила ему уладить все это дело, каковое и решится к полному удовлетворению мессера Ринальдо, как только он сложит оружие. Мессер Ринальдо, видя холодность мессера Палла, легкомыслие Ридольфо Перуцци, подумал, что иного выхода нет, и бросился в объятия папы, надеясь все же, что уважение к главе церкви избавит его от всякой опасности. Тогда папа велел объявить Никколо Барбадору и другим, ожидавшим во дворе, чтобы они возвратились по домам и разоружились, а мессер Ринальдо останется у него для ведения переговоров с Синьорией.

XXXIII

Синьория, видя, что враг обезоружен, начала при посредничестве папы вести переговоры, но в то же время тайно послала в горы в окрестностях Пистойи за своей пехотой, которую вместе с другими вооруженными отрядами ночью ввела во Флоренцию. После этого, заняв войсками все укрепленные места, она собрала народное собрание и учредила новую балию, а та, едва собравшись, постановила вернуть Козимо и всех изгнанных вместе с ним. Из враждебной партии она приговорила к изгнанию мессера Ринальдо Альбицци, Ридольфо Перуцци, Никколо Барбадору, мессера Падла Строцци и еще столько же других граждан, что мало было городов в Италии, где не обосновались бы флорентийские изгнанники, да и за ее пределами многие города полны были флорентийцев. Так что из-за этих решений Флоренция лишилась не только множества достойных граждан, но и части своих богатств и ремесленных предприятий.

Папа, видя, какие жестокие бедствия обрушились на тех, кто сложил оружие лишь по его просьбе, выразил крайнее свое неудовольствие, горько жаловался в беседе с мессером Ринальдо на оскорбление, нанесенное ему теми, кто нарушил данное ему слово, и призвал его к терпению и к надежде на переменчивость фортуны. Мессер Ринальдо ответил так: «Недостаток доверия ко мне со стороны тех, кому следовало мне верить, и мое чрезмерное доверие к силе вашего слова погубили меня и мою партию. Но больше всех я должен обвинять самого себя за то, что подумал, будто вы, изгнанный из своего отечества, можете удержать меня в моем. Я достаточно испытал, что такое игра судьбы, и, так как никогда не доверял счастью, могу не так уж глубоко страдать от недоли. Я знаю, что когда судьбе будет угодно, она еще может мне улыбнуться, но даже если этого никогда не случится, я всегда буду считать не столь уж большим преимуществом жить в государстве, где законы не так сильны, как люди, ибо желанна лишь такая родина, где можно безопасно пользоваться своим имуществом и обществом друзей, а не такая, где ты в любой миг можешь лишиться своего достоинства и где друзья твои из страха за свое благополучие предадут тебя, когда ты в них больше всего нуждаешься. Людям мудрым и достойным всегда легче слышать о бедствиях отечества, чем видеть их собственными глазами, и больше чести быть изгнанным за благородный мятеж, чем оставаться гражданином в узах неволи».

От папы он ушел полный гнева и к месту изгнания отправился, проклиная в сердце своем собственные свои решения и нерешительность друзей. Что касается Козимо, то, узнав о постановлении, возвращавшем его на родину, он поспешил во Флоренцию.

И редко бывает, чтобы гражданина, вступающего в город с триумфом после победы, встречало в отечестве такое стечение народа и такое проявление любви, с какими приняли возвращение этого изгнанника. И каждый по собственному своему побуждению громко приветствовал его как благодетеля народа и отца отечества.

Книга пятая

I

Переживая непрерывные превращения, все государства обычно из состояния упорядоченности переходят к беспорядку, а затем от беспорядка к новому порядку. Поскольку уж от самой природы вещам этого мира не дано останавливаться, они, достигнув некоего совершенства и будучи уже не способны к дальнейшему подъему, неизбежно должны приходиться в упадок, и наоборот, находясь в состоянии полного упадка, до предела подорванные беспорядками, они не в состоянии пасть еще ниже и по необходимости должны идти на подъем. Так вот всегда все от добра снижается ко злу и от зла поднимается к благу. Ибо добродетель порождает мир, мир порождает бездеятельность, бездеятельность – беспорядок, а беспорядок – гибель и – соответственно – новый порядок порождается беспорядком, порядок рождает доблесть, а от нее проистекают слава и благоденствие. Мудрецы заметили также, что ученость никогда не занимает первого места, оно отведено военному делу, и в государстве появляются сперва военачальники, а затем уж философы. Когда хорошо подготовленное и организованное войско принесло победу, а победа – мир, могут ли сила и воинственность подточиться бездеятельностью более благородного свойства, чем ученая созерцательность, и может ли бездеятельность проникнуть в хорошо устроенное государство, вооружившись каким-либо менее возвышенным и опасным соблазном? Это прекрасно осознал Катон, когда в Рим прибыли из Афин в качестве послов к сенату философы Диоген и Карнеад. Увидев, что римская молодежь начала восхищенно увлекаться ими, и поняв, какой опасностью для отечества чревата благородная бездеятельность любомудрия, он постарался принять меры, тобы в дальнейшем ни один философ не мог найти в Риме приюта.

Вот что приводит государство к гибели, но, когда предел бедствий достигнут, вразумленные им люди возвращаются, как уже сказано было, к порядку, если, впрочем, их не ввергает в беспомощность сила каких-либо чрезвычайных обстоятельств. От тех же самых причин Италия то благоденствовала, то бедствовала сперва при древних этрусках, затем под владычеством римлян. И хотя затем, на развалинах Римского государства, не возникло ничего, что могло бы каким-то образом превзойти его так, чтобы Италия со славой благоденствовала под управлением доблестного государя, тем не менее многими новыми городами и государствами, возникавшими на римских развалинах, проявлено было столько доблести, что хотя ни одно из них не сумело возобладать над другими, они оказались настолько хорошо устроенными и упорядоченными, что сумели избавить и защитить Италию от варваров.

Если среди этих государств Флоренция не отличалась большими размерами, она все же не уступала им ни во влиянии, ни в мощи. Пребывая в центре Италии, будучи богатыми и всегда готовыми напасть на врага, флорентийцы либо успешно завершали навязанные им войны, либо способствовали победе тех, на чью сторону склонялись. Если воинственность этих новых государств не давала флорентийцам долгое время наслаждаться миром, то и бедствия войны тоже не бывали для них губительны.

Нельзя, конечно, говорить о мире там, где государства постоянно нападают друг на друга, но трудно также называть настоящей войной такие распри, когда люди не умерщвляют друг друга, города не подвергаются разгрому и не уничтожаются. Подобные войны велись вообще так вяло, что начинали их без особого страха, продолжали без опасности для любой из сторон и завершали без ущерба. Таким образом, воинская доблесть, обычно угасающая в других государствах из-за долгих лет мирной жизни, в Италии исчезла вследствие той низменной вялости, с которой в ней велись войны. Об этом ясно свидетельствуют события за время с 1434 по 1494 год, которые здесь будут изложены так, что читатель увидит, каким образом варварам снова была открыта дорога в Италию и как случилось, что Италия сама отдалась им в рабство. И если деяния наших государей и вовне и внутри страны отнюдь не вызывают того восхищения, с коим мы читаем о деяниях древних, то с несколько иной точки зрения они могут вызвать не меньшее изумление – каким образом множество столь благородных народов могло быть обуздано воинской силой,

столь ничтожной и столь бездарно руководимой. И если в повествованиях о событиях, случившихся в столь разложившемся обществе, не придется говорить ни о храбрости воина, ни о доблести полководца, ни о любви к отечеству гражданина, то во всяком случае можно будет показать, к какому коварству, к каким ловким ухищрениям прибегали и государи, и солдаты, и вожди республик, чтобы сохранить уважение, которого они никак не заслуживали. И, может быть, ознакомиться со всеми этими делами будет не менее полезно, чем с деяниями древности, ибо если последние служат великодушным сердцам примером для подражания, то первые вызовут в тех же сердцах стремление избегать их и препятствовать им.

II

Те, кто распорядились судьбами Италии, действовали таким образом, что когда согласие государей приводило к миру, его немедленно нарушали те, кто держал в руках оружие, и в конце концов война никому не приносила славы, а мир – покоя. Так, когда в 1433 году между герцогом Миланским и Лигой был заключен мир, наемные солдаты, не желавшие прекращения военных действий, обратились против Папского государства. В Италии имелись тогда две значительные вооруженные силы: войска Браччо и войска Сфорца. Во главе одних стоял Франческо, сын Сфорца, во главе других – Никколо Пиччинино и Никколо Фортебраччо. Почти все воинские отряды, находившиеся в Италии, входили в состав одной из этих двух армий. Та, которую организовал Сфорца, имела большее значение как из-за личных качеств графа, так и из-за данного ему герцогом Миланским обещания женить его на своей побочной дочери госпоже Бьянке. Расчеты на подобный брачный союз обеспечили ему значительное влияние. После установления мира в Ломбардии эти войска стали под различными предлогами нападать на папу Евгения. Никколо Фортебраччо действовал, побуждаемый старинной враждой Браччо против папства, граф – по своим честолюбивым расчетам, и в конце концов Никколо произвел нападение на Рим, а граф захватил Марку. Римляне, отнюдь не желавшие воевать, изгнали из своего города папу Евгения, который с превеликим трудом и среди всяческих опасностей бежал во Флоренцию, где, обдумав тяжелое положение, в котором находился, и видя, что итальянские государи отнюдь не склонны ради него братья за оружие, которое они с такой радостью сложили, заключил с графом договор и отдал ему Марку в ленное владение, хотя граф к обиде, нанесенной папе захватом Марки, добавил еще и поношения, ибо, обозначая место, откуда он писал своим людям, он по итальянскому обычаю ставил по-латыни: «Из нашего Гирфалько Фирмано, против Петра и Павла». Мало удовлетворенный получением ленного владения, он домогался назначения гонфалоньером церкви, и папа Евгений на все согласился, настолько предпочитал он опасностям войны постыдный мир. Став таким образом другом папы, граф принялся теснить Никколо Фортебраччо, и в течение ряда месяцев в землях Церковной области между ними происходили стычки, приносившие больше ущерба папе и его подданным, чем самим воякам. Наконец герцог Миланский предложил свое посредничество, и соперники договорились о перемирии, по которому оба они становились в Церковной области владетельными князьями.

III

Войну, едва затихшую в Риме, снова разжег в Романье Баттиста да Каннето, каковой умертвил в Болонье несколько человек из рода Грифони и изгнал из города поставленного папой правителя, а также многих своих личных недругов. Решив удержать Романью силой, он обратился за помощью к Филиппо, папа же, в свою очередь, дабы отплатить за эту обиду, стал искать поддержки во Флоренции и в Венеции. И та, и другая сторона склонялись на эти просьбы, так что вскорости в Романье оказались друг против друга два больших воинства. Военачальником у Филиппо был Никколо Пиччинино, а войска Венеции и Флоренции находились под командованием Гаттамелаты и Никколо да Толентино. В окрестностях Имолы произошло сражение, венецианцы и флорентийцы были разбиты, а Никколо да Толентино взят в плен и отправлен к герцогу, где через несколько дней умер то ли коварно умерщвленный Филиппо, то ли с горя от понесенного поражения. После этой победы герцог, может быть ослабленный предыдущими войнами, а может быть успокоенный расчетом на то, что Лига, потерпев такую неудачу, откажется от дальнейших действий, не стал развивать своего успеха и дал папе и его союзникам время объединиться заново. Они назначили своим военачальником графа Франческо и задумали изгнать Никколо Фортебраччо из церковных владений и тем самым закончить эту войну, начатую в защиту главы церкви.

Римляне, видя, что папа имеет сильную вооруженную поддержку, решили с ним помириться, преуспели в этом и согласились принять его комиссара. Под властью Никколо Фортебраччо находились, кроме других земель, Тиволи, Монтефьяскони,

Читтади Каstellо и Ассизи. Будучи не в состоянии вести активные военные действия, он отступил в это свое последнее владение, где граф и осадил его. Из-за доблестной обороны Никколо осада затянулась, и герцог счел необходимым либо воспрепятствовать Лиге одержать эту победу, либо, если это не удастся, самому хорошо подготовиться к обороне. Чтобы заставить графа снять осаду, он повелел Никколо Пиччинино пройти через Романью в Тоскану, так что Лига, рассудив, что защита Тосканы важнее, чем захват Ассизи, приказала графу воспрепятствовать продвижению Никколо, который с войском своим уже находился в Форли. Граф сразу же двинул войска и явился в Чезену, поручив своему брату Леоне вести военные действия в Марке и защищать его владения. В то время, как Пиччинино старался проникнуть в Тоскану, а граф – воспрепятствовать ему в этом, Никколо фортебраччо внезапно атаковал Лионе, с великой для себя славой захватил его в плен, рассеял его войско и, используя свою победу, весьма быстро занял в Марке много городов. Этот разгром крайне удручил графа, который, опасаясь потерять все свои владения, часть войска оставил для сопротивления Пиччинино, а с другой бросился на фортебраччо, сразился с ним и одержал победу: фортебраччо, раненый, был взят в плен и от раны скончался. Победа эта вернула папе все то, что отнял у него Никколо фортебраччо, и вынудила герцога просить мира, который и был заключен при посредничестве Никколо д'Эсте, маркиза Феррарского. По условиям мира папству возвращены были все занятые герцогом города, а герцогские войска вернулись в Ломбардию. Баттиста Канедоло, как всегда бывает с теми, кто стоит у власти в государстве благодаря чужой силе и подмоге, не сумел удержаться в Болонье своей силой и доблестью после ухода герцогских войска и потому бежал, а мессер Антонио Бентивольо, глава противной партии, возвратился в город.

IV

Все описанные события происходили во время изгнания Козимо. По возвращении же его все, кто этому содействовал, и множество граждан, потерпевших обиду, решили обеспечить свою безопасность, ни с чем уже теперь не считаясь. Синьория, пришедшая к власти на ноябрь и декабрь, не удовлетворившись тем, что сделала для партии Медичи предшествовавшая ей Синьория, продолжила сроки изгнания многим изгнанникам и еще многих добавочно изгнала. И теперь граждане подвергались репрессиям уже не столько за свою принадлежность к враждебной партии, сколько за свое богатство или родственные и дружеские связи. Если бы эти проскрипции сопровождались кровопролитием, они вполне уподобились бы проскрипциям Октавиана и Суллы. Следует заметить, однако, что и тут без крови не обошлось, ибо Антонио, сын Бернардо Гваданьи, был обезглавлен. Четыре же других гражданина, среди которых находились Заноби Бельфрателли и Козимо Барбадоро, нарушив запрет покидать место своего изгнания и прибыв в Венецию, были схвачены венецианцами, более дорожившими дружбой с Козимо Медичи, чем своей честью, и выданы ему, после чего их гнусно умертвили. Это дело усилило власть партии Козимо и нагнало страху на его врагов. Всех поразило, что такая могущественная республика отдала свою свободу флорентийцам. И многие считали, что сделано это было не столько для ублажения Козимо, сколько с целью еще сильнее разжечь во Флоренции партийные страсти и благодаря пролитой крови еще более ожесточить наши внутренние распри. Ибо самое большое препятствие для своего возвеличения венецианцы усматривали в единстве нашей республики.

После того как государство избавилось от своих врагов или подозрительных ему людей, те, кто стал у власти, осыпали благодеяниями множество лиц, которые могли усилить их партию. Семейство Альберти и всех, ранее объявленных мятежниками, вернули на родину. Всех грандов, за немногими исключениями, возвели в пополанское достоинство. И, наконец, разделили между собой по грошовой цене имущество мятежников. Затем издали новые законы и правила для обеспечения собственной безопасности и заполнили новыми именами избирательную сумку, изъяв оттуда имена своих врагов и добавив имена сторонников. Извлеки должный урок из крушения своих противников и убедившись, что даже изменение состава имен для выборов недостаточно для полного укрепления их власти, они решили, что магистраты, имеющие власть над жизнью и смертью граждан, должны всегда избираться из числа вожаков их партии, и постановили в соответствии с этим, что аккопиаторы, которым поручено помещать имена кандидатов в избирательную сумку, имеют право совместно с членами Синьории, слагающей с себя полномочия, назначать новую Синьорию. Комиссии восьми по охране государства дано было право выносить смертные приговоры. Постановлено было, что изгнанники по окончании срока изгнания могут возвратиться во Флоренцию лишь после того, как члены Синьории и Коллегии, состав которых – тридцать семь человек, – разрешат им вернуться большинством тридцати четырех голосов. Издали запрещение писать изгнанникам и получать от них письма. Каждое слово, каждый жест, малейшее общение граждан друг

с другом, если они в какой бы то ни было мере вызвали неудовольствие властей, подлежали самой суровой каре. И если во Флоренции оставался хоть один подозрительный властям человек, которого не затронули все эти ограничительные меры, то он уж во всяком случае не мог не страдать от установленных теперь новых обложений. Так за самое короткое время изгнав и обездолив своих противников, партия победителей укрепила свое положение в государстве. А чтобы иметь также и внешнюю поддержку, она лишила своих противников возможности прибегнуть к ней, заключив соглашение о взаимной защите государства и с папой, и с Венецией, и с герцогом Миланским.

Таково было положение вещей во Флоренции, когда скончалась королева Неаполитанская Джованна, оставив по завещанию наследником престола Рене Анжуйского. Но в это время в Сицилии находился Альфонс, король Арагонский, который, опираясь на дружбу со многими баронами, готовился к захвату Неаполитанского королевства. Неаполитанцы и остальные бароны были на стороне Рене, а папа, со своей стороны, не желал в королевстве Неаполитанском ни Рене, ни Альфонса, а хотел, чтобы им управлял назначенный папой наместник. Тем временем Альфонс проник в королевство и был принят в нем герцогом Сессы. Владея уже Капуйей, которую от его имени занял князь Тарантский, Альфонс взял к себе на жалованье некоторых князей с намерением принудить неаполитанцев выполнять его волю, и послал свой флот на Гаету, державшую сторону неаполитанцев. Те стали молить о помощи Филиппо, и он убедил взятыся за это дело генуэзцев, которые не только чтобы угодить герцогу, своему государю, но и для спасения своих товаров в Неаполе и в Гаете, собрали весьма грозный флот. Альфонс, которому об этом стало известно, укрепил свою армаду и лично повел ее навстречу генуэзцам. У острова Понцио произошло сражение, арагонский флот был разгромлен, а Альфонс со многими другими князьями был взят в плен и передан генуэзцами в руки Филиппо.

Победа эта ввергла в страх всех итальянских государей, боявшихся мощи Филиппо, ибо они поняли, что теперь ему предоставляется благоприятнейшая возможность захватить владычество во всей Италии. Однако так несходны между собой мнения людей, что он принял решение совершенно обратное. Альфонс был человек весьма рассудительный, и как только ему представилась возможность свидеться с Филиппо, он стал убеждать герцога в том, что с его стороны ошибкой было помогать Рене в ущерб ему, Альфонсу, ибо Рене, став королем Неаполитанским, уже наверно постарался бы сделать все, чтобы Милан попал под власть короля Франции: ведь тогда французская помощь была бы совсем близка и в случае необходимости ему не пришлось бы заботиться о проходе для французских войск, а этого Рене мог достичь только при гибели Филиппо и превращении его герцогства во французское владение. Совершенно иным казалось бы положение, если бы власть в Неаполе перешла к нему, Альфонсу: ведь единственными врагами его были бы французы, и он просто вынужден был бы всячески угождать тому, кто мог открыть дорогу этим его врагам, даже более того – подчиняться ему, так что Альфонс только носил бы королевский титул, а настоящая власть и могущество принадлежали бы Филиппо. Но, разумеется, не кто иной, как сам герцог, не разберется в гибельности первого решения и в выгодности второго, если только удовлетворение какой-то слепой прихоти для него не существеннее государственных соображений. Ибо в одном случае он окажется вполне самостоятельным и свободным в своих намерениях государем, а во втором, находясь между двумя равно могущественными монархами, он либо потеряет свое герцогство, либо будет пребывать в постоянном страхе и в необходимости подчиняться их воле.

Речи эти возымели на герцога такое влияние, что он, изменив свое намерение, отпустил Альфонса и с почетом отправил его в Геную, а оттуда в его королевство. Альфонс незамедлительно прибыл в Гаету, ибо, едва только распространилась весть о его освобождении, Гаета тотчас же была занята силами некоторых синьоров из числа его сторонников.

VI

Генуэзцы увидели, что герцог, совершенно не посчитавшись с ними, вернул королю свободу, что он присвоил себе всю честь победы, а на их долю выпали только тяготы и опасности, что освобождение Альфонса считается его заслугой, между тем как воевали с ним и взяли его в плен они, – и от всего этого воспылали великим гневом. Когда Генуя пользуется свободой и независимостью, все граждане свободным голосованием выбирают себе главу, именуемого дожем, и не для того, чтобы он стал самодержавным владыкой и единолично принимал решения, а с той целью, чтобы он в качестве их главы предлагал те или иные меры, подлежащие обсуждению должностными лицами и в государственных советах. В городе этом много благородных семейств, притом столь могущественных, что они весьма неохотно подчиняются постановлению магистратов. Могущественнее же всех – семейства Фрегозо и Адорно. Именно они возбуждают все распри, раздирающие этот город и нарушающие общественный порядок.

Ибо за власть в городе они борются не законными средствами, а большей частью с оружием в руках, вследствие чего одна партия всегда оказывается в угнетении, а другая у власти. И нередко бывает, что лишенные почестей и прав прибегают к силе иностранного оружия и отдают во власть чужеземцам отечество, которым не в состоянии управлять. Поэтому – то постоянно случалось и случается, что властители Ломбардии управляют зачастую и Генуей: именно так было, когда взят был в плен Альфонс Арагонский. Среди тех влиятельных генуэзцев, которые содействовали подчинению своего города Филиппо, был франческо Спинола, но, как это всегда получается, он вскоре после того, как отдал свой город в рабство, оказался у герцога на подозрении. Возмущенный этим, он удалился в Гаету – в добровольное, если можно так выразиться, изгнание, и находился там, когда произошла морская битва с Альфонсом. В битве этой он показал немалую доблесть и потому решил, что герцог оценит эти новые заслуги и даст ему возможность безопасно жить в Генуе. Однако вскоре он убедился, что герцог не оставляет своих подозрений, ибо никак не может допустить, что ему будет верен тот, кто оказался неверным своей родине. Тут Спинола и задумал еще раз попытать счастье и одним ударом вернуть родине свободу и себе добрую славу и безопасность, рассудив, что единственное средство заслужить расположение сограждан – это дать отечеству исцеление и спасение тою же рукой, что нанесла рану. Видя, какое негодование охватило всех генуэзцев, когда герцог освободил короля, он решил, что сейчас самый подходящий момент для осуществления его замыслов. Поэтому он доверился кое-кому из сограждан, которые, как ему было известно, разделяли его взгляды, вдохнул в них мужество и убедил содействовать его планам.

VII

Настал всегда торжественно празднующийся день Иоанна Крестителя, и именно в этот день вновь назначенный герцогом правитель Арисмино решил вступить в Геную. Он уже вошел в город в сопровождении прежнего правителя Опичино и многих генуэзцев, и тут франческо Спинола рассудил, что медлить не к чему. В сопровождении всех, кто сочувствовал его плану, он, вооруженный, вышел на площадь перед своим домом и бросил клич к свободе. Дивной была стремительность, с коей граждане, весь народ поднялись при одном этом слове! Так быстро это совершилось, что ни один из тех, кто из соображений выгоды или по иным каким причинам держал сторону герцога, не только не имел времени взяться за оружие, но вообще едва унес ноги. Эразмо с несколькими бывшими при нем генуэзцами укрылся в замке, где стоял герцогский гарнизон. Опичино понадеялся, что сможет спастись или даже вдохнуть мужество в своих друзей, если доберется до дворца, где у него находились две тысячи вооруженных солдат. Он направился уже туда, но был убит, не дойдя даже до площади. Тело его разорвали на куски, которые и волокли по всей Генуе. Генуэзцы восстановили в городе управление свободно избранных ими магистратов, завладели в самое короткое время замком и другими крепостями герцога и полностью освободились из-под ига герцога Филиппо.

VIII

Такой поворот событий, испугавших поначалу итальянских государей, которые стали опасаться, чтобы герцог не слишком усилился, теперь вдохнул в них надежду на то, что удастся его обуздать, и, несмотря на свой только что возобновленный союз, Флоренция и Венеция заключили соглашение также и с Генуей. Тогда мессер Ринальдо Альбицци и другие главари флорентийских изгнанников, видя, что все сдвинулось с места и самый лик мира переменился, возытели надежду, что им удастся вовлечь герцога в открытую войну с Флоренцией. Они отправились в Милан, и мессер Ринальдо обратился к герцогу со следующей речью:

«Если мы, некогда бывшие твоими врагами, с полным доверием явились теперь к тебе молить о содействии нашему возвращению в отечество, то ни ты сам, ни все, понимающие, каким образом происходит все в этом мире и как переменлива судьба, не должны этому удивляться, тем более что мы вполне можем представить самые ясные и разумные оправдания наших прежних и наших теперешних поступков как в отношении тебя – в прошлом, так и в отношении нашей родины – в настоящее время. Ни один разумный человек никогда не осудит того, кто старается защитить свою родину, какими бы способами он этого ни делал. Нашей целью никогда не было нанесение ущерба тебе, но единственно только защита нашего отечества. Доказывает это то обстоятельство, что даже тогда, когда наша Лига одерживала самые крупные победы и мы могли рассчитывать, что ты искренне желаешь мира, мы стремились к его заключению гораздо больше, чем ты. Наша же родина не может жаловаться на то, что сейчас мы убеждаем тебя обратиться против нее оружием, от которого мы ее с такой стойкостью защищали. Ибо лишь та родина заслуживает любви всех своих

граждан, которой все они равно дороги, а не та, что лелеет немногих, отвергая всех остальных. Да не скажет никто, что поднимать оружие против отечества всегда преступно. Ибо государства, хотя они тела сложные, имеют черты сходства с простыми телами: и как последние страдают порою от болезней, коих не излечишь иначе, как огнем и железом, так и в первых возникают часто такие неурядицы, что добрый и любящий родину гражданин стал бы преступником, если бы не решился лечить недуг в случае необходимости даже железом, а оставил бы его неизлечимым. Но может ли быть у государства болезнь более тяжелая, чем рабство? И какое лекарство тут можно применить с наибольшей пользой, если не то, что наверняка излечивает от этой болезни? Справедливы лишь те войны, без которых не обойтись, и оружие спасительно, когда без него нет надежды. Не знаю, может ли быть нужда настоятельнее нашей и может ли быть любовь к отечеству выше той, что способна избавить его от неволи. Нет сомнения – дело наше благородное и правое, а это должно быть существенно и для нас, и для тебя. Да и твое дело ведь тоже правое. Ибо флорентийцы не постыдились после столь торжественно заключенного мира вступить в союз с восставшими против тебя генуэзцами. И если ты не растрогаешься правотой нашего дела, то да подвигнет тебя гнев, тем более что достичь победы будет нетрудно. Пусть не смущают тебя больше примеры мощи нашего города и его упорства в обороне. Конечно, ты мог бы весьма опасаться, обладай он своей прежней доблестью. Но теперь все изменилось. Ибо может ли быть сильным государство, которое само себя лишило большей части своих богатств и полезных промыслов? Может ли проявить упорство в самозащите народ, охваченный самыми разнообразными, все новыми и новыми раздорами? И по причине этих раздоров даже те средства, которые Флоренция еще сохраняет, он, Ринальдо, не в состоянии применить так, как это делалось в более счастливое время. Люди, не скупясь, тратят свое добро ради чести и славы своей и охотно делают это, когда надеются в мирное время с лихвою вернуть себе то, что отняла у них война, а не тогда, когда и война, и мир несут им одинаковое угнетение, потому что в одном случае они должны выносить разнузданность врагов, а в другом – наглый произвол тех, кто ими управляет. Народы больше терпят от жадности сограждан, чем от грабительских налетов врага, ибо во втором случае есть порою надежда, что им наступит конец, а в первом надеяться не на что. В предыдущих войнах ты действовал против целого города; теперь тебе предстоит воевать лишь с одной незначительной его частью. Ты хотел вырвать государственную власть у множества граждан, притом добропорядочных; теперь придешь, чтобы лишить ее немногих жалких личностей. Ты являлся к нам, чтобы обратить наш город в рабство, теперь явишься, чтобы вернуть ему свободу. Нелепо предполагать, что при таком различии причин могут возникнуть одинаковые следствия. Есть все основания рассчитывать на верную победу, и ты сам можешь рассудить, как она укрепит твое собственное государство. Ибо Тоскана, стольким тебе обязанная и потому дружественная, будет всем начинаниям твоим способствовать больше, чем даже твой Милан. И если это завоевание раньше считалось бы проявлением насилия и гордыни, теперь оно будет расценено, как справедливое и благородное. Не давай поэтому ускользнуть благоприятному случаю и подумай над тем, что если прежние действия против Флоренции принесли тебе после великих трудов лишь расходы и бесславие, то сейчас ты легко приобретешь и величайшие выгоды, и благороднейшую славу».

IX

Чтобы побудить герцога к войне с флорентийцами, не нужно было всех этих речей: достаточно было наследственной ненависти и слепой гордыни, которая тем сильнее владела им, что ее еще подстегивало соглашение Флоренции с Генуей, а в нем он усматривал новое оскорбление. Однако истощенная казна, опасности, которым он подвергался, вместе с памятью о совсем недавних потерях, и неуверенность насчет надежд, которые питали флорентийские изгнанники, – все это в немалой степени смущало его. Едва герцог узнал о восстании в Генуе, он тотчас же послал против нее Никколо Пиччинино со всеми своими войсками и тем пешим ополчением, которое можно было собрать, чтобы захватить город с налета, пока мужество генуэзцев еще не окрепло и они не организовали нового правительства. Больше же всего он рассчитывал на генуэзский замок, где еще держался его гарнизон. Хотя Никколо и удалось сначала согнать генуэзцев с возвышенностей, отобрать у них долину Подзевери, где они понастроили укрепления, и отбросить их до самых стен города, отчаянное мужество граждан в обороне создало для него такие трудности при попытке продвинуться дальше, что он вынужден был отойти. Тогда герцог по совету флорентийских изгнанников велел ему форсировать реку Леванте и на границе с Пизой действовать против генуэзцев так упорно, как он только сможет, полагая, что по мере развития этих операций будет проясняться, что в зависимости от обстоятельств ему надо будет предпринимать в дальнейшем. Никколо в соответствии

с этим осадил и взял Сарцану, а затем, основательно погромив ее, направился в Лукку, распространяя слух, что движется в Неаполитанское королевство на помощь королю Арагонскому; на самом же деле он стремился нагнать страху на флорентийцев.

В это же самое время папа Евгений выехал из Флоренции и направился в Болонью, где стал вести переговоры о новом мирном соглашении между Лигой и герцогом, приводя последнему в качестве довода, что в случае его отказа от замирения он вынужден будет склониться на просьбы Лиги и уступить ей графа Франческо, который был пока у него на жалованьи и сражался в качестве его союзника. И хотя глава церкви тратил в этих переговорах немало усилий, все они оказались тщетными, ибо герцог не шел на соглашение без сдачи Генуи, а Лига требовала, чтобы Генуя оставалась независимой. Поэтому обе стороны не очень стремились к миру, но готовились к войне.

Когда Пиччинино явился в Лукку, флорентийцы, опасаясь нового его продвижения, направили в пизанские земли отряды кавалерии под командованием Нери ди Джино и добились от папы, чтобы граф Франческо атаковал Никколо, а сами с войском своим остановились у Санта-Гонда. Находившийся в Лукке Пиччинино требовал, чтобы ему дали пройти в Неаполитанское королевство, угрожая в случае отказа идти напролом. Силы обеих сторон были равные, полководцы не уступали друг другу в воинском искусстве, и никто не хотел первым испытывать судьбу. Удерживала их и холодная погода – дело было в декабре – и потому довольно долго и те, и другие бездействовали. Первым зашевелился Никколо Пиччинино, которому сообщили, что если он ночью нападет на Вико-Лизано, то легко им завладеет. Никколо выступил, взяв Вико ему не удалось, и он принялся опустошать прилегающую местность, а городок Сан-Джованни-алла-Вена сжег, предварительно разграбив его.

Эта операция, хоть она в значительной мере не удалась, вдохнула, однако, в Никколо решимость к дальнейшим действиям, в особенности после того, как он убедился, что граф и Нери ничего не предприняли в ответ. Он напал на Санта-Мария-ин-Кастелло и на Филетто и захватил их. Флорентийские войска и тут не сдвинулись с места, не потому чтобы граф боялся выступить, а вследствие того, что флорентийское правительство войны еще не объявляло из уважения к папе, который вел мирные переговоры. Осторожное поведение флорентийцев неприятель приписал страху, и это придавало ему дерзости: решено было штурмом взять Баргу, и туда бросили все силы. При известии об этом новом нападении флорентийцы уже оставили всякую щепетильность и решили не только оказать помощь Барге, но и напасть на владения Лукки. Граф двинулся навстречу Никколо, завязал с ним битву под самой Баргой, разбил его и, почти окончательно разгромив, вынудил снять осаду.

Между тем венецианцы, считая, что герцог нарушил мир, послали своего полководца Джован Франческо да Гонзага в Гьярададду, и он произвел в землях герцога такие опустошения, что заставил его отозвать Никколо Пиччинино из Тосканы. Это обстоятельство, а также поражение, которое понес Никколо, вдохнули во флорентийцев решимость предпринять завоевание Лукки и надежду на успешный исход этого замысла. Тут их не удерживали ни страх, ни какая бы то ни было щепетильность: бояться они могли только герцога – а он вынужден был обороняться от венецианских войск; что же касается граждан Лукки, то они открыли ворота врагу Флоренции и дали ему возможность вести военные действия, а потому никаких оснований жаловаться не имели.

XI

В апреле 1437 года граф двинул свои войска. Но флорентийцы решили до захвата чужих земель освободить свои собственные, а потому вернули себе Санта-Мария-ин-Кастелло и все занятое до того войсками Пиччинино. Затем, обратившись в сторону Лукки, напали на Камайоре, жители которого сдались, ибо хотя они оставались верными своим владетелям, страх перед подступившим вплотную врагом оказался сильнее верности далеким друзьям. По той же причине без труда заняты были также Масса и Сарцана. После этого в конце мая войска повернули на Лукку, уничтожая посевы и зерновые запасы, сжигая деревни, вырубая виноградники и плодовые деревья, угоняя скот, словом, подвергая эту местность всем тем опустошениям, которым обычно подвергают вражеские земли. Что же касается жителей Лукки, то, видя, что герцог бросил их на произвол судьбы и что владений своих им не защитить, они их оставили и постарались усилить оборону города, возведя укрепления и применив все возможные защитные средства. В возможности для города успешно обороняться они не сомневались – войск в нем было достаточно, – уверенность их подкреплялась к тому же примером других не удавшихся флорентийцам попыток завладеть Луккой. Опасались они только колебаний народных низов, которые, утомившись от тягот осады, могли к соображениям о грозящих им

опасностях оказаться более чувствительными, чем к помыслам о свободе сограждан, и пойти на постыдное и гибельное соглашение с врагом. И вот, дабы укрепить в нем решимость к обороне, народ собрали на главной площади, и один из самых пожилых и мудрых граждан обратился к нему со следующей речью:

«Вы без сомнения не раз слышали, что содеянное по необходимости не может заслуживать ни похвалы, ни порицания. Поэтому вы допустили бы большую ошибку, если бы подумали, что войну эту, которую сейчас ведут против нас флорентийцы, мы сами на себя навлекли тем, что приняли герцогские войска и дали им возможность напасть на флорентийские. Вы хорошо знаете давнишнюю враждебность к вам жителей Флоренции и знаете также, что повинны в этой враждебности не нанесенные вами обиды и вызванный ими страх, а ваша слабость и властолюбие флорентийцев: первая порождает у них надежду на то, что вас можно поработить, а второе побуждает их к этому. Не думайте, что какие-либо ваши заслуги перед ними могут заглушить в них это стремление, а какой-либо враждебный ваш поступок усилить его. Поэтому они неизбежно должны будут делать все возможное, чтобы отнять у вас свободу, а вы должны все делать, чтобы ее защитить. Можно, разумеется, скорбеть по поводу всего, что мы и они совершаем, преследуя эти цели, но отнюдь не удивляться. Итак, будем скорбеть о том, что они нападают на нас, осаждают и захватывают наши города, сжигают дома и опустошают земли. Но кто из нас настолько глуп, чтобы удивляться этому? Ибо если бы мы могли, то творили бы у них то же самое, а то и хуже. Они начали эту войну с нами из-за прихода Никколо. Но если бы он и не появился, они затеяли бы ее по какому-нибудь иному поводу, а отсрочка, может быть, еще и усилила бы бедствие. Так что не приход Никколо надо тут винить, а злую нашу судьбу и их властолюбивую природу. Кроме того, мы никак не могли отказать герцогу в приеме его войск, а когда уж они пришли, то не в нашей власти было удержать их от военных действий. Вы хорошо знаете, что без чьей-либо могущественной помощи мы держаться не в состоянии, а помощи более верной и более сильной, чем герцогская, мы ниоткуда не получим. Он вернул нам свободу, для него и разумнее всего поддерживать ее, и к тому же он всегда был самым ярким противником наших врагов. Поэтому если бы, не желая повредить флорентийцам, мы навлекли на себя гнев герцога, то потеряли бы друга, а врагов бы усилили и облегчили бы им возможность нападать на нас. Вот почему война и сохранение дружбы с герцогом нам выгоднее, чем мир и утрата этой дружбы. И мы должны рассчитывать на то, что он избавит нас от опасности, которую навлек на нас, – только бы сами мы оставались себе верны. Вы знаете, как яростно нападали на нас неоднократно флорентийцы и с какой славой мы от них оборонялись. Нередко единственное, на что мы могли надеяться, – это на Бога и на время, и всякий раз они нас спасали. Если мы защищались тогда, почему нам не защищаться теперь? Тогда вся Италия оставила нас на произвол их алчности, теперь с нами герцог, да можно полагать, что и венецианцы не будут охотно действовать против нас, ибо им совсем не на руку чрезмерное усиление Флоренции. В тот раз флорентийцы могли действовать гораздо свободнее и больше рассчитывать на чью-либо помощь, да и сами по себе были гораздо сильнее, а мы, напротив, куда слабее во всех отношениях, ибо тогда мы защищали тирана, а теперь защищаем самих себя. Тогда вся слава обороны принадлежала другому, теперь она принадлежит нам; тогда наши враги нападали на нас в полном согласии между собой, теперь у них раздоры и вся Италия полна их изгнанниками. Но даже если бы у нас не было всех этих надежд, то к самой упорной самозащите должна побудить нас некая величайшая необходимость. Каждого врага следует опасаться, ибо он всегда ищет славы для себя и гибели своих противников. Но более всех должны мы страшиться флорентийцев, ибо уж их-то не удовлетворит наша покорность, наша дань и власть над нашим городом, им нужны будем мы сами и наше личное добро, чтобы жестокость свою они могли утолить нашей кровью, а алчность нашим имуществом. Так что каждый из нас, кто бы он ни был, должен за себя опасаться. И поэтому пусть не ввергает вас в уныние вид наших вытоптаных полей, сожженных домов, захваченных врагом замков. Если мы сохраним наш город, удержим и все остальное, а если мы его потеряем, то какой толк будет нам в этом остальном? Ибо если мы сохраним свободу, врагам нашим трудно будет удерживать захваченное у нас, а если мы утратим ее, то и от добра никакой пользы не увидим. Беритесь же за оружие и, сражаясь, не забывайте, что наградой за победу станет спасение не только отечества, но и домов ваших и детей». Эти последние слова встречены были народом с величайшим подъемом, все единодушно поклялись скорее умереть, чем сдать или хотя бы подумать о таком соглашении, которое могло бы хоть как-то запятнать свободу отечества, и тотчас же приняты были все меры, необходимые для обороны осажденного города.

XII

Между тем флорентийские войска не теряли зря времени. Основательно опустошив

всю страну, они завладели капитулировавшим Монте-Карло, а затем осадили Нодзано, чтобы зажатые со всех сторон жители Лукки потеряли всякую надежду на помощь откуда бы то ни было и голод заставил бы их сдаться. Это была сильная крепость с многочисленным гарнизоном, так что взять ее было потруднее, чем все занятое раньше. Граждане Лукки, находясь в таком тяжелом положении, обратились, естественно, к герцогу и, чтобы добиться его помощи, действовали как усиленными мольбами, так и самыми решительными доводами. Они говорили ему о своих оказанных ему в прошлом услугах, о враждебности флорентийцев, о том, что, придя на помощь Лукке, он вдохнет мужество в других своих союзников, а бросив ее на произвол судьбы, вселит в них страх. Добавили они также, что если жители Лукки потеряют жизнь и свободу, он обесчестит себя в глазах своих друзей и отнимет доверие к себе у тех, кто готов был бы подвергнуться ради него опасности. К речам своим они добавили слезы, чтобы пробудить в сердце его хотя бы жалость, если он глух к голосу долга. Они так старались, что герцог, подкрепив свою старую ненависть к флорентийцам также соображением о своих обязательствах в отношении Лукки, а главное, решив никоим образом не допустить усиления Флоренции после такого завоевания, замыслил послать в Тоскану сильное войско или же атаковать венецианцев так яростно, чтобы флорентийцы вынуждены были отказаться от захвата Лукки и броситься на помощь своим союзникам.

XIII

Едва только пришел он к такому решению, как во Флоренции распространился слух, что герцог собирается послать в Тоскану свои войска. Поняв, что захват Лукки становится весьма и весьма сомнительным, и пытаясь создать неприятелю угрозу в Ломбардии, флорентийцы стали толкать венецианцев на то, чтобы они атаковали герцога всеми своими силами. Но это случилось как раз в момент, когда измена маркиза Мантуанского, подкупленного герцогом и переметнувшегося от венецианцев на его сторону, крайне напугала Венецию, и она не успела прийти в себя от испуга. Венецианцы считали себя совершенно обезоруженными и ответили, что не только не в состоянии сейчас усилить военные действия, но и продолжать их не смогут, если на помощь им не пришлют в качестве главы их войска графа Франческо, причем он обязательно должен лично появиться на том берегу По. Венеция не желала придерживаться прежних договоров, где графу такое условие не ставилось, ибо не хотела вести войну без хорошего капитана, а доверяла она только графу. К тому же она заявила, что услуги его будут совершенно бесполезны, если он не обязуется лично появляться там, где его присутствие будет необходимо. Флорентийцы понимали всю необходимость энергичных военных действий в Ломбардии, но, с другой стороны, отсутствие графа было бы губительным для их операции против Лукки. Кроме того, они отдавали себе полный отчет в том, что венецианцы предъявляют им требование прислать графа не столько по необходимости, сколько для того, чтобы чинить препятствия их завоеваниям. Со своей стороны, граф готов был действовать в Ломбардии, согласно желанию Лиги, но не хотел брать на себя никаких новых обязательств, чтобы не потерять надежды на брачный союз с домом герцога.

Итак, флорентийцы раздирались двумя противоположными стремлениями: желанием завладеть Луккой и страхом перед войсками герцога. Как всегда бывает, страх оказался сильнее, и графу разрешили отправиться в Ломбардию после того, как он возьмет Нодзано. Была еще одна трудность, но так как разрешение ее не зависело от флорентийцев, она лишь усиливала их смущение и заставляла колебаться еще больше, чем первая. Граф отказывался перебираться на противоположный берег По, а венецианцам он был нужен лишь при этом условии. Так как дело это можно было уладить лишь при условии, что кто-нибудь пойдет на уступки, флорентийцы посоветовали графу написать флорентийской Синьории письмо, в котором он выражал согласие перейти на тот берег, но при этом ему дали понять, что обещание это, не являясь официальным документом, не могло иметь касательства к какому-либо договору. Между тем у него потом найдется немало причин, чтобы не переходить через По, преимуществом же будет то, что раз уж военные действия начнутся, венецианцы вынуждены будут продолжать их, а это весьма ослабит опасения Флоренции. С другой стороны, они убедили венецианцев, что это частное письмо представляет собою некое настоящее обязательство и должно их вполне удовлетворить, и что если это единственное средство не рассорить графа с тестем, надо им воспользоваться, и что ни им, ни ему незачем открыто заявлять о своих планах без крайней необходимости. Таким образом и договорились о переходе графа в Ломбардию. Сперва он штурмом взял Нодзано, возвел несколько укреплений вокруг Лукки, чтобы продолжать осаду города, препоручил комиссарам республики это дело, перебрался через Апеннины и явился в Реджо, где венецианцы, относившиеся с подозрением к его планам, решили сразу же испытать его и потребовали, чтобы он немедленно перешел через По и присоединился к другим венецианским войскам. Граф

наотрез отказался; уполномоченный Венецианской республики Андреа Морозини и он принялись поносить друг друга со взаимными обвинениями в гордыне и неискренности, многократно заявляя, что никаких обязательств они на себя не брали – он насчет характера своей службы, а они насчет вознаграждения. Граф возвратился в Тоскану, а Морозини в Венецию. Флорентийцы разместили войска графа в пизанских землях, надеясь убедить его возобновить военные действия против Лукки, к чему, однако, он оказался совершенно не склонен: герцог, узнав, что граф отказался перейти через По из внимания к нему, решил, что сможет спасти Лукку благодаря его посредничеству. Он попросил его устроить соглашение между Флоренцией и Луккой и, если это окажется возможным, включить и его в это соглашение. При этом он постарался укрепить в нем надежду, что герцогская дочь будет отдана ему в жены, когда он этого пожелает.

Граф пламенно стремился к этому браку, ибо мужского потомства у герцога не было и, таким образом, он мог рассчитывать на то, что благодаря этому союзу когда-нибудь станет властителем Милана. В соответствии с этим он нарочно упустил все случаи обеспечить победу Флоренции и заявлял, что с места не сдвинется, если венецианцы не выплатят ему жалованья и не сохранят за ним командования. Впрочем, и этой уплаты ему было недостаточно, так как он хотел быть спокойным за свои владения и ему нужна была кроме флорентийцев и другая опора. Следовательно, если венецианцы от него откажутся, ему придется неизбежно подумать о своих интересах: так он ловкими намеками угрожал возможным сговором с герцогом.

XIV

Все эти увертки и хитрости весьма и весьма не нравились флорентийцам, которые видели, что завоевание Лукки им не удастся, и, кроме того, они стали бояться за безопасность республики в случае, если бы герцог и граф объединились. Чтобы заставить венецианцев не отказываться от услуг графа, Козимо Медичи отправился в Венецию, надеясь, что доверие лично к нему поможет убедить венецианцев. Он длительно обсуждал это дело в Сенате, показав, каково общее положение в Италии, каковы силы, находящиеся в распоряжении герцога, какая из сторон сильнее и вообще, и в военном отношении, и закончил утверждением, что герцог, если ему удастся договориться с графом, смог бы оттеснить венецианцев к самым их лагунам, а флорентийцам грозила бы потеря свободы. Венецианцы на это ответили, что они хорошо знают и свои силы, и силы других итальянских государств и считают себя при всех обстоятельствах вполне способными к обороне; что они не привыкли оплачивать солдат, служащих другим: граф находится с флорентийцами – пусть они с ним рассчитываются; что до того, чтобы мирно существовать в своих владениях, им гораздо нужнее принизить гордыню графа, чем платить ему; люди удержу не знают в своих честолюбивых стремлениях, и если графу сейчас заплатить, хотя никакой службы он не несет, он вскоре предъявит требования еще менее честные и более опасные, и поэтому они считают необходимым поскорее обуздать его наглость и не дать ей разыгаться так, что с ней уже не справиться. Если же флорентийцы из страха или по какой другой причине хотят вести с ним дружбу, пусть они его и оплачивают. Козимо возвратился во Флоренцию, так ни о чем не договорившись.

Между тем флорентийцы прилагали все усилия к тому, чтобы граф не порвал с Лигой. Правда, он не слишком охотно отказывался от службы Лиге, но желание заключить обещанный брак все время вызывало у него колебания, так что малейшей случайности – а она, как мы увидим, произошла – достаточно было бы, чтобы он принял решение. Граф поручил охрану своих владений во Фурланской марке одному из главных своих кондотьеров, но герцог так настоятельно перетягивал того к себе, что он отказался от графского жалованья и перешел на службу к герцогу. Получив известие об этом, граф стал внимать только голосу страха и заключил договор с герцогом, по которому, между прочим, обязывался не вмешиваться в дела Романи и Тосканы. После этого Сфорца принялся уговаривать Флоренцию пойти на соглашение с Луккой и сумел так убедить флорентийцев в необходимости этого, что, не видя иного выхода, они в апреле месяце 1438 года заключили договор с Луккой. По этому договору Лукка сохраняла независимость, а к флорентийцам переходило Монте-Карло и несколько других крепостей. Однако флорентийцы, весьма мало удовлетворенные такими условиями, забросали всю Италию посланиями, полными горьких жалоб, в которых говорилось, что поскольку ни Господь Бог, ни люди не хотели, чтобы Лукка смогла попасть под владычество Флоренции, им, флорентийцам, пришлось заключить мир; редко бывает, чтобы кто-либо так оплакивал утрату своего добра, как оплакивали флорентийцы невозможность завладеть чужим.

XV

В то же самое время народ Флоренции, хоть и занятый столь важным делом, не

забывал, однако, ни об интересах своих соседей, ни об украшении родного города. Как мы уже говорили, Никколо Фортебраччо умер после того, как женился на дочери графа Поппи, который после смерти Никколо по существу владел Борго-Сан-Сеполькро и его крепостью; зять при жизни поручил ему там командование. Когда Никколо умер, граф Поппи заявил, что эта местность и крепость принадлежат ему, как приданое его дочери, и отказался вернуть папе, который требовал их, как незаконно отчужденное владение Церковного государства. Папа послал тогда патриарха во главе своих войск, чтобы снова вступить в законное владение. Граф, видя, что этого нападения ему не отразить, предложил город флорентийцам, но те отказались. Так как папа вернулся тогда во Флоренцию, республика взяла на себя посредничество между ним и графом, но стороны к соглашению не пришли, патриарх совершил нападение на Казентино, взял Прато-Веккьо и Ромену и, в свою очередь, предложил их Флоренции, которая опять же отказалась принять их, если папа не разрешит ей вернуть их затем графу. После весьма трудных переговоров папа дал согласие, но тоже при условии, что Флоренция убедит графа вернуть ему Борго-Сан-Сеполькро.

Таким образом, папа сменил гнев на милость, и флорентийцы почли своим долгом просить его лично освятить в их городе собор, именуемый Санта Репарата. Постройка его начата была много лет назад, и только сейчас он был закончен настолько, что в нем можно было совершать богослужение. Папа охотно выразил согласие и, дабы воссияли одновременно и великолепие города, и блеск нового храма, а также, чтобы почтить главу церкви, от Санта Мария Новелла, где проживал папа, до храма построили помост в четыре локтя шириной и два высотой, со всех сторон задрапировав его богатейшими тканями. По этому помосту и направился в новый храм папа со своим двором в сопровождении магистратов и особо отобранных для этого случая граждан. Все прочие граждане и простонародье рассыпались по улицам, собрались у окон домов и в церкви, чтобы видеть это величественное зрелище. Когда все церемонии, подобающие таким торжествам, закончились, папа, желая показать свою любовь к Флоренции, удостоил рыцарского звания Джульяно Даванцати, бывшего тогда гонфалоньером справедливости, гражданина, всегда неизменно пользовавшегося заслуженной доброй славой. Синьория, чтобы не отстать от апы в благосклонности к Джульяно, назначила его на год капитаном Пизы.

XVI

В то время между греческой и римской церквами существовали некоторые разногласия по различным вопросам богослужения. На последнем соборе в Базеле прелаты западной церкви длительно совещались по этому поводу и решено было не щадя усилий убеждать византийского императора явиться с его духовенством на Базельский собор, дабы попытаться склонить их к соглашению с римской церковью. Хотя такое решение было весьма зазорно для величия Византийской империи и гордыня не позволяла их духовенству уступить в чем-либо римскому первосвященнику, они тем не менее, будучи до крайности теснены турками и не имея возможности защититься своими средствами, решили пойти на уступки, чтобы с большим основанием просить затем о помощи. Итак, император в сопровождении патриарха и других греческих прелатов и вельмож отправился в Венецию, но, испугавшись чумы, решил избрать Флоренцию местом, где будут устранены разногласия между церквами. Римские и греческие прелаты в течение нескольких дней совещались в кафедральном соборе, и после горячих и длительных споров греки уступили и пришли к согласию с римской церковью и ее главой.

XVII

Мир, заключенный между Флоренцией и Луккой, и примирение между герцогом и графом Сфорца давали надежду на то, что войска, раздиравшие Италию, в особенности же Тоскану и Ломбардию, смогут наконец положить оружие. Ибо военные действия в Неаполитанском королевстве между Рене Анжуйским и Альфонсом Арагонским могли прекратиться, – это было совершенно ясно, – лишь с гибелью одного из противников – и хотя папа был недоволен потерей многих своих владений, а непримиримость вождельней герцога и венецианцев проявилась вполне открыто, тем не менее все полагали, что папа по необходимости, а другие от усталости в конце концов вынуждены будут остановиться. Однако события приняли совсем иной оборот, ибо ни герцог, ни Венеция не успокоились, военные действия возобновились и местом их снова стали Ломбардия и Тоскана. Гордая душа герцога не могла снести того, что венецианцы владели Бергамо и Брешей, – тем более, что их вооруженные отряды все время проникали в его владения и бесчинствовали там. Он считал вполне для себя возможным не только обуздать их, но и вернуть себе свои земли, если бы ему удалось добиться, чтобы папа, Флоренция и граф Сфорца отступились от

Венеции. Тут он и задумал отобрать у главы церкви Романью, считая, что раз он ею завладеет, папа будет ему уже не страшен, а флорентийцы, видя, что пожар разгорелся совсем близко от них, либо не вмешаются из страха, либо, вмешавшись, не смогут действовать против него легко и успешно. Знал герцог и о недовольстве флорентийцев Венецией из-за Лукки, а потому считал, что они не очень-то поторопятся браться за оружие в ее защиту. Что касается графа Франческо, то герцог рассчитывал, что возобновления их дружбы и надежды графа породниться с ним будет достаточно, чтобы он не сдвинулся с места. Чтобы избежать упреков и дать возможным противникам поменьше оснований для вмешательства, а также не желая нарушать только что заключенные договоры своим нападением на Романью, он велел Никколо Пиччинино начать военные действия как бы по личному своему побуждению, ради своих личных честолюбивых замыслов.

Когда герцог пришел к соглашению со Сфорца, Никколо находился в Романье и по сговору с герцогом сделал вид, что крайне возмущен дружбой между ним и графом, своим извечным врагом. Со своими войсками он расположился в Камурате, между Форли и Равенной, и закрепился там, словно намереваясь дожидаться, пока ему не будет сделано какое-нибудь новое предложение. Когда слух об этом его возмущении распространился по всей Италии, Никколо постарался изобразить папе, как велики были его заслуги перед герцогом и какой черной неблагодарностью тот отплатил ему и как похвалялся, что теперь, когда ему служат два самых прославленных итальянских капитана, почти все вооруженные силы Италии в его распоряжении и он сможет завладеть всей страной. Однако, если его святейшему угодно будет, из двух военачальников, которых он считал своими слугами, один превратится во врага, а другой окажется совершенно бесполезным, ибо если папа снабдит его, Никколо, деньгами и возьмет на содержание его войска, он нападет на те церковные владения, которые оттягал граф Сфорца, и тот, будучи вынужден заниматься своими личными делами, не сможет служить честолюбивым вожделям Филиппо. Папа, считая эти речи весьма рассудительными, поверил им, послал Никколо пять тысяч дукатов, присовокупив к ним самые щедрые обещания и предложив ему и его потомкам земли в полное владение. И хотя многие предупреждали папу, что все это обман, он не верил и не желал слушать никого, кто пытался открыть ему глаза.

Равенной управлял тогда от имени папы Остазио да Полента. Никколо счел, что наступает самый удобный момент для проведения в жизнь его замыслов, тем более, что сын его Франческо уже нанес папе поношение, разграбив Сполето. Он поэтому решил напасть на Равенну, то ли полагая, что это будет нетрудным делом, то ли втайне сговорившись с Остазио. И действительно, после нескольких дней осады Равенна капитулировала. После этого он занял также Болонью, Имолу и Форли. Самое же удивительное то, что из двадцати крепостей, принадлежавших Церковному государству в этой местности, ни одна не устояла против Никколо. Но ему уже мало было нанести главе церкви одну эту обиду: к делам он решил добавить слова и написал папе, что по заслугам отнял у него эти владения, ибо папа не устыдился попытки разрушить такую дружбу, какая связывала его, Никколо, с герцогом, и распространял по всей Италии посланий, в которых ложно утверждалось, будто он, Пиччинино, изменил герцогу и перешел на сторону венецианцев.

XVIII

Завладев Романьей, он поручил своему сыну Франческо удерживать ее, а сам с большей частью своего войска перебрался в Ломбардию. Там, соединившись с остатками герцогских войск, он совершил нападение на контадо Бреши и занял его, после чего осадил самый город. Герцог, стремившийся к тому, чтобы Венеция стала его добычей, всячески оправдывался перед папой, флорентийцами и графом Сфорца, уверяя их, что все нарушение мирного договора, учиненное Никколо в Романье, содеяно им против его герцогской воли. А тайные его посланцы давали понять, что как только наступит подходящее для того время, он уж сумеет воздать Никколо по заслугам за его послушание. Флоренция и граф нисколько ему, впрочем, не верили, а считали – и это была правда, – что военные действия в Романье велись лишь для того, чтобы они не шевелились и дали ему время справиться с венецианцами, каковые в надменности своей полагали, что одни могут успешно сопротивляться всем вооруженным силам герцога, и, не снисходя до того, чтобы просить помощи у своих союзников, поручили ведение войны состоявшему у них на службе капитану Гаттамелате.

Граф Франческо хотел бы при поддержке Флоренции оказать помощь Рене Анжуйскому, если бы его не удерживали события в Романье и в Ломбардии. Флорентийцы же тем охотнее поддержали бы его в этом, что республика с давних времен была в дружбе с французским королевским домом, но в этом случае герцог не преминул бы помочь королю Альфонсу, с которым он сдружился, когда тот был его пленником. Однако и те, и другие, будучи заняты военными действиями поблизости от себя, вынуждены

были воздержаться от участия в более далеких столкновениях. Флорентийцы, видя, что Романья занята герцогскими войсками, а венецианцы терпят неудачи, и опасаясь, как бы за поражениями венецианцев не последовали их собственные, пригласили графа пожаловать в Тоскану, где они совместно обсудили бы, что предпринять против вооруженных сил герцога, каковые никогда еще не были столь многочисленны. При этом они убеждали графа, что если не обуздать каким-либо способом наглость герцога, все владетельные князья Италии очень скоро почувствуют ее на себе. Граф сознавал, что опасения флоренции вполне оправданы, но, с другой стороны, удерживало его стремление породниться с герцогом. Тот же, хорошо зная об этом его желании, беспрестанно подавал ему все новые и новые надежды на то, что брак этот состоится, если граф не выступит против него с оружием. А так как девица была уже на выданьи, дело не раз доходило до того, что делались приготовления к свадьбе, но затем опять брала верх нерешительность, и все оставалось в прежнем положении. Однако, чтобы граф был более уверен в своем конечном успехе, герцог перешел от слов делу и прислал ему тридцать тысяч флоринов, которые он должен был уплатить ему по брачному контракту.

XIX

Между тем война в Ломбардии все усиливалась, ежедневно венецианцы теряли часть своей территории и все армады, которые они посылали по рекам, терпели поражения от герцогских войск. Местность вокруг Вероны и Бреши вся была занята этими войсками, а оба города находились в кольце такой тесной осады, что, по общему мнению, они не могли долго держаться. Маркиз Мантуанский, столь долгое время служивший республике, теперь, вопреки всяким ожиданиям, отвернулся от нее и связался с герцогом. И вот то самое, чего в начале войны не давала делать венецианцам их гордыня, при дальнейшем обороте событий заставил их сделать страх. Понимая, что единственная их возможность – это дружба с Флоренцией и графом, они начали просить их о помощи, хотя со стыдом и сомнениями в успехе, ибо опасались, как бы не получить им от Флоренции такого же ответа, как тот, что они дали ей во время ее попытки завоевать Лукку и колебаний графа Сфорца. Однако Флоренция проявила больше сговорчивости, чем они могли надеяться: ненависть к старому врагу оказалась у флорентийцев сильнее, чем обида на предательство старых друзей. Они уже предвидели, что необходимость заставит-таки венецианцев обратиться к ним, и заранее дали понять графу, что разгром Венеции станет началом его гибели и напрасно воображает он, что Филиппо, добившись полного успеха, будет ценить его больше, чем в дни своих бедствий, дочь же свою он пообещал ему единственно лишь из страха перед ним; а обещание, данное по нужде, только нужда и заставит сдержать, почему и надо, чтобы герцог продолжал нуждаться в нем, а это возможно лишь в том случае, если Венеция сохранит свое влияние. Ему следует также принять в соображение, что если венецианцам придется лишиться своих владений на суше, он тоже лишится не только всех выгод, которые мог из них извлечь, но и тех, какие мог доставить ему страх перед мощью Венеции, испытываемый другими. Пусть он окинет взором все итальянские государства: одни бедные ему не страшны, все же другие – его враги. И сам он не раз заявлял, что одних флорентийцев в качестве опоры ему недостаточно, так что, как ни суди, а ему всего выгоднее, чтобы венецианцы удержали свои владения на суше.

Эти доводы, не говоря уже о возмущении, с которым граф относился теперь к герцогу, считая, что последний водит его за нос в деле с предполагаемым браком, заставили его принять новое соглашение, хотя и тут он отверг обязательство перейти на тот берег По. По договору этому, заключенному в феврале 1438 года, венецианцы брали на себя две трети общих расходов, флорентийцы одну и обе республики обязывались общими силами защищать владения графа в Марке. Лига между Флоренцией и Венецией, не довольствуясь своими соединенными силами, попыталась заручиться также помощью синьора Фаенцы, сыновей мессера Пандольфо Малатесты да Римини и Пьетро Джампаоло Орсини. Но хотя она соблазнила маркиза Мантуанского величайшими посулами, стараясь оторвать его от союза с герцогом и заставить отказаться от герцогского жалованья, это ей не удалось. А синьор Фаенцы, едва только Лига назначила ему жалованье, получил от герцога более выгодное предложение и перешел на его сторону, что отняло у Лиги надежду на скорое упорядочение дел в Романье.

XX

В Ломбардии же дела шли из рук вон плохо. Бреша была так основательно осаждена герцогскими войсками, что можно было каждый день ожидать ее сдачи из-за голода. Верона тоже терпела такую осаду, что и ей явно угрожала подобная участь. Но если бы пал хоть один из этих городов, можно было бы считать совершенно бесполезными

все другие военные приготовления и даром потраченными все брошенными на это средства. Для предотвращения этой опасности можно было сделать только одно – перевести графа Франческо в Ломбардию. Однако такой план был связан с тремя трудностями. Первая состояла в том, что надо было убедить графа перейти на ту сторону По и вести военные действия всюду, где это будет необходимо. Вторая – в том, что при уходе графа за По флорентийцы оказались бы под ударом со стороны герцога, ибо Филиппо, укрывшись за стенами своих крепостей, мог частью своих войск препятствовать действиям графа, а с другой частью и с флорентийскими изгнанниками, внушавшими тогдашнему правительству флоренции величайший ужас, обрушиться на Тоскану. Третья – в том, что неясно было, какую дорогу должен был избрать граф Франческо, чтобы самым безопасным образом проникнуть на землю Падуи для соединения с находящимися там венецианскими войсками. Из этих трех трудностей самой значительной была вторая, связанная с опасностью для флоренции. Тем не менее, убедившись, что переход графа через По необходим, и устав от домогательств венецианцев, которые все упорнее и упорнее требовали себе графа, уверяя, что без него они погибнут, флорентийцы поступились своими опасениями ради нужд союзников. Оставалась только трудность, связанная с переходом графа на ту сторону По, но решено было, что ответственность за это дело берут на себя венецианцы. Для переговоров на этот счет с графом и для того, чтобы убедить его согласиться на переправу, к нему послали Нери ди Джинно Каппони, которому Синьория велела затем направиться в Венецию, чтобы придать еще большую цену услуге, оказываемой этой республике, и заодно обеспечить быструю и безопасную переправу графа.

XXI

Итак, Нери отправился морем из Чезены в Венецию. Ни один государь не принимался правительством Венецианской республики с такими почестями, как он, ибо всем было понятно, что от его приезда и от мер, которые приняты будут после совещания с ним, зависит спасение государства. Представ перед советом, Нери обратился к нему и к дожу со следующей речью:

«Светлейший государь, пославшая меня Синьория всегда полагала, что могущество герцога Миланского губительно и для вашей республики и для нашей, спасение же наше обоюдное зависит от обоюдной нашей мощи. Если бы ваши милости придерживались того же мнения, то нынешнее положение наше было бы неизмеримо лучше, а государству вашему не грозила такая опасность, как сейчас. Но поскольку в должное время вы не оказали нам доверия и поддержки, мы не смогли прийти к вам на помощь так быстро, как следовало бы, да и вы не смогли своевременно просить нас о ней, ибо и в блеске своем и в нужде вы плохо нас знали и непонятно вам было, что если мы уж расположены к кому-то, так навсегда, а если кого ненавидим, то и ненависть наша неизменна. Но вам самим хорошо известна наша любовь к Светлейшей вашей милости, ибо не раз видели, как для оказания вам помощи наводняли мы Ломбардию и золотом своим, и войсками. Что же до ненависти нашей к Филиппо и ко всему его герцогскому дому, то о ней всему свету известно, да и невозможно, чтобы столь давние любовь и ненависть могли легко измениться из-за каких-либо недавних и малосущественных заслуг или обид. Мы не сомневались, да и теперь не сомневаемся, что ежели бы не стали вмешиваться в эту войну, герцог был бы нам весьма благодарен и мы могли ничего не страшиться, ибо даже если бы вследствие вашего поражения он стал повелителем всей Ломбардии, в Италии у нас оставалось бы достаточно возможностей, чтобы не отчаиваться в своем спасении; ведь, расширяя пределы своего государства и увеличивая свое могущество, он тем самым увеличивал бы число своих врагов и завистников, каковые являются единственным источником войн и других бедствий. Знали мы также, каких расходов не пришлось бы нам нести, уклоняясь от участия в этой войне, и какой непосредственной опасности мы избежали бы. Знали также и то, что, выступив на вашей стороне, легко можем навлечь на Тоскану те бедствия войны, что сейчас опустошают Ломбардию. И все же эти соображения не устояли перед давней нашей привязанностью к вам, и решили мы прийти к вам на помощь так же незамедлительно, как это было бы сделано, если бы нападению подвергались мы сами. Вот почему флорентийская Синьория, полагая, что насущнейшее дело сейчас – помочь Вероне и Бреше, а сделать это невозможно без участия графа, послала меня прежде всего к нему, чтобы убедить его перебраться в Ломбардию и воевать там, где потребуется, ибо вы знаете, что по соглашениям, заключенным с ним, таким обязательством он отнюдь не связан. В этом мне удалось его убедить теми же самыми доводами, которые заставили решиться и нас. Считая себя непобедимым на поле брани, он не пожелал уступить и в великодушии и решил превзойти то, которое мы проявили к вам: понимая, каким бедствиям может подвергнуться Тоскана после его ухода, и видя, что о спасении вашем мы подумали прежде, чем о своей опасности, он

предпочел подчинить свои интересы нашим. И вот я явился, чтобы предложить вам графа с семью тысячами всадников и двумя тысячами пехотинцев. Он готов встретиться с неприятелем в любом месте. Прошу вас от имени Синьории, пославшей меня, чтобы щедрость ваша посчиталась с тем, что число людей, которых он привел, превышает то, какое он обязывался привести, дабы ни он не раскаялся в том, что поступил к нам на службу, ни мы в том, что убедили его сделать это».

Речь Нери была выслушана сенатом так, словно это были слова оракула, и до того воспламенила она слушателей, что они не стали дожидаться, как того требовал обычай, ответных слов дожа, но, внезапно поднявшись со своих мест, воздев руки к Небу, стали со слезами на глазах благодарить Флоренцию за столь дружественное ее сочувствие их нуждам и Нери, в частности, за столь усердное и незамедлительное выполнение того, что было ему поручено. И обещали они, что никогда ни сами, ни их потомки не забудут этой услуги и что теперь Флоренция будет для них таким же отечеством, как Венеция.

XXII

Когда успокоилась горячность первых порывов, стали обсуждать вопрос о пути, которым должен был следовать граф со своими людьми для того, чтобы обеспечить его понтонами, землекопами и вообще всем необходимым. Дорог имелось четыре. Одна – через Равенну, вдоль морского побережья, но так как во многих местах она проходила по слишком узкому пространству между болотами и морем, от нее отказались. Другая представляла собой более короткий путь, но тут препятствием служила крепость под названием Уччеллино: ее защищали войска герцога, и необходимо было взять ее, а это требовало затраты времени, сводящей на нет помощь, весь смысл которой был в быстроте. Третья проходила через лес близ Луго, но воды По вышли из берегов и воспользоваться ею было бы не только трудно, а просто невозможно. Оставалась четвертая, через болонскую равнину. Надо было перебраться по мосту Пуледрано, пройти Ченто, Пьеви и между финале и Бондено взять направление на Феррару: оттуда и по воде, и сухим путем можно было достичь земель Падуи и соединиться с венецианскими войсками. Эту-то дорогу и избрали, как наименее опасную, хотя на ней имелись существенные препятствия и в ряде мест она могла подвергнуться ударам неприятельских войск. Как только графу сообщили о принятом решении, он двинулся со всей поспешностью и 20 июня прибыл уже в падуанские земли. Появление этого искусного военачальника в Ломбардии преисполнило Венецию и всех ей подвластных новой надеждой, и венецианцы, сперва отчаявшиеся было в своем спасении, начали теперь подумывать о новых приобретениях.

Граф прежде всего двинулся со своим войском на помощь Вероне. Чтобы воспрепятствовать ему в этом, Никколо со своими силами направился к Соаве, замку между Виченцей и Вероной, и окружил себя рвом от Соаве до болотистых берегов реки Адидже. Граф, видя, что по равнине ему не пройти, решил перебраться через горы; Ник-коло, рассуждал он, и в голову не придет, что можно выбрать путь через такую трудную пересеченную местность, или во всяком случае у него времени не хватит помешать этому. Он взял припасов на неделю, перешел со своим войском через горы и оказался на равнине под самой Соаве. Хотя Никколо и возвел несколько укреплений на этом пути, чтобы и его закрыть графу, они оказались недостаточными. Увидев, что неприятель, вопреки его расчетам, прошел, и опасаясь вступить в сражение при неблагоприятных условиях, он отошел на другой берег Адидже, и граф беспрепятственно вступил в Верону.

XXIII

После того как удалось так легко снять осаду с Вероны, оставалось решить другую задачу – оказать помощь Бреше. Этот город стоит так близко от озера Гарда, что даже когда он осажден с суши, ему всегда можно доставлять оружие и припасы водным путем. По этой-то причине герцог сосредоточил большую часть своих войск у озера и, одержав первые победы, занял все города, дававшие возможность снабжать Брешу по озеру. Правда, у венецианцев на нем имелось несколько галер, но в недостаточном количестве для сопротивления войскам герцога. Граф, однако, счел необходимым поддержать действия венецианского флота сухопутными войсками в надежде, что это облегчит захват городов, закрывавших пути снабжения Бреши. Он осадил Бардолино, крепость на озере, рассчитывая, что взятие ее приведет к сдаче и других городов. Но в этом случае судьба ему не благоприятствовала:

значительная часть его людей разболелась так, что ему пришлось снять осаду и отойти к Зевьо, крепости в землях Вероны, расположенной в местности здоровой и изобилующей всем необходимым. Никколо, видя, что граф отступил, решил не терять представляющейся ему возможности завладеть всем побережьем озера. Он оставил под

охраной свой лагерь в Вегазио, двинулся к озеру с отборными частями и напал на венецианский флот с такой сокрушительной яростью, что захватил его почти весь. Благодаря этой победе сдались ему и почти все приозерные крепости.

Венецианцы, удрученные этой потерей и опасаясь, чтобы Бреша не сдавалась, стали посылать к графу и своих представителей, и письма, заклиная его как можно скорее помочь Бреше. Граф утратил надежду сделать это водным путем и понимал, что путь по ровной местности закрыт всевозможными рвами, укреплениями и другими устроенными Никколо препятствиями: пробиваться через них, имея против себя еще и неприятельские войска, означало бы идти на верную гибель. Поэтому он подумал, что как путь через горы помог ему спасти Верону, так он же поможет оказать помощь Бреше. Придя к такому решению, граф выступил из Зевиио, направился через долину Акри к озеру Сант Андреа и прибыл в Торболи и Пенеду на озере Гарда. Оттуда он двинулся к Тенне и осадил эту крепость, так как ее необходимо было занять для того, чтобы подойти к Бреше. Никколо, разгадав план графа, повел свое войско в Пескьеру, а затем с маркизом Мантуанским и своими отборными войсками пошел ему навстречу. Завязалось сражение. Никколо был разбит, а войска его рассеяны: часть попала в плен, остальные бросились под защиту флота или соединились с главными силами. Никколо укрылся в Тенне и с наступлением ночи рассудил, что, дожидаясь здесь утра, обязательно попадет в руки врага, а потому, дабы избежать верной опасности, решил пойти на риск. Из всех, кто при нем находился, остался с ним только один слуга, по происхождению немец, человек исключительной силы, всегда проявлявший к нему преданнейшую верность. Никколо уговорил этого своего слугу спрятать его в мешок и сделать вид, будто он несет багаж своего господина. Неприятель расположился лагерем вокруг Тенны, но одержанная днем победа усыпила бдительность и нигде не было ни часовых, ни дозора. Немцу оказалось весьма нетрудно спасти своего господина: одетый как обзанный рабочий, он взвалил мешок на спину, прошел беспрепятственно через весь лагерь и доставил его к своим здоровым и невредимым.

XXIV

Если бы победа эта использована была так же удачно, как и одержана, она принесла бы осажденной Бреше весьма действенную помощь, а венецианцам великую выгоду. Но плохое использование быстро приглушило вызванную ею радость, а Бреша продолжала находиться в той же опасности. Никколо, вернувшись к своим войскам, почувствовал, что ему необходимо какой-нибудь новой победой смыть позор этого поражения и отнять у венецианцев возможность помочь Бреше. Он хорошо представлял себе расположение веронской цитадели, а от пленных узнал, что охранялась она плохо, и разведка, каким образом и с какой легкостью можно ее захватить. Тут он и подумал, что сама судьба дает в руки ему способ восстановить свою воинскую честь и сделать так, чтобы радость от недавно одержанной победы превратилась у неприятеля в скорбь от нового поражения.

Верона находится в Ломбардии у подножья Альп, отделяющих Италию от Германии, так что она частью расположена на возвышенности, частью на равнине. Река Адидже вытекает из Трентской долины, но в пределах Италии она не сразу растекается по равнине, а поворачивает налево вдоль гор и встречает на своем пути этот город, разделяя его на две неравные части, ибо равнинная часть значительно больше той, что ближе к высотам, на которых воздвигнуты крепости Сан Пьетро и Сан Феличе. Обе они представляются более сильными своим местоположением, чем самими стенами, и благодаря этому выгодному расположению господствуют надо всем городом. На равнинной части по ту сторону Адидже у самых стен города находятся две другие крепости: расстояние между ними – тысяча шагов, одна именуется Старой крепостью, другая Новой. От внутренней части одной из них отходит стена, соединяющая ее с другой и служащая как бы тетивой лука, образованного городскими стенами, также соединяющими обе крепости. Все пространство между этими стенами заселено и называется предместьем Сан-Дзено. Никколо Пиччинио задумал овладеть этими двумя крепостями и предместьем, считая это дело тем менее трудным, что и вообще-то охранялись они весьма беспечно, а теперь беспечность еще усугубилась только что одержанной победой. К тому же он хорошо знал, что на войне лучше всего удастся тот план, о возможности которого враг и не мыслит.

Итак, он сам стал во главе отряда отборных вояк и вместе с маркизом Мантуанским отправился ночью к Вероне, никем не замеченный перелез через стену Новой крепости и захватил ее. Оттуда отряд его спустился вниз в город и взломал ворота Сант Антонио, куда хлынула вся кавалерия. Венецианский гарнизон Старой крепости услышал шум лишь тогда, когда нападающие приканчивали охрану Новой, а затем когда они взламывали ворота. Сообразив, что это вражеское нападение, люди из гарнизона подняли крик, ударили в набат, чтобы призвать народ к оружию. Горожане пробудились, не вполне отдавая себе отчет в происходящем, и наиболее смелые из

них схватили оружие и побежали на площадь, где находился правительственный дворец. Между тем солдаты Никколо, разгромив предместье Сан-Дзено, продвигались дальше.

Горожане, убедившись, что герцогские люди уже в городе, и не видя никакой возможности сопротивления, стали убеждать венецианских правителей укрыться в укрепленных башнях и тем самым спасти и самих себя и город, доказывая, что для них больше смысла имеет сохранить свою жизнь, а такой богатый город спасти от разрушения в надежде на лучшие дни, чем пытаться оказать сопротивление, погубить самих себя и обездолить город. Поэтому правители и все находившиеся в городе венецианцы укрылись в крепости Сан Феличе. Затем некоторые из наиболее видных граждан отправились навстречу Никколо и маркизу Мантуанскому, прося их пощадить город, ибо ведь лучше им с честью владеть богатым городом, чем бесчестно завладеть разграбленным. Тем более, доказывали горожане, что они отнюдь не пользовались благоволением своих прежних властителей и не заслужили ненависти новых каким-либо сопротивлением. Никколо и маркиз успокоили их и, насколько было в их силах в обстановке захваченного города, воспрепятствовали грабежу. Будучи вполне убеждены в том, что граф не преминет попытаться вернуть город, они сделали все возможное, чтобы завладеть всеми укреплениями и опорными пунктами. Те же, которые им взять не удалось, они отделили от города рвами и земляными валами, чтобы неприятелю труднее было туда проникнуть.

XXV

Граф Франческо находился со своим войском в Тенне. Узнав о захвате Вероны, он сперва не поверил этому, когда же известие с несомненностью подтвердилось, решил быстрыми действиями исправить свое нерадение. И хотя все военачальники его войска советовали отступить к Виченце, чтобы не попасть под удар противника, оставаясь все время на одних и тех же позициях, он решил испытать судьбу и попытаться вновь овладеть Вероной. И в то время как обсуждение вопроса еще продолжалось, он повернулся к венецианским уполномоченным и к Бернардетто Медичи, состоявшему при нем флорентийскому комиссару, и с уверенностью пообещал им захват города, если хоть одна из крепостей будет держаться до его подхода. Подняв тотчас же свое войско, он с величайшей поспешностью двинулся к Вероне. Завидев его, Никколо сперва подумал, что граф отступает к Виченце, как ему советовали, но когда вражеские части начали подходить к Вероне, держа направление на крепость Сан Феличе, он стал готовиться к обороне. Однако времени на это ему не хватило, ибо валов у крепости еще не насыпали, а солдаты, занятые грабежом и дележом добычи, рассеяны были по всему городу. Он не сумел собрать их настолько быстро, чтобы они успели помешать частям графа подойти к крепости, проникнуть через нее в город и благополучно завладеть им к стыду Никколо и с большими потерями для его войска. Никколо и маркиз Мантуанский сперва нашли убежище в городской цитадели, а затем по равнине отошли к Мантуе. Оттуда, собрав все, что оставалось от их войска, они присоединились к войскам, осаждавшим Брешу. Так за четыре дня войска герцога сперва овладели Вероной, а затем снова потеряли ее. Когда граф одержал эту победу, зима уже вступила в свои права, наступили холода. Графу с большим трудом удалось снабдить Брешу припасами, и он расположился на зимовку в Вероне и распорядился построить за зимнее время в Торболи несколько галер, чтобы весной с новыми силами и со стороны озера и с суши можно было окончательно освободить Брешу.

XXVI

Герцог, видя, что военные действия приходится на время прервать; что надежда завладеть Вероной и Брешей потеряна; что причиной всему этому – советы флорентийцев и их деньги; что обиды, нанесенные им венецианцами, не заставили их забыть старую дружбу, и его, герцога, посулы не смогли их соблазнить, решил, что надо дать им отведать горьких плодов того, что они посеяли, а для этого напасть на Тоскану. В этом его всемерно поддержали флорентийские изгнанники и Никколо Пиччинино. Последнего побуждала надежда приобрести владения Браччо и изгнать графа из Марки, первые горели стремлением возвратиться на родину, и все вместе убеждали герцога доводами вполне обоснованными, хотя и продиктованными их личными интересами. Никколо доказывал, что герцог имеет полную возможность послать его в Тоскану и в то же время продолжать осаду Бреши, поскольку озеро в его руках; что его прибрежные крепости достаточно сильны и хорошо снабжены; что у него остается достаточно солдат и военачальников, чтобы оказывать сопротивление графу, если бы тот предпринял какие-либо новые действия, что было бы неразумно без предварительного освобождения Бреши, а освободить ее невозможно. Так что герцог имеет полную возможность начать действовать в

Тоскане, не оставляя на произвол судьбы и Ломбардию. Он добавлял также, что едва он появится в Тоскане, как флорентийцы вынуждены будут либо снова призвать графа, либо погибнуть, и что какое бы решение они ни приняли, победа герцогу обеспечена.

Изгнанники со своей стороны убеждали его, что если Никколо с войском станет приближаться к Флоренции, немыслимо, чтобы народ флорентийский, изнывающий под бременем налогов и самоуправством знати, не восстал против них. Они говорили также, что подойти к Флоренции будет нетрудно, что он свободно пройдет через Казентино вследствие дружеских отношений между тамошним графом и мессером Ринальдо. Таким образом, герцог, сам уже задумавший этот план, получил поддержку всех, кто его окружал.

Между тем венецианцы, несмотря на крайнюю суровость зимы, продолжали настаивать на том, чтобы граф со всем своим войском двинулся на помощь Бреше. Граф возражал, что время года этому не благоприятствует, необходимо дожидаться весны, воспользоваться перерывом для того, чтобы усилить флот, а затем, действуя и с озера и с суши, снимать осаду с Бреши. Венецианцы не скрывали своей досады и медлили со снабжением войска, так что в нем стало не хватать людей.

XXVII

Когда флорентийцы убедились во всех этих трудностях, они испугались, видя, что военные действия угрожают непосредственно им, а в Ломбардии достигнуто весьма небольшое. Не меньшее смущение вызвали в них испытываемые подозрения насчет вооруженных сил Церковного государства, не потому что против них был сам глава церкви, но вследствие того, что эти войска подчинялись не столько папе, сколько патриарху, яростному недругу Флоренции. Это был Джованни Вителлески да Корнето, сперва апостолический нотариус, затем епископ Риканати, затем патриарх Александрийский и, наконец, кардинал, или, как его называли, кардинал флорентийский. Был он человек смелый, с острым умом и настолько ловкий, что сумел завоевать полное расположение папы и получить назначение главы всех вооруженных сил Церковного государства, в какой должности он руководил всеми военными действиями, которые папа вел в Тоскане, в Романье, в королевстве Неаполитанском и в Риме. И над папой, и над своим войском он забрал такую власть, что папа уже опасался давать приказы, а войско не соглашалось подчиняться никому другому. Кардинал этот находился со своим войском в Риме, когда распространилось известие, что Никколо намеревается вступить в Тоскану. Страх флорентийцев еще усилился, ибо после изгнания мессера Ринальдо кардинал стал враждебно относиться к Флоренции: он был глубоко возмущен тем, что соглашение между флорентийскими партиями, выработанное при его посредничестве, не было соблюдено и даже обернулось к невыгоде мессера Ринальдо, ибо тот лишь из-за него сложил оружие и тем самым врагам легче оказалось подвергнуть его изгнанию. Главари флорентийского правительства со страху стали подумывать, не наступило ли время снять с мессера Ринальдо приговор к изгнанию, если им придется обороняться от Никколо Пиччинино у себя в Тоскане. Они тем более опасались патриарха, что уход Никколо из Ломбардии казался им в высшей степени несвоевременным: там его ожидала почти верная победа, здесь же все было еще гадательно. Следовательно, рассуждали они, он это делает лишь потому, что уже сговорился с кем-то во Флоренции или расставил какую-нибудь западню. Эти свои подозрения они довели до сведения папы, уже, впрочем, осознавшего, какая ошибка наделять кого-либо слишком большой властью.

Но в то время как флорентийцы пребывали в таком смущении, счастливый случай предоставил им возможность обеспечить себе безопасность со стороны патриарха. Республика имела всюду весьма бдительных соглядатаев, следивших за всеми, кто перевозил письма, чтобы выяснять, не затевается ли где что-нибудь против государства. Случилось, что в Монтепульчано перехватили письма патриарха к Никколо Пиччинино, написанные без ведома папы. Магистрат, ведавший военными делами, тотчас же доставил их папе. Хотя письма эти написаны были не обычными буквами, а содержание оказалось таким неясным, что из него нельзя было сделать определенных выводов насчет намерений патриарха, папу тем не менее напугали эти тайные сношения с неприятелем, и он решил принять соответствующие меры, а осуществление их поручил падуанцу Антонио Ридо, кастеллану римского замка. Получив распоряжение, Ридо стал дожидаться подходящего случая. Патриарх решил отправиться в Тоскану и накануне назначенного дня передал кастеллану, чтобы тот дождался его утром на замковом мосту, так как им необходимо кое о чем переговорить. Антонио сообразил, что тут и предоставляется ожидаемый случай, дал своим людям необходимые указания и стал дожидаться патриарха на мосту, который примыкал к крепости и мог в случае нужды подниматься и опускаться. Когда патриарх прибыл, Ридо сперва задержал его немного под предлогом беседы, а затем

подал знак, чтобы мост подняли: таким образом патриарх из главы папских войск превратился в пленника простого кастеллана. Находившиеся при нем сперва запротестовали, но, узнав о повелении папы, умолкли. Кастеллан пытался успокоить патриарха и обнадежить его, но тот ответил, что людей, облеченных большой властью, лишают свободы не для того, чтобы вернуть им ее, а кто по своей вине захвачен, тот не заслуживает освобождения. И действительно, через некоторое время он умер в заключении, а папа назначил главой своих войск Лодовико, патриарха Аквилейского. Хотя до того папа не хотел вмешиваться в войну между герцогом и Лигой, теперь он решил принять в ней участие и пообещал направить в Тоскану для ее защиты четыре тысячи всадников и две тысячи пехотинцев.

XXVIII

Избавившись от этих опасений, флорентийцы остались лицом к лицу со своим страхом перед Никколо и неясностью положения в Ломбардии, которая еще усугублялась неладами между графом и венецианцами. Для того чтобы лучше разобраться в этих делах, они послали в Венецию Нери ди Джино Каппони и мессера Джульяно Даванцати, поручив им договориться обо всем, что нужно было для продолжения войны в будущем году. Нери же было особо поручено, как только он узнает точку зрения венецианцев, отправиться к графу, выяснить его мнение и склонить к действиям, наиболее соответствующим интересам Лиги. Еще не успев доехать до Феррары, посланцы эти узнали, что Никколо перешел По с шестью тысячами всадников. Эта новость заставила их поторопиться. Прибыв в Венецию, они выяснили, что правительство республики настаивает на оказании помощи Бреше еще до наступления весны, ибо город этот не в состоянии дожидаться благоприятного времени года и постройки новой армады. Если ему не помочь немедленно, он вынужден будет сдать неприятелю, а это означало бы полную победу герцога, а для них – потерю всех их владений на суше. Тогда Нери отправился в Верону выслушать, что может сказать граф против этого плана. Тот вполне основательно заявил, что поход на Брешу в такое время года бесполезен, а для будущих военных действий просто вреден, ибо, принимая во внимание и это время, и местоположение города, у Бреши ничего добиться не удастся: его войско только зря устанет и придет в расстройство, так что с наступлением весны надо будет возвращаться в Верону за снабжением всем, что было потрачено зимой, и необходимым для летней кампании, и, таким образом, все подходящее для военных действий время пройдет в переходах туда и обратно.

В Вероне при графе Сфорца находились два венецианских представителя – мессер Орзатто Юстиньяни и мессер Джованни Пизани, которым поручено было договориться обо всех этих делах. После долгих препирательств с ними удалось прийти к соглашению, что Венеция в новом году выплатит графу восемьдесят тысяч дукатов, а другим войскам по сорок дукатов за копьё и что граф поторопится с началом военных действий против герцога, дабы для того создалась ощутимая угроза и он вынужден был бы отозвать Никколо из Ломбардии. Договорившись, оба представителя возвратились в Венецию, но так как сумма выплаты была весьма значительной, венецианцы действовали во всем с крайней медлительностью.

Тем временем Никколо Пиччинино продолжал свое движение, достиг уже Романьи и сумел так улестить сыновей мессера Пандольфо Малатеста, что они порвали союз с Венецией и перешли на сторону герцога. Это вызвало крайнее неудовольствие в Венеции, но еще большее во Флоренции, ибо она рассчитывала сопротивляться герцогским войскам с помощью Малатесты. Видя, что Малатеста предал их, они трепетали при мысли, что Пьетро Джампаоло Орсини, командующий их войсками и находившийся во владениях Малатесты, может подвергнуться с их стороны нападению и быть обезоружен. Известие это в неменьшей мере смутило графа, опасавшегося, как бы с появлением Никколо в Тоскане он не потерял своих владений в Марке. Решив защищать свое добро, он отправился в Венецию и, будучи принят дожем, стал доказывать ему, что его переход в Тоскану был бы сейчас для Лиги гораздо полезнее, ибо вести военные действия следует там, где находится вражеский капитан со своим войском, а не там, где у него крепости и гарнизоны: если войско разбито – войне конец, а если крепости даже взяты, но войско сохранилось, война только еще больше разгорается. Он заявил также, что если Никколо не оказывать решительного сопротивления, Марка и Тоскана будут утрачены, а это повлечет за собою и потерю Ломбардии, но при всех обстоятельствах, даже если бы в Ломбардии можно было сейчас действовать, он не собирается бросать на произвол судьбы своих подданных и своих друзей и, наконец, он явился в Ломбардию владетельным князем и не намерен уходить оттуда простым кондотьером. На это дож возразил, что если он уйдет из Ломбардии и переберется со своим войском на противоположный берег По, это будет означать полную потерю Венецией всех ее владений на суше. Венецианцы приняли решение не тратить больше на их защиту, ибо пытаться защищать то, что

очевидно нельзя будет сохранить – чистейшее безумие: потерять одни лишь владения и не так постыдно и не так болезненно, как потерять и земли и деньги. Если же венецианцы свои владения потеряют, тогда и станет ясно, как важно было для безопасности Тосканы и Романьи сохранение Венецией своего положения. Поэтому венецианцы совершенно не согласны с графом и полагают, что тот, кто оказался бы победителем в Ломбардии, одержал бы победу и во всех других местах. А это не так уж трудно, ибо уход Никколо с войском из Ломбардии настолько ослабляет герцога, что ему можно нанести сокрушительный удар до того, как он успеет вновь призвать Никколо или найти какие-либо иные средства защиты. Если разумно судить обо всех этих делах, то очевидным окажется, что герцог послал Никколо в Тоскану только для того, чтобы граф отказался от военных действий в Ломбардии и перенес их в другое место. Так что если граф без крайней необходимости начнет сейчас искать встречи с Никколо, это будет означать исполнение всех желаний герцога и осуществление всех его планов; если же он останется в Ломбардии, а Тоскана будет защищаться как сумеет, герцог вскоре поймет, как неправильны были его расчеты, и слишком поздно убедится, что потерял Ломбардию, не одержав победы в Тоскане.

После того как мнение каждого и его возражения были выслушаны, пришли к решению выждать несколько дней и посмотреть, что получится из соглашения между Никколо и Малатеста, могут ли флорентийцы рассчитывать на Пьетро Джампаоло и сдержит ли папа свое обещание действовать в союзе с Лигой. Вскоре после того выяснилось, что Малатеста заключили соглашение с Никколо больше из страха, чем из подлинно враждебных побуждений, что Пьетро Джампаоло со своим войском направился в Тоскану и что папа более чем когда-либо полон готовности помогать Лиге. Эти известия придали графу мужества, он согласился остаться в Ломбардии и отпустить с Нери Каппони во Флоренцию тысячу своих всадников и еще пятьсот других. Если же дела Тосканы пойдут так, что присутствие графа окажется необходимым, ему об этом сообщат, и он сможет направиться туда без задержки. Таким образом, Нери со своим войском явился в апреле во Флоренцию, и в тот же день туда подошел Джампаоло.

XXX

Пока происходили все эти события, Никколо Пиччинино, распорядившись по-своему в Романье, вознамерился спускаться в Тоскану. Наметив себе путь через высокие горы Сан Бенедетто и долину Монтоне, он убедился, что эти места отлично охраняются Никколо да Пиза, и понял, что тут все его усилия окажутся тщетными. Так как флорентийцы были не подготовлены к такому внезапному нападению и им недоставало войска и военачальников, они отправили на защиту этих горных проходов значительное количество граждан с наспех набранным пехотным ополчением. Среди них был рыцарь мессер Бартоломео Орландини, коему и поручили защиту замка Марради и проходов через горы. Никколо Пиччинино, рассудив, что ему не пройти через перевалы Сан Бенедетто из-за доблести того, кто их оборонял, решил, что ему легче будет справиться с Марради благодаря трусости того, кто поставлен был там для защиты. Замок Марради находится у подножья гор, отделяющих Тоскану от Романьи, но на склоне, обращенном к последней, у самого входа в долину Валь-ди-Ламона. Хотя место это не окружено стенами, река, горы и сами жители делают его труднодоступным для неприятеля, ибо жители отличаются таким воинственным характером и верностью, а берега реки так обрывисты и извилисты, что подойти к крепости со стороны долины невозможно, если небольшой мост через реку защищен, а со стороны гор берега так круты, что крепость почти недоступна. Однако трусость мессера Бартоломео свела на нет и мужество жителей, и выгодное расположение замка. Ибо едва он слышал топот вражеского войска, как, бросив все на произвол судьбы, обратился со всеми своими людьми в бегство и остановился только в Борго-Сан-Лоренцо. Никколо вступил в эту оставленную крепость, немало дивясь тому, что ее не защищали, и радуясь легкой добыче, затем спустился в Муджелло, где занял несколько замков, и остановился в Монтепульчано, откуда делал набеги на всю округу вплоть до Фьезоланских гор, и в дерзости своей дошел до того, что перешел Арно, грабя и громя все, что встречал на своем пути на расстоянии каких-нибудь трех миль от Флоренции.

XXXI

Между тем флорентийцы отнюдь не теряли мужества. Прежде всего они позаботились об упрочении своего правительства, которое, впрочем, было достаточно сильным вследствие любви народа к Козимо, а также вследствие того, что все главные государственные должности заняты были могущественными людьми, чья непреклонность сдерживала всех недовольных или склонных к переменам. Благодаря заключенному в Ломбардии соглашению они знали, с какой подмогой возвращается Нери, и дожидались также папских войск. Надежды эти поддерживали их до прихода Нери, который, видя,

что город находится все же в смятении и страхе, решил действовать в окружающей его местности, чтобы не давать Никколо беспрепятственно разорять ее. Он набрал среди граждан пехотное ополчение, соединил его с имевшимися в его распоряжении конными отрядами, вышел из города и отбил Ремоле, занятый было неприятелем. Там он стал лагерем и не давал Никколо делать набег на округу, возбуждая тем самым в согражданах надежду на скорое избавление от врага. Никколо, видя, что флорентийцы, не имея достаточно войск, не начинают никаких решительных действий и в городе царит полнейшее спокойствие, почувствовал, что только даром теряет драгоценное время. Он решил предпринять другие действия, которые заставили бы флорентийцев выслать против него войска и дали бы ему возможность завязать сражение, победа в котором, как он рассчитывал, облегчит ему все остальное.

В войске Никколо находился франческо, граф Поппи, который при появлении неприятеля в Муджелло отошел от Флоренции, хотя до этого был с нею в союзе. Флорентийцы с самого начала сомневались в его искренности, но в надежде удержать его всякими благами увеличили ему жалованье и вдобавок назначили его комиссаром республики во всех своих владениях, пограничных с его землями. Тем не менее партийные страсти до того властны над людьми, что никакие благодеяния и никакой страх не вытеснили из его сердца привязанности к мессеру Ринальдо и всем прежним правителям Флоренции. Поэтому, узнав о приближении Никколо, он присоединился к нему и всячески убеждал его уйти из-под стег Флоренции в Казентино, доказывая, какое это выгодное местоположение и как легко ему будет, находясь в полной безопасности, держать противника в страхе. Никколо послушался этого совета, перешел в Казентино, занял Ромену и Биббьену и расположился лагерем у Кагель-Сан-Никколо.

Крепость эта находится у подножья гор, отделяющих Казентино от Валь-д'Арно. Расположенная на возвышенности, она имела сильный гарнизон, и взять ее было поэтому нелегко, хотя Никколо непрерывно пускал против нее в ход катапульты и другие метательные машины. Осада продолжалась больше двадцати дней, и за это время флорентийцы успели собрать все свои войска. Они уже сосредоточили в Феггине под началом разных кондотьеров более трех тысяч всадников и общее командование ими поручили Пьетро Джампаоло как военачальнику и Нери Каппони и Бернардо Медичи в качестве комиссаров. К ним из Кагель-Сан-Никколо явились посланцы с просьбой о помощи. Комиссары, ознакомившись с местностью, увидели, что помощь эту можно оказать только с гор, окаймляющих Валь д'Арно, но так как высоты могли быть заняты неприятелем раньше, чем флорентийцами, которым до них было дальше и которые не могли скрыть своего движения, дело это являлось крайне сомнительным и могло привести к гибели всего войска. Поэтому они ограничились тем, что похвалили верность осажденных и разрешили им сдать, когда дальнейшая оборона станет невозможной. Итак, Никколо взял этот замок после тридцати двух дней осады, но он потерял так много времени ради столь незначительного успеха, что это оказало немалое влияние на неудачу всего начатого им предприятия. Ибо если бы он оставался в окрестностях Флоренции, правители ее вынуждены были бы с большей осмотрительностью назначать новые налоги. Им было бы куда труднее собрать войска и упорядочить их снабжение, если бы неприятель находился поблизости, а не в отдалении. Да и многие граждане, возможно, набрались бы храбрости начать мирные переговоры с Никколо, видя, что война затягивается. Но стремление графа Поппи отомстить жителям Кагель-Сан-Никколо, долгое время враждовавшим с ним, заставило его дать этот совет Никколо, который принял его из внимания к графу, что и оказалось гибельным как для того, так и для другого. Редко бывает, чтобы личные страсти не вредили общему делу.

Никколо, продолжая развивать достигнутый успех, завладел Рассиной и Кьюзи. Граф Поппи посоветовал ему в этих местах задержаться, ибо отсюда будет легко занять войсками любую территорию между Кьюзи, Капрезе и Пьеви и явиться полным хозяином в горах, то есть спускаться, когда ему угодно будет, в Казентино, в долины Арно, Кьяны и Тибра и быть всегда готовым к предупреждению любого вражеского маневра. Однако Никколо, рассудив, что местность здесь очень уж неприятная, ответил, что лошади его камнями питаться не могут, и направился в Борго-Сан-Сеполькро, где и был дружелюбно принят. Оттуда он попытался заручиться расположением жителей Читта-ди-Кастелло, каковые, будучи верными друзьями флорентийцев, не поддались на его улеживания. В надежде завоевать преданные чувства Перуджи, он отправился туда в сопровождении сорока всадников и, будучи родом из этого города, встретил от сограждан самый теплый прием. Но через несколько дней он стал вызывать подозрения, ибо завел с легатом и некоторыми гражданами интриги, которые, впрочем, ни к чему не привели, так что ему пришлось ограничиться получением от сограждан восьми тысяч дукатов и с тем возвратиться к войску. Затем он начал сговариваться кое с кем в Кортоне с целью оторвать этот город от Флоренции, но все это вскрылось раньше времени и замыслы его не удалась. Одним из виднейших граждан в Кортоне был Бартоломео ди Сензо; как-то вечером он отправился по

приказу капитана охранять одни из городских ворот, но по поручению одного приятеля из округа ему передали, чтобы он туда не шел, если хочет остаться в живых. Бартоломео решил разведать, что за этим кроется, и обнаружил затевавшийся с Никколо сговор. Он тотчас же сообщил о нем капитану, тот арестовал главарей и, усилив охрану ворот, стал дожидаться, чтобы Никколо явился, как было условлено с заговорщиками. Тот действительно прибыл в назначенный ночной час, но убедившись, что все раскрыто, удалился на свои квартиры.

XXXII

Пока в Тоскане события развивались, таким образом, без существенной выгоды для герцогских войск, в Ломбардии тоже было неспокойно, причем герцог терпел неудачи. Как только установилась благоприятная погода, граф Франческо начал активные военные действия, а так как венецианский флот на озере был к тому времени восстановлен, он решил прежде всего стать хозяином положения на водах и изгнать оттуда герцогские силы, считая, что если это удастся, все остальное будет уже не так трудно. Итак, он с венецианским флотом напал на корабли герцога, разгромил их, а сухопутные войска его заняли все крепости, где сидели герцогские гарнизоны. Тогда другие войска герцога, обложившие Брешу с суши, узнав об этом поражении, тоже отступили, и после трехлетней осады город этот наконец освободился. После этой победы граф бросился преследовать неприятеля, отступившего к Сончино, укрепленному замку на реке Ольо, выбил его оттуда и заставил отойти к Кремоне, где герцог повернулся лицом к наступающим и оттуда стал защищать свои владения. Но граф теснил его с каждым днем все сильнее и сильнее, так что герцог начал уже опасаться, как бы ему не потерять если не все, то большую часть своих владений, и тут понял всю пагубность своего решения послать Никколо в Тоскану. Чтобы исправить эту ошибку, он написал Никколо, в каком положении очутился и как обернулись все его начинания, в заключение же предписывал ему оставить Тоскану и как можно скорее возвращаться в Ломбардию.

Между тем флорентийские войска под командованием своих комиссаров соединились с папскими и остановились в Ангиари, укрепленном замке у подножия гор, отделяющих долину Тибра от долины Кьяны, в четырех милях от Борго-Сан-Сеполькро, в местности ровной и весьма удобной для передвижения конных войск и вообще ведения военных операций. Флорентийцы уже знали о победах графа и об отозвании Никколо из Тосканы и поэтому решили, что им удастся выиграть войну, не вынудив шпаги из ножен и не сделав ни единого выстрела. В соответствии с этим они написали комиссарам, чтобы те не начинали никакого сражения: все равно Никколо не сможет долго оставаться в Тоскане. Последнему стало известно об этом приказе и, видя необходимость ухода из Тосканы, он решился на последнюю попытку поправить дело и испытать военное счастье, тем более что он надеялся застигнуть неприятеля врасплох, совершенно не готовым к сражению. В этом его горячо поддержали и мессер Ринальдо, и граф Поппи, и все флорентийские изгнанники, понимавшие, что уход Никколо означает для них полнейшее крушение всех надежд, но что в случае, если разыграется сражение, они еще могут одержать победу или хотя бы с честью потерпеть поражение. Приняв это решение, Никколо двинул свои войска с их квартир между Читта-ди-Кастелло и Борго и, дойдя до Борго так, что противник этого совершенно не заметил, на вербовал там еще две тысячи человек, которые, положившись на воинское искусство этого военачальника и его посулы, а также рассчитывая поживиться грабежом, последовали за ним.

XXXIII

Итак, Никколо двинулся на Ангиари в полном боевом порядке и находился уже в двух милях от цели, когда Микелотто Аттендоло, заметив вдалеке большое облако пыли, сообразил, что приближаются враги, и поднял тревогу. Во флорентийском лагере поднялся великий переполох, ибо такие войска на лагерной стоянке не соблюдают обычно никакой дисциплины, а тут еще прибавилось полное небрежение: ведь казалось, что неприятель далеко и готовится не к сражению, а к бегству, так что каждый был безоружным и находился не на своем месте, а там, где можно было укрыться от жары, — кстати, весьма сильной, — или вообще где ему вздумалось. Однако и капитан, и комиссары проявили такую расторопность, что еще до подхода неприятеля все уже были на конях, вполне готовые к отражению его удара. Микелотто, первый завидевший противника, первым и ринулся в атаку, двинувшись со своим отрядом к мосту, пересекающему дорогу недалеко от Ангиари.

Еще до появления врага Пьетро Джампаоло велел зарыть канавы, окаймляющие дорогу между мостом и Ангиари. Теперь Микелотто занял позицию перед мостом; Симончино, папский кондотьер и легат стали на правом фланге, а на левом — флорентийские комиссары и их командующий Пьетро Джампаоло. Пехоту расположили по обе стороны

вдоль берега реки. Неприятельским войскам оставался только один путь для того, чтобы войти в соприкосновение с противником – дорога на мост. Флорентийцы тоже должны были сражаться только в этом месте, а пехоте своей они приказали в случае, если вражеская пехота сойдет с дороги для обхода флангов флорентийской конницы, обстреливать ее из арбалетов; чтобы она не могла наносить боковых ударов по коням, переходящим мост. Микелотто доблестно выдержал натиск первых вражеских отрядов и даже потеснил их, но Асторре и Франческо Пиччинино, подойдя с отборными войсками, так яростно напали на Микелотто, что захватили мост, а его отбросили до самого подъема к городу Ангиари, после чего по ним крепко ударили с обоих флангов и опять оттеснили за мост. Схватка эта продолжалась два часа, и мост все время переходил из рук в руки. Хотя в этом месте силы все время оставались равными, повсюду в других местах Никколо терпел неудачи, ибо всякий раз, когда его войска переходили через мост, они находили перед собой многочисленного неприятеля, которому нетрудно было маневрировать на ровном поле и быстро получать смену усталым частям. Когда же через мост переходили флорентийцы, Никколо было затруднительно оказывать поддержку своим войскам из-за канав и рытвин, не дававших пользоваться дорогой. Так и получилось, что каждый раз, когда солдаты Никколо переходили через мост, их тотчас же отбрасывали назад свежие силы противника. Наконец флорентийцы прочно захватили мост и их войска смогли перейти на широкую дорогу. Быстрота их натиска и неудобство местности не дали Никколо времени поддержать своих свежей подмогой, так что те, кто был впереди, перемешались с идущими сзади, возникла сумятица, и все войско вынуждено было обратиться в бегство, и каждый уже ни о чем, кроме спасения, не помышляя, устремился по направлению к Борго. Флорентийские солдаты набросились на добычу – пленных, оружия и лошадей им досталось огромное количество, ибо с Никколо удалось уйти лишь тысяче всадников. Жители Борго, следовавшие за Никколо ради добычи, из добытчиков сами превратились в добычу: все они попали в плен и подлежали выкупу. Знамена и повозки были взяты властями.

Победа эта оказалась более важной для Тосканы, чем пагубной для герцога, ибо в случае поражения Флоренции он стал бы властителем Тосканы, а теперь потерял только оружие и лошадей, что было легко восстановимо без чрезмерных затрат. Никогда еще никакая другая война на чужой территории не бывала для нападающих менее опасной: при столь полном разгроме, при том, что сражение продолжалось четыре часа, погиб всего один человек и даже не от раны или какого-либо мощного удара, а от того, что свалился с коня и испустил дух под ногами сражающихся. Люди воевали тогда довольно безопасно: бились они верхом, одетые в прочные доспехи, предохранявшие от смертельного удара. Если они сдавались, то не для того, чтобы спасти свою жизнь – ведь их защищали латы, – а просто потому, что в данном случае сражаться было уже невозможно.

XXXIV

Всем тем, что происходило во время этого сражения и после него, оно являет пример неудачности такого рода военных столкновений. После разгрома противника и бегства Никколо в Борго комиссары хотели преследовать его и осадить в этом городе, чтобы победа была полной, но ни кондотьеры, ни простые солдаты не захотели повиноваться, заявляя, что им надо позаботиться об охране добычи и о лечении раненых. Примечательнее же всего то, что на следующий день они, не испросив разрешения у комиссаров и у капитана, отправились в Ареццо, оставили там добычу и затем возвратились в Ангиари. Все это столь вопиющим образом противоречило всяким разумным правилам и воинской дисциплине, что любой остаток сколько-нибудь организованного войска вполне заслуженно мог бы отнять у них так незаслуженно одержанную победу. Вдобавок еще, несмотря на то что комиссары требовали, чтобы захваченные вражеские солдаты продолжали содержаться в плену и не могли вновь пополнить ряды неприятельских войск, их, несмотря на это требование, освобождали. Удивительно, что у так плохо организованного войска хватило доблести для победы и что враг оказался настолько трусливым, что дал себя одолеть таким своевольным солдатам.

Пока флорентийские солдаты шли в Ареццо и обратно, у Никколо достало времени отступить с остатками войска из Борго в Романью. Ему сопутствовали и флорентийские изгнанники: отчаявшись вернуться во Флоренцию, они теперь рассеялись по всей Италии и за ее пределами, кто куда мог и хотел. Мессер Ринальдо избрал местожительством Анкону. Потеряв родину на земле, он вознамерился заслужить ее на Небесах и отправился ко Гробу Господню. По возвращении он, справляя свадьбу одной из своих дочерей и сидя за праздничным столом, внезапно скончался. Тут судьба удружила ему, поразив его в наименее горестный час изгнания. Человек он был поистине достойный и в счастье, и в беде, но еще лучше показал бы себя, если бы по воле судьбы родился не в государстве,

раздираемом партийными страстями, ибо многие свойства его натуры в городе, разделенном на враждующие партии, оказались для него пагубны, но они же прославили бы его в государстве, не знаящем внутренних раздоров.

После возвращения флорентийских солдат из Ареццо и ухода Никколо комиссары явились в Борго. Жители этого города хотели войти в состав флорентийского государства, комиссары же отказались их принять. Пока велись переговоры, папский легат заподозрил, что комиссары желают завладеть городом, принадлежащим Церковному государству. Началась взаимная перебранка, и дошло бы до столкновения между папскими и флорентийскими войсками, если бы спор затянулся. Но все закончилось как желательно было легату, и стороны замирились.

XXXV

Пока улаживались дела в Борго, пошли разные слухи о дальнейшем движении Никколо Пиччинино. Одни говорили, что он идет на Рим, другие – что на Марку. Легат и части графа Сфорца решили идти к Перудже, чтобы прикрыть Марку или Рим – куда бы ни подался Никколо. С ними отправили Бернардо Медичи, а Нери с флорентийскими войсками был послан на завоевание Казентино. После того как план этот одобрили, Нери осадил Рассину, взял ее и так же решительно овладел Бибьенной, Прато-Веккьо и Роменой, а затем осадил Поппи, окружив его с двух сторон: одна часть его сил расположилась на равнине Чертомондо, а другая на холме, находящемся в направлении Фрондзоли.

Граф Поппи, видя, что Бог и люди его оставили, заперся в своей крепости не потому, что рассчитывал на чью-либо помощь, а лишь в надежде на менее суровые условия сдачи. Нери все теснее сжимал кольцо осады и предложил сдаться, причем Поппи было обещано все, чего только он мог пожелать в своем нынешнем положении: свободу ему и его детям и право забрать с собой все свое движимое имущество, город же свой и власть над своими владениями он должен был передать Флоренции. Пока происходила капитуляция, он спустился на мост через Арно, у подножья города, там с глубокой скорбью и горечью сказал Нери: «Если бы я правильной мерой измерил свою долю и вашу силу, то сейчас радовался бы как друг вам и вашей победе, а не молил бы вас как враг сделать менее тягостным мое поражение. Насколько сейчас судьба к вам милостива и ласкова, настолько ко мне она жестока и сурова. Я имел коней, оружие, подданных, владения, сокровища. Удивительно ли, что мне тягостно с ними расставаться? Но раз вы хотите и можете повелевать всей Тосканой, нам, разумеется, неизбежно следует повиноваться вам. Если бы я не совершил этой ошибки, моя удача никому не была бы известна и вам не пришлось бы проявить свое великодушие, ибо если вы не изгоните меня отсюда, то перед всем миром засвидетельствуете свое милосердие. Пусть же оно будет сильнее моей вины, оставьте хотя бы одно это жилище потомку тех, кто предкам вашим оказывал неисчислимы услуги».

На это Нери ответил, что слишком понадеявшись на тех, кто мало что мог для него сделать, он жестоко провинился перед флорентийской республикой и при теперешних обстоятельствах крайне необходимо, чтобы он отказался от всех своих владений и, как враг, отдал флорентийцам то, чем он не хотел владеть как их друг. Поведение его было таким, что нельзя его оставлять в местах, где при любом новом повороте событий он может оказаться опасным для республики, ибо опасность эту он представляет не лично как человек, а как владетельный государь. Но если бы у него оказалась возможность приобрести владения, например, в Германии, это вполне устроило бы флорентийскую республику и она оказала бы ему всяческую поддержку в память его предков, на коих он только что сослался. Выслушав Нери, граф с негодованием ответил, что предпочел бы находиться еще дальше от флорентийцев. Так, презрев отныне всякие дружеские слова и не видя другого исхода, он отдал город и всю округу победителям и в сопровождении жены и детей удалился со своим имуществом, оплакивая потерю владений, принадлежавших его роду в течение девяти столетий.

Когда весть об этих победах распространилась во Флоренции, правительство и народ приняли ее с выражением величайшей радости. Бернадетто Медичи, выяснив, что слухи о движении Никколо на Рим и на Марку ложны, возвратился со своими людьми и присоединился к войскам Нери. Вместе они возвратились во Флоренцию, где им оказаны были величайшие почести, какими может по закону удостоить республика своих победоносных граждан. Они были приняты как триумфаторы Синьорией, капитанами гвельфской партии и всем населением города.

I

Цель всех тех, кто когда-либо начинал войну, всегда состояла в том, – и это вполне разумно, – чтобы обогатиться самим и сделать врага беднее. Ни для чего иного победа не нужна, приобретений же хотят для того, чтобы увеличить свою мощь и ослабить противника. Из этого следует, что всякий раз, когда победа сделала тебя беднее, чем ты был, а завоевания ослабили, ты либо перешел предел той цели, ради которой затеял войну, либо не дотянул до нее. Война обогащает того государя или ту республику, которые разбивают врага наголову, забирают себе в добычу все, чего хотят, и получают выкуп за пленных. Напротив, война обедняет того, кто не в состоянии, даже в случае победы, уничтожить врага, а добыча и выкуп за пленных принадлежат не ему, а его солдатам. Государство в случае поражения попадает в беду, но такая неполная победа для него в тысячу раз хуже, ибо, побежденное, оно терпит только от врагов, а в качестве победителя вынуждено соглашаться с домогательствами друзей, тем менее выносимыми, что они менее обоснованы, и что в этом случае ему приходится возложить на плечи своих подданных или граждан бремя новых поборов и налогов. И если в таком государстве у правителей есть человеческие чувства, они не могут по-настоящему радоваться победе, ухудшившей положение его подданных. Древние, разумно устроенные республики имели обыкновение после победы пополнять свою казну золотом и серебром, раздавать подарки народу, облагать данью подданных и устраивать по этому поводу игры и торжественные празднества. Победы же описываемого нами времени ведут к опустошению казны, а затем к обеднению народа и при этом не обеспечивают безопасность от побежденного врага. Причиной всего такого неустройства являются нелепые способы ведения войны. Когда побежденного врага только обируют, а не держат в плену или не убивают, он ожидает только до нового нападения на победителя, чтобы нашелся кто-то способный снабдить его оружием и конями. Когда добыча и выкуп принадлежат солдатам, государство, одержавшее победу, не может воспользоваться ими, чтобы нанять новых солдат, а выжимает средства из народа, ибо такая победа дает народу только одно – делает его правителей более алчными и менее осторожными в обложении своих граждан. Эти состоящие на оплате войска довели военное дело до положения, при котором и победители, и побежденные, чтобы добиться повиновения от своих войск, должны были добывать все новые и новые средства, ибо одним надо было заново снаряжать эти войска, а другим награждать их. Одни наемники без оружия и коней воевать не могли, другие без новых наград не хотели. Так победитель не слишком наслаждался победой, а побежденный не слишком терпел от поражения, ибо первый лишен был возможности полностью использовать победу, а второй всегда имел возможность готовиться к новой схватке.

II

Столь безрассудный и постыдный способ ведения войны все время приводил к тому, что Никколо Пиччи-нино вновь оказывался в седле еще до того, как Италия могла узнать о его разгроме, и обрушивался на врага еще сильнее, чем до поражения. Из-за этого он после поражения в Тенне смог захватить Верону, после того, как войска его были рассеяны в Вероне, сумел с крупными силами вторгнуться в Тоскану; после полного разгрома при Ангиари, едва вступив обратно в Романью, имел уже больше войск, чем когда-либо. Это-то и вдохнуло в герцога Миланского надежду на то, что ему удастся защитить Ломбардию, каковую из-за отсутствия Никколо он мыслил уже почти что потерянной. Ибо, пока Никколо держал в страхе Тоскану, герцог дошел до такой крайности, что боялся уже за свое собственное владение. Считая, что гибель его может прийти еще до того, как Никколо, уже вызванный из Тосканы, явится ему на помощь, он решил использовать средство, которое и раньше бывало ему всегда полезно в подобном положении, и попытаться счастья хитростью, раз не удалось это сделать силой. Чтобы обуздать боевой пыл графа Сфорца, он подослал к нему в Пескьеру Никколо д'Эсте, феррарского государя, который от имени герцога стал уговаривать его склониться к миру. Он принялся доказывать, что война эта отнюдь не в интересах графа, ибо, если герцог будет ослаблен настолько, что никому уже не станет внушать опасений, он, Сфорца, первый от этого пострадает, ибо Венеция и Флоренция перестанут в нем нуждаться. Он добавил также, что в доказательство своего искреннего стремления к миру герцог возобновляет свое предложение породниться с ним и готов немедленно отправить свою дочь в Феррару с тем, что тотчас же после замирения она будет отдана ему в жены. Граф на это ответил, что если герцог и впрямь желает мира, то

нет ничего легче, как заключить его, ибо Венеция и Флоренция тоже ничего иного не хотят. Однако трудно этому поверить, ибо известно, что герцог всегда склонялся к миру лишь в самой крайней необходимости, а как только эта необходимость исчезала, он снова начинал стремиться к войне. Нет у него веры и в желание герцога породниться с ним, ибо слишком часто его на этом ловили. Впрочем, по окончании войны он в отношении брачного союза с домом герцога поступит так, как ему посоветуют друзья.

III

Венецианцы, часто без достаточных оснований подозревавшие своих кондотьеров, на этот раз вполне основательно встревожились из-за их интриг. Граф, стремясь успокоить их, усиленно продолжал развивать военные действия. Однако воинский пыл у него все же несколько ослабел из-за честолюбивых помыслов, а у венецианцев из-за подозрительности, так что до конца лета никаких значительных событий не произошло. Когда Никколо Пиччинино вернулся в Ломбардию, дело уже шло к зиме и все войска стали на зимние квартиры. Граф удалился в Верону, герцог в Кремону, флорентийцы возвратились в Тоскану, папские войска в Романью. Войска эти, одержавшие победу при Ангиари, напали на Форли и Равенну, чтобы вырвать их из рук Франческо Пиччинино, который командовал там от имени отца, однако захватить эти города им не удалось, ибо Франческо оборонялся весьма доблестно. Тем не менее от появления этих войск жители Равенны так испугались возможности снова оказаться во власти папства, что с согласия своего синьора Остазио да Полента добровольно признали над собой власть венецианцев. Те в благодарность за такое приобретение, чтобы воспрепятствовать Остазио когда-либо силой вернуть себе то, чем он так неосмотрительно поступился, отправили его с одним из сыновей на остров Кандия, где он и скончался.

Папа между тем, несмотря на победу при Ангиари и нуждаясь в деньгах, продал крепость Борго-Сан-Сеполькро флорентийцам за двадцать пять тысяч дукатов. Теперь положение вещей было таково: все считали, что зимой военных действий не будет, и никто не думал вести мирных переговоров, менее же всего герцог, которого вполне успокоило присутствие Никколо Пиччинино и само зимнее время года. Он прекратил всякие переговоры с графом, поспешно снабдил Никколо новыми конями и вообще занимался подготовкой всего необходимого к новой кампании. Узнав об этом, граф отправился в Венецию договориться с сенатом о действиях в будущем году. Между тем Никколо, видя беспечность неприятеля и считая себя вполне подготовленным, не стал дожидаться весны и в самую зимнюю стужу перешел Адду, вступил на земли Бреши, захватил их почти полностью, за исключением Азолы и Орчи, и взял в плен вместе с обозами более двух тысяч всадников графа Сфорца, совершенно не ожидавших этого нападения. Но больше всего граф пришел в ярость, а венецианцы в страх от мятежа Чарпеллоне, одного из главных капитанов графа. При этом известии граф немедленно отбыл из Венеции, но явившись в Брешу, Никколо в округе уже не нашел, ибо тот, нанеся ущерб врагу, возвратился на свои квартиры. Граф решил не продолжать военных действий, раз уж они сами собой прекратились, а использовать возможность, которую дал ему противник, и время года, чтобы восстановить у себя порядок и с наступлением весны отомстить за этот удар. Он заставил венецианцев вызвать из Тосканы их войска, посланные на помощь Флоренции, а на место умершего Гаттамелаты пригласить в качестве военачальника Мике-лотте Атендоло.

IV

С началом весны первым возобновил войну Никколо Пиччинино, который осадил Чиньяно, замок, отстоящий миль на двенадцать от Бреши. Граф устремился на помощь, и между этими двумя начались, как обычно, военные действия. У графа появились некоторые опасения насчет Бергамо, и он атаковал Мартининго, замок, расположенный таким образом, что, захватив его, нетрудно было оказать помощь Бергамо, подвергавшемуся немалой опасности от Никколо. Однако последний предвидел, что именно с этой стороны может последовать вражеский удар, и потому так основательно укрепил и снабдил всем необходимым эту крепость, что графу пришлось бросить против нее все свои силы. Никколо занял такие позиции, что к графу не могло проходить продовольствие, и, кроме того, укрепил местность эскарпами и бастионами так, чтобы штурм оказался для графа чрезвычайно опасным. Благодаря всем этим мерам осаждающие оказались в еще худшем положении, чем осажденные. Недостаток продовольствия не давал графу возможности продолжать осаду, а снятие ее и отход тоже грозили великой опасностью, так что можно было предвидеть блестящий успех для герцога, а для графа и венецианцев тяжелейший разгром.

Однако судьба, всегда находящая способ убогатворить своих баловней и обделит пасынков, сделала так, что от расчета на полную победу честолюбие Никколо необычайно раздулось, а дерзновенные притязания до того усилились, что он уже утратил всякое сознание того, какое положение занимает герцог, а какое он сам. Он велел передать герцогу, что давно уже сражается под его знаменами, а между тем до сих пор не приобрел еще клочка земли даже себе на могилу и теперь хотел бы узнать от него, как он, герцог, намеревается за все эти труды вознаградить человека, от которого зависит сделать его властелином всей Ломбардии и предать в его руки всех врагов. Он со своей стороны считал бы, что уверенность в победе требует и уверенности в соответствующем вознаграждении, и хотел бы, чтобы герцог пожаловал ему во владение город Пьяченцу, где он смог бы когда-нибудь отдохнуть от многолетних военных трудов. Он даже не посовестился пригрозить герцогу, что бросит все и удалится, если его просьба не будет удовлетворена. Такой способ просить, наглый и оскорбительный, вызвал у герцога величайший гнев, и он решил лучше оставить свои замыслы, чем удовлетворить притязания Пиччинино. И вот человек, которого не могли склонить к миру ни опасности, ни вражеские угрозы, согласился на мир из-за дерзкого поведения того, кто был ему другом. Он принял решение договориться с графом и послал к нему Антонио Гвидобуоно да Тортона с предложением своей дочери в жены и мирных условий, на которые граф и союзники с величайшей готовностью согласились.

После того как мирный договор между сторонами был тайно заключен, герцог послал Никколо повеление установить с графом перемирие на один год, объясняя при этом, что бремя военных расходов оказалось для него слишком тягостным и он не может пожертвовать приемлемым для него миром ради сомнительной еще победы. Никколо был до крайности поражен таким решением, не понимая, какая причина могла побудить герцога отказаться от столь славной победы и не допуская мысли, что нежелание вознаградить друга заставило его спасти врагов. Он как только мог возражал против этого решения, и герцогу, чтобы принудить его подчиниться, пришлось даже пригрозить ему в случае дальнейших проволочек выдать его на милость его же солдатам и неприятелю. Никколо пришлось уступить, но сделал он это с горьким сознанием человека, вынужденного против воли бросить на произвол судьбы друзей и отечество, жалуясь на жестокость судьбы, по воле которой то изменчивость военного счастья, то прихоти герцога отнимают у него победу над врагом. По заключении перемирия была отпразднована свадьба мадонны Бьянки и графа, который в качестве приданого за женой получил Кремону. После этого в ноябре 1441 года подписан был мирный договор, причем от имени Венеции его подписали Франческо Барбадико и Паоло Трона, а от имени Флоренции мессер Аньоло Ач-чаюоли. По условиям его к Венеции переходили Пескье-ра, Азола и Лонато, крепости, принадлежавшие маркизу Мантуанскому.

Хотя в Ломбардии война прекратилась, она все еще велась в Неаполитанском королевстве, и по этой причине в Ломбардии снова взяли за оружие. Пока там шли военные действия, Альфонс Арагонский отнял у короля Рене все его владения, кроме самого Неаполя. Считая, что победа уже в его руках. Альфонс задумал, продолжая держать Неаполь в осаде, отобрать у графа Сфорца Беневенте и другие его ленные владения в этом королевстве. Ему казалось, что сделать это будет нетрудно, поскольку граф занят военными действиями в Ломбардии; и, действительно, он вскоре безо всякого труда занял все земли графа. Но когда стало известно о замирении в Ломбардии, Альфонса взял страх, как бы теперь граф не явился в королевство отвоевывать свои владения на стороне короля Рене, который по этой же причине стал надеяться на графа и даже обратился к нему с просьбой прийти помочь другу и отомстить врагу.

В свою очередь Альфонс просил Филиппо во имя их дружбы занять графа такими важными делами, чтобы он, целиком погрузившись в них, вынужден был пренебречь этим своим делом. Филиппо согласился на просьбу короля, даже не подумав о том, что тем самым нарушает мир, заключенный им недавно к такой невыгоде для себя. Он дал понять папе Евгению, что наступил благоприятный момент, чтобы вернуть Церковному государству захваченные графом владения, и для этой цели предложил ему воспользоваться на все время ведения военных действий за его, герцога, счет, услугами Никколо Пиччинино, который после заключения мира находился в Романье. Евгений с жадной готовностью принял это предложение из ненависти к графу и желая также получить обратно свои владения. Правда, Пиччинино раньше обманывал эти его надежды, но теперь, обретя опору в герцоге, папа перестал опасаться обмана и, объединив свои войска с солдатами Никколо, он напал на Марку. Граф, не ожидавший такого удара, встал во главе своего войска и двинулся против неприятеля.

Тем временем король Альфонс вступил в Неаполь, так что теперь все королевство, кроме Кастельнуово, оказалось в его руках. Рене, оставив в Кастельнуово сильную охрану, удалился и, прибыв во Флоренцию, принят был с великим почетом, однако вскоре он убедился, что не в состоянии продолжать войну, и уехал из Флоренции в

Марсель. Альфонс взял Кагельнуово, а в Марке граф оказался лицом к лицу с превосходящими силами папы и Никколо. Поэтому он обратился с просьбой о помощи людьми и деньгами к Флоренции и Венеции, убеждая их, что если они еще при его, графа, жизни не позаботятся о том, чтобы обуздать папу и короля, им придется вскоре подумать о своем спасении, ибо те, объединившись, разделят Италию между собой. Флорентийцы и венецианцы некоторое время колебались и потому, что сомневались, стоит ли враждовать с папой и королем, и потому, что поглощены были болонскими делами.

Аннибале Бентивольо изгнал из Болоньи франческо Пиччинино и, чтобы защититься от герцога, который тому покровительствовал, обратился к Флоренции и Венеции за помощью, в какой они ему не отказали. Так что, занятые этим делом, они не решались оказывать помощь еще и графу. Однако случилось так, что Аннибале разбил франческо Пиччинино, это дело казалось, таким образом, улаженным, и флорентийцы решили прийти на помощь графу. Но предварительно, чтобы обезопасить себя со стороны герцога, они возобновили свой союз с ним, на что герцог пошел охотно, словно он согласился поддержать военные действия против графа лишь постольку, поскольку война Альфонса с Рене Анжуйским продолжалась: теперь же, когда война в Неаполе закончена и Рене лишен власти, Филиппо совсем не устраивало, чтобы у графа отняты были его владения. Он не только согласился на помощь графу, но даже написал Альфонсу, чтобы тот соблаговолил возвратиться в свое королевство и прекратить военные действия против графа. Хотя Альфонсу совсем не хотелось этого, он, будучи стольким обязан герцогу, решил удовлетворить его желание и отступил со своим войском на тот берег Тронта.

VI

В то время как в Романье происходили все эти события, во Флоренции снова начались внутренние раздоры. Среди граждан, стоявших у власти, значительным влиянием пользовался Нери ди Джино Каппони, и влияния его Козимо Медичи опасался более, чем чьего-либо другого, ибо любим он был не только гражданами, но и солдатами: неоднократно командуя флорентийскими войсками, он заслужил их привязанность своим мужеством и воинским искусством. К тому же победы, одержанные его отцом Джино и им самим (один завладел Пизой, другой разбил Никколо Пиччинино при Ангиари), усиливали симпатию к нему у значительного числа граждан и страх перед ним у тех, кто не желал ни с кем делиться своей властью в управлении государством. Среди многочисленных командиров флорентийского войска выделялся Бальдаччо ди Ангиари, весьма искусный в военном деле и в то время никому в Италии не уступавший силой и храбростью: он неизменно командовал пехотой, и солдаты так любили его, что по общему мнению пошли бы за ним на что угодно. Бальдаччо, постоянный свидетель доблестного поведения Нери, являлся горячим его другом, что вызвало у многих других граждан сильнейшие подозрения. Считая, что уволить Бальдаччо со службы опасно, а держать на службе еще опаснее, они решили избавиться от него, и сама судьба помогла им в этом деле. Гонфалоньером справедливости был тогда мессер Бартоломео Орландино. Когда Никколо Пиччинино вторгся в Тоскану, именно он, как мы уже говорили, послан был на защиту замка Марради и постыдно бежал со своего поста, хотя обороне замка содействовало бы само его расположение. Трусость эта до того возмутила Бальдаччо, что он не переставал открыто заявлять об этом в оскорбительных выражениях как устно, так и письменно. Мессер Бартоломео, сгорая от стыда и ярости, только и помышлял, что о мщении, надеясь кровью обвинителя смыть с себя позорную вину.

VII

Эта жажда мести известна была другим гражданам, и потому оказалось весьма легким делом убедить мессера Бартоломео покончить с Бальдаччо одним ударом, — утолив собственную жажду мщения и избавив республику от человека, которого нельзя было и безопасно оставлять на службе и без ущерба уволить. Мессер Бартоломео принял решение умертвить его и с этой целью собрал в своем зале немало вооруженных молодых людей. Когда по обыкновению Бальдаччо явился на площадь, чтобы договориться с правителями о своей кондотте, гонфалоньер вызвал его к себе, и Бальдаччо, ничего не заподозрив, повиновался. Мессер Бартоломео вышел ему навстречу и два или три раза прошелся с ним по галерее перед кабинетами членов Синьории, обсуждая условия кондотты. Затем, когда по его мнению наступил подходящий момент и они поравнялись с комнатой, где прятались убийцы, он дал условный сигнал: те выскочили из комнаты в галерею, умертвили беззащитного и безоружного Бальдаччо и выбросили его труп из окна дворца в сторону таможни, после чего перетащили его на площадь, где отрезали голову и

выставили ее на целый день на обозрение всему народу. У Бальдаччо был только один сын, всего несколько лет назад рожденный ему женой его Анналеной, – он ненадолго пережил отца. Лишившись и сына, и мужа, Анналена не захотела брать себе нового мужа. Дом свой она превратила в монастырь, где к ней присоединилось немало благородных женщин, и, запершись в нем, в святости прожила так до скончания своих дней. Основанный ею и названный именем ее монастырь донны хранит и вечно хранить будет ее память.

Убийство Бальдаччо уменьшило власть Нери и частично отняло у него влияние и сторонников, но власть имущим этого показалось недостаточно. Прошло уже десять лет с начала их правления, полномочия балии кончились, и многие граждане стали в речах своих и в действиях гораздо свободнее, чем желательно было правителям государства. Они полагали, что если не хотят потерять власть, необходимо получить новые полномочия и, поставив у власти своих сторонников, нанести удар противникам. Поэтому в 1444 году они через государственные советы созвали новую балию, которая назначила новых магистратов, наделила очень узкий круг лиц правом составлять Синьорию, обновила состав канцелярии реформ, заменив мессера Филиппо Перуцци другим человеком, который действовал бы там в желательном для правящих духе. Кроме того, изгнанным продолжили запрет на возвращение во Флоренцию, заключили в тюрьму Джованни ди Симоне Веспуччи, лишили почетных должностей приверженцев противной партии, в том числе сыновей Пьеро Барончелли, всех Серраллы, Бартоломео Фортини, мессера Франческо Каstellани и многих других. Таким образом удалось им обеспечить себе власть и влияние и принизить гордыню противников и подозреваемых.

VIII

Укрепив тем самым государство и захватив его бразды, они занялись внешними делами. Как мы уже сказали, король Альфонс перестал покровительствовать Никколо Пиччинино, граф же, благодаря поддержке флорентийцев, весьма усилился. Он атаковал Пиччинино у фермо и разбил его так основательно, что почти все войска Никколо рассеялись, а сам он с небольшим отрядом укрылся в Монтеккьо. Там, однако же, он сильно укрепился и защищался так успешно, что вскоре солдаты его снова вернулись к нему и притом в таком количестве, что он смог противостоять графу, тем более, что наступила зима и оба военачальника должны были прекратить активные действия. Никколо в течение зимнего времени умножил численность своего войска и получил помощь от папы и короля Альфонса. Весною между противниками вновь начались военные действия, причем Никколо, оказавшись значительно сильнее, довел графа до такого тяжелого положения, что он был бы совершенно разгромлен, если бы герцог не разрушил всех планов Пиччинино. Филиппо послал ему приглашение немедленно прибыть в Милан для чрезвычайно важных устных переговоров. Охваченный жадным любопытством, Никколо ради каких-то сомнительных благ упустил верную победу и, оставив сына своего Франческо во главе войска, отбыл в Милан. Узнав об этом, граф не стал терять времени и решил воспользоваться отсутствием Никколо. Битва разыгралась у замка Мойнте Лора, войско Никколо потерпело поражение, а сам Франческо был захвачен в плен. Никколо, явившись в Милан и убедившись в вероломстве герцога, получил там известие о разгроме и пленении сына и умер с горя в том же 1445 году. Было этому полководцу, более искусному в военном деле, чем счастливому, шестьдесят четыре года. После него остались два сына, Франческо и Якопо, но они были гораздо менее умелыми и еще более несчастливыми, чем их отец. Таким образом, войска, получившие выучку у Браччо, можно сказать, перестали существовать, а войско графа Сфорца, которому неизменно благоприятствовало счастье, обретало все большую славу. Папа, видя, что войска Никколо разбиты, а самого его нет в живых, и уже не надеясь на помощь короля Арагонского, стал искать замирения с графом, и при посредничестве Флоренции мир был заключен на тех условиях, что папе остались из владений в Марке лишь Озимо, Фабриано и Риканати, все же прочее перешло к графу.

IX

После замирения в Марке вся Италия наслаждалась бы миром, если бы не нарушали его болонцы. В Болонье имелись две могущественные семьи – Каннески и Бентивольи; последних возглавлял Аннибале, первых – Баттис-та. Чтобы иметь побольше доверия друг к другу, они заключали между собою частые брачные союзы; но известно, что людям, охваченным одними и теми же честолюбивыми замыслами, легче вступать в родство друг с другом, чем в дружбу. После изгнания Франческо Пиччинино Аннибале Бентиволье добился вступления Болоньи в союз с Флоренцией и Венецией. Баттиста, со своей стороны, зная, как желательно герцогу завладеть этим городом, тайно сговорился с ним об умерщвлении Аннибале и о передаче Болоньи под его власть.

Уговорившись насчет того, как это сделать, 25 июня 1445 года Баттиста со своими людьми напал на Аннибале, убил его, и затем они стали бегать по улицам города, возглашая имя герцога. Комиссары Венеции и Флоренции, находившиеся тогда в Болонье, при первых же признаках мятежа удалились в свои дома, но вскоре им стало известно, что народ не только не на стороне убийц, а, напротив, собирается с оружием на площади, громко сокрушаясь о смерти Аннибале. Тогда к ним возвратилось мужество; они со всеми, кто при них находился, присоединились к народу и, собравшись с силами, напали на сторонников Каннески, одних перебили, а других выгнали из города. Баттиста не успел бежать, но не был в числе убитых. Он скрылся у себя дома, где спрятался в погребе для хранения зерна. Враги искали его весь день и, будучи уверены в том, что он не уходил из города, до того запугали его слуг, что один из мальчиков указал им, где скрывается хозяин. Его вытащили оттуда еще в полном вооружении и сперва умертвили, а затем протащили труп по улицам и сожгли. Так, влияния герцога оказалось достаточно, чтобы затеять дело, но его силы не подоспели вовремя, чтобы его поддержать.

X

Смерть Баггисты и бегство всех Каннески с их сторонниками водворили в Болонье мир, но она продолжала пребывать в смущении. В семье Бентивольо не оказалось никого, способного взять в руки бразды правления. После Аннибале остался только один сын, шестилетний Джованни, так что можно было опасаться возникновения среди сторонников Бентивольо разногласий, благоприятствующих возвращению Каннески и гибельных для государства и партии Бентивольо. Видя их нерешительность и смущение, франческо, бывший граф Поппи, находившийся в то время в Болонье, сообщил наиболее видным гражданам, что если они хотят себе в правители человека одной крови с Аннибале, он может им на такого указать. И он рассказал, что лет двадцать назад Эрколе, двоюродный брат Аннибале, находясь в Поппи, сошелся там с одной девушкой, у которой родился сын, названный Санти: Эрколе неоднократно говорил, что является его отцом, чего не стал бы отрицать ни один человек, знающий Эрколе и юношу, настолько они были похожи друг на друга. Словам графа поверили и поспешили послать во Флоренцию нескольких граждан опознать молодого человека и договориться с Козимо и Нери насчет переезда его в Болонью.

Того, кто считался отцом Санти, уже не было в живых, и молодой человек находился под опекой своего дяди, Антонио да Кашезе, человека богатого и бездетного и большого друга Нери. Прослышав обо всем этом, Нери рассудил, что не следует ни отвергать предложения болонцев, ни принимать его слишком поспешно, а нужно, чтобы Санти объяснился с посланцами Болоньи в присутствии Козимо. Свидание между ними действительно состоялось, и болонцы не просто отнеслись к Санти с уважением, но и пришли от него в полное восхищение, так владели их сердцами партийные страсти. Сперва, однако, ни к какому решению не пришли, но Козимо, вызвав Санти для беседы с глазу на глаз, сказал ему: «В данном случае лучший себе советчик ты сам, ибо лишь тебе надлежит сделать выбор, соответствующий твоей натуре. Если ты признаешь себя сыном Эрколе Бентивольо, то обратишься к делам, достойным этого дома и твоего отца. Но если ты предпочитаешь быть сыном Аньоло да Кашезе, то останешься во Флоренции и всю жизнь свою будешь заниматься низменным ремеслом в цехе Лана».

Слова эти убедили юношу, сначала почти уже готового отказаться от предложения болонцев, и он ответил, что делает так, как решат за него Козимо и Нери. Он дал согласие болонским посланцам, был соответственно одет, получил коней и слуг и вскоре в сопровождении большой свиты был привезен в Болонью, где ему поручили воспитание сына Аннибале и управление городом. На этом посту он проявил столько мудрости, что там, где все его предки погибали под ударами своих врагов, он мирно прожил свою жизнь и скончался, окруженный почетом.

XI

После того как умер Никколо Пиччинино и произошло замирение в Марке, Филиппо захотел найти подходящего человека для командования своими войсками. С этой целью он вступил в тайные переговоры с Чарпел-лоне, одним из самых способных военачальников графа. Когда они договорились, Чарпеллоне попросил у графа позволения отправиться в Милан, чтобы вступить во владение замками, которые герцог подарил ему во время прежних войн. Граф, заподозрив сговор между ними и не желая, чтобы герцог мог использовать против него его же человека, велел сперва арестовать Чарпеллоне, а затем казнить его под предлогом, будто с его стороны обнаружена измена. Это привело Филиппо в величайшее негодование и гнев, но весьма обрадовало венецианцев и флорентийцев, которые сильно побаивались, как бы вооруженные силы графа и могущество герцога не объединились между собой.

Однако возмущение герцога вызвало в Марке новую войну.

Римини подвластно было Сиджисмондо Малатесте, который, будучи зятем графа, рассчитывал получить во владение также Пезаро, но граф, заняв Пезаро, отдал его своему брату Алессандро. Уже это крайне раздражило Сиджисмондо, а тут еще Федерико Монтефельтро, его недруг, при поддержке графа, получил во владение Урбино. Это сблизило Сиджисмондо с герцогом и побудило папу и короля Неаполитанского начать войну с графом, который, чтобы Сиджисмондо отведать первых плодов столь желанной ему войны, решил выступить первым и напал на Сиджисмондо. Тут снова в Романье и Марке начались волнения, ибо Филиппо, король и папа послали на помощь Сиджисмондо немалые силы, а флорентийцы и венецианцы снабдили графа если не войсками, то во всяком случае денежными средствами. Филиппо уже не удовлетворяли военные действия в Романье, он попытался отнять у графа Кремону и Понтремоли, однако Понтремоли защитили флорентийцы, а Кремону венецианцы, так что в Ломбардии тоже начали воевать, но после ряда операций в Кремонской области франческико Пиччинино, военачальник герцога, был разбит в Казале Микелетто и венецианскими войсками.

Эта победа пробудила в венецианцах надежду на то, что им удастся изгнать герцога из его государства, они послали своего комиссара в Кремону и осадили Гьярададду, заняв все владения герцога, за исключением Кремы. Затем они перешли Адду и делали уже набег до самых ворот Милана, так что герцогу пришлось обратиться к Альфонсу с просьбой о помощи, доказывая, как опасно было бы для его королевства, если бы Ломбардия оказалась во власти венецианцев. Альфонс эту помощь ему обещал, но никакие войска не могли бы пройти в Ломбардию, если бы этому воспротивился граф.

XII

Тогда Филиппо принялся умолять, чтобы тот не оставлял в беде своего старого и слепого тестя. Сфорца, конечно, был зол на герцога за развязанную против него, графа, войну, но, с другой стороны, его не устраивало и возвеличение Венеции, да и денег ему уже не хватало, так как лига отпустила средства скуповато: флорентийцы перестали страшиться герцога, а именно страх перед ним заставлял их ценить графа, венецианцы же ничего не имели бы против крушения Сфорца, ибо считали, что только он может помешать им захватить всю Ломбардию. Тем не менее, в то время как Филиппо пытался вновь привлечь его к себе на службу, обещая ему верховное командование всеми своими вооруженными силами, только бы он отошел от венецианцев и вернул Марку папе, венецианцы направили к графу посла, обещая ему Милан, если они его возьмут, и постоянное командование их войсками, ишь бы он продолжал войну в Марке и не пропускал войск Альфонса в Ломбардию.

Обещания Венеции были блестящие, и к тому же венецианцы оказали ему немалые услуги, вступив в войну для того, чтобы защитить Кремону. Обиды же, нанесенные герцогом Сфорца, были еще свежи, а посулы его – не слишком щедрые, да и неверные. Тем не менее граф колебался – какое же решение ему принять. С одной стороны, его связывали обязательства перед лигой, данное слово, недавняя услуга Венеции, новые обещания на будущее. С другой – мольбы тестя, а главное, скрытый яд, который чудился ему за щедрыми посулами венецианцев: он отлично понимал, что если венецианцы одолеют герцога, то лишь от их доброй воли будет зависеть и выполнение обещаний, и даже судьба его владений, а на эту добрую волю не положился бы ни один мудрый государь, не вынуждаемый к тому обстоятельством. Конец колебаниям графа положила непомерная жадность венецианцев. Понадеявшись занять Кремону с помощью нескольких своих сторонников в этом городе, они направили к ней под каким-то другим предлогом свои войска. Но сговор этот, обнаруженный теми, кто управлял в Кремоне от имени графа, не удался: Кремону венецианцы не получили, а графа потеряли, ибо он, отбросив теперь всякую щепетильность, перешел на сторону герцога.

XIII

Папа Евгений скончался, и преемником его стал Николай V. Граф собрал уже все свое войско у Котиньолы, чтобы перебраться в Ломбардию, когда ему сообщили о смерти герцога, случившейся в последний день августа месяца 1447 года. Новость эта вызвала у него тревогу, ибо ему казалось, что войско его еще не в полном порядке из-за некоторой задержки в выплате жалованья. Он опасался венецианцев – у них было достаточно военной силы, и теперь они являлись его врагами, ибо он ведь только что перешел от них к герцогу. Он боялся своего извечного врага Альфонса. Он не мог особенно рассчитывать на флорентийцев, находившихся в союзе с Венецией, или на папу, ибо еще удерживал несколько принадлежавших ему городов. Тем не менее он решился бросить вызов судьбе и действовать в зависимости от

того, как сложатся обстоятельства, ибо чаще всего, именно начав действовать, получаешь внезапное озарение, которое так и не возникло бы в бездействии. Больше всего он надеялся на то, что если жители Милана захотят противиться натиску венецианцев, они смогут прибегнуть лишь к его вооруженным силам. И так, собравшись с мужеством, он перешел через болонские земли, вступил на территорию Модены и Реджо, остановился с войсками на берегу Ленцы и оттуда послал в Милан предложение выступить в его защиту.

После смерти герцога в Милане одни желали жить в условиях свободы, другие хотели нового государя, но из этих последних одни предпочитали Сфорца, а другие короля Альфонса. Однако сторонники свободы, у которых было больше единства, возобладали и организовали республику. Впрочем, многие города герцогства отказались признать ее власть, так как одни считали, что сами могут по примеру Милана наслаждаться свободой, а другие, не стремившиеся к свободе, не желали, однако, миланского господства. Так, Лоди и Пьяченца отдались под власть Венеции, Парма и Павия объявили себя свободными. Когда графу стали известны все эти разногласия, он отправился в Кремону, где его представители встретились с миланскими послами, и они совместно решили, что граф будет капитаном миланских войск на тех же условиях, что были ему предложены герцогом Филиппо. Добавлено было только еще одно условие: Бреша остается за графом; если же он возьмет Верону, то получит ее, а Брешу вернет Милану.

XIV

Еще до смерти герцога папа Николай, сразу же после своего восшествия на престол понтифика, пытался установить мир между итальянскими государями. Для этой цели он договорился с послами Флоренции, прибывшими на торжества, связанные с провозглашением его папой, устроить в Ферраре собрание представителей для установления либо длительного перемирия, либо даже прочного мира. Туда и прибыл папский легат и представители Флоренции, Венеции и герцога. Король Альфонс своих представителей не прислал. Он с большим количеством пехоты и конницы находился в Тиволи, и оттуда оказывал поддержку герцогу. Считалось, что их планы состоят в том, чтобы, перетянув на свою сторону графа, открыто напасть на Флоренцию и Венецию, пока же войска графа в Ломбардию еще не проникли, участвовать в феррарских мирных переговорах; причем король, не прислав своих послов, сообщил, что он и без того ратифицирует все, с чем согласится герцог. Условия обсуждались очень долго и после нескончаемых споров решено было заключить вечный мир или же перемирие на пять лет – что предпочтет герцог. Его представители возвратились в Милан, чтобы узнать его волю, но он уже был мертв. Несмотря на кончину герцога, миланцы соглашались на достигнутую договоренность, однако воспротивились миру венецианцы: теперь они более чем когда-либо рассчитывали завладеть всем герцогством Миланским, особенно после того, как Лоди и Пьяченца сейчас же после смерти герцога добровольно перешли к ним. Они надеялись либо силой, либо путем договоров в самое короткое время отобрать у Милана все зависящие от него земли и вообще оказать на него такое давление, чтобы он сдался им еще до того, как ему смогут оказать помощь. Надежды свои они считали тем более обоснованными, что флорентийцы ввязались в войну с королем Альфонсом.

XV

Король, находившийся в Тиволи, намеревался предпринять завоевание Тосканы, как у него и было оговорено с Филиппо. Он полагал, что война в Ломбардии облегчит ему задачу и предоставит достаточно времени, но прежде чем начать действия в открытую, хотел иметь хоть какую-то опору в Тоскане: с этой целью он начал переговоры в крепости Ченнина в верхнем Валь д'Арно и занял ее. Флорентийцы, застигнутые этой неожиданностью врасплох, видя, что король движется, чтобы разгромить их, наняли кондотьеров, назначили военный совет Десяти и по своему обычаю стали готовиться к войне. Король со своим войском уже вступил на территорию Сиены и всячески старался перетянуть этот город на свою сторону, но сиенцы оставались верны своей дружбе с Флоренцией и не открывали королю ни ворот Сиены, ни других своих городов. Правда, они снабжали его продовольствием, но оправданием служила им их слабость и военное превосходство неприятеля. Тут король убедился, что вторжение через Валь д'Арно у него не получится, – то ли потому что он снова потерял Ченнину, то ли потому что флорентийцы уже набрали некоторое количество войска. Поэтому он двинулся на Вольтерру и взял в ее землях немало крепостей. Оттуда он перешел в пизанские земли и с помощью Арриго и Фацио из рода графов дела Герардеска занял там несколько замков, а затем осадил Кампилью, но не смог взять ее, ибо эта крепость оказалась под защитой флорентийцев и, кроме того, наступила зима. Поэтому король оставил охрану во

всех занятых им крепостях, а с остальным войском стал на зимние квартиры в сиенских землях.

Воспользовавшись этим временем года, флорентийцы сумели позаботиться о наборе войск, во главе которых поставили Федеригио, синьора Урбино и Сиджисмондо Малатесту, владельца Римини. Хотя согласия между этими военачальниками вообще не было, они благодаря рассудительности флорентийских комиссаров Нери ди Джина и Бернадетто Медичи все же сохранили его в такой мере, что могли начать кампанию еще в зимние холода. Возвращено было все утраченное в пизанских землях и Рипоме-ранче во владениях Вольтерры, а королевских солдат, которые перед тем совершенно беспрепятственно совершали любые набеги на Маремму, удалось обуздать настолько, что они едва могли удерживать крепости, которые им поручено было оборонять. С наступлением весны комиссары со своими войсками в количестве пяти тысяч всадников и двух тысяч пехотинцев остановились в Спедалетто, король же со своей пятнадцатитысячной армией подошел к Кампилье на расстоянии трех миль. Но, в то время как ожидалось, что им опять будет предпринята осада этой крепости, он неожиданно бросился на Пьомбино, рассчитывая быстро захватить это плохо укрепленное место: захват Пьомбино действительно был бы ему весьма выгоден, а для флорентийцев крайне опасен, так как из этого города, который легко было снабжать по морю, можно было делать набеги на все пизанские земли и вести с флорентийской должгой и изнурительной для нее войну. Нападение на Пьомбино очень встревожило флорентийцев, и на военном совете они решили, что если бы им удалось продержаться со всем войском в болотистых кустарниках Кампильи, королю пришлось бы отступить, если даже не разбитым, то во всяком случае бесславно.

В соответствии с этим они вооружили в Ливорно четыре крупных галеры и на них перебросили в Пьомбино триста пехотинцев, а затем расположились лагерем в Кальдана, где на них трудно было бы напасть, ибо им казалось опасным оставаться на заросшей кустарником равнине.

XVI

Флорентийское войско получало продовольствие в окружающей местности, неплодородной и малолюдной, почему снабжение было до крайности затруднено. Солдаты от этого немало терпели, особенно же от нехватки вина: на месте оно не производилось, а подвоза извне не было, так что многим солдатам его доставало. Король же, напротив, хоть и прижатый флорентийцами, имел в достатке все, кроме сена, ибо продовольствие ему доставлялось по морю. Поэтому флорентийцы тоже предприняли попытку снабжать свое войско тем же путем и, нагрузив свои трехмачтовые галеры припасами, послали их к войску. Однако эти суда были перехвачены семью галерами короля, две из них были взяты, а прочие повернули обратно, что окончательно отняло у флорентийского войска надежду на снабжение. Более двухсот человек из обозной obsługi перебежали к королю, будучи не в состоянии вынести отсутствие вина. Все же прочее войско громко роптало, заявляя, что не может оно больше оставаться в таком жарком месте, где вина нет, а питьевая вода плохого качества. В конце концов комиссары решили сняться со стоянки и предпринять захват нескольких крепостей, еще оставшихся в руках короля, который хотя не страдал от нехватки продовольствия и обладал более многочисленным войском, убеждался, однако, что войско это каждодневно тает, ибо его одолевают болезни, порождаемые в жаркое время года этой болотистой местностью. Они свирепствовали с такой силой, что почти все солдаты были больны и многие умирали.

Положение это привело к тому, что начались попытки замирииться, причем король требовал пятьдесят тысяч флоринов и сдачу Пьомбино. При обсуждении этих условий во Флоренции сторонники мира – их было значительное большинство – требовали согласия на них, заявляя, что нельзя и представить себе, как можно успешно закончить войну, требующую таких огромных расходов.

Однако Нери Каппони, прибыв во Флоренцию, придал им мужества такими доводами, что условия короля были единодушно отвергнуты; и они решили взять под защиту владетеля Пьомбино, обещав ему не оставить его ни в военное, ни в мирное время, только бы сам он, не сдаваясь, продолжал оборону, как делал это донныне. Узнав об этом решении и видя, что из-за слабости своего войска ему город не взять, король в полном беспорядке снял осаду. Потерял он более двух тысяч человек и с оставшимся войском удалился в сиенские земли, а оттуда в свое королевство, пылая гневом на флорентийцев и грозя им новой войной в будущем году.

XVII

Пока в Тоскане совершались все эти события, граф Франческо, став в Ломбардии главой миланских войск, постарался прежде всего подружиться с Франческо

Пиччинино, тоже сражавшимся на их стороне, чтобы он поддерживал его во всех начинаниях или во всяком случае не ставил ему больших препон. Итак, он начал военные действия. Жители Павии, понимая, что им против него не устоять, но не желая подчиниться Милану, предложили сдать ему город с тем условием, что он не сделает их миланскими подданными. Графу очень хотелось завладеть этим городом, – он считал его блестящим украшением начала своих замыслов. Удерживал его не страх и не стыд перед нарушением взятых на себя обязательств, ибо большие люди стыдом почитают неудачу, а не обманом полученный выигрыш. Боялся он того, что, приняв предложение павийцев, раздражит миланцев настолько, что они сдадутся Венеции, а отвергнув его, окажутся лицом к лицу с герцогом Савойским, у которого в Павии много сторонников: так или иначе, но и в том, и в другом случае он, казалось ему, теряет всякую надежду завладеть Ломбардией. Полагая, что взять этот город все же менее опасно, чем дать завладеть им кому-то другому, он решил принять его, будучи к тому же уверен, что миланцев успокоить удастся: он поэтому стал убеждать их, что было бы крайне неблагоприятно отвергнуть предложение Павии, ибо в этом случае ее жители призвали бы к себе либо герцога Савойского, либо венецианцев, и для миланского государства и то, и другое было бы губительным. Кроме того, для них было бы гораздо лучше иметь в качестве соседа его их друга, чем кого-нибудь более могущественного, и притом врага.

Миланцев это крайне встревожило, ибо им показалось, что здесь-то и обнаруживаются честолюбие графа и цели, к которым он стремится. Однако они решили не проявлять подозрительности, так как в случае разрыва с графом могли обратиться только к венецианцам, чье высокомерие и непомерные притязания не могли их не отпугивать. Поэтому ими принято было решение держаться графа и с его помощью сперва поправить наиболее срочные дела в надежде, что, избавившись от этих грозящих им бед, они как-нибудь избавятся и от него. Ибо на них готовы были напасть не только венецианцы, но также генуэзцы, и герцог Савойский, действовавший от имени Карла Орлеанского, сына одной из сестер герцога Филиппе. Впрочем, последнее нападение было отбито графом без особого труда, так что единственным врагом оставались венецианцы, которые, имея сильное войско, хотели во что бы то ни стало завладеть всем герцогством Миланским, – Лоди и Пьяченца им уже принадлежали. Граф подверг осаде этот последний город, взял его после длительного и упорного штурма и предал разграблению. Тут наступила зима, он разместил свои войска на зимние квартиры, а сам обосновался в Кремоне, где в течение всего неблагоприятного времени года отдыхал в обществе своей супруги.

XVIII

Но едва лишь дело повернулось к весне, как войска Венеции и Милана начали действовать. Миланцы хотели отбить Лоди, после чего замирились с венецианцами, ибо военные расходы все увеличивались, а подозрения насчет их кондотьера все усиливались. Мир был им необходим и чтобы отдохнуть хоть немного, и чтобы избавиться от графа. Поэтому они решили, что войско их захватит Караваджо, ибо надеялись, что Лоди сдастся, как только эта крепость будет вырвана из рук врага. Граф подчинился желанию миланцев, хотя предпочел бы перейти на тот берег Адды и напасть на область Бреши. Он осадил Караваджо и укрепил свой лагерь рвами и защитными сооружениями, чтобы венецианцы встретились с неодолимыми препятствиями, если бы вздумали прорвать кольцо осады. Неприятель в свою очередь подвел свое войско во главе с Микелетто, их капитаном, на расстояние около двух выстрелов из лука к лагерю графа: там оно оставалось в течение ряда дней и беспрестанно затевало стычки. Тем не менее граф все теснее и теснее сжимал кольцо вокруг крепости и довел ее уже до того положения, что она должна была вот-вот сдаться. Венецианцев это до крайности смущало, так как им представлялось, что потеря этой крепости означает проигрыш всей кампании. Венецианские военачальники с горячностью обсуждали вопрос о том, каким способом оказать помощь осажденным, причем единственным возможным представлялась прямая атака укрепленных позиций графа, что, однако же, сопряжено было с величайшей опасностью. Тем не менее потерять эту крепость казалось им столь ужасным, что венецианский сенат, вообще довольно несмелый и не любивший принимать сомнительных и связанных с опасностью решений, желая во что бы то ни стало удержать Караваджо, предпочел скорее подвергнуть опасности все государство, чем с потерей этого замка проиграть всю кампанию.

Постановили поэтому во что бы то ни стало напасть на графские войска; и вот ранним утром венецианцы во всеоружии двинулись на неприятеля и ударили на него в наименее охраняемом месте. Как всегда бывает при неожиданном нападении, этот первый удар вызвал в войске Сфорца некоторое замешательство, но граф тотчас же принял меры, полностью восстановившие порядок. Хотя венецианцы употребили все усилия для того, чтобы прорваться через возведенные графом укрепления, они были

не только отброшены, но так основательно разбиты и рассеяны, что от всего этого воинства, состоявшего из более чем двенадцати тысяч всадников, спаслась едва ли одна тысяча; весь их обоз и все имущество достались противнику. Никогда раньше не подвергались венецианцы такому полному, ужасающему разгрому.

Среди добычи и пленных обнаружили одного венецианского проведитора. До и во время сражения он отзывался о графе в оскорбительных выражениях, называя его бастардом и трусом, а потому теперь весь дрожал от страха: очутившись после поражения в плену, он, припомнив свои провинности, страшился наказания по заслугам. Представ с удрученным и испуганным видом перед графом, он по обычаю всех людей высокомерных и подлых, кои нагледят в благополучии, унижаются и пресмыкаются в беде, со слезами бросился к его ногам и принялся вымаливать прощение за свои поносные речи. Граф поднял его, взял за руку и сказал, что бояться ему нечего и может он уповать на лучшую долю. Затем он сказал, что удивляется, как это человек, притязавший на то, чтобы слыть мудрым и достойным, впал в такое заблуждение, что позволил себе говорить столь оскорбительно о людях, никак этого не заслуживающих. Ибо, что касается упреков по его, графа, адресу, он ведь не знает, как протекали супружеские отношения Сфорца, его отца, с Лючией, его матерью, так как не присутствовал при этом и не может отвечать за их способы сочетаться между собою и не заслуживает ни похвалы, ни порицания за их тогдашние действия. Зато он может сказать, что все содеянное когда-либо им лично он совершал так, чтобы ни от кого не заслужить укоризны, в чем могут лишний раз убедиться и он, его хулитель, и весь венецианский сенат. Под конец граф посоветовал ему быть впредь более сдержанным, говоря о других, и более осторожным при осуществлении каких-либо замыслов.

XIX

После этого успеха граф повел свое победоносное войско во владения Бреши, захватив все ее контадо, и расположился лагерем в двух милях от города. Венецианцы при первых же известиях о поражениях стали опасаться, что вслед за этим, как оно и случилось, подвергнется нападению Бреши, а потому поспешили снабдить ее самой лучшей охраной, которую только можно сыскать за такое время. Затем они столь же поспешно набрали новые вооруженные силы, влив в них спасшиеся от разгрома остатки прежнего войска, и согласно своему договору с Флоренцией попросили у нее помощи. Флорентийцы, избавившись от военных столкновений с королем Альфонсом, послали им тысячу пехотинцев и две тысячи всадников. Помощь эта дала венецианцам возможность выступить с мирными предложениями. В течение небольшого времени казалось, что рок судил венецианцам терпеть поражения в войнах, но побеждать при заключении договоров, и часто мир с лихвой возвращал им то, что они теряли на войне.

Венецианцы отлично знали, что миланцы несколько не доверяют графу, а граф стремится быть в Милане не главой войск, а государем. Поскольку от них зависело, с кем из них двоих заключить мир, а один хотел этого замирения ради своих честолюбивых замыслов, другие же со страху, они предпочли договариваться с графом и даже предложили ему содействовать в этих его замыслах. Ибо они были убеждены, что, видя себя обманутыми графом, миланцы, охваченные гневом, предпочтут подчиниться кому угодно, кроме него. А если они будут доведены до такого положения, что ни сами защищаться, ни графу доверять не смогут, то и вынуждены окажутся, не зная куда податься, броситься им, венецианцам, в объятия.

Приняв это решение, они стали прощупывать намерения графа и обнаружили его весьма склонным к замирению, поскольку ему желательно было, чтобы все плоды победы при Караваджо получил он, а не миланцы. В конце концов заключено было соглашение, по которому венецианцы обязывались выплачивать графу, пока он не завладел Миланом, тринадцать тысяч флоринов каждый месяц и вдобавок до конца военных действий предоставить ему четыре тысячи всадников и две тысячи пехотинцев. Граф со своей стороны обязался вернуть венецианцам города, военнопленных и вообще все, захваченное им в течение этой войны, и дал торжественное обещание притязать лишь на территории, которыми герцог Филип-по владел ко дню своей кончины.

XX

Весть об этом договоре опечалила Милан гораздо больше, чем обрадовала его победа при Караваджо. Именитые граждане огорчались, народ возмущался, женщины и дети плакали, и все вместе взятые называли графа предателем и клятвопреступником. И хотя они были уверены, что ни мольбы, ни обещания не окажут на него никакого воздействия, все же решено было отправить к нему послов, чтобы хотя бы видеть, с каким выражением лица и какими словами станет он

объяснять свое подлое поведение. И вот, когда они предстали перед графом, один из них обратился к нему со следующей речью:

«Те, кто желает добиться чего-либо от человека могущественного, обычно обращаются к нему с мольбами, приносят даяния или прибегают к угрозам, дабы, поколебленный чувством жалости или расчетом, или страхом, он соблаговолил удовлетворить их просьбу. Но над людьми жестокими и ослепленными алчностью ни один из доводов этих не имеет власти, и пытаться смягчить их мольбами, подкупить дарами или запугать угрозами – чистая потеря времени. И вот, узнав, к сожалению, слишком поздно всю твою жестокость, властолюбие и гордыню, мы являемся к тебе не просить о чем-либо и не в надежде чего-либо добиться, если бы мы даже стали просить, но чтобы напомнить тебе о многочисленных услугах, оказанных тебе миланским народом, и заставить тебя почувствовать, какой неблагодарностью ты ему отплатил, дабы среди обрушившихся на нас бедствий мы получили хотя бы удовлетворение от того, что высказали тебе правду в лицо. Ты без сомнения отлично помнишь, в каком положении оказался после смерти герцога Филиппо. Папа и король были твоими врагами. Ты порвал с венецианцами и флорентийцами и стал для них почти врагом, ибо они справедливо считали себя совсем недавно обиженными тобой и, кроме того, уже не нуждались в тебе. Ты изнемогал от тягот войны, которую вел с Церковным государством, не было у тебя ни солдат, ни денег, ни друзей, ни хотя бы надежды сохранить свои владения и свою прежнюю славу. И ты бы с легкостью мог совсем погибнуть, если бы не наша простота, ибо одни мы приняли тебя к себе ради уважения к блаженной памяти нашего герцога. Ты недавно заключил в доме его брачный союз и вступил с ним в дружбу, и потому мы понадеялись, что эти дружеские чувства распространятся и на нас, его наследников, и что если к его благодеяниям присовокупить и наши, дружба эта не только укрепитя, но станет неразрывной, и для этого мы к прежним своим обещаниям добавили Верону и Брешу. Могли бы мы пообещать тебе что-нибудь еще большее? А ты, чего мог бы ты тогда не скажу добиться, а просто пожелать от нас или от кого другого? Однако ты получил от нас нежданное благо, мы же в награду получаем от тебя нежданное зло.

Ты, впрочем, не медлил до сегодняшнего дня, чтобы раскрыть всю испорченность души своей, ибо едва стал военачальником нашим, как вопреки всякому праву завладел Павией, и это было первое предупреждение – чего нам ждать от твоей дружбы. Однако обиду эту мы снесли в надежде, что столь значительное приобретение насытит твою алчность. Увы! Те, кто домогаются всего, не удовлетворяются какой-то частью. Ты посулил нам все твои будущие завоевания, прекрасно зная, что кто дает от раза к разу, может все данное разом же и отнять, как и случилось с победой при Карваджо: подготовил ты ее нашей кровью и нашими деньгами, а завершил нашей же гибелью. Да, несчастные те города, коим приходится защищать свою свободу от властолюбия угнетателей, но еще более несчастные те, которые вынуждены искать защиты, используя оружие таких неверных наемных войск, как твои! Пусть хотя бы этот наш пример послужит на пользу потомкам, раз мы ничему не научились на примере Фив и Филиппа Македонского, каковой после победы над их врагами сам из их полководца стал для них сперва врагом, а затем повелителем.

Итак, единственная наша вина – это чрезмерное доверие к тому, кто никакого доверия не заслуживал, ибо вся твоя жизнь, безмерное твое честолюбие, не способное удовлетвориться никаким званием, никаким положением, могли бы нас насторожить. Не должны были мы возлагать надежды на того, кто предал владельца Лукки, вымогал деньги от флорентийцев и венецианцев, ни во что ставил герцога, презирал короля, а главное, так жестоко оскорбил самого Господа Бога и его церковь. Не должны были мы думать, что эти могущественные владыки для Франческо Сфорца значат меньше, чем жители Милана, и что он сдержит данное нам слово, если так часто нарушал его, давая другим.

Но безрассудство, в коем мы сами себя обвиняем, не оправдывает твоего вероломства и не смоеет бесчестия, которым заклеивают тебя перед всем светом справедливые наши жалобы, и не притупят жала нечистой совести, которое будет язвить тебя, когда ты станешь наносить нам удары оружием, нами самими вложенным тебе в руки, чтобы поражать наших врагов и нагонять на них ужас: тогда ты осознаешь, что заслужил казни, уготованной отцеубийцам. Если же властолюбие ослепит тебя, весь мир, свидетель твоего нечестия, откроет тебе глаза, сам Бог откроет тебе их, если правда, что не угодны ему вероломство, предательство, клятвопреступление и что не может он стать благосклонным к нечестивцам, хотя по неисповедимости путей своих к конечному благу он порою, казалось, допускал их победу. Так что и ты не льсти себя надеждой на легкую победу, ибо праведный гнев Божий не допустит ее. Мы же готовы жизнью пожертвовать за свободу, а если бы не удалось нам отстоять ее, то уж подчинимся мы кому угодно, только не тебе. Но если в наказание за грехи наши мы против всякой воли своей попадем тебе в лапы, будь уверен, что правление, начатое тобой с обмана и бесчестия, для тебя или

XXI

Хотя речи миланцев глубоко уязвили графа, он, не проявляя ни в поведении своей, ни в словах никакой особой горячности, ответил, что лишь гневной вспышке их приписывает он тяжкие оскорбления, содержащиеся в этих необдуманных речах, на каковые ответил бы особо, коли бы здесь присутствовал кто-либо, способный явиться судьей в их споре. Ибо тогда стало бы ясно, что он не намеревался причинять зла миланцам, а стремился только воспрепятствовать им причинить зло ему. Ибо сами они хорошо знают, как повели себя после победы при Караваджо: вместо того чтобы отдать ему в награду Верону или Брешу, они стали искать замирения с венецианцами, чтобы он один выступал в качестве врага, а они пользовались бы плодами победы, доброй славой миротворцев и всеми преимуществами, достигнутыми благодаря войне. Так что им не подобает жаловаться на то, что он заключил соглашение, которое сами они пытались заключить. Если бы он помедлил стать на этот путь, то теперь ему пришлось бы упрекать их в той самой неблагодарности, за которую они поносят его. Правда же это или нет, покажет в конце войны тот самый Бог, к коему они призывают о возмездии за нанесенную им обиду: он засвидетельствует, кто больше заслуживает его милости и кто выступал за более правое дело.

После отъезда послов граф стал готовиться к нападению на миланцев, которые со своей стороны начали принимать усиленные меры к обороне при содействии Франческо и Якопо Пиччинино, оставшихся из-за старинной вражды между семействами Браччо и Сфорца верными Милану и вознамерившихся защищать его свободу хотя бы до того часа, когда им удалось бы отвратить венецианцев от союза с графом, ибо они полагали, что эта верность и дружба ненадолго. Графу пришли на ум те же самые соображения, и он решил, что правильнее всего будет обеспечить дружбу венецианцев надеждой на выгоды, если уж одних договорных обязательств будет недостаточно. Так, при разработке плана военных действий он согласился на то, чтобы венецианцы ограничились нападением на Крему, а все другие операции на территории герцогства были поручены ему и другим войскам. Условия эти оказались для венецианцев настолько выгодными, что они продолжали держаться дружбы с графом до тех пор, пока он не занял всех миланских владений и невзятым оставался лишь сам город, так основательно осажденный, что жители его не могли снабжаться съестными припасами. Отчаявшись в возможности получить какую-либо иную помощь, они отправили своих представителей в Венецию с призывом сжалиться над их тяжелым положением и помочь им, как подобало бы во взаимоотношениях между республиками, защитить свою свободу от тирана, которого, если он завладеет Миланом, одним венецианцам в дальнейшем уже не обуздать: было бы ошибкой рассчитывать на то, что он будет держаться договорных обязательств и не пожелает завладеть всем, что входило в старые границы герцогства. Венецианцы еще не взяли Кремы и, стремясь захватить ее до изменения своей политики, громогласно заявили послам, что заключенное с графом соглашение не дает Венеции возможности помочь Милану, но в тайных беседах настолько ободрили их, что те смогли дать миланским правителям твердую надежду на помощь.

XXII

Граф со своими войсками был уже так близко от Милана, что схватки начались в самых предместьях города, и вот венецианцы, заняв Крему, решили, что нечего откладывать заключение союза с Миланом, и пришли с ним к полному соглашению, в котором прежде всего обещали защитить его независимость. Как только договор был подписан, они приказали своим солдатам, сражавшимся под началом графа, покинуть ряды его войск и возвратиться в Венецию, а затем официально сообщили графу о заключении ими мира с Миланом и дали ему двадцать дней сроку на присоединение к нему. Граф не был удивлен поступком венецианцев, ибо давно уже предвидел его и ежедневно опасался; тем не менее когда это произошло, он не мог не огорчиться и не ощутить того же, что почувствовали миланцы, когда он их предал. У послов, которых Венеция отправила к нему с извещением о мире, он попросил два дня для ответа, решив пока продержаться их при себе, не прекращая своих операций. Поэтому он громогласно заявил, что соглашается на этот мир, и послал в Венецию своих представителей, снабженных полномочиями для подписания его, но тайно велел им ни в коем случае ничего не подписывать, а, наоборот, придумывать всевозможные увертки и придирки, чтобы отсрочить вступление договора в силу. Чтобы еще больше усыпить бдительность венецианцев, он заключил с миланцами перемирие на месяц, отошел от города и, разделив свои войска, разместил их в тех пунктах, которые им уже были заняты. Такое поведение стало причиной его победы и привело к гибели

миланской свободы. Венецианцы, уверившись в том, что мир обеспечен, замедлили подготовку к военным действиям, а миланцы, ободренные перемирием, отходом неприятельских войск и дружественным отношением Венеции, легко убедили себя, что граф бесповоротно отказался от своих честолюбивых планов. Убеждение это оказалось для них вдвойне пагубным: во-первых, они не приняли достаточных мер для обороны; во-вторых, видя, что в округе нет неприятеля, воспользовались наступлением времени посева и засеяли значительную территорию, что позволило графу скорее заморить их голодом. Он же, напротив, извлек выгоду из всего, что получилось невыгодным его врагам, а перемирие дало ему передышку и возможность обеспечить себе подкрепление.

XXIII

Во время этой Ломбардской войны флорентийцы не поддерживали ни одной из сторон: они не помогали графу ни когда он защищал миланцев, ни после того Правда, и граф, не нуждаясь в их помощи, не обращался к ним с настоятельной просьбой о ней. Только после поражения венецианцев под Караваджо они послали им кое-какую подмогу, выполняя свои союзные обязательства. Но когда граф Франческо оказался один и ни к кому не мог обратиться за помощью, он был уже вынужден настоятельно просить о ней Флоренцию – открыто и официально флорентийское правительство, а частным образом своих друзей и прежде всего Козимо Медичи, с которым он постоянно поддерживал дружеские отношения и от которого получал во всех своих начинаниях мудрые советы и самую действенную помощь. И в данных столь тяжелых для друга обстоятельствах Козимо не оставил его: как частное лицо он щедро помог ему и вдохнул в него мужество для продолжения начатого дела. Он хотел также, чтобы Флоренция открыто оказала ему поддержку, но как раз это и было весьма трудно.

Нери ди Джина Каппони являлся тогда во Флоренции самым могущественным лицом, а он не считал для государства выгодным, чтобы граф завладел Миланом, – напротив, он полагал, что для всей Италии будет лучше, если граф подпишет мирный договор, чем если он вздумает продолжать войну. Прежде всего он опасался, как бы миланцы от осады и раздражения не отдались под власть Венеции, что было бы гибелью для всех. С другой стороны, если бы даже графу удалось захватить Милан, столько войск и столько земельных владений в одних руках представляли бы слишком грозную силу, а сам Сфорца, еще будучи графом, невыносимый в своем честолюбии, стал бы в качестве герцога еще невыносимей. По его мнению, и для Флоренции, и для всей Италии было бы куда выгоднее, если бы за графом оставалась его слава полководца, а Ломбардия разделилась бы на две республики, которые никогда не объединились бы против своих соседей, а каждая в отдельности для нападения была бы недостаточно сильной. Лучшим же средством для достижения этой цели он считал не помогать графу, а держаться прежнего союза с Венецией.

Сторонники Козимо эти доводы отвергали, считая, что Нери утверждает это не потому, что заботится об интересах государства, а для того, чтобы граф, друг Козимо, не стал герцогом и через это не усилилось бы влияние Козимо во Флоренции. Козимо же со своей стороны приводил основательные доводы в доказательство того, что помогать графу было бы в интересах и флорентийской республики, и всей Италии. Он считал неразумным верить в то, что Милан сможет сохранить свою свободу, ибо характер его граждан, их порядки и обычаи, их старинные разногласия – все это препятствует любой форме народно-республиканского правления, так что неизбежно все придет к тому, что либо граф станет герцогом, либо Милан захватят венецианцы. А если уж выбирать из этих двух возможностей, то не найдется такого безумца, который предпочел бы иметь соседом не могущественного друга, а еще более могущественного врага. Кроме того, он считал, что хотя миланцы и воюют с графом, вряд ли они охотно пойдут в подданство к Венеции, ибо у графа в Милане есть сторонники, а у венецианцев их нет, так что если уж миланцы убедятся, что не могут сохранить свою свободу, они с большей охотой подчинятся графу, чем Венеции.

Это различие взглядов долгое время держало республику в нерешительности. Под конец же постановлено было направить к графу послов для переговоров о соглашении с указанием: если он окажется по всем данным достаточно сильным, чтобы рассчитывать на победу, заключить с ним это соглашение, в противном случае оттягивать под любым предлогом и выжидать.

XXIV

Послы находились в Реджо, когда до них дошла весть, что граф завладел Миланом. И действительно, едва истек срок перемирия, как он со всем своим войском двинулся на город в надежде захватить его с налета и не обращая внимания на

венецианцев, ибо те могли оказать помощь миланцам лишь со стороны Адды, а преградить этот путь графу было бы нетрудно. Дальнейших военных действий с их стороны он не опасался, так как наступила зима, и к тому же он рассчитывал добиться полной победы еще до ее окончания, тем более, что Франческо Пиччинино умер и во главе миланского войска оставался только брат его Якопо. Венецианцы отправили в Милан своего посла, чтобы призвать граждан к решительной обороне, обещая им при этом скорую и мощную подмогу.

В течение зимы между графом и венецианцами произошло несколько незначительных стычек. С наступлением же более мягкой погоды венецианские войска во главе с Пандольфо Малатестой расположились на берегу Адды. Там началось обсуждение вопроса, следует ли для оказания помощи Милану напасть на графа, причем Пандольфо, их военачальник, хорошо зная воинское искусство графа и высокое качество его войск, посоветовал этого не делать: по его мнению, сражение было не нужно, так как недостаток хлеба и фуража все равно принудит графа уйти. Он предложил, впрочем, оставаться на занятых позициях, чтобы поддерживать в миланцах надежду на помощь, ибо, впад в отчаяние, они, чего доброго, сдались бы графу. Венецианцам советы эти пришлись по сердцу, как наиболее безопасные. Кроме того, они рассчитывали, что необходимость выбирать между ними и графом заставит миланцев предпочесть их господство: считалось, что графу они никогда не сдадутся – слишком уж много от него натерпелись.

Миланцы между тем дошли до крайней нужды. В многолюдном их городе было, естественно, много бедняков, которые помирали с голоду прямо на улицах. Повсюду слышался ропот и жалобы, весьма пугавшие городские власти, которые ревностно принимали меры к тому, чтобы не было никаких сборищ. Толпу не так-то легко направить по дурному пути, но раз уж она к нему склоняется, для вспышки достаточно малейшего пустяка.

Случилось, что два горожанина довольно простого звания завели у Порта Нуова беседу о бедствиях, переживаемых городом, о собственном злосчастном положении и о том, как искать спасения. К ним стали присоединяться другие, и толпа эта настолько увеличилась, что по Милану пробежал слух, будто у Порта Нуова вооруженный народ взбунтовался против властей. Народ, который только ожидал толчка, мгновенно взялся за оружие, избрал главарем Гаспарре да Викомеркато и ринулся туда, где находились в сборе все должностные лица, накинувшись на них с такой яростью, что перебили всех, кто не успел спастись бегством. Умертвили даже Лионардо Веньера, венецианского посла, как виновника их голодания, весьма к тому же довольного постигшей Милан бедой.

Став таким образом почти полными хозяевами города, они стали обсуждать, как теперь поступить, чтобы избавиться от всех этих бедствий и хоть немного передохнуть. Все понимали, что свободы им не сохранить и необходимо отдаться под покровительство какого-либо государя, способного обеспечить им защиту. Одни предлагали Альфонса, другие герцога Савойского, третьи, наконец, короля Франции; о графе никто не заикнулся – настолько сильным было еще негодование, которое он вызвал против себя. Однако ни к какому соглашению они прийти не смогли, и тогда Гаспарре да Викомеркато первым назвал графа.

Он принялся обстоятельно доказывать, что если миланцы хотят избавиться от тягот войны, обращаться надо только к графу, ибо народу миланскому нужен скорый и верный мир, а не длительная надежда на какую-то будущую подмогу. Он даже оправдывал действия графа и обвинял Венецию, а также все другие итальянские государства, которые – одни из-за своего честолюбия, другие по своекорыстию – не давали Милану быть свободным. Раз уж от свободы надо отказаться, ее следует отдать в такие руки, которые способны защитить миланцев, так чтобы от подчинения возник хотя бы мир, а не еще худшие бедствия и более гибельная война.

Выслушали его с достойным удивления вниманием, и едва он кончил, все единогласно крикнули, что надо призвать графа, и тотчас же назначили Гаспарре послом к Сфорца для приглашения его в город. Таким образом, по народному волеизъявлению Гаспарре отправился к графу с этой счастливой и радостной для него вестью. Граф принял ее с величайшим удовлетворением и, вступив 26 февраля 1450 года в Милан как его государь, был, к удивлению, принят с живейшим изъявлением радости теми, кто совсем недавно с такой ненавистью поносил его.

XXV

Когда известия обо всех этих событиях дошли до Флоренции, послам, находившимся в дороге, дано было указание продолжать поездку, однако уже не для того, чтобы вести переговоры с графом, а для того, чтобы поздравить с победой герцога. Послы эти приняты были новым герцогом с честью и осыпаны знаками его внимания, ибо он знал, что против мощи Венеции нет у него более верных и доблестных союзников, чем флорентийцы, каковые, уже не страшась дома Висконти, понимали, что теперь им

предстоит бороться против объединенных сил арагонцев и венецианцев. Арагонские короли Неаполя были их врагами, ибо хорошо знали о дружеском расположении, которое флорентийский народ неизменно питал к французскому королевскому дому. Венецианцы же понимали, что прежний страх Флоренции перед Висконти превратился в новый уже перед ними, и, хорошо помня, как яростно враждовала она тогда с Висконти, опасались того же для себя и желали ее гибели. По этой причине новый герцог охотно сблизился с флорентийцами, а венецианцы объединились с королем Альфонсом против общего врага. Они обязались одновременно взяться за оружие с тем, чтобы король двинулся против Флоренции, а венецианцы против герцога, с которым они рассчитывали легко справиться, ибо государем он стал совсем недавно и можно было надеяться, что он не сможет удержаться ни с помощью одних своих сил, ни даже с помощью союзников.

Однако союз между Флоренцией и Венецией продолжал существовать, а король после военных действий у Пьомбино с флорентийцами замирился. Поэтому Венеция и король считали возможным нарушить мир лишь после того, как для войны найдется благовидный предлог. Оба государства отправили во Флоренцию послов, которые от имени короля и венецианского правительства заявили, что соглашение между ними заключено отнюдь не для того, чтобы кому-либо угрожать, а исключительно в целях обороны. Венецианский посол, кроме того, жаловался, что Флоренция разрешила Алессандро Сфорца, брату герцога, пройти с войском через Ломбардию и содействовала помощью и советом при заключении соглашения между герцогом и маркизом Мантуанским. Посол утверждал, что это направлено против интересов Венеции и не соответствует существующим между Флоренцией и Венецией добрым отношениям, и дружественно обращал внимание флорентийцев на то, что наносящий неосновательно обиду может ожидать вполне обоснованного воздаяния, а нарушающий мир должен ожидать войны.

Синьория поручила Козимо ответить венецианскому послу, и тот произнес пространную, весьма рассудительную речь. Он напомнил обо всех услугах, оказанных Флоренцией Венецианской республике, перечислил все, чем Венеция завладела с помощью флорентийских денег, солдат и советов, заявил, что как дружба между их республиками возникла по почину Флоренции, так никогда по ее почину не начнется между ними вражда, что, будучи всегда сторонниками мира, флорентийцы глубоко одобряют договор между Венецией и королем, если он действительно заключен ради мира, а не ради войны; Флоренция действительно удивлена упреками Венеции и тем, что республика столь могущественная придает такое значение пустякам. Но даже если бы об этих вещах стоило говорить, они только показывают, что проход через флорентийские владения свободен для всех, а герцог имеет право и возможность сговариваться с Мантуей без флорентийской помощи и советов. Поэтому у Флоренции есть, видимо, основания опасаться, что в этих претензиях Венеции имеется некое скрытое жало, и будь это действительно так, то всякий сможет убедиться, что если дружить с Флоренцией выгодно, то враждовать с ней опасно.

XXVI

Сперва все эти дела обошлись благополучно и, казалось, послы удалились в полном удовлетворении. Однако договор между Венецией и королем и их поведение вообще у флорентийцев и герцога вызвали скорее опасение новой войны, чем надежду на прочный мир. Поэтому флорентийцы теснее сблизились с герцогом, а между тем обнаружилось и враждебные намерения Венеции, ибо она вступила в соглашение с Сиеной и изгнала всех флорентийцев и всех подданных Флоренции из своих владений. Немного времени спустя так же поступил и король Альфонс с полным пренебрежением к заключенному за год перед тем миру, и не только безо всякой причины, но даже без малейшего повода. Венецианцы попытались перетянуть на свою сторону Болонью: они вооружили болонских изгнанников, усилили их своими отрядами, и те ночью проникли в город через сточные трубы. Об их появлении узнали только тогда, когда сами они подняли крик. Услышав шум, Санти Бентивольо вскочил с постели и узнал, что город в руках мятежников. Хотя многие советовали ему бежать и спасти хотя бы свою жизнь, поскольку все равно ему не удастся спасти государство, он тем не менее решил бросить вызов судьбе, взялся за оружие, вдохнул мужество в своих сторонников и, возглавив отряд, состоящий из близких его друзей, напал на группу мятежников, разгромил их, перебил большую часть, а прочих выгнал из города. Так что теперь все могли убедиться, что он действительно самый настоящий Бентивольо.

Это дело лишь укрепило во Флоренции уверенность в предстоящей войне. Поэтому флорентийцы прибегли тотчас же ко всему, что они обычно предпринимали в подобных обстоятельствах: назначили совет Десяти, взяли на жалованье новых кондотьеров, направили в Рим, Неаполь, Венецию, Милан, Сиену послов, которым поручили обратиться за помощью к друзьям, успокоить подозрительных, заручиться сочувствием колеблющихся и раскрыть намерения врагов. От папы не добились

ничего, кроме общих изъявлений сочувствия, дружественного расположения и призывов к миру; от короля – ничего, кроме ни к чему не обязывающих извинений по поводу высылки флорентийских граждан и предложения выдать свободные пропуска всем, кто этого пожелает. И хотя король старался, как только мог, скрыть дурные свои намерения, послы все же обнаружили его враждебные замыслы и те многочисленные приготовления, которые он делал для того, чтобы погубить их республику.

Союз с герцогом подкрепили еще рядом взаимных обязательств и благодаря его посредничеству восстановили добрые отношения с Генуей, покончив со всевозможными старыми счетами и другими спорами, хотя венецианцы всеми силами старались сорвать это соглашение и дошли до того, что добивались у константинопольского императора изгнания флорентийцев из его владений. С такой ненавистью вступали они в войну и до того владела ими жажда власти, что они безо всякого стыда стремились уничтожить тех, с чьей помощью достигли величия. Однако император им не внял. Венецианский сенат не допустил флорентийских представителей в свои владения под тем предлогом, что, будучи в союзе с королем, венецианцы не могут ни о чем договариваться без его участия. Сиенцы встретили флорентийских послов с дружескими излияниями: они боялись, что их разобьют еще до того, как Венеция и король смогут им помочь, и решили усыпить бдительность тех сил, противостоять которым были не в состоянии. Обстоятельства складывались так, что и венецианцы решили для оправдания войны тоже направить во Флоренцию послов. Но венецианские уполномоченные во флорентийские владения допущены не были, а королевский чел невозможным выполнять без их участия данное ему поручение, так что из этого посольства ничего не получилось, а венецианцы смогли убедиться, что флорентийцы считаются с ними еще меньше, чем они несколько месяцев назад посчитались с флорентийцами.

XXVII

Как раз в самый разгар опасений, вызывавшихся этими делами, император Фридрих III прибыл в Италию короноваться и 3 января 1451 года вступил во Флоренцию во главе полутысячи всадников. Он был с величайшими почестями принят Синьорией и оставался в городе до 6 февраля, когда отбыл в Рим на коронацию. Получив из рук папы венец и отпраздновав свадьбу с императрицей, которая прибыла в Рим морем, он отправился обратно в Германию и в мае снова проехал через Флоренцию, где ему снова были оказаны те же самые почести. На этом обратном пути маркиз Феррарский оказал императору кое-какие услуги, за что и получил от него в благодарность Модену и Реджо. Флорентийцы же в это время тщательно готовились к неминуемой войне, и, чтобы укрепить свое положение и нагнать страху на врагов, они совместно с герцогом вступили в союз с королем Франции для обороны своих государств, о чем с великим торжеством и радостью оповестили всю Италию.

Но вот наступил май 1452 года. Венецианцы решили, что нечего больше откладывать начало военных действий против герцога, и их шестнадцать тысяч всадников и шесть тысяч пехотинцев напали на него со стороны Лоди, между тем как маркиз Монферратский, из личных ли побуждений или натравленный венецианцами, совершил нападение со стороны Алессандрии. Герцог, со своей стороны, собрав восемнадцать тысяч конных и три тысячи пеших, оставив охрану в Алессандрии и Лоди и соответственно укрепив все пункты, которые могли подвергнуться вражеской атаке, вторгся со своим войском на земли Бреши, где нанес венецианцам великий ущерб: так обе стороны опустошали страну и грабили неукрепленные города, слишком слабые для сопротивления. Но герцогские войска разбили маркиза Монферратского у Алессандрии, так что герцог мог противопоставить венецианцам еще новые силы и с ними напасть на их земли.

XXVIII

Пока в Ломбардии шли военные действия разного характера, не заслуживающие особого упоминания, в Тоскане тоже началась война между флорентийцами и королем Альфонсом; но и в ней никто не проявлял большей доблести и не подвергался большей опасности, чем в Ломбардии. В Тоскану вторгся Ферранте, побочный сын Альфонса, с двенадцатитысячным войском под началом Федерико, владетеля Урбино. Прежде всего они атаковали Фойяно в Валь-ди-Кьяна, ибо именно с этой стороны вступили во флорентийские владения, будучи в союзе с Сиеной. Эта небольшая крепость была окружена непрочными стенами, и людей в ней находилось немного, но по тому времени они считались верными и воинственными. Кроме того, флорентийская Синьория прислала еще двести солдат для ее защиты. Ферранте осадил этот столь слабо защищенный замок, но таковы были либо доблесть осажденных, либо его собственное ничтожество, что он смог завладеть им лишь через тридцать шесть

дней. Эта проволочка позволила флорентийцам основательно укрепить другие, более значительные пункты, собрать все свои войска и вообще подготовиться к обороне лучше, чем когда-либо. Взяв эту крепость, неприятель двинулся с Кьянти, но не смог захватить даже двух усадеб, принадлежавших отдельным горожанам. Обойдя их, он осадил Каstellину на самой границе Кьянти, в десяти милях от Сиены, крепость, и плохо укрепленную, и еще хуже для обороны расположенную. Однако двойная эта слабость не смогла все же превзойти слабости осадившего Каstellину войска, которое после сорокачетырехдневной осады с позором отступило. Столь грозными были тогда войска и столь опустошительными войны, что те пункты, которые теперь считается невозможным оборонять, тогда защищались в качестве неприступных.

Находясь на территории Кьянти, Ферранте делал частые набеги и на флорентийские владения; собирая довольно значительную добычу, он приближался даже на шесть миль к самой Флоренции, а на флорентийских подданных нагонял немало страха и наносил им немалый урон. Флорентийцы же в то же самое время двинули свои войска в количестве восьми тысяч солдат под началом Асторре да Фаенца и Сиджисмондо Малатеста к замку Колле, стараясь не приходить в соприкосновение с неприятелем и избегать сражения, ибо считали, что, не проиграв его, и войны не проиграют: малые крепости же, хотя бы и взятые неприятелем, будут возвращены по заключении мира, а за крупные города можно не беспокоиться, – неприятель неспособен ими завладеть. У короля имелся также флот из двадцати или около того судов, транспортных и галер, у побережья Пизы; пока на суше осаждали Каstellину, он двинул этот флот к замку Вада, которым и завладел по недосмотру каstellлана. Это дало неприятелю возможность совершать набеги на всю округу, которые, однако, флорентийцам удалось с легкостью прекратить, послав в Кампилью немногочисленный отряд, вполне достаточный для того, чтобы не давать врагу воли на побережье.

XXIX

Глава церкви не вмешивался во все эти столкновения, разве что с целью восстановить мир между воюющими. Однако, избегая внешней войны, он чуть было не оказался вынужден вести внутреннюю и притом куда более опасную. Жил тогда в Риме некий мессер Стефано Поркари, римский горожанин, человек ученый, благородного происхождения, но еще более благородной души. По обыкновению всех людей, домогающихся славы, стремился он совершить или хотя бы попытаться совершить что-либо достойное сохраниться в памяти потомства. И вот он рассудил, что самым лучшим делом была бы попытка вырвать отечество из рук духовенства и вернуть его к прежнему образу государственной жизни. При этом он уповал, что в случае успеха прозван будет новым основателем и вторым отцом отечества, а надежду его питали нравственное разложение духовенства и недовольство баронов и народа римского. Превыше же всего вдохновлялся он стихами Петрарки из канцоны, начинающейся словами

Дух, коему послушно наше тело,

где поэт говорит:

И всадника ты на скале Тарпейской
Увидишь: он за то у всех в почете,
что ради них собой пренебрегает.

Мессер Стефано знал, что поэты нередко одержимы бывают духом божественным и пророческим, и вообразил он, что предсказанное в этой канцоне Петраркой должно обязательно осуществиться, а совершителем столь славного дела надлежит быть ему, ибо нет в Риме никого, кто превосходил бы его красноречием, ученостью, всеобщим уважением и количеством друзей. Весь охваченный этими помыслами, не сумел он вести себя настолько осторожно, чтобы замыслы его не проявились в речах, в обхождении, во всем образе жизни, так что вскоре стал он подозрителен главе церкви, и тот, дабы не представился мессеру Стефано случай что-либо вредоносное предпринять, выслать его в Болонью, а правителю этого города велел ежедневно проверять, находится ли он на месте. Эта препона отнюдь не поколебала мессера

Стефано, и он с еще большей настойчивостью стал преследовать свою цель: принимая все меры предосторожности, какие только мог, он поддерживал тайные сношения с друзьями и не однажды ездил в Рим и возвращался обратно так скоро, что мог являться к правителю Болоньи в назначенный час.

И вот, когда мессер Стефано счел, что сторонников у него уже вполне достаточно, он решил больше не медлить и поручил находившимся в Риме друзьям устроить в некий назначенный им день роскошное празднество, на которое приглашались все заговорщики с их наиболее верными друзьями, сам же обещал, что появится среди них еще до окончания пира. Все устроено было согласно его плану, и мессер Стефано прибыл в дом, где начался ужин. По окончании пиршества он появился перед собравшимися в златотканой одежде с ожерельями и другими украшениями, от чего казался еще величественнее, и обнялся со всеми, призывая их в пространной речи вооружиться мужеством для великого и славного дела. Затем он разделил их на два отряда, поручив одному на следующее утро захватить папский дворец, а другому выйти на улицы Рима и призвать народ к оружию. Ночью, однако, папе стало известно о заговоре – по мнению одних, кое-кто из участников оказался предателем, по мнению других, власти проведали о прибытии Стефано в Рим. Как бы то ни было, но в ту же самую ночь папа велел схватить его, так же как и большую часть его сообщников, а затем все они преданы были казни соответственно мере их вины. Так закончилось это предприятие. Разумеется, можно приветствовать намерение Стефано, но каждый осудит его безрассудство, ибо если подобные замыслы и кажутся не лишенными благородства, осуществление их почти всегда бывает обречено на погибельную неудачу.

XXX

Война в Тоскане продолжалась уже около года. Весной 1453 года возобновились военные действия, и вот в помощь флорентийцам подошел брат герцога Алессандро Сфорца с двумя тысячами всадников. Таким образом, флорентийское войско усилилось по сравнению с королевским. Флорентийцы решили, что пора им начать отвоёвывать занятые королем земли, и, действительно, часть их без особого труда отбили. Затем они осадили Фойано, которое по недосмотру комиссаров было разграблено. Разбежавшиеся во все стороны жители с большой неохотой вернулись обратно – для этого пришлось поощрять их снятием налогов и другими льготами. Взяли также замок Вала, ибо неприятель, видя невозможность защищаться там, поджег его и затем оставил. Пока флорентийское войско действовало таким образом, арагонцы, не решаясь войти в соприкосновение с неприятелем, ушли под защиту укреплений Сиены, откуда совершали частые набеги на флорентийские земли, учиняя разорение, грабежи и нагоняя на жителей великий страх. Король начал раздумывать, нет ли какого еще способа напасть на врага, разделить его силы и, донимая его новыми трудностями, произвести в неприятельском войске упадок духа.

Владетелем Валь-ди-Баньо был Герардо Гамбакорти. По дружбе или в благодарность за что-либо, но он и все его предки всегда находились на службе у флорентинцев, или под ее покровительством. Король Альфонс вступил с ним в переговоры, предлагая, чтобы Гамбакорти уступил ему свое владение в обмен на другие в пределах Неаполитанского королевства. Во флоренции проведали об этих отношениях, и, дабы выведать подлинные намерения Гамбакорти, к нему отправили посла, который должен был напомнить ему о его и его предков обязательствах и призвать к сохранению верности флорентийской республике. Герардо изобразил полное недоумение, принялся всячески клясться, что никогда столь гнусный помысел не возникал в его душе и что он сам охотно отправился бы во флоренцию в качестве заложника, но так как сейчас он недомогает, вместо него сделает это его сын, и он передал послу своего сына, чтобы тот отвез его во флоренцию. Речи эти и дела убедили флорентийцев в искренности Герардо и в том, что его обвинитель легкомысленный выдумщик, на чем все и успокоились. Однако Герардо стал еще усиленнее сговариваться с королем. Они пришли к соглашению, и король послал в Валь-ди-Баньо брата Пуччо, рыцаря Иерусалимского ордена, во главе сильного отряда войск занять все замки и населенные места, принадлежавшие Герардо. Однако население Баньо, привязанное к флорентийской республике, весьма неохотно выразило покорность комиссарам короля.

Брат Пуччо завладел уже большей частью этих земель, оставалось только занять крепость Корцано. Среди лиц, сопровождавших Герардо при передаче его владений королю, был пизанец Антонио Гваланди, молодой и пылкий, крайне возмущенный предательством Герардо. Осмотрев расположение крепости и понаблюдав за людьми, охранявшими ее, он по их лицам и жестам понял, что они тоже недовольны. Герардо стоял у ворот и уже намеревался впустить арагонцев, как вдруг Антонио бросился туда же, обеими руками вытолкнул Герардо наружу и велел страже запереть за ним ворота и сохранить крепость флорентийской республике. Едва лишь об этом

прослышали жители Баньо и соседних мест, как весь тамошний народ восстал против арагонцев и, подняв флорентийские знамена, изгнал их из области. Когда весть об этих событиях дошла до Флоренции, сына Герардо, оставленного в заложники, заключили в темницу, а в Баньо послали войска для защиты этих земель, которые из ленного владения превратили в наместничество. Герардо, предатель своего сюзерена и своего родного сына, с большим трудом спасся, оставив жену свою со всей семьей и имуществом во власти неприятеля. Этот успех был во Флоренции оценен по достоинству, ибо если бы королю удалось завладеть Баньо, он мог бы беспрепятственно проникать и в долину Тибра, и в Казентино, что создало бы большие затруднения для республики, и флорентийцы не смогли бы бросить все свои силы против находившихся под Сиеной арагонских войск.

XXXI

Кроме всех тех мер, которые флорентийцы приняли в Италии для противодействия венецианско-неаполитанскому союзу, они отправили мессера Аньоло Аччаюоли послом к королю Франции с поручением договориться о том, чтобы король предоставил Рене Анжуйскому возможность и средства прибыть в Италию для оказания поддержки герцогу и Флоренции, защиты своих друзей, а также возвращения себе неаполитанского престола. Со своей стороны они обещали ему помощь людьми и деньгами. Итак, в то время как в Ломбардии и Тоскане шли уже описанные нами военные действия, флорентийский посол заключил с королем Рене соглашение, по которому тот обязался, прибыв в июне в Италию, привести с собой две тысячи четыреста всадников. По прибытии его в Александрию союзники со своей стороны должны были выплатить ему тридцать тысяч флоринов единовременно, а затем ежемесячно выдавать по десяти тысяч, пока будет продолжаться война. Однако, когда Рене во исполнение этого договора вознамерился двинуться в Италию, герцог Савойский и маркиз Монферратский, друзья венецианцев, не дали ему пройти через свои владения. Тогда флорентийский посол посоветовал Рене помочь союзникам другим способом: вернуться в Прованс, морем добраться с немногочисленной свитой в Италию и уговорить, кроме того, короля Франции, чтобы тот добился от герцога Савойского пропуска анжуйских войск через его земли. Это и было весьма успешно сделано: Рене морем прибыл в Италию, а войска его из уважения к королю Франции были допущены на территорию Савойи. Франческо, герцог Миланский, с величайшим почетом встретил короля Рене, и объединенные итальянские и французские силы с такой яростью обрушились на венецианцев, что в самое короткое время вернули все то, что в Кремонской области захвачено было венецианскими войсками. Не довольствуясь этим, они завладели также почти всеми землями Бреши, так что венецианские войска, опасаясь столкновения в открытом поле, отступили под защиту укрепленной Бреши.

Однако с наступлением зимы герцог решил перевести свои войска на зимние квартиры, а королю Рене для этой цели предоставил Пьяченцу. Так провели они зиму 1453 года, ничего не предпринимая. Когда же пришла весна и герцог собрался возобновить военные действия, чтобы отобрать у венецианцев все их владения на суше, король Рене заявил герцогу, что вынужден возвратиться во Францию. Услышав эту совершенно неожиданную для себя новость, герцог крайне расстроился; однако, явившись немедленно к королю, он ни просьбами, ни посулами не смог изменить его решения. Рене согласился только оставить часть своего войска в Ломбардии и прислать вместо себя к союзникам сына своего Жана. Флорентийцев это вполне устраивало. Вернув себе все свои города и крепости, они уже не боялись короля Альфонса и к тому же вовсе не желали, чтобы герцог завладел в Ломбардии чем-либо, кроме того, что принадлежало ему раньше. Таким образом, Рене уехал, а сына своего послал в Италию; тот же, не остановившись в Ломбардии, направился во Флоренцию, где принят был с великим почетом.

XXXII

С отъездом короля герцог тоже стал склоняться к миру. Венецианцы, Альфонс и флорентийцы тоже достаточно устали и всячески стремились к нему. Папа и до того все время заявлял о необходимости установить мир, и теперь настаивал на этом, ибо в том же году турецкий султан Мухаммед взял Константинополь и подчинил себе всю Грецию. Это завоевание повергло в скорбь всех христиан, особенно Венецию и папу, и всем казалось, что турки вот-вот появятся в Италии. Поэтому папа обратился ко всем итальянским государствам с призывом прислать в Рим своих представителей с полномочиями для заключения всеобщего мира. Все на это согласилось, но когда начали обсуждать статьи мирного договора, возникло множество трудностей. Король Альфонс требовал, чтобы флорентийцы возместили ему военные расходы, Флоренция выдвигала те же самые притязания. Венецианцы

требовали у герцога Кремону, герцог у них – Бергамо, Брешу и Крему. Затруднения представлялись непреодолимыми. Однако то, чего в Риме при участии стольких государств было так трудно достичь, для двух из них в Милане и Венеции оказалось легче легкого, ибо, пока в Риме переговоры подвигались с таким трудом, герцог и венецианцы 9 апреля 1454 года заключили мир. По условиям его каждая сторона сохраняла то, что принадлежало ей в начале войны; Сфорца предоставлялось право вернуть себе то, что отняли у него герцог Савойский и маркиз Монферратский, и всем прочим итальянским государствам давался месяц на то, чтобы присоединиться к этому договору. Папа, Флоренция, Сиена и другие менее значительные государства подписали его в течение указанного срока. Не довольствуясь этим, Флоренция, герцог и Венеция заключили также общий мир на двадцатипятилетний срок.

Из итальянских государей один король Альфонс выказал недовольство этим миром, ибо считал, что к нему не было проявлено достаточного уважения: он фигурировал в договоре не как одна из главных сторон, а лишь в качестве присоединяющегося. Поэтому он долгое время не соглашался ставить свою подпись, не раскрывая и своих дальнейших намерений. Однако после того, как папа и другие государи отправили к нему не одно торжественное посольство, он уступил – особенно уговорам папы – и подписал от своего имени и от имени своего сына мир на тридцать лет.

С герцогом король даже породнился: они взаимно переженили своих сыновей и дочерей. Однако, словно для того чтобы в Италии всегда могло пустить ростки семя раздора. Альфонс согласился на мир лишь при условии, что участники договора не воспрепятствуют ему вести войны с Генуей, Сиджисмондо Малатестей и Асторре, владетелем фаенцы. После подписания договора сын его ферранте оставил Сиену и возвратился в королевство, ничего в Тоскане не приобретя и только потеряв значительную часть своего войска.

XXXIII

С достижением, наконец, всеобщего мира оставалось лишь опасение, как бы король Альфонс по враждебности своей генуэзцам не нарушил его. Однако все повернулось по-другому. Не король открыто нарушил мир, а как это всегда и раньше случалось, – честолюбивые притязания наемников. Когда мир был заключен, венецианцы по обычаю уволили со службы Якопо Пиччинино, который командовал их войском. Но к нему присоединилось несколько других кондотьеров, тоже оставшихся без дела, и, пройдя через Романью, они вторглись на территорию Сиены. Там они остановились, Якопо предпринял против сиенцев военные действия и отнял у них несколько городов. В это же время, в начале 1455 года, скончался папа Николай и на место его избран был Каликст III. Дабы в зародыше задушить эту столь близкую к его владениям войну, новый глава церкви поспешил послать против кондотьеров сколько мог собрать войска под началом своего полководца Джованни Вентимилья, который и присоединился к войскам Флоренции и герцога, тоже посланным для подавления кондотьеров. У Больсены произошло сражение, и хотя Вентимилья попал в плен, Якопо проиграл битву. Он в полном беспорядке отошел в Кастильоне-делла-Пескайя и был бы совершенно уничтожен, не помоги ему король Альфонс деньгами. Тогда у всех возникло подозрение, что Якопо затеял это дело по наущению короля. Тот, подумав, что его замыслы обнаружены, решил мирными усилиями вернуть себе дружбу союзников, которые из-за этой совершенно нестойкой войны превратились чуть ли не во врагов его: благодаря его вмешательству Якопо вернул сиенцам захваченные у них города за выкуп в двадцать тысяч флоринов. После этого соглашения Альфонс впустил Якопо с его солдатами в свое королевство и дал им приют.

В то же время, хотя папа и постарался прежде всего обуздать Якопо Пиччинино, он не забывал и о мерах, необходимых для спасения христианского мира, находившегося под сильнейшим давлением турок. Поэтому он разослал по всем христианским странам послов и проповедников с призывом к государям и народам вооружиться во имя своей веры и кровью своей, и деньгами поддержать движение против общего врага всех христиан. Во Флоренции собрано было много пожертвований, и многие граждане надели на грудь красный крест, ожидая лишь знака выступить. Совершались также торжественные процессии, а власть имущие и частные лица наперебой старались первыми проявить готовность послужить столь великому делу советом, денежными средствами или поставкой солдат. Однако крестоносный пыл этот слегка остыл, когда распространилась весть, что турецкий султан, осадивший со своим войском венгерскую крепость Белград на реке Дунае, был венграми разбит и ранен в бою. Папа и все христиане, избавленные этой победой от страха, вызванного в них падением Константинополя, стали медленнее готовиться к войне. Да и сами венгры после смерти Джованни Вайвода, одержавшего победу под Белградом, тоже утратили свою рьяность.

Возвращаясь, однако же, к итальянским делам, я расскажу, как в течение 1456 года, после окончания всех смут, учиненных Якопо Пиччинино, и после того, как люди сложили, наконец, оружие, вдруг показалось, что за оружие взялся сам Бог: столь чудовищным был ураган, обрушившийся на Тоскану и наделавший бед, не только неслыханных в прошлом, но таких, что и потомки наши не смогут слышать о нем без изумления и ужаса. 24 августа за час до рассвета с Адриатического моря, севернее Анконы, поднялся смерч, состоящий из густых туч. Он прошел через всю Италию и разбился в море южнее Пизы, занимая пространство шириною около двух миль. Гонимый вышними силами, природными или сверхъестественными, мчался он, и в нем все кипело и билось, словно ведя какую-то внутреннюю борьбу: отдельные клочья туч то устремлялись ввысь, то, припадая к земле, сталкивались друг с другом, то начинали вращаться с ужасающей быстротой, гоня перед собой неслыханной ярости ветер, и во всем этом борении возникали какие-то огни и ослепительные молнии. Разорванные тучи, дикие порывы ветра, вспышки молний – все это вместе порождало грохот, который нельзя было сравнить ни с гулом землетрясения, ни с громовыми раскатами; грохот, внушавший такой ужас, что все, кому довелось его слышать, подумали, будто наступил конец света, и вода, земля, все стихии перемешались, чтобы вернуться в состояние первобытного хаоса. Повсюду, где проходил этот грозный смерч, он творил дела неслыханные и поразительные, но самые примечательные из них совершились вблизи замка Сан-Кашьяно. Замок этот, находящийся в восьми милях от Флоренции, возвышается на холме, разделяющем долины Пезы и Гриве. Смерч мчался как раз в пространстве, отделявшем этот замок от города Сант-Андреа на тех же холмах. Сант-Андреа он совершенно не задел, в Сан-Кашьяно сорвал лишь несколько башенных зубцов да трубы немногих домов, но между замком и городком многие здания были просто сровнены с землей. Кровли церковей Сан Мартина а Баньоло и Санта Мария делла Паче были сорваны и в целости, неразрушенные, отнесены на расстояние более мили. Одного возчика с его мулами смело с дороги в одну из близлежащих ложин, где он и был найден мертвым. Самые мощные дубы, самые крепкие деревья, пытавшиеся устоять под этим свирепым ударом, вырвало с корнем и унесло далеко в сторону. Как только смерч прошел и кругом просветлело, люди словно оцепенели от ужаса. Они видели вокруг только разрушение и опустошение, развалившиеся дома и церкви, они слышали плач и жалобы тех, чье добро погибло и у кого под рухнувшими стенами остались насмерть раздавленные родичи и домашний скот. Невозможно было видеть и слышать все это без величайшего сострадания и ужаса. Нет сомнения, однако, что Господу Богу угодно было не столько покарать Тоскану, сколько пригрозить ей. Ибо, если бы страшная эта буря встретила на пути своем город с многочисленными домами и густым населением, а не дубы, роши и редкие строения, бич этот наделал бы бед, которые даже трудно вообразить. Но Богу угодно было в тот день показать лишь малый пример, дабы люди вспомнили о нем и о его всемогуществе.

Но вернемся к тому, от чего я отвлекся. Как уже было сказано, король Альфонс был недоволен заключенным миром. А так как беспричинная война, которую по его наущению Якопо Пиччинино затеял против сиенцев, не принесла ни малейшего успеха, он решил попытать счастья в тех войнах, которые по мирному договору ему вести не возбранялось. Поэтому в 1456 году он с моря и с суши напал на Геную, стремясь вернуть власть в этой республике семье Адорно и отнять ее у правивших тогда Фрегозо, а Якопо Пиччинино он велел перейти Тронте и начать действия против Сиджисмондо Малатесты. Последний, однако, настолько хорошо укрепил свои города, что там военные операции королю ничего не принесли, зато нападение на Геную навлекло на него и на его королевство гораздо больше военных действий, чем было ему желательно.

Дожем в Генуе был тогда Пьетро Фрегозо. Опасаясь, что успешное сопротивление королю Альфонсу будет невозможно, он решил с тем, чего ему не удержать, расстаться в пользу кого-нибудь, кто защитит его от врагов или хотя бы вознаградит за столь ценный дар. Поэтому он отправил послов к Карлу VII, королю Франции, с предложением отдать Геную под его сюзеренитет. Карл это предложение принял и послал в Геную для утверждения там своей власти Жана Анжуйского, сына короля Рене, незадолго перед тем возвратившегося из Флоренции во Францию. Карлу представлялось, что Жан, усвоивший много итальянских обычаев, лучше, чем кто-либо другой, сможет управлять этим городом. Кроме того, он полагал, что оттуда Жан сможет попытаться вернуть себе Неаполитанское королевство, отнятое у его отца Рене Альфонсом Арагонским. Итак, Жан отправился в Геную, где был принят как государь и где ему передали все укрепленные места города и республики.

XXXVI

Событие это весьма огорчило Альфонса, считавшего, что теперь он навлек на себя слишком уже могущественного врага. Впрочем, он не оробел и стал твердо продолжать начатое дело. Он повел свой флот в Порто-фино, южнее Вилламарины, но тут внезапно заболел и скончался. Смерть эта избавила Жана и Геную от войны. Ферранте, унаследовавший неаполитанский престол, был в великом смущении, ибо теперь у него в Италии появился новый весьма грозный враг, а в верности многих своих баронов он сомневался, опасаясь, как бы в увлечении всякой новизной они не перекинулись на сторону французов. Боялся он также, чтобы папа, честолюбивые замыслы которого он хорошо знал, не воспользовался тем, что он, Ферранте, только взошел на престол, и не попытался бы согнать его с этого престола. Вся надежда его была на герцога Миланского, которого положение Неаполитанского королевства тревожило ничуть не меньше: он боялся, что французы, если им удастся завладеть Неаполем, пожелают забрать и его герцогство, ибо он знал, что, по их мнению, они имеют на него права. Поэтому тотчас же после смерти Альфонса он послал Ферранте письма и подмогу людьми: солдат – чтобы усилить его войско, письма – чтобы подбодрить его и уверить в том, что в каком бы положении он, герцог, сам ни находился, Ферранте он не оставит.

После смерти Альфонса глава церкви вознамерился отдать Неаполитанское королевство своему племяннику Пьетро Лодовико Борджа, но чтобы придать этому делу благовидность и добиться поддержки у других итальянских государей, объявил во всеуслышание, что желает взять королевство Неаполитанское под власть Римской церкви. Поэтому он принялся убеждать герцога не помогать Ферранте, обещая при этом отдать ему те города, которыми он уже владел в королевстве. Но в самый разгар этих замыслов и новых интриг Каликст умер, и преемником его стал Пий II, который был родом сиенец, из семейства Пикколомини, и звался Эней. Заботясь исключительно о благоденствии христиан и чести церкви и пренебрегая всякими личными страстями, он по просьбе герцога Миланского короновал Ферранте. Он полагал, что наиболее скорый и верный способ утвердить мир в Италии – это поддерживать государей, уже стоящих у власти, а не помогать французам водвориться в Неаполитанском королевстве или же самому стараться завладеть им, как этого хотел Каликст. Все же Ферранте, желая отблагодарить папу за такую услугу, сделал Антонио, папского племянника, государем Амальфи и выдал за него свою побочную дочь. Кроме того, он возвратил церкви Беневенте и Террачину.

XXXVII

Казалось, в Италии наконец воцарился мир, и папа готовился уже поднимать весь христианский люд против турок, как это было задумано еще Каликстом, но вместо этого в Генуе начались раздоры между семейством Фрего-зо и принцем Жаном Анжуйским, вследствие чего внезапно вновь вспыхнула с дотоле невиданной силой война, казавшаяся уже погасшей.

Петрино Фрегозо удалился в один из своих замков на побережье, недовольный тем, что, по его мнению, Жан Анжуйский совершенно недостаточно отблагодарил его за услуги, оказанные им и его семьей этому принцу, ибо только благодаря им он оказался государем в их городе. Вскоре между ними была уже открытая вражда. Она весьма обрадовала Ферранте, усмотревшего в ней единственное средство, единственный путь к своему спасению. Он снабдил Петрино солдатами и деньгами, надеясь даже на то, что благодаря его содействию сможет изгнать Жана из Генуи. Проведав обо всем этом, принц послал во Францию за подкреплениями и, получив их, выступил против Петрино, который, благодаря поступающей к нему отовсюду подмоге, представлял уже значительную угрозу. Поэтому Жан ограничился тщательной охраной города. Однажды ночью Петрино проник туда и захватил несколько кварталов, но с наступлением дня войска Жана атаковали его, он был убит и все его люди тоже перебиты или захвачены в плен.

Успех этот окрылил Жана, и он решил попытаться завладеть Неаполитанским королевством. В октябре 1459 года он во главе весьма мощного флота вышел из Генуи, задержавшись сперва в Байе, а затем в Сессе, где был принят тамошним герцогом. На его сторону перешел князь Тарантский, жители Аквилы и многие другие владетели и города, так что королевству угрожала настоящая погибель. Тогда Ферранте обратился за помощью к папе и к герцогу, а чтобы иметь поменьше врагов, замирился с Сиджисмондо Малатестой. Это, однако же, настолько разъярило Якопо Пиччинино, неизменного врага Сиджисмондо, что он порвал с Ферранте и перешел на службу к Жану. Ферранте послал деньги также урбинскому владетелю Федерико и прежде всего постарался собрать хорошее по тому времени войско. Затем он выступил против неприятеля, и на реке Сарни завязалась битва, в которой король

Ферранте был совершенно разгромлен и лучшие его военачальники попали в плен. После этого поражения верными Ферранте остались только Неаполь да еще немногие синьоры города, большая же часть их перешла на сторону Жана. Якопо Пиччинино убеждал его немедленно же использовать победу, двинуться на Неаполь и захватить столицу королевства, но принц не внял этому совету, говоря, что хочет сперва отобрать у Ферранте все оставшиеся у него владения, ибо, по его мнению, после этого взять Неаполь будет еще легче. Но это решение оказалось роковым для его планов и отняло у него победу: он не уразумел, что члены тела повинуются голове, а не наоборот.

XXXVIII

После поражения Ферранте заперся в Неаполе. Он принял туда всех беженцев из других городов королевства, собрал некоторое количество денег, применив самые мягкие, насколько это было возможно, способы, и в какой-то мере восстановил свое войско. Снова обратился он к папе и к герцогу, которые и оказали ему помощь значительно более быструю и щедрую, чем раньше, ибо испугались, как бы он и впрямь не потерял своего королевства. Заново вооружившись, Ферранте выступил из Неаполя. С ним уже опять стали считаться, и он смог отвоевать кое-что из утраченных им владений. Пока в королевстве шли таким образом военные действия, произошло событие, нанесшее сильнейший удар Жану Анжуйскому и лишившее его возможности счастливо закончить кампанию. Генуэзцы, раздраженные надменностью и алчностью французов, восстали против королевского управителя, который вынужден был укрыться в крепости Каstellетто. В данном случае Фрегозо и Адорно действовали сообща, а герцог Миланский помог им и людьми, и деньгами как для того, чтобы они восстановили республику, так и для того, чтобы она укрепилась. Король Рене поспешил на помощь сыну с многочисленным флотом. Он надеялся, опираясь на Каstellетто, вновь овладеть Генуей, но при высадке войска потерпел такое поражение, что вынужден был с позором вернуться в Прованс.

Когда весть об этом распространилась в Неаполитанском королевстве, Жан Анжуйский был, разумеется, удручен ею, однако замысла своего не оставил и еще некоторое время вел военные действия при поддержке тех баронов, которые отпали от Ферранте и не могли поэтому рассчитывать на его милость. После ряда не слишком значительных стычек оба королевских войска встретились на поле битвы в окрестностях Троиц, причем Жан потерпел сокрушительное поражение. Случилось это в 1463 году. Но для него роковым оказался не столько проигрыш сражения, сколько измена Якопо Пиччинино, снова вернувшегося на службу к Ферранте. Лишившись всех своих войск, Жан Анжуйский укрылся на Искии, откуда затем вернулся во Францию. Война эта продолжалась четыре года, и он потерял благодаря своему легкомыслию то, что завоевывалось доблестью его солдат. Флоренция не принимала в этих событиях сколько-нибудь заметного участия. Правда, король Хуан Арагонский, унаследовавший в Арагоне престол после смерти Альфонса, отправил к флорентийцам послов с призывом помочь его племяннику Ферранте, к чему их обязывал заключенный с Альфонсом договор. На это флорентийцы возразили, что никаких обязательств в отношении Альфонса они на себя не брали и отнюдь не собираются помогать сыну в войне, начатой его отцом: началась она без их ведома и согласия, пусть же он продолжает и завершает ее без их помощи. Послы от имени своего короля заявили протест и возложили на республику ответственность за нарушение обязательств и за ущерб, понесенный Ферранте во время войны, после чего в полном негодовании покинули Флоренцию. Итак, пока длилась эта война, флорентийцы в смысле внешних отношений пользовались миром. Однако в делах внутренних положение было иное, как это и будет показано особо в следующей книге.

Книга седьмая

I

Те, кто прочел предыдущую книгу, найдут, может быть, что как историк Флоренции я слишком много места уделяю Ломбардии и королевству Неаполитанскому. Я, действительно, не избегал и впредь не буду избегать такого рода повествований, ибо, хотя я не брался писать историю всей Италии, все же считаю, что невозможно оставлять в стороне и не сообщать читателю важных событий, случившихся в этой стране. Если бы я от этого отказался, наша флорентийская история оказалась бы и

менее понятной, и менее интересной, тем более что из-за деяний других народов и государей Италии возникали большей частью войны, в которые приходилось вмешиваться и флорентийцам. Так, война между Жаном Анжуйским и Ферранте стала причиной ненависти и вражды, вспыхнувшей между Ферранте и флорентийцами, в особенности же домом Медичи. В этой войне король негодовал на то, что Флоренция не только не поддержала его, но даже помогла его врагу, и его гнев, как это будет показано, явился причиной немалых бед.

Поскольку в изложении внешних событий я дошел до 1463 года, необходимо мне вернуться на много лет назад, чтобы рассказать читателю о внутренних смутах, относящихся к тому же времени. Но, прежде чем идти дальше, хочу я по обыкновению своему высказать несколько соображений насчет того, насколько ошибаются люди, полагающие, что в республике можно достичь единения. Верно, разумеется, что имеются разногласия, вредящие республике, а имеются и благоприятствующие ее существованию. Вредоносны для нее те, что приводят к возникновению враждующих между собой партий и групп; благоприятны – те, которые без этого обходятся. Поэтому, если основатель республики не может воспрепятствовать появлению в ней раздоров, он обязан во всяком случае не допустить образования партий. В связи с этим надо отметить, что в любом государстве гражданам представляется два способа заслужить народное расположение: первый способ – общественное служение, второй – личные отношения и связи. Истинные общественные заслуги состоят в одержании военной победы, взятии города, в ревностном и рассудительном выполнении важного поручения, в мудрых и удачных советах по государственным делам. Выгоды, которых добиваются отдельные лица для себя и которые воспринимаются как их заслуги, достигаются ими путем поддержки того или другого гражданина, защиты его перед должностными лицами, помощи ему деньгами, предоставления ему незаслуженных почестей или же путем завоевания расположения черни щедрыми даяниями и устройством всевозможных игр. Именно такое поведение и приводит к возникновению партий и сект. И насколько вредит обществу полученное таким способом мнимое уважение, настолько же полезно истинное, достигнутое помимо всяких партий, ибо оно зиждется на общем благе, а не на частных выгодах. И хотя невозможно помешать разногласиям между гражданами из разных партий, эти разногласия, если они не поддерживаны их сторонниками, преследующими свои личные цели, не вредят государству, более того – они ему полезны, ибо для того, чтобы одолеть соперника, надо деяниями своими возвеличить республику, а, кроме того, соперники из разных партий еще и следят друг за другом, чтобы ни один не мог нарушить гражданских установлений.

Во Флоренции несогласия неизменно сопровождались появлением всяческих партий, поэтому они всегда бывали пагубны, да и победоносная партия сохраняла единство лишь до тех пор, пока побежденная не была окончательно раздавлена. Когда же она оказывалась уничтоженной, победители, не сдерживаемые никаким страхом и не обуздываемые каким-либо внутренним порядком, тотчас же начинали враждовать между собой. В 1434 году партия Козимо Медичи одержала победу, но так как побежденная партия была многочисленна и в составе своем имела много весьма могущественных людей, победителям приходилось быть осмотрительными, они оставались едиными и вели себя так, что гражданам от этого была польза: в своей среде они не допускали никаких ошибок и никаким злодеянием не вызывали к себе ненависти народа. Поэтому всякий раз, когда состоящему из них правительству надо было обращаться к народу для возобновления своих полномочий, он всегда охотно создавал нужную вождям балию и вручал им ту полноту власти, которой они домогались. Так, с 1434 по 1455 год, то есть в течение двадцати одного года, шесть раз создавалась по законному постановлению советов балия, поддерживавшая правящую партию.

II

Во Флоренции, как мы уже неоднократно говорили, было два весьма могущественных человека – Козимо Медичи и Нери Каппони, причем Нери принадлежал к тем людям, которые завоевывают уважение служением общественному делу: поэтому у него было много друзей, но мало приверженцев. Для Козимо же открыты были оба пути – и общественный и частный – у него, следовательно, было множество и друзей, и приверженцев. Между ними в течение всей их жизни никогда не было раздоров, и они могли без труда добиваться от народа всего, чего хотели, ибо, помимо доверия, тут была и любовь. Но в 1455 году Нери скончался. Враждебная партия была уничтожена, а между тем людям, стоящим у кормила правления, трудно было сохранить свою власть. И причиной тому были как раз всемогущие друзья Козимо: не опасаясь уже разгромленной противной партии, они хотели бы несколько умерить могущество дома Медичи. Это умонастроение и породило раздоры, вспыхнувшие в 1466 году. Тогда дошло до того, что людям, управлявшим государством, открыто

советовали на всех собраниях, где обсуждались государственные дела, не созывать больше балию, сохранить сумку со списками кандидатов на должности и вернуться к прежнему порядку выборов – к жеребьевке. У Козимо было две возможности обуздать эти требования: или силой захватить бразды правления с помощью верных ему сторонников и сокрушить всех прочих, или же предоставить событиям идти своим чередом так, чтобы со временем его друзья поняли, что не у него отняли они власть и влияние, а у самих себя. Он выбрал вторую возможность, ибо отлично понимал, что возвращение к прежнему способу назначения на государственные посты не представляет для него никакой опасности: избирательные сумки со списками кандидатов полны имен его сторонников, и он в любой момент сможет вернуть себе власть.

Итак, Флоренция вернулась к назначению магистратов по жребию, и все граждане вообразили, что им возвращена свобода и что должностные лица управляют делами не по воле сильных мира, а по своей совести и разумению. И вот то одному стороннику какого-нибудь знатного гражданина, то другому приходилось терпеть унижения, и те, кто привык к тому, что дома их полны льстецов и всевозможных даров, вдруг увидели, что ни людей, ни вещей у них не прибывает. Убедились они также в том, что оказались равными тем, кого долгое время считали ниже себя, а выше их стали те, кого они полагали ровней себе. К ним уже не было ни уважения, ни почтения, хуже того: их порою оскорбляли и высмеивали, а на улицах и на площадях и о них, и о государстве болтали безо всякой сдержанности все что угодно. Так они вскоре уразумели, что власть утратил не Козимо, а они сами. Козимо, однако же, старался это затушевать, и когда поднимался вопрос о какой-либо угодной народу мере, он первый высказывался за нее. Но больше всего нагнало страху на знатных горожан, а Козимо дало возможность укрепить свою власть возобновление кадастра 1427 года, когда налоги начали распределяться согласно закону, а не по прихоти отдельных лиц.

III

Едва лишь утвердили этот закон и назначили магистратов для проведения его в жизнь, как знатные горожане объединились и явились к Козимо просить его, чтобы он соблаговолил вырвать как их, так и самого себя из-под власти простого народа и вернуть государство в то состояние, при котором он был у власти, а они в почете. Козимо ответил, что он на это согласен, однако при том условии, чтобы все совершилось законным порядком, по воле народа, а не насильственным путем, о котором он и слышать не желает. Сделана была попытка провести советы закон об образовании новой балии, однако он был отвергнут. Тогда знатные горожане вернулись к Козимо и принялись смиренно умолять его согласиться на созыв чрезвычайного народного собрания, однако он ответил решительным отказом. Когда Донато Кокки, гонфалоньер справедливости, пожелал созвать народное собрание без согласия на то Козимо, тот устроил так, что члены Синьории, заседавшие вместе с ним, так высмеяли Донато, что тот совершенно потерял голову, и его отправили домой, как умалишенного.

Однако предоставлять событиям идти своим чередом настолько свободно, что потом с ними уже не совладаешь, – дело опасное. Поэтому, когда гонфалоньером справедливости стал Лука Питти, человек смелый и дерзновенный, Козимо решил, что теперь надо предоставить ему возможность действовать по-своему, – тем самым, если дело обернется плохо, осуждать будут Луку Питти, а не его.

И вот, вступив в должность, Лука несколько раз предлагал народу создать новую балию. Не получив согласия, он принялся угрожать членам государственных советов речами оскорбительными и высокомерными, а от слов вскоре перешел к делу. В августе 1458 года, в конце праздника Сан Лоренцо, он ввел во дворец вооруженных людей, вызвал народ на площадь и силою оружия вырвал у народа то, на что никто добровольно не соглашался. Создали новое правительство, учредили снова балию, и на все главные посты назначили людей, угодных ничтожному меньшинству. Насильственно созданное правительство начало свою деятельность расправами: был подвергнут изгнанию мессер Джироламо Макьявелли и еще несколько других граждан, многие же были лишены права занимать государственные должности. Этот мессер Джироламо впоследствии нарушил постановление об изгнании и был объявлен мятежником. Тогда он стал ездить по всей Италии, восстанавливая всех итальянских государей против своего отечества. Однако один из сеньоров Луниджа-ны выдал его, он был отвезен во Флоренцию и умер в тюрьме.

IV

Это правительство находилось у власти восемь лет: оно действовало только насилем и сделалось для всех невыносимым. Козимо был уже стар, утомлен, и

телесные немощи не давали ему возможности отдаваться общественным делам так ревностно, как он делал это раньше, а потому город стал жертвой небольшой кучки расхитителей народного добра. Лука Питти за свои заслуги перед республикой был произведен в рыцари и, не желая оставаться в долгу перед государством, предложил наименование «приоры цехов» заменить наименованием «приоры свободы», чтобы, утратив свободу на деле, Флоренция по крайней мере сохранила ее по названию. Он установил также, что гонфалоньер, прежде занимавший место справа от членов правительства, теперь будет сидеть среди них. А для того чтобы сделать вид, будто сам Господь Бог участвует во всех этих нововведениях, начали устраивать всенародные шествия и торжественные богослужения в благодарность за все эти вновь обретенные почести. Синьория и Козимо осыпали мессера Луку богатыми подарками, и весь город поспешил последовать их примеру: говорят, что все эти дары составили сумму в двадцать тысяч дукатов. Влияние его настолько возросло, что теперь правил государством уже не Козимо, а мессер Лука. От всего этого он настолько возомнил о себе, что начал во Флоренции и в Ручано – на расстоянии одной мили от города – постройку двух зданий поистине царственного великолепия: строившееся во Флоренции было самым большим зданием, которое когда-либо воздвигал частный гражданин. Для того чтобы закончить эти постройки, он не останавливался ни перед каким, даже самым необычным способом: не только граждане и отдельные частные лица делали ему для этой цели подарки и поставляли все необходимое для строительства, но городские коммуны и население городов оказывали всю необходимую помощь. Более того, все изгнанные из Флоренции, все убийцы, грабители и вообще преступники, подлежащие за свои дела преследованию, находили на постройке этих дворцов убежище и безопасность, если могли быть нужны и полезны. Другие граждане, если они и не воздвигали таких зданий, были ничуть не менее алчны и беззастенчивы в средствах, так что если Флоренция и не вела в это время опустошительной войны, опустошали ее сами граждане. Как раз в это время, как мы говорили, происходили войны в Неаполитанском королевстве, а также в Романье: там их вел глава церкви, желая отнять у рода Малатесты их владения – Чезене и Римини. В течение своего понтификата папа Пий II только и делал, что вел эту войну и разрабатывал проект всеобщей коалиции против турок.

V

Между тем во Флоренции не прекращались раздоры и волнения. В 1455 году в партии Козимо начались разногласия, которые он, однако, по великой своей рассудительности сумел тогда прекратить. Но в 1464 году болезнь Козимо усилилась, и он ушел из этой жизни. Смерть его оплакивали как друга, так и недруги, ибо те, кто по причинам политическим не любил его, прекрасно понимали, что алчность граждан, стоявших у власти, умерялась только уважением к нему, и потому опасались теперь, когда его не стало, потерять вообще все свое достоинство. На сына его Пьеро они мало полагались, несмотря на то что он был известен своим добросердечием. Они считали, что как человек большой и неопытный в государственных делах он вынужден будет считаться со своими алчными сторонниками, каковые, не чувствуя узды, совсем уже безудержно предадутся хищению. Таким образом, о Козимо горько сожалели все без исключения. Козимо был самым знаменитым и прославленным из всех граждан, не занимавшихся военным делом, притом не только из граждан Флоренции, но и всех других известных городов. Он превзошел всех своих современников не только влиянием и богатством, но также щедростью и рассудительностью, и из всех высоких качеств, благодаря которым он стал в отечестве своем первым человеком, главным было его превосходство надо всеми в щедрости и великолепии. Особенно выявилась эта щедрость после его кончины. Когда сын его Пьеро захотел подсчитать перешедшее к нему имущество, оказалось, что нет во Флоренции гражданина, которому Козимо не ссудил бы значительной суммы денег, притом часто безо всякой просьбы о том, – ему достаточно было узнать о нужде человека достойного, чтобы оказать помощь. О великолепии его свидетельствует большое число воздвигнутых им зданий. Ибо он не только восстановил, но от самого основания построил во Флоренции церковь и монастырь Сан Марко, и Сан Лоренцо, и монастырь Санта Вердиана, и на высотах Фьезоле – Сан Джироламо с его аббатством, Муджелло – церковь братьев-миноритов не только восстановил, но и заново отстроил. Кроме того, церкви Санта Кроче, Серии, Аньоли, Сан Миниато были украшены им богатыми алтарями и часовнями, причем эти храмы и часовни он не только построил, но и снабдил всевозможными украшениями и утварью, необходимыми для большей торжественности священнослужения. К этим церковным строениям надо добавить и его собственные дома, из которых один в городе, во всех отношениях подобающий столь именитому гражданину, четыре за городом – в Кареджи, во Фьезоле, в Каффаджуоло и Треббио, притом все эти дворцы достойны скорее какого-либо государя, чем частного

гражданина. Не довольствуясь тем, что по всей Италии прошла молва о великолепии его построек, он велел построить в Иерусалиме убежище для неимущих и больных пилигримов, и на все это строительство затрачены были весьма крупные денежные суммы. Наконец, хотя эти постройки, замыслы, деяния были чем-то царственным, и во Флоренции он был подлинным государем, так велики были его благоразумие и сдержанность, что он никогда не переступал пределов скромности, подобающей простому гражданину. В собраниях, в домашнем обиходе, в выездах, во всем образе жизни и в брачных союзах он уподоблялся любому скромному гражданину, ибо хорошо понимал, что роскошь, постоянно выставляемая напоказ, порождает в людях большую зависть, чем настоящее богатство, которому всегда можно придать благовидность. Когда стал он женить своих сыновей, то отнюдь не старался породниться с государями, но за Джованни взял невесткой Корнелию Алессандри, а за Пьеро Лукрецию Торнабуони. Внушек своих, Бьянку и Наннину, дочерей Пьеро, он выдал первую за Гульельмо Пацци, вторую за Бернардо Ручеллаи. Ни в одном государстве, управляемом монархом или же самим народом, не было в его время человека более выдающегося своим разумом: вот почему среди стольких превратностей судьбы, в городе столь беспокойном, с населением столь переменчивого нрава сумел он в течение тридцати лет оставаться у кормила власти. Величайшая предусмотрительность позволила ему заранее предвидеть опасности и либо не дать им разрастись, либо так подготовиться к ним, что, даже и разрастаясь, они ему не вредили.

Сумел он не только преодолеть честолюбивые устремления в семействе своем и в городе, но и замыслы многих государей пресек столь удачно и мудро, что каждый вступающий в союз с ним и с его отечеством оказывался либо непобедимым для врага, либо сам побеждал, а тот, кто вооружался против них, либо даром тратил силы и средства, либо даже терял свое государство. Очевидное доказательство этого – Венеция. В союзе с Козимо венецианцы всегда оказывались сильнее герцога Филиппо; выступая против него, они неизменно бывали сперва герцогом Филиппо, а затем герцогом Франческо побеждены и разбиты. Когда же впоследствии они объединились с Альфонсом против Флорентийской республики, Козимо, повсюду пользовавшийся неограниченным доверием в денежных делах, до того опустошил казначейства Неаполя и Венеции, что они должны были согласиться на те мирные условия, которые им соблаговолили предложить. Так, все затруднения, которые Козимо испытывал из-за внутренних и внешних смут, разрешались к его славе и к стыду его недругов: вот почему все гражданские раздоры во Флоренции усиливали его влияние, а внешние войны увеличивали его могущество и славу. Благодаря ему под власть Флорентийской республики перешли Борго-Сан-Сеполькро, Монтедольо, Казентино и Валь-ди-Баньо. Так добродетелью своей и счастьем сокрушил он своих врагов и дал победу друзьям.

VI

Он родился в 1389 году в день святых Козимо и Дамиано. Юность его была полна превратностей: изгнание, тюрьма, угроза смерти. С констанцского собора, где он находился с папой Иоанном, ему пришлось после падения папы бежать переодетым, спасая свою жизнь. Но начиная с сороковых годов своей жизни он пользовался неизменным счастьем, так что не только те, кто был в союзе с ним в общественных делах, но и те, кто управлял его богатством во всей Европе, получили свою долю этого счастья. Оно послужило источником огромного богатства многих Флорентийских семей, таких как Торнабуони, Портинари, Сассетти. Кроме того, обогатились также и другие дома, которым он помогал советами и деньгами. И хотя он непрерывно тратил деньги на постройку церквей и на жертвования, он порою жаловался в кругу друзей, что никогда ему не удавалось так потратиться во славу Божию, чтобы вписать Господа Бога в свои книги как должника.

Роста он был среднего, лицо имел смугло-оливковое, но вся внешность его вызывала почтение. Не обладая ученостью, он был весьма красноречив и от природы одарен рассудительностью. Он был отзывчив к друзьям, милосерден к бедным. Поучителен в беседе, мудр и осмотрителен в советах, никогда не медлил в действиях, а речи его и ответы всегда бывали содержательны и остроумны. Когда мессер Ринальдо Альбицци в начале своего изгнания велел передать ему, что «курочка несет яйца», Козимо на это ответил, что «не в своем гнезде она, пожалуй, снесет не то, что нужно». Другие мятежники постарались довести до его сведения, что они, мол, не спят. Козимо же на это возразил: «еще бы, я же отнял у них сон». Когда папа Пий побуждал европейских государей объединиться и выступить против турок, он сказал о нем, что «старец делает то, что под стать молодому». Когда венецианские послы, явившиеся вместе с послами короля Альфонса во Флоренцию, стали упрекать правительство республики, он показал им свою открытую голову и спросил, какого она, по их мнению, цвета; услышав от них, что

голова у него белая, он на это сказал: «очень скоро так же побелеют головы ваших сенаторов». Незадолго до кончины Козимо жена спросила у него, почему он закрывает глаза, на что он ответил: «надо же им привыкать». После возвращения его из изгнания кое-кто из друзей жаловался в беседе с ним на то, что город уже сильно развращен и творит неугодное Богу, изгоняя людей добродетельных. На это он заметил, что развращенный город лучше города погибшего, что из двух локтей красного сукна выкраивается добропорядочный гражданин и что с четками в руках государства не удержишь. Слова эти послужили предлогом для обвинения его в том, что себя он любит больше отечества и этот свет больше того. Можно привести еще немало метких его ответов, но нет в этом необходимости. Козимо любил людей, искусных в изящной словесности, и оказывал им покровительство. Он пригласил во флоренцию Аргиропуло, родом грека, одного из ученейших людей того времени, чтобы флорентийская молодежь изучала с его помощью греческий язык и другие науки. В доме его жил на хлебах Марсилио фичино, второй отец платоновской философии, к коему Козимо был горячо привязан. А чтобы друг его мог с удобством предаваться литературным занятиям, а он сам имел возможность легче видаться с ним, он подарил ему в Кареджи имение неподалеку от своего собственного. Так рассудительность его, богатство, образ жизни и счастливая судьба внушала согражданам и любовь к нему, и страх, а государям не только Италии, но и всей Европы великое уважение. Так заложил он то основание, на коем потомки его могли строить, сравниваясь с ним в добродетели, превзойдя его в жизненной удаче и пользуясь во всем христианском мире тем влиянием, которое Козимо приобрел во флоренции.

И все же в последние годы жизни испытал он немало горя, ибо из двух его сыновей, Пьеро и Джованни, последний, на коего возлагал он больше всего надежд, умер, а первый, Пьеро, был человек больной и по телесной своей слабости не мог должным образом заниматься ни общественными, ни даже личными своими делами. Так что, когда однажды, вскоре после смерти сына, несомый слугами, он делал обход своего дома, случилось ему со вздохом промолвить: «Очень уж велик этот дом для такой небольшой семьи». Благородная душа его страдала и оттого, что не удалось ему увеличить владений флорентийской республики каким-либо славным приобретением. И сожаления его еще усиливались от мысли, что он оказался обманутым франческо Сфорца, который, будучи еще графом, обещал ему, если овладеет Миланом, помочь флорентийцам завоевать Лукку. А этого не произошло, ибо счастливая судьба графа изменила его помыслы: став герцогом, он пожелал мирно владеть государством, которое дала ему война, и не желал участвовать в военных действиях ни ради Козимо, ни ради кого другого и в герцогском своем достоинстве вел только оборонительные войны. Для Козимо это было величайшее огорчение, ибо он считал, что слишком много трудов и денег потратил на неблагодарного и вероломного человека. Кроме того, он понимал, что из-за старческих своих недугов не может с прежним рвением вести ни общественные, ни личные свои дела, и видел, что и то, и другое идет плохо, ибо государство губят сами граждане, а имущество расхищают управители и сыновья. И все это не дало ему покоя в конце его жизни. Тем не менее скончался он в полной славе, оставив о себе великую память. Во флоренции и за стенами ее все граждане и все государи христианского мира оплакивали смерть Козимо вместе с Пьеро, его сыном; весь народ в торжественнейшей процессии сопровождал прах его к месту погребения в церкви Сан-Лоренцо, и по правительственному указу на надгробии начертано было «Отец отечества». Если, излагая деяния Козимо, я подражал тем, кто описывает жизни государей, а не тем, кто пишет всеобщую историю, пусть это никого не удивляет, ибо он в городе нашем был человек исключительный, и я должен был прославить его способом необычным.

VII

В то время как дела во флоренции и в Италии шли таким образом, Людовик, король франции занят был весьма тяжелой войной со своими баронами, которых поддерживал франциск, герцог Бретани, и Карл, герцог Бургундский. Война эта была для Людовика столь важна, что он не мог оказать поддержки герцогу Жану Анжуйскому в его попытках покорить Геную и Неаполь. Напротив, полагая, что ему может отовсюду понадобиться помощь, он передал Савану, находившуюся под властью французов, франческо, герцогу Миланскому, и сообщил ему, что не будет возражать, если герцог захочет овладеть Генуей. Франческо, разумеется, охотно согласился на это и, опираясь на дружбу с королем и на содействие семейства Адорно, завладел Генуей, а чтобы не оказаться неблагодарным в отношении короля, отправил в помощь ему во францию тысячу пятьсот всадников под командованием своего старшего сына Галеаццо. Итак, ферранте Арагонский и франческо Сфорца были теперь один герцогом Ломбардским и сеньором Генуи, другой королем во всем Неаполитанском государстве.

Будучи теперь между собой в родстве, они стали подумывать о том, как бы настолько укрепить свои государства, чтобы спокойно владеть ими при жизни, а после смерти беспрепятственно оставить наследникам. Поэтому рассудили они, что королю следует избавиться от тех баронов, которые были неверны ему во время войны с Жаном Анжуйским, а герцогу необходимо уничтожить войско, собранное Браччо и враждебное его роду, которое под водительством Якопо Пиччинино пользовалось теперь весьма громкой славой. Пиччинино считался первым в Италии полководцем, а так как земельными владениями он не обладал, всякий властитель имел основания опасаться его, особенно герцог, который, наученный своим собственным примером, считал, что не может ни спокойно владеть своими землями, ни оставить их потомкам, пока жив Якопо. Король же стал всякими способами искать соглашения со своими баронами и всячески ухищрялся вселить в них доверие к себе. Ему это вполне удалось, ибо бароны понимали, что продолжать войну с королем – значит идти на верную гибель, а заключив соглашение и доверившись ему, они, пожалуй, уцелеют. Люди всегда стараются избежать непосредственной опасности, почему государям так легко удается вводить в обман всевозможных мелких владетелей. Бароны эти, видя, что война связана с явной гибелью для них, предпочли поверить в мирные намерения короля и бросились ему в объятия, а затем он разными способами и под разными предложениями разделался с ними. Это обстоятельство весьма смутило Якопо Пиччинино, находившегося со своим войском в Сульмоне. Дабы не дать королю случая погубить его, он вступил в мирные переговоры с герцогом франческо через посредство одного из своих друзей. Герцог предлагал выгоднейшие условия. Якопо решил полностью довериться ему и отправился в Милан в сопровождении сотни всадников.

VIII

Якопо долгое время воевал под началом своего отца, а затем вместе с братом сперва за герцога Филиппо, потом за миланский народ, так что в результате этих длительных отношений имел в Милане много друзей и пользовался всеобщим расположением, еще увеличившимся из-за нынешних обстоятельств. Ибо неизменная удачливость Сфорца и его теперешнее могущество породили зависть, а злосчастие Якопо да и длительное его отсутствие – жалость к нему в народе и желание видеть его в Милане. Все это проявилось, едва лишь он прибыл. Почти не было нобилей, которые не вышли бы встречать его. Улицы, по которым он проезжал, были полны народа, и все громкими криками приветствовали людей его свиты. Почести эти ускорили его гибель, ибо они породили в герцоге подозрения и усилили желание уничтожить его. Чтобы сделать это тайно, он пожелал торжественно отпраздновать свадьбу Якопо со своей побочной дочерью Друзианой, с которой недавно помолвил его. Затем он договорился с Ферранте, что король принимает Якопо к себе на службу со званием капитана всех его войск и жалованьем в сто тысяч флоринов. После этой договоренности Якопо вместе с герцогским послом и женой своей Друзианой отправился в Неаполь, где принят был радостно и с почетом, так что много дней прошло во всевозможных празднествах. Однако, когда он попросил у короля разрешения отправиться в Сульмону, где находилось его войско, тот пригласил его на обед в королевский замок, а после обеда Якопо вместе с сыном своим франческо был схвачен, брошен в темницу и вскорости умерщвлен. Так наши итальянские государи, лишённые всякой доблести, страшились ее в других и старались с нею покончить. В конце концов ее не осталось ни у кого, и страна наша оказалась жертвой бедствий, которые в скором времени начали угнетать и разорять ее.

К тому времени папа Пий умиротворил Романию, и так как повсюду теперь царил мир, он считал, что настала пора поднимать христиан против турок, и принял все те меры, которые принимались в таких случаях его предшественниками. Все государи, как и следовало ожидать, обещали содействие – кто войском, кто деньгами. Особенно же Матвей, король венгерский, и Карл, герцог Бургундский, – пообещали свое личное участие и получили от папы назначение капитанами всего похода. Надежды столь окрылили папу, что он выехал из Рима в Анкону, где должны были соединиться все участники похода, и оттуда венецианцы обещали на своих судах переправить их в Словению. Однако после прибытия папы в городе этом собралось такое количество войск, что за несколько дней припасы, имевшиеся там, и все продовольствие, какое можно было доставить из округи, оказались съеденными, и все без исключения страдали от голода. К тому же не было денег для раздачи неимущим участникам похода и оружия для тех, кто его не имел. Матвей и Карл вовсе не появились, а венецианцы послали одного капитана с несколькими галерами – больше для того, чтобы пустить пыль в глаза и сделать вид, что выполняют обещание, чем для действительной перевозки войск. Кончилось тем, что папа, будучи человеком старым и больным, умер в разгар всех этих трудностей и

неустройств, а после его смерти все разошлось по домам. Случилось это в 1465 году, и главою церкви избран был Павел II, родом венецианец. И словно бы во всех итальянских государствах должны были прийти к власти новые правители, в следующем году скончался Франческо Сфорца, герцог Миланский, после шестнадцатилетнего правления, и новым герцогом объявлен был сын его Галеаццо.

X

Смерть этого государя разожгла во Флоренции разногласия и ускорила их пагубные следствия. Едва умер Козимо, как сын его Пьеро, наследник его имущества и власти, призвал к себе мессера Диотисальви Нерони, человека весьма влиятельного и пользовавшегося у сограждан большим уважением. Козимо же настолько доверял ему, что, умирая, наказал сыну руководствоваться его советами во всем, что касалось управления личным достоинством семьи, и в делах государственных. Пьеро поэтому проявил к мессеру Диотисальви такое же доверие, с каким относился к нему Козимо, и так как он хотел повиноваться воле отца после кончины его так же, как и при жизни, то и решил в делах имущественных и государственных поступать так, как посоветует ему Нерони. Для начала же он заявил, что велит принести все расчеты по доходам с имущества и передаст их мессеру Диотисальви, чтобы тот рассмотрел, что там в порядке, а что нет, и затем дал ему советы по своему разумению. Мессер Диотисальви обещал проявить в этом деле всяческое рвение и величайшую честность, но когда документы оказались у него в руках, он обнаружил всюду довольно существенные неполадки. А так как личное честолюбие свое он ставил выше дружеских чувств к Пьеро и памяти былых благодетелей Козимо, то и решил, что теперь ему нетрудно будет отнять у Пьеро его добрую славу и лишить его положения, оставленного ему в наследство отцом. И вот мессер Диотисальви явился к Пьеро с советом, по видимости вполне разумным и благородным, но по существу своему гибельным. Он сообщил ему, что дела его в расстройстве, и назвал сумму денег, которую необходимо иметь для того, чтобы не поколебался его кредит, а вместе с ним его репутация богача и влияние на дела государства. При этом он сказал, что самый правильный способ поправить беду – это постараться получить обратно те деньги, которые отец его мог потребовать от своих должников, как сограждан, так и чужеземцев. Козимо, стремясь заручиться сторонниками во Флоренции и друзьями за пределами ее, был так щедр на деньги, что Пьеро теперь являлся заимодавцем на сумму весьма немалую и могущую быть для него существенно важной. Пьеро, которому хотелось дела свои поправить своими же средствами, совет этот показался разумным и справедливым. Но едва лишь он распорядился потребовать возвращения этих денег, как должники пришли в негодование, словно он домогался не своего же добра, а пытался присвоить их имущество, и принялись беззастенчиво поносить его, называя неблагодарным и жадным.

XI

Как только мессер Диотисальви убедился в том, что Пьеро, последовав его совету, утратил в народе всякую популярность, он объединился с мессером Лукой Питти, мессером Аньоло Аччаюоли и Никколо Содерини; и совместно они порешили отнять у Пьеро его влияние и власть. У каждого из них были на то свои причины. Мессер Лука хотел оказаться на месте Козимо – теперь он был уже настолько знатным, что его раздражала необходимость считаться с Пьеро. Мессер Диотисальви, отлично зная неспособность мессера Луки удерживать кормило власти, рассчитывал, что едва Пьеро будет отстранен, вся забота о государственных делах перейдет к нему. Никколо Содерини хотел, чтобы Флоренция жила свободной и управлялась одними лишь магистратами. У мессера Аньоло были следующие причины для особой ненависти к дому Медичи. Уже довольно давно сын его Рафаело женился на Александре Барди, принесшей ему очень значительное приданое. Свекор и муж плохо обращались с ней, то ли по ее вине, то ли по клеветническим наветам; но родич ее Лоренцо ди Ларионе, движимый жалостью к молодой женщине, как-то ночью с помощью большого числа вооруженных людей похитил ее из дома мессера Аньоло. Семейство Аччаюоли подало жалобу на оскорбление, нанесенное ему семейством Барди. Дело было передано для вынесения по нему приговора Козимо, который решил, что Аччаюоли должны вернуть Александре ее приданое, а вернется ли она к мужу или нет – это уж предоставляется ее усмотрению. Мессер Аньоло счел, что, вынеся такое решение, Козимо поступил в отношении его не по-дружески, но ему он отомстить не мог и теперь решил разделаться с его сыном.

Хотя побуждения у заговорщиков были различные, говорили они только об одном: о стремлении к тому, чтобы республика управлялась магистратами, а не прихотью нескольких могущественных граждан. Вдобавок всеобщая ненависть к Пьеро сильно увеличивалась из-за того, что как раз в это время многие торговцы разорялись и

виновником их разорения открыто выставляли Пьеро: он, мол, своим неожиданным требованием возратить долг довел их до постыдного и невыгодного городу банкротства. К этим поводам для недовольства добавились еще переговоры, которые Пьеро вел о брачном союзе между своим первенцем Лоренцо и Клариче Орсини. Они послужили новым предлогом для клеветы: уж если он не желает, говорили по этому поводу, породниться с каким-либо флорентийским домом, значит, перестал довольствоваться положением флорентийского гражданина и хочет стать властителем родного города, ибо кто не хочет родниться с согражданами, тот стремится превратить их в своих рабов, и в таком случае вполне справедливо, что они не могут быть ему друзьями. Главари заговора уже считали, что победа в их руках, так как большая часть граждан готова была следовать за ними, ослепленная словом «свобода», которое заговорщики написали на своем знамени для придания благовидности своему делу.

XII

Когда город кипел всеми этими страстями, некоторым из тех, кто ненавидел общественные раздоры, подумалось, нет ли возможности отвлечь от них граждан каким-либо новым общественным увеселением, ибо народ, ничем не занятый, большей частью и является орудием в руках смутьянов. И вот, чтобы занять народ, заполнить чем-нибудь его ум и отвлечь от мыслей о положении государства, сослались на то, что прошел уже год после смерти Козимо, можно развлечь граждан, и приняли решение устроить два торжественнейших празднества, подобные тем, которые прежде устраивались во Флоренции. Первое было представлением шествия трех восточных царей – волхвов, которым звезда указывала на рождение Христа; представление это обставили с такой пышностью и великолепием, что в течение нескольких месяцев весь город был занят подготовкой к празднеству и самим празднеством. Второе был турнир – так называется представление поединка между вооруженными всадниками, где выступали самые видные юноши города вместе с наиболее прославленными рыцарями Италии. Причем среди флорентийцев более всех отличался Лоренцо, первенец Пьеро, завоевав первое место не из-за имени своего, а исключительно по личным достоинствам.

Однако, когда празднества эти прошли, к гражданам вернулись прежние помыслы, и каждый защищал свое мнение с еще большим пылом, чем когда-либо. От этих разногласий пошли раздоры и немалые смуты, еще усилившиеся из-за двух новых обстоятельств. Первым явилось истечение срока последней балии, вторым – кончина франческо, герцога Миланского. Приемник его Галеаццо отправил во Флоренцию послов для подтверждения договоров, заключенных его отцом с республикой, а одним из пунктов этого договора было обязательство Флоренции ежегодно выплачивать герцогу определенную сумму денег. Главные противники Медичи воспользовались просьбой нового герцога и при обсуждении этого дела в советах открыто выступили против, заявляя, что дружбу Флоренция вела с Франческо, а не с Галеаццо, и, таким образом, со смертью Франческо прекращаются обязательства, которые не к чему возобновлять. Галеаццо не отличается доблестью Франческо, и союз с ним не может дать никаких выгод. И от Франческо Флоренция не так много получила, а от этого и еще меньше можно добиться. Если же кто из граждан хочет оплачивать его могущество, то он идет против гражданских интересов и свободы города. Пьеро в противовес этому заявил, что не годится из-за скупости терять такого полезного союзника, что ни для Флорентийской республики, ни даже для всей Италии нет ничего более полезного, чем дружба с герцогом, чтобы в противном случае венецианцы не попытались бы или показной дружбой, или открытой войной прибрать к своим рукам герцогство Миланское. Ведь едва лишь узнают они, что Флоренция отошла от союза с герцогом, как тотчас же с оружием в руках выступят против него, и так как он молод, едва утвердился на троне и без союзников, они легко справятся с ним либо хитростью, либо силой: но и в том, и в другом случае это будет губительно для Флорентийской республики.

XIII

Ни речи Пьеро, ни его доводы не были приняты во внимание, и взаимная враждебность начала проявляться вполне открыто. Обе партии собирались по ночам отдельными группами. Сторонники Медичи – в Крочетте, противники – в церкви Пиета. Последние, стремясь во что бы то ни стало погубить Пьеро, заставили множество граждан подписаться в том, что они сочувствуют этому замыслу. На одном из ночных сборищ они, в частности, советовались насчет того, как им теперь действовать. Все одинаково желали ослабить могущество Медичи, но никак не могли договориться о способе действия. Одни, наиболее умеренные и сдержанные, предлагали просто не возобновлять балию, поскольку срок ее все равно истек.

Таким образом стремление всех граждан будет удовлетворено: править будут советы и магистраты, и влияние Пьеро на дела государства само по себе вскоре прекратится. Потеряв это влияние, он потеряет и коммерческий кредит: личные его средства на исходе, а если воспрепятствовать тому, чтобы он использовал общественные, это и приведет его к полному банкротству. Тогда он уже никому не будет страшен, и республика обретет свободу без кровопролития и безо всяких изгнаний из города, чего должен желать каждый хороший гражданин. Наоборот, – прибегнув к силе, можно подвергнуться всевозможным опасностям, ибо найдется немало людей, которые не обратят внимания на падение человека, совершившееся, так сказать, само собой, но начнут его поддерживать, если заметят, что кто-то старается его низвергнуть. К тому же, если против Пьеро не принимать никаких чрезвычайных мер, у него не будет никакого предлога вооружаться и искать сторонников. Если же он это все-таки сделает, то к своей величайшей невыгоде: таким поведением он возбудит подозрение в любом гражданине и обречет себя на верную гибель, дав своим противникам в руки оружие против себя.

Однако многие другие участники собрания не одобряли такой проволочки. Они утверждали, что время работает не на них, а на Пьеро. Естественный ход событий для Пьеро нисколько не опасен, для них же таит немалую угрозу. Враждебные ему магистраты оставляют его таким образом в городе, а друзья, погубив этих врагов Медичи, делают его, как это случилось в 1458 году, всемогущим. И если ранее высказанное мнение вполне благородно, то это является подлинно мудрым. Надо уничтожить его, воспользовавшись нынешним положением, когда умы граждан против него возбуждены. Самый верный способ действий – вооружиться самим, а для того чтобы иметь поддержку вовне, взять на жалованье маркиза Феррарско-го; когда же на выборах придет к власти дружественная нам Синьория, – расправиться с ним. Под конец собравшиеся договорились дожидаться новой Синьории и действовать смотря по обстановке.

Среди заговорщиков находился сер Никколо Федина, выполнявший на этом собрании обязанности секретаря. Привлеченный гораздо более очевидной выгодой, он раскрыл Пьеро весь замысел его врагов, принес ему список заговорщиков и всех давших им свою подпись. Пьеро испугался, увидев, сколько граждан, и притом весьма видных, желают его гибели. По совету друзей он тоже решил собрать подписи своих сторонников. Он поручил это дело одному из вернейших друзей и смог убедиться в том, как легкомысленны и неустойчивы умы граждан, ибо многие из тех, кто давал подписного врагам, расписались теперь в его поддержку.

XIV

Пока враги и друзья Пьеро вершили все эти дела, подошло время обновления высшей магистратуры, и гонфа-лоньером справедливости стал Никколо Содерини. Дивное это было зрелище, когда его вели ко дворцу в сопровождении не только наиболее именитых граждан, но всего народа, и во время шествия увенчали его венком из ветвей оливы, чтобы показать, что это человек, от которого только и будет зависеть свобода и благо отечества. Этот пример, подобно многим другим, показывает, как нежелательно вступать в важную должность или получать верховную власть, когда окружающие о тебе преувеличенного мнения: делами своими ты не всегда можешь оправдать это мнение, ибо люди всегда требуют большего, чем то, на что ты способен, а под конец ты обретаешь только позор и бесчестье.

У Никколо Содерини был брат Томмазо. Никколо отличался большей смелостью и энергией, Томмазо – большей рассудительностью. Он был связан с Пьеро узами прочной дружбы. Хорошо зная своего брата и его стремление вернуть республике свободу таким образом, чтобы при этом никто не пострадал, он посоветовал ему составить новые списки кандидатов на должности так, чтобы в избирательных сумках были имена только сторонников свободы. При таком способе действий, говорил он, можно укрепить государство безо всяких волнений и никому не нанеся ущерба. Никколо легко поддавался уговорам брата и все время своего пребывания в должности потратил на эти тщетные усилия. Друзья его из числа главарей заговора не вмешивались, из зависти они не хотели, чтобы управление государством изменилось благодаря Никколо, рассчитывая, что достигнут этого и при другом гонфалоньере. Срок пребывания Никколо в этой должности кончился и так как он многое начал, но ничего не довершил, то и сложил с себя полномочия менее почетным образом, чем получил их.

XV

Пример этот весьма приободрил партию Пьеро. Надежды друзей его укрепились, а многие нейтрально настроенные люди перешли на их сторону. Силы, таким образом, уравнялись, и в течение нескольких месяцев обе партии выжидали. Однако партия

Пьеро постепенно становилась все влиятельней, и это подтолкнуло его врагов: они собрались все вместе и решили силой достичь того, чего не сумели или не захотели получить вполне законным и легким путем. Они вознамерились умертвить Пьеро, который лежал больной в Кареджи, вызвав для этой цели к стенам Флоренции маркиза феррарского. Решено было также, что после смерти Пьеро все выйдут вооруженные на площадь и принудят Синьорию установить государственную власть по их желанию, ибо, хотя не вся Синьория была на их стороне, они рассчитывали, что противники подчинятся из страха. Мессер Диотисальви, чтобы лучше скрыть эти замыслы, часто навещал Пьеро, говорил ему, что в городе нет никаких раздоров, и убеждал его всячески оберегать единение граждан. Но Пьеро был осведомлен обо всех этих делах, да к тому же мессер Доменико Мартелли сообщил ему, что Франческо Нерони, брат мессера Диотисальви, уговаривал его перейти на их сторону, доказывая, что они несомненно победят, а партия Медичи обречена.

Наконец Пьеро решил первым взяться за оружие и для этого воспользовался сговором своих противников с маркизом феррарским. Он сделал вид, что получил от мессера Джованни Бентивольо, владельца Болоньи, письмо о том, что маркиз феррарский со своим войском находится на берегу реки Альбо, открыто заявляя, что идет на Флоренцию. Получив якобы это известие, Пьеро вооружился и, окруженный огромной толпой тоже вооруженных людей, явился во Флоренцию. Тотчас же взялись за оружие все его сторонники, а одновременно и противники. Но у сторонников Пьеро, заранее готовившихся к выступлению, было больше порядка, чем у врагов, еще отнюдь не готовых к проведению в жизнь своих замыслов. Мессер Диотисальви, не считая себя в безопасности дома, поскольку он был соседом Пьеро, то ходил во дворец, убеждая Синьорию заставить Пьеро сложить оружие, то к мессеру Луке, чтобы тот не отошел от их партии. Но наибольшую деятельность развил мессер Никколо Содерини, который тотчас же вооружился и в сопровождении почти всего народа из своей квартиры явился в дом мессера Луки и стал уговаривать того сесть на коня и выехать на площадь, чтобы защитить Синьорию, которая на их стороне. Он доказывал, что победа несомненно в их руках, и твердил, что не годится мессеру Луке, оставаясь дома, либо постыдно потерпеть от вооруженных врагов, либо оказаться столь же постыдно обманутым безоружными. Как бы ему не раскаяться, когда будет уже поздно, в своем бездействии: если он хочет насильственного низвержения Пьеро, сейчас это легко достижимо, если же он предпочитает мирный исход, то лучше находиться в положении диктующего мирные условия, чем выслушивающего их. Однако речи эти несколько не поколебали мессера Луку, ибо он уже забыл свои недружелюбные чувства к Пьеро, который подкупил его обещаниями новых брачных союзов между их семьями и новых выгод. Одна племянница мессера Луки уже была наречена невестой Джованни Торнабуони. Поэтому он стал убеждать мессера Никколо сложить оружие и вернуться к себе домой: вполне достаточно того, что город управляется магистратами, и так будет впредь, оружие должны положить все, а Синьория, где наши в большинстве, пускай будет судьей в гражданских раздорах. Никколо, так и не переубедив его, возвратился к себе, но предварительно сказал: «В одиночестве я не могу спасти республику, но могу предсказать ее злую судьбу. Решение, вами принятое, погубит свободу отечества, у вас отнимет власть и имущество, у меня и у других родину».

XVI

Среди всей этой смуты Синьория заперлась во дворце и вместе со всеми своими магистратами отошла в сторону, не выказывая предпочтения ни одной из партий. Граждане, в особенности те, что последовали примеру Луки, видя, что Пьеро вооружен, а его противники безоружны, стали подумывать уже не столько о том, как повредить Пьеро, сколько о том, как бы с ним сдружиться. Наиболее видные из граждан, главари городских партий, явились во дворец пред лицо Синьории и долго обсуждали дела города и способы, которыми можно было бы умиротворить страсти. Так как Пьеро все время болел и не в состоянии был прибыть на это собрание, все единогласно решили отправиться к нему домой. Единственным исключением оказался Никколо Содерини; предварительно поручив заботу о детях и имуществе брату Томмазо, он удалился в свое поместье дожидаться, какой оборот примут эти переговоры, от которых ожидал для себя лично беды, а для отечества пагубы.

Прочие же граждане прибыли к Пьеро, и тот из них, которому поручено было выступить с речью, стал жаловаться на смуту в городе, заявив, что главным виновником должен рассматриваться тот, кто первый взялся за оружие. Граждане и правительство не знают, чего именно хочет Пьеро, а ведь он-то первый и вооружился, и поэтому пришли узнать его волю, причем, если она соответствует благу отечества, они готовы ее принять. На это Пьеро отвечал так. Обвинять в беспорядках следует не того, кто первый взялся за оружие, а тех, кто своим поведением до этого довел. И если хорошенько подумать над тем, как они вели себя

по отношению к нему, если принять во внимание все эти ночные сборища, сбор подписей, интриги с целью отнять у него и родной город, и жизнь, то легко увидеть, что из-за них-то он и взялся за оружие. Но ведь оружие оставалось в пределах его дома, и это ясно доказывало его намерения: только защищаться, никому не причиняя вреда и ущерба. Он ничего не хотел, ничего не домогался, кроме безопасности и спокойной жизни, и никогда не высказывал никаких иных намерений, ибо когда истек срок балии, он и не помыслил о том, чтобы вернуть себе особые полномочия каким-либо чрезвычайным способом; его вполне устраивало, чтобы государством управляли обычные магистраты – только бы они сами этим довольствовались. Пора бы вспомнить, что Козимо и сыновья его умели жить во Флоренции, пользуясь почетом, и с балией, и без балии, а в 1458 году не его дом постарался восстановить балию, а сами граждане. И если теперь они не хотят балии, так ведь и ему она не нужна. Но есть люди, которым этого мало, которые считают, что им не жить во Флоренции, пока он в ней живет. Конечно, он никогда бы не поверил, ему даже в голову не могло прийти, что друзья его и его отца сочтут, что им не жить во Флоренции вместе с ним, человеком, который всегда был известен своей любовью к покою и миру. Затем, обернувшись к мессеру Диотисальви и его братьям, находившимся тут же, он сурово и негодуя попрекнул их благодеяниями, полученными ими от Козимо, доверием, которое он им оказывал, и их черной неблагодарностью. В речах его была такая сила, что многие из присутствующих, глубоко тронутые ими, готовы были тут же на месте расправиться с мессером Диотисальви и его братьями, если бы Пьеро их не удержал. В конце концов Пьеро заявил, что он согласен на все, что постановят явившиеся к нему граждане вместе с Синьорией, ибо просит лишь одного, – чтобы ему обеспечили безопасность и покой. Затем речь зашла еще о многих других вещах, но никаких решений принято не было, кроме общего пожелания обновить государственное управление и установить новый его порядок.

XVII

Гонфалоньером справедливости был тогда Бернардо Лотти, человек не слишком расположенный к Пьеро, решившему поэтому ничего не предпринимать, пока тот у власти: впрочем, это было неважно, ибо срок его полномочий истекал. Но когда подошло время избрания новой Синьории на сентябрь и октябрь 1466 года, высшая магистратура оказалась порученной Роберто Лиони. Едва лишь он принял бразды правления, как, видя, что все уже подготовлено, созвал народ на площадь и установил новую балию, весьма благоприятную для Пьеро, которая весьма скоро назначила магистратов, соответствующих желаниям нового правительства. Этот переворот привел в панику главарей враждебной партии, и мессер Аньоло Аччаюоли бежал в Неаполь, а мессеры Диотисальви Нерони и Никколо Содерини – в Венецию. Мессер Лука Питти остался во Флоренции, доверившись обещаниям Пьеро и новому родству с его домом. Бежавшие объявлены были мятежниками, и вся семья Нерони оказалась рассеянной, а мессер Джованни ди Нероне, бывший тогда архиепископом флорентийским, добровольно удалился в изгнание в Рим, чтобы не стало ему хуже. Множеству граждан, внезапно выехавшим из Флоренции, были назначены различные места ссылки. Этого оказалось недостаточно: была назначена Торжественная процессия с благодарственным молебствием по случаю сохранения государства и объединения города. Во время этого торжества были схвачены и подвергнуты пытке некоторые граждане, которых затем частью предали смерти, частью подвергли изгнанию.

Среди всех этих пертурбаций ярчайший пример изменчивости судеб человеческих явил Лука Питти, ибо тут-то и можно было познать различие между победой и поражением, между честью и бесчестьем. В доме его, где постоянно бывало много народу, воцарились пустота и безмолвие. Когда он появлялся на улицах, то друзья и родственники не то что не шли за ним толпою, а даже приветствовать его и то боялись, ибо одни утратили всякий почет, другие часть имущества и все были равно под угрозой. Великолепные здания, которые он начал строить, были оставлены рабочими; знаки внимания, которые прежде расточались ему, превратились в оскорбления, почести в поношения. Дошло до того, что многие, дарившие ему ценные предметы, требовали их обратно, словно вещи, данные напрокат, а те, кто имел обыкновение превозносить его до небес, обвиняли его в насилиях и неблагодарности. Так что он запоздало каялся в том, что не поверил словам Никколо Содерини, и искал случая честно умереть с оружием в руках, только бы не жить обесчещенным среди победоносных врагов.

XVIII

Граждане, находившиеся в изгнании, стали, советуясь между собой, подумывать,

как бы им вернуться в город, который они не сумели удержать. Мессер Аньоло Аччаюли, пребывавший в Неаполе, прежде чем предпринимать какие-либо действия, решил выведать настроение Пьеро и выяснить, нет ли какой возможности примириться с ним, а потому написал ему следующее письмо:

«Смеюсь я над превратностями судьбы, которая по прихоти своей друзей превращает во врагов, а врагов делает друзьями. Ты сам, наверно, помнишь, как во время изгнания отца твоего я настолько больше внимания уделил этой несправедливости, чем какой бы то ни было опасности для себя, что потерял тогда отечество и едва не потерял саму жизнь. Пока жив был Козимо, я всегда неизменно любил и чтил ваш дом, а после его смерти никогда не стремился принести тебе какой-либо вред. Правда, слабость твоего здоровья и малолетство детей твоих смущали меня настолько, что я подумал, не следует ли придать нашему государству такое обличив, чтобы в случае твоей преждевременной кончины отечеству нашему не пришла бы гибель. Вот что лежит в основе всего моего содеянного – не против тебя, но во благо моей родины. Если я впал в заблуждение, то добрых моих намерений и былых заслуг, думается, вполне достаточно, чтобы позабыть его. Не могу поверить, что после того, как столько времени был я верен твоему дому, не найду в тебе милосердия, и что столькие заслуги мои одной ошибкой превращены в ничто».

Получив это письмо, Пьеро ответил так: «Смех твой там, где ты сейчас находишься, – причина того, что мне не приходится плакать, ибо если бы ты смеялся во Флоренции, я бы плакал в Неаполе. Я не отрицаю, что ты хорошо относился к моему отцу, но и ты признай, что немало от него получил. Так что ты настолько же больше должен нам, чем мы тебе, насколько надо более ценить дела, чем слова. Получив награду за все, что ты сделал хорошего, не удивляйся, если тебе по справедливости воздается за злое. Любовь к отечеству для тебя тоже не оправдание, ибо никого не найдется, кто бы поверил, что Медичи меньше любили свой город и меньше для него сделали, чем Аччаюли. Живи же без чести в Неаполе, коли не сумел жить среди почета во Флоренции».

ХІХ

Отчаявшись в получении прощения, мессер Аньоло отправился в Рим, где сблизился с архиепископом и другими изгнанниками, и они все вместе любыми подходящими способами старались подорвать кредит торгового предприятия Медичи в Риме. Пьеро лишь с трудом удалось воспрепятствовать этому, однако с помощью друзей он разрушил все их козни. Со своей стороны мессер Диотисальви и Никколо Содерини всеми силами старались побудить венецианский сенат выступить против их отечества, убежденные в том, что если флорентийцам придется вести новую войну, они со своим новым и не пользующимся любовью правительством не смогут ее выдержать.

В то время проживал в Ферраре Джован Франческо, сын мессера Палла Строцци, изгнанный во время переворота 1434 года из Флоренции вместе со своим отцом. Он пользовался значительным влиянием и, по мнению других торговых людей, являлся большим богачом. Недавние изгнанники убеждали Джован Франческо, как легко ему будет возвратиться на родину, если венецианцы вступят в игру. Они были убеждены, что венецианцы на это пойдут, если сами изгнанники смогут в какой-то мере участвовать в расходах, в противном случае все предприятие под сомнением. Джован Франческо, пылавший жадной мщеницей за нанесенную ему обиду, легко поддался их уговорам и обещал содействовать этому делу всеми своими средствами. Все вместе явились они к дожу и стали жаловаться ему на свое изгнание, каковое приходится им переносить не за какую-либо вину, а лишь потому, что они хотели, чтобы отечество их жило по законам и почести воздавало своим магистратам, а не какой-то горсточке граждан. Ибо Пьеро Медичи и некоторые его сторонники, привыкшие действовать как тираны, обманным путем взяли за оружие, обманом заставили их, своих противников, положить его и затем обманом изгнали их из отечества. Не довольствуясь этим, они пожелали и Господа Бога замешать в угнетение многих других, оставшихся в городе под защитой данного им слова, и для того, чтобы Господь Бог стал как бы сообщником их предательства, во время священных церемоний и торжественных молебствий заключили в темницу и предали смерти многих граждан. В стремлении к справедливому возмездию за эти дела они, флорентийские изгнанники, полагают, что им не к кому больше обратиться, как к венецианскому сенату, который, во все времена умевший сохранять свою свободу, не может не пожалеть тех, кто эту свободу утратил. Вот они и явились воззвать к свободным людям против тиранов и к благочестивым против нечестивцев. Не забыла же, кроме того, Венеция, как семейство Медичи отняло у нее владычество над Ломбардией, когда Козимо, вопреки воле других граждан, оказал помощь и содействие герцогу Франческо против венецианского сената. И если сенат не будет тронут правым делом изгнанников, его не сможет не подвинуть на дело праведная

XX

Эти последние слова взволновали весь Сенат, который и постановил направить Бартоломео Коллеони, кондотьера республики, совершить нападение на флорентийскую территорию. Собрали с возможной скоростью войско, к которому присоединился Эрколе д'Эсте, посланный Борсо, маркизом феррарским. Так как флорентийцы еще не успели подготовиться, этим войскам удалось в первые дни кампании сжечь городок Довадолу и разграбить окружающую местность. Но флорентийцы тотчас же после изгнания враждебной Пьеро партии восстановили союз с Галеаццо, герцогом Миланским, и с королем ферранте, а капитаном своих войск пригласили Федеригио, графа Урбинского: поэтому сейчас, обеспечив себя друзьями, они меньше считались с недругами. Ферранте послал в помощь флоренции своего старшего сына Альфонса, а Галеаццо явился лично, притом оба привели довольно значительные силы. Все союзные войска объединились у флорентийской крепости Кострокаро, находящейся у подножья высоких гор между Тосканой и Романьей, так что неприятель счел за благо отойти к Имоле. Правда, происходили по обыкновению того времени незначительные стычки между воинскими частями той и другой стороны, однако никто не штурмовал и не осаждал городов, никто не давал неприятелю решительного сражения, все сидели по своим палаткам и вообще вели себя до удивления трусливо.

Эта бездеятельность вызывала крайнюю досаду у флорентийцев, отягощенных бременем войны, которая обходилась дорого и не сулила никаких выгод. Магистраты стали на это жаловаться тем своим гражданам, которые были назначены в этом военном предприятии комиссарами. Те ответили, что единственная причина этого герцога Галеаццо, каковой, имея весьма большую власть при отсутствии всякого опыта, сам не умеет принимать полезных решений, а другим не дает, и пока он будет находиться при войске, ничего полезного и славного предпринять не удастся. Тогда флорентийцы дали понять герцогу, что его личное появление во главе войска было им чрезвычайно полезно, ибо одной славы его достаточно было, чтобы напугать неприятеля. Однако безопасность его личная и его государства им важнее, чем общественная выгода, ибо от этой безопасности зависит всякое иное благополучие, если же герцог потерпит какой бы то ни было урон, для флоренции тоже дело обернется плохо. Они полагают, что для него небезопасно надолго отлучаться из Милана, ибо он у власти совсем недавно, а соседи его могущественны и внушают подозрения, и если бы кто из них захотел что-нибудь против него затеять, то легко мог бы это сделать. И ввиду всего этого они советуют герцогу поскорее вернуться к себе, оставив часть своего войска им в подмогу.

Этот совет был принят Галеаццо, и он, не долго раздумывая, возвратился в Милан, флорентийские военачальники, получившие теперь возможность действовать по своему усмотрению, должны были доказать, что присутствие герцога и впрямь являлось истинной причиной их медлительности. Поэтому они приблизились к неприятелю и завязали с ним сражение, длившееся полдня, но не давшее победы ни одной из сторон. Однако ни один человек в этой битве не пал – ранены были лишь несколько лошадей и, кроме того, и с той, и с другой стороны взято было несколько пленных. Вскоре наступило зимнее время, которое войска обычно проводят на зимних квартирах: мессер Бартоломео отошел к Равенне, флорентийские войска – в Тоскану, а герцогские и королевские – в земли своих повелителей.

Но поскольку, несмотря на уверения флорентийских изгнанников, нападение венецианцев не вызвало во флоренции ни малейшей смуты, а денег на жалованье войску не было, начались мирные переговоры, вскоре приведшие к соглашению. Изгнанники же, потеряв всякую надежду на возвращение, разбрелись по разным местам. Мессер Диотисальви отправился в феррару, где был принят и взят на содержание маркизом Борсо. Никколо Содерини поселился в Равенне, где состарился, живя на небольшую пенсию от венецианского правительства, и скончался. Слыл он человеком справедливым и мужественным, но принимавшим решения медлительно и с большими колебаниями, вследствие чего, став гонфалоньером справедливости, он упустил возможность одержать победу, – возможность, которую захотел, но не смог вернуть, будучи уже частным лицом.

XXI

После заключения мира граждане, взявшие во флоренции верх, решили, что победа их – неполная, если они не смогут притеснять не только прежних врагов своих, но и тех, кто покажется им подозрительным. Поэтому с помощью гонфалоньера справедливости Бальдо Альтовити они вновь лишили многих граждан права занимать должности, а многих других подвергли изгнанию. Это усилило их могущество и у всех вызвало страх. Властью своей они злоупотребляли и вели себя так, что можно

было подумать, будто всемогущий Бог и их счастливая судьба дали им наш город в добычу. Пьеро мало знал об этих злоупотреблениях, а тем не менее, что были ему известны, не мог противодействовать из-за слабости своего здоровья. Тело его было так немощно, что владел он, можно сказать, одним лишь даром речи. Единственное, что он мог сделать, это взывать к согражданам, умоляя их подчиняться законам и мирно радоваться тому, что отечество их спаслось, а не погибло. Дабы увеселить Флоренцию, порешил он пышно отпраздновать бракосочетание сына своего Лоренцо с его невестой Клариче из дома Орсини; свадьба эта была совершена со всей роскошью и великолепием, подобавшими такому именитому гражданину. В течение ряда дней давались балы с танцами в модном вкусе, пиры и представления древних трагедий и комедий. Чтобы еще ярче показать величие дома Медичи и всего государства, все это дополнили двумя военными зрелищами: одно изображало кавалерийское сражение в открытом поле, другое – взятие штурмом города. Все это было выполнено с таким искусством и в таком порядке, какие только можно было пожелать.

XXII

Пока во Флоренции происходили эти события, вся остальная Италия жила в мире, но не без страха перед турками, которые, продолжая осуществление своих планов, все время утесняли христиан. К величайшему стыду и поношению имени христианского туркам удалось завладеть Негропонте. В это время скончался Борсо, маркиз феррарский, и его преемником стал брат его Эрколе. Умер Сиджисмондо да Римини, неизменный враг папства, и ему наследовал побочный сын его Роберто, который прославился впоследствии как способнейший из итальянских военачальников. Скончался также папа Павел. Преемником его оказался Сикст IV, ранее звавшийся франческо да Савона, человек самого низкого происхождения, ставший, однако, благодаря своим добродетелям генералом ордена святого Франциска и кардиналом. Этот папа был первым, показавшим, что способен сделать глава церкви и каким образом многое, считавшееся до того времени неблагоприятным, может благодаря папской власти обрести вид законности. Среди членов его семьи были Пьеро и Джироламо, которые, по всеобщему убеждению, являлись его сыновьями, но он давал им более пристойное родственное наименование. Пьеро был монахом, и папа дал ему кардинальское звание с титулом святого Сикста. Джироламо он пожаловал город Форли, отняв его у Антонио Орделафи, хотя предки последнего владели им долгое время. Столь самовластное поведение, однако, усилило уважение к нему всех итальянских государей, и все старались заручиться его дружбой. Герцог Миланский дал в жены Джироламо свою побочную дочь Катарину и в приданое за ней город Имолу, отняв его у Таддео Алидози. Герцог и король ферранте скрепили свои отношения новым брачным союзом: дочь королевского первенца Альфонса Элизабетта вышла замуж за Джованна Галеаццо, старшего сына герцога.

XXIII

Италия находилась тогда в довольно мирном состоянии. Ее государи больше всего старались как можно внимательнее наблюдать друг за другом и обеспечивать взаимную дружбу заключением новых союзов и браков между княжескими домами. Тем не менее среди этого всеобщего мира Флоренцию раздирали распри ее же собственных граждан, а Пьеро из-за своей болезни не мог воспрепятствовать этому разгулу честолюбия. Все же для облегчения своей совести и в надежде пристыдить враждующих он пригласил их всех к себе в дом и обратился к ним с такой речью:

«Никогда я не думал, что может наступить такое время, когда поведение и образ жизни друзей моих заставят меня любить врагов и сожалеть о них и поражение предпочесть победе. Я полагал, что сблизился с людьми, способными положить меру и предел своей алчности, которым достаточно было бы жить у себя на родине в мире, в чести и к тому же еще в счастливом сознании, что врагов постигло возмездие. Но теперь я вижу, как ошибался и как мало знал свойственную всем людям корысть, в частности же – вашу. Ибо вам мало того, что вы в нашем городе властвуете, что вам, незначительному меньшинству, даны все почести, все главные должности, все преимущества, которые обычно распределялись между очень многими гражданами; мало вам и того, что вы поделили между собой имущество врагов, и того, что вы можете взваливать на чужие плечи все бремя общественных расходов, а сами, свободные от этого бремени, наслаждаетесь всеми преимуществами власти, – вам надо еще дожимать всех и каждого всеми возможными обидами и притеснениями. Вы отнимаете у соседа его добро, торгуете правосудием, избегаете какой бы то ни было гражданской ответственности, притесняете мирных людей и поддерживаете наглых сеятелей раздора. Не думаю, чтобы где-нибудь в Италии можно обнаружить столько примеров насилия и алчности, сколько их в нашем городе. Значит, родина

дала нам жизнь для того, чтобы мы лишили ее жизни? Дала нам победу, чтобы мы ее погубили? Осыпает нас почестями, чтобы мы подвергали ее поношению? Так вот даю вам слово, достойное веры, слово порядочного человека, что если вы будете продолжать вести себя так, чтобы я раскаивался в одержанной победе, я поведу себя таким образом, что вам придется раскаяться в плохом использовании нашей победы».

Граждане, которых он к себе призвал, ответили так, как подобало по месту и обстоятельствам этого разговора, однако ни в какой мере не отказались от своих пагубных деяний. В конце концов Пьеро тайно вызвал Аньоло Аччагюоли в Каффаджоло и долго беседовал с ним о флорентийских делах. И нет ни малейшего сомнения в том, что, не помешай ему в этом смерть, он возвратил бы в отечество всех изгнанников, чтобы обуздать алчность их противников. Однако судьба воспрепятствовала осуществлению этих благородных намерений: измученный телесными недугами и душевными терзаниями, он скончался на пятьдесят третьем году жизни. Отечество не могло в достаточной мере оценить его благородство и доброту, ибо отец его Козимо сопровождал его, можно сказать, почти всю жизнь, а те немногие годы, на которые он пережил отца, прошли для него в болезнях и гражданских раздорах.

Пьеро погребен был в церкви Сан Лоренцо рядом с отцом, и похороны его совершились со всей пышностью, заслуженной столь выдающимся гражданином. Оставил он двух сыновей, Лоренцо и Джульяно, уже подававших надежды на то, что им предстоит быть весьма полезными государству; однако все пока сожалели об их молодости.

XXIV

Среди самых именитых граждан, правивших флорентийской республикой, намного превосходил всех прочих Томмазо Содерини, чья рассудительность и влияние известны были не только во Флоренции, но и всем итальянским правителям. После смерти Пьеро все взоры обратились к нему, многие граждане приходили навещать его, словно главу государства, и многие государи присылали ему письма. Но он, будучи человеком мудрым и хорошо зная и правильно оценивая свои и дома Медичи богатства и успех, на письма государей не отвечал, а согражданам давал понять, что не в его дом должны они приходиться, а к Медичи. Чтобы доказать действиями искренность своих речей, он собрал глав всех именитых семей Флоренции в монастырь Сант Антонио, куда пригласил также Лоренцо и Джульяно Медичи. Там он долго и вдумчиво говорил о положении Флоренции, всей Италии, о домогательствах отдельных государей и закончил свою речь следующими соображениями: для того, чтобы Флоренция существовала в единении и в мире, не зная гражданских распри и внешних столкновений, необходимо питать особое уважение к этим двум молодым людям и сохранять добрую славу их дома, ибо люди обычно не жалуются на то, что им приходится делать нечто для них привычное; что же касается новшеств, то ими увлекаются, но быстро к ним остывают. И всегда легче сохранить такую власть, которая за давностью времени уже не вызывает зависти, чем создать новую, которую нетрудно по любому поводу опрокинуть.

После мессера Томмазо слово взял Лоренцо и, хотя он был еще очень молод, говорил с такой вдумчивостью и скромностью, что все могли убедиться, кем он станет впоследствии. Прежде чем разойтись, все присутствующие поклялись, что будут видеть в юных Медичи родных сыновей, а те заявили, что почитают собравшихся здесь старших за отцов. После этого решения Лоренцо и Джульяно стали чтить как первых в государстве, они же во всем руководствовались советами мессера Томмазо.

XXV

И внутри республики, и вовне все было мирно, никакие войны не тревожили достигнутого спокойствия, как вдруг возникла неожиданная смута, словно бы предвещавшая грядущие бедствия. Среди семей, потерпевших крушение вместе с мессером Лукой Питти, была семья Нарди. Главы этого семейства, Сальвестро и его братья, были сперва изгнаны, а затем во время войны с венецианским кондотьером Бартоломео Коллеони объявлены мятежниками.

Один из братьев Сальвестро по имени Бернардо, юноша смелый и неукротимый, не мог из-за своей бедности переносить изгнание. Видя, что наступивший мир не оставляет ему никаких надежд на возвращение в отечество, он стал делать попытки к совершению чего-либо такого, что могло разжечь новую войну. Ибо часто бывает, что пустяк приводит к бурным последствиям, поскольку люди гораздо более склонны следовать уже данному кем-то толчку, чем сами дать толчок событиям. У Бернардо были значительные связи в Прато и еще большие в землях Пистойи, между прочим с

семейством Паландра, которое проживало в контадо, но имело в своем составе и среди своих – людей, воспитанных, как все пистойцы, среди вооруженных схваток и кровопролитий. Он знал, что эти люди крайне возбуждены против Флоренции из-за дурного обращения, которому они подвергались со стороны флорентийских магистратов. Известно ему было также умонастроение жителей Прато, раздраженных тем, что ими управляли, по их мнению, так надменно и с такими вымогательствами; он знал, что многие из них ненавидят флорентийскую республику. Словом, все это вселяло в него надежду на то, что учинив мятеж в Прато, можно разжечь пламя во всей Тоскане, и что желающих его раздуть будет так много, что не хватит стремящихся погасить. Он сообщил о своем замысле мессеру Диотисальви и спросил его, какой помощи, в случае если бы ему удалось захватить Прато, он может при содействии мессера Диотисальви ожидать от итальянских государств. Мессер Диотисальви нашел, что дело это крайне опасное и с весьма незначительной надеждой на успех. Тем не менее, видя, что тут представляется возможность попытать счастья за чужой счет, он поддержал Бернардо и пообещал ему наверняка помощь из Болоньи и Феррары, только бы удалось ему захватить Прато и обороняться там недели две. Радостно возбужденный этими посулами, Бернардо тайно прибыл в Прато, поделился своими планами с некоторыми из граждан и обнаружил с их стороны полную готовность принять участие в деле. То же стремление и тот же пыл обнаружили и в семействе Паландра. Договорившись с ними о времени и способе действий, Бернардо сообщил обо всем мессеру Диотисальви.

XXVI

На должности подеста в Прато был как ставленник Флоренции Чезаре Петруччи. Такого рода правители городов имеют обыкновение держать ключи от городских ворот при себе, и если случается, особенно в мирное время, что кто-либо из жителей попросит дать ему эти ключи для того, чтобы ночью выйти из города и возвратиться, они в этом никогда не отказывают. Бернардо хорошо знал этот обычай, явился до рассвета со стороны Пистойи к городским воротам с гражданами из семейства Паландра и еще сотней вооруженных людей. Его сообщники в городе тоже к этому времени вооружились, и один из них отправился к подеста за ключом под предлогом, будто в город надо войти одному из горожан. Подеста, которому и в голову не могло прийти что-либо подобное, послал слугу с ключами к воротам. Едва тот отошел на несколько шагов от дворца правителя, как заговорщики вырвали у него ключи, отперли ворота и впустили Бернардо с его отрядом. В городе отряд разделился на две части: одна во главе с Сальвестро из Прато заняла цитадель, другая во главе с Бернардо захватила дворец и Чезаре Петруччи со всеми его людьми, которых взяли под стражу. Затем они кликнули клич и пошли по городу, призывая народ к борьбе за свободу. К тому времени уже рассвело, и, услышав шум, многие сбегались на площадь. Узнав, что кем-то захвачены цитадель и дворец правителя, а подеста и все его люди схвачены, они долго не могли понять, отчего все это могло произойти. Восемь граждан, занимавших в Прато самые высокие должности во дворце подеста, собрались, чтобы решить, что теперь делать. Бернардо и его сообщники уже некоторое время бегали по городу, но никто к ним не присоединился. Узнав, что совет восьми собрался, он явился к ним и объявил о причинах затеянного им дела. Он сказал, что единственное его стремление – освободить их, а также и свое отечество от рабства, доказывал, каким доблестным делом было бы для них взяться за оружие и следовать за ним в этом предприятии, где они обрели бы вечный мир и вечную славу. Напомнил им о былой их свободе и о теперешнем подчиненном положении и убеждал, что к ним наверняка подойдет помощь извне, если только они согласятся продержаться несколько дней против войск, которые может направить сюда Флоренция. Он утверждал также, что во Флоренции у него есть союзники, которые выступят, как только узнают, что город Прато единодушно последовал за ним. Речь эта, однако, не произвела ни малейшего впечатления на совет Восьми, который заявил Бернардо, что им неизвестно, находится ли Флоренция в свободном или рабском состоянии, не их дело судить об этом, но сами они не желают никакой другой свободы, как служить магистратам, которые управляют Флоренцией, ибо они никогда не терпели от этих магистратов таких обид, чтобы браться против них за оружие. Поэтому они посоветовали ему освободить подеста, очистить город от своих людей и поскорее постараться избежать опасности, которую он навлек на себя своим безрассудством. Бернардо в свою очередь несколько не смутился от этих слов, а решил испытать, не окажет ли страх на жителей Прато того влияния, какого не сумели оказать призывы. Чтобы хорошенько напугать их, он решил предать смерти Чезаре Петруччи и потому велел вывести его из темницы и повесить под окном дворца. Чезаре уже стоял у окна с петлей на шее, и вот он увидел Бернардо, который торопился с казнью. Он обернулся к нему и сказал: «Бернардо, ты предаешь меня смерти в надежде, что

жители Прато последуют за тобой, но сам увидишь, что произойдет совершенно обратное. Ибо их уважение к правителям, которые посылаются сюда флорентийским народом, так глубоко, что жестоко дело, которое ты со мной учиняешь, вызовет к тебе великую ненависть, и ты в конце концов от нее погибнешь. Не смерть моя, а, напротив, жизнь может дать тебе победу, ибо если я прикажу им делать то, что ты найдешь нужным, они охотнее послушаются меня, чем тебя, а так как я буду только исполнителем твоих распоряжений, все твои намерения осуществляются».

У Бернардо особого выбора не было, и совет Чезаре оказался ему подходящим. Он велел Чезаре выйти на балкон над самой площадью и приказать народу повиноваться во всем ему, Бернардо. Когда Петруччи сделал то, что ему было велено, его опять отвели в темницу.

XXVII

Между тем слабость заговорщиков всем стала ясна, и многие флорентийцы, проживавшие в Прато, объединились. Среди них находился мессер Джорджо Джинори, родосский рыцарь. Он первый оказал вооруженное сопротивление заговорщикам и напал на Бернардо, который сновал по площади, то уговаривая граждан, то угрожая тем, кто не хотел следовать за ним и подчиняться ему. Между Бернардо и многочисленными спутниками мессера Джорджо произошло столкновение, он был ранен и схвачен. После этого нетрудно было освободить подеста и справиться с другими мятежниками: немногочисленные и рассеявшиеся по всему городу, они почти все были схвачены или убиты.

Весть об этом событии дошла до Флоренции сильно преувеличенной; говорили, что Прато захвачен мятежниками, подеста и все его люди перебиты и город полон врагов: Пистойя взялась за оружие, и почти все ее граждане участвуют в этом заговоре. Дворец Синьории тотчас же заполнился гражданами, явившимися обсудить положение вместе с членами правительства. Во Флоренции находился тогда Роберто да Сансеверино, весьма прославленный военачальник. Решено было послать его на место событий с отрядом настолько многочисленным, насколько можно было наспех собрать. Ему поручили подойти как можно ближе к Прато и сообщить во Флоренцию о происходящем, самому же предпринять на месте все, что он найдет возможным и разумным. Роберто едва успел оставить за собой замок Кампи, как навстречу им попался посланец Чезаре Петруччи, сообщавший, что Бернардо схвачен, его сообщники бежали или убиты и мятеж подавлен. Роберто возвратился во Флоренцию, куда вскоре доставили Бернардо. Его допросили насчет истинных причин его замысла и нашли, что все они крайне неосновательны. Тогда Бернардо заявил, что он поднял этот мятеж, ибо предпочитал лучше умереть во Флоренции, чем жить в изгнании, и хотел, чтобы эта его смерть сопровождалась каким-либо достойным упоминанием.

XXVIII

После того как мятеж был подавлен, едва возникнув, граждане возвратились к своему обычному образу жизни в надежде, что смогут теперь без всяких тревожений пользоваться теми государственными порядками, которые они установили и укрепили. Однако появились во Флоренции те злосчастия, которые обычно порождаются именно в мирное время. Молодые люди, у которых оказалось больше досуга, чем обычно, стали позволять себе большие расходы на изысканную одежду, пиршества и другие удовольствия такого же рода, тратили время и деньги на игру и на женщин. Единственным их умственным занятием стало появление в роскошных одеждах и состязание в красноречии и остроумии, причем тот, кто в этих словесных соревнованиях превосходил других, считался самым мудрым и наиболее достойным уважения. Все эти повадки были еще усугублены присутствием придворных герцога Миланского, который со своей супругой и всем двором своим прибыл во Флоренцию – по обету, как он уверял, – и был принят со всей пышностью, подобающей такому государю, да еще к тому же другу Флоренции. Тогда-то наш город стал свидетелем того, чего еще никогда не видел. Было время поста, когда церковь предписывает отказ от мясной пищи, однако герцогский двор, не чтя ни церкви, ни самого Бога, питался исключительно мясом. Среди многочисленных зрелищ, дававшихся в честь этого государя, в церкви Сан Спирито было устроено представление сошествия Святого Духа на апостолов. Так как для подобных торжеств всегда приходится зажигать очень много светильников, вспыхнул пожар, церковь сгорела, и многие подумали, что это был знак гнева Божьего на нас. И если герцог нашел Флоренцию полной куртизанок, погрязшей в наслаждениях и нравах, никак не соответствующих сколько-нибудь упорядоченной гражданской жизни, то оставил он ее в состоянии еще более глубокой испорченности. Так что все достойные граждане решили обуздать этот беспорядок и новыми законами установили определенный предел для роскоши в

XXIX

Среди этой мирной жизни в Тоскане возникли новые и совершенно неожиданные тревожения. На территории Вольтерры некоторыми ее гражданами были обнаружены залежи квасцов, ценность которых они хорошо знали. Чтобы иметь средства для разработки этих залежей и опору для защиты своих прав на них, они объединились с некоторыми флорентийскими гражданами и разделили с ними доход. Поначалу это открытие, как обычно и бывает при каких-либо новых предприятиях, не привлекло внимания народа Вольтерры. Когда же впоследствии им стала ясна вся выгодность этого дела, они захотели исправить, но слишком поздно и потому безрезультатно, ошибку, которой легко было избежать, своевременно вмешавшись в это предприятие. В совете города стали обсуждать дело, доказывая, что ископаемые, обнаруженные на землях коммуны, не могут разрабатываться к выгоде отдельных частных лиц. По этому поводу отправили во Флоренцию посланцев. Там в деле поручили разобраться нескольким гражданам, которые, то ли будучи подкуплены заинтересованными, то ли по искреннему своему убеждению, постановили: народ Вольтерры не прав, стремясь лишить своих граждан плодов их труда и стараний, так что квасцовые залежи принадлежат этим частным лицам, а не городу; однако будет справедливо, если они ежегодно станут выплачивать определенную сумму городу, как хозяину территории.

Такой ответ только усугубил смуту и распри в Вольтерре: в советах, на улицах и площадях только об этом и говорилось. Народ единодушно требовал возвращения того, что, по его мнению, у него было отнято. Частные лица хотели сохранить то, что они первые открыли и что было затем присуждено им флорентийским решением. Дело дошло до того, что один гражданин по имени Пекорино, в городе весьма уважаемый, был среди этих распрей убит, после чего умертвили многих других, его сторонников, и сожгли их дома. Из тех же самых побуждений готовы были предать смерти правителей, присланных в Вольтерру Флоренцией, и лишь с трудом удержались от этого.

XXX

После этого первого вызова вольтеррцы решили прежде всего послать своих представителей во Флоренцию, и они заявили Синьории, что если она подтвердит старинные права вольтеррцев, те готовы признать свою зависимость от Флоренции. Об ответе спорили очень долго. Мессер Томмазо Содерини советовал принять предложение Вольтерры, на каких бы условиях они ни признавали свою зависимость. Он полагал, что сейчас не время так близко от Флоренции зажигать пламя нового раздора, которое может перекинуться и к нам, ибо у него вызывали опасение и характер папы, и могущество короля Неаполитанского, и к тому же он не слишком доверял дружественности Венеции и герцога, ибо сомневался как в искренности первой, так и в возможностях второго. Наконец, он напомнил общеизвестную истину, что худой мир лучше доброй ссоры.

С другой стороны, Лоренцо Медичи считал этот случай подходящим для того, чтобы показать, на что он способен как мудрый советчик; и, кроме того, его поддержали те, кто завидовал уважению и почету мессера Томмазо. Лоренцо предложил выступить и вооруженной рукой покарать Вольтерру за ее дерзкое поведение, утверждая, что если она не будет примерно наказана, другие подданные республики без всякого уважения и страха решатся на то же самое по любому пустяковому поводу. Синьория постановила начать военные действия, и вольтеррцам ответили, что им не подобает требовать соблюдения ими же самими нарушенных старинных прав; поэтому они должны принять решение Синьории или же ожидать войны.

Когда вольтеррские представители сообщили своему городу этот ответ, Вольтерра стала готовиться к обороне, возвела укрепления и послала за помощью ко всем итальянским государям. Но им почти никто не внял, помощь обещали только Сиена и владетель Пьомбино. Флорентийцы, со своей стороны, убежденные, что победа зависит от быстроты действий, собрали десять тысяч пехоты и две тысячи всадников, которые под командованием Федерико-го, синьора Урбино, вступили на территорию Вольтерры и безо всякого труда заняли ее. Затем они осадили город, каковой, будучи расположен на почти со всех сторон обрывистой возвышенности, мог быть взят лишь с той стороны, где находится церковь Сан Алессандро. Жители Вольтерры наняли для своей защиты около тысячи солдат, которые, видя, что флорентийцы не шутят, и сомневаясь в своей способности противостоять им, оборонялись довольно вяло, но зато проявили напористость в насилиях, ежедневно чинимых ими в отношении жителей Вольтерры. Несчастные эти граждане, которых за стенами города поражали враги, а в стенах его угнетали защитники, впали в отчаяние и стали думать о капитуляции, но, не рассчитывая на мягкие условия,

сдались на милость комиссаров республики. Те велели открыть городские ворота и, введя в город значительную часть своего войска, отправились во дворец, где находились приоры, которым велено было разойтись по домам. По дороге одного из приоров, чтобы унижить, ограбил флорентийский солдат. С этого начались, – ибо люди всегда гораздо более склонны к злу, чем к добру, – разгром и разграбление города, который в течение целого дня отдан был во власть победителей, причем не щадили ни женщин, ни святых мест; солдаты, как те, что плохо защищали его, так и те, что явились взять его, расхитили все имущество граждан. При известии об этой победе флоренцию охватила величайшая радость, а так как одержана она была исключительно по совету Лоренцо, его влияние еще увеличилось. Один из его ближайших друзей стал упрекать мессера Томмазо Содерини за его совет и, между прочим, сказал: «Ну, а теперь, когда Вольтерра взята, что вы скажете?». На это мессер Томмазо ответил: «Я считаю, что теперь – то она и потеряна. Если бы вы взяли ее по взаимной договоренности, это было бы сделано с пользой и прочно. Но теперь ее надо удерживать в нашей власти силой. И в трудные времена она будет причинять нам лишние хлопоты и ослаблять нас, а в мирных условиях доставлять беспокойство и расходы».

XXXI

В то же время папа, старавшийся удержать в повиновении принадлежащие церкви города, велел разгромить Сполето, который некоторые из городских партий побудили к восстанию. Затем он осадил виновную в том же Читта-ди-Кастелло. Городом этим владел тогда Никколо Вителли, находящийся в теснейшей дружбе с Лоренцо Медичи, который и оказал ему помощь, не настолько существенную, чтобы спасти Никколо, но вполне достаточную для того, чтобы посеять между папой Сикстом и семейством Медичи вражду, давшую впоследствии весьма горькие плоды. Они бы и не замедлили проявиться, не случись вскоре вслед за тем кончина брата Пьеро, кардинала Сан Систо.

Этот кардинал объездил всю Италию, заезжал и в Венецию и в Милан под предлогом почтить своим присутствием свадьбу Эрколе, маркиза феррарского, на самом же деле для того, чтобы прощупать умонастроение этих государей и выяснить, можно ли рассчитывать на их враждебность флоренции. Однако по возвращении в Рим он скончался, и было даже подозрение, что его отравили венецианцы, ибо они опасались, как бы папа Сикст, пользуясь советами и кознями брата Пьеро, не стал слишком могущественным. Хотя был он самого что ни на есть низкого происхождения и получил самое убогое воспитание в стенах монастыря, в нем, едва он достиг кардинальского звания, оказалось столько надменности и честолюбия, что ему уже недостаточно было и кардинальской шапки и даже папского престола: он не постеснялся задать в Риме такой пир, который поразил бы любого короля и на который он истратил более двадцати тысяч флоринов. Лишившись такого помощника, папа Сикст стал проявлять больше медлительности в осуществлении своих планов.

Между тем флоренция, Венеция и герцог возобновили союзный договор, предоставив папе и королю Неаполитанскому возможность присоединиться к нему, а папа Сикст и король заключили союз между собой тоже с тем, чтобы к нему могли присоединиться прочие итальянские государи. Таким образом, Италия оказалась разделенной на две группы государств, и между ними чуть ли не ежедневно возникали новые поводы для ненависти. Так произошло по поводу острова Кипра, которого домогался король ферранте, но которым завладела Венеция. Все это сблизило папу и короля все более и более. Федериго, синьор Урбино, считался тогда первым военачальником Италии, и долгое время он был на службе у флоренции. Чтобы отнять у союзников такого военачальника, папа и король решили перетянуть его на свою сторону: король пригласил его к себе в Неаполь, а папа посоветовал ему принять это приглашение. Федериго согласился к удивлению и огорчению флорентийцев, которые опасались, как бы с ним не случилось того же, что с Якопо Пиччинино. Однако произошло обратное, ибо Федериго возвратился из Неаполя и Рима в почете и в должности главнокомандующего союзными войсками папы и короля. Папа и король делали также все возможное, чтобы заручиться дружбой синьоров Романьи и сиенцев и с их помощью еще больше вредить флорентийцам. Уразумев это, последние со своей стороны всячески старались обезвредить замыслы своих противников. Потеряв Федериго д'Урбино, они приняли к себе на службу Роберто да Римини, возобновили союз с Перуджей и с владетелем Фаенцы. Папа и король утверждали, что их враждебность флоренции происходит оттого, что они хотели бы оторвать флоренцию от союза с Венецией и привлечь к себе, ибо папа считал, что, пока существует союз между флоренцией и Венецией, Церковное государство не может сохранять подлинно державного положения, а граф Джироламо – своих владений в Романье. Флорентийцы со своей стороны боялись, что их хотят оторвать от Венеции не для того, чтобы с ними сдружиться, а для того, чтобы легче с ними справиться. Эти

взаимные подозрения и борьба интересов

продолжались в течение двух лет, прежде чем что-либо произошло. Однако первое событие, хотя и незначительное, случилось в Тоскане.

XXXII

Браччо да Перуджа, прославленный военачальник, о чем мы неоднократно упоминали, оставил двух сыновей – Оддо и Карло. Последний был еще ребенком, когда брата его, как мы уже говорили, умертвили жители Валь-ди-Ламона. Когда Карло достиг возраста, в котором уже владеют оружием, Венеция в память его отца и в надежде на то, что он унаследовал его военные способности, приняла его в число своих кондотьеров. Срок его найма истек, и он отказался в данный момент возобновлять свой договор с венецианским сенатом, надеясь, что, может быть, его имя и отцовская слава помогут ему вернуть себе семейные владения в Перудже. Венецианцы охотно согласились на это. Они привыкли к тому, что всякие перемены содействуют расширению их могущества. Карло явился в Тоскану, но здесь планы относительно Перуджи показались ему неосуществимыми из-за союза Перуджи с Флоренцией, а он все же хотел, чтобы его предприятие привело к каким-либо славным деяниям. Он напал на сиенцев под предлогом, будто они у него в долгу за услуги, оказанные им некогда его отцом, и он хочет получить сполна все, что ему причитается. Напал он на них с таким ожесточением, что почти во всех концах их земель чувствовалось большое волнение. Сиенцы, всегда готовые обвинять Флоренцию во всех своих бедах, уверились в том, что и сейчас все произошло с ее согласия, и принялись жаловаться папе и королю. Отправили они послов и во Флоренцию с жалобами на причиненную им обиду и ловко давали понять, что если бы Карло не имел поддержки, он не смог бы напасть на них так уверенно. Флорентийцы отвергли эти упреки, оправдывались, заявляя о своей готовности все сделать, чтобы воспрепятствовать Карло наносить ущерб Сиене, и, действительно, по желанию послов, приказали Карло прекратить действия против сиенцев.

Карло, в свою очередь, стал жаловаться, уверяя, что флорентийцы, отказывая ему в поддержке, лишают себя величайшего приобретения, а его – великой славы, ибо он мог в самый короткий срок завладеть для них Сиеной: жители ее, мол, совершенно лишены мужества, а средства обороны у них в плохом состоянии. Сиенцы же, хотя и избавились от беды благодаря Флоренции, продолжали питать к ней враждебное чувство: они считали, что никак не обязаны тем, кто избавил их от зла, будучи этого зла виновником.

XXXIII

В то время как в Тоскане происходили так, как нами было рассказано, все эти связанные с папой и королем события, в Ломбардии случилось нечто более важное и как бы явившееся предвестием еще худших бедствий. В Милане самым знатным юношам латинский язык преподавал Кола Монтано, человек ученый и полный честолюбия. То ли потому, что ему действительно внушали отвращение образ жизни и нравы герцога, то ли движим он был другими побуждениями, но во всех своих беседах он не переставал негодовать по поводу участи живущих под властью дурного государя, называя славными и счастливыми тех, кому судьбою и природой даровано было жить при республиканском правлении. Он доказывал, что все замечательные люди появились не там, где цариле единовластие, а в республиках: при республиканском правлении люди добродетельные процветают, при единовластии они гибнут, ибо республики применяют к общему благу достоинства и добродетели человека, а единовластных государей они страшат.

Молодые люди, с которыми он был наиболее тесно связан, звались Джованандреа Лампоньяно, Карло Висконти и Джироламо Ольджато. Он беспрестанно обсуждал с ними дурную природу герцога Миланского и злосчастье тех, кто ему подвластен, и приобрел такое влияние на образ мышления и волю этих юношей, что они поклялись ему освободить свое отечество от тирании герцога, едва лишь достигнут подобающего возраста. Пламенное это стремление с годами только усиливалось. Нравы и поведение герцога, обиды, которые они лично от него претерпели, – все заставляло их спешить с осуществлением своего замысла.

Галеаццо был развратен и жесток, весьма часто выказывал эти свои свойства и всем стал ненавистен. Не довольствуясь соблазнением дам из благородных семей, он во всеуслышание заявлял об этом. Не довольствуясь умерщвлением людей, он старался, чтобы смерть была помучительней. Его не без основания обвиняли в убийстве родной матери. Пока она была жива, он не считал себя полновластным государем, и по отношению к ней вел себя таким образом, что она решила удалиться в Кремону, принадлежавшую ей, как часть ее приданого, но в дороге внезапно чем-то заболела и умерла. В народе многие были уверены, что он велел ее

умертвить. Он нанес бесчестье Карло и Джироламо, соблазнив женщин из их семей, а Джованандреа он воспрепятствовал принять аббатство Мирамондо, которое папа передал одному из его близких. Эти личные обиды породили в сердцах юношей жажду мщения, еще усилившую их желание избавить родину от стольких бедствий. Они, кроме того, надеялись, что если им удастся убить герцога, за ними последуют не только многие нобили, но и весь народ. Решившись на все и обо всем сговариваясь, они часто находились вместе, что не вызывало удивления ввиду их старинной дружбы. Они больше ни о чем другом не говорили и, чтобы укрепить себя в принятом решении, наносили себе в грудь и в бока удары рукоятками шпаг, предназначенных для задуманного дела. Обсуждали время и место: в замке не могло быть уверенности в успехе, на охоте покушение тоже казалось неверным и опасным, во время прогулок герцога по городу дело было трудным и даже неосуществимым, во время пира – сомнительным. Наконец, они договорились напасть на герцога на каком-либо пышном общественном торжестве, где его наверняка можно было застать и где им представлялась возможность под любыми предлогами собрать своих друзей.

Кроме того, они решили, что если кто-либо из заговорщиков будет схвачен, все другие должны, действуя оружием, идти на шпаги своих противников и убить герцога.

XXXIV

Было это в 1476 году, незадолго до рождества. Так как в день Святого Стефана герцог имел обыкновение с великой пышностью посещать церковь этого святого мученика, они решили, что тут и время, и место самые подходящие для осуществления их намерения. Утром этого дня заговорщики вооружили некоторых своих друзей и наиболее верных слуг под предлогом, что им придется помочь Джованандреа, который задумал устроить на своих землях водопровод вопреки воле завистливых соседей. Все эти вооруженные люди отправились в церковь якобы затем, чтобы перед отъездом испросить разрешение у герцога. Туда же они привели под разными предлогами еще других друзей и родичей, надеясь, что после удачного покушения все последуют за ними. Замысел их заключался в том, чтобы после смерти герцога все вооруженные объединились и пошли в те части города, где, по их расчетам, легче всего было поднять народные низы, призвав их с оружием в руках выступить против герцогини и главных правительственных лиц. Они полагали, что из-за голода, от которого страдал народ, он с готовностью пойдет за ними, тем более что они постановили между собой отдать на разграбление дома мессера Чекко Симонетты, Джованни Ботти и Франческо Лукани, которые являлись первыми лицами в правительстве герцога: этим они рассчитывали обеспечить свою безопасность и возвратить миланцам свободу.

Выработав план действий и укрепившись в решимости осуществить его, Джованандреа и все другие рано утром пришли в церковь, выстояли мессу, а после мессы Джованандреа обернулся к статуе Святого Амбросия и произнес: «О покровитель города нашего, ты знаешь, каково наше намерение и цель, ради которой идем мы на столь опасное дело! Будь благосклонен к нашему замыслу и покажи, благоприятствуя правому делу, сколь негодна тебе неправда». Между тем герцог, собираясь в церковь, получил ряд предзнаменований близкой своей смерти. С наступлением дня он надел на себя кирасу, как делал не раз, но вдруг снял ее с себя, словно ему в ней было неудобно или она показалась ему непригодной. Он пожелал было прослушать мессу в замке, но тут оказалось, что капеллан его отправился в Сан Стефано со всей утварью дворцовой церкви. Он предложил епископу Комо совершить для него мессу, но тот представил ему основательные доводы против этого. Наконец он словно против воли своей решил идти в церковь, но предварительно велел привести к себе своих сыновей Джован Галеаццо и Эрмеса. Он крепко обнимал их, целовал и, казалось, не мог расстаться с ними. Решив наконец двинуться в путь, он вышел из замка и направился в церковь, имея справа и слева от себя послов Феррары и Мантуи.

Тем временем заговорщики, чтобы не вызывать лишних подозрений и укрыться от весьма сильного холода, спрятались в комнате настоятеля церкви, их сообщника. Услышав, что герцог приближается к храму, они тоже вошли в церковь, причем Джованандреа и Джироламо стали справа от входа, а Карло слева. Те, кто предшествовали особе герцога, уже вошли в церковь, затем последовал он сам среди многочисленной свиты, среди пышности, подобающей в столь торжественный час герцогскому шествию. Первыми начали Лампоньяно и Джироламо. Под предлогом, будто они стараются расчистить ему путь, они приблизились к герцогу и, выхватив из рукавов короткие острые кинжалы, напали на него. Лампоньяно нанес ему две раны – одну в живот, другую в горло, Джироламо ударил тоже в горло и еще в грудь. Карло Висконти стоял ближе всего к двери, и герцог прошел уже мимо него, когда друзья Карло набросились на него. Поэтому он не мог нанести ему удара спереди, но зато

два раза ударил в спину и в плечо. Эти шесть ран были нанесены так стремительно, так быстро, что герцог упал на землю прежде, чем кто-либо сообразил, что именно случилось. Падая, он не успел ничего сделать или сказать – только один раз воззвал к Богоматери, моля ее о помощи.

Едва герцог упал, поднялось ужасающее смятение, многие выхватили шпаги из ножен и, как всегда бывает при неожиданном происшествии, одни выбегали из церкви, другие сбегались к месту покушения, не зная, что в сущности случилось и почему. Все же те, кто стоял поближе к герцогу, видели, как он был убит, и, узнав убийц, погнались за ними. Джованандреа, желая выбежать из церкви, бросился туда, где находились женщины. Так как их было много и они по своему обыкновению сидели на полу, он запутался в их юбках, был настигнут мавром, стремянным герцога, и убит. Карло также был убит людьми, находившимися вблизи от него. Но Джироламо Ольд-жато выбрался из церкви в толпе верных друзей и людей клира. Видя, что товарищи его погибли, и не зная, где ему укрыться, он бросился к себе домой, но отец и братья не захотели его принять. Только мать, тронутая горькой участью сына, поручила его одному священнику, другу их семьи, который, переодев его в рясу, привел к себе; он оставался у него два дня, надеясь спастись, если в Милане вспыхнет какое-либо восстание. Но все оставалось спокойно. Тогда опасаясь, что его обнаружат в этом убежище, он попытался бежать переодетый, но был опознан и отдан в руки правосудия, которому и сообщил все обстоятельства заговора.

Джироламо было двадцать три года. Умирая, он проявил такое же мужество, как и при умерщвлении герцога. Уже обнаженный до пояса, перед лицом палача, готового нанести удар, он произнес следующие слова по-латыни, ибо был юноша образованный: «Память об этом сохранится надолго: смерть жестока, но слава – вечна!» Дело это, так тщательно обдуманное несчастными юношами, было осуществлено с непоколебимым мужеством. Если они погибли, то лишь потому, что те, на чье содействие и защиту они рассчитывали, не оказали им ни содействия, ни защиты. И пусть на примере этом единоподержавные государи учатся жить таким образом, чтобы их любили и чтили, и не вынуждали никого искать спасения в их гибели. Пусть также и те, кто замышляет заговор, осознают, в свою очередь, как тщетна столь часто тешащая их мысль, будто народ, даже если он недоволен, последует за ними или поддержит их в опасности.

Всю Италию повергло в страх это событие, а еще более того другие, которые немного времени спустя произошли во Флоренции и нарушили мир, в течение двенадцати лет царивший в Италии. Мы поведаем о них в следующей книге. И как завершение этих событий принесло лишь траур и слезы, так и начало было кровавым и ужасным.

Книга восьмая

I

Так как начало этой книги приходится на промежуток времени между двумя заговорами – первым, миланским, о котором я только что рассказал, вторым флорентийским, о котором сейчас пойдет речь, мне подобало бы, согласно правилу, которому я все время следовал, высказать здесь несколько суждений о природе заговоров и о важных последствиях, к которым они могут приводить. Я бы сделал это с великим удовольствием, если бы не говорил об этом в другом своем труде или если бы предмет этот не требовал очень уж обстоятельного изложения. Но так как он требует длительных рассуждений, уже высказанных мною в другом месте, мы здесь его касаться не станем. Перейдя к совсем иному предмету, мы расскажем, как дом Медичи, могуществом своим повергнув всех врагов, открыто выступавших против него, должен был для того, чтобы стать единовластным повелителем города и образом жизни своей подняться надо всеми прочими, также одержать победу и над теми, кто тайно замышлял его падение. Ибо, пока Медичи боролись за влияние и значение с другими именитыми семействами, граждане, завидовавшие их могуществу, могли открыто высказываться против них, не боясь быть уничтоженными своими противниками в самом начале борьбы: ведь магистратуры были теперь свободными, и любая партия могла ничего не опасаться, пока не потерпела поражения.

Но после победы 1466 года вся власть перешла к Медичи, и они получили в делах государственных такое преобладание, что все те, кто смотрели на них с завистью, вынуждены были терпеливо переносить это положение. Если же они упорствовали в

стремлении изменить его, то им приходилось прибегать к тайным интригам или к заговорам. Но так как замыслы такого рода удаются с большим трудом, они большей частью кончаются гибелью заговорщиков и лишь способствуют величию того, против кого замышлялись. В таких случаях государь, намеченный жертвой, если он не гибнет, как герцог Миланский, что случается крайне редко, – приобретает еще большее могущество, но из благостного становится злым. Пример, который являют ему заговорщики, показывает, что у него есть все основания для опасений; опасения вызывают предосторожности; те, в свою очередь, порождают несправедливости, за которыми следуют ненависть и часто гибель государя.

Так, заговорщик сам является первой жертвой своего замысла, а тот, против кого заговор был направлен, тоже в конце концов испытывает на себе его пагубные последствия.

II

Как мы уже говорили, Италия разделилась на два союза государств. В одном находились папа и король Неаполитанский, в другом Флоренция, герцог Миланский и Венеция. Хотя между двумя этими союзами война еще не вспыхнула, они ежедневно давали друг другу поводы для ее возникновения; папа в особенности не упускал ни малейшей возможности повредить флорентийцам. Мессер Филиппо Медичи, архиепископ Пизанский, скончался; папа, несмотря на противодействие флорентийской Синьории, назначил на его место Франческо Сальвиати, заведомого недруга Медичи. Синьория решила воспрепятствовать его вступлению на кафедру, и осложнения, возникшие по этому поводу между республикой и папой, лишь обостряли взаимную враждебность. Впрочем, Сикст IV всячески осыпал в Риме особыми милостями семейство Пацци и искал любого случая ущемить Медичи.

В то время Пацци были во Флоренции одним из самых благородных и богатых семейств. Главой дома был мессер Якопо, и во внимание к его происхождению и богатству народ даровал ему рыцарское звание. У него была одна лишь побочная дочь, но множество племянников, сыновей его братьев Пьеро и Антонио; из них наиболее выдающимся являлись Гульельмо, Франческо, Ренато, Джованни, затем следовали Андреа, Никколо и Галеотто. Ко-зимо Медичи, считаясь с богатством и благородством этого семейства, выдал свою внучку Бьянку за Гульельмо в надежде, что, породнившись между собой, оба семейства объединятся и тем самым затихнут ненависть и вражда, порождаемые зачастую простой подозрительностью. Но случилось иначе – так неверны и обманчивы человеческие расчеты! Советники Лоренцо все время убеждали его, как опасно и противно его собственному могуществу допускать, чтобы еще в чьих-то руках сосредоточились и богатство, и власть. Из-за этого ни Якопо, ни его племянникам не поручали важных постов, хотя все считали, что они их достойны. Отсюда начало недовольства Пацци и начало опасений со стороны Медичи.

Итак, эта взаимная вражда продолжала усиливаться. И во всех случаях, когда между семейством Пацци и другими гражданами возникали нелады, магистраты высказывались против Пацци. Когда Франческо Пацци находился в Риме, совет Восьми под самым пустяковым предлогом заставил его вернуться во Флоренцию, не оказав ему при этом тех знаков внимания, которые приняты в отношении именитых граждан. Пацци со своей стороны повсюду высказывали недовольство в речах оскорбительных, полных презрения. Тем самым они усиливали подозрения своих соперников и с каждым днем все больше вредили самим себе. Джованни Пацци женился на дочери Джонанни Борромео, человека исключительно богатого, к которой после смерти отца должно было перейти все состояние семьи, так как других детей он не имел. Однако племянник Борромео, Карло, завладел частью имущества; и когда дело разбиралось в суде, был специально издан закон, по которому супруга Джованни Пацци лишалась отцовского имущества, и оно переходило к Карло. Пацци отлично поняли, что в этом деле повинны были исключительно Медичи. Джульяно неоднократно выражал по этому поводу негодование своему брату Лоренцо, убеждая его, что можно все потерять, когда желаешь приобрести слишком много.

III

Однако Лоренцо, будучи еще пылким юношей и упиваясь своей властью, желал участвовать во всех делах и отстаивал свои решения. Пацци же, памятуя о своем знатном происхождении и богатстве, не желали терпеть этого, считая, что действия Лоренцо ущемляют их права, и стали помышлять о мщении.

Первым, кто стал плести интригу против дома Медичи, был Франческо. Более чувствительный и смелый, чем другие, он решил приобрести то, что ему недоставало, ставя на карту все, что у него имелось. Ненавидя флорентийских правителей, он почти все время жил в Риме, где по обычаю флорентийских купцов

имел немалую казну и вел финансовые дела. Он был связан тесной дружбой с графом Джироламо, и вместе они часто жаловались на поведение Медичи. Дошло до того, что после всех этих совместных жалоб они рассудили, что для того, чтобы один из них мог спокойно существовать в своих владениях, а другой в родном городе, надо произвести во Флоренции переворот, а это, по их мнению, нельзя было сделать, оставив Лоренцо и Джульяно в живых. Они полагали также, что папа и король Неаполитанский охотно поддержали бы их, если бы удалось доказать, что совершить такой переворот нетрудно.

Приняв соответствующее решение, они сообщили о своем замысле Франческо Сальвиати, архиепископу Пи-занскому, который из-за честолюбия своего и недавно перенесенной от Медичи обиды охотно согласился им помогать. обстоятельно обдумывая между собой, что следует делать, и стремясь обеспечить себе наиболее верный успех, они пришли к заключению, что в их предприятие необходимо втянуть мессера Якопо Пацци, без которого, как им казалось, ничего затевать нельзя. С этой целью решено было, что Франческо Пацци отправится во Флоренцию, а архиепископ и граф останутся в Риме, чтобы своевременно уведомить обо всем папу. Франческо обнаружил, что мессер Якопо осмотрительнее и тверже, чем им хотелось бы, и сообщил об этом своим друзьям в Рим, а там подумали, что склонить его к заговору может лишь значительно более уважаемое лицо, и потому архиепископ и граф сообщили о своем замысле Джован Баттисте де Монтесекко, папскому кондотьеру. Тот считался весьма искусным военачальником и многим был обязан папе и графу. Однако он возразил, что план этот трудновыполним и опасен. Тогда архиепископ стал пытаться преуменьшить все эти опасности и трудности: он говорил о помощи со стороны папы и короля, о том, что флорентийским гражданам Медичи ненавистны, что Сальвиати и Пацци могут рассчитывать на поддержку родичей, что с обоими Медичи покончить будет легко, ибо они ходят по городу без спутников, ничего не опасаясь. Когда же их обоих уже не станет, переменить правительство будет совсем легко. Однако Джован Баттисте в это не верилось, ибо от многих других флорентийцев он слышал совершенно обратное.

IV

Пока строились все эти планы и замыслы, Карло, владетель Фаенцы, заболел, и за его жизнь можно было опасаться. Архиепископ и граф подумали, что тут представляется случай послать Джован Баггисту во Флоренцию, а оттуда в Романью под предлогом истребования городов, которые владетель Фаенцы отнял у графа. Последний посоветовал Джован Баттисте переговорить с Лоренцо, спросив у него совета, как ему повести себя в Романье, а затем с Франческо Пацци, чтобы решить, каким способом побудить Якопо Пацци принять участие в их замысле. Чтобы в переговорах с Якопо он мог сослаться на авторитет папы, они решили, что до отъезда Джован Баттиста побеседует с папой, который и предложил ему всю помощь, которую считал наиболее способствующей этому делу.

По прибытии во Флоренцию Джован Баттиста беседовал с Лоренцо, принявшим его исключительно любезно и давшим ему весьма мудрые и благожелательные советы, так что Джован Баттиста пришел в полное восхищение и нашел Лоренцо совсем не тем человеком, которого ему описывали, а весьма доброжелательным, разумным и дружественно расположенным к графу. Тем не менее он решил переговорить и с Франческо, однако не найдя его, так как Франческо уехал в Лукку, побеседовал с мессером Якопо, который сначала решительно не одобрил их замысла. Впрочем, к концу беседы ссылка на папу произвела на мессера Якопо известное впечатление, и он посоветовал Джован Баттисте отправиться в Романью: к его возвращению оттуда наверное и Франческо будет уже во Флоренции, и тогда можно будет вести уже более обстоятельный разговор. Джован Баттиста поехал, вернулся и продолжал для видимости вести с Лоренцо переговоры о делах графа. В то же время произошла встреча между ним, мессером Якопо и Франческо Пацци, и в конце концов удалось убедить мессера Якопо принять участие в заговоре.

Стали думать о способе его осуществления. Мессер Якопо считал это дело неосуществимым, пока оба брата находятся во Флоренции. Следовало обождать, пока Лоренцо не отправится в Рим, куда он по слухам собирается, и тогда надо нанести удар. Франческо не был против того, чтобы дожидаться поездки Лоренцо в Рим, однако он продолжал настаивать на том, что даже в случае, если Лоренцо не поедет, от обоих братьев легко будет избавиться на чьей-нибудь свадьбе, или на каком-либо зрелище, или в церкви. Что же до помощи извне, то он считал, что папа может собрать свое войско как бы для того, чтобы завладеть замком Монтоне, ибо у папы имелись законные основания отнять его у графа Карло в наказание за смуту, которую тот поднял в областях Сиены и Перуджи. Однако никакого окончательного решения принято не было. Условились только, что Франческо Пацци и Джован Баттиста возвратятся в Рим и там выработают уже твердый план с папой и графом

Джироламо.

В Риме дело еще длительно обсуждалось, и наконец решили, что будет предпринята попытка завладеть Монтоне, что Джован Франческо да Толентино, состоящий на жалованьи у папы, отправится в Романию, а мессер Лоренцо да Каstellо – в свою область, там они объединят свои войска с ополчением местных жителей и будут ждать указаний от архиепископа Сальвиати и Франческо Пацци. Последние оба с Джован Баттистой да Монтесекко отправятся во Флоренцию и там предпримут все необходимое для осуществления замысла, которому король Ферранте через посредство своего посла обещал поддержку.

Между тем Франческо Пацци и архиепископ, прибыв во Флоренцию, привлекли к участию в заговоре Якопо, сына мессера Поджо, юношу образованного, но честолюбивого и любителя всяких перемен, а также двоих Якопо Сальвиати, – один был братом, а другой более дальним родственником архиепископа. Уговорили принять участие Бернардо Бандини и Наполеоне Францези, юношей смелых и многим обязанных семейству Пацци. Кроме уже названных посторонних людей, к заговору примкнули также мессер Антонио да Вольтерра и некий священник по имени Стефано, обучавший в доме мессера Якопо латинскому языку его дочь. Ренато Пацци, человек благоразумный и вдумчивый, хорошо понимавший, какие бедствия порождаются подобными замыслами, не пожелал участвовать в заговоре, не скрыл своего негодования и претятствовал ему, как мог, не выдавая, впрочем, как порядочный человек участников.

Папой был послан в Пизанский университет для изучения канонического права Рафаэлло Риарио, племянник графа Джироламо. Он находился еще там, когда папа возвел его в кардинальское достоинство. Заговорщики вздумали привезти этого нового кардинала во Флоренцию, где его приезд мог бы послужить ширмой для заговора, ибо к его людям можно было легко присоединить тех участников заговора, которые еще не находились во Флоренции, и тем самым облегчить осуществление этого плана. Кардинал приехал, и мессер Якопо Пацци принял его в своей вилле в Монтуги, недалеко от Флоренции. Заговорщики хотели воспользоваться пребыванием кардинала, чтобы в связи с этим Лоренцо и Джульяно оба оказались в одном месте и с ними можно было покончить одним ударом. Им удалось устроить так, что кардинал был приглашен к Медичи на их виллу в Фьезоле, но случайно, а может быть, и сознательно Джульяно туда не прибыл. Так как этот план не удался, они решили, что, если новый прием состоится во Флоренции, оба брата неизбежно будут присутствовать на нем. Приняв таким образом необходимые меры, они избрали для устройства праздника воскресный день 28 апреля 1478 года. Уверенные в том, что им удастся умертвить Лоренцо и Джульяно во время пиршества, заговорщики собрались в субботу вечером, чтобы разработать план действий на завтрашнее утро. Но утром Франческо сообщили, что Джульяно на приеме не будет. Главари заговора вновь собрались и решили больше не откладывать дела, ибо в тайну было посвящено уже слишком много людей, и она не могла не раскрыться. Поэтому они назначили местом нападения на обоих братьев Медичи собор Санта Репарата, где они обязательно должны были появиться, так как туда собирался прибыть кардинал. Заговорщики хотели, чтобы Джован Баттиста взял на себя расправу с Лоренцо, а Франческо Пацци и Бернардо Бандини – с Джульяно. Джован Баттиста отказался – то ли душа его смягчилась от общения с Лоренцо, то ли была на то какая другая причина, но он заявил, что никогда не осмелится совершить такое злодеяние в церкви и к предательству добавить еще святотатство. С этого и началась неудача всего их предприятия. Ибо времени оставалось мало, и им пришлось поручить это дело мессеру Антонио да Вольтерра и священнику Стефано – людям, по привычкам своим и по характеру совершенно к этому непригодным. Если в каком деле необходимы твердость и мужество и равная готовность к жизни и к смерти, то именно в таком, ибо слишком часто в нем-то и пропадает решимость даже у людей, привыкших владеть оружием и не бояться кровопролития. Приняв эти решения, они назначили покушение на тот момент, когда священник, служащий мессу, совершает таинство евхаристии. В то же самое время архиепископ Сальвиати вместе со своими сторонниками, с Якопо и мессером Поджо должны были занять Дворец Синьории и после смерти обоих молодых Медичи заставить членов ее волей или неволей признать совершившееся.

VI

Когда все было условлено, они отправились в церковь, где уже находились кардинал и Лоренцо Медичи. В храме было полно народу, и служба началась, а Джульяно Медичи еще не появлялся. Франческо Пацци и Бернардо, которым было поручено расправиться с ним, пошли к нему на дом и всевозможными уговорами и просьбами добились того, чтобы он согласился пойти в церковь. Поистине удивительно, с какой твердостью и непреклонностью сумели Франческо и Бернардо

скрыть свою ненависть и свой страшный замысел. Ибо, ведя Джульяно в церковь, они всю дорогу, а затем уже в храме забавляли его всякими остротами и шуточками, которые в ходу у молодежи. Франческо не преминул даже под предлогом дружеских объятий ощупать все его тело, чтобы убедиться, нет ли на нем кирасы или каких других приспособлений для защиты.

Джульяно и Лоренцо хорошо знали, как ожесточены против них Пацци и как стремятся они лишиться их власти в делах государственных. Однако они были далеки от того, чтобы опасаться за свою жизнь, полагая, что если Пацци и предпримут что-либо, то воспользуются лишь законными средствами, не прибегая к насилию. Поэтому и они, не опасаясь за свою жизнь, делали вид, что дружески расположены к ним. Итак, убийцы подготовились – одни стояли возле Лоренцо, приблизиться к нему, не вызывая подозрения, было нетрудно из-за большого скопления народа, другие подле Джульяно. В назначенный момент Бернардо Бандини нанес Джульяно коротким, специально для этого предназначенным кинжалом удар в грудь. Джульяно, сделав несколько шагов, упал, и тогда на него набросился Франческо Пацци, нанося ему удар за ударом, притом с такой яростью, что в ослеплении сам себе довольно сильно поранил ногу. Со своей стороны мессер Антонио и Стефано напали на Лоренцо, нанесли ему несколько ударов, но лишь слегка поранили горло. Либо они не сумели с этим справиться, либо Лоренцо, сохранив все свое мужество и видя, что ему грозит гибель, стал стойко защищаться, либо ему оказали помощь окружающие, но усилия убийц оказались тщетными. Охваченные ужасом, они обратились в бегство и спрятались, однако их вскоре обнаружили, предали со всевозможными издевательствами смерти и протащили их трупы по улицам. Лоренцо с окружающими его друзьями укрылся в ризнице. Бернардо Бандини, видя, что Джульяно мертв, умертвил также Франческо Нори, преданнейшего друга Медичи, то ли движимый давней ненавистью к нему, то ли чтобы не дать ему прийти на помощь Джульяно. Не довольствуясь этими двумя убийствами, он бросился на Лоренцо, чтобы смелостью своей и быстротой довершить то, с чем не справились его сообщники из-за своей слабости и медлительности, но Лоренцо уже успел укрыться в ризнице, и его попытка оказалась тщетной. Среди переполоха, вызванного этими трагическими событиями, когда казалось, что самый храм рухнет, кардинал удалился в алтарь, где его с трудом защитили священнослужители. Однако после того, как смятение улеглось, Синьория доставила его во дворец, где он провел в величайшей тревоге все время до своего освобождения.

VII

Находились тогда во Флоренции несколько перуджинцев, лишенные яростью партийных страстей своего семейного очага, которых Пацци, пообещав вернуть их на родину, вовлекли в свое предприятие. Архиепископ Сальвиати, отправившийся завладеть Дворцом Синьории в сопровождении Якопо Поджо, своих родичей из дома Сальвиати и друзей, взял с собой и этих перуджинцев. Придя ко дворцу, он оставил внизу часть бывших с ним людей и велел им, как только они услышат шум, захватить все входы и выходы, а сам с большей частью перуджинцев поднялся наверх. Было уже поздно, члены Синьории обедали, однако его вскоре ввели к Чезаре Петруччи, гонфалоньеру справедливости. Он зашел в сопровождении всего нескольких человек, остальные остались снаружи, и большая часть из них сама себя заперла в помещении канцелярии, так как дверь эта была сделана таким образом, что, если она была закрыта, ее ни снаружи, ни изнутри нельзя было открыть без ключа. Между тем архиепископ, зайдя к гонфалоньеру под тем предлогом, что ему надо передать кое-что от имени папы, начал говорить как-то бессвязно и растерянно. Волнение, которое гонфалоньер заметил на лице архиепископа и в его речах, показалось ему настолько подозрительным, что он с криком бросился вон из своего кабинета и, наткнувшись на Якопо Поджо, вцепился ему в волосы и сдал его своей охране. Услышав необычный шум, члены Синьории вооружились чем попало, и все те, кто поднялся с архиепископом наверх, либо запертые в канцелярии, либо скованные страхом, были тотчас же перебиты или выброшены из окон дворца прямо на площадь, а архиепископ, оба Якопо Сальвиати и Якопо Поджо повешены под теми же окнами. Те же, кто оставался внизу, завладели входами и выходами, перебив охрану, и заняли весь нижний этаж, так что граждане, сбжавшиеся на этот шум ко дворцу, не могли ни оказать вооруженной помощи Синьории, ни даже подать ей совета.

Между тем Франческо Пацци и Бернардо Бандини, видя, что Лоренцо избежал гибели, а тот из заговорщиков, на кого возлагались все надежды, тяжело ранен, испугались; Бернардо, поняв, что все потеряно, и подумав о своем личном спасении с той же решительностью и быстротой, как и о том, чтобы погубить братьев Медичи, обратился в бегство и счастливо унес ноги. Раненый Франческо, вернувшись к себе домой, попробовал сесть на коня, чтобы, согласно решению заговорщиков, проехать с отрядом вооруженных людей по городу, призывая народ к оружию на защиту

свободы, но не смог: так глубоко была его рана и столько крови он потерял. Тогда он разделся донага и бросился на свое ложе, умоляя мессера Якопо сделать все то, что сам он совершить был не в состоянии. Мессер Якопо, несмотря на свой возраст и совершенную непригодность к такого рода делам, сел на коня и в сопровождении, может быть, сотни вооруженных спутников, специально для этого предназначенных, направился к дворцовой площади, призывая народ на помощь себе и свободе. Однако счастливая судьба и щедрость Медичи сделали народ глухим, а свободы во Флоренции уже не знали, так что призывов его никто не услышал. Только члены Синьории, занимавшие верхний этаж дворца, принялись швырять в него камнями и запугивать какими только могли придумать угрозами. Мессер Якопо колебался и не знал, что ему теперь делать, и тут встретился ему один его родич Джованни Серристоры, который сперва начал укорять его за то, что они вызвали всю эту смуту, а затем посоветовал возвратиться домой, уверяя, что другим гражданам столь же, как и ему, дороги и народ, и свобода. Лишившись, таким образом, последней надежды, видя, что Синьория против него, Лоренцо жив, Франческо ранен, никто не поднимается им на помощь, и не зная, что же предпринять, он решил спасать, если это возможно, свою жизнь и со своим отрядом, сопровождавшим его на площадь, выехал из Флоренции по дороге в Романию.

IX

Между тем весь город был уже вооружен, а Лоренцо Медичи в сопровождении вооруженных спутников удалился к себе домой. Дворец Синьории был освобожден народом, а занимавшие его люди захвачены или перебиты. По всему городу провозглашали имя Медичи, и повсюду можно было видеть растерзанные тела убитых, которые либо несли насаженными на копье, либо волокли по улицам. Всех Пацци гневно поносили и творили над ними все возможные жестокости. Их дома уже были захвачены народом, Франческо вытасен раздетым, как был, отведен во дворец и повешен рядом с архиепископом и другими своими сообщниками. На пути ко дворцу из него нельзя было вырвать ни слова; что бы ему ни говорили, что бы с ним ни делали, он не опускал взора перед своими учителями, не издал ни единой жалобы и только молча вздыхал. Гульельмо Пацци, зять Лоренцо, укрылся в его доме, спасшись и благодаря своей непричастности к этому делу, и благодаря помощи своей супруги Бьянки. Не было гражданина, который, безоружный или вооруженный, не являлся бы теперь в дом Лоренцо, чтобы предложить в поддержку ему себя самого и все свое достояние, — такую любовь и сочувствие снискало себе это семейство мудростью своей и щедротами. Когда начались все эти события, Ренато Пацци находился в своем поместье. Он хотел, переодевшись, бежать оттуда, однако в дороге был опознан, захвачен и доставлен во Флоренцию. Захвачен был также в горах мессер Якопо, ибо жители гор, узнав о событиях в городе и видя, что он пытается скрыться, задержали его и вернули во Флоренцию. Несмотря на все свои мольбы, он не мог добиться от сопровождавших его горцев, чтобы они покончили с ним в пути. Мессера Якопо и Ренато судили и предали казни четыре дня спустя. Среди стольких погибших в эти дни людей сожаления вызывал лишь один Ренато, ибо был он человек рассудительный и благожелательный и совершенно лишенный той надменности, в которой обвиняли все их семейство. Мессера Якопо погребли в склепе его предков; но как человек, преданный проклятию, он был извлечен оттуда и зарыт под стенами города. Однако и оттуда его вырыли и протащили обнаженный труп по всему городу. Так и не найдя успокоения в земле, он был теми же, кто волок его по улицам, брошен в воды Арно, стоявшие тогда очень высоко. Вот поистине ярчайший пример превратностей судьбы, когда человек с высот богатства и благополучия оказался так позорно низвергнутым в бездну величайшего злосчастия. Обвиняли его во множестве пороков, особенно в склонности к игре и сквернословью, большей, чем положено даже самому испорченному человеку. Однако это все он искупал милостыней, щедро оказываемой им всем нуждающимся, и пожертвованиями богоугодным заведениям. В похвалу ему можно также сказать, что в субботу, предшествовавшую столь кровавому воскресенью, он, чтобы никто не пострадал от возможной его неудачи, уплатил все свои долги и велел с величайшей щепетильностью возвратить владельцам все товары, которые были сданы ему на хранение и находились в таможе или у него на дому. Джован Баттиста да Монтесекко после длительного следствия был обезглавлен; Наполеоне Франчези бегством спасся от казни, Гульельмо Пацци приговорили к изгнанию, а двоюродных братьев его, оставшихся в живых, заключили в темницу крепости Вольтерры.

После окончания смуты и наказания заговорщиков совершенно было торжественное погребение Джульано: все граждане со слезами следовали за его гробом, ибо ни один человек, занимавший такое положение, не проявлял столько щедрости и человеколюбия. После него остался один побочный сын, родившийся через несколько дней после его смерти и названный Джулио, который наделен был всему миру

известными ныне добродетелями и которому судьбой было уготовано высокое предназначение, о чем мы, если Господь Бог продлит дни нашей жизни, обстоятельно поведаем, дойдя в повествовании своем до настоящего времени.

Войска, которые под началом мессера Лоренцо да Каstellо были сосредоточены в Валь-ди-Тевере и под началом Джован Франческо да Толентино в Романье, начали движение к Флоренции на помощь Пацци, но, узнав о полной неудаче заговора, повернули обратно.

Х

Итак, во Флоренции не произошло никакой перемены правления, желательной папе и королю, поэтому они решили добиться войной того, чего не удалось достигнуть путем заговора. С величайшей поспешностью собрали они свои войска, чтобы напасть на республику, распространяя повсюду уверения, будто им нужно от Флоренции только изгнание Лоренцо Медичи, ибо это единственный флорентиец, являющийся их врагом. Королевские войска уже перешли Тронто, папские находились на территории Перуджи. Чтобы тяжелее поразить флорентийцев не только в делах мирских, но и духовных, папа отлучил их от церкви и предал проклятию. Флоренция, видя, что на нее обрушивается сразу столько вражеских полчищ, употребила на защиту свою все имевшиеся в ее распоряжении средства. Лоренцо Медичи, принимая во внимание, что война якобы велась исключительно из-за него, решил прежде всего собрать во Дворце Синьории самых именитых граждан в количестве трехсот человек и обратился к ним с ниже следующей речью:

«Не знаю, высокие синьоры, и вы, достопочтенные граждане, должен ли я скорбеть вместе с вами по поводу всего происходящего или радоваться. Конечно, когда подумаешь, с каким коварством и ненавистью напали на меня и умертвили моего брата, нельзя не опечалиться, не ощутить в сердце самую острую боль. Но когда затем вспоминаешь, как быстро, как умело, с какой любовью и в каком единении всех жителей нашего города мне была оказана защита, а за брата моего отомстили, должно не только что радоваться, но гордиться и похваляться. Если мне пришлось на горьком опыте убедиться, что во Флоренции у меня больше врагов, чем я думал, то тот же опыт показал мне, что пламенных, вернейших друзей у меня тоже больше, чем я полагал. Поэтому должно мне скорбеть вместе с вами об обидах, чинимых мне врагами, и радоваться вашей расположенности ко мне. Но скорбеть об этих обидах я вынужден тем более, что они исключительны, беспримерны, а главное – никак не заслужены. Посудите сами, достопочтенные граждане, до чего довела злая судьба наш дом, если даже среди друзей, среди родичей, даже во святом храме члены его не могут чувствовать себя в безопасности. Те, кто опасаются за жизнь свою, обращаются за помощью к друзьям, к родичам, – мы же увидели, что они вооружились для нашей гибели. Те, кто преследуется обществом или частными лицами, ищут обычно убежища в церкви, но там, где другие находят защиту, нас подстерегала смерть; там, где даже отцеубийцы и душегубы чувствуют себя в безопасности, Медичи нашли своих убийц. И все же Господь Бог, никогда не оставлявший милостью своей нашего дома, еще раз проявил к нам милосердие и защитил наше правое дело. Ибо перед кем мы так провинились, чтобы заслужить столь яростную жажду мщения? Нет, те, кто проявил к нам такую враждебность, никогда не были лично нами обижены, ибо если бы мы что-либо сделали против них, они уже не имели бы возможности нанести нам ответного удара. Если же они приписывают нам угнетение, причиненное им государством, о чем, впрочем, ничего не известно, то вам они наносят большее оскорбление, чем нам, этому дворцу и вашей высокой власти – большее, чем нашему дому, утверждая тем самым, что ради нас вы незаслуженно ущемляете сограждан. Но ничто так не далеко от истины, ибо если бы мы могли нанести им обиду, то не стали бы этого делать, а вы не допустили бы этого, если бы даже мы захотели. Кто захочет по-настоящему видеть правду, сможет убедиться, что если мы столь исключительно возвеличили наш дом, то лишь потому, что мы неизменно старались превзойти всех в человеколюбии, щедрости и благотворительности. Если же мы всегда искали возможности ублаготворить чужих, то почему бы стали обижать близких? Однако их побуждала к действиям только жажда власти, что они доказали, захватив дворец и явившись вооруженной толпой на площадь, и деяние это, жестокое, честолюбивое и преступное, в самом себе несет свое осуждение. Если же они действовали из ненависти и зависти к нашему влиянию в делах государства, то покусились не столько на нас, сколько на вас, ибо вы даровали нам его. Ненавидеть следует ту власть, которую захватывают насильем, а не ту, которой достигают благодаря щедрости, человеколюбию и свободолюбию. И вы сами знаете, что никогда дом наш не восходил на какую-либо ступень величия иначе, как по воле этого дворца и с вашего общего согласия. Козимо, дед мой, вернулся из изгнания не благодаря силе оружия, а по общему и единодушному вашему желанию. Мой отец, старый и больной, уже не мог стать на защиту государства от

врагов, но его самого защитила ваша власть и ваше благоволение. Я же после кончины отца моего, будучи еще, можно сказать, ребенком, никогда бы не смог поддержать величие своего дома, если бы не ваши советы и поддержка. И этот наш дом никогда не смог бы и сейчас не сможет управлять государством, если бы вы не правили и раньше и теперь совместно с ним. Поэтому я и не знаю, откуда может явиться у врагов наших ненависть к нам и чем мы могли вызвать у них сколько-нибудь справедливую зависть. Пусть бы они ненавидели предков своих, из-за жадности и гордыни потерявших добрую славу, которую наши предки обрели благодаря совершенно противоположным качествам. Но пусть даже мы нанесли им тягчайшие обиды и они имеют все основания желать нашего падения, – зачем же нападать на этот дворец? Зачем вступать с папой и королем в союз, направленный против свободы отечества? Зачем нарушать мир, так долго царивший в Италии? В этом им никакого оправдания нет. Пусть бы нападали они на своих обидчиков и не смешивали частных раздоров с общественными. Вот почему теперь, когда они уничтожены, попали мы в еще большую беду, ибо под этим предлогом папа и король обрушились на нас с оружием в руках, заявляя, что войну они ведут лишь против меня и моего дома. Дал бы Бог, чтобы слова их были правдой. Тогда делу можно было бы помочь быстро и верно, ибо я не оказался бы таким дурным гражданином, чтобы личное спасение свое ценить больше вашего и не погасить кровью своей грозивший вам пожар. Но сильные мира всегда прикрывают свои злодеяния каким-нибудь более благовидным предлогом, вот и они придумали этот предлог для оправдания своего бесчестного замысла. Однако, если вы думаете иначе, я всецело в руках ваших. От вас зависит – поддержать меня или предоставить своей участи. Вы отцы мои и защитники, и что бы вы ни повелели мне сделать, то я с готовностью сделаю, даже если бы вы сочли нужным войну эту, начатую пролитием крови моего брата, закончить, пролив мою кровь».

Пока Лоренцо говорил, граждане и не пытались удерживаться от слез; и с тем же волнением, с каким они внимали ему, ответил один из них от имени всех прочих. Он сказал Лоренцо, что республика благодарна ему и его дому, что ему не следует терять мужество, что как не преминули они со всей поспешностью защитить его жизнь и отомстить за смерть его брата, так же постоят за его влияние и власть, которые он потеряет лишь тогда, когда они потеряют свое отечество. А для того чтобы дела соответствовали словам, Синьория назначила Лоренцо отряд личных телохранителей, которые должны были защищать его от всяких заговоров внутри города.

XI

Затем начали основательную подготовку к войне, собрав столько солдат и денег, сколько было возможно. К герцогу Миланскому и в Венецию послали за помощью согласно условиям союзного договора. Поскольку папа оказался в деле этом не пастырем, а волком, и чтобы не быть пожранными им в качестве виновников, флорентийцы старались всячески обелить себя в глазах всей Италии, громогласно заявляя о предательском отношении папы к Флоренции, о его нечестии и несправедливости, о том, что неправедными путями он получил понтификат и неправедно исполняет свой долг. Они прямо говорили, что папа не побоялся послать тех, кого он сделал высокими прелатами, вместе с предателями и отцеубийцами учинить предательское убийство во храме Божиим, во время мессы и совершения таинства евхаристии. Когда же он увидел, что не удалось ему истребить добропорядочных граждан, изменить правление в республике и разделаться с ней по своему усмотрению, то подверг ее отлучению и угрожал ей проклятием церкви. Но если Бог праведен, если ненавистно ему насилие, то ненавистны должны быть ему и деяния этого его наместника и не осудит он обиженных людей, которые прямо к нему возносят молитвы, коих знать не хочет римский первосвященник. В соответствии с этим флорентийцы не только не признали интердикта и не подчинились ему, но заставили своих священников совершать богослужение. Во Флоренции созвали собор всех тосканских прелатов, находившихся под властью флорентийской республики, и составили на нем обращение к будущему вселенскому собору о злодеяниях папы Сикста. Тот со своей стороны выставил немало доводов в оправдание своего дела: он говорил, что первый долг главы церкви – подавлять тиранов, карать злых и возносить добрых и добиваться всего этого любыми доступными средствами. Но светским государям и правителям не дано право подвергать заключению кардиналов, вешать епископов, убивать священников, разрывать на части и волочить по улицам их тела, истребляя без всякого различия и правых, и виноватых.

XII

Несмотря, однако же, на все эти взаимные жалобы и обвинения, флорентийцы

вернули папе кардинала, находившегося в их руках. А следствием этого было то, что папа, которого теперь уже ничто не сдерживало, обрушился на них объединенными силами – своими и короля. Оба эти войска под началом Альфонса, герцога Калабрийского, старшего сына Ферранте, и Федерико, графа Урбинского, вступили в Кьянти при содействии сиенцев, державших сторону врагов Флоренции, захватили Радду и немало других замков и принялись опустошать эти земли, а затем двинулись на Каstellину.

Перед лицом этого наступления флорентийцы испытывали великий страх, ибо войска у них почти не было, а союзники не слишком торопились им помочь. Хотя герцог и послал подмогу, венецианцы не считали себя обязанными помогать Флоренции в ее частных распрях: по их мнению, война эта велась против отдельных флорентийских граждан и должна была рассматриваться как частное дело, и поэтому они вовсе не должны были посылать какую бы то ни было помощь. Чтобы внушить венецианцам более правильное представление о положении вещей, Флоренция отправила послом к венецианскому сенату мессера Томмазо Содерини и в то же время произвела наем войска, поставив его под начало Эрколе, маркиза Феррарского.

Пока делались все эти приготовления, неприятель с такой силой напал на Каstellину, что жители ее, отчаявшись в получении помощи, сдались после выдержанной ими сорокадневной осады. Оттуда вражеское войско двинулось на Ареццо и осадило Монте-Сан-Совино. К этому времени флорентийцы уже собрали войско, которое пошло навстречу врагу и расположилось в трех милях от него, нанося ему такой ущерб, что Федерико Урбинский попросил перемирия на несколько дней, на которое флорентийцы согласились, с таким уроном для себя, что просившие о перемирии были крайне удивлены их согласием: ведь в случае отказа неприятель вынужден был бы с позором отступить. Воспользовавшись перемирием, урбинцы перестроили свои силы и завладели замком на глазах у наших войск, но тем временем наступила зима, и, желая провести ее в более благоприятных условиях, они отошли на территорию Сиены.

XIII

В это же время Генуя восстала против герцогства Миланского по следующим причинам. После смерти Галеаццо наследником оказался сын его Джован Галеаццо, по малолетству неспособный управлять государством, и между его дядьями Лодовико, Оттавиано и Асканио Сфорца и его матерью Боной возникли несогласия, ибо каждый из них хотел быть опекуном маленького герцога. Бона, вдовствующая герцогиня, пользуясь советами мессера Томмазо Содерини, находившегося тогда в Милане в качестве флорентийского посла, и мессера Чекко Симонетты, бывшего секретаря Галеаццо, одержала в этом споре верх. Братья Сфорца бежали из Милана, причем Оттавиано утонул, перебираясь через Адду, а другие два брата были сосланы в разные места, так же как синьор Роберто да Сансеверино, который во время этих распрей переметнулся от герцогини к братьям Сфорца. Неурядицы, возникшие затем в Тоскане, вселили в этих братьев бывшего государя надежду, что новые обстоятельства могут повернуться благоприятным для них образом. Они нарушили запрет, и каждый из них стал искать способов вернуться на родину.

Король Ферранте, зная, что флорентийцам в их беде помогает только Милан, решил лишить их и этой поддержки и с этой целью принялся чинить герцогине такие препятствия в ее делах, чтобы она не имела возможности оказывать Флоренции никакой помощи. При содействии Просперо Адорно, синьора Роберто и братьев Сфорца он подговорил Геную к выступлению против герцогской власти, так что в повиновении герцогу оставался только Каstellетто. Герцогиня надеялась, что, владея этой крепостью, она легче сможет привести к покорности город, и послала туда довольно значительные силы, которые, однако, потерпели поражение. Тогда она поняла, какая опасность грозит власти ее сына и ее собственной, если война будет продолжаться. Тоскана подвергалась опустошению, а флорентийцы, на которых герцогиня рассчитывала, были не в состоянии ей помочь, поэтому она приняла решение сделать из Генуи союзницу, раз уж невозможно оставить ее в подданстве. Приняв это решение, герцогиня договорилась с Баттистино Фрегозо, врагом Просперо Адорно, и передала ему Каstellетто, с тем чтобы он изгнал Адорно из Генуи и не оказывал никакой поддержки мятежным братьям Сфорца. После этого соглашения Баттистино, опираясь на воинскую помощь Каstellетто и партию сторонников Фрегозо, завладел Генуей и обеспечил себе, по генуэзскому обычаю, избрание дожем, а братья Сфорца и синьор Роберто, изгнанные из генуэзских владений, укрылись со своими сторонниками в Луниджане. Папа и король, видя, что в Ломбардии наступило успокоение, решили использовать тех, кто был изгнан из Генуи, для угрозы Флоренции со стороны Пизы в расчете на то, что флорентийцы, вынужденные разделить свои силы, существенно ослабеют. Так как зима уже кончилась, они добились того, чтобы синьор Роберто со своими солдатами оставил

Луниджану и напал на пизанские земли. Синьор Роберто поднял повсюду великое волнение, захватил и разгромил в пизанских землях немало крепостей и наконец подошел к самому городу, опустошая все на своем пути.

XIV

К тому времени прибыли во Флоренцию послы к папе от императора, короля Франции и короля Венгерского. Они посоветовали флорентийцам тоже направить к папе послов, обещая со своей стороны убедить папу согласиться на прочный мир, который положил бы конец этой войне. Флорентийцы не отказались от этой попытки, которая по крайней мере показала бы всему свету, насколько они стремятся к миру. Послы были отправлены, но возвратились, ничего не добившись. Тогда флорентийцы, подвергшиеся нападению со стороны одних итальянских государств и оставленные на произвол судьбы другими, решили заручиться покровительством короля Франции и послали к нему Донато Аччаюоли, человека, знаменитого своими познаниями в греческой и латинской словесности, чьи предки всегда занимали в республике самые важные посты. Он отправился в путь, но, доехав до Милана, скончался. Чтобы почтить его память и обеспечить оставшихся после него близких, отечество совершило торжественное погребение его за государственный счет, дало сыновьям различные привилегии, а дочерям – приданое, чтобы они могли достойным образом выйти замуж. Послом же к королю вместо него отправили мессера Гвидантонио Веспуччи, человека весьма сведущего в гражданском и церковном праве.

Нашествие синьора Роберто на пизанские земли напугало флорентийцев, как всякая неожиданная беда. Им уже и без того приходилось немало терпеть со стороны Сиены, и они не знали, как защититься со стороны Пизы, однако посылали к ней и ополчение, и другую подобную подмогу. Чтобы Лукка не отпала и не стала снабжать неприятеля деньгами и припасами, они послали туда Пьеро, сына Джина Каппони, который, однако, из-за ненависти этого города к флорентийцам, порожденной давними обидами и постоянным страхом, был принят там настолько недружелюбно, что не раз подвергался опасности быть убитым луккскими гражданами. Так что его присутствие в Лукке скорее дало повод для новых недоразумений, чем содействовало укреплению единства. Флорентийцы отзывали маркиза Феррарского, приняли на жалованье маркиза Мантуанского и стали настоятельно просить Венецию послать им графа Карло, сына Браччо и Деифебо, сына графа Якопо, которых венецианцы после многих проволочек все же направили к ним, ибо, заключив перемирие с турецким султаном, они уже не имели никаких отговорок и постыдились столь явно нарушить верность союзу. Граф Карло и Деифебо явились, таким образом, с порядочным войском, к которому присоединили всех тех, кого можно было взять из частей, оборонявшихся под началом маркиза Феррарского от войск герцога Калабрииского. И эти соединенные войска двинулись к Пизе навстречу синьору Роберто, находившемуся со своими силами на берегу Серкьо. Тот сперва как будто намеревался ожидать наше войско, однако при приближении его отступил к Луниджане, на те же позиции, с которых он вторгся в пизанские земли. После его отхода граф Карло вернул все то, что было захвачено неприятелем в этой местности.

XV

Избавившись от опасности со стороны Пизы, флорентийцы собрали все свои силы на пространстве между Колле и Сан-Джиминьяно. Но с появлением графа Карло в этом войске снова разгорелись раздоры между сторонниками Сфорца и сторонниками Браччо, и притом настолько, что можно было опасаться, если бы они надолго оставались вместе, вспышки враждебных действий. Чтобы избежать наихудшего, решено было разделить войско и одну часть его под командованием графа Карло послать в перуджийские земли с тем, чтобы другая укрепилась на сильных позициях у Поджибонци и могла препятствовать проникновению неприятеля в земли Флоренции. Полагали, что эта мера вынудит и его разделить свои силы, ибо можно было рассчитывать либо на то, что граф Карло займет Перуджу, где, как думали, у него много сторонников, либо на то, что папа вынужден будет послать туда большое число солдат для защиты города. Чтобы папа оказался в еще более трудном положении, предложили мессеру Никколо Вителли, изгнанному из Читта-ди-Кастелло, где у власти теперь находился его враг мессер Лоренцо, двинуться на этот город, изгнать из него неприятеля и вывести из повиновения Папскому государству. Сперва казалось, что счастье готово улыбнуться флорентийцам, – граф Карло добился в перуджийских землях больших успехов. Хотя мессеру Никколо Вителли еще не удалось вступить в Кастелло, военное преимущество было на его стороне, и он без особых помех опустошал окрестности города. Войско, оставшееся у Поджибонци, тоже ежедневно совершало набеги до самых стен Сиены. Тем не менее все эти надежды оказались тщетными. Прежде всего, в тот самый момент, когда, казалось, ему была

обеспечена победа, умер граф Карло. Это событие, впрочем, могло бы даже улучшить положение флорентийцев, если бы они сумели воспользоваться плодами последовавшей затем победы.

Узнав о кончине графа, папские войска, которые уже соединились в Перудже, возымели надежду уничтожить флорентийские силы: они выступили в поход и стали лагерем на берегу озера в трех милях от своих противников. Но со своей стороны Якопо Гвиччардини, комиссар флорентийского войска, совместно с достославным синьором Роберто да Римини, который после кончины графа Карло был первым и наиболее способным военачальником, узнав о причине вражеских расчетов на победу, решили дожидаться неприятеля. Битва разыгралась на берегу озера, где некогда карфагенянин Ганнибал нанес римлянам столь памятное поражение, и папские войска были в свою очередь разбиты. Эта победа вызвала величайшую радость во Флоренции, всячески восхвалявшей своих военачальников, и возымела бы весьма славные последствия, если бы все не изменилось из-за беспорядков, которые возникли в войске, укрепившемся у Поджибонци: все преимущества, достигнутые одной частью войска, были полностью уничтожены другой. Эта последняя собрала в сиенских землях значительную добычу, из-за раздела которой между маркизами Феррарским и Мантуанским возник раздор. Дошло до вооруженного столкновения, притом столь яростного, что флорентийцы, видя, что на обоих военачальников вместе им рассчитывать уже нельзя, отпустили маркиза Феррарского с солдатами в его владения.

XVI

Таким образом флорентийское войско сразу же стало значительно слабее, потеряло военачальника, и в руководстве им возник полнейший беспорядок. Герцог Калабрийский, находившийся со своими людьми в окрестностях Сиены, счел момент подходящим для нападения. Так и было сделано, как решили. Пораженные неожиданностью флорентийцы не стали полагаться ни на свое оружие, ни на свою превосходящую численность, ни на выгодность занятой ими позиции и, не дожидаясь врага, даже не видя его, при появлении одной лишь поднятой им пыли обратились в бегство, оставив в добычу неприятелю все припасы, обозы и артиллерию. В подобных войсках всегда было столько трусости и неустройства, что достаточно было какому-нибудь коню повернуться головой или задом, чтобы из этого последовали победа или поражение.

Разгром, понесенный флорентийским войском, обогатил королевских солдат добычей, а Флоренцию поверг в ужас. Город не только переносил тяжелую войну, но стал еще и жертвой заразной болезни, столь опасной и губительной, что граждане, стараясь избежать смерти, расселились по деревням. Последствия разгрома были тем ужаснее, что граждане, владевшие именьями в Валь-ди-Пеза и в Валь-д'Эльза и укрывшиеся там, узнав о военном поражении, второпях вернулись во Флоренцию не только с детьми и всей движимостью, но и с работавшими на них крестьянами. Казалось, неприятель может в любой миг появиться под стенами города. Должностные лица, ведавшие военными делами, при виде столь великого смятения велели войскам, победоносно действовавшим у Перуджи, прекратить там все операции и двинуться в Валь-д'Эльза против неприятеля, который после одержанной им победы без малейшей помехи повсюду совершал набеги. Хотя город Перуджа был так осажден, что со дня на день ожидалась его сдача, флорентийцы предпочли лучше уж защитить свое достояние, чем завладеть чужим. Таким образом, это войско, лишившись плодов своей победы, переведено было в Сан-Кашьяно, крепость в восьми милях от Флоренции, ибо сочли, что лишь там можно укрепиться, пока не соберутся остатки разбитого войска.

Что касается неприятеля, то те его войска, которые получили свободу действий после снятия осады с Перуджи, осмелели и ежедневно собирали немалую добычу в землях Арещо и Картоны, а те, что под началом Альфонса, герцога Калабрийского, одержали победу у Поджибонци, захватили сперва Поджибонци, затем Вико и полностью разгромили Чертальядо. Завладев всеми этими местами и набрав огромную добычу, они предприняли осаду Колле, который в то время считался неприступным. Жители его оставались верны Флоренции и так упорно сопротивлялись врагу, что дали возможность республике собрать рассеянные повсюду части. Флорентийцы, соединив все свои силы у Сан-Кашьяно и видя, что неприятель все решительнее осаждает Колле, решили подойти к этой крепости, чтобы влить в осажденных мужество и ослабить нажим противника, которому пришлось бы посчитаться с близостью флорентийского войска. Приняв такое решение, велено было войску оставить позиции у Сан-Кашьяно и расположиться лагерем у Сан-Джиминьяно в пяти милях от Колле. Оттуда легкая кавалерия и наиболее подвижные пехотные части ежедневно тревожили противника. Помощь эта жителям Колле, однако же, оказалась недостаточной: им не хватало самого необходимого, и они вынуждены были 13 ноября

сдаться к великому огорчению флорентийцев и к немалой радости неприятеля, и прежде всего сиенцев, которые, помимо своей ненависти к Флоренции вообще, питали особую неприязнь к жителям Колле.

Зима уже вступила в свои права и обстановка стала неблагоприятной для военных действий. Папа и король, движимые то ли стремлением подать какие-то надежды на прочный мир, то ли желанием использовать плоды своих успехов, предложили Флоренции трехмесячное перемирие и дали десять дней на ответ. Предложение было немедленно принято. Но как часто бывает с людьми, которые боль от ран ощущают сильнее, когда кровь у них остывает, чем в момент удара, так эта передышка лишь заставила флорентийцев яснее осознать свои беды. Граждане принялись без всякого удержу и меры обвинять друг друга, припоминать допущенные в военных действиях ошибки, бесполезные расходы, несправедливо распределенные тяготы и налоги. Говорилось об этом не только при частных встречах – возникали по этому поводу жаркие споры в советах республики. Некий гражданин осмелел даже настолько, что обратился прямо к Лоренцо Медичи и сказал: «Город устал и не хочет больше воевать. Сейчас необходимо подумать о мире».

Лоренцо, сам убедившись в насущной необходимости заключить мир, собрал совет из тех друзей своих, которых он считал наиболее умными и верными. Они же не усмотрели иного выхода – ввиду холодности и неверности венецианцев, а также малолетства герцога Миланского и гражданских распри в герцогстве, – как поиски нового счастья с новыми друзьями. Однако они не знали, в чьи объятия броситься – папы или короля. По зрелом размышлении склонились к дружбе с королем как более устойчивой и верной. Ибо кратковременность правления пап, перемены, вызываемые каждым новым избранием, почти полное отсутствие у папства страха перед другими государями, беззастенчивость его в выборе политики – все это приводило к тому, что ни один светский государь не мог полностью доверять главе церкви и без опасности для себя связывать свою судьбу с его судьбой. Тот, кто в качестве союзника делит с папой все опасности войны, победу разделит с ним, а в поражении окажется одиноким, ибо глава церкви всегда обретает верную защиту в своей духовной власти и внушаемом ею почтении.

Придя к выводу, что выгоднее всего иметь дело с королем, рассудили также, что самым лучшим и верным было бы личное участие в переговорах самого Лоренцо, ибо чем на более широкой основе будут они проводиться, тем, вероятно, легче окажется рассеять былую враждебность. Твердо решив отправиться к королю, Лоренцо поручил заботу о судьбе города и государства мессеру Томмазо Содерини, в то время гонфалоньеру справедливости, и в начале декабря выехал из Флоренции, а добравшись до Пизы, написал Синьории, по какой причине оставил Флоренцию. Синьория же, чтобы оказать ему честь и дать возможность с большим достоинством вести мирные переговоры с королем, назначила его послом народа Флоренции и облекла его полномочиями заключить с этим государем такой договор о дружбе, какой он найдет наиболее выгодным для республики.

XVIII

В то же самое время синьор Роберто да Сансеверино совместно с Лодовико и Асканио, ввиду смерти их брата Сфорца, снова напали на герцогство Миланское, чтобы захватить там власть. Они завладели Тортоной. Милан и все герцогство вооружились, но тут герцогине Боне посоветовали вернуть в Милан братьев покойного герцога и разделить с ними правление, чтобы устранить малейший повод к внутренним стычкам. Совет этот подал Антонио Тассино, феррарец. Выходец из низов, он приехал в Милан и поступил на службу к герцогу Галеаццо, который назначил его личным слугой супруги своей, герцогини. То ли по красоте своей наружности, то ли по каким другим неизвестным качествам, но он после смерти герцога обрел такое влияние на герцогиню, что, можно сказать, правил государством. Мессер Чекко, муж, известный своей мудростью и опытностью, весьма этого не одобрял и сколько мог старался ослабить влияние Тассино на герцогиню и на других близких к правлению лиц. Тот, заметив это, из мести и желая также иметь какого-то защитника от мессера Чекко, стал убеждать герцогиню вернуть в Милан братьев Сфорца, что она и сделала, не сообщив ни о чем мессеру Чекко. Он же сказал ей: «Ты приняла решение, которое у меня отнимет жизнь, а тебя лишит государства». Так вскоре и случилось. Синьор Лодовико велел умертвить Чекко, а через некоторое время Тассино был изгнан из Милана. Герцогиня этим до того расстроилась, что покинула Милан и передала Лодовико опеку над своим сыном. Таким образом Лодовико оказался единоличным правителем Милана и, как мы в дальнейшем покажем, причиной величайших бедствий для всей Италии.

Итак, Лоренцо отправился в Неаполь и между сторонами продолжалось перемирие, когда совершенно неожиданно Лодовико Фрегозо с помощью некоторых своих сторонников в Сарцане тайком вступил туда со своими солдатами, занял эту

крепость, а ставленников флорентийцев бросил в тюрьму. Событие это крайне встревожило флорентийское правительство, полагавшее, что захват Сарцаны произведен по наущению короля ферранте, и оно стало жаловаться пребывавшему в Сиене герцогу Калабрийскому на новое нападение во время перемирия. Герцог же в письменной форме и через послов всячески старался разуверить их в этом и утверждал, что захват Сарцаны совершен был без ведома его и его отца. Несмотря на эти уверения, флорентийцы понимали, что положение их с каждым днем ухудшается: казна была пуста, глава государства находился во власти короля Неаполитанского, а к прежней войне с королем и папой присоединилась еще новая – с генуэзцами. Союзников же у Флоренции не было: на венецианцев рассчитывать не приходилось, а миланское правительство внушало одни опасения, как весьма непрочное и ненадежное. Вся надежда была на успешный исход переговоров Лоренцо с королем.

XIX

Лоренцо прибыл в Неаполь морем и был не только королем, но и всем городом принят с великим почетом и интересом. Ведь война была предпринята для того, чтобы погубить его, и величие врагов Лоренцо лишь содействовало его собственному величию. Когда же он явился к королю, то заговорил о положении всей Италии, о стремлениях ее государей и народов, о надеждах, которые могло бы возбудить всеобщее замирение, и опасностях продолжения войны; и речь его была такой, что король, выслушав Лоренцо, стал больше дивиться величию его души, ясности ума и мудрости суждений, чем раньше изумлялся тому, как этот человек может один нести бремя забот военного времени. Тут он окружил его еще большим почетом и стал подумывать о том, как бы заручиться дружбой этого человека вместо того, чтобы иметь его врагом. Однако он под разнообразными предлогами задерживал его у себя с декабря по март следующего года, дабы не только лучше узнать его самого, но и намерения флорентийской республики, так как у Лоренцо во Флоренции имелось немало врагов, которым желательно было бы, чтобы король держал его в плену и обошелся с ним, как с Якопо Пиччинино. Они громко высказывали по всему городу свои якобы опасения на этот счет, а на собраниях возражали против всего, что предлагалось предпринять в защиту Лоренцо. Действуя таким способом, они распространяли слух, что если король подольше удержит Лоренцо в Неаполе, во Флоренции произойдет переворот. Вследствие этого король все время откладывал отъезд Лоренцо, чтобы увидеть, не случится ли чего-либо во Флоренции в его отсутствие. Однако, убедившись, что там все спокойно, король 6 марта 1479 года отпустил Лоренцо, предварительно щедро осыпав его благодарениями и завоевав его расположение бесчисленными изъявлениями дружеских чувств. Заключили они также соглашение о вечной дружбе в интересах обоих государств. И если Лоренцо, уезжая из Флоренции, уже был великим человеком, то вернулся он на родину осененный еще большим величием, и город принял его с восторгом, которого вполне заслуживали его качества вообще и новые заслуги перед отечеством, ибо он вернул ему мир, подвергая опасности свою жизнь. Через две недели после его возвращения обнародовано было соглашение между флорентийской республикой и королем. По этому договору обе стороны принимали на себя взаимные обязательства по сохранению целостности своих государств. Королю предоставлялось право по своему усмотрению вернуть Флоренции захваченные у нее города. Пацци, заключенные в башне замка Вольтерры, получили свободу, а герцогу Калабрийскому через определенное время должны были выплатить назначенную сумму.

Мирный договор этот, едва стало о нем известно, вызвал крайнее возмущение у папы и у венецианцев. Папа считал, что король проявил к нему полнейшее неуважение, а венецианцы в том же самом обвиняли Флоренцию, напоминая, что войну они вели совместно, а мир заключили без их участия. Когда об этом неудовольствии стало известно во Флоренции, все стали опасаться, как бы заключенный только что мир не породил еще более жестокую войну. Вследствие этого возглавлявшие государство решили уменьшить число членов правительства и поручить вынесение решений по важнейшим государственным делам меньшему числу лиц. Так составлен был совет Семидесяти, который и получил решающее влияние на все дела первостепенного значения. Этот новый порядок вещей утихомирил тех, кто стремился к переговорам. Чтобы упрочить свою власть, новый Совет прежде всего утвердил мирный договор Лоренцо с королем и постановил отправить послов к папе, которыми назначил мессера Антонио Ридольфи и Пьеро Нази.

Несмотря, однако, на заключение мира, Альфонс, герцог Калабрийский, оставался со своим войском в Сиене, утверждая, что его удерживают там раздоры среди граждан. Сперва он стоял лагерем вне города, но в Сиене вспыхнули такие беспорядки, что граждане просили его вступить в город и стать третейским судьей в их распрях.

Герцог, воспользовавшись случаем, многих граждан присудил к денежному штрафу, других к тюремному заключению, третьих к изгнанию, а иных даже к смертной казни. Такое поведение вскоре вызвало не только у сиенцев, но и у флорентийцев подозрения, не намеревается ли герцог объявить себя владельцем этого города. Однако сделать что-либо было невозможно, ибо республика была теперь в дружбе с королем и во вражде с папой и с Венецией. Опасения эти появились не только у флорентийского народа, все очень тонко подмечавшего, но и у тех, кто правил государством: все, казалось, были уверены, что никогда еще нашему городу не угрожала так явно потеря свободы. Но по воле Господа Бога, который во всех тяжелых положениях проявляет о нем особую заботу, случилось совершенно непредвиденное событие, заставившее короля, папу и венецианцев подумать о делах, куда более важных, чем положение в Тоскане.

Турецкий султан Мухаммед во главе весьма грозного войска обложил Родос и осаждал его в течение многих месяцев. Но хотя силы и упорство осаждающих были очень велики, сопротивление осажденных оказалось еще сильнее, и они с такой доблестью и яростью оборонялись против столь мощных сил, что Мухаммеду пришлось с позором снять осаду. Между тем после его ухода часть турецкого флота под командованием Ахмет-паши двинулась на Валону. То ли Ахмету показалось это легким делом, то ли он попросту выполнял приказ своего повелителя, но, идя вдоль берегов Италии, он внезапно высадил на берег четыре тысячи человек, напал на Отранто, захватил его, разграбил и всех жителей перебил. Затем он не преминул всяческими способами закрепиться в этом городе и порту и, собрав там сильный кавалерийский отряд, стал совершать грабительские набеги на всю округу. Получив известие об этом нашествии и хорошо зная могущество султана, король повсюду разослал вестников о грозящей ему великой опасности с просьбами о помощи против общего врага и настоятельно потребовал возвращения герцога Калабрийского, все еще находившегося со своим войском в Сиене.

XXI

Турецкое нападение, весьма смутившее герцога и вообще всю Италию, оказалось зато на руку Флоренции и Сиене: одна, казалось, вновь обрела независимость, а другая избавилась от опасностей, угрожавших ее свободе. Убеждение это подтвердилось жалобами герцога при оставлении им Сиены на то, что злая судьба, допустившая событие столь нежданное и непредвиденное, лишила его возможности получить в Тоскане верховную власть. Это же событие существенно изменило взгляды папы: прежде он не желал принимать и выслушивать никаких флорентийских послов, теперь же настолько смягчился, что охотно прислушивался к любым разговорам о всеобщем замирении. Так что флорентийцы уверились, что если они снизойдут до того, чтобы просить прощения у главы церкви, то и получат его. Решено было не упускать этой возможности, и к папе отправили посольство в составе двенадцати человек, которым по прибытии их в Рим папа все же под различными предлогами долго не давал аудиенции. Под конец, однако же, обе стороны договорились о том, какие у них в дальнейшем будут взаимоотношения и что именно каждая из них будет вносить в дела мира и войны. Затем послы преклонили колена перед папой, ожидавшим их во всем блеске своего могущества и в окружении кардиналов. Они всячески оправдывались во всем происшедшем, ссылаясь на людское коварство, на слепую ярость народа, на злую судьбу тех, кто вынужден либо сражаться, либо погибнуть, признавая справедливость гнева папы. Говорили о том, что пришлось перенести флорентийцам, чтобы избежать гибели, и как флорентийцы переносили тяготы войны, отлучения и все другие бедствия, которые они навлекли на себя благодаря происшедшим событиям. И все ради того, чтобы их республике избежать рабства, которое для свободных городов хуже смерти. Однако, если даже против своей воли флорентийцы чем-то провинились, они готовы засвидетельствовать свое раскаяние и довериться милосердию главы церкви, который, следуя по стопам Спасителя нашего, не отвергнет их и откроет им свои отеческие объятия.

Папа ответил на эти оправдания словами, полными надменности и гнева, укоряя флорентийцев за все то, в чем они в былое время провинились перед церковью. Он добавил, что, следуя заповедям Божьим, готов даровать им прощение, коего они просят, но пусть они знают, что отныне должны повиноваться церкви; если же выйдут из повиновения, то и впрямь вполне заслуженно утратят свободу, которую уже едва не потеряли. Лишь те заслуживают свободы, кто употребляет ее во благо, а не во зло, ибо свобода, дурно использованная, гибельна и для себя самой, и для других. Кто не чтит Бога, а еще того менее церковь, тот не свободен, а разнуздан и склонен более ко злу, чем ко благу, и покарать его должно не только государям, но и всем добрым христианам. Во всем, что произошло, флорентийцы должны винить только самих себя, ибо их злые дела вызвали эту войну и дальнейшие, еще худшие, поступки питали ее. Если же теперь она кончилась, то не благодаря флорентийцам,

а по доброте их противников.

После этого прочитали текст договора и формулу папского благословения. Но тут папа добавил к тому, о чем уже договорились, что если флорентийцы хотят, чтобы благословение это пошло им на пользу, они должны за свой счет вооружить пятнадцать галер и содержать их все то время, что турки будут воевать против королевства Неаполитанского. Послы горько жаловались на это возложенное на флоренцию добавочное бремя, однако ни их жалобы, ни просьбы их друзей не облегчили его. Впрочем, после возвращения посольства во флоренцию Синьория отправила к папе для подписания договора своим полномочным представителем Гвидантонио Веспуччи, незадолго до того вернувшегося из Франции. Благодаря своей рассудительности он сумел добиться гораздо более терпимых условий и был осыпан милостями самого главы церкви, что послужило знаком окончательного примирения.

После того как флоренция заключила договор с папой, Сиена так же, как и она, сама избавилась от страха перед королем – благодаря уходу войск герцога Калабрийского. Война с турками продолжалась, и флорентийцы принялись всеми способами добиваться от короля возвращения своих крепостей, которые, уходя из Тосканы, герцог Калабрийский оставил в руках сиенцев. Находясь в трудном положении, король опасался, как бы флорентийцы не отступились от него, а начав воевать с сиенцами, не помешали бы получению им помощи от папы и от других италийских государств, на которую он рассчитывал. Поэтому он согласился на возвращение крепостей и теснее связал себя с флоренцией новыми взаимными обязательствами. Так государей вынуждают сдерживать данное ими слово сила и необходимость, а не договоры и обещания.

Когда крепости были возвращены и новое союзное соглашение утверждено, Лоренцо Медичи вернул себе все то значение в государстве, которого он было лишился из-за несчастной войны и из-за сомнительного замирения с королем. Ведь в это время находилось немало людей, открыто клеветавших на него, будто он, спасая свою шкуру, предал отечество, у которого война отняла территорию, а мир отнимает свободу. Но теперь города были возвращены, с королем заключили почетный союз, республика вернула себе прежнюю славу, и вот флоренция, город, жадный до всяческого витийства и судящий о вещах не по существу их, а по внешнему успеху, опять изменил свое мнение и стал до небес прославлять Лоренцо, возглашая, что благодаря мудрости своей он при замирении получил все, злою судьбой отнятое во время военных действий, что его рассудительность и разумение оказались сильнее, чем оружие и мощь противника.

Турецкие нападения отсрочили войну, готовую было разразиться из-за недовольства папы и венецианцев миром между флоренцией и королем. Но если эти нападения оказались совершенно неожиданными и привели ко благу, то окончание их, тоже непредвиденное, послужило причиной немалых бед. Султан Мухаммед внезапно скончался, между сыновьями его начались раздоры, и турецкие войска, находившиеся в Апулии, оказались брошенными своим повелителем на произвол судьбы. Поэтому они договорились с королем Неаполитанским и возвратили ему Отранто. Теперь страх, сдерживавший папу и венецианцев, прошел, и все опасались какой-нибудь новой беды. С одной стороны, папа и венецианцы заключили союз, к которому примкнули Генуя, Сиена и другие менее сильные государства; с другой – совместно выступали флоренция, король и герцог Миланский, а с ними находились Болонья и многие другие владетели.

Венецианцы хотели завладеть Феррарой. По их мнению, они имели для этого подходящий предлог и твердо надеялись на успех. Предлогом было утверждение маркиза Феррарского, что он не обязан больше принимать у себя в Ферраре венецианского вице-доминуса и приобретать у Венеции соль, ввиду того что договор на этот счет был заключен сроком на семьдесят лет и теперь срок истекал. Венецианцы же считали, что до тех пор, пока маркиз Феррарский держит под властью своей Полезине, он обязан принимать вице-доминуса и соль от Венеции. Так как маркиз эти притязания отвергал, венецианцы сочли, что у них есть законное основание взяться за оружие, да и время для этого самое благоприятное, покуда папа разгневан на флорентийцев и короля. Чтобы еще больше расположить к себе главу церкви, венецианцы с великим почетом приняли приехавшего к ним графа Джироламо, наделив его гражданскими правами и нобильским званием, а это высшая честь, какую Венеция может оказать чужеземцу. Готовясь к войне, венецианцы установили на все товары новую пошлину, а главой своего войска взяли синьора Роберто да Сансеверино, каковой, будучи не в ладах с правителем Милана синьором Лодовико, укрылся в Тортоне. Там он поднял смуту, затем бежал оттуда в Геную, где и находился, когда венецианцы пригласили его к себе и назначили военачальником.

Все эти приготовления к каким-то новым враждебным действиям стали известны враждебной Венеции лиге, которая в свою очередь стала готовиться к столкновению. Герцог Миланский избрал капитаном своего войска ур-бинского владетеля Федеригио, а флорентийцы – синьора Костанцо да Пезаро. Стремясь выяснить намерения папы и распознать, с его ли согласия венецианцы собираются воевать с Феррарой, король Ферранте послал в Тронто свои войска под командованием Альфонса, герцога Калабрийского, и обратился к папе с просьбой пропустить их в Ломбардию на помощь маркизу, в чем и получил от главы церкви отказ. Король и Флоренция сочли, что все достаточно ясно, и решили оказать на папу военное давление, чтобы либо вынудить его к союзу с ними, либо хотя бы помешать ему оказать помощь венецианцам, которые уже объявили маркизу войну, выступили, совершили набег на все феррарские земли, а затем осадили Фике-роло, довольно значительную крепость в феррарских владениях. Так как король и Флоренция твердо решились на военные действия против главы церкви, Альфонс, герцог Калабрийский, двинулся на Рим, где на его стороне оказался дом Колонна, поскольку Орсини держали сторону папы, и основательно опустошил страну. Флорентийские же войска со своей стороны под началом Никколо Вителли напали на Читта-ди-Кастелло и завладели этим городом: они изгнали оттуда мессера Лоренцо, который держал этот город как папский ленник, а вместо него посадили в качестве владетеля мессера Никколо.

Папа находился в весьма тяжелом положении: Рим раздирался враждой партий, а за стенами его производил опустошения неприятель. Но, будучи человеком, полным мужества и стремления победить, а не уступить врагу, он избрал себе капитаном войск достославного Роберто да Римини и вызвал его в Рим, где собраны были все папские войска. Там папа объяснил ему, какой великой честью было бы для него, Роберто, выступив против королевских сил, выволить Церковное государство из тяжкого состояния, в котором оно пребывало, какой благодарности заслужил бы он не только от него, ныне правящего папы, но и от всех его преемников, и как вознаградили бы его не только люди, но и сам Господь Бог. Достославный Роберто начал с того, что ознакомился с состоянием папских войск и с его военными приготовлениями, а затем посоветовал собрать как можно больше пехоты, что и было выполнено с величайшим тщанием и поспешностью. Герцог Калабрийский находился уже под стенами Рима и опустошал все кругом чуть ли не у самых ворот города. Это вызывало у римлян крайнее негодование, так что очень многие добровольно выражали желание присоединиться к достославному Роберто при освобождении Рима, каковых синьор этот принимал с изъявлением благодарности. Узнав об этих приготовлениях, герцог отошел на некоторое расстояние от города, считая, что если он не будет стоять под самым Римом, Роберто не решится атаковать его. Кроме того, он дожидаясь брата своего Федеригио, которого отец направил к нему с новыми подкреплениями. Роберто, видя, что войск у него столько же, сколько у герцога, а пехоты даже и того больше, выступил боевым порядком из Рима и стал лагерем в двух милях от неприятеля. Герцог при столь неожиданном для него появлении противника понял, что надо или вступить в сражение, или, признав себя побежденным, бежать. Почти вынужденный к тому и не желая поступать, как не подобает королевскому сыну, он предпочел сражаться. Он повернулся лицом к врагу, каждая сторона расположила свои войска, как тогда было принято. Битва началась и продолжалась до полудня.

В сражении этом проявлено было больше доблести, чем в какой-либо битве, происходившей в Италии за предшествовавшие пятьдесят лет, ибо в нем пало с обеих сторон более тысячи человек. Исход его оказался весьма славным для папства. Его многочисленная пехота наносила герцогской кавалерии такие удары, что принудила всадников обратиться в бегство. Герцог же не избежал бы плена, если бы сильный отряд турок, из тех, что были в Отранто, а потом поступили на королевскую службу, его не спас. После победы достославный Роберто вступил в Рим почти как триумфатор. Однако ему не пришлось долго вкушать славу, ибо день выдался настолько тяжелый, что он выпил слишком много воды и схватил болезнь, которая унесла его в несколько дней. Останкам его по повелению папы устроено было почетнейшее погребение. Одержав эту победу, глава церкви поспешил отправить графа Джироламо в Читта-ди-Кастелло, дабы вернуть этот город мессеру Лоренцо, а заодно попытаться захватить Римини.

После смерти достославного Роберто остался лишь малолетний сын его на руках у матери, и папа считал, что занять этот город будет нетрудно. Так оно и получилось бы, если бы эту женщину не защитили флорентийцы; они противопоставили графу силу столь грозную, что он так и не смог предпринять ничего успешного ни против Читта-ди-Кастелло, ни против Римини.

XXIV

Пока события развивались таким образом в Романье и в самом Риме, венецианцы

захватили Фикероло, войска их перешли через По, и лагерь герцога Миланского и маркиза Феррарского был в полном смятении, ибо Феде-риго, граф Урбинский, заболел и, повелев отвезти себя на излечение в Болонью, скончался. Так что дела маркиза шли под гору, а у венецианцев с каждым днем все больше крепла надежда завладеть Феррарой.

Со своей стороны король Неаполитанский и Флоренция все делали, чтобы сломить упорство папы. Будучи не в состоянии сделать это силой оружия, они стали угрожать ему вселенским собором: император уже готов был созвать его в Базеле. Императорские послы, прибывшие в Рим, и наиболее влиятельные кардиналы, желавшие мира, в конце концов убедили и принудили папу подумать об установлении в Италии всеобщего замирения и единения. Папа, с одной стороны, уступая страху, с другой, убеждаясь, что чрезмерное усиление Венеции будет губительно для Церковного государства и для всей Италии, согласился заключить мир с союзниками и послал своих нунциев в Неаполь, где и был заключен сроком на пять лет союз между папой, королем, герцогом Миланским и Флоренцией, причем Венеции предоставлялось право присоединиться к нему. После заключения союза папа дал венецианцам понять, что им надо отказаться от захвата Феррары, но венецианцы на это не пошли и стали с еще большей решительностью готовиться к дальнейшим военным действиям. Разбив войска герцога и маркиза при Ардженте, они настолько близко подошли к Ферраре, что стали лагерем в парке маркиза.

XXV

Союзники сочли, что нет никаких оснований медлить с оказанием самой энергичной помощи этому владельцу и двинули на Феррару герцога Калабрийского во главе его собственных войск и папских. Флорентийцы также послали все свои силы, а для того чтобы согласовать военные операции, союзники в Кремоне устроили совещание. Туда съехались папский легат с графом Джироламо, герцог Калабрийский, синьор Лодовико, Лоренцо Медичи и еще многие другие итальянские государи. Все вместе они обсуждали дальнейшие способы ведения войны. Считая, что лучше всего можно помочь Ферраре решительными действиями, они высказали пожелание, чтобы синьор Лодовико согласился объявить Венеции от имени герцога войну. Но тот уклонился от этого, опасаясь ввязаться в такую войну, какой ему не удастся так просто закончить.

Поэтому решено было ударить по Ферраре всеми собранными войсками; и вот четыре тысячи тяжело вооруженных воинов и восемь тысяч пехотинцев выступили против венецианцев, имевших две тысячи двести тяжеловооруженных и шесть тысяч пехоты.

Союзники пришли к мнению, что прежде всего следует напасть на венецианский флот на реке По: они и сделали это у Бондено, рассеяли его, захватили более двухсот судов и взяли в плен мессера Антонио Юстиниани, командующего этим флотом. Венецианцы, видя, что вся Италия против них, решили стянуть себе этим еще большую славу. Они пригласили к себе на службу герцога Лотарингского с двумястами воинов и после уничтожения своего флота послали его с частью своего войска против неприятеля. Они велели также синьору Роберто да Сансеверино перейти с другой частью войска Адду, возглашая имя молодого герцога и вдовствующей герцогини Боны. Они надеялись, что таким образом им удастся вызвать переворот в Милане, где, как они считали, синьора Лодовико и его приближенных все ненавидят. Сперва этот ход вызвал в Милане опасения и заставил город вооружиться, однако дело кончилось далеко не так, как рассчитывали венецианцы, ибо то, на что синьор Лодовико сперва не соглашался, он теперь сделал, возмущенный этим брошенным ему вызовом.

Теперь маркизу феррарскому оставили для обороны его владений четыре тысячи всадников и две тысячи пехотинцев. Герцог же Калабрийский вторгся сперва в землю Бергамо, затем Бреши и, наконец, Вероны и захватил почти всю округу трех этих городов, причем венецианцы не смогли воспрепятствовать этому, ибо синьор Роберто со своими людьми с трудом едва отстоял три главных города. Со своей стороны маркиз Феррарский вернул себе большую часть своих владений, ибо действовавший против него герцог Лотарингский мог ему противопоставить только две тысячи всадников и тысячу пехотинцев. Так что лето 1483 года ознаменовалось для союзников немалыми успехами.

XXVI

Зима прошла без военных действий, но с наступлением весны они возобновились. Для того чтобы поскорее одолеть венецианцев, союзники собрали все свои войска в единый кулак и, если бы война велась, как в предшествующем году, они легко отняли бы у Венеции все ее ломбардские владения, ибо теперь у венецианцев было всего шесть тысяч всадников и пять тысяч пехоты против тринадцати тысяч

всадников и шести тысяч пехотинцев, тем более, что срок найма герцога Лотарингского кончился, и он возвратился к себе. Но как бывает, там, где равные по власти начальники не могут поделить руководства, их распри часто дают победу врагу. Вследствие кончины Федерико Гонзага, маркиза Мантуанского, на чьем влиянии держалось согласие между герцогом Калабрийским и Лодовико Сфорца, между этими двумя принцами начались трения, каковые породили взаимную зависть. Джован Галеаццо, герцог Миланский, находился в том возрасте, когда мог бы уже взять в руки бразды правления, а так как он женился на дочери герцога Калабрийского, последний хотел, чтобы государством правил не Сфорца, а его зять. Лодовико же, зная об этом, решил сделать все, чтобы помешать герцогу осуществить это желание. Венецианцы разведали об этом замысле Лодовико и решили воспользоваться благоприятным случаем, который, как они полагали, даст им возможность по их обыкновению возвратить себе через замирение все, чего их лишила война. Втайне они договорились с Лодовико о соглашении, которое и заключили в августе 1484 года. Когда другие члены союза узнали об этом договоре, они крайне возмутились, особенно тем, что, как они убедились, им придется вернуть Венеции все отнятые у нее земли и оставить в их власти захваченные венецианцами у маркиза Феррарского Ровиго и Полезину, да еще признать за ними право на все те преимущества, которыми Венеция с давних пор пользовалась в Ферраре.

Все негодовали на то, что им пришлось вести войну, потребовавшую больших расходов, давшую им сперва немалую славу, но закончившуюся позорно, ибо занятые территории пришлось возвратить врагу, а захваченные врагом – ему оставить. Однако союзникам пришлось на это пойти, ибо они устали от огромных военных тягот и не желали больше играть своей судьбой ради чужого честолюбия и пороков.

XXVII

Пока события в Ломбардии развивались таким образом, папа с помощью мессера Лоренцо старался ускорить сдачу Читта-ди-Кастелло и изгнать оттуда Никколо Вителли, которого союзники бросили на произвол судьбы, чтобы привлечь на свою сторону папу. Во время осады те из жителей, которые были на стороне Никколо, совершили вылазку и в рукопашном бою разбили неприятеля. Папа тотчас же отозвал из Ломбардии графа Джироламо, велел ему возвратиться в Рим, чтобы усилить свое войско, и поручил ему военные действия против Никколо. Однако, решив затем, что разумнее привлечь к себе последнего выгодным миром, чем снова с ним воевать, он договорился с ним и возможно лучшим образом примирил его с другим противником, мессером Лоренцо. К этому, впрочем, его побудило не столько миролюбие, сколько опасение новых смут, ибо он уже замечал, что между домами Колонна и Орсини вот-вот вспыхнет распря. Дело в том, что во время войны с папой король Неаполитанский отнял у Орсини Тальякоццо и отдал его во владение дому Колонна, державшему его сторону. Когда папа и король замирились, Орсини стали требовать свое владение обратно, согласно мирному договору. Папа неоднократно требовал у Колонна возвращения Тальякоццо, но ни просьбы Орсини, ни угрозы папы не действовали, мало того – Колонна продолжали донимать своих недругов поношениями и оскорблениями. Не желая терпеть этой наглости, глава церкви, объединившись с Орсини против Колонна, разгромил все их дома в Риме, защитников перебил или взял в плен и отобрал у них большую часть их укрепленных замков в округе. Так что смута эта закончилась не мирным соглашением, а разгромом одной из сторон.

XXVIII

В Генуе и Тоскане тоже не было покоя, ибо флорентийцы держали графа Антонио да Марчано с войском на границе у Сарцаны, и пока в Ломбардии шли военные действия, они тревожили жителей Сарцаны набегами и легкими стычками. В Генуе же дож этого города Батистино Фрегозо, доверившись архиепископу Паголо Фрегозо, был вместе с женой и детьми захвачен архиепископом, который объявил себя верховным главой государства.

Кроме того, венецианский флот напал на побережье королевства, захватил Галлиполи и делал набеги на другие порты. Однако все смуты по заключении мира в Ломбардии закончились повсюду, кроме Тосканы и Рима. Ибо через пять дней после того, как объявлено было о мире, папа скончался: либо срок жизни его истек, либо убило его огорчение от того, что пришлось ему заключить ненавистный мир. Все же этот глава церкви, умирая, оставил в состоянии мира Италию, в которой при жизни только и делал, что устраивал войны.

Однако тотчас же после его смерти началось в Риме волнение. Граф Джироламо со своим войском отошел к замку. Орсини боялись, как бы Колонна не вздумали мстить за недавние обиды. Колонна же потребовали возвращения своих замков и домов. И через несколько дней во всем городе уже свирепствовали убийства, грабежи и

пожары. Впрочем, кардиналы уговорили графа передать замок Священной коллегии и вернуться в свои владения, выведя из Рима свои вооруженные силы, и граф, надеясь заслужить благоволение будущего папы, поспешил согласиться на это и удалился в Имолу. Кардиналы, таким образом, избавились от этой угрозы, а бароны уже не могли рассчитывать в своих взаимных распрях на поддержку графа; и можно было спокойно заняться избранием нового главы церкви. После проволочки из-за некоторых разногласий избран был Джованбаттиста Чибо, кардинал Мальфетты, генуэзец, принявший имя Иннокентия VIII. Человек благожелательный и миролюбивый, он добился того, что все сложили оружие и в Риме воцарилось спокойствие.

XXIX

После ломбардского соглашения флорентийцы все же никак не могли утихомириться: им казалось постыдным и нелепым, что какой-то обычный нобиль, частное лицо, отобрал у них замок Сарцаны. А так как в условиях мирного договора стояло, что можно не только требовать утраченного во время военных действий, но и применять вооруженную силу против всех, кто стал бы этому противиться, они стали готовиться к этому, собирая денежные средства и вооруженных людей. Завладевший Сарцаной Агостино Фрегозо, видя, что сил для такой войны у него не хватит, передал город этот в дар Святому Георгию. Так как мне в дальнейшем еще придется говорить о Святом Георгии и о генуэзцах, думаю, что здесь уместно будет рассказать о том, как управляется этот город, один из главнейших городов Италии.

После того как Генуя помирилась с Венецией в конце знаменитой войны, происходившей между ними много лет назад, республика, будучи не в состоянии вернуть гражданам крупные денежные суммы, взятые у них займы, уступила им таможенные доходы и постановила, что каждый из кредиторов будет получать определенную часть от суммы таможенных сборов пропорционально той сумме, которую он дал займы государству, пока долг не будет погашен. А для того чтобы займодавцы могли собираться для обсуждения своих дел, им уступили дворец, находящийся над таможней. Займодавцы эти учредили между собой нечто вроде правления, избрали совет в составе человека для обсуждения всех общественных дел и комитет Восьми, который в качестве верховного органа должен был следить за исполнением решений совета. Все суммы, данные ими в долг государству, они разделили на акции, получившие название «места», а всей корпорации своей дали наименование в честь Святого Георгия. Когда было упорядочено таким образом внутреннее управление коллегии займодавцев, а у Генуэзского государства тем временем случалась новая нужда в денежных средствах, оно стало обращаться к банку Святого Георгия за новыми займами. Он же, будучи достаточно богат и хорошо организован, мог удовлетворять эти просьбы государства. А оно, со своей стороны, отдав банку Святого Георгия таможенные доходы, стало давать ему в заклад свои земельные владения. Так дело дошло до того, что из-за потребностей республики и услуг банка Святого Георгия большая часть земель и городов, состоящих под управлением Генуи, перешла в ведение банка: он хозяйничает в них, защищает их, и каждый год посылает туда своих открыто избранных правителей, в деятельность которых государство не вмешивается. А отсюда произошло и то, что граждане, считая правительство республики тираническим, утратили к нему всякую привязанность, перенесли ее на банк Святого Георгия, где управление всеми делами ведется упорядоченно и справедливо. Оттого в Генуе так легко и происходят всевозможные перевороты, подчиняющие генуэзцев то власти одного из их же сограждан, то даже чужеземца, ибо в государстве правление все время меняется, а в банке Святого Георгия все прочно и спокойно. И вот всякий раз, что Фрегозо и Адорно оспаривали друг у друга верховную власть, граждане, поскольку речь шла о деле государственном, оставались в стороне и предоставляли победителю завладеть республикой. Единственное же вмешательство банка Святого Георгия сводилось всегда к тому, что он заставлял победителя присягнуть в том, что законы государства будут свято соблюдаться. И законы эти действительно до последнего времени не претерпевали никаких изменений, ибо, когда имеешь и оружие, и деньги, и власть, изменять законы рискованно, — это почти наверняка вызовет опасный мятеж. Вот поистине удивительный пример, которого не мог засвидетельствовать ни один философ, излагающий порядки в государстве, действующем или вымышленном: на одной и той же территории, среди одного и того же населения одновременно существуют и свобода, и тирания; и уважение к законам, и растление умов; и справедливость, и произвол. Ибо лишь такой порядок и обеспечивает сохранность города, живущего по древним и весьма почтенным обычаям. И если случится, а со временем так и должно быть, что под власть банка Святого Георгия попадет вся Генуя, то эта республика окажется еще более примечательной, чем венецианская.

Так вот, банку Святого Георгия Агостино Фрегозо и передал Сарцану. Тот охотно принял этот дар, обеспечил ее защиту, тотчас же выслал в море флот и послал в Пьетрасанту охрану, чтобы нарушить сообщение между флоренцией и ее войском, уже стоявшим неподалеку от Сарцаны. Флорентийцы со своей стороны стремились овладеть Пьетрасантой, ибо без нее, расположенной между Пизой и Сарцаной, приобретение последней обесценивалось. Однако они не могли осадить ее без какого-либо благовидного предлога: надо было, чтобы жители Пьетрасанты или защищающая ее охрана препятствовали им в захвате Сарцаны. Чтобы добиться такого положения, флорентийцы послали из Пизы своему войску большой обоз с припасами и снаряжением, снабдив его слишком слабой охраной в расчете на то, что охрана Пьетрасанты, завидев столь богатую добычу, попытается завладеть ею. Так оно и случилось: пьетрасантская охрана не устояла перед соблазном и захватила флорентийский обоз. Теперь у флорентийцев имелся законный повод для захвата Пьетрасанты. Сняв осаду с Сарцаны, они обложили Пьетрасанту, полную вооруженных людей, весьма доблестно оборонявшихся. Флорентийцы, расположив свою артиллерию на равнине, воздвигли бастион и на холме, чтобы иметь возможность штурма и с этой стороны. Комиссаром войска был Якопо Гвиччардини. Пока сражались у Пьетрасанты, генуэзский флот взял и сжег крепость Валу, а также высадил на берег часть солдат, начавших опустошительные набеги на всю округу.

Против них выслали кавалерийские и пехотные части под командованием Бонджанни Джанфильяцци, которые отчасти смирили дерзость генуэзцев, уже не имевших теперь возможности действовать так же свободно, как прежде. Флот, однако, продолжал тревожить флорентийцев. Он поплыл к Ливорно и подошел вплотную к Торре Нуова с понтонами и другими осадными средствами. Несколько дней генуэзцы обстреливали крепость из своей артиллерии, но видя, что тут ничего не поделаешь, с позором отплыли обратно.

Между тем осада Пьетрасанты велась настолько вяло, что неприятель, набравшись мужества, произвел атаку на бастион и завладел им. В этом деле он показал такую доблесть и нагнал такого страху на флорентийское войско, что оно едва не обратилось в бегство. Флорентийские силы отведены были на позиции в четырех милях от города, а так как был уже октябрь, военачальники решили устраиваться на зимних квартирах, осаду же отложить до более благоприятного времени года. Когда во флоренции стало известно об этом безобразии, власти преисполнились негодования и для того, чтобы вернуть флорентийскому войску его боевую славу и силу, назначили новых комиссаров – Антонио Пуччи и Бернардо Неро, которые и отправились к войску, взяв с собой значительную сумму денег. Там они разъяснили военачальникам, как велик будет гнев Синьории, правящих и всех граждан, если они снова не поведут войско к стенам города, и каким позором они покроют себя, если при наличии многочисленных искусных военачальников и такого сильного войска, имея против себя лишь незначительную охрану, не смогут взять такой слабой и не имеющей особого значения крепости. Это обращение подняло дух у командования: решено было не только возобновить осаду, но прежде всего вновь занять захваченный противником бастион. Дело это показало, сколь сильно на солдат действуют гуманное отношение, приветливость в обращении и в речах. Ибо Антонио Пуччи подбадривая одного, суля всякие блага другому, третьему протягивая руку, четвертого целуя, заставил их с таким жаром броситься на приступ, что они захватили бастион в один миг. Однако этот успех привел и к потерям: пушечное ядро уложило графа Антонио да Марчано. Все же победа флорентийцев привела весь город в такой ужас, что жители стали поговаривать о сдаче, и, наконец, дабы предприятие это завершилось с наивозможнейшим блеском, Лоренцо Медичи решил лично посетить флорентийский лагерь, и вскоре затем крепость пала.

Наступило зимнее время; командование решило дальнейшие действия прекратить в ожидании весны, главным образом потому, что осенью климат в этой местности становился крайне нездоровым. В лагере развились различные недуги, и многие из военачальников были серьезно больны, а Антонио Пуччи и Бонджанни Джанфильяцци не только заболели, но и скончались. Все их горько оплакивали – такую любовь к себе вызвал в войске Антонио своим поведением во время осады Пьетрасанты.

Как только флорентийцы взяли Пьетрасанту, жители Лукки отправили во флоренцию своих представителей с требованием передать им этот город как входивший в состав их республики. При этом они основывались на статье договора, гласившего, что все города, кто бы их ни взял, должны быть возвращены первоначальному владельцу. Флорентийцы и не думали отрицать этих обязательств, но ответили, что не знают, не придется ли им по мирному договору с Генуей, который сейчас обсуждается,

передать ей Пьетрасанту, и потому до заключения мира решить ничего не могут. Однако даже если бы флорентийцы и должны были вернуть Пьетрасанту Лукке, то необходимо жителям Лукки подумать о том, как им возместить Флоренции ее затраты и ущерб, нанесенный ей гибелью стольких ее граждан. Если Лукка на это пойдет, то вполне может рассчитывать на возвращение Пьетрасанты.

Вся зима прошла в мирных переговорах между Генуей и Флоренцией, которые происходили в Риме. Несмотря на посредничество папы, до замирения все же не договорились, и поэтому с приходом весны флорентийцы напали бы на Сарцану, если бы им в этом не помешала болезнь Лоренцо Медичи и война, вспыхнувшая между папой и королем Ферранте. Ибо Лоренцо, кроме подагры, болезни, унаследованной от отца, страдал столь сильными желудочными болями, что ему пришлось даже принимать лечебные ванны.

XXXII

Однако еще более важным препятствием явилась война, начавшаяся по следующим причинам.

Власть короля Неаполитанского над городом Аквилой была настолько ограниченной, что город этот мог почитаться вольным. Большим влиянием пользовался там граф да Монторио. Герцог Калабрийский со своим войском находился тогда у Тронто под тем предлогом, будто необходимо усмирить смуту, начавшуюся среди местных крестьян. Истинной же целью его было привести Аквилу в полное подчинение. В связи с этим он вызвал к себе графа да Монторио, словно желая его содействия в том, что служило ему предлогом. Граф, ничего не подозревая, повиновался, но, явившись к герцогу, был арестован и под конвоем отправлен в Неаполь. Едва стало об этом известно в Аквиле, как весь народ поднялся с оружием в руках и предал смерти королевского комиссара Антонио Кончинелло и с ним еще нескольких граждан, известных в качестве сторонников короля. В расчете обрести себе защитника жители Аквилы подняли знамя церкви и отправили к папе послов с просьбой принять их город в подданство и как своих подданных защитить их от тирании короля. Папа тотчас же стал на защиту Аквилы со всем воодушевлением человека, ненавидящего короля как по государственным, так и по личным причинам. Так как в это время синьор Роберто да Сансеверино был в плохих отношениях с герцогством Миланским и не у дел, папа принял его к себе на службу и повелел ему как можно скорее приехать в Рим. Кроме того, он призвал всех друзей и родичей графа да Монторио восстать против короля, так что государи Альтемура, Салерно и Бизиньяно выступили с оружием в руках. Король, внезапно оказавшийся втянутым в войну, обратился за помощью к Флоренции и к герцогу Миланскому. Флорентийцы колебались, какое им принять решение: казалось весьма тягостным пренебречь своими делами ради чужих, да и новое выступление против церкви представляло немалую опасность. Однако, будучи связаны с королем союзным договором, они, вопреки грозящей опасности и пренебрегая своей выгодой, предпочли быть верными слову, приняли к себе на службу князей Орсини и все свои войска под началом графа Питильяно послали на Рим в помощь королю. Король же свое войско разделил на две части: одну во главе с герцогом Калабрийским направил на Рим, чтобы она вместе с флорентийцами сражалась против папских войск, другая же во главе с ним лично должна была воевать с мятежными баронами. Оба эти войска в течение всех военных действий имели различные успехи, и под конец король повсюду одержал верх. В августе 1486 года при посредничестве послов короля Испанского заключен был мир. Папа, которому не везло и который не хотел больше испытывать судьбу, согласился на него. Все итальянские государи тоже подписали договор, но к участию в нем не привлекли Геную – ее рассматривали как находящуюся в состоянии мятежа против герцога Миланского и незаконно присвоившую себе флорентийские владения.

После подписания мирного договора синьор Роберто да Сансеверино, показавший себя во время войны не очень верным другом папы и не очень страшным врагом для своих противников, отбыл из Рима как бы изгнанный папой и преследуемый солдатами Флоренции и герцога Миланского. Проехав Чезену и видя, что его вот-вот захватят, он решил спастись бегством и укрылся в Равенне меньше чем с сотней всадников. Остальные его солдаты частью сдались герцогу, частью перебиты были крестьянами. Король после окончания войны помирился со своими баронами, но казнил Якопо Копполу и Антонелло Анверса с сыновьями за выдачу папе во время военных действий его тайных планов.

XXXIII

На примере этой войны папа убедился, как быстро и добросовестно оказывают флорентийцы услуги своим друзьям. Прежде из-за своей любви к генуэзцам и из-за помощи, которую флорентийцы оказывали королю, они были ему ненавистны, теперь же

он стал любить их и оказывать их послам значительно больше знаков внимания. Узнав об этой новой склонности папы, Лоренцо Медичи всякими способами старался усилить ее, ибо считал, что приобретет немалую славу, если к дружбе с королем сможет добавить дружбу с папой. У главы церкви имелся сын по имени Франческо, которому он желал обеспечить такое положение и таких друзей, которых бы тот не лишился после смерти папы. И наиболее верным человеком из тех, с кем стоило породниться, казался папе Лоренцо, а потому он принялся действовать таким образом, что добился брака между своим сыном и одной из дочерей Лоренцо. После того как они породнились, папа выразил желание, чтобы Генуя добровольно уступила Сарцану Флоренции, доказывая, что генуэзцы не могут владеть тем, что Агостино продал, а Агостино не может отдавать в дар банку Святого Георгия то, что ему не принадлежит.

Однако его посредничество не имело успеха. Более того, пока в Риме велись переговоры, генуэзцы снарядили сильный флот, и к полной неожиданности для флорентийцев высадили на берегу три тысячи человек и напали на форт Сарцанелло, расположенный над Сарцаной и занятый флорентийцами. Они разграбили и сожгли городок, находящийся повыше форта, а затем подтянули к форту артиллерию и принялись усердно обстреливать его. Это новое нападение поразило флорентийцев своей неожиданностью. Они сразу же собрали свое войско в Пизе под началом Вирджинио Орсини и принялись жаловаться папе на то, что как раз тогда, когда они вели мирные переговоры, генуэзцы снова напали на них. Затем отправили Пьеро Корсини в Лукку, чтобы укрепить там верность Флоренции, а Паголантонио Содерини в Венецию для выяснения намерений этой республики. Они обратились также за помощью к королю и синьору Лодовико, но тщетно: король ответил, что ему угрожает турецкий флот, а Лодовико медлил с присылкой подмоги под разными другими предлогами. Так, флорентийцы почти всегда остаются в одиночестве, не находя друзей, которые защищали бы их с той же готовностью, с какой они сами помогают другим.

Привыкшие к тому, что союзники оставляют их в беде, флорентийцы и на этот раз не пали духом. Собрав весьма сильное войско под началом Якопо Гвиччардини и Пьеро Веттори, они двинули его на врага и расположились лагерем на реке Магре. Неприятель, однако, продолжал нажимать на Сарцанелло, прибегая к подкопам и другим решительным действиям. Комиссары решили оказать форту существенную поддержку, и неприятель принял вызов. Началось сражение, генуэзцы были разбиты, а мессер Лодовико Фьеско попал в плен со многими другими начальниками. Однако эта победа не только не нагнала страху на жителей Сарцаны и не принудила их к сдаче, а напротив, — они стали еще упорнее готовиться к обороне. Но флорентийские комиссары тоже принимали меры для удачного наступления, так что и защитники, и нападающие делали свое дело с великой доблестью. Осада затягивалась, и Лоренцо Медичи решил отправиться в лагерь. Его присутствие придало мужества нашим солдатам и обескуражило жителей Сарцаны. Видя, что генуэзцы не очень-то спешат им на помощь, они добровольно и безо всяких условий сдались на милость Лоренцо. Флорентийцы, завладев городом, обошлись весьма гуманно со всеми жителями, за исключением немногочисленных подстрекателей к мятежу. Во время этой осады синьор Лодовико послал свои войска в Понтремоли якобы для того, чтобы помочь флорентийцам. Но в Генуе у него были свои люди; партия, враждебная господствующей, подняла восстание и с помощью этих его войск дала герцогу Миланскому возможность завладеть городом.

XXXIV

В это же время немцы объявили войну Венеции, а в Марке Бокколино из города Озимо подбил своих сограждан на мятеж против папы и стал там самовластным правителем. Однако после ряда последовавших событий он уступил уговорам Лоренцо Медичи и вернул Озимо главе церкви, сам же удалился во Флоренцию, где под защитой Лоренцо долго жил, пользуясь всяческим уважением. Затем он переехал в Милан, но там не обрел безопасности, а был сеньором Лодовико предан смерти. Немцы напали на венецианцев и разбили их у города Тренто, где погиб и их военачальник синьор Роберто да Сансеверино. После этого поражения венецианцы по всегдашней милости к ним фортуны заключили с немцами мир настолько выгодный для республики, что они оказались как бы победителями в этой войне.

Тогда же приключилась весьма тяжкая смута и в Романье. Франческо Орсо пользовался большим влиянием в родном своем городе Форли, из-за чего граф Джироламо стал подозревать его и не раз угрожал ему так, что Франческо жил в постоянном страхе. Друзья и родичи его посоветовали ему опередить графа, и раз он страшится смертельного удара, пусть нанесет его первый и, покончив с врагом, избежит опасности. Придя к такому решению и твердо остановившись на нем, заговорщики назначили для исполнения базарный день в Форли, так как тогда в

город съезжалось множество их друзей и они могли рассчитывать на их помощь без того, чтобы особо вызывать для этого случая. Стоял май, когда большая часть итальянцев имеет обыкновение ужинать еще засветло. Заговорщики сочли, что удобнее всего будет покончить с графом сейчас же после того, как он поужинает: вся его челядь именно в это время сядет за ужин, и он останется в своем покое, можно сказать, совсем один. Приняв это решение и назначив час, Франческо с друзьями отправился к графу. Оставив их в передних комнатах, он пошел туда, где находился граф, и сказал одному из слуг пойти доложить графу, что он желает с ним переговорить. Франческо впустили. Граф оказался один. Поговорив с ним немного о деле, послужившим предлогом для встречи, Франческо заколол его кинжалом, позвал своих сообщников, и они умертвили также и слугу. Капитан города случайно явился к графу для какого-то разговора с немногочисленными спутниками и тоже пал под ударами убийц. Совершив все эти убийства, заговорщики подняли в городе смуту, выбросили труп графа из окна на площадь и с криком «Церковь и Свобода!» вооружили народ, ненавидевший графа за алчность и жестокость.

Все дома его были разграблены, графиня Катарина с детьми арестована. Для того чтобы дело увенчалось полным успехом, оставалось только захватить крепость. Так как комендант отказывался сдаться, заговорщики обратились к графине с просьбой побудить его к сдаче. Она пообещала сделать это, если они пропустят ее в крепость, и предложила оставить своих детей в качестве заложников. Ей поверили и пропустили в крепость. Но едва оказавшись там, она принялась угрожать им мщением за мужа – смертью и жесточайшими пытками. Когда же заговорщики пригрозили, что убьют ее детей, она ответила, что имеет полную возможность народить других. Изумленные таким мужеством, заговорщики, видя к тому же, что папа их не поддерживает, а дядя графини, синьор Лодовико, шлет ей на помощь войско, взяли столько добычи, сколько могли унести, и укрылись в Читта-ди-Кастелло. Графиня снова получила свои владения и со всевозможными жестокостями отомстила за убийство мужа. Флорентийцы, узнав о смерти графа, воспользовались случаем и вернули себе крепость Пьянкальдоли, в свое время захваченную у них графом. Они отправили туда солдат, но захват ими крепости стоил жизни прославленному архитектору Чекке.

XXXV

Смуту в той же Романье вызвало еще одно событие, не менее важное. Галеотто, владетель Фаенцы, женат был на дочери мессера Джованни Бентивольо, владетеля Болоньи. Женщина эта, то ли из ревности, то ли из-за плохого обращения со стороны мужа, то ли будучи дурной от природы, воспыкала такой ненавистью к супругу и так упорствовала в своей ненависти, что решила лишить его власти и жизни. Она выдала себя за больную и устроила так, чтобы, когда Галеотто явится навестить ее, его бы умертвили спрятанные в комнате сообщники. Этим своим замыслом она предварительно поделилась с отцом, рассчитывавшим после смерти зятя завладеть Фаенцой. Когда наступило назначенное для убийства время, Галеотто зашел, как обычно, в комнату жены. Он завел с ней беседу, и тут убийцы, выскочив оттуда, где спрятались, набросились на него и умертвили, а он не смог оказать им ни малейшего сопротивления.

Смерть его вызвала в городе величайшее смятение. Жена, захватив с собой малолетнего сына по имени Асторре, укрылась в крепости. Народ взялся за оружие. Мессер Джованни Бентивольо при поддержке некоего Бергами-но, кандидатура на службе у герцога Миланского, предварительно ко всему этому подготовившись, вступил во главе значительного воинского отряда в Фаенцу, где еще находился флорентийский комиссар Антонио Босколи. Среди всего этого переполоха различные лица из городских властей собрались, чтобы обсудить вопрос о будущем устройстве, но в это время жители Валь-ди-Ламона, устремившиеся в связи с этими событиями в Фаенцу с оружием в руках, напали на мессера Джованни и Бергамино, одного убили, другого захватили в плен и, возглашая хвалу юному Асторре и Флоренции, передали власть в городе флорентийскому комиссару.

Когда известие об этих событиях пришло во Флоренцию, оно всех огорчило. Тем не менее велено было освободить мессера Джованни и его дочь, и республика с единодушного согласия всех жителей Фаенцы взяла под свое покровительство город и юного Асторре.

После того как главные войны между наиболее значительными государствами окончились, еще в течение нескольких лет продолжались подобные же смуты и волнения в Романье, Марке и Сиене, о которых по причине их незначительности рассказывать, я полагаю, не стоит. Правда, в Сиене, после ухода герцога Калабрийского по окончании военных действий в 1478 году смут было больше, чем где бы то ни было, и после ряда переворотов, когда верх брали то городские низы, то нобили, возобладал в конце концов нобилитет. В нем особым влиянием

пользовались Пандольфо и Якопо Петруччи: первый славился своей мудростью, второй мужеством, и в своем родном городе они стали как бы носителями верховной власти.

XXXVI

Что же касается флорентийцев, то после прекращения сарцанской войны и до самой кончины Лоренцо Медичи в 1492 году они жили в величайшем благополучии. Когда благодаря мудрости и авторитету Лоренцо вся Италия замиралась, он все помыслы свои устремил к возвеличению своего отечества и своего дома. Старшего сына своего Пьеро он женил на Альфонсине, дочери кавалера Орсини. Для второго сына своего, Джованни, добился кардинальского звания; это было тем примечательней, что Джованни было всего четырнадцать лет и до того времени не было случая, чтобы это звание давалось кому-либо в столь юном возрасте. И то была первая ступень лестницы, по которой род Медичи мог, как впоследствии и случилось, подняться до самого неба. Что касается третьего сына, Джульяно, то по крайнему его малолетству и вследствие скорой кончины Лоренцо не удалось особо блистательным образом устроить его судьбу. Из дочерей Лоренцо старшая вышла за Якопо Сальвиати, вторая за франческо Чибо, третья за Пьеро Ридольфи. Четвертая, которую для упрочения уз внутри своего рода он выдал за Джованни Медичи, скончалась еще при его жизни.

Что касается имущественных его дел, то в торговле ему не везло, ибо доверенные лица распорядились его богатством не как частные люди, а скорее как владетельные князья, и он потерял значительную часть своих капиталов, так что отечеству пришлось поддержать его выдачей значительной суммы денег. Чтобы не подвергаться более превратностям судьбы, Лоренцо прекратил торговые дела и стал скупать земли, которые считал благосостоянием более твердым и прочным. В окрестностях Прато, Пизы и в Валь ди Пеза у него образовались владения, которые по доходности своей и великолепию воздвигнутых там построек достойны были скорее государя, чем частного лица. Затем он занялся увеличением и украшением своего родного города. В черте его было много незастроенных и безлюдных пустырей. Поэтому Лоренцо позаботился о проведении там строительства новых улиц, что весьма содействовало росту и красоте города. Кроме того, чтобы обеспечить безопасность республики, дать ей возможность обороняться от противника и сдерживать его далеко за пределами Флоренции, он укрепил замок Фиренцуола, расположенный в Апеннинах на пути в Болонью. Со стороны Сиены он начал восстанавливать Поджо Имперiale с тем, чтобы эта крепость стала одной из сильнейших. Со стороны Генуи благодаря приобретению Пьетрасанты и Сарцаны дорога неприятелю была закрыта. Оказывая своим друзьям денежную и иную помощь, он укрепил власть и влияние дома Бальони в Перудже, дома Вителли в Читта-ди-Кастелло, а в Фаенце правление было передано ему лично. И все это представляло собою как бы мощные укрепления на подступах к Флоренции. Его заботой в эти мирные годы в родном его городе одни празднества сменялись другими, и на них то происходили воинские соревнования, то давались представления, в которых изображались какие-либо героические дела древности или триумфы древних полководцев. Целью же Лоренцо Медичи было изобилие в городе, единство народа и почет нобилитету.

Величайшую склонность имел он ко всем, кто отличался в каком-либо искусстве, крайне благоволил к ученым, что может засвидетельствовать пример мессера Аньоло да Монтепульчано, мессера Кристофако Ландини и грека, мессера Деметрио. Так что граф Джованни Мирандола, человек почти богоподобный, всем другим странам Европы, где побывал, предпочел Флоренцию и обосновался в ней, привлеченный великолепием Лоренцо, который самозабвенно увлекался архитектурой, музыкой и поэзией. В свет выпущено было немало поэтических произведений, сочиненных Лоренцо, даже снабженных его комментарием. Чтобы облегчить флорентийской молодежи изучение изящной словесности, он открыл в Пизе высшую школу, куда привлекал искуснейших людей со всей Италии. Брату Мариано да Кинаццано, августинскому монаху и одареннейшему проповеднику, он построил недалеко от Флоренции целый монастырь. Были к нему в высшей степени милостивы судьба и Господь Бог, ибо все его начинания давали счастливый исход, все же враги его кончили плохо.

Кроме Пацци, на жизнь его покушались также Баттиста Фрескобальди в церкви Карлице и Бальдинотто да Пистойя на его вилле, но оба они, равно как и их сообщники, понесли справедливую кару за свои злодеяния.

Этот его образ жизни, его удачливость и мудрость были известны не только итальянским государям, но и далеко за пределами Италии, и у всех вызвали восхищение. Матвей, король венгерский, не раз свидетельствовал свою привязанность к нему. Султан посылал к нему своих представителей с дарами, турки выдали ему Бернардо Бандини, убийцу его брата. И всеобщее это уважение стало для всей Италии предметом восхищенного изумления, которое ежедневно возрастало из-за неизменной его мудрости. Ибо в обсуждении тех или иных вопросов он бывал

красноречив и силен доводами, в решениях благоразумен, в осуществлении решений быстр и смел. Нельзя назвать ни единого порока, который запятнал бы блеск стольких добродетелей. А между тем он был весьма склонен к любовным наслаждениям, любил беседу с балагурами и остряками и детские забавы более, чем это, казалось бы, подобало такому человеку: его не раз видели участником игр его сыновей и дочерей. Видя, как он одновременно ведет жизнь и легкомысленную, и полную дел и забот, можно было подумать, что в нем самым немислимым образом сочетаются две разные натуры.

В последние годы жизни Лоренцо мучила его тяжкая и угнетающая болезнь, ибо страдал он жестокими желудочными болями, которые так терзали его, что в апреле 1492 года он скончался в возрасте сорока четырех лет. Никогда еще не только Флоренция, но и вся Италия не теряли гражданина, столь прославленного своей мудростью и столь горестно оплакиваемого своим отечеством. И Небо дало весьма явные знамения бедствий, которые должна была породить его кончина: между прочим, молния с такой силой ударила в купол церкви Санта Репарата, что значительная часть его рухнула, вызвав всеобщее изумление и ужас. Смерть Лоренцо повергла в глубокую скорбь и сограждан, и итальянских государей, которые засвидетельствовали ее, ибо ни один из них не преминул отправить во Флоренцию своих послов, чтобы выразить республике сочувствие в ее горе. И события вскоре показали, сколь обоснована была эта скорбь. Ибо, когда Италия лишилась такого мудрого советчика, оставшиеся не сумели ни насытить, ни обуздать честолюбие Лодовико Сфорца, опекуна герцога Миланского. Вот почему, едва лишь Лоренцо испустил дух, снова стали давать всходы те семена, которые, – ведь теперь некому было их задавить, – и были, и донныне продолжают быть столь губительными для Италии.

Золотой осел

Немало горя, муки и печали,
 Ослом оборотясь, изведал я,
 О чем и повествую. Но вначале
 Читателям открою не тая,
 Что голос мой – не фебова рулада
 Строка – не геликонова струя,
 Засим, что гармонического лада
 Уж нет у стихотворцев, а ослам
 Подобного тем более не надо.
 И, написав свою поэму сам,
 От ругани я не утрачу духа,
 И похвалам значенья не придам.
 Уж если человеческое ухо
 Не слышит голоса разумных нот,
 Ослиное-то к ним тем паче глухо.
 И пусть осла хозяин палкой бьет,
 Ослиное упрямство только гаже:
 Мол, сделаю как раз наоборот.
 О том поговорим еще, пока же
 Скажу: явил в обличии осла
 Премного я и норова и блажи.
 Хмельной воды напиться – повела
 Меня Сиена; ну, да что земная!
 И геликонова мне не мила!
 Итак, обильем ругани и лая
 Кому-то я и не потравлю, чать.
 Но небо, милости ниспосылая,
 Да не наложит немоты печать!
 Я, об ослиной говоря судьбине,
 Хочу с одной побасенки начать.
 Дом во Флоренции был – есть и ныне.
 А в нем семья жила и отрок рос.
 Отец и мать заботились о сыне.
 Но доводил отца и мать до слез
 Сыночек их, по улице гоняя.
 И сею дурью занят был всерьез.
 Не ведая родные шалопаю,
 Откуда на него и почему
 Напасть необъяснимая такая
 И приглашали докторов к нему
 И голову ломали грамотеи.

Но был и им вопрос не по уму.
 От каждой новой лекарской затеи
 Наш недоросль, недуг не поборов,
 По улице бежал еще быстрее!
 Но, наконец, один из докторов
 Пообещал родителям больного,
 что скоро будет их сынок здоров.
 Нам мило утешительное слово.
 И, зная, что недуг неизлечим,
 Обманщикам мы кланяемся снова.
 И снова надувательство простим,
 И разоримся, но врачам заплатим:
 Нам нездоровье – на здоровье им.
 Ученым словом и ученым платьем
 Целителя был убежден отец.
 Так не поверили б друзьям и братьям.
 И все стерпел безропотней овец,
 И снес кровопусканье малолеток.
 И признан исцеленным наконец.
 Не знаю, силою каких таблеток
 Иль волхвований исцелился сын,
 Отцу же наш целитель молвил этак:
 Пусть-де, четыре месяца один
 Не ходит сын. Пусть недреманным оком
 За ним следят, разумных середин
 Уча держаться. Если ненароком
 Шаги ускорит, пусть уговорят,
 Где лаской убеждая, где упреком.
 И пролетели, стало быть, подряд
 Благополучнейшие три недели.
 Тихоню новоявленного брат
 Повел гулять по улице Мартелли.
 Спокойно отрок шествует, но вдруг
 Глаза его куда-то поглядели –
 И вырвался наш паинька из рук:
 Пред улицу Ларга в нем на воле
 Былой опять заговорил недуг.
 И малого, спокойного дотоле,
 Опять охота странная берет,
 Не знаю, от того ли, от сего ли.
 С цепи сорвался отрок-сумасброд,
 Плащ бросил оземь, возопил: «А ну-ка,
 Все прочь с дороги!» – и помчал вперед.
 И покорились родичи без звука,
 Коль врач с отцом бессильны и вдвоем.
 Не помогли ни деньги, ни наука.
 Так мы, хотим иль нет, а признаем:
 Природу одурачивать – пустое.
 Все ж настоит хозяйка на своем.
 Мерещилось и мне, что уж давно я
 Избавился от гнева и огня,
 Живу спокойно, умника не строя,
 Людей не осуждая, не браня.
 И люди уж не чаяли подвоха –
 Считали исцеленным и меня.
 Но наша с вами такова эпоха,
 что даже благодушнейший добряк,
 И тот бранится – до того все плохо.
 И снова желчью мой язык набряк,
 Увы, как ни креплюсь я! Столько злобы
 В душе от незадач и передряг.
 А впрочем, хоть ослы и твердолобы –
 Уж в этом я им должное воздам, –
 Но и ослов упорство не спасло бы.
 Нет, пусть лягаются и тут и там,
 Когда кругом так мерзостно и жутко!
 А то не угодили б небесам.
 Приблизьтесь к этому строптивцу, ну-тка!

Казалось бы: не грустен, не сердит,
 А вот, поди же, презабавна шутка,
 Которую готовит вам бандит:
 Вы с ласкою к нему, а сей скотина
 Для мерзости к вам зад оборотит.
 Пока в домах приличных воедино
 Ругают невоспитанность осла, –
 Ослом изображенная картина
 Рисуется неспешно, спрохвала.
 Но торопись! Все Расскажи, страница
 Пока не закусил он удила.
 А зложелатель – да посторонится!
 И вот уже, как водится в апреле,
 Лучи живительные небо льет.
 Они больную землю обогрели,
 Прогнав метели, заморозки, лед.
 И вот, блюдя охотничий обычай,
 Уж и Диана меж лесных тенет
 Со спутницами мчится за добычей.
 И, продолжительней день ото дня,
 Восходит солнце над главою бычьей.
 И ослики гуляют, гомоня.
 От них по всей округе суматоха.
 Их долго не смолкает болтовня.
 Известно: говорящих слышат плохо.
 И потому-то громче трубача
 И радостней инога пустобреха
 Осел порой вопит и сгоряча
 Кружиться по двору иль по овину,
 О чем-то полюбившемся крича.
 Так, день земной пройдя наполовину,
 Я очутился в сумрачном бору,
 О коем вам поведать не премину.
 Как очутился, сам не разберу.
 Но знал: отсюда всяк оставь надежду
 Убраться поздорову-подобру.
 Во тьме кромешной, продираясь между
 цепляющихся сучьев и коряг,
 Дрожал от страха я и рвал одежду.
 И ужасал меня любой пустяк.
 Но рог охотничий неумолимо
 Вдруг прозвучал – и разум мой иссяк.
 И, зеленея в очертаньях дыма,
 что твой мертвец, Курносая сама,
 Помнилось мне, с косою проходит мимо.
 Была, ей-Богу, столь кромешна тьма
 И грозны ветви, корневища, ели,
 что миг еще – и я б сошел с ума.
 Я на ногах держался еле-еле. А
 И вновь помнилось: проблески лучей,
 как факелы, в чащобе заблестели.
 И сей далекий свет, не знаю чей,
 Не исчезал, но в яркой позолоте
 казался все сильней и горячей.
 Я притаился в темноте напротив
 и напряженно, как во глубь зеркал,
 Смотрел, сомненьем душу озаботив.
 Чудному шелесту, как он ни мал,
 Под ветками безлиственного древа
 Я, затаив дыхание, внимал.
 Не помню, правда, справа то ли слева,
 Но вот, являя обликом покой,
 Вплыла прекрасная собою дева.
 Держала огонь Она одной рукой,
 который-то и виделся далече,
 и рог охотничий – рукой другой.
 А за красавицей – животных вече:
 Подпрыгивали суслики у ног,

И ладилась пернатые на плечи,
 И волк, и лев, и серна, и сурок
 Участвовали в сем чудном спектакле.
 И я хотел пуститься наутек.
 И уж не знаю, право, так ли, сяк ли,
 Но дал бы я отсюда стрекача,
 Да с перепугу силы и иссякли.
 Я не нашел в обратный мир ключа,
 И к людям уводящую дорогу
 Не осветила ни одна свеча.
 Не ведал я, как быть, но, слава Богу,
 Уже не ждал неведомого зла
 И успокаивался понемногу.
 Хотел идти к ней – но, тиха, светла,
 Сама ко мне приблизилась красотка
 И мне: «Добро пожаловать!» – рекла.
 Непринужденно глянула и кротко.
 Должно быть, приняла она меня
 За брата или друга-одногодка.
 И дружеская девы болтовня
 Сознанье помраченное целила.
 И я согрелся, словно у огня.
 А дева молвила: «Какая сила
 Тебя, скажи-ка, привела тура,
 Где поселиться никому не мило?»
 А я залился краской – вот беда!
 Как будто и забыл я – кто я, где я.
 И вновь опомнился не без труда.
 Хотел ответить, о былом жалея,
 Что суета убогих дум и дел
 Вконец запутала меня, злодея.
 Но не ответил. То бледнел, как мел,
 То от стыда краснел до слез я снова
 И все молчал, как будто онемел.
 А дева засмеялась: «Право слово,
 Не умирай от страха. Глянь: стою,
 Не замышляя ничего дурного.
 Но в сем необитаемом краю
 Мои слова, сам убедишься, вещи.
 Услышишь ты историю свою.
 Здесь видится отчетливей и резче.
 Итак, рассказу моему внемли.
 Прелюбопытные услышишь вещи.
 Когда владыкой неба и земли
 Юпитер не был, с острова родного
 Цирцею силы рока унесли.
 Но меж людей не находила крова,
 За злое волшебство свое молвой
 Ославленная, и скиталась снова.
 Но тут не сыщешь ни души живой.
 Волшебница утешилась и вроде
 В сем буреломе обрела покой.
 И поселилась мирно на природе,
 Дабы подале от мирских сует
 О человеческом злословить роде.
 Не ведает об этом царстве свет.
 Сюда дорога для людей закрыта,
 А кто вошел – назад дороги нет.
 И в доме, от зенита до зенита,
 Пастушки-девы, в их числе и я,
 Цирцею охраняют, будто свита.
 И вот еще комиссия моя:
 По зарослям, расселинам, дорогам
 Вожу зверей, питаю и поя.
 Но это попеченье – о немногом.
 И я гуляю средь пещер и скал –
 Всенепременно с факелом и рогом,
 Чтоб заплутавший кролик иль шакал,

О местонахожденье нашем судя,
По рогу иль огню, тропу сыскал.
И наперед тебе отведу, буде
Захочешь знать, что за зверье вокруг:
Днесь – звери, ну а прежде были – люди,
Такие ж в точности, как ты, мой друг.
А не поверишь – погляди, как стадо
К тебе спешит угодливее слуг.
Оно приходу человека радо,
На задних лапках перед ним служа.
Твоей тоски, как лакомства, им надо.
Пришли они, как ты, и госпожа
Их палочкой волшебной превратила
Того – в медведя, а сего – в ежа.
Кто смотрит весело, а кто уныло.
И всякого в подобного зверька
оборотить – волшебница сила!
Ну, говорить достаточно пока.
Не то умрешь в придачу к прочим бедам.,
Пригнись-ка и иди исподтишка.
По счастью, Цирцее ты неведом.
Со стадом, чтобы проскочить тайком,
Ступай безропотно за мною следом.
Согнулся, опустился я, как ком,
И, от натуги потный и багровый,
В компании с теленком и быком
Пошел на четвереньках за коровой.
Оборотивши спину в темный купол,
Как зверь, я поспешал и неспроста
То нос я, то макушку щупал.
По-прежнему ли маковка чиста?
И не растет ли у меня на теле
Щетина или кисточка хвоста?
И то сказать: признайтесь, неужели
Строптивую осанку поборов,
На четвереньках этак не пыхтели?
Так, целый час натуги и трудов –
И мы остановились. Меж валами
Лежал наполненный водою ров.
Его внезапно осветило пламя.
Но, факельный огонь хотя не гас,
Казалось, тьма сплошная перед нами.
Чу! Долетел с той стороны до нас,
Стоявших в ожиданье на дороге,
Как ветерок, прошелестевший глас.
Еще маячил факел, и в итоге
Я, поглядевши пристально вперед,
Узрел великолепные чертоги.
Под портиком виднелся пышный вход,
Но жердочка, положенная хило,
Нас вынуждала к переходу вброд.
Пустились вброд и серна, и кобыла.
И только дева легкая одна
По шаткому мостку переходила.
На берег выполз я, хлебнув сполна.
А рядом то ли стало, то ли стая
За мною резво выбралась со дна.
И наша проводница дорогая
Препроводила, молчаливых, нас
И погасила свет, меня скрывая
От пристальных волшебницыных глаз,
И в темноте не понял я, откуда
Свистящий глас донесся в первый раз.
Не понимая, хорошо ли, худо
Я на дворе просторном без дерев
Остановился в ожиданье чуда.
Уж от усталости оцепенев,
Безропотные, потянулись звери

Куда-то поодаль, на спячку в хлев.
 А дева подвела к укромной двери
 Меня и в горницу ввела свою,
 Явив гостеприимство в полной мере.
 Она к огню придвинула скамью
 И усадила, обо мне радея
 И увидав, что я едва стою.
 И отогрелся в неге и тепле я,
 И с силами собрался уж почти,
 желая объясниться поскорее.
 И начал я: «Мадонна, не сочти
 Меня, с презреньем отвернувши очи,
 За дурня, за невежу во плоти.
 Пойми, я день оставил ради ночи
 И очутился в сумрачном краю.
 Подобная беда всего жесточе.
 О да, ты сохранила жизнь мою.
 Премного я обязан нашей встрече.
 И это благодарно признаю.
 Но ужас очутиться столь далече
 У неизвестных и опасных врат
 Лишил меня, мадонна, дара речи.
 И вот теперь я огорчен и рад.
 Тем огорчен, что испытал вначале,
 Зато тобой обрадован стократ
 Я был во власти страха и печали
 И, как слепой, смотрел в ночную мглу.
 Слова и крики в горле застревали.
 Но наконец-то говорить могу.
 За ласку, кров, радушие – за это,
 Мадонна, я перед тобой в долгу.
 Но песенка моя, быть может, спета.
 Куда теперь дорога мне, скажи?
 В пределы мрака иль, быть может, света?»
 «Столь бед, гонений, клеветы и лжи,
 Сколь видел ты, от века не видали
 Ни древние, ни новые мужи.
 Судьбою ты заброшен в эти дали.
 Она одна виновница тому,
 что ты увидел и увидишь дале.
 И стало быть ты понял что во тьму
 К Цирцее ты закинут волей рока.
 Твой рок – противник счастью твоему.
 С тобою поступает он жестоко.
 Но да уйдут сомнения твои.
 Да будет мысль ясна и зорко око.
 Все жалобы и стоны затаи.
 От звездного не отвращайся лика.
 То всходят, то заходят звезд рои.
 То так, то сяк. Сменяет клику клика.
 То день, то ночь, то холода, то зной.
 Все движется от мала до велика.
 То миром занятые, то войной,
 Народы двери раскрывают настезь,
 А после вал возводят крепостной.
 Но избежать того не в вашей власти ж.
 Вот почему ты страждешь и теперь
 И муками себе рассудок застишь.
 Вот почему твоя судьба, как зверь,
 Пока лютует. Не перечь ей даром.
 И обольщениям пустым не верь.
 Она лютует в ослепленье яром.
 Покамест не ушла ее пора.
 Но будет все ж конец слезам и карам.
 Настанет час, и сменятся ветра.
 Ночь кончится, и день начнется снова.
 И завтра будет лучше, чем вчера.
 И для тебя оно на все готово.

И посмеешься ты тогда до слез
 Над злоключеньями пережитого.
 И ты его представишь как курьез,
 И, руки в боки перед другом стоя,
 Расскажешь о несчастьях невсерьез.
 Но, прежде чем разыгрывать героя
 И упиваться жизнью, надлежит
 Принять тебе обличие иное.
 Среди людей нечеловечий вид
 Храня, от них тебе увидеть надо
 Немало унижений и обид.
 А потому я ныне в это стадо
 Тебя приму и у лесных дорог
 Пасти тебя премного б
 Для человека повелитель – рок,
 И для героя, и для шалопая.
 Бывает он то милостив, то строг.
 И вот он к нам тебя привел, желая
 Тебе уроки днесь преподнести,
 Курс хрюканья, и бляенья, и лая.
 А потому отныне не грусти,
 Но до конца будь мужественным, ибо
 За все, что ныне терпишь на пути,
 Судьбе однажды скажешь ты спасибо».

Покамест мне рассказывала донна,
 Сидел я, притулившись у огня,
 Обескураженно и огорченно.
 Потом ответил: «Небо не кляня,
 Смирюсь я с судьбиною убогой
 И принимаю все, что ждет меня.
 Но все ж, надежда, хоть чуток растрогай
 И сладкими виденьями насыть.
 Пошел бы к благу я любой дорогой.
 И да прядут богини Парки нить
 Моей судьбы, как и пряли дотолле.
 Как пожелают, так тому и быть.
 И вдруг прошли мучения и боли:
 Ко мне прижалась дева и в уста
 Поцеловала раз, и два, и боле...
 «Сие, – она сказала, – неспроста.
 Но в будущем опишутся поэтом
 Твои хождения и маета.
 Однако ж полно говорить об этом.
 Ведь я уйду, едва отступит ночь,
 Пасти зверей, тебе ж, по всем приметам,
 Усталости и сна не превозмочь.
 А заодно и закусить не худо.
 Что ж, я тебя попотчевать не прочь».

И все взялось, неведомо откуда.
 Уж крепкий стол придвинут к очагу.
 А на столе и скатерть, и посуда.
 И я отведать наконец могу
 Изысканных курятин, и белужин,
 И хлеба, и салата, и рагу.
 Я сел за стол, нимало не сконфужен.
 И с девою, но более один
 Я уничтожил и вкуснейший ужин,
 И золотистого вина кувшин.
 В такую ночь могу до самой зори
 Вкушать нектары солнечных долин.
 «Утешимся. Разумный помнит: горе
 С благополучьем ходит заодно.
 Днесь – хорошо, да что-то будет вскоре?
 Но горе и на пользу нам дано.
 Как снадобьем, порой им кровь согрета.
 Но пить его не стоит, как вино.
 Останемся же вместе до рассвета,
 Пока не позвала меня заря

Пасти бесчисленное стадо это». И, словом, утешались мы не зря, Вино вкушая, поцелуи множа И о приятном всяком говоря. А после возлегла она на ложе, Одежды сняв. И я меж простыней, Как благоверный, растянулся тоже. О Музы! Вы опишете живей! А сей невзрачный, заурядный слог – он Не скажет о возлюбленной моей. Красавицы пышноволосой локон, Отбившись от товарищей своих, Казался светом солнечным из окон. И был так нежен, и глубок, и тих Огонь очей, и сами очи сини, Что умолкает и тускнеет стих. А я не забываю и поныне, Задумавшись и грезя наяву, О безупречном профиле богини. И оттеняющие синеву Пушистые ресницы днем и ночью Я буду прославлять, пока живу, И не умерю болтовню сорочью! А носик милой! Так прекрасен! Ох, Прекраснее не увидеть воочию! А ротик! И у многих он не плох, Но отрицать попробуй-ка, посмей-ка: Сей – сотворил собственноручно Бог! И язычок, как розовая змейка Меж совершенных зубок-жемчугов, Как патока, поблескивает клейко. А ветерок дыхания таков, Что мнится – словно луговые дали, Благоуханьем полнится альков. А подбородок, шейха и так дале... Забыли б вы все прелести менад, Когда бы эту прелесть увидали! Рассказывать ли далее подряд Ведь искренности публика не рада. И не за ложь, за истину бранят. Вестимо, откровенничать не надо, Я в сем удостоверился давно, Однако ж откровенье мне – услада. А красота как доброе вино. О тонкий стан, о шелковая кожа! Подумаешь – и на душе хмельно. Но, рядышком с красавицею лежа, Не видел я подруги ниже плеч, Боясь отбросить одеяло с ложа. То холодел я, то горел, как печь, Но не касался до прекрасной, в страхе Напасти снова на себя навлечь. Ронял я, изнывая, охи-ахи, Но не решался перейти предел И был, как злоумышленник на плахе. Лежал и шевелиться я не смел, Как будто то не ложе, но могила. И сам от страха был мертвецки бел. Картина эта деву рассмешила И молвила она: «Велик твой страх. Иль, может, я – великая страшила? Ты поначалу мчал на всех парах. Иль из другого ты, быть может, теста? Почто остановился и зачах? Ты в это Богом проклятое место За мной пришел, как в старину герой, Летевший к Гере в Абидос из Сеста. А вот теперь, как тяжелобольной,

Лежишь под одеялом, холодея.
 Придвинься ближе и лиц
 Я прижимаюсь сиротливо к краю
 И на подругу резвую свою
 Сперва еще с опаскою взираю,
 Затем, покамест так же на краю,
 Оборотиться к деве я рискую –
 И вот уже немного привстаю.
 И придвигаюсь наконец вплотную.
 И к вожделенному исподтишка
 Протягиваю руку ледяную.
 Едва ж коснулась красоты рука
 Тотчас почувствовал я: прелесть эта,
 Как никогда, желанна и сладка!
 И, новым ощущеньем обогрета,
 Былое обрела душа моя
 Достоинство и мужа, и поэта.
 И, своего восторга не тая,
 Я снова целовал ее и снова.
 «Благословенны темные края, –
 И больше не было меж нами фраз.
 Исчезло все в чарующем тумане.
 Все огорчения забылись враз.
 И наслаждений не было желанней
 И поцелуев жарче. Наконец
 Настал черед последних содроганий.
 И я на ложе рухнул, как мертвец.
 На смену ночи приходило утро,
 И звезды погасившая заря
 Небесные оттенки перламутра
 Уж покрывала цветом янтаря.
 Глаза раскрыла милая наяда
 И поднялась со вздохом, говоря:
 «Мне непременно на рассвете надо,
 К работе не выказывая спесь,
 Вести в леса проснувшееся стадо.
 А ты, голубчик, оставайся здесь.
 Но не грусти и побори истому.
 И все обдумай, рассуди и взвесь.
 И, главное, не выходи из дому.
 Беру тебя покамест на постой.
 Не отзывайся зову никакому».
 И вот сию я в горнице пустой.
 Я с неохотою покинул ложе.
 Мечтаю с нетерпением о той,
 Которая мне ныне всех дороже.
 Страсть полыхает, как огонь, в груди,
 И продирает, как мороз по коже.
 Но в одиночестве сколь ни сиди,
 Все скоро вновь покажется немило.
 И ждешь со страхом: что-то впереди
 Не стало вновь ни куража, ни пыла.
 Рассеялись мечтанья в пять минут.
 Я призадумался совсем уныло.
 И снова думы к прошлому текут.
 И вот уж исчезаю, словно тень я,
 А призраки приходят в мой закут.
 Являются цари как привиденья.
 И вижу, точно в дали голубой,
 Историю их взлета и паденья.
 И изумлен я общею судьбой,
 Какая очень многими владела.
 И долго рассуждаю сам с собой.
 И понимаю ясно: то и дело
 Приходит к своему пределу власть
 Тогда, когда не ведает предела!
 А в том вожде, кто уж не правит всласть,
 Играют раздражение и злоба.

Кто сверг – тому от свергнутого пасть!
 Один – у трона, а другой – у гроба,
 Но, как невольник, так и господин,
 Окажутся в одной упряжке оба.
 И всяк, кто доживает до седин,
 Наслышан о противоречьях этих.
 Однако же не верит ни один.
 И вот пример. Жил и в отцах, и в детях
 У моря гордый венецейский лев.
 Топил соседей, и других, и третьих.
 Губил и королей, и королев.
 И, возмечтав о собственном престиже,
 Повергнут был, едва не околевав.
 И безрассуден честолюбец, иже
 Смотрит, как победитель на коне:
 Стремясь все выше, падает все ниже.
 Афины, Спарта, славные вполне,
 Росли, пока других не побороли.
 А поборовши, пали и оне.
 Но жил себе укромно и на воле
 Немецкий город. Он и ныне жив,
 Заняв в округе пару миль, не боле.
 И Генрих флорентийцев обложив,
 Не устрасил своею ратью града,
 Не жаждавшего лавров и нажив.
 А ныне уж Флоренция – громада,
 Туда распространилась и сюда,
 Сама ж – от мухи запереться рада!
 И, стало быть, умеренность тверда,
 И не тверда чрезмерность, хоть и яро
 Кипит и покоряет города.
 Всех безрассудных постигает кара,
 Захочешь все – не будет ничего.
 Печальна участь, например, Икара.
 Среди правителей лишь у того
 Бывает совершеннее путь и гладок,
 Кто соблюдет закона торжество.
 Без сор, и передряг, и неполадок
 Там воцариться благодать сама,
 Где суть необходимость и порядок.
 Но, коли нету здравого ума,
 Не будут долговечными державы,
 Где перемен сплошная кутерьма.
 А вот еще: правители не правы,
 К примеру, и в такой стране, в какой
 Законы хороши, да плохи нравы.
 Воспомним об истории мирской.
 Молились все империи сначала
 За здравие, потом за упокой.
 Так, поднялась одна и прахом пала:
 Была великим Нином собрана,
 Потом погибла от Сарданапала
 Так создается доблесть страна,
 И, пиршество устроив на покое,
 На пиршестве и рушиться она.
 И, лишь урезанная вдвое, втрое,
 Спасаясь от невольничьих оков,
 Она проявит мужество былое.
 Пришедшее – уйдет: закон таков.
 И тут бессильны и борьба, и ковы.
 Ведь сей закон – основа из основ.
 Извечна смена доброго и злого.
 Сперва добру наследовало зло,
 Чтоб злу добро наследовало снова.
 Вот говорят, что к краху привело
 Иные города скотство людское.
 Да, мненье убедительно зело.
 Кричат, мол, славно государство, кое

Блюдет и строгий пост, и строгий нрав,
И граждане его – вот, мол, герои!
Однако же на деле будет прав
Ответствующий им, что, тем не мене,
Не набожность вершит судьбу держав.
Ведь, если жили в праздности и лени,
Так тем и навлекали массу бед,
Хоть падали во храме на колени.
Да, надобно молиться, спору нет.
Решительно правители не правы,
На веру наложившие запрет...
Коль в гражданах благочестивы нравы,
В стране порядок, а в порядке том
Живут благополучнейше державы.
Но, коль иной безумец и ведом
Мечтой, что жив лишь благочестьем этим,
И не латает рушащийся дом –
Найдет конец в нем и себе, и детям!
Пока, задумавшись о брэнной славе,
Я в глубину истории залез,
Земное солнце закатилось въяве.
Да, въяве, по окружности небес,
Движенье завершая полукруга
И опускаясь за дремучий лес.
Издаюла уверенно, упруго
Донесся шаг упитанных кобыл.
Подходит с подопечными подруга.
А я сию подавлен и уныл,
Как будто мучусь и на самом деле.
А об отраде начисто забыл!
Забыл я о прекрасной неужели?
Нет, глянул – снова потерял покой.
К красавице все мысли улетели.
Она погладила меня одной –
Другую же рукой к себе прижала.
И я сидел близ девы, как ручной.
Смущение вернулось поначалу,
Потом веселие взяло меня,
Поддержанное влагой из бокала.
И мы вдвоем, смеясь и гомоня,
Чесали языки, как кум с кумою,
И ужинали, сидя у огня.
Но говорит хозяйка с прямою,
Улыбчивых не опуская глаз.
«Идем со мной. Тебе секрет открою».
«Приходит, – продолжает, – ныне час.
И снова я твоей вожатой буду.
Узнаешь, что имеется у нас.
Я приведу тебя туда, откуда
Увидишь сотоварищей былых.
Явлю тебе пример добра и худа».
Вновь на меня оцепененья стих
Нашел, но повелительницы, право,
Был глас успокоителен и тих.
И вывела меня наружу пава.
Царила ночь. Не близилась заря.
И мы пошли и повернули вправо.
И вот, себя куража и бодря,
Я вижу двери, сделанные просто,
Как будто в келейках монастыря,
Не выше человеческого роста
В проходе по обеим сторонам.
Обшивка будто грубая короста.
Дверь первую открыли. Тотчас к нам
Животные. За новой дверью – тоже.
Подруга молвит: «Объясненье дам.
Волшебница число животных множит
И здесь их сводит, судя по тому,

Насколь при жизни нравом были схожи.
И вот сюда заходишь, как в тюрьму,
К могучим львам, открыв задвижку эту.
Но я замка, пожалуй, не сниму.
В иных узревши благородства мету,
Цирцея им обличье льва дала.
Но флорентийцев среди этих нету.
И правда, благородные дела
Давненько родину твою не грели.
Живет она без света и тепла
А вот другая дверь: в медвежьем теле
За ней рычат и скалятся теперь
Насильниками бывшие доселе.
Еще пройдем немного. Верь не верь,
Но рядом волки в атмосфере спертой.
И это волчья, сиречь – третья дверь.
А вот быки и буйволы когортой.
Цирцеиной не минув кабалы,
Свирепые засели за четвертой.
За пятой те, кто на кормежку злы.
Обожрались они на вашем свете.
Былые лакомки теперь козлы.
Но полно. Бесконечны двери эти.
Не осмотреть зверинца до зари.
Зверьем забиты закуты и клетки.
А вот на эти двери посмотри.
Ведут они к слонам, пантерам, ланям.
Животные безвыходно внутри.
Пора нам восвояси часом ранним.
Однако же задержимся вот тут.
На эту дверь двустворчатую глянем.
И ты, пожалуй, не сочти за труд,
Хотя, конечно, этот запах гадов,
Узнай, какие звери здесь живут.
Не стану задавать тебе загадок.
Поведаю в подробностях, каков
В загоне установленный порядок.
Так, хищники всех видов и родов
От крокодила до гиппопотама
Закреты непременно на засов.
Но видишь двери перед нами прямо.
Тут позволяют выйти за порог.
Тут как бы ваша долговая яма.
И, стало быть, режим не очень строг.
И на площадке этой могут звери
Прогуливаться вольно, без морок.
Ты сможешь по одной такой вольере
Судить о многочисленных других.
По ней поймешь о прочих в полной мере.
И в этой же вольере, во-вторых,
Заклочены не кто-нибудь, а те, кто
Был особенно знаменит и лих.
Теперь они бесчувственная секта.
Но приглядишь: был знаменит любой.
Узришь во всяком важного субъекта».
И повела в сторонку за собой.
И мы открыли дверь очередную.
И замер я пред новою гурьбой.
Узрел колосса я и обрисую:
Не виделось ему концов-начал –
Огромному гранитному статую.
Как на слоне когда-то Ганнибал,
Глядел он горделиво, разудало,
Несокрушимость камня выражал.
И примостились, как и подобало,
У каменных несокрушимых ног
Тот, и другой, и третий прихлебала.
Кто честолюбец, тот не одинок,

«Ты видишь: родина его – Гаэта.
Как извещает лавровый веноч, –
Сказала донна, – за тщеславье это
Цирцея удостоила вельми
Сего аббата, якобы поэта –
В зверинце возвышаться над зверьми.
А по такому горе-корифею,
Какое тут собранье, сам пойми.
Но надобно спешить. Не то Цирцею,
С тобою загулявшись тут вдвоем,
Я обмануть сегодня не сумею.
Идем же далее. Ступай в проем
И в новый переход за мною выйди.
В одну-другую клеть еще зайдем.
Надеюсь, на меня ты не в обиде».
Мадонна резким сдвинула ударом
Задвижку, распахнула дверь, и мы
Порог переступили. И недаром.
Тут кто-то был. Послышались из тьмы
Загадочные в закуте зловонном,
Но явственные звуки и шумы.
Не знаю, бросился навстречу кто нам.
Освободила донна от пелен
Светильник, прикрываемый хитоном.
О небеса! Как был я изумлен.
Увидел я в пределах как бы зала
Зверей не пять, не десять, но мильон.
«Ты удивился, – спутница сказала. –
Увидевши не группу, но орду.
Действительно, животных здесь немало.
Четвероногих, и других найду –
Тут обитает и змея, и птица.
Вон, погляди, порхает какаду».
И разглядел я – живность суетится
У наших ног. Кого тут только нет!
Поверьте описанию очевидца!
Я, каюсь, – не ученый-зверовед,
Но рассказать хочу о многих разом
Животных с особенностью примет.
Вот, помнится, в углу, за дикобразом,
Лежала кошка, не ловя мышей,
Наказанная за ленивый разум.
А вот дракон, стоглав и кривошей,
Летал, кружил, то далеко, то близко,
Не мог угомониться, хоть убей.
Спала поодаль хитренькая лиска,
И туг же лаял бестолковый пес
На юный месяц, как на василиска.
А рядом самого себя до слез
Кусавший лев, рыча от боли глухо,
Вину за глупые советы нес.
А вот картина – общая поруха:
Животные за прошлые грехи
Сидели кто без глаза, кто без уха
Теперь все стали смирны и тихи.
Всех больше было, помнится, баранов,
И кроликов, и прочей чепухи.
И вдруг увидел я, подальше глянув,
Что меж непривлекательных тетерь,
Окраской изумительно каштанов,
И вдруг увидел я, подальше глянув,
Что меж непривлекательных тетерь,
Окраской изумительно каштанов,
Красив и соразмерен, как ни мерь,
С приятностью, прошу прощенья, морды,
Сидит невиданный, изящный зверь.
Глаза его, презрительны и горды,
Блестали, но без злобы и угроз,

Оглядываю сборища и орды.
 Себя услужливостью наказав,
 Всю залу обходил, как раб триклиний,
 И перед каждым шею гнул жираф.
 Но чванился узорчатостью линий
 И словно говорил: «На всех плюю!» –
 Павлин, распахивая хвост павлиний.
 И чудо-юдо, помнится, свою
 Диковинную спину изогнуло,
 Дав место ворону и воробью.
 Зверь или не зверь стоял в углу сутуло.
 Он показался мне, безрог, кургуз,
 Ублюдком каракатицы и мула.
 А вон – ишак. Он не терпел обуз.
 Не подходи, мол, я тебе не кляча!
 Он от безделья пухнул, как арбуз.
 А тут, и там, назойливо маяча,
 Вынюживала вдоль и поперек
 Ищейка, за пронырливость незряча.
 И под ногами был так мал хорек,
 Что бегая от края и до края,
 От тумачков себя не уберег.
 Во все углы влетая и влезая,
 То лаяла, то делала апорт
 Хозяина искавшая борзая...
 Многообразие голов и морд
 С годами подзабыв, поди попробуй
 Теперь в подробностях писать рапорт!
 Все ж вспоминаю: буйвол крутолобий
 Набывчивался, душу леденя,
 И на меня тарачился со злобой.
 А вот сама боялась, как огня,
 Очами увлажненными блистая
 Олениха, отпрянув от меня.
 И вперемешку копошилась стая,
 Но в одиночестве сидел беляк,
 Напоминавший спесью горностая.
 Мартышка же, кривляка из кривляк,
 Сидела, точно вовсе без извилин.
 Всех передразнивая так и сяк.
 Веселая синица, мрачный филин,
 И зверь вон тот, и пташечка вон та...
 Но нет, я перечислить всех бессилён.
 Вдали он слон, вблизи же – мелкота.
 И часто по ошибке за Катона
 Я принимал облезлого кота!
 И в наше время, как во время оно,
 Такие недоразуменья сплошь:
 Летит, как сокол, сядет, как ворона
 Но как же я среди этих морд и рож
 Без толмача по-волчьи, по-бараньи
 Поговорю про истину и ложь?
 Я снова был отчаянья на грани,
 Но прошептали милые уста:
 «Я обо всем подумала заранее.
 Мы в этом помещенье неспроста.
 Ты погулял тут, подивился всяко.
 Гляди-ка в направлении перста.
 Вон, у корыта, экий раскоряка!»
 И я узрел в посудине бурды
 Огромного недвижимого хряка.
 В сравненье с ним и жирные худы!
 Не знаю, королем ли мясобоен
 Назвать его, но весил он пуды.
 И спутница рекла: «Будь смел, как воин,
 Тогда вниманья этого «гуся»
 Ты, несомненно, будешь удостоен.
 Его послушай, впрочем, не прося,

Чтоб воротился он к привычкам старым.
 И в этом суть, я полагаю, вся:
 Его ведь не заманишь и нектаром
 Стать человеком и уйти домой.
 Но только время потеряешь даром».

И был обескуражен разум мой.
 А донна без дальнейших разговоров
 Меня ведет в потемки по прямой.
 И вот к нам рыло поднимает боров.
 Он поднимает нехотя хлебало
 От тошнотворного корыта; близ,
 Сказать по правде, сильно в нос шибало.
 Скотину облепляли грязь и слизь.
 И около корыта море жижи
 И нечистоты вонью разнеслись.
 Я подошел из вежливости ближе.
 «Словам твоим, – промолвил я ему, –
 Да внемлет небо. Так моим внемли же!
 Смотрю я на тебя и не пойму,
 Какое до зловонной лужи дело
 Людскому благородному уму?
 На невидаль взираю обалдело.
 Но в эти земли, временно видать,
 Того, чьей благодати нет предела,
 Меня к тебе прислала благодать,
 Чтоб мудрости у твоего корыта
 Мне, неучу, немного преподать.
 Но радуйся: и шкуру, и копыта
 Ты можешь наконец оставить. Я
 Возьму тебя обратно. Дверь открыта».

Но мне без отговорок и вранья
 Стоявшая в блевотине и кале
 Начистоту ответила свинья:
 «Не знаю, ты пришел издалека ли,
 Но я с тобой назад не побегу.
 Напрасно вы засовы отмыкали.
 Вот мой ответ. И больше – ни гу-гу.
 К тому добавлю лишь, что вашей чаши
 Испить не пожелаю и врагу.
 А вы воображаете, что краше
 Порядков ни во сне, ни наяву
 Не может во вселенной быть, чем ваши!
 Но ты меня послушай – и плеву
 Подобных заблуждений, как радетель
 Об истине, я с глаз твоих сорву.
 Признаю, правы те – отцы ли, дети ль,
 Коль осмотрительность им дорога
 Как важная для жизни добродетель.
 С ней отличаешь друга от врага,
 Иначе обманули б, обобрали,
 А то бы и наставили рога.
 Что ж! Говорю, не будучи в запале,
 Что с нашей осмотрительностью мы,
 Животные, ушли намного дале.
 К примеру, кто освободил из тьмы
 И знаньем и люцерны, и цикуты
 Образовал звериные умы?
 И, ни бедой, ни хворью не согнуты,
 Живем. И без боязни и возни
 Меняем и стоянки, и закуты.
 Да! В холоде разумнейше одни,
 В тепле другие, ищем, где отрада.
 Природа нам понятна и сродни.
 Тогда как не от зноя не от хлада
 Туда-сюда по свету мельтеша,
 Вы рыщете, где надо и не надо.
 И ваша надрывается душа,
 Порвав необходимые оковы

Тепла и ласки ради барыша.
За золотом стремитесь далеко вы.
И к черту на куличики за ним,
Вы и туда отправиться готовы.
Мы лишь от непогод себя храним,
А вы и нег, и роскоши вкусили.
И погляди, как человек раним.
А не поговорить ли нам о силе?
Что скажем, коль начнем судить по ней?
Так что ж выносливее: люди или?..
Как дважды два понятно: не сильней
Вы ни гиппопотамов, ни тапиров.
И даже ни баранов, ни коней.
Да, ваш наряд узорчат и порфиоров,
А что до благородства, вот уж ой!
Герои вы, другому яму вырыв.
Как римляне, и старший, и меньшей,
Благотворившие не славы ради,
Мы, звери, вас прекрасней и душой.
И гордый лев мечтает о награде
За подвиг свой, а зла не вспоманет –
На злоумышленника и не глядя.
Иные звери рвутся из тенет,
Не уступая никаким оковам,
И гибель выбирают, но не гнет!
Ведь непонятно только бестолковым,
Что для животных гнет невыносим.
До нас и в вольнолюбье далеко вам.
Скажу о воздержании засим.
Ведь наше поклоненье и Венере
Разумнее. И тут мы не форсим.
В любви умеренны и строги звери.
А посмотри-ка, люди каковы.
Не помнят ни о здравье, ни о мере.
Поев порою мяса иль травы,
Легки мы и подвижны в промежутке.
А что и сколько лопааете вы!
О до чего изощрены и жутки
Количеством и качеством харчи,
Которыми язвите вы желудки!
Нет, мало вам пекомого в печи –
Полезли в закрома и к океану.
Так кто умней, отсюда заключи.
А на счастливых и несчастных гляну –
Не знаю, что об этом скажешь ты,
Но я о вас заплачу и не спьяну.
Живя без сплетен и без маеты,
Мы от природы доблестны, как люди,
А вы неблагородны, как скоты.
Да тут и спорить не о чем. А буде
Ты истины еще не видишь сей,
Ее я поднесу тебе на блюдей
У всех без исключения зверей –
Чутье, слух, зренье и другие снасти.
Чем оснащен двуногий фарисей?
Ну, осязаньем. Но от глаз не засти
И очевидность, что добро, и то
У вас пособница порочной страсти.
А наше платье? Жадно нажито?
Нет, но закрыты мы от ветра или
От холода теплее раз во сто.
Ну, а у вас растительность на рыле,
А остальное вечно непутем.
Ни чешуя, ни мех вас не укрыли.
Родимся мы – спокойно и растем.
А ваша родилась и плачет кроха.
Не мило вам на свете и дитем.
И до последнего вопите вздоха

Вам, плачущим недаром и невдвуг,
До гробовой доски живется плохо.
Природой, кроме пары жадных рук,
Вам дан язык – для вашего же блага.
Но, дуракам, вам и язык не друг.
Да, от природы ваше племя наго.
Но и фортуна не щедра к нему.
И для него не сделает и шага.
И я страстишек ваших не пойму,
В вас перемешанных единой кучей,
И вашему не поклонюсь уму.
Бессильный гад меж нами редкий случай,
А между вами чуть не все подряд.
Вы и слабее зверя и колючей.
Ответь: у тигров ли, у поросят,
У пеликанов, у слонов, у блох ли –
Кто был себе подобными распят?
Нет, пусть кажусь я апатичней рохли.
Ты о моем возврате не радей.
Давненько слезы у меня просохли.
Не верь, когда какой-то лицедей
Кричит, что жизнь ему отрада, дескать.
Отраднее, чем жить среди людей
Со свиньями в хлеву помои трескаться».

Макиавелли

Ф. Де Санктис [4]

Говорят, что в 1515 году, когда появился «Неистовый Орландо», Макиавелли находился в Риме. Он похвалил поэму, но не скрыл своего недовольства тем, что Ариосто в последней песне забыл упомянуть его имя в перечне итальянских поэтов.

Эти два великих человека, олицетворявшие два разных аспекта одного века, жили в одно время, знали друг о друге, но, по-видимому, не понимали друг друга. Никколо Макиавелли внешне был типичным флорентийцем, очень напоминавшим Лоренцо деи Медичи. Он любил приятно провести время в веселой компании, сочинял стихи и шутил, блистая тем же тонким и едким остроумием, какое мы наблюдали у Боккаччо и у Саккетти, у Пульчи, у Лоренцо и у Берни. Он не был состоятельным человеком и при обычных обстоятельствах превратился бы в одного из многих литераторов, трудившихся за определенную мзду в Риме или во Флоренции.

Но после падения Медичи и восстановления республики Макиавелли был назначен Секретарем и стал играть видную роль в государственных делах. Выполняя дипломатические поручения в Италии и за ее пределами, он приобрел немалый опыт – повидал людей и свет; он был предан республике всей душой, настолько, что после возвращения Медичи готов был принять любую муку.

В этой кипучей деятельности и борьбе закалился его характер, возмужал дух.

Оказавшись не у дел, в тиши Сан-Кашано, он предавался размышлениям о древнем Риме и о судьбах Флоренции – вернее, всей Италии. Он ясно себе представлял, что Италия может сохранить свою независимость лишь при условии, если вся она или большая ее часть будет объединена под эгидой одного князя. И он надеялся, что династия Медичи, которая пользовалась властью в Риме и во Флоренции, возьмет на себя этот долг. Он надеялся также, что Медичи захотят прибегнуть к его услугам, избавят его от вынужденного безделья и вызволят из нужды. Но те использовали Макиавелли мало и плохо; он закончил дни свои печально, не оставив в наследство детям ничего, кроме имени. О нем было сказано: «Tanto nomini nullum par elogium»

[5]

Его перу принадлежат «Десятилетие» – сухая хроника о «трудах Италии за десять лет», написанная за пятнадцать дней, «Золотой осел», книга из восьми капитоло, – сатирическая картина упадка флорентийских нравов, книга «О случае» – несколько капитоло, «О фортуна», «О неблагодарности», «О честолюбии», карнавальные песни, стансы, серенады, сонеты, канцоны. На всех этих произведениях лежит печать эпохи: некоторые из них выдержаны в вольном, насмешливом тоне, другие – аллегоричны и нравоучительны, но все страдают сухостью. Стих его граничит с прозой, он маловыразителен; образов мало, а те, что есть, избиты.

Однако, несмотря на всю их банальность и отсутствие изящества, в этих произведениях Макиавелли появляются признаки нового человека, наделенного небывалой глубиной мысли и наблюдательностью. Воображение отсутствует, зато ума – избыток.

Перед нами критик, а не поэт. Не человек, который самозабвенно сочиняет и фантазирует, подобно Лудовико Ариосто, а человек, пристально наблюдающий за собой, даже когда он страдает, и с философским спокойствием изрекающий суждения

о своей судьбе и о судьбах мира. Его стихи походят на беседу:

Надеюсь я, не веруя в успех;
Я слезы лью – в них сердце утопает;
Смеюсь, но внутрь не проникает смех;
Пылаю весь – о том никто не знает;
Страшусь и звуков и видений всех;
Мне все вокруг мучений прибавляет.
Надеясь, плачу и, смеясь, горю,
Всего страшусь, на что ни посмотрю.

Таковы же рассуждения об изменчивости земных благ в «Фортуна». Что осталось от стихотворений Макиавелли? Несколько удачных строк, как, например, следующая из «Десятилетия»:

Глас каплуна средь сотни петухов,
и несколько изречений или глубоких мыслей, как в песне «О дьяволах» или «Об отшельниках».

Шедевр Макиавелли – его капитоло «О случае», особенно концовка: она поражает и заставляет задуматься. Здесь в поэте уже чувствуется будущий автор «Князя» [6] и «Рассуждений».

В прозе Макиавелли тоже ощущается забота о красоте стиля – в соответствии с представлениями того времени. Он рядится в римскую тогу и подражает Боккаччо – например, в своих проповедях собратьям, в описании чумы и в речах, которые он вкладывает в уста исторических персонажей.

Однако «Князя», «Рассуждения», «Письма», «Описания», «Диалоги об ополчении» и «Историю» [7] Макиавелли пишет спонтанно, здесь все внимание его приковано к конкретным вещам; погоню за красивыми словами и фразами он как бы считает ниже своего достоинства. Именно тогда, когда он не думал о форме, он стал мастером формы. Сам о том не помышляя, он обрел итальянскую прозу.

У Никколо Макиавелли мы видим черты Лоренцо, его неверие и насмешливость, – черты, которыми была отмечена вся итальянская буржуазия того времени. Он обладал той же практичностью, той же пронизательностью – умением понимать людей и события, – которые сделали Лоренцо первым среди князей и которые были характерны для всех итальянских государственных деятелей Венеции, Флоренции, Рима, Милана, Неаполя тех лет, когда жили Фердинанд Арагонский, Александр VI и Лудовико, по прозвищу Мавр, и когда венецианские послы писали живые, умные донесения о жизни при дворах, где они были аккредитованы.

Искусство существовало, но науки еще не было. Лоренцо был художником.

Макиавелли предстояло стать критиком.

Флоренция все еще была сердцем Италии: народ еще сохранял там свой особый облик, еще был жив образ родины.

Свобода не хотела умирать. Понятий «гибеллин», «гвельф» больше не существовало – их сменила идея древнеримской республики, идея, порожденная классической культурой; она крепла вопреки всемогущим Медичи, так как опиралась на традиционную тягу флорентийцев к вольной жизни и на воспоминания о славном прошлом. Свобода и политическая борьба поддерживали крепость духа и сделали возможным появление Савонаролы, Каппони, Микеланджело, Ферруччо и незабываемое сопротивление войскам папы и императора. Независимость, слава родины, свободолюбие – эти моральные силы еще более подчеркивались контрастом, который они составляли с разложением, царившим при дворе Медичи.

По своей культуре, по вольному образу жизни, по характерной для него насмешливости и любви к каламбуру и шутке Макиавелли примыкает к Боккаччо, к Лоренцо и ко всей новой литературе. Он не признает никакой религии, а посему мирится с любой из них; превознося мораль вообще, он в обыденной жизни перешагивает через нее. Дух его закалился и окреп в делах и в политической борьбе, а в период вынужденного безделья и одиночества он отточил свой ум. Совесть его не молчала: свобода и независимость родины – вот что волновало Макиавелли. Практический склад его недюжинного ума не давал ему предаваться иллюзиям и удерживал в рамках возможного. Увидев, что свобода утрачена, и помышляя лишь о независимости, он попытался использовать как орудие спасения все тех же Медичи. Разумеется, это тоже было иллюзией, соломинкой, за которую хватается утопающий, это было утопией, но утопией человека сильной и молодой души, человека пламенной веры. Если Франческо Гвиччардини сумел вернее оценить и точнее почувствовать положение Италии, то только потому, что совесть его к тому времени умолкла, окаменела. Образ Макиавелли в памяти потомков окружен любовью и ореолом поэтичности именно благодаря его твердому характеру, искренности его патриотизма и благородству стиля, благодаря тому, что он сумел сохранить мужественность и чувство собственного достоинства, которые выделяли его из толпы продажных писак. Влияние, каким он пользовался, далеко не соответствовало его заслугам.

Его считали не столько государственным деятелем, человеком действия, сколько писателем, или, как принято выражаться ныне, кабинетным ученым. А его бедность, беспорядочный образ жизни, плебейские привычки, «шедшие вразрез правилам», как с укором говорил ему безупречнейший Гвиччардини, отнюдь не улучшали его репутацию. Сознывая свое величие, он не снисходил до того, чтобы пробивать себе дорогу с помощью тех внешних, искусственных приемов, которые так знакомы и так доступны посредственностям. На потомков он оказал огромное влияние: одни его ненавидели, другие превозносили, но слава его неизменно росла. Имя его продолжало оставаться знаменем, вокруг которого сражались новые поколения в своем противоречивом движении то вспять, то вперед.

У Макиавелли есть небольшая книжка, переведенная на все языки и затмившая все остальные его произведения: это «Князь». Об авторе судили именно по ней, саму же книгу рассматривали не с точки зрения ее логической, научной ценности, а с моральной точки зрения. Было признано, что «Князь» – это кодекс тирании, основанный на зловещем принципе «цель оправдывает средства», «победителей не судят». И назвали эту доктрину макиавеллизмом.

Много было предпринято хитроумнейших попыток защитить книгу Макиавелли, приписать автору то одно, то другое более или менее похвальное намерение. В итоге рамки дискуссии сузились, значение Макиавелли умалили.

Такую критику нельзя назвать иначе, как педантской. Жалка также и попытка свести все величие Макиавелли к его «итальянской утопии», к мечте о создании Италии, которая ныне стала реальностью. Мы хотим воссоздать его образ целиком, установить, в чем же состоит его подлинное величие.

Никколо Макиавелли прежде всего олицетворяет собой ясное и серьезное понимание того процесса, который протекал неосознанно, начиная от Петрарки и Боккаччо вплоть до второй половины XVI века.

Именно от Макиавелли пошла итальянская проза, иными словами, сознательное отношение к жизни, раздумье о жизни. Он тоже живет в гуще событий, участвует в них, разделяет страсти и чаяния своего поколения. Но, когда момент действия остался позади, сидя один над книгами Ливия и Тацита, он нашел в себе силы отойти в сторону и спросить общество, в котором жил: «Что ты из себя представляешь? Куда идешь?»

Италия еще хранила свою былую гордость и взирала на Европу глазами Данте и Петрарки, почитая за варваров все народы, жившие по ту сторону Альп. Идеалом для нее был мир древней Греции и древнего Рима, который она изо всех сил пыталась ассимилировать. Она стояла выше других стран по культуре, по богатству, по ремесленному производству, по произведениям искусства, по обилию талантов, ей безраздельно принадлежало интеллектуальное первенство в Европе. Велико было смятение итальянцев, когда в доме их воцарились чужеземцы. Но к ним притерпелись, сжились с ними, уповая на то, что умственное превосходство поможет им прогнать непрошенных гостей. Весьма поучительное зрелище можно было наблюдать при изысканных дворах итальянских князей, где в присутствии ландскнехтов – швейцарцев, немцев, французов, испанцев – раздавался громкий и беспечный смех писателей, художников, латинистов, рассказчиков и шутов. Сочинители сонетов осаждали князей даже на поле брани: Джованни Медичи пал под аккомпанемент шуток Пьетро Аретино. Ошеломленные иностранцы разглядывали чудеса Флоренции, Венеции, Рима, восхищались поразительными достижениями человеческого гения; иноземные князья ухаживали за поэтами и писателями, одаривали их, а те с равным рвением воспевали Франциска I и Карла V. Захватчики покорили Италию и учились у нее, как когда-то римляне – у Греции. Никколо Макиавелли вперил свой острый взгляд в эту цветущую культуру, внешне мощную и величавую, и сумел рассмотреть недуг там, где другие видели пышущее здоровье.

То, что мы сегодня именуем упадком, он называл разложением. В своих рассуждениях он исходил именно из этого факта разложения итальянской, вернее, латинской, расы, которой противопоставлялась здоровая германская раса.

Самым грубым проявлением этого разложения были распущенность нравов и словоблудие, присущие прежде всего духовенству и вызывавшие гнев еще у Данте и у Екатерины; их можно было наблюдать на картинах и в книгах, они проникли во все классы общества, во все литературные жанры и стали чем-то вроде острой приправы, придававшей вкус жизни. Главным центром этой распущенности нравов, которая сопровождалась нечестивостью, безбожием, был римский двор, а главными протагонистами ее – папа Александр VI и Лев X. Именно нравы этого двора зажгли гнев Савонаролы и побудили к расколу Лютера и его сограждан.

Тем не менее духовенство в своих проповедях по привычке продолжало метать громы и молнии против этой распущенности нравов. Евангелие по-прежнему оставалось непререкаемым авторитетом, но только не в повседневной жизни: мысль расходилась со словом, а слово с делом, гармония в жизни отсутствовала. И в этой дисгармонии заключался главный источник комизма для Боккаччо и для других авторов, писавших

комедии, новеллы и шуточные терцины.

В принципе ни один итальянец не мог признать эту вольность нравов похвальной, однако не мог удержаться от смеха. Одно дело – теория, другое – практика. Никто не возражал против необходимости реформы нравов, пробуждения совести, но эти чувства и желания не находили себе почвы: они тонули в шуме царившей вокруг вакханалии. Некогда было сосредоточиться, взглянуть на жизнь серьезно. Тем не менее именно эти чувства и желания позднее дали свои плоды и способствовали деятельности Тридентского собора и католической реакции.

Вернуться к средневековью, добиться реформы нравов и пробуждения совести, возродив религию и мораль прошлых веков, – такова была идея Джеронимо Савонаролы, впоследствии подхваченная и выхолощенная Тридентским собором. Эта идея была наиболее доступной для масс, ее легче всего было выдвинуть. Люди склонны для исцеления своих страданий обращаться к прошлому.

Макиавелли, пока вокруг него гремел весь этот итальянский карнавал, жил во власти дум и тревог и судил об испорченности нравов с более высокой точки зрения. Разлагалось средневековье, уже умершее в сознании людей, но еще продолжавшее жить в формах и установлениях эпохи. Вот почему Макиавелли не звал Италию назад, к средневековью, а, напротив, содействовал его разрушению.

«Тот свет», рыцарство, платоническая любовь – таковы три основных фактора, вокруг которых вращается средневековая литература и которые в новой литературе более или менее сознательно пародируются. На лице Макиавелли, когда он говорит о средневековье, мы тоже подмечаем иронию. И главным образом когда он хочет казаться особенно серьезным. Сдержанность выражений лишь усиливает мощь его ударов. В этой его разрушительной деятельности видно его родство с Боккаччо и Лоренцо Великолепным.

Но его отрицание не сводится к буффонаде, к смеху ради смеха, порожденному уснувшей совестью. В этом отрицании звучит утверждение нового мира, рожденного в сознании Макиавелли. Вот почему его отрицание так серьезно, так убедительно.

Папство и империя, гвельфы и гибеллины, феодализм и города-коммуны – в его сознании все эти установления разрушены. Разрушены потому, что в голове его возникла теория нового общественного и политического устройства.

Идеи, породившие прежние установления, мертвы, они больше не обладают силой воздействия на сознание людей, их сознание спит. В этом внутреннем оцепенении и коренится причина разложения итальянского общества. И нельзя обновить народ иначе, как разбудив его сознание. Эту задачу и старается выполнить Макиавелли. Одной рукой он рушит, другой созидает. С него, в обстановке всеобщего бездумного отрицания, началось созидание.

Изложить его учение во всех подробностях невозможно, остановимся лишь на главной идее.

Средневековье зиждется на принципе, согласно которому цепляться за земную жизнь как за самое существенное – грех; добродетель состоит в отрицании земной жизни и в созерцании потусторонней. Земная жизнь не реальность, не истина, а тень, видимость; реальность это не то, что есть, а то, что должно быть, а посему подлинным ее содержанием является иной мир, ад, чистилище и рай, мир истины и справедливости. На этом теолого-этическом представлении о мире основана «Божественная комедия» и вся литература XIII и XIV веков.

Символика и схоластика – естественные формы выражения этой идеи. Земная жизнь символична, Беатриче – символ, любовь – символ. Что такое человек и природа, в чем их суть, можно объяснить с помощью общих абстрактных понятий, то есть сил, существующих вне мира и представляющих собой главное в силлогизме, общее понятие, из которого вытекает частное. Все это и форма и сама идея – еще со времен Боккаччо отрицалось, подавлялось карикатурой, пародией, служило объектом для насмешек и для развлечения. То было отрицание в его самой циничной и разнузданной форме, основанное на прославлении плоти, греха, чувственности, эпикуреизма, то была реакция на аскетизм. Всех свалили в одну кучу – теологов, астрологов и поэтов, всех, кто жил лишь видениями. Таким образом, в теории царил полное равнодушие, а в повседневной жизни – полная распущенность.

Макиавелли живет в этом мире, и живет активно. Ему свойственна та же свобода в области морали, то же равнодушие в вопросах теории. Он не обладал какой-нибудь необычайной культурой: многие в ту пору превосходили ученостью и эрудицией и его, и Ариосто. В философии он был, очевидно, столь же не искушен, как в схоластике и теологии. Во всяком случае, они его не интересуют. Все его помыслы устремлены к практической жизни.

По-видимому, не силен он был и в естественных науках: факт таков, что в некоторых случаях он ссылается на влияние звезд. Баттиста Альберта обладал, безусловно, более широкой и более законченной культурой. Макиавелли не философ природы, он философ человека. Но, гениальный мыслитель, он вышел за рамки вопроса и подготовил почву для Галилея.

Человек в понимании Макиавелли – это не статичный созерцательный человек средневековья и не идилично спокойный человек Возрождения; это современный человек, который действует и добивается своей цели.

Каждому человеку назначено выполнить свою миссию на земле в соответствии с его возможностями. Жизнь не игра воображения и не созерцание, не теология и не искусство. Жизнь на земле имеет свой серьезный смысл, свою цель, свои средства. Реабилитировать земную жизнь, дать ей цель, пробудить в людях сознание, внутренние силы, возродить серьезного, деятельного человека – вот идея, пронизывающая все произведения Макиавелли.

Она является отрицанием средневековья, но вместе с тем и отрицанием Возрождения. Созерцание Бога удовлетворяет его столь же мало, сколь и созерцание произведения искусства. Он высоко ценит культуру и искусство, но не настолько, чтобы согласиться, что они должны и могут составить цель жизни. Макиавелли борется с воображением как с самым опасным врагом, полагая, что видеть предметы в воображении, а не в действительности – значит страдать болезнью, от которой необходимо избавиться. Он то и дело повторяет, что надо видеть вещи такими, каковы они в действительности, а не такими, какими они должны быть. Это «должно быть», к которому устремлено все содержание в средние века и форма в эпоху Возрождения, обязано уступить место бытию, или, как говорит Макиавелли, «правде настоящей».

Подчинить мир воображения, мир религии и искусства миру реальному, который дан нам через опыт и наблюдение, – такова основа учения Макиавелли.

Отбросив все сверхчеловеческое, все сверхъестественное, Макиавелли кладет в основу жизни родину. Назначение человека на земле, его первейший долг – это патриотизм, забота о славе, величии, свободе родины.

В средние века понятия родины не существовало. Существовало понятие верности, подданства. Люди рождались подданными папы и императора, представителей Бога на земле: один олицетворял дух, другой – «тело» общества. Вокруг этих двух солнц вращались звезды меньшей величины – короли, князья, герцоги, бароны, которым противостояли в силу естественного антагонизма свободные города-коммуны. Свобода была привилегией пап и императоров, однако города-коммуны тоже существовали по воле Божьей, а следовательно, по воле папы и императора, отчего они часто просили прислать папского легата или имперского посла для опеки или замирения. Савонарола объявил королем Флоренции Иисуса Христа – разумеется, оставив за собой право быть его представителем и толковать его учение. В этой детали, как в капле воды, отражены все представления того времени.

Папа и император еще сидели на своих местах. Но культурные слои итальянского общества уже не разделяли идеи, на которой зиждилось их господство. И папа и император сменили тон: папские владения расширились, но власть его ослабла, император же, немощный и растерянный, отсиживался дома.

О папстве и об империи, о гвельфах и о гибеллинах всерьез больше не говорили в Италии – так же как о рыцарстве и о прочих отживших установлениях. От прежних времен оставались в Италии пережитки: папа, дворянство да авантюристы-наемники. Макиавелли видел в светской власти пап не только нелепую и недостойную форму правления, но и главную опасность для Италии. Будучи демократом, он выступал против идеи узкого правления и весьма сурово расправлялся с пережитком феодализма – дворянством.

Он видел в авантюристах-наемниках первопричину слабости Италии перед лицом чужеземца, а посему выдвинул и широко развил идею создания национальной милиции. Светскую власть пап, дворянство, авантюристов-наемников он расценивал как пережитки средневековья, с которыми следовало бороться.

Родина в представлении Макиавелли – это, разумеется, свободный город-коммуна, своей свободой обязанный самому себе, а не папе или императору и управляемый всеми во всеобщих интересах. Но, зорко следя за событиями, Макиавелли не мог не заметить такого важного исторического явления, как процесс формирования в Европе крупных государств, и понимал, что городу-коммуне было суждено исчезнуть вместе со всеми остальными установлениями средних веков. Его город-коммуна кажется ему слишком мизерным, чтобы устоять рядом с такими мощными конгломератами племен, как те, что назывались государствами или нациями. В свое время еще Лоренцо, движимый теми же соображениями, пытался создать великую итальянскую лигу, призванную обеспечивать «равновесие» между государствами и их взаимную защиту, что, однако, не спасло Италию от вторжения Карла VIII. Макиавелли идет дальше. Он предлагает создать крупное итальянское государство, которое служило бы оплотом против всякого иноземного вторжения. Таким образом, идея родины в его понимании расширяется. Родина – это уже не небольшой город-коммуна, а вся нация. Данте мечтал, что Италия станет садом империи, мечтой Макиавелли была родина, самостоятельная, независимая нация [8].

Макиавелли уподобил родину некоему божеству: оно превышает морали, закона.

Подобно тому как у аскетов Бог поглощал в себе индивидуум, подобно тому как инквизиторы во имя Бога жгли на кострах еретиков, у Макиавелли ради родины все дозволено: одни и те же поступки в частной жизни считаются преступлениями, а в жизни общественной достойны высочайшей похвалы. «Государственные соображения» и «благо народа» – вот те обычные формулы, в которых находило свое отражение это право родины, право, которому не было равных. Божество сошло с небес на землю и стало именоваться родиной, как и прежде, наводя страх. Его воля, его интересы составляли *suprema lex* – высший закон. Индивидуум по-прежнему поглощался коллективом. Когда же этот коллектив в свою очередь оказывался поглощенным волей одного человека или немногих людей, воцарялось рабство. Свобода выражалась в более или менее широком участии граждан в государственной жизни. Кодекс свободы еще не предусматривал прав человека. Человек не был самостоятельной единицей, он был орудием родины или, что еще хуже, орудием государства – общего понятия, которым обозначалась всякая форма правления, в том числе и деспотическая, основанная на произволе одного человека.

Под родиной понималось большее или меньшее участие в управлении государством, и если все подчинялись, то все и командовали: это называлось республикой. Если же командовал один, а все подчинялись, то это называлось княжеством. Но как бы это ни называлось – республикой или княжеством, родиной или государством, – идея всегда оставалась одна и та же: индивидуум был поглощен обществом, или, как говорили позднее, царил принцип всевидного государства. Формулируя эти идеи, Макиавелли не выдавал их за свои собственные, им изобретенные, а подчеркивал, что они были известны с давних времен и сейчас укрепились благодаря распространению классической культуры. Они проникнуты духом древнего Рима, который привлекал к себе всеобщее внимание как символ славы и свободы и казался не только образцом в области искусства и литературы, но и идеалом государства.

Родина поглощает в себе и религию. Государство не может жить без религии. Сокрушаясь по поводу римской курии, Макиавелли огорчен не только тем, что папа, стремясь отстоять свою светскую власть, вынужден призывать на помощь чужеземцев, но и тем, что распущенность нравов, которая царит при папском дворе, подорвала авторитет религии в глазах народа. Макиавелли хочет, чтобы религия была государственной, чтобы в руках князя она служила орудием власти. Религия утратила свой первоначальный смысл; она служит писателям для создания произведений искусства и государственным деятелям как орудие политики.

Макиавелли – за высокую мораль: он восхваляет великодушие, милосердие, набожность, искренность и прочие добродетели, но при условии, что от них будет польза родине; если же они оказываются не подспорьем, а препятствием на ее пути, он их отмечает. В книгах его можно часто встретить великую хвалу набожности и другим добродетелям добрых князей, но эти восхваления отдают риторикой и контрастируют с суховатым тоном его прозы. Так же как и всем его современникам, ему чуждо естественное, безыскусственное религиозное и моральное чувство.

Мы по прошествии многих веков понимаем, что в этих теориях находил свое отражение процесс укрепления светского государства, которое избавлялось от теократии и в свою очередь само начинало все прибирать к рукам. Но в ту пору еще шла борьба, и одна крайность вызывала другую. Если же отвлечься от этих крайностей, то надо признать, что в результате этой борьбы была достигнута самостоятельность и независимость гражданской власти, чья законность была заключена в ней самой, поскольку все вассальные связи были разорваны, всякое подчинение Риму прекратилось. У Макиавелли нет даже намека на Божественное право. В основе республик – *vox populi* – глас народа), решение дел со всеобщего согласия. В основе княжеств – сила или завоевание, узаконенное и обеспечиваемое добрым правлением. Дело, конечно, не обошлось без малой толики Неба и папы, но лишь как силы, необходимой для того, чтобы держать народы в повиновении и в страхе перед законами.

Установив, что центр жизни на земле – вокруг его родины, Макиавелли не может одобрить такие монашеские добродетели, как самоуничтожение и долготерпение, которые «обезоружили Небо и изнежили мир», сделав человека более способным «переносить оскорбления, нежели мстить за них». (*Agere et pati fortia romanum est.*)

Неправильно понятая католическая религия делает человека более склонным к страданию, чем к действию.

Макиавелли считает, что по вине такого воспитания в духе аскетизма и созерцания итальянцы слабы телом и духом, из-за чего они не в состоянии изгнать чужеземцев и обеспечить своей родине свободу и независимость. Добродетель он понимает по-римски, то есть как силу, энергию, толкающую людей на великое самопожертвование, на великие дела. Итальянцы вовсе не лишены доблести: напротив, когда им случается столкнуться с врагом один на один, они выходят победителями, но им недостает воспитания, дисциплины, или, как он говорит,

«добрых порядков и доброго оружия», без которых народ не может быть смелым и свободным.

В награду за добродетель приходит слава. Родина, добродетель, слава – вот три священных слова, тройная основа, на которой стоит мир.

У каждой нации, так же как и у отдельных людей, своя миссия на земле.

Люди без родины, без добродетели, без славы подобны затерянным песчинкам, «*numerus fruges consumere nati*» [9]. Бывают и целые нации, пустые и бездеятельные, не оставляющие никакого следа в истории. Исторические нации – это те, что сыграли свою роль в жизни человечества, или, как тогда говорили, рода людского; к таким нациям относятся Ассирия, Персия, Греция и Рим. Нации становятся великими благодаря добродетели или закалке, силе ума и физической выносливости, определяющим характер или моральную силу. Но, так же как люди, стареют и нации, когда породившие их идеи ослабевают в сознании, когда ослабевает их дух. И тогда бразды правления миром ускользают из их рук и переходят к другим народам.

Миром правят не сверхъестественные силы, не случай, а человеческий дух, развивающийся согласно законам, которые органически ему присущи и, следовательно, неумолимы. Исторический фатум – это не провидение, не фортуна, а «сила вещей», определяемая законами развития духа и природы. Дух неисчерпаем в смысле своих возможностей и бессмертен в смысле своей способности к действию.

Поэтому история – это отнюдь не нагромождение случайных или предопределенных судьбой фактов, а неизбежное чередование взаимосвязанных причин и следствий, результат действия сил, приведенных в движение мнениями, страстями и интересами людей.

Поле деятельности политики или искусства управления государством не мир этики, развивающийся по законам морали, а реальный мир, существующий в конкретных условиях места и времени. Управлять государством – значит понимать силы, движущие миром, и регулировать их. Государственный деятель – это человек, который умеет измерять эти силы, оперировать ими и подчинять своим целям.

Следовательно, величие и упадок наций не случайность и не чудо, а неизбежное следствие причин, которые коренятся в особенностях сил, движущих нациями. Когда эти силы иссякают, нации гибнут.

Люди, полагающиеся на одну только львиную силу, управлять не смогут. Нужна еще и «лиса», иными словами, осторожность, то есть ум, расчет, умение оперировать силами, которые движут государствами.

Нации, так же как и отдельные личности, связаны между собой определенными отношениями, имеют права и обязанности. И подобно тому, как существует частное право, существует и право публичное, то есть право народов, или, говоря современным языком, международное право. Война тоже имеет свои законы.

Нации умирают. Но человеческий дух не умирает никогда. Вечно молодой, он переходит от одной нации к другой и развиваясь по своим законам, движет вперед историю рода человеческого. Таким образом, существует не только история той или иной нации, но история мира, столь же неизбежная и логичная, и ход ее определяется органическими законами духа. История человеческого рода есть не что иное, как история духа или мысли. Отсюда и вытекает то, что впоследствии было названо философией истории.

Но Макиавелли заложил лишь научную основу этой философии истории и прав народов, четко указав своим преемникам отправную точку. Область, в которой он замыкается и которой занимается, – это политика и история.

Эти понятия не новы. Философские понятия, так же как принципы поэзии, вырабатываются веками. В них видны естественные результаты того великого движения, классического по форме и реалистического по содержанию, которое, в сущности, знаменовало освобождение человека от всего сверхъестественного, фантастического, познание человеком самого себя, владение собой.

Идеи Макиавелли не показались его современникам ни новыми, ни слишком дерзкими, поскольку в них было сформулировано то, о чем все смутно догадывались.

Влияние языческого мира чувствовалось и в средние века: древний Рим владел помыслами Данте. Но то был Рим Провидения и империи, Рим Цезаря. Макиавелли же воспекает Рим республиканский, Цезаря он строго осуждает. Данте называл славные деяния республики чудесами Провидения и считал республику как бы подготовкой к империи. Макиавелли же не усматривает в республике никаких чудес: для него чудеса заключены в добрых порядках; решающую роль он признает не за судьбой, а за добродетелью. Ему принадлежит следующий девиз, полный глубокого значения: «Добрые порядки рождают счастливую судьбу, а она удачу во всех начинаниях».

Таким образом, классицизм служил лишь оболочкой, и каждая из этих двух разных эпох вкладывала в нее свое содержание. Под классицизмом Данте скрывается мистика и идеалы гибеллинов: скорлупа – классическая, а зерно – средневековое. Под классицизмом Макиавелли – современный дух, который ищет себя в нем и находит.

Настолько же, насколько Макиавелли восхищается древним Римом, он осуждает свою эпоху, где «нет ничего, что бы хоть сколько-нибудь искупало царящие нищету, подлость и бесчестье; не почитаются ни религия, ни законы, ни их блюстители, все запятнано, и по заслугам». Макиавелли полагает, что, возродив порядки и обычаи древнего Рима, можно возродить его величие и перековать новую эпоху на римский лад. Во многих его высказываниях звучат отголоски древней мудрости. Римом навеяны его благородные порывы и известная возвышенность морали. И действительно, своей серьезностью он подчас напоминает облаченного в величественную тогу римлянина, но стоит присмотреться к нему поближе, прислушаться к его двусмысленному смеху, как перед нами предстанет буржуа эпохи Возрождения. Савонарола – наследие средневековья, пророк и апостол дантовского типа; Макиавелли же, несмотря на свое древнеримское облачение, настоящий буржуа нового времени, он сошел с пьедестала и, равный среди равных, запросто беседует с вами. В нем – иронический дух Возрождения, зримые черты нового времени.

Здесь рушатся все устои средневековья – религиозные, нравственные, политические, интеллектуальные. Причем дело не ограничивается одним отрицанием: Макиавелли утверждает новые идеалы, это – глагол. Рядом с отрицанием всякий раз выдвигается утверждение. Речь идет не о крушении мира, а об его обновлении. Теократии противопоставляется самостоятельность, независимость государства. Между империей и городом или между империей и поместьем – политическими единицами средних веков – возникает новое понятие: нация, которая, по мнению Макиавелли, отличается своими специфическими особенностями, определяемыми расой, языком, историей, границами. Наряду с республиками и княжествами появляется форма правления, представляющая собой нечто среднее, смешанное: она сочетает в себе преимущества тех и других, обеспечивает одновременно свободу и устойчивость, являясь в известном смысле предвестником конституционной монархии, описание которой Макиавелли впервые дает в своем проекте реформы политического строя Флоренции [10]. Это совершенно новая политическая структура. Следует обратить внимание среди прочего на то, как Макиавелли трактует вопрос о формировании крупных государств, и прежде всего Франции.

Изменилась и религиозная основа. Макиавелли хочет, чтобы религия не имела ничего общего со светской властью, и, подобно Данте, борется против смешения власти светской и духовной. С какой глубокой иронией описывает он церковные княжества!

Религия, снова водворенная в сферу ее духовных функций, по мнению Макиавелли, является средством достижения величия родины в не меньшей мере, чем воспитание и образование. По сути, это идея национальной церкви, подчиненной государству, приспособленной для целей и интересов нации.

Иная и основа нравственная. Этическая цель средневековья – это святость души, а путь достижения этой цели – умерщвление плоти. Макиавелли, хотя и осуждает вольность нравов, господствовавшую в его эпоху, не менее сурово относится и к аскетическому воспитанию. Его идеал не Рахиль, а Лия, не созерцательная жизнь, а жизнь активная. А посему высшей добродетелью, с его точки зрения, надо считать активную жизнь, деятельность на благо родины. Его святые более походят на героев древнего Рима, чем на святых отцов из римского календаря. Стало быть, новый идеал высоконравственного человека – это не святой, а патриот.

Обновляется и основа интеллектуальная. Пользуясь терминологией того времени, можно сказать, что Макиавелли не ратует за истинность веры, а оставляет ее в стороне, не занимаясь ею, если же о ней заходит речь, то слова его звучат почтительно, но двусмысленно. Исключив из своего мира все сверхъестественное и провиденциальное, Макиавелли исходит из неизменности и бессмертия человеческой мысли, человеческого духа, который вершит историю. Это уже целая революция, знаменитое *sorto* (я мыслю), с которого начинается современная наука. Человек освобождается от сверхъестественного и сверхчеловеческого и, так же как и государство, провозглашает свою самостоятельность, свою независимость, вступает во владение миром.

Обновляется и метод. Макиавелли не признает априорных истин, абстрактных принципов, не признает ничего авторитета как критерия истины. Для него теология, философия, этика – все едино: все они в сфере вымысла, вне реальности. Истина есть сущее, «правда настоящая», а поэтому искать ее можно лишь с помощью опыта, сопровождаемого наблюдением, путем разумного изучения фактов.

Вся схоластическая терминология отпадает. Вместо пустых разглагольствований, основанных на абстрактных умозаключениях, которые держались на предположении о существовании универсальных понятий, возникает обычная прямая и естественная форма речи. Общие суждения, силлогизмы опрокинуты и под конец выступают как результат опыта, освещенного рассуждением. Вместо силлогизма перед нами «ряд», то есть строгое чередование фактов, являющихся одновременно причиной и следствием, как это видно на следующем примере.

«Потеряв часть своих владений, город Флоренция был вынужден пойти войной на тех, кто захватил его земли, а поскольку захватчик был силен, то война требовала немалых и непроизводительных расходов, кои ложились на народ тяжким бременем и вызывали бесконечные трения. Поскольку военными действиями руководил магистрат из десяти граждан, то люди стали проникаться к нему неприязнью, как будто только он и был причиной войны и расходов, с нею связанных». Факты изложены здесь так, что они подкрепляют и объясняют друг друга, – это двойной ряд: один, сложный, характеризует истинные причины, видимые лишь для умного человека; другой, простейший, объясняет причины событий на основании внешних, поверхностных данных; однако именно эти внешние данные и толкают людей на опрометчивые действия, совершаемые со всей серьезностью и уверенностью, что придает глубоко иронический оттенок выводу.

Факты описываются в той же последовательности, в какой они наблюдаются в природе и в истории, в описании их не чувствуется ничего нарочитого. Но это лишь внешнее впечатление. В действительности они взаимосвязаны, подчинены друг другу, согласованы размышлением так, что каждому из них отведено свое место, своя роль причины и следствия, своя функция в общей цепи событий: факт уже не только факт или акцидент, случайность, а довод и соображение. В повествовании скрыта аргументация.

Так, в небольшой книжке автору удалось сконцентрировать всю историю средних веков, сделать из нее замечательное преддверие к задуманной им истории Флоренции. Свои рассуждения он тоже рассматривает как факты – факты интеллектуальной жизни, поэтому он довольствуется декларациями и не приводит доказательств. Это факты, взятые из истории, из всемирного опыта, – результат острых наблюдений, причем поданы они столь же просто, сколь энергично. Многие из этих «интеллектуальных фактов» вошли в поговорку. Например, «привести в соответствие с принципами», или иронические слова о «безоружных пророках», или «благополучие людей пресыщает, а несчастье сокрушает», или «людей следует или ласкать, или истреблять». Этих афоризмов или изречений у Макиавелли великое множество. Для писателей, пытавшихся ему подражать, то был неиссякаемый источник мудрости.

Одним из примеров таких «интеллектуальных фактов», порожденных тонким и возвышенным умом Макиавелли, может служить знаменитый эпиграф, предпосланный его «Discorsi».

Вместе со схоластической формой рушится и форма литературная, в основе которой лежал период. В дидактических произведениях период имел скрытую силлогическую форму, то есть предложение украшали и главная и средние идеи силлогизма, что именвалось «доказательством», если тема была интеллектуальной, и «описанием», если содержание сочинения составляли только факты. Макиавелли пишет простыми предложениями, избегая каких бы то ни было украшений. Он не «описывает» и не «доказывает», он повествует или возвещает, а поэтому ухищрения, необходимые для создания периода, ему неведомы. Он убивает не только литературную форму, но форму как таковую – и это в век господства формы, когда форма была единственным божеством, которому поклонялись. Именно благодаря тому, что Макиавелли обладал новым сознанием, содержание для него – все, а форма – ничто. Точнее, в его глазах форма сама представляет собой вещь в ее истинной конкретности, то есть в том виде, в каком она существует в сознании человека или в материальном мире. Ему не важно, будет ли вещь разумной, нравственной или прекрасной, ему важно одно: чтобы она существовала в действительности. Мир устроен определенным образом, и надо принимать его таким, как он есть; незачем задаваться вопросом, может ли и должен ли он быть другим. Основа жизни, а следовательно, и науки это *Nosce te ipsum*, то есть знание мира в его реальности. Фантазировать, доказывать, описывать, морализировать – удел людей, оторванных от жизни, погруженных в мир воображения. Поэтому Макиавелли очищает свою прозу от малейших элементов абстракции, этики, поэзии. Взирая на мир с сознанием своего превосходства, он провозглашает: «*Nil admirari*» [11]. Ничто его не удивляет и не выводит из себя, ибо он понимает; потому же он не доказывает и не описывает, он видит и все проверяет на ощупь. Макиавелли берет за тему сразу, избегает перифраз, описательных оборотов, отступлений, многословных доводов, цветистых фраз, образных средств выражения, периодов и украшений, видя в них препятствие на пути к видению. Он избирает кратчайший, а посему прямой путь: не отвлекается сам и не отвлекает читателя. Речь его – ряд точных и лаконичных предложений и фактов; все «средние идеи», все акцидентное, эпизодическое отброшено. Макиавелли напоминает претора, который *non curat de minimis* (не вдается в подробности), человека, занятого серьезными вещами, у которого нет ни времени, ни желания озираться вокруг. Эта его лаконичность, стремление резюмировать главное – отнюдь не прием, подчас наблюдающийся у Тацита и всегда у Даванцати, а результат естественной ясности видения, которая делает ненужным все те «средние идеи», без коих

посредственному писателю никак не добраться до вывода, результат «полновесности» описываемого предмета, благодаря которой ему нет нужды заполнять пустоты с помощью прикрас, столь любезных сердцу тугодумов. Иной раз его простота граничит с небрежностью, а сдержанность с сухостью – такова оборотная сторона его достоинств. Но только надутые педанты могут придираются к его стилю и с менторским видом качать головой, обнаружив в божественной прозе Макиавелли латинизмы, несообразности и прочие погрешности.

Проза XIV века лишена органичности, у нее нет костяка, схемы, внутренней логики: в ней много чувства и воображения, но мало интеллекта. В прозе XVI века есть видимость костяка, есть даже стремление его выпятить, выражением этого стремления явился период. Но эта органичность – лишь видимость: обилие союзов, членов предложения, вводных слов плохо скрывает внутреннюю пустоту и расшатанность. Пустотой страдает не интеллект, а совесть, сознание, зараженное безразличием и скепсисом. Вот почему все силы ума направлены на внешнее, на украшательство. Самые пустые вопросы трактуются с той же серьезностью, что и важные, ибо писателю безразлично, какова тема, серьезна она или пуста. Эта серьезность лишь кажущаяся, она сугубо формальна и посему риторична: душа остается глубоко безразличной.

«Галатео» и «Придворный» – лучшие прозаические произведения той эпохи. В них изображалось изысканное общество, все внимание которого было сосредоточено на внешней стороне жизни; в этом обществе, где жили Каза и Кастильоне, превыше всего ставили благовоспитанность и изысканные манеры. Даже интеллект, при всей своей зрелости отличавшийся леностью, в сочинительском искусстве ставил превыше всего благовоспитанность и манеры, иными словами, оболочку. Эта боккаччиева или цицероновская оболочка вскоре вошла в традицию и приобрела чисто подражательный характер: разум оставался безучастным. Философы еще не отказались от старых схоластических форм, поэты подражали Петрарке, а прозаики культивировали некий смешанный жанр – одновременно поэтический и риторический, внешне подражая Боккаччо. Все они страдали одной болезнью: пассивностью или безразличием интеллекта, сердца, воображения, короче говоря – души. Писатель был, но не было человека. С тех пор на работу писателя стали смотреть как на ремесло, которое предполагало владение механикой, именуемой литературной формой, при полном безучастии души: то есть человек полностью отделяется от писателя. И вот среди этого засилья риторики и поэзии появилась проза Макиавелли, предвестник современной прозы.

Здесь перед нами прежде всего человек, а не писатель, вернее, писатель лишь постольку, поскольку он человек. Создается впечатление, будто Макиавелли даже не знает о существовании того общепринятого писательского искусства, которое превратилось в моду и в условность. Подчас он пробует в нем свои силы, и тогда, когда он тоже хочет быть литератором, это ему блестяще удается. Но главное в нем – человек. То, что он пишет, является непосредственным плодом его размышлений; факты и впечатления, нередко сконцентрированные в одном слове, как бы вырываются из его души. Ибо Макиавелли – человек, который мыслит и чувствует, разрабатывает, созидает, наблюдает и размышляет, дух его всегда активен, всегда присутствует. Его интересует сам предмет, а не его окраска, тем не менее под пером его этот предмет получается таким, каким он запечатлелся в мозгу писателя, то есть окрашенным в свои естественные тона, пропитанным иронией, грустью, возмущением, достоинством. И прежде всего дан он сам, во всей своей пластической конкретности. Проза Макиавелли ясна и полновесна, как мрамор, но мрамор, кое-где тронутый прожилками. Так писал еще великий Данте. Говоря об изменениях, которые претерпели в средние века наименования предметов и людей, он заключает: «И вот Цезари и Помпеи превратились в Петров, Матвеев».

Перед вами не более чем мрамор, предмет в оголенном виде, но сколько в этом мраморе прожилков! Мы чувствуем, как много связано у Макиавелли с этим образом, как велико его восхищение Цезарями и Помпеями и как глубоко его презрение к Петрам и Матвеям; его возмущение по поводу происшедших изменений. Мы видим, с какой тщательностью он отобрал типичные имена и поставил их, будто врагов, одно против другого, видим это заключительное, энергичное «превратились», в котором содержится намек на то, что изменились не только имена, но и души.

Проза Макиавелли – сухая, точная, лаконичная, богатая мыслями и «вещная» – свидетельствует о зрелом уме, освободившемся от всех элементов мистики, этики, поэзии и превратившемся в высшего руководителя мира, в логику и силу вещей, в современный фатум. Именно таков подлинный смысл мира в понимании Макиавелли. Если оставить в стороне вопрос о происхождении мира, то он предстанет перед нами таким, как он есть: борьбой человеческих сил и природы, развивающихся по своим законам. То, что называют фатумом, есть не что иное, как логика, необходимый результат действия этих сил, аппетиты, инстинкты, страсти, убеждения, фантазии, интересы, движимые и направляемые высшей силой – человеческим духом, мыслью,

интеллектом. Богом Данте была любовь, сила, объединяющая разум и действие; результатом была мудрость. Бог Макиавелли – интеллект, сообщающий разум силам мира и регулирующий их; результат – наука. «Надо любить», – говорит Данте. «Надо понимать», – говорит Макиавелли. Душа (центр) Дантова мира – это сердце; душа (центр) Макиавеллиева мира – мозг. Мир Данте – это, по существу, мир мистики и этики; в мире Макиавелли царит человек и логика. Понятие добродетели меняет свое содержание. Это уже не моральное чувство, а попросту сила или энергия, душевная твердость. Чезаре Борджиа был добродетельным, ибо обладал силой, достаточной для того, чтобы действовать согласно логике, то есть, поставив себе цель, он не гнушался никакими средствами для ее достижения. А если душа мира – это мозг, то неудивительно, что проза Макиавелли от начала до конца рассудочна.

Теперь мы можем понять Макиавелли применительно к его конкретным работам. История Флоренции, поданная в повествовательной форме, – это логика событий. Дино Компаньи писал взволнованно, под свежим впечатлением от случившегося; все казалось ему новым, все ранило его моральное чувство. В его хронике царит этическое начало, так же как у Данте, у Муссато, у всех тречентистов. Но Макиавелли интересуется больше всего объяснение фактов, то, что движет людьми, и он ведет свой рассказ спокойно и задумчиво, как философ, толкующий о природе мира. Действующие лица обрисованы им не в момент наивысшего накала чувств и не в разгар событий: его история не драматична. Автор не присутствует ни на сцене, ни за кулисами: он у себя в кабинете; события проходят чередой перед его мысленным взором, и он старается установить их причины. Его кажущаяся апатия есть не что иное, как поглощенность философа мыслью, стремлением объяснить явления; он сосредоточен на этой мыслительной деятельности, и его не отвлекают никакие волнения, никакие впечатления. Это апатия гениального человека, который с сочувствием взирает на людей, раздираемых страстями.

В «Рассуждениях» более интенсивна интеллектуальная сторона. Интеллект отходит от фактов и затем вновь возвращается к ним, чтобы почерпнуть в них силу и вдохновение. Все вращается вокруг фактов. Изложение лаконично, как будто автор вспоминает то, что всем давно известно, и спешит скорее с этим разделаться. Окончив рассказ, он сразу переходит к сути. Интеллект, как бы почерпнув новые силы из этого источника, выходит на самостоятельную дорогу, полный оригинальных мыслей, одновременно озадаченный и удовлетворенный. Чувствуется, что автор получает удовольствие от этих умственных упражнений, от этой оригинальности, от того, что он говорит такие вещи, которые рядовым людям кажутся парадоксальными. Мысли эти подобны сомкнутой шеренге, куда не проникает ничего постороннего, что могло бы нарушить порядок.

Процесс мышления даже у крупных мыслителей в моменты творчества протекает бурно, поток воображения и эмоций возвещает обычно о зарождении новой идеи. Разум Макиавелли не таков: он молод, свеж и спокоен, полон сознания своей силы и недоверчив ко всему, что вне его. Отступления, образы, эффектные приемы, сравнения, кружение на одном месте, неуверенность в изложении позиции – всему этому нет места в его дисциплинированных рядах идей, подвижных и плодотворных, рожденных необычайной силой анализа и связанных неумолимой логикой. Все здесь глубоко и в то же время настолько ясно и просто, что может показаться поверхностным.

В основе «Рассуждений» лежит положение, согласно которому люди «не умеют быть ни совсем хорошими, ни вовсе дурными», а посему лишены логики, лишены добродетели. Им дано желать, но они не имеют воли. Воображение, страхи, надежды, напрасные мечты, предрассудки мешают им быть решительными. Потому-то они так «склонны колебаться», предпочитают «золотую середину» и «судят по внешности».

Человеческому духу свойствен стимул, или ненасытный «аппетит», который беспрерывно побуждает его к действию и движет историческим прогрессом. Вот почему люди никогда не успокаиваются на достигнутом, переходят от одного честолюбивого желания к другому, сначала защищаются, потом нападают, и чем больше у человека есть, тем больше ему хочется. Таким образом, желаниям людей нет предела, но, как их осуществить, они не знают, проявляют замешательство и нерешительность.

Все сказанное об отдельной личности применимо и к человеческому коллективу, к семье, классу. По сути дела, в человеческом обществе существует лишь два класса: класс имущих и неимущих, богатых и бедных. И история есть не что иное, как вечная борьба между теми, кто имеет, и теми, кто не имеет. Различные политические системы – это попытки достигнуть равновесия между классами.

Политический строй свободен, если в основе лежит «равенство». Следовательно, там, где есть «господа» или привилегированные классы, там не может быть свободы.

Ясно, что никакая политическая наука или политическое искусство невозможны, если они не опираются на знание предмета, с которым им предстоит иметь дело, то есть на знание человека как отдельной личности и человеческого коллектива –

класса.

Поэтому значительная часть «Рассуждений» представляет собой социальный портрет народных масс или плебса, оптиматов или господ, князей, французов, немцев, испанцев отдельных людей и народов.

Эти портреты – результат тонких и оригинальных наблюдений – даны выпукло и убедительно, они воссоздают «характер», то есть выявляют те силы, которые побуждают отдельных людей, целые народы или классы действовать именно так, а не иначе. Его наблюдения плод опыта, накопленного непосредственно им самим, и в этом секрет их нетленности.

Поскольку в основе человеческого характера лежит такая общая для всех людей черта, как то, что они не знают предела своим желаниям или «аппетитам», а достаточной способностью осуществить их не обладают, существует несоответствие между целью и средствами: отсюда потрясения и беспорядки, наблюдаемые в истории. Вот почему политическая наука или искусство управлять и руководить людьми опирается на точность цели и действенность средств. В этой согласованности таится секрет той интеллектуальной энергии, которая делает великими людей и нации. Логика правит миром.

Такая строго логическая точка зрения на историю придает изложению спокойствие, исполненное силы и уверенности, свойственное лишь человеку, который знает, чего хочет. Под воздействием разума растет и мужество человека. Чем больше человек знает, тем на большее он отваживается. Если человек слабоволен, то можно безошибочно сказать, что ум его дремлет. В таком случае человек не знает, чего он хочет, он полностью во власти своего воображения и своих страстей; таково обычно простонародье.

Эта неумолимая логика нашла свое воплощение в «Князе». Макиавелли осуждает князей, которые обманом или силой отнимают у народа свободу. Но, коль скоро они добиваются своего, он указывает им, каким образом они должны удерживать свою власть. Цель их не защита родины, а сохранение княжеской власти, однако же князь может заботиться о себе, только заботясь о государстве. Интересы общества – это одновременно и его интересы. Свободы он предоставить не может, но может дать добрые законы, которые охраняли бы честь, жизнь, имущество граждан. Он должен заручиться благоволением народа, держа в узде и господ и смутьянов. Правь подданными, но не бей их до смерти, старайся их изучить и понять, «не будучи ими обманут, а сам их обманывая». Поскольку люди обращают большое внимание на внешнюю сторону, князь обязан о ней заботиться и даже против собственной воли должен делать вид, что он набожен, добр и милосерден, что он покровитель искусств и талантов. Пусть он не боится, что его разоблачат: люди по природе своей простодушны и доверчивы. Самое сильное чувство, на которое они способны, – это страх, поэтому князь должен стараться, чтобы его не столько любили, сколько боялись. Главное, чего он должен опасаться, это ненависти и презрения.

Кто прочтет трактат Эджидио Колонны «De regimine principum», тот обнаружит в нем прекрасный этический мир, не имеющий, однако, ничего общего с реальной жизнью. Но тот, кто прочтет «Князя» Макиавелли, обнаружит мир жестокой логики, основанный на изучении человека и жизни. Здесь человек, подобно природе, в своих действиях подчинен неизменным законам, основанным не на моральных критериях, а на критериях логики. Здесь не ставится вопрос, хорошо ли или дурно то, что делается, а соответствует ли это разуму или логике, существует ли соответствие между средствами и целью. Миром правит не сила как таковая, а сила разума.

Италия больше не могла создавать мир божеский и этический, и она создала мир логики. Неизведанным оставался у нее лишь один мир: интеллект; и Макиавелли открыл этот мир, очистил его от страстей и воображения.

Именно с этой высокой точки зрения и следует судить о Макиавелли. Главное, о чем он помышляет, – это «интеллектуальная серьезность», то есть точность цели, умение идти к ней прямо, не озираясь по сторонам и не позволяя второстепенным или посторонним соображениям задерживать или сбивать с пути. Его идеал – ясный ум, не замутненный никакими элементами сверхъестественного, никакими фантазиями или чувствами. Его герой – покоритель человека и природы, тот, кто понимает силы природы и человека и регулирует их, делает их своими орудиями. Цель может быть достойна похвалы или осуждения, и если она достойна осуждения, то он первым поднимет голос протеста во имя рода человеческого. Заглянем в главу десятую «Рассуждений», в ней содержится один из ярчайших примеров протеста, когда-либо вырывавшегося из благородного сердца. Но коль скоро цель поставлена, нет границ восхищению Макиавелли человеком, который пожелал и сумел ее добиться. Моральная ответственность заключена в цели, а не в средствах. Что же касается средств, то они не хороши лишь тогда, когда ими не умеют или не желают пользоваться, когда человек невежествен или слаб. Макиавелли говорит: внушайте ужас, но только не ненависть и не презрение. Ненависть – бессмысленное зло, внушаемое столотолубием, страстью, фанатизмом. Презрение есть результат слабости воли, которая мешает

тебе идти туда, куда зовет разум.

Когда Макиавелли писал эти строки, Италия забавлялась романами и новеллами, а в стране хозяйничали чужеземцы. Итальянцы были самым несерьезным, самым недисциплинированным народом на свете, воля была сломлена. Все хотели прогнать чужеземцев, всем было «нестерпимо тошно от этого варварского господства», но дальше пожеланий дело не шло. Отсюда понятно, почему, считая своей первой задачей восстановление волевого характера итальянцев, Макиавелли старается уничтожить корень зла. Мораль, религия, свобода, добродетель без волевого характера – пустая фраза. И, напротив, стоит восстановить волю, как восстановится и все остальное. И Макиавелли прославляет силу воли даже тогда, когда она направлена на злое дело. По его мнению, Чезаре Борджиа с его ясностью ума и твердостью духа, несмотря на полное отсутствие моральных устоев, гораздо в большей мере человек, нежели добрый и благороднейший Пьер Содерини, который, «глупая душа», из-за своей неспособности и слабости погубил республику.

Но если сила воли в Италии ослабла, то дух остался несокрушимым. Если Макиавелли в основу жизни положил принцип быть «человеком», открыв эру сильного разума, то главным комическим мотивом в итальянской литературе, в романах была как раз необузданная сила, сила, не ограниченная никакой дисциплиной, не целеустремленная.

Итальянский вариант героя рыцарского романа был смешным именно в силу того, что он представлял воображению как бессмысленная демонстрация гигантской силы, лишеной, однако, какой бы то ни было серьезности цели и средств, силы как таковой, используемой для достижения и самых серьезных и самых пустых целей; это-то и придает такой комизм образам Морганте, Мандрикардо и Фракасса. Были, разумеется, рыцарские цели: опекать женщин, защищать угнетенных и слабых, но в глазах умных, скептически настроенных читателей все это казалось не менее смешным, чем необычайные проявления физической силы.

Об этих рыцарях, изображаемых на итальянский лад, можно сказать то же, что Дораличе сказала Мандрикардо, видя, как он ради меча и щита проделал те же подвиги, что и для овладения ею: «Не любовью ты был движим, а врожденным жестокосердием».

Итак, итальянский дух, с одной стороны, высмеивал средневековые как хаотическое столкновение сил, а с другой – положил в основу новой эпохи мужественный принцип, согласно которому сила заключается в уме, в серьезности цели и средств.

То, что Италия разрушала, и то, что она создавала, свидетельствовало о ее огромной интеллектуальной мощи: она опередила Европу не менее чем на сто лет.

Но у Италии был ум и не было силы. Итальянцы полагали, что умственного превосходства достаточно, чтобы изгнать чужеземцев. То был ум зрелый, живой, но абстрактный: формальная логика при полном равнодушии к цели. То была наука для науки, как бывает искусство для искусства.

Совесть была лишена цели, а когда совесть дремлет, то сердце холодно и воля слаба, каким бы зрелым ни был ум. Жизнь духа была направлена только на отрицание и на осмеяние. Итальянцам было легче смеяться над необузданными, не подчиняющимися никакой дисциплине силами, чем дисциплинировать себя, легче потешаться над чужеземцами, чем прогнать их. Острота служила аттестатом их умственного превосходства и их морального упадка. Им недоставало не физической силы и не смелости, которая из нее вытекает, а силы моральной, той, что сплачивает нас вокруг идеи и наполняет решимостью жить и умереть за нее.

Макиавелли отдавал себе ясный отчет в этом упадке, или, как он говорил, испорченности. Он пишет в «Князе»:

«Велика мощь в членах тела, лишь бы хватило ее у вождей. Посмотрите, как на поединках и в схватках между немногими выделяются итальянцы силой, ловкостью, находчивостью в бою».

Италия действительно была испорчена, ибо у нее не было моральных сил, а следовательно, достойной цели, которая заполнила бы собой национальное сознание. Макиавелли принадлежат великие слова о том, что успех на войне обеспечивают не деньги, не крепости и не солдаты, а моральные силы – патриотизм и дисциплина.

Главной причиной итальянской «испорченности» была развращенность религии. Вот незабываемые слова, иллюстрацией к которым мог служить Лютер:

«Когда бы христианская религия поддерживалась в том виде, в каком она была задумана ее основателем, то государства и республики жили бы в счастье и единении. И ничто так не свидетельствует об упадке ее, как то обстоятельство, что народы, ближе всего стоящие к римской церкви, которая является главой нашей религии, меньше всех веруют. Если присмотреться к основам ее, увидеть, сколь отличается нынешнее состояние религии от прежнего, то можно рассудить, что близится либо погибель, либо великое бедствие».

Весьма неблагоприятная задача – высказывать горькую правду собственной родине, но это святой долг, и великий человек чувствует всю его важность.

«Прав тот, кто, родившись в Италии или в Греции и не став в Италии французом, а в Греции турком, проклинает свое время».

Для Макиавелли говорит правду родине – святой долг, акт патриотизма. Перед его взором открывается вся история мира. Он видит славу Ассирии, Мидии, Персии, Греции, Италии и Рима, прославляет королевство франков, турков, султана, подвиги сарацин и добродетели народов некогда существовавшей великой империи. Человеческий дух, неизменный и бессмертный, переходит от одного народа к другому и проявляет свою силу. Но когда дело доходит до Италии, то сравнение ранит его в самое сердце. Лучшие страницы его истории – те, в которых рассказывается о падении Генуи, Венеции и других итальянских городов, являвших собой печальное зрелище на фоне расцвета европейских государств.

Не славословить свою страну, а говорить ей правду, дать ей почувствовать, сколь глубоко ее падение, чтобы она устыдилась и чтобы это послужило для нее уроком, описать болезнь и указать средства ее лечения представляется ему долгом порядочного человека. Это сознание долга придает его словам высокое моральное звучание.

«Когда б не было ясно как Божий день, что тогда царили добродетели, а ныне – порок, я бы выбирал более сдержанные выражения. Но коль скоро это явствует со всей очевидностью, я буду откровенно говорить о нынешних временах, дабы молодежь, сии строки прочитав, могла бы бежать пороков и взять себе за образец времена прошлые. Ибо долг добрых людей учить других тому, что сами они из-за превратностей судьбы или безвременья не могли осуществить, дабы кто-нибудь из молодых, наиболее угодных небу, мог сие содеять».

Слова эти – памятник нерукотворный. В них ощущаешь дух Данте.

И Макиавелли сдержал свое обещание. Он сурово судит о людях и о событиях.

Общеизвестно, что писал он о папстве. Не более снисходителен он и к князьям.

«Пусть наши правители, много лет властвовавшие в своих княжествах, обвиняют за утрату их не судьбу, а свою неумелость; в спокойные времена им никогда в голову не приходило, что обстоятельства могут измениться, когда же наступили времена тяжкие, они думали о бегстве, а не о защите».

Об авантюристах он пишет:

«Последствием их воинской доблести было, что Италия открыта вторжению Карла, разграблена Людовиком, захвачена Фердинандом и посрамлена швейцарцами».

Не менее строго осудил он и наследие феодализма дворян; как живые предстают они в следующей замечательной яркой картине.

«Дворянами именуют тех бездельников, что живут в довольстве на доходы от своих владений, не заботясь ни об обработке земель, ни о каком другом способе добывать средства к существованию. Они оказывают пагубное воздействие во всех провинциях, но особенный вред наносят те, кто, помимо имений, владеют еще замками и имеют подданных, кои им повинуются. Людей этих двух категорий великое множество в королевстве Неаполитанском, Римской области, в Романье и в Ломбардии. Вследствие чего в сих провинциях никогда не было политической жизни, ибо люди такого сорта – заклятые враги всякой цивилизации».

Следует отметить здесь совершенно новую, современную мысль о том, что смысл жизни человека заключается в труде и что самый большой враг цивилизации – это безделье. Этот принцип дискредитировал монастыри и в корне подорвал не только аскетическое мировоззрение с его созерцательностью, но и феодальную систему, основанную на том, что безделье немногих обеспечивалось трудом большинства. Человек, который столь же принципиально, сколь откровенно, отметил все причины упадка Италии, имел все основания говорить, намекая на Савонаролу:

«Потому-то Карлу, королю Франции, и можно было захватить Италию только с куском мела в руках, и тот, кто сказал, что причиной этого были грехи наши, говорил правду, но грехи были не те, о которых он думает, а те, о которых я рассказал».

Фаталисты – те, кто ничего не делает, они все объясняют судьбой. Они и тогда объясняли все злоключения Италии невезением. Макиавелли пишет: «Судьба проявляет свое могущество там, где нет силы, которая бы заранее была подготовлена, чтобы ей сопротивляться, и обращает свои удары туда, где, она знает не возведено плотин и заграждений, чтобы остановить ее. Если вы посмотрите на Италию, страну этих переворотов, давшую им толчок, то увидите, что это равнина без единой насыпи и преграды».

Ввиду того что Италия погрязла в пороках, Макиавелли призывает спасителя – итальянского князя, который, подобно Тезею, Киру, Моисею или Ромулу, навел бы порядок: он был убежден, что упорядочить государство должен один человек, а управлять им должны все. В моменты наибольшей опасности древние римляне назначали диктатора: избавить Италию от гибели, по мнению Макиавелли, могла только диктатура.

«Князь, помышляющий о славе, должен стремиться подчинить себе развращенный город, не для того чтобы испортить его окончательно, как это сделал Цезарь, а

чтоб навести порядок, как Ромул».

Вот его знаменитое и своеобразное суждение о Цезаре:

«Никто не сомневается в славе Цезаря, постоянно слыша похвалы в его адрес, расточаемые писателями; а те, кто его восхваляет, помнят лишь о том, как судьба была к нему благосклонна. Но кто хочет знать, что сказали бы о нем свободные писатели, пусть прочтут сказанное ими о Катилине. Большого презрения заслуживает Цезарь, ибо гораздо более следует порицать того, кто содеял зло, чем того, кто замыслил сотворить его. Взгляните, какие похвалы они воздают Бруту: не имея возможности осуждать всемогущего, они восхваляют врага его. И тогда вы хорошо поймете, чем Рим, Италия, весь мир обязаны Цезарю».

Тому, кто силой овладевает государством, Макиавелли обещает не только «амнистию», но и славу – лишь бы ему удалось упорядочить государственные дела.

«Пусть помнят те, кому небо дарует сию возможность, что перед ними открыты два пути: один путь ведет к спокойной жизни и славе после смерти, второй сулит жизнь, полную тревог, а после смерти – вечное бесчестье».

Стало быть, он призывает человека – избранника Неба, который исцелил бы Италию от ее ран, «положил бы конец разграблению Ломбардии, поборам в Неаполе и Тоскане, излечил бы давно загноившиеся язвы». Это давняя мысль о спасителе, о мессии. Данте тоже призвал политического мессию, Вельтро. Но в глазах Данте – гибеллина – спасителем Италии был Генрих Люксембургский, ибо он мыслил свою Италию как сад империи; по идее Макиавелли спасителем Италии должен был стать один из итальянских князей, ибо в его представлении Италия была самостоятельной нацией и все, что находилось за ее пределами, «по ту сторону гор», было чужим, варварским.

Кто хочет ознакомиться с развитием итальянского духа от Данте до Макиавелли, пусть сравнит проникнутую мистицизмом и схоластикой «Монархию» Данте с современным по своим идеям и по форме «Князем» Макиавелли. Правда, идея Макиавелли оказалась такой же утопией, как и идея Данте. И сегодня нетрудно установить – почему. Слова «родина», «свобода», «Италия», «добрые порядки», «доброе оружие» были для народа, в толщу которого еще не проник луч образования и культуры, пустым звуком. Люди из культурных слоев общества давно ушли в частную жизнь: они либо пребывали в идиллическом состоянии бездействия, либо предавались литературным занятиям и были космополитами, жившими общими интересами искусства и науки, не имеющими родины.

Эта Италия любителей изящной словесности, людей, либо принимавших поклонение, либо поклонявшихся, утрачивала свою независимость, сама того, по-видимому, не замечая. Иноземцы поначалу испугали ее своей свирепостью, жестокостью своих поступков, а потом, подольстившись к ней, то и дело подчеркивая свое к ней почтение и восхваляя ее мудрость, склонили на свою сторону.

Итальянцы, утратив свободу и независимость, устами своих поэтов еще долгое время продолжали вспоминать о былой славе, хвастаться тем, что они – властители мира.

Конечно, ненависть к чужеземцам жила в их сердцах, так же как и стремление от них избавиться. Но воля была так слаба, что за весь этот период не было ни единой попытки предпринять что-либо для освобождения Италии. Даже Макиавелли ограничился изложением своей идеи; нам не известно, чтобы он предпринял для ее осуществления что-либо серьезное, помимо написания этой замечательной книги, выдержанной в возвышенном, поэтическом тоне, ему не свойственном и продиктованном скорее порывом его благородного сердца, нежели спокойной убежденностью политического деятеля. То были лишь иллюзии. Думая об Италии, он в какой-то степени принимал желаемое за действительное. То, что он питал эти иллюзии, делает ему честь как гражданину. Заслуга его как мыслителя состоит в том, что, создавая свою утопию, он основывался на реальных и постоянных факторах жизни современного общества и итальянской нации, на тех факторах, которым предстояло развиваться в более или менее близком будущем, писателем предугаданном. То, что сегодня было иллюзией, завтра стало реальностью.

То обстоятельство, что Макиавелли при всей своей опытности и наблюдательности предавался иллюзиям, отнюдь не должно вызывать удивления: в его натуре было много поэтического.

Вот он сидит в остерии и играет с трактирщиком, мельником и двумя булочниками в «крикку» или «триктрак».

«За игрой вспыхивают препирательства и перебранка, мы воюем из-за каждого куаттринно (гроша), и крики наши доносятся до самого Сан-Кашано».

В этом много плебейского. Но зато дальше, комментируя свои слова, Макиавелли глубоко поэтичен:

«Окунувшись в эту плебейскую атмосферу, я очищаю мозг свой от плесени и даю волю злой судьбине: пусть она топчет меня, а я погляжу, неужто не сделается ей стыдно».

А вот он один, в лесу, с томиком Петрарки или Данте, дает простор «вольным мыслям», фантазирует, плывя по волнам воображения:

«Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату. На пороге я сбрасываю с себя пыльную, грязную крестьянскую одежду, облачаюсь в одежды царственные и придворные. Одетый достойным образом, я вступаю в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне. Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я перевоплощаюсь в них».

Эти слова «я перевоплощаюсь», «даю простор вольным мыслям» звучат энергично и свидетельствуют о том, что его натуре были свойственны созерцательность, экзатичность, восторженность.

Между Макиавелли и Данте есть родство. Но то был Данте, родившийся после Лоренцо деи Медичи, впитавший в себя дух Боккаччо, который издевался над «Божественной комедией» и искал «комедию» в этом мире. В утопии Макиавелли чувствуется преклонение перед человеческим духом, его поэтизация, обожествление. Вот пример: князь поднимает знамя и, как когда-то Юлий Цезарь, кричит: «Прочь, варвары!»

Это пишет поэт, который взирает на зрелище, созданное его воображением: «Какие ворота закрылись бы перед ним, какой народ отказал бы ему в повиновении, как могла бы зависть стать ему поперек дороги, какой итальянец не пошел бы за ним?»

В заключение приводятся стихи Петрарки:

И Доблесть, не желая

Мириться с Гневом, даст ему отпор:

Отвага вековая

Жива в сердцах италов до сих пор.

Но иллюзии вскоре рассеялись. Макиавелли создал себе прекрасный образ высоконравственного, цивилизованного мира, образ добродетельного, дисциплинированного народа, навеянный древним Римом, и это придает убедительность и его упрекам и его похвалам. Однако то был поэтический мир, слишком отличавшийся от реальности, да и сам Макиавелли был слишком далек от своего идеала, слишком походил на своих современников.

Каждый писатель в какой-то мере умирает для потомков. То же произошло и с Макиавелли: одна часть его, а именно та, которая принесла ему его печальную славу, умерла. Это «отходы» его творчества, самая грубая часть его писательского я, хотя обычно ее считали самой жизненной, настолько жизненной, что именно ее прозвали «макиавеллизмом».

И поныне, когда иностранец хочет сделать Италии комплимент, он называет ее родиной Данте и Савонаролы, а о Макиавелли умалчивает. Да и сами мы не решаемся называть себя сыновьями Макиавелли, потому что между нами и этим великим человеком встал «макиавелизм». Это всего лишь слово, но слово, освященное веками: оно производит впечатление и отпугивает.

С Макиавелли произошло то же, что с Петраркой. Люди называли «петраркизмом» то, что у Петрарки было лишь случайным, но к чему свелось все содержание творчества его подражателей. Точно так же «макиавелизмом» назвали то, что в учении Макиавелли было второстепенным, относительным, а о бесспорном, нетленном забыли.

Так, о Макиавелли сложилось мнение, в соответствии с которым на него смотрели лишь с одной и наименее интересной стороны. Настала пора восстановить его облик полностью.

У Макиавелли есть и формальная логика и содержание. В основе его логики – серьезность цели, то, что он называет добродетелью. Ставить перед собой цель, заведомо зная, что ты не можешь и не хочешь ее достичь, значит уподобиться женщине. Быть мужчиной – значит «твердо шагать к цели». Но, шагая к своей цели, люди часто заблуждаются, потому что их разум и воля затуманены призраками и эмоциями и они судят по внешней стороне вещей; люди слабые, немощные судят о вещах по форме, а не по существу: это характерно для простонародья. Поэтому быть человеком, быть сделанным из настоящего теста – значит отбросить обманчивую форму и идти к цели, сохраняя ясность ума и твердость воли. Такой человек может быть тираном или гражданином, может быть добрым или злым. В данном случае речь идет не о том, это совершенно иной аспект человеческой природы. Макиавелли интересуется одно: можно ли назвать данного человека человеком. Его волнует одно: как обновить корни увядающего растения, именуемого человеком.

Согласно макиавеллиевой логике, добродетель – это характер, воля, а порок – непоследовательность, боязливость, колебания.

Само собой разумеется, что урок из этой сентенции, сформулированной в столь общем виде, могут извлечь все, и добрые люди и плуты; поэтому неудивительно, что

одни считают книжку Макиавелли сводом законов для тиранов, а другие – кодексом свободных людей. В действительности она учит основе основ: быть человеком. Из нее мы узнаем, что историей, так же как и природой, управляет не случай, а разумные, поддающиеся учету силы, основанные на согласовании цели и средств, и что человек как часть коллектива и как индивидуум недостойн называться человеком, если тоже не представляет собой разумной силы, соразмеряющей цель и средства.

На этой основе строится зрелая эпоха жизни человечества, по возможности освобождающаяся от воздействия воображения и страстей, ставящая перед собой ясную, серьезную цель, достигаемую точными средствами. Такова основная идея Макиавелли, такова поставленная им задача. Она не абстрактна, не сводится к праздным разговорам: она наполнена содержанием, о котором в основных чертах было сказано выше.

Вот что в учении Макиавелли абсолютно и непреложно: серьезность земной жизни. Ее орудие – труд, ее цель – родина, ее принцип – равенство и свобода, ее нравственный закон – нация, ее созидатель – человеческий дух или мысль, неизменная и нетленная, ее орган – самостоятельное и независимое государство, подчиняющее дисциплине все силы, уравнивающее все интересы. И венцом ему служит слава, то есть одобрение всего рода человеческого, а в основе лежит добродетель, то есть характер, *agere et pati fortia*.

Научную основу его учения составляет «правда настоящая», данная через опыт и наблюдение. Воображение, чувство, абстракция вредны в науке в той же мере, что и в жизни. Схоластика умирает, рождается наука.

Вот это подлинный макиавеллизм, живой, вечно молодой. Это программа современного, развитого мира, которая после некоторых поправок и добавлений была более или менее воплощена в жизнь. Чем больше народ приближается к ее осуществлению, тем больше у него оснований называться великим.

Итак, мы гордимся нашим Макиавелли. Когда рушится часть старого здания, то в этом есть и его заслуга, как есть его заслуга и в том, что создается что-нибудь новое. Сейчас, когда я пишу эти строки, раздается звон колоколов, возвещающих о вступлении итальянцев в Рим. Светская власть церкви рушится.

Раздаются возгласы: «Да здравствует объединение Италии! Да славится имя Макиавелли!».

Он был писателем не только глубоким, но обаятельным. Сколько бы он ни толковал о политических компромиссах, в его словах всегда угадываются его подлинные чувства: ненависть к папе, к императорам и феодалам, тяга к культуре, ко всему современному, к демократии. И когда, одержимый мыслью о цели, он вынужден предлагать любые средства, он нередко прерывает себя, протестует и, как бы извиняясь, говорит: «Учти, что мы живем в развращенную эпоху, и если приходится прибегать к таким средствам, то не моя в том вина, так уж создан мир».

Не выдержала испытания временем в учении Макиавелли не созданная им система взглядов, а то, что доведено в ней до крайности. Его понятие родины, охватывающее все – религию, мораль, индивидуальность, подобно древнему божеству. Государство в его изображении не довольствуется тем, что оно самостоятельно само, оно лишает самостоятельности все и вся. Государство наделено правами, но у человека прав нет. Как инквизиции понадобились костры, так – из государственных соображений, ради охраны государственной безопасности – государству понадобились виселицы и топор палача. То было государство войн, и в этих яростных, кровавых религиозных и политических схватках родился современный мир. Сила породила справедливость. В результате этих битв родилась свобода совести, независимость гражданской власти, а позднее – свобода и независимость наций. И если вы называете макиавеллизмом средства, с помощью которых достигалась цель, то благоволите называть макиавеллизмом и достигнутые цели. Однако средства – понятие относительное, они видоизменяются и составляют часть, которая умирает, а цель, будучи достигнутой, остается жить вечно. Макиавелли славен своей программой, и не его вина, что разум подсказал ему средства, которые, как то было доказано дальнейшим ходом истории, соответствовали логике развития мира. Было гораздо проще осудить их, нежели придумать иные. «*Dura lex, sed ita lex*» («Суров закон, но это закон»).

В макиавеллизме есть часть, изменяющаяся качественно и количественно, в зависимости от времени, места, состояния культуры и морали народов. Эта часть, касающаяся средств, уже очень изменилась, когда же общество преобразуется коренным образом, то она изменится полностью. Но теория о средствах абсолютна и вечна, ибо она основана на неизменных свойствах человеческой природы. Принцип, из которого исходит эта теория, заключается в том, что средства должны иметь в своей основе разум и учет сил, движущих людьми. Ясно, что кое-что в этих силах абсолютно и кое-что относительно. Макиавелли совершил ошибку, какую совершали обычно все великие мыслители, а именно: придавал абсолютный смысл всему, в том

числе и тому, что по сути своей относительно и изменчиво.

Абсолютным, существующим в макиавеллизме является человек, рассматриваемый как самостоятельное, независимое существо, в природе которого заложены и его цель и его средства, законы его развития, предпосылки его величия и упадка, человек как таковой и как часть общества. На этом принципе основаны история, политика и все общественные науки. Первые шаги науки – это портреты, речи, наблюдения над человеком, который присовокупил к классической культуре большой опыт и ясный, свободный ум. Таков макиавеллизм как наука и как метод. Современная мысль находит здесь свою базу, свой язык. Что такое макиавеллизм с точки зрения содержания? Макиавелли, несмотря на сделки с совестью и шатания, свойственные политическому деятелю, начертал на обломках средневековья контуры мира, каким он должен быть, – мира, основанного на идее родины, национальной независимости, свободы, равенства, труда, мира мужественного, серьезного человека.

Макиавелли: Уроки истории

Политические тексты Макиавелли, написанные около пяти веков назад, наш современник прочтет сегодня по-своему.

Автономность политики от других сфер человеческого существования, прежде всего – от нравственности, примат государственных интересов над интересами личности и крайне низкая оценка человеческой природы как таковой – вот отправные точки политической философии Макиавелли.

Безусловно, итальянский философ осмысливал негативный опыт своего времени: политическое бессилие разрозненной и потерявшей самостоятельность Италии, глубокий кризис средневекового религиозного сознания, проявившийся прежде всего в вырождении института папства и потере метаисторических ориентиров в осмыслении человеческого существования. В этой ситуации основным приоритетом становится романтизация волевого императива, жизненной мощи, способной вернуть этому распадающемуся на части миру утраченное единство.

Дух возрожденческого титанизма, породивший тип сильной личности, самоутверждающейся за счет индивидов более слабых, воплощается для Макиавелли в фигуре идеального правителя: целеустремленного, хладнокровно-расчетливого, жестокого, с несгибаемой волей, наделенного хитростью и коварством.

Технология власти мудрого государя не слишком сложна, на современном языке это выглядит как известный метод кнута и пряника: «...людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое – не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести» [12].

История нашего времени – это история реализовавшихся утопий. При всем различии архитектурных замыслов этих проектов земного переустройства – от «Государства» Платона до «Государя» Н. Макиавелли, «Утопии» Т. Мора и «Города Солнца» Т. Кампанеллы – их объединяет одно: человеческая личность безоговорочно приносится на алтарь государственного молоха как неизбежная жертва, конечно же, во имя ее же собственного блага.

Одни при этом исходят из идеализации человеческой природы, упрощая и схематизируя ее, другие же абсолютизируют худшие проявления этой природы. Впрочем, историческая практика причудливо синтезировала крайности этих подходов и один из зодчих светлого будущего Иосиф Виссарионович успешно сочетал оба, черпая опыт государственной мудрости и смелых политических свершений в книге, ставшей для него настольной, – в «Государе» Макиавелли.

Как оказалось, все эти проекты необходимого мироустройства прекрасно дополняют друг друга в святом деле полного порабощения человека аппаратом государства. В результате санкционированная Макиавелли «разумная жестокость» правителя, поставленная на конвейер охранительных органов, запускает такую машину террора, по сравнению с которой современные пережитки первобытного каннибализма выглядят как пример рациональной диеты у носителей высоких гуманистических идеалов.

Некоторые исследователи творчества Макиавелли видят его заслугу в том, что он дал точную и реалистическую картину нравов и мотивов поведения деятелей своей эпохи, представил политическую жизнь Италии без лицемерия, свойственного политикам во все времена, назвал вещи своими именами. При этом стыдливо упускается из виду то, что там, где власти обычно прибегают к лицемерию для того, чтобы сокрыть порочную суть тех или иных политических действий, Макиавелли их откровенно обнажает только затем, дабы представить эти пороки как скрытые добродетели. Он вводит в общественный обиход новую систему ценностей, в которой политическая власть, направленная на укрепление государства, становится высшим благом. Так кесарю отдается Божье.

И хотя Макиавелли признает необходимость религии, однако религия, с его точки зрения, должна быть подчинена государству и стать послушным инструментом для укрепления последнего. В известном смысле Макиавелли можно считать провозвестником поворота от религиозного мышления к идеологическому.

Макиавелли Никколо Сочинений filosoff.org

Реакцией Макиавелли на духовный кризис средневековой Европы стал безоговорочный поворот навстречу новому времени, к секуляризации жизненных ценностей, к грядущей борьбе за выживание личности, отстаивающей свою независимость и человеческое достоинство в жестоком единоборстве с холодными и цепкими устоями государственной власти.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!